

## РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ПУТЬ ВНИЗ

### О МОЛЧАНИИ МЕРТВЫХ

- Куда вы меня ведете? - спросил Иосиф Кедму, одного из сыновей старика, когда они ставили шатры для ночлега среди невысоких, освещенных луною холмов у подножья горного кряжа "Фруктовый Сад".

Кедма смерил его взглядом с головы до ног.

- Ну и хорош же ты, - сказал он и покачал головой, показывая, что это слово означает в его устах не "хороший", а многое другое, например, "недалекий", "наглый" и "странный". - Куда мы тебя ведем? Да разве мы ведем тебя? Мы вовсе тебя не ведем! Ты случайно оказался с нами, потому что отец купил тебя у твоих жестоких хозяев, и едешь с нами туда же, куда и мы. А это не называется "вести".

- Не называется? Ну, что ж, нет так нет, - отвечал Иосиф. - Я хотел сказать: куда ведет меня бог, когда я еду с вами?

- Чудной ты, однако, малый, - возразил Иосифу ма'онит, - ты так и норовишь поставить себя в самую серединку событий. Не знаю, право, что делать - злиться мне или удивляться. Ты, как там тебя, ты думаешь, мы едем затем, чтобы ты добрался до места, которое облюбовал для тебя твой бог?

- Нет, я этого не думаю, - ответил Иосиф. - Я же знаю, что вы, мои господа, ездите по собственной воле, по своим делам и куда вам заблагорассудится. Своим вопросом я отнюдь не посягаю на вашу честь и на вашу самостоятельность. Но знаешь, у мира множество середин, для каждого существа - своя, и у каждого существа мир ограничен собственным кругом. Ты вот стоишь всего в каком-нибудь полуокте от меня, но вокруг тебя свой, особый мир, середина которого - не я, а ты. Зато я - середина своего мира. Поэтому мы оба правы, каждый по-своему. Ведь наши круги вовсе не так далеки один от другого, чтобы они совсем не соприкасались. О нет, напротив, бог глубоко содвинул их и скрестил, а поэтому, едучи совершенно самостоятельно, по собственной воле и куда вам заблагорассудится, вы, измаильтяне, являетесь, кроме того, в скрещении кругов, средством, орудием, помогающим мне достигнуть места моего назначения. Поэтому-то я и спросил, куда вы меня ведете.

- Так, так, - сказал Кедма; продолжая разглядывать Иосифа с головы до ног, он отвернулся от колышка, который собирался вбить в землю. - Вот, значит, на какие выдумки ты способен, и язык твой сует, как фараонова мышь. Я расскажу старику, отцу моему, как ты умничаешь, негодяй ты этакий. Ведь ты договорился до того, будто у тебя есть какой-то собственный мир, а мы вроде бы назначены твоими проводниками. Имей в виду, я это ему расскажу.

- Сделай милость, - отвечал Иосиф. - Вреда от этого не будет. Мой господин, твой отец, изумится и не продаст меня по дешевке первому встречному, если он вообще намерен меня продать.

- Зачем мы пришли сюда - чесать языки, - спросил Кедма, - или раскинуть шатер?

И он сделал знак Иосифу, чтобы тот ему помогал. Но за работой он сказал:

- Ты поставил меня в тупик, спросив у меня, куда мы держим путь. Я охотно сообщил бы тебе это, если бы знал сам. Но это зависит от старика, отца моего, у него голова устроена особо, и все решается его волей. Ясно, во всяком случае, что мы следуем совету пастухов, твоих жестоких хозяев, и не забираемся в глубь страны по водоразделу, а движемся к морю, к прибрежной равнине, по которой и будем спускаться изо дня в день, пока не достигнем страны филистимлян, где живут в городах купцы, а в крепостях морские разбойники. Там тебя, возможно, и продадут на какое-нибудь судно гребцом.

- Этого я не хочу, - сказал Иосиф.

- Да уж чего тут хотеть! Все зависит от старика, как он решит, так и будет, а где кончится наша поездка, он, может быть, еще и сам не знает. Но ему хочется, чтобы мы думали, будто он знает решительно все наперед, и мы все делаем вид, что так думаем - Эфер, Мибсам, Кедар и я... Я рассказываю это тебе потому, что мы здесь случайно ставим вместе шатер, а вообще-то у меня нет причины посвящать тебя в такие подробности. Я предпочел бы, чтобы старик не очень спешил обменять тебя на пурпур и кедровое масло. Задержись ты у нас еще на какое-то время и на какую-то часть пути, от тебя можно было бы еще что-нибудь услышать о кругах человеческих миров и о том, как они скрещиваются.

- Всегда к вашим услугам, - отвечал Иосиф. - Вы мои господа, вы купили меня за двадцать сребреников вместе с моим языком и умом. Они теперь в вашем распоряжении, и к сказанному о кругах миров я могу прибавить еще кое-что - о не совсем согласованных богом чудесах чисел, которые человек должен усовершенствовать, а также о маятнике, о годе созвездия Пса и об обновлениях жизни...

- Только не сейчас, - сказал Кедма. - Сейчас нужно во что бы то ни стало поставить шатер, ибо старик, отец мой, устал, да и я тоже устал. Боюсь, что сегодня я уже не смогу угнаться мыслями за твоим языком. Оправился ли ты от голода и болят ли еще твои руки и нога в тех местах, где они были связаны веревками?

- Уже почти не болят, - отвечал Иосиф. - Ведь я же провел в яме только три дня, и ваше масло, которым мне позволили умаститься, очень помогло моим членам. Я здоров, и, таким образом, ваш раб вполне работоспособен и ничего не потерял в цене.

Ему и в самом деле предоставили возможность помыться и умаститься, и он получил от своих повелителей набедренную повязку, а на прохладные часы такой же белый, измятый плащ с башлыком, какой был на толстогубом мальчишке, что вел верблюда за повод, и после этого выражение "чувствовать себя заново родившимся" можно было отнести к Иосифу с большим правом, чем, вероятно, к любому другому человеку на свете, начиная от сотворения мира и кончая нашими днями, - ибо разве он и впрямь не родился заново? Его настоящее было отделено от прошлого резко и глубоко - могилой. Поскольку умер он молодым, то по ту сторону ямы силы его легко и быстро восстановились, но это не мешало ему четко отделять свое нынешнее бытие от прежнего, закончившегося ямой, и считать себя уже не прежним, а новым Иосифом. Если умереть и быть мертвым значит безвозвратно впасть в состояние, не позволяющее тебе послать назад ни привет, ни взгляда и хоть как-то восстановить свои отношения с прежней жизнью; если это значит исчезнуть и умолкнуть для прежней жизни без малейшей надежды разрушить чары безмолвия каким-либо знаком, - то Иосиф был мертв, и масло, которым он умастился, смыв с себя пыль колодца, было не чем иным, как елеем, который кладут в могилу покойнику, чтобы тот умащался им в иной жизни.

Мы настаиваем на такой точке зрения, ибо нам представляется важным уже здесь раз навсегда отвести упрек, столь часто предъявляемый Иосифу при разборе его истории; мы

имеем в виду, собственно, вопрос, но вопрос, разумеется, равнозначный упреку, а именно: почему, выйдя из ямы, Иосиф не приложил всех сил к тому, чтобы установить связь с Иаковом и известить несчастного отца, что он жив? Ведь, конечно, такой случай ему уже довольно скоро представился, а со временем возможностей сообщить отцу правду становилось у сына все больше и больше, и то, что Иосиф так и не воспользовался ими, многим кажется непонятным и даже предосудительным.

Этот упрек путает внешнюю исполнимость с возможностью внутренней и не принимает во внимание трех черных дней, предшествовавших воскресению Иосифа. Они вынудили его с великой болью увидеть смертельную неправильность прежней его жизни и отказаться от возвращения в эту жизнь; они вразумили его оправдать смертельное доверие братьев, и его решение, его намерение не обмануть этого доверия оказалось только тверже оттого, что оно возникло не по собственной его воле, а было таким же невольным, таким же логически неизбежным, как молчание умершего. Умерший не сообщает о себе своим любимым не из равнодушия к ним, а потому, что он вынужден молчать; и вовсе не по своему жестокосердию не сообщал о себе отцу Иосиф. Это давалось ему даже весьма тяжело, и чем дальше, тем, право же, тяжелее, - и тяжесть эта была не меньше, чем тяжесть земли, покрывающей мертвеца. Сострадание к старику, любившему его, он это знал, больше, чем себя самого, к старику, которого он любил естественнейшей благодарной любовью и вместе с которым он довел себя до могилы, - сострадание к Иакову сильно искушало Иосифа и всячески подбивало его на опрометчивые шаги. Но сострадание к боли, причиняемой другому нашей собственной судьбой, - это сострадание особого рода, оно куда тверже и холоднее, чем сострадание к горю, не имеющему к нам отношения. Иосиф прошел через ужасные муки, он получил жестокое вразумление, и это облегчало ему жалость к Иакову. Сознание их ответственности друг за друга делало горе отца в глазах Иосифа даже в какой-то степени закономерным. Находясь в смертной неволе, Иосиф не мог уличить во лжи кровавый знак, полученный Иаковом. Но то, что Иаков должен был непременно и беспрекословно принять кровь ягненка за кровь Иосифа, это, в свою очередь, влияло на Иосифа, сводя для него на нет практическое различие между словами: "Это моя кровь" и "Это означает мою кровь". Иаков считал его мертвым; и поскольку мнения Иакова ничто не опровергало, то спрашивается; был Иосиф мертв или не был?

Был. И то, что он не подавал вестей отцу, служило самым убедительным доказательством этого. Его захватило в плен царство мертвых - вернее, оно готовилось захватить его в плен, ибо о том, что он пока еще только на пути туда и что на купивших его мидианитов ему следует смотреть как на своих проводников в этот край, он вскоре узнал.

## У ГОСПОДИНА

- Ступай к господину, - сказал Иосифу однажды вечером (они уже несколько дней, удалившись от горы Кирмил, ехали по песку вдоль моря) раб, которого звали Ба'алмахар; Иосиф тогда как раз пек лепешки на горячих камнях. Он как-то заявил, что печет их необычайно вкусно, и хотя он ни разу этим не занимался, так как дотоле никто от него не требовал этого, лепешки с божьей помощью получались и в самом деле на славу. На закате путники расположились для ночлега у подножья поросшей камышом гряды дюн, уже несколько дней однообразно сопровождавшей их со стороны суши. Жара стояла сильная, но теперь, когда небо уже угасало, дышалось легче. Берег был цвета фиалок. Замирающее море с шелковым шелестом накатывало плоские, неторопливые волны на его влажную, блестящую кайму, щедро обгавленную алым золотом прощальной зари. На привязи дремали верблюды. Неподалеку от берега парусное судно с короткой мачтой, с длинной реей, со множеством снастей и со звериной головой на высоком форштевне, идя на веслах, тащило на юг неуклюжую баржу, груженную, по-видимому, строевым лесом и

управляемую только двумя кормчими.

- К господину, - повторил погонщик. - Он зовет тебя моими устами. Он сидит на циновке в шатре и велит тебе явиться к нему. Я проходил мимо, а он окликнул меня по имени - Ба'алмахар - и сказал: "Пришли ко мне этого новокупленного раба, этого наказанного бедокура, этого сына болота, этого, как там его, мальчишку из колодца, я хочу его кое о чем расспросить".

"Ага, - подумал Иосиф, - Кедма рассказал ему о кругах миров, вот и отлично".

- Да, - ответил он, - господин выразился так потому, что иначе он не мог объяснить тебе, Ба'алмахар, кого он имеет в виду. Он должен говорить с тобой, голубчик, понятным тебе языком.

- Конечно, - отвечал тот, - да и как же он мог иначе сказать? Если он хочет видеть меня, он говорит: "Пришли ко мне Ба'алмахара". Ибо таково мое имя. А с тобой труднее, ведь у тебя и имени-то нет.

- Неужели ему так часто хочется тебя видеть, - сказал Иосиф, - хотя у тебя струпья на голове? Ступай же. Спасибо за известие.

- Это что еще за новость! - воскликнул Ба'алмахар. - Ты должен пойти со мной вместе, чтобы я привел тебя к нему, ведь если ты не явишься, мне несдобровать.

- Сначала, - отвечал Иосиф, - нужно допечь эту лепешку. Я возьму ее с собой, чтобы господин мой отведал моего необычайно вкусного печева. Посиди спокойно и подожди!

Под понуканья раба он допек лепешку, затем поднялся с пяток и сказал:

- Иду.

Ба'алмахар проводил его к старику, созерцательно сидевшему на циновке у низкого входа в свой дорожный шатер.

- Слышать значит повиноваться, - сказал Иосиф и поздоровался.

Глядя на меркнущую зарю, старик кивнул головой и, не поднимая руки, движением одной лишь кисти, показал Ба'алмахару, чтобы тот удалился.

- Я слышал, - начал он, - что ты говорил, будто ты пуп мироздания.

Иосиф с усмешкой покачал головой.

- Какие же это слова, - отвечал он, - я мог невзначай обронить в разговоре, чтобы их так превратно передали моему господину? Дай мне подумать. А, знаю, я сказал, что у мира множество средоточий, столько же, сколько человеческих "я" на земле, для каждого "я" свое.

- Ну, это то же самое, - сказал старик. - Ты, значит, и в самом деле болтал такой вздор. Я никогда не слышал ничего подобного, сколько ни ездил по свету, и теперь вижу, что ты действительно ругатель и наглец, каким мне описали тебя твои прежние хозяева. Что же это получится, если в великой гуще человеческой каждый дурак и молокосос почтет себя, где бы он ни был, пупом мироздания, и куда девать такое множество средоточий? Когда ты сидел в колодце, куда угодил, - как я вижу, вполне заслуженно, - этот колодец и был,

по-твоему, священной серединой мира?

- Бог освятил его, - отвечал Иосиф, - наблюдая за ним, не дав мне погибнуть в нем и направив вас как раз по соседней дороге, почему вы меня и спасли.

- \_Так что\_ тебя и спасли или \_чтобы\_ тебя спасли? - спросил старик.

- И \_так что\_, и \_чтобы\_, - ответил Иосиф. - И то и другое, все зависит от точки зрения.

- Ты, однако, болтун! До сих пор и так уже не могли решить, что считать серединой мира - Вавилон с его башней или, может быть, место Абот на великой реке Хапи. А ты делаешь этот вопрос еще сложнее. Какому ты служишь богу?

- Господу богу.

- Значит. Адону, и оплакиваешь заход солнца. Против этого я ничего не имею. Такая вера - это еще куда ни шло. Уж лучше верить в Адова, чем твердить как сумасшедший: "Я средоточие". Что это у тебя в руке?

- Лепешка, которую я испек для моего господина. Я необыкновенно ловко пеку лепешки.

- Необыкновенно? Посмотрим.

И старик взял у него лепешку, повертел ее в руках, а затем откусил от нее кусок коренными зубами, ибо передних у него не было.

Лепешка была не лучше, чем она могла быть; но старик сказал:

- Она очень хороша. Не скажу "необыкновенна", потому что это уже сказал ты. Лучше бы ты мне предоставил это сказать. Но лепешка хороша. Даже превосходна, - прибавил он, продолжая жевать. - Приказываю тебе печь их почаще.

- Так и будет.

- Правда ли, что ты умеешь писать и можешь вести список всяких товаров?

- Мне это ничего не стоит, - отвечал Иосиф. - Я пишу и человеческим, и божественным письмом, и палочкой, и тростинкой, как угодно.

- Кто научил тебя этому?

- Один мудрый раб, управитель дома.

- Сколько раз входит семерка в семьдесят семь? Ты, наверно, скажешь два раза?

- Два раза лишь на письме. Но по смыслу, чтобы получить семьдесят семь, мне нужно взять семерку сначала один раз, затем два раза, а потом восемь раз, ибо это число составляется из семи, четырнадцати и пятидесяти шести. Но один, два и восемь дают одиннадцать, и вот я решил задачу: семерка входит в семьдесят семь одиннадцать раз.

- Ты так быстро находишь скрытые числа?

- Либо быстро, либо вообще не нахожу.

- Наверно, ты знал это число по опыту. Предположим, однако, что у меня есть участок земли, втрое больший, чем поле моего соседа Дагантакалы, но сосед прикупает еще одну десятину земли, и теперь мое поле больше всего лишь вдвое. Сколько десятин в обоих участках?

- В совокупности? - спросил Иосиф и стал считать.

- Нет, в каждом отдельно.

- У тебя есть сосед по имени Дагантакала?

- Я просто назвал так владельца второго участка в своей задаче.

- Понятно. Дагантакала - это, судя по имени, человек из страны Пелешет, что в земле филистимлян, куда мы, кажется, и спускаемся по твоему мудрому благоусмотрению. Его нет на свете, но он носит имя Дагантакала и скромно возделывает свое теперь уже трехдесятинное поле, не испытывая ни малейшей зависти к моему господину с его шестью десятинами, потому что у этого Дагантакалы стало как-никак три десятины вместо прежних двух, а еще потому, что на свете вообще не существует ни его, ни обоих полей, которые тем не менее - и это самое забавное - составляют вместе девять десятин. А существуют на свете лишь мой господин и его мудрая голова.

Старик в нерешительности заморгал глазами, не сразу сообразив, что Иосиф уже решил и этот пример.

- Ну? - спросил он... - Ах, вот оно что! Ты уже дал ответ, а я и не заметил, ты так вплел его в свою болтовню, что я чуть не пропустил его мимо ушей. Верно, искомые числа - шесть, два и три. Они были скрыты и спрятаны - как же ты их так быстро нашел, не переставая болтать?

- В неизвестное стоит только получше взглядеться, и покровы спадают, и тайное становится явным.

- Мне смешно, - сказал старик, - что ты назвал мне ответ походя, невзначай. Мне это, честное слово, смешно.

И он засмеялся беззубым ртом, склонив голову к плечу, которое у него при этом тряслось. Затем он опять стал серьезен и, заморгав еще влажными от смеха глазами, сказал:

- Послушай, ты, как тебя, ответь мне наконец честно, положи руку на сердце: неужели ты действительно раб-безотцовщина, низкая тварь, мальчишка на побегушках, которого жестоко наказали за всяческие пороки и бесчинства, как заявили мне те пастухи?

Глаза Иосифа затуманились, а губы, как это не раз с ним бывало, сложились трубочкой, причем нижняя несколько выпятилась.

- Ты, господин мой, - сказал он, - задавал мне задачи, чтобы меня испытать, и не спешил сообщить мне ответ, ибо тогда это не было бы испытанием. А когда бог, испытания ради, задает задачу тебе, ты хочешь сразу же узнать решение и вместо спрошенного, по-твоему, должен ответить тот, кто спросил? Нет, это не по правилам. Разве ты не вытащил меня из ямы, где я, как овца, замарался собственным калом? Каким же я должен быть негодяем и как тяжелы должны быть мои проступки! Я, чтобы решить задачу, шевелил мозгами, умножал на два и на три, прикидывал и так и этак. Прикинь же в уме, если угодно, и ты, соотнеси наказание с виной и низким происхождением, и из двух известных условий

задачи ты, конечно же, выведешь искомое третье.

- Мой пример был последователен и уже нес в себе решение. Числа чисты и точны. Но кто мне поручится, что жизнь похожа на них и не таит неизвестного под покровом известного? Здесь много несоответствий в условиях.

- Значит, и это нужно учесть. Жизнь не похожа на числа, но зато она перед тобой, и ее можно видеть воочию.

- Откуда у тебя перстень с приворотным камнем?

- Может быть, этот мерзавец его украл, - предположил Иосиф.

- Может быть. Но ты-то должен знать, откуда он у тебя.

- Он у меня спокон веку. Не помню, чтобы его не было у меня на пальце.

- Так, значит, ты вынес его из камыша и болота своего низменного рожденья? Ведь ты же исчадьё болота и сын камыша?

- Я - сын колодца, из которого поднял меня мой господин и вскормил меня молоком.

- Ты не знал никакой другой матери, кроме колодца?

- Нет, - сказал Иосиф, - я знал и более прекрасную мать. Ее щеки благоухали, как лепестки роз.

- Вот видишь. А она тебя не называла по имени?

- Я потерял его, господин мой, ибо я потерял свою жизнь. Мне нельзя знать свое имя, как нельзя знать и свою жизнь, которую бросили в яму.

- Скажи мне, какая вина довела твою жизнь до ямы.

- Она заслуживала наказания и называлась доверие. Преступное доверие и слепая требовательность - вот ее имя. Ибо тот слеп и достоин смерти, у кого к людям больше доверия, чем они в силах вынести, и кто предъявляет к ним слишком большие требования, при виде такой любви и такого уважения к ним они выходят из себя и делаются похожи на хищных зверей. Пагубно не знать этого или не хотеть знать. А я этого не знал или, вернее, пренебрегал этим и, вместо того чтобы держать язык за зубами, рассказывал им свои сны, чтобы они удивлялись со мной. Но "чтобы" и "так что" не всегда равнозначны, иногда это совершенно разные понятия, и "чтобы" не осуществилось, а "так что" обернулось колодцем.

- Твоя требовательность, - сказал старик, - превращавшая людей в хищных зверей, была, насколько я могу судить, не чем иным, как самомнением и наглостью, и этого естественно ждать от человека, который говорит о себе: "Я пуп вселенной и средоточие". Однако я много ездил между двумя реками, бегущими в разные стороны, одна - с юга на север, а другая наоборот, и знаю, что в мире, который на вид так бесхитростен, существует множество тайн и за внешним шумом скрывается странное и неведомое. Мне часто даже казалось, что мир только потому такой шумный, что за этим шумом удобнее скрыть неведомое, сохранить тайну, стоящую за людьми и вещами. Многое обнаруживалось совершенно неожиданно, и я открывал то, чего не искал. Но я не углублялся в свои открытия, ибо я не настолько любопытен, чтобы во все вникать. Мне

достаточно было знать, что словоохотливый мир полон тайн. Я привык во всем сомневаться, но не потому, что ничему не верю, а потому, что считаю возможным решительно все. Вот какой я старик. Я знаю истории и случаи, которые кажутся невероятными, а все-таки бывают на свете. Один, я знаю, рядился в царские ризы и умащался елеем радости, а потом, вместо знатности и высокого чина, его уделом стали пустыня и горе...

Тут купец вдруг осекся и заморгал глазами, ибо заданное направление его речи, ее продолжение, которое должно было теперь последовать, хотя он и не предусмотрел, что оно должно будет последовать, заставило его призадуматься. Есть хорошо укатанные колеи мыслей, колеи, из которых не выберешься, если уж ты туда угодил; существуют привычно-устойчивые сочетания понятий, сочлененных друг с другом, как звенья одной цепи, и тот, кто сказал "а", не может, по крайней мере мысленно, не сказать "б"; эти сочетания похожи на звенья цепи еще по одной причине: земное и небесное сцеплены в них таким образом, что одно непременно заставляет заговорить или умолчать о другом. Так уж устроено, что человек думает по преимуществу готовыми формулами, то есть не так, как он пожелает, а как, насколько он помнит, принято, и, едва упомянув о том, чьим уделом вместо величия и блеска стали пустыня и горе, старик уже оказался в области шаблонов божественных. А они неизбежно влекли за собой заключительные слова о возвышении униженного, ставшего спасителем человечества и зачинателем новой эры, и это-то и привело доброго старика в немое смущение.

Не в такое уж сильное, нет, это была всего лишь пристойная дань уважения, отданная человеком практическим, но от природы порядочным сфере священно-возвышенного. Если это смущение переросло в подобие тревоги, в глубокое замешательство и даже в испуг, испуг, впрочем, мимолетный и едва ли осознанный, то виною тому была лишь встреча, которая произошла тут между глазами моргавшего старика и глазами стоявшего перед ним Иосифа и которая, в сущности, даже не должна быть названа встречей, так как взгляд Иосифа, собственно, не "встретил" взгляда хозяина, то есть не парировал этот взгляд, а только принял его, только тихо и не таясь открыл ему свою многозначительно-укоризненную темноту. Пытаясь понять этот немой укор, уже многие вот так же оторопело моргали глазами, как моргал ими сейчас встревоженный измаильтянин, недоумевая, что это за необычную и, возможно даже, небезопасную сделку заключил он с незнакомыми пастухами и что представляет собою его приобретение. Но ведь выяснению этого вопроса как раз и служил весь вечерний разговор, нами переданный, и если точка зрения, с которой старик его выяснял, на секунду сдвинулась в область небесно-историческую, то в конце концов нет ни одной вещи на свете, на которую нельзя было бы взглянуть и с такой стороны; но человек дельный отлично различает аспекты и сферы и без труда возвращается к практической стороне дела.

Старику достаточно было откашляться, чтобы перейти именно к этой стороне.

- Гм, - сказал он. - Одним словом, твой господин немало поездил между реками и знает, что бывает на свете. Не тебе, сын болота и исчадье колодца, его учить. Я купил твое тело и твои способности, но вовсе не твое сердце, которое я не могу заставить открыть мне твои обстоятельства. Не говоря уж о том, что у меня нет никакой нужды в них вникать, любопытство к ним даже неразумно и может пойти мне во вред. Я нашел тебя и вернул тебе жизнь, но покупать тебя не входило в мои намерения хотя бы потому, что я не знал, можешь ли ты быть продан. Я не рассчитывал в данном случае ни на какую сделку, разве только на обычную мзду за возвращение утерянного или на выкуп. Однако из-за твоей особы завязался торг; я начал его для проверки. Испытания ради я сказал: "Продайте мне его", - и если можно считать, что подобное испытание решает дело, то дело решилось, ибо пастухи согласились тебя продать. Я заполучил тебя после тяжкого и упорного торга, ибо они были неуступчивы. Двадцать сиклей серебра общепринятым весом отдал я за

тебя и ничего не остался им должен. Что можно сказать о такой цене? Цена средняя, не так чтобы очень "хорошая, однако же и не слишком плохая. Я мог бы добиться скидки на пороки, которые, как заявили пастухи, довели тебя до ямы. По твоим качествам я могу продать тебя дороже, чем купил, и нажиться как пожелаю. Что за корысть мне вникать в твои обстоятельства? Чего доброго, я узнаю, что дела твои ведомы одним лишь богам, а значит, тебя нельзя было, да и сейчас нельзя продавать, и я выбросил деньги на ветер, ибо если я перепродам тебя, то буду виновен в торговле краденым. Ступай, я не хочу ничего знать о твоей жизни, во всяком случае подробностей, чтобы не пачкаться и не брать на себя вины. С меня довольно догадки, что твоя жизнь несколько необычна и принадлежит к тем явлениям, в возможность которых я верю благодаря своей привычке во всем сомневаться. Ступай же, я говорил с тобой слишком долго, а сейчас пора спать. Что касается лепешек, то пеки их почаще, они довольно хороши, хотя необыкновенными назвать их нельзя. Еще я приказываю тебе получить у моего зятя Мибсама письменные принадлежности - листы, тростинки и тушь - и, пользуясь человеческим письмом, составить перечень имеющихся у нас товаров по их разновидностям - смол, мазей, ножей, ложек, тростей, светильников, а также обуви, светильного масла и цветного стекла. Наименования напишешь черной тушью, а вес и количество - красной, только без ошибок и клякс, и принесешь мне перечень не позже, чем через три дня. Понятно?

- Если приказано, то считай: сделано, - сказал Иосиф.

- Ну, так ступай.

- Да будет спокойной и сладкой твоя дремота, - сказал Иосиф. - Пусть в нее время от времени вплетаются легкие, приятные сны.

Минеец улыбнулся. И задумался об Иосифе.

## НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Когда они проехали еще три дня по берегу моря, опять наступил вечер и время привала, и место, где они устроили привал, на вид ничем не отличалось от того, где они расположились три дня назад; оно вполне могло бы сойти за прежнее место. К старику, сидевшему на циновке у входа в свое укрытие, явился Иосиф с лепешками и свитком в руках.

- Некий раб принес господину, что было велено.

Хлебцы старик отложил в сторону, а свиток развернул и, склонив голову набок, просмотрел. Работа Иосифа ему явно понравилась.

- Ни одной кляксы, - сказал он, - это хорошо. К тому же видно, что каждая черточка написана с удовольствием, со вкусом к красоте и со стремлением к изяществу. Список, надо полагать, соответствует действительности, так что он не только живописен, но и полезен. Приятно видеть столь исправный и четкий перечень своих товаров, где так единообразно обозначены разнородные вещи. Товар бывает смолистый и жирный, но купец не касается его руками, а орудует им в его письменном выражении. Вещи находятся там, но в то же время они и здесь, причем здесь они чисты, безуханны и обозримы. Такой список похож на Ка, на духовную плоть вещей, имеющуюся у них наряду с осязаемой плотью. Хорошо, что ты, как тебя, умеешь писать, да и в счете, как я заметил, ты кое-что смыслишь. И в красноречии ты, для твоих обстоятельств, тоже довольно силен: мне было отрадно слышать, как ты попрощался со мной три дня назад. Как ты сказал тогда?

- Не помню, - ответил Иосиф. - Вероятно, я пожелал тебе сладкой дремоты.

- Нет, ты выразился приятнее. Ничего, еще найдется повод и для такого оборота речи. Однако вот что хотел я тебе сказать: если у меня не окажется более важных забот, то на третьем и на четвертом привале я подумаю, как с тобой быть. Твоя участь, видимо, тяжела, ибо ты, конечно же, знавал лучшие дни, а теперь служишь пекарем и писцом у странствующего купца. Поэтому, продавая тебя в другие руки и стремясь благодаря незнанию твоих обстоятельств заработать на тебе как можно больше, я постараюсь и о тебе позаботиться.

- Ты очень добр.

- Я хочу отвести тебя в один известный мне дом, которому я уже не раз, к собственной выгоде и к выгоде этого дома, оказывал всяческие услуги. Это хороший дом, благоуханный дом, дом почета и высоких отличий. Благословен тот, скажу я тебе, кто принадлежит к этому дому, хотя бы и будучи последним его рабом, и нет на свете дома, где бы слуге скорей представился случай обнаружить свои недюжинные способности. Если тебе повезет и я устрою тебя в этом доме, то, значит, тебе выпал самый счастливый жребий, какой только мог выпасть, если принять во внимание твою вину и достойные наказания качества.

- А кому принадлежит этот дом?

- Вот именно - кому. Одному человеку, и это не просто человек, а владыка. Величайший из величайших, увешанный золотом славы, святой, строгий и добрый, которого ждет его могила на западе, пастырь людей, живое изображение бога. Имя его "носитель опахала одесную царя", но думаешь, он носит опахало? Как бы не так, это он предоставляет делать другим, сам он для этого слишком священное лицо, он носит не опахало, а только звание. Ты думаешь, я знаю этого человека, этот дар солнца? Нет, рядом с ним я всего лишь червяк, он меня вообще не замечает, да и я видел его только один раз, и то издали: он сидел в своем саду на высоком кресле, согнув одну руку в запястье, ибо повелевал, и я стушевался, чтобы не мозолить ему глаза и не мешать ему отдавать приказания, - хорошо бы я был иначе! Но с управителем его дома, человеком, под чьим началом находятся челядинцы, амбары и ремесленники и который всем ведает, я знаком лично и коротко. Он меня любит и, завидев меня, не упускает случая побалагурить. "Ну, старик, говорит он обычно, - ты опять здесь, опять пришел со своим товаром к нашему дому, чтобы нас одурачить?" Говорит он это, конечно, в шутку, думая, что купцу льстит, когда его называют продувной бестией, и мы оба смеемся. Ему-то я и хочу показать тебя и предложить, и если мой друг управляющий окажется в добром настроении и пожелает приобрести для дома молодого раба, считай, что ты устроен.

- А как зовут царя, чье золото славы носит хозяин этого дома?

Ему хотелось узнать, куда его везут и где находится дом, для которого предназначил его старик; но такой вопрос он задал не только поэтому. Ход мыслей Иосифа, помимо его сознания, определялся механизмом, восходившим к далеким, изначальным временам пращуров: в нем заговорил Авраам, дерзостно полагавший, что человек должен служить единственно и непосредственно высшему, Авраам, чьи помыслы, с презрением ко всяческому идолам и низшим богам, были устремлены только к высшему, только к всевышнему. В устах потомка этот вопрос получил сейчас более легкое и более светское звучание, и все же это был вопрос предка. С равнодушием слушал Иосиф об управляющем, хотя от того, по словам старика, непосредственно зависела его, Иосифа, судьба. Он испытывал презрение к старику за то, что тот был знаком только с управителем, а не с самим сановником, которому принадлежал дом. Но даже и хозяин

дома не очень-то его занимал. Над тем был еще более высокий владыка, самый высокий из всех, кого упомянул старик, и это был царь. К нему-то, единственно и непосредственно, относилось теперь любопытство Иосифа, и именно о нем спросили его уста, не подозревая, что сделали это не случайно и не произвольно, а по наследственному чекану.

- Как зовут царя? - повторил старик вопрос Иосифа. Неб-ма-ра-Амун-хотпе-Ниммуриа, - сказал он нараспев, словно читая молитву во время священнодействия.

Иосиф обомлел от испуга. До сих пор он стоял, скрестив руки за спиной; теперь он быстро разнял их и приложил ладони к щекам.

- Это фараон! - воскликнул он.

Мог ли он этого не понять? Имя, которое молитвенно пропел старик, было известно во всем мире, вплоть до чужеземных народов, о которых Иосиф знал от Елиезера, вплоть до Таршиша и Киттима, вплоть до Офира и крайнего на востоке Элама. Мог ли всезнайка Иосиф остаться равнодушным к этому имени? Если даже иные части имени, произнесенного стариком минейцем, такие, как "Владыка Правды - Ра" или "Амун-доволен", и были непонятны Иосифу, то сирийское добавление "Ниммуриа", что значит "Он идет к своей судьбе", должно было показать ему, о ком идет речь. Царей и пастырей было на свете много, в каждом городе - свой, и Иосиф потому так спокойно спросил старика, кого он имеет в виду, что ожидал услышать в ответ имя начальника одной из многих приморских крепостей, какого-нибудь Зурата, Рибадди, Абдашарата или Азиру. Задавая свой вопрос, он отнюдь не вкладывал в имя царя такого величественного и высокого смысла, отнюдь не связывал с ним такого божественного великолепия, каким потрясало это, услышанное от старика. Начертанное в продолговатом стоячем кольце, осененное соколиными крыльями, простертыми над ним самим солнцем, и находясь в конце славного, теряющегося в вечности ряда имен, обведенных такими же продолговатыми кольцами, имен, каждое из которых говорило о победоносных походах, далеко продвинутых пограничных камнях и роскошных, всемирно известных постройках, оно унаследовало такой священный блеск, такое величие и так требовало поклонения, что взволнованность Иосифа нетрудно было понять. Не испытывал ли он, однако, еще каких-то чувств, кроме благоговейного страха, который охватил бы на его месте, наверно, каждого? Да, испытывал, и это были упрямые чувства, они шли из той же дали, что и его вопрос о высшем владыке, и он невольно сразу же попытался исправить ими свои первые ощущения: насмешливое презрение к бесстыдно земному величию, тайный протест во имя бога против всего Нимродова царства - вот что побудило его отнять руки от щек и повторить свой возглас гораздо спокойнее, уже как простое утверждение:

- Это фараон.

- Ну, конечно, - сказал старик. - Это - Великий Дом, благодаря которому велик дом, куда я тебя хочу отвести и где я предложу тебя своему другу управляющему, чтобы ты попытал там счастья.

- Значит, ты хочешь отвести меня в Мицраим, в самый низ, в Страну Ила? - спросил Иосиф, чувствуя, как у него колотится сердце.

Старик покачал головой, склонив ее к плечу.

- Ты опять за свое, - сказал он. - Я уже слышал от сына Кедмы, что тебе втемяшилась в голову дурацкая мысль, будто мы тебя куда-то ведем, меж тем как мы просто-напросто следуем своей дорогой, как следовали бы ею и без тебя, а тебе суждено оказаться там, куда приведет нас наша дорога, только и всего. Я еду в Египет не для того, чтобы

доставить тебя туда, а потому, что хочу там выгодно обделать свои дела. Я накуплю там вещей, которые там превосходно изготавливают и которые пользуются спросом в других местах: муравленых воротников, походных стульев с красивыми ножками, подголовников, игральных шашек и складчатых набедренных повязок из полотна. Это я закуплю в мастерских и на рынках по самой дешевой цене, какую только назначат мне тамошние боги, и повезу обратно через горы Кенана, Ретену и Амора в страну Митанни на реке Фрат и в страну царя Хаттусила, где ценят такие вещи и заплатят за них с великой охотой сколько потребую. Ты говоришь о "Стране Ила", словно это какая-то дрянная страна, не то замешанная, как птичье гнездо, на навозе, не то похожая на невычищенный хлев. А между тем страна, куда я опять держу путь и где, возможно, оставлю тебя, - это благороднейшая страна земного круга, страна таких изысканных обычаев, что там ты покажешься себе диким быком, перед которым играют на лютне. Несчастный аму, ты вытаращишь глаза от удивления, когда увидишь страну на берегах божественного потока, страну, которая называется "страны", потому что она двойная и дважды увенчана, и где Мемпи, дом Птаха, - это весы стран. Там высятся перед пустыней ряды неслыханных взгорий и лежит лев с покрывалом на голове, Гор-эм-ахет, первенец творенья, тайна времен, у груди которого почил царь, дитя Тота, чья глава была вознесена во сне высочайшим обетованием. У тебя глаза на лоб вылезут, когда ты увидишь все чудеса, всю роскошь и тонкость этой страны, именуемой Кеме, потому что земли ее черны от плодородия, а не красны, как несчастные земли пустыни. А благодаря чему они плодородны? Благодаря божественному потоку, и только по его милости. Ибо дождь и мужскую влагу эта страна получает не от неба, а от земли, когда бог Хапи, могучий бык, покрывает ее и целое время года не выпускает из своих благодатных объятий, оставляя ей черноту своей силы, чтобы можно было сеять и собирать стократные урожаи. А ты говоришь об этой стране так, словно это помойная яма.

Иосиф опустил голову. Он узнал, что находится на пути в царство мертвых, ибо эта привычка - считать Египет преисподней, а его население жителями Шеола - родилась вместе с Иосифом, и ничего другого, особенно от Иакова, он о Египте не слышал. Итак, его продадут в печальное подземное царство, вернее, братья уже продали его туда, и колодец был входом в ту дольную область, вполне ей соответствовавшим. Это было очень печально, тут кстати было проливать слезы. Однако радость, которую доставило Иосифу такое соответствие, уравнивала собою его печаль; ведь он почитал себя мертвым, а кровь ягненка своей настоящей кровью, и слова старика подтверждали теперь этот взгляд самым убедительным образом. Иосиф поневоле усмехнулся, хотя в пору было плакать о себе и об Иакове. Подумать только, его несет именно туда, в страну, внушавшую отцу великое отвращение, на родину Агари, в дурацкую землю Египетскую! Он вспомнил резко пристрастные описания, которыми отец пытался настроить против этой страны и его, Иосифа. Не имея о ней подлинного представления, Иаков видел в ней только такие ненавистные и отвратительные начала, как культ прошлого, заигрывание со смертью, нечувствительность к греху. Иосиф всегда был склонен относиться к этой картине с недоверием и питал к Египту то сочувственное любопытство, что, как правило, и бывает следствием отцовских нравоучений. Если бы только отец, степенный, добрый и всегда верный своим взглядам отец, знал, что его агнец направляется в Египет, в страну обнаженного Хама, как Иаков ее величал, потому что она называлась "Кеме" из-за черной плодородной земли, которую даровал ей ее бог! Такая путаница понятий ясно свидетельствовала о благочестивой предвзятости его суждений, - подумал Иосиф и усмехнулся.

Но его сыновья близость к Иакову сказала не только в таком неповиновении. Конечно, в этом путешествии в совершенно запретные края были и плутовская радость, и мальчишеское ликованье, и игривый интерес к ужасным нравам подземного царства. Однако ко всему этому примешивалась еще и некая молчаливая, кровная убежденность, которой бы так порадовался отец, - решимость потомка Аврама не обольщаться

чудесами, расписанными измаильтянином, и не очень-то восторгаться ожидающей его, Иосифа, пышной цивилизацией. Духовная, издали идущая насмешливость заставила его ухмыльнуться по поводу изысканного быта, который якобы его ждет, и заранее избавила его от ненужной робости, являющейся следствием чрезмерного восхищения.

- Находится ли дом, куда ты меня хочешь доставить, - спросил он, подняв глаза, - в доме Птаха, в Мемпи?

- О нет, - ответил старик, - нам придется подняться дальше, то есть я хочу сказать - спуститься дальше, вверх по реке из Страны Змеи в Страну Коршуна. Вопрос твой нелеп, ибо раз я сказал тебе, что хозяин дома зовется носителем опахала одесную царя, то, значит, он должен быть там же, где его величество добрый бог, и этот дом находится в городе Амуна, в Уазе.

Многое узнал Иосиф в тот вечер на берегу моря, много оказалось у него пищи для размышлений! Значит, его везут в самый Но, Но-Амун, всемирно известный город городов, о котором ведут беседы отдаленнейшие народы, утверждая, что в этом городе сто ворот и больше ста тысяч жителей. А вдруг Иосиф все-таки восхитится, увидев столицу мира? Он понимал, что должен заранее укрепиться в своем решении не предаваться обескураживающим восторгам. Он довольно равнодушно выпятил губы, но как ни старался он, радуя о боге, принять невозмутимый вид, ему не вполне удалось подавить смущение. Как-никак он побаивался Но, и главной причиной тому было имя Амуна, могущественное имя, способное испугать кого угодно, властно звучавшее и там, где этот бог был чужой. Известие, что ему предстоит вступить в подведомственные этому богу пределы, не на шутку встревожило Иосифа. Амун, как Иосиф знал, был владыкой Египта, державным богом стран, царем богов. Он был величайшим богом - правда, только в глазах сыновей Египта. Но ведь среди сыновей Египта и предстояло жить Иосифу. Поэтому ему показалось полезным заговорить об Амуне, примериться к нему словом, и он сказал:

- Владыка Уазе, пребывающий в своем капище и на своем струге, - это, вероятно, один из самых величественных богов на свете?

- Один из самых величественных? - возмутился старик. - Ты говоришь, право, не лучше, чем соображаешь. Известно ли тебе, сколько хлебов, пирогов, пива, гусей и вина выставляет ему фараон? Это, да будет тебе известно, бог, не имеющий себе равных. У меня бы просто сил не хватило перечислить все богатства, движимые и недвижимые, которые он считает своей собственностью, а число его писцов, в чьем ведении все это и находится, равно числу звезд.

- Чудеса! - сказал Иосиф. - Судя по твоим словам, это очень богатый бог. Но спросил я тебя, строго говоря, не о его богатстве, а о его величии.

- Склонись перед ним, - посоветовал голос старика, - поскольку тебе предстоит жить в Египте, и не очень-то докапывайся до разницы между богатством и величием, как будто это не одно и то же, Амуну принадлежат все суда на морях и на реках, да и сами моря и реки. Он и море и суша. Он также и Тор-нутер, то есть Кедровые горы, где растет лес для его струга, называющегося "Могучее чело Амуна". В образе фараона он входит к Великой Супруге и зачинает во дворце Гора. Он - баал каждым своим членом, это тебе понятно? Он солнце, и имя ему - Амун-Ра, - это удовлетворяет твоим условиям величия или, может быть, не совсем?

- Я слышал, однако, - сказал Иосиф, - будто в темноте самой задней палаты он делается бараном?

- Слыхал, слышал... Ты говоришь в точности так же, как соображаешь, ничуть не лучше. Амун - овн, подобно тому как Бастет в Стране Устий кошка, а Великий Писец в Шмуне - то ибис, то обезьяна. Ибо они священны в своих животных, а животные - в них. Тебе придется многому научиться, если ты хочешь жить в этой стране и существовать в ней хотя бы на правах последнего из ее молодых рабов. Как ты увидишь бога, ежели не в животном? Существует триединство бога, человека и животного. При совокуплении божественного и животного начал получается человек, что видно на примере фараона, когда он на празднике, по старинному обычаю, нацепляет на себя хвост. А если животное совокупится с человеком, получится бог, и только в таком сочетании и можно увидеть и понять божественное начало. Поэтому Гекет, Великую Повитуху, ты видишь на стенах с головой жабы, а Анупа, Открывателя Дорог, с собачьей головой. В животном, в свою очередь, соединены бог и человек, и животное, будучи священным местом их соприкосновения и союза, по природе своей празднично и достопочтенно. Недаром среди праздников большим почетом пользуется тот, на котором в городе Джедете козел совокупляется с девственницей.

- Об этом я слышал, - сказал Иосиф. - Но одобряет ли господин мой такой обычай?

- Я? - спросил ма'онит. - Оставь старика в покое. Мы - странствующие купцы, посредники, наш дом везде и нигде, мы живем по правилу: "Чей хлеб едим, того и богу кадим". Запомни это мирское правило, тебе оно тоже пригодится.

- В Египте и в доме носителя опахала, - отвечал Иосиф, - я и слова не пророню против праздника покрытия. Но, говоря между нами, в слове "достопочтенный" есть некий подвох, некая западня. Ведь старое люди часто считают достопочтенным только из-за его старости, отождествляя, таким образом, разные вещи. Но достопочтенность старого иной раз обманчива, старое - это подчас просто-напросто пережиток давних времен, и тогда оно только кажется достопочтенным, будучи на самом деле мерзостью перед господом и гнусностью. Обряд, совершаемый над девушками в Джедете, представляется мне, по правде говоря, довольно гнусным.

- Как же это определишь? И вообще до чего мы дойдем, если каждый молокосос объявит себя средоточием мира и станет судить, что в мире священо, а что просто старо, что еще достопочтенно и что уже мерзко? Так, пожалуй, скоро и не осталось бы ничего святого! Не думаю, что ты будешь держать язык за зубами, скрывая свои неблагочестивые мысли. Ведь таким мыслям, как у тебя, свойственно слетать с языка - уж я это знаю.

- Находясь близ тебя, господин мой, легко научиться отождествлять достопочтенность и старость.

- Тра-та-та-та! Не рассыпайся передо мной мелким бесом, ибо я всего-навсего странствующий купец. Лучше намотай на ус мои советы, чтобы не попасть впросак у сынов Египта и не погубить себя своей болтовней. Ты явно не умеешь держать про себя свои мысли; так позаботься же, чтобы и самые мысли твои были правильны, а не только речи. Нет ничего благочестивее, чем единство бога, человека и животного в жертве. Размышляя о жертве, прими в соображение эти три начала, и они взаимно уничтожатся в ней, ибо в жертве присутствуют все три, и каждое становится на место другого. Вот почему в темноте самой задней палаты Амун оказывается жертвенным овном.

- Не пойму, что со мной творится, господин мой и покупатель, достопочтенный купец. Покуда я слушал твои наставления, совсем стемнело, и звезды сочатся рассеянным светом, похожим на алмазную пыль. Я должен протереть глаза, - прости, что я это делаю, - ибо передо мной все расплывается, и мне, хотя ты и сидишь вот здесь, на циновке,

кажется, что у тебя голова квакши, да и вся твоя дородная осанистость совсем как у жабы!

- Теперь ты видишь, что не умеешь держать про себя своих мыслей, как бы предосудительны они ни были? С чего бы это ты вдруг пожелал принять меня за жабу?

- Мои глаза не спрашивают, желаю я этого или нет. При свете звезд ты показался мне поразительно похожим на сидящую жабу. Ибо ты был Гекет, Великой Повитухой, когда меня родил колодец, а ты принял меня из чрева матери.

- Ну и болтун же ты! Тебе помогла появиться на свет отнюдь не великая повитуха. Лягушка Гекет зовется великой потому, что она помогала при втором рождении и воскресении Растерзанного, когда ему, как верят сыны Египта, достался в удел низ, а Гору - верх, и принесенный в жертву Усир стал первым правителем Запада, царем и судьей мертвых.

- Это мне нравится. Уж если уходишь на Запад, то надо, по крайней мере, стать \_первым\_ среди тамошних жителей. Ответь мне, однако, господин мой: неужели принесенный в жертву Усир столь велик в глазах сыновей Кеме, что Гекет стала Великой Лягушкой, потому что была родовспомогательницей его воскресения?

- Он необычайно велик.

- Более велик, чем Амун?

- Амун велик державностью, его слава устрашает чужеземные народы, и они валят для него свои кедры. Усир же. Растерзанный, велик любовью народа, всего народа от Джанета в устьях до острова слонов Иаба. Нет ни одного человека, начиная от чахоточного раба, таскающего тяжести среди болот и живущего миллионами жизней, и кончая фараоном, который живет в одиночестве одной-единственной жизнью и молится самому себе в своем храме, - так вот, нет никого, кто не знал бы его, не любил и не хотел бы, будь это только возможно, найти свою могилу в Аботе, у могилы Растерзанного. Но хоть это и невозможно, они все любят его от души и твердо надеются, когда настанет их час, стать равными с ним и обрести вечную жизнь.

- Стать как бог?

- Стать как бог и равными ему, то есть слиться с ним полностью. Умерший делается Усиром и получает имя Усир.

- Подумать только! Пощади меня, однако, господин мой, и, поучая меня, помоги моему бедному разуму, как ты помог мне выйти из лона колодца! Не так-то просто понять то, что ты рассказываешь мне здесь, среди ночи, возле уснувшего моря, о взглядах сынов Египта. Верно ли я понял, что, по их убеждению, смерть все видоизменяет и мертвец становится богом с бородой бога?

- Да, таково твердое убеждение всех жителей стран, от Зо'ана до Элефантины, они потому любят его так горячо и так дружно, что добыли его в долгой борьбе.

- Они завоевали это убеждение в тяжелой борьбе и терпели ради него до рассвета?

- Они добились, чтобы оно утвердилось. Ведь на первых порах один только фараон, один только Гор во дворце, приходил после смерти к Усири и, слившись с ним воедино, уподоблялся богу и обретал вечную жизнь. Но все эти чахоточные рабы, таскавшие

тяжелые статуи, все эти кирпичники, горшечники, пахари, рудокопы не сидели сложа руки, а боролись до тех пор, пока не утвердилось и не узаконилось убеждение, что и они, когда наступит их час, сделаются Усиром, будут называться Усир Хнемхотпе, Усир Рехмера и обретут вечную жизнь после смерти.

- Мне опять нравятся твои слова. Ты бранил меня за мое убеждение, что у каждого земного существа есть свой мир, средоточием которого оно и является. Но мне все-таки кажется, что сыны Египта разделяли это мнение, поскольку каждый пожелал стать после смерти Усиром, как на первых порах один фараон, и добились, чтобы оно утвердилось.

- Нет, глупость глупостью и осталась. Ведь у них средоточие мира - это не земное существо, не Хнемхотпе или Рехмера, а твердая надежда и вера, единая у всех, кто живет у Потока, будь то в верховье или в низовье, от устьев и до шестого порога, вера в Усира и его воскресение. Да будет тебе известно, что этот величайший бог умирал и воскресал не один раз; в равномерном чередовании времен он умирает и воскресает для сынов Кеме снова и снова; он спускается в преисподнюю, а затем опять вырывается наверх, ниспосылая стране свою благодать, Хапи, могучий бык, священный поток. Если сосчитать дни зимы, когда поток этот мал, а земля суха, то их окажется семьдесят два, ровно столько, сколько было у злобного осла Сета сподвижников, составивших заговор и заключивших царя в ковчег. Но в назначенный час Поток выходит из преисподней, он растет, набухает, разливается, множится, владыка хлеба, родоначальник всех благ, зачинатель всего живого, носящий имя "Кормилец страны". Ему приносят в жертву быков, из чего и видно, что бог и жертва едины; ведь на земле и в своем доме он сам предстает сыновьям Египта быком, черным быком Хапи со знаком луны на боку. А когда он умрет, его для сохранности начнут снадобьями и укутают пеленами, и он получит имя Усир-Хапи.

- Скажи на милость! - воскликнул Иосиф. - Значит, он, так же как Хнемхотпе и Рехмера, добился посмертного превращения в Усира?

- Ты что, насмешничаешь? - спросил старик. - Я плохо вижу тебя в мерцающем свете ночи, но на слух мне сдается, что ты насмешничаешь. Смотри же, не насмешничай в стране, куда я тебя, так и быть, отвезу, коль скоро уж я все равно туда еду, не глумись над убеждениями ее сыновей, и не воображай, будто ты со своим Аденом умнее всех. Научись уважать тамошние обычаи, если не хочешь попасть впросак. Я дал тебе кое-какие советы и указания, поболтав с тобой просто рассеяния ради, чтобы скоротать вечер, ибо я уже стар и сон зачастую бежит от меня. Никаких других причин говорить с тобой у меня не было. Теперь можешь попрощаться со мной, чтобы я попытался заснуть. Однако будь внимателен, выбирая обороты речи!

- Если приказано, то считай: сделано, - ответил Иосиф. - Но неужели же я позволил бы себе насмешничать, слушая любезные наставления моего господина, который сегодня вечером многому меня научил, чтобы я не попал впросак в земле Египетской? Он посвятил этого провинившегося негодяя в такие вещи, какие мне, неотесанному чурбану, никогда и не снились, настолько они новы и не общепонятны. Я не преминул бы тебя отблагодарить, если бы знал - как. Но поскольку я этого не знаю, я еще сегодня сделаю для тебя, моего благодетеля, то, чего не хотел делать, и отвечу, на вопрос, от которого я уклонился, когда ты задал его. Я назову тебе свое имя.

- Назовешь свое имя? - спросил старик. - Сделай это, а лучше, пожалуй, не делай этого; я ничего у тебя не допытывался, потому что я стар и осторожен, и мне лучше вовсе не знать твоих обстоятельств, чтобы не запутаться в них ненароком и не оказаться виновным из-за своего знания в неправом деле.

- Не бойся, - отвечал Иосиф. - Такая опасность тебе не грозит. Ведь должен ты хоть как-то именовать раба, передавая его этому благословенному дому в Амуновом городе.

- Ну, так как же тебя зовут?

- Узарсиф, - ответил Иосиф.

Старик промолчал. Хотя разделяло их только то малое расстояние, какого требовала простейшая вежливость, они видели друг друга смутными тенями.

- Хорошо, Узарсиф, - сказал через некоторое время старик. - Ты назвал мне свое имя. А теперь ступай, ибо с восходом солнца мы тронемся дальше.

- Прощай, - сказал в темноте Иосиф. - Пусть ночь ласково убаюкает тебя в своих объятьях и пусть голова твоя почит у нее на груди, как некогда твоя детская головка у материнского сердца!

## СОБЛАЗН

После того как Иосиф, сказав измаильтянину свое посмертное имя, открыл ему, как он хочет называться в земле Египетской, эти люди ехали вниз сначала еще несколько, потом еще много, а потом и совсем много дней, ехали с неопишуемой невозмутимостью и полным равнодушием ко времени, которое знали они - раньше или позже, если ему хоть как-то в этом содействовать, одолеет пространство, и особенно успешно при условии, что о нем, о времени, вообще не будут заботиться, предоставляя ему незаметно складывать пройденные отрезки пути, ничтожные по отдельности, и составлять из них большие расстояния, и продолжая жить как живется, почти независимо от того, куда ведет дорога.

Дорога их определялась морем, которое, справа от их песчаной тропы, вечно лежало под небом, спускавшимся в священную даль, то спокойное в своей серебрящейся синеве, то накатывая на привычный берег пенящиеся, могучие, как быки, волны. Туда и садилось солнце, глаз божий, изменчиво-неизменное, иногда в одиночестве чистоты, раскаленным шаром, проводя к берегу и к молящимся путникам сверкающую полосу по бескрайней воде, а иногда в торжественной пышности золотых и розовых красок, с чудесной наглядностью укреплявшей душу в небесных ее упованиях, или же в сумрачном пламени туч, тягостно свидетельствовавшем о грозном унынии божества. Зато восходило солнце не на виду, а за теми холмами и возвышавшимися над ними горами, что сокращали обзор с другой стороны, слева от путников; и туда, в глубь страны, где стелились возделанные поля, где волнистая местность была изрыта колodцами, а по ступенчатым склонам раскинулись сады, - туда тоже, в сторону от моря и локтей на полсотни выше его зеркала, они сворачивали не раз, держа путь между деревень, плативших оброк городам-крепостям, которые были объединены союзом князей - а главой этого союза была Газа, Хазати, могучая крепость на юге.

Они лежали на вершинах холмов, белые, опоясанные стенами и осененные пальмами, оплот и прибежище сельских жителей, крепости сарним, и так же, как на деревенских околицах, мидианиты устраивали торжища у ворот этих богатых людьми и храмами городов, предлагая жителям Экрона, Иабне, Асдода привезенные из-за Иордана товары. Иосиф исполнял в таких случаях обязанности писца. Он сидел и записывал кисточкой каждую сделку, которую удавалось заключить с неуступчивыми сынами Дагона, рыбаками, лодочниками, ремесленниками и княжескими наемными воинами в медных поножах, - Узарсиф, грамотный молодой раб, старающийся угодить своему господину. С каждым днем сердце этого раба тревожилось все сильнее и сильнее, легко догадаться почему. Не таким он был человеком, чтобы отдаваться потоку впечатлений слепо,

бездумно, не уяснив, где он находится и как расположено это место относительно других мест. Он знал, что ему предстоит со многими остановками и неторопливо-мешкотными привалами, по другой стране, несколько западнее, снова, но уже в обратном направлении, в сторону родины, проехать такой же путь, какой он проделал, едучи к братьям верхом на несчастной Хульде, и что скоро, проехав этот путь вторично, он окажется в точке, отстоящей от отцовского очага не больше, чем на половину дороги к братьям. Случиться же это должно было, по-видимому, в Асдоде, доме рыбообразного бога Дагона, здесь почитаемого, в бойком поселке в двух часах езды от моря и гавани, к которой вела шумная от непрерывных криков дорога, забитая людьми, повозками, волами и лошадьми; Иосиф знал, что по мере приближения к Газе линия берега все больше и больше отклоняется к западу, а следовательно, расстояние до нагорья внутренней, восточной части страны будет с каждым днем возрастать, не говоря уж о том, что скоро они начнут удаляться от Хевронской возвышенности на юг.

Вот почему сердце его было полно такого страха, таких искушений в этих местах и позднее, когда путники исподволь приближались к крепости Аскалуне. Он знал, что это за места: они ехали по Сефеле, низменности, тянувшейся вдоль взморья; а цепи гор, видневшихся на востоке, куда задумчиво глядели сейчас пытливые, такие же, как у Рахили, глаза, составляли вторую, более высокую, изрезанную долинами ступень страны филистимлян, и все круче поднималась к востоку земля, становясь все грубей, все суровой, расстилаясь глубинными пажитями, которых избегала пальма приморских равнин, и дыбась душистыми высокогорными выгонами, где паслись овцы, овцы Иакова... Ах, как все складывалось! Там, наверху, сидел Иаков, отчаявшийся, изошедший слезами, одержимый ужасной скорбью о боге, с кровавым знаком смерти Иосифа в бедных руках, - а здесь, внизу, у его ног, от одного города филистимлян к другому, мимо отцовского дома, молча, как ни в чем не бывало, с чужими людьми, в Шеол, в служилище смерти, спускался Иосиф! Как тут напрашивалась мысль о побеге! Как томило, как пронизывало его это желание, кружа ему голову половинчатыми, а в буйном воображении уже и выполненными решеньями - особенно вечерами, после того, как он прощался на ночь с купившим его стариком; а делал он это ежевечерне, ему было уже вменено в обязанность в конце каждого дня желать старому измаильтянину спокойной ночи - причем в самых изысканных оборотах речи и каждый раз новых, ибо иначе старик заявлял, что это он уже слышал. И особенно в темноте, когда они устраивали привал у какого-нибудь филистимского города или деревни и спутников Иосифа сковывал сон, его так и тянуло, так и влекло: сначала к этим вот ночным склонам, затем по лесистым ущельям и кручам, всего каких-нибудь восемь переходов, не больше, а уж дорогу-то, карабкаясь, Иосиф найдет - и выше в горы, в объятия Иакова, чтобы, сказав "вот я", осушить слезы отца и стать снова его любимцем.

Но исполнил ли он свое желанье и убежал ли? Да нет, ведь известно, что этого он не сделал. Призадумавшись, иной раз уже в самый последний миг, он все-таки преодолевал соблазн, отказывался от своего намерения и оставался на месте. Это бывало, кстати сказать, и всего удобнее, ибо бегство на свой страх сулило немало опасностей: он мог умереть с голоду, попасть в руки к разбойникам и убийцам, оказаться в когтях у диких зверей. И все же мы умалили бы его самоотречение, объяснив таковое лишь общим правилом, что бездействие, в силу свойственной людям косности, легко одерживает в их решениях победу над действием. Бывали случаи, когда Иосиф отказывался от физических действий, куда более приятных, чем скитания по горам. Нет, отказ, которым теперь, как и в том случае, что мы предусмотрительно имеем в виду, закончилось столь жгучее искушение, коренился в совершенно особом, свойственном именно Иосифу ходе мыслей, выразить который можно примерно так: "Ужели совершу я такую глупость и согрешу перед богом?" Иными словами, за этим отказом крылось сознание глупости и греховности мысли о бегстве, твердая убежденность, что он, Иосиф, совершил бы непростительную ошибку, если бы нарушил замыслы бога своим неповиновением. Иосиф

был уверен, что его не напрасно отторгли от дома, что у бога, который вырвал его из старой и теперь уводит в новую жизнь, есть на него, Иосифа, какие-то виды; и что проявить тут строптивость, уклониться от предначертанного, значило бы совершить грех и великую ошибку, а это, в глазах Иосифа, было одно и то же. Представление о грехе как об ошибке и роковом промахе, как о непростительном неповиновении мудрости божьей было в самой природе Иосифа, и опыт необычайно утвердил его в таком взгляде на грех. Он совершил достаточно много ошибок - в яме он понял это. Но поскольку из ямы его вывели и теперь, явно в согласии с неким замыслом, уводили все дальше и дальше, то, значит, и ошибки, совершенные им дотол, тоже входили в этот замысел, а значит, они тоже целесообразны и при всей их слепоте намечены богом. Дальнейшие же ошибки, как, например, бегство домой, будут, несомненно, от лукавого; они будут буквально означать, что он, Иосиф, хочет быть умнее самого бога, а такое желание, по его разумному суждению, было просто-напросто верхом глупости.

Стать снова любимцем отца? Нет, по-прежнему быть им, - но в новом, издавна желанном, издавна вожделенном смысле. Теперь, после ямы, жить надо было под знаком новой, более высокой избранности и предпочтенности, в горьком венце отторгнутости, хранимом для хранимых и отбереженном для отбереженных. Изорванный венчик, украшение жертвы - он, Иосиф, нес его теперь на себе по-новому - уже не в предвосхищающей игре, а воистину, то есть в душе, - так неужели же он откажется от него из-за дурацкого зова плоти? Нет, Иосиф вовсе не был так пошл, настолько лишен мудрости божьей, а в последний миг настолько глуп, чтобы пренебречь преимуществами своего положения. Знал он праздник по всем его частям или не знал? Был он, Иосиф, олицетворением праздника или не был? Должен ли он был с венком в волосах убежать с праздника, чтобы опять пасти скот со своими братьями? Соблазн был силен только для его плоти, но никак не для души. Иосиф преодолел его. Он поехал со своими хозяевами дальше, сначала мимо Иакова, потом прочь от него - Узарсиф, исчадь болота, Иосиф-эм-хеб, что по-египетски значит: "Иосиф на празднике".

## ВСТРЕЧА

Семнадцать дней? Нет, это путешествие продолжалось семь раз по семнадцати дней - имея в виду не точный счет, а просто очень большой срок; в конце концов было уже невозможно различить, сколько времени уходило из-за медлительности мидианитов и сколько - на истинное преодоление пространства. Они ехали по густо населенной, плодородной земле, украшенной масличными рощами, осененной пальмами, смоковницами, ореховыми деревьями, засеянной хлебом, орошаемой водой из глубоких колодцев, у которых толпились волы и верблюды. Небольшие крепости здешних царей находились подчас в открытом поле; они назывались стоянками и были укреплены стенами и башнями, где на зубцах стояли лучники, а из ворот выезжали на своих фыркающих упряжках возничие боевых колесниц; и даже с воинами царей измаильтяне без робости вступали в торговые переговоры. Селения, усадьбы, деревни при мигдалах так и манили задержаться, и путники, без долгих раздумий, задерживались на неделю-другую. Пока они добрались туда, где низменная прибрежная полоса перешла в крутую скалистую стену, на вершине которой лежал Аскалун, лето уже почти кончилось.

Священным и сильным городом был Аскалун. Камни его защитных стен, полукругом, так что они охватывали гавань, спускавшихся к морю, были, казалось, взгромождены великанами, его четырехгранный храм Дагона имел множество дворов, очень хороши были его роща и кишевший рыбой пруд его рощи, а его храм Астарот слыл более древним, чем любое другое святилище этой баалат. В песке под пальмами здесь сами собой росли небольшие душистые луковицы, дар Деркетто, владычицы Аскалуна. Их можно было продать в каком-нибудь другом месте. Старик велел набрать луку в мешочки, а на мешочках египетскими буквами написал; "Отборный аскалунский лук".

Оттуда, через свилеватые масличные леса, в тени которых паслись многочисленные стада, они добрались до Газы, или Хазати, продвинувшись теперь уже и в самом деле весьма далеко. Здесь они были уже почти в пределах Египта, ибо всякий раз, когда фараон, выступив снизу, с колесницами и пехотой, пробивался через горемычные страны Захи, Амор и Ретену к самому концу мира, чтобы на стенах храмов можно было высечь исполинские изображения, на которых левой рукой он держит за вихры головы пяти варваров сразу, а правой заносит над своими охваченными священным трепетом жертвами палицу, - Газа всегда бывала исходной точкой этого предприятия. Да и в неблагоприятных закоулках Газы можно было увидеть немало египтян. Иосиф внимательно их разглядывал. Они были широки в плечах, ходили в белом и задирали нос. И на побережье, и дальше от моря, в сторону Беэршивы, вино здесь было превосходно и очень дешево. Старик выменял столько кувшинов этого вина, что груза хватило на двух верблюдов, и написал на кувшинах: "Восьмижды доброе вино из Хазати".

Но как ни велик был путь, ими проделанный, прежде чем они достигли крепостенного города Газы - впереди их ждала самая трудная часть путешествия, по сравнению с которой долгое передвижение по стране филистимлян было просто забавой и детской игрой; ибо южнее Газы, где к потоку Египта спускалась песчаная прибрежная дорога, мир - измаильтяне, не раз бывавшие здесь, знали это - становился предельно негостеприимен, и перед плодородными равнинами рукавов Нила открывалось безотрадное подземное царство, ужасная страна, девятидневная мука, проклятая, опасная, омерзительная пустыня, где нельзя было мешкать, где двигаться нужно было как можно скорее, чтобы как можно скорее оставить эти места позади, - так что Газа была последним привалом перед Мицраимом. Поэтому старик, хозяин Иосифа, не торопился в путь, говоря, что торопиться придется и так еще слишком долго, а задержался в Газе на много дней, тем более что к путешествию через пустыню надлежало как следует подготовиться: запастись водой, подыскать проводника, да, собственно, и обзавестись оружием на случай встречи со странствующими разбойниками и недобрыми жителями песков, но от оружия наш старик решительно отказался, - во-первых, потому, что, по мудрости своей, считал его совершенно бесполезным; либо, сказал он, ты счастливо уйдешь от разбойников, - и тогда оружие не нужно, - либо они, на беду, настигнут тебя, а тогда все равно всех не перебеешь и уж кто-нибудь да останется, чтобы до нитки тебя обобрать. Купец, сказал он, должен полагаться на свое счастье, а не на копья и луки: это не его дело.

А во-вторых, проводник, которого он нанял на площади у ворот, там, где подобные люди и предлагали свои услуги путникам, вполне успокоил его насчет бродяг, заверив старика, что при таком вожатом, как он, никакого оружия вообще не нужно, ибо он, безупречный проводник, укажет самый безопасный путь через эти страшные земли, а поэтому было бы просто смешно, заручившись его помощью, тащить с собой еще и оружие. Как поразился Иосиф, как испугался он и вместе обрадовался, когда, не веря своим глазам, узнал в наемнике, присоединившемся к ним в утро отъезда и сразу возглавившем их маленький караван, того неприятно-услужливого юношу, что еще так недавно и уже так давно вел его из Шекема в Дофан.

Это был, вне всякого сомнения, он самый, хотя балахон, в который он был одет, несколько изменял его наружность. Однако маленькая голова и раздутая шея, красный рот и округлый, как плод, подбородок, а особенно усталый взгляд и некая жеманность в осанке исключали возможность ошибки, и остолбеневшему Иосифу показалось даже, что проводник, быстро прикрыв один глаз, но не изменившись в лице, подмигнул ему, что было одновременно намеком на их знакомство и призывом к молчанию. Это очень успокоило Иосифа; знакомство с проводником открывало его прежнюю жизнь больше, чем он считал нужным открыть измаильтянам, а из такого подмигиванья можно было

заклЮчить, что тот понимает это.

Но все-таки Иосифу не терпелось перекинуться с ним словом-другим, и когда путники под пенью погонщиков и звон бубенца головного верблюда оставили позади зеленую землю и перед ними легла пустынная сушь, Иосиф попросил у старика, позади которого он ехал, разрешенья еще раз на всякий случай узнать у вожатого, вполне ли тот уверен в себе.

- Ты боишься? - спросил купец.

- За всех, - ответил Иосиф. - Что же касается меня, то я впервые еду в этот проклятый край, и поэтому мне впору проливать слезы.

- Ну, что ж, расспроси его.

Иосиф подъехал к головному верблуду и сказал проводнику:

- Я уста господина. Он хочет знать, уверен ли ты в этой дороге.

Юноша поглядел на него, как и прежде, через плечо, едва приоткрыв глаза.

- Ты мог бы успокоить его своим опытом, - ответил он.

- Тес! - шепнул Иосиф. - Как ты здесь оказался?

- А ты? - спросил проводник.

- А, ладно! Не говори измаильтянам, что я ехал к своим братьям! прошептал Иосиф.

- Не беспокойся! - ответил юноша так же тихо, и на этом первый их разговор кончился.

Но когда, проехав день и другой, они углубились в пустыню, - солнце уже хмуро село за мертвые горы, и полчища туч, посредине серых, а по краям обагренных вечерней зарей, покрывали небо над желтой, как воск, песчаной равниной, сплошь в невысоких, поросших колючками барханах, - Иосифу опять представился случай поговорить с провожатым наедине. Часть путников расположилась у одного из таких наносных холмов, где из-за внезапного похолодания им пришлось развести костер из хвороста; и так как среди них был проводник, который обычно почти не общался ни с хозяевами, ни с рабами и, не вступая ни с кем в разговоры, только изо дня в день деловито советовался со стариком по поводу дороги, то Иосиф, покончив со своими обязанностями и пожелав господину блаженной дремоты, присоединился к этой компании и, сев рядом с вожатым, стал ждать, когда наконец односложная беседа заглохнет и путники начнут клевать носом. Дождавшись этого, он легонько толкнул своего соседа и сказал:

- Послушай, мне жаль, что я тогда не смог сдержать слово и, оставив тебя в беде, не вернулся к тебе.

Бросив на него через плечо усталый взгляд, проводник сразу же снова уставился на тлеющие угли.

- Ах, вот как, ты не смог? - отвечал он. - Ну, знаешь, такого бессовестного обманщика, как ты, я еще никогда не встречал. Я сиди себе и стереги осла до седьмой пятидесятницы, а он не возвращается, как обещал. Удивляюсь, что я вообще еще с тобой разговариваю, нет, в самом деле, я просто удивляюсь себе.

- Но ведь я же, ты слышишь, прошу извинения, - пробормотал Иосиф, - и я действительно не виноват, но ты этого не знаешь. Все было не так, как я думал, и вышло иначе, чем я ожидал. Я не мог вернуться к тебе при всем желании.

- Так я тебе и поверил. Глупости, пустые отговорки. Я мог бы ждать тебя до седьмой пятидесятницы...

- Но ведь ты же не ждал меня до седьмой пятидесятницы, а пошел своей дорогой, когда увидел, что я задерживаюсь. Да и не преувеличивай бремени, которое я против собственной воли на тебя возложил! Скажи мне лучше, что случилось с Хульдой после моего ухода?

- Хульда? Кто такая Хульда?

- "Кто такая" - сказано слишком громко, - отвечал Иосиф. - Я спрашиваю об ослице Хульде, на которой мы ехали, о моем белом верховом ослике из стойла отца.

- Ослик, ослик, белый верховой ослик, - передразнил его шепотом проводник. - Ты так нежно говоришь о своей собственности, что сразу видно все твое себялюбие. Такие-то люди потом и ведут себя бессовестно...

- Да нет же, - возразил Иосиф. - О Хульде я говорю нежно не ради себя, а ради нее, это было такое ласковое, такое осторожное животное. Отец мне доверил ее, и когда я вспоминаю ее курчавую челку, падавшую ей на глаза, у меня становится тепло на душе. Я не переставал думать о ней, расставшись с тобой, и гадал об ее участи даже в такие мгновения и в такие часы, которые были полны ужаса для меня самого. Да будет тебе известно, что, с тех пор как я добрался до Шекема, несчастья не покидают меня и уделом моим стало горькое злополучье.

- Не может быть, - сказал проводник, - мне просто не верится! Злополучье? Я в полном недоумении, мне кажется, что я ослышался. Ведь ты же ехал к своим братьям? Ведь ты же всегда улыбаешься людям, а люди тебе, потому что ты красив, как резные изображения, да и живется тебе легко?! Откуда же вдруг несчастья и горькое злополучье? Я никак этого не возьму в толк.

- Однако это так, - отвечал Иосиф. - Но, повторяю, несмотря ни на что, я ни на миг не переставал думать о бедной Хульде.

- Ну, что ж, - сказал проводник, - ну, что ж.

И, как прежде, кося, поворачивал глазами - быстро и странно.

- Ну, что ж, молодой раб Узарсиф, ты говоришь, а я слушаю. Вообще-то, пожалуй, не стоило бы вспоминать о каком-то осле при таких обстоятельствах, ибо что в нем проку теперь и что значит он по сравнению со всем остальным? Но я допускаю, что, тревожась об этой твари среди собственных бед, ты вел себя самым похвальным образом и такое поведение зачтется тебе.

- Но что же с ней случилось?

- С тварью-то? Гм, для человека моего пошиба это довольно-таки обидное занятие - сначала понапрасну стеречь какого-то осла, а потом еще отдавать отчет о не востребованном имуществе. Сам не знаю, как я дошел до этого. Но можешь быть спокоен. По последним моим впечатлениям, с бабкой ослицы дело обстояло отнюдь не

так плохо, как нам сперва показалось со страху. По всей видимости, она была вывихнута, но не сломана, то есть именно по видимости она была сломана, а на самом-то деле всего лишь вывихнута, пойми меня верно. Покуда я ждал тебя, у меня было предостаточно времени, чтобы заняться ногой ослицы, а когда у меня наконец иссякло терпение, Хульда была уже в состоянии передвигаться, хотя преимущественно только на трех ногах. Я сам приехал на ней в Дофан и пристроил ее в одном доме, которому, к его и к своей выгоде, не раз уже оказывал всяческие услуги, в первом доме этого города, принадлежащем одному тамошнему землевладельцу, в доме, где ей будет не хуже, чем в стойле твоего отца, так называемого Израиля.

- Правда? - воскликнул Иосиф тихо и радостно. - Кто бы мог подумать! Значит, она встала на ноги и пошла, и ты пристроил ее, и ей теперь хорошо?

- Очень хорошо, - подтвердил вожатый. - Ей просто повезло, что я устроил ее в доме этого землевладельца, ей просто выпал счастливый жребий.

- Иными словами, - сказал Иосиф, - ты продал ее в Дофане. А выручка?

- Ты спрашиваешь о выручке?

- Да, поскольку ты что-то выручил.

- Я оплатил ею услуги, которые оказал тебе в качестве проводника и сторожа.

- Ах, вот как! Хорошо, не стану спрашивать, сколько ты выручил. Ну, а что стало со съестными припасами, навьюченными на Хульду?

- Неужели ты действительно думаешь об этой еде при теперешних обстоятельствах и полагаешь, что она хоть что-нибудь значит по сравнению со всем остальным?

- Не так уж много, но все-таки она там была.

- Ею я тоже возместил свои убытки.

- Ну, конечно, - сказал Иосиф, - ведь ты начал заблаговременно возмещать их уже у меня за спиной, - я имею в виду некую толику вяленых фруктов и луку. Но я не в обиде, возможно, что ты сделал это с самыми благочестивыми намерениями, а для меня важнее всего твои хорошие стороны. Ты поставил Хульду на ноги, и за это я действительно благодарен тебе, как благодарен и счастливому случаю, по милости которого я встретил тебя, чтобы об этом узнать.

- Вот и опять, кошель с ветром, мне приходится выводить тебя на дорогу, чтобы ты достиг своей цели, - сказал проводник. - А по сердцу, а к лицу ли мне такое занятие? - спрашиваю я себя иногда в душе, и спрашиваю напрасно, потому что больше никто меня об этом не спрашивает.

- Ты опять начинаешь брюзжать, - ответил Иосиф, - как тогда ночью, на пути в Дофан, когда ты сам вызвался помочь мне найти братьев, а делал это с неудовольствием? Но на сей раз мне незачем упрекать себя в том, что я тебя утруждаю, ибо ты подрядился провести через эту пустыню измаильтян, а уж я оказался здесь по чистой случайности.

- Тебя или измаильтян - все едино.

- Только не говори этого измаильтянам, ибо они пекутся о своей чести и им неприятно

слышать, что в известной мере они тронулись в путь только затем, чтобы я достиг места, назначенного мне богом.

Проводник промолчал и погрузил подбородок в шейный платок. Не поворачивал ли он при этом глазами? Вполне возможно, но из-за темноты этого нельзя было определить с уверенностью.

- А кому, - сказал он не без усилия, - кому приятно услышать, что он только орудие? И особенно - услышать такое от какого-то молокососа? С твоей стороны, молодой раб Узарсиф, это просто наглость, но с другой стороны, как раз это я и имею в виду, утверждая, что все едино, и значит, вполне возможно, что измаильтяне тут сбоку припека, а стало быть, я вывожу на дорогу опять же тебя - ну, что ж, ничего не поделаешь! Мне за это время привелось сторожить и колодец, не говоря уж об осле.

- Колодец?

- Как только дело касалось колодца, мне всегда приходилось брать на себя такую службу. Это была самая пустая яма из всех, какие мне когда-либо попадались, более пустой она уже не могла быть, она была прямо-таки до смешного пуста, - посуди сам, какая у меня почетная и лестная роль. Возможно, впрочем, что в данном случае в пустоте-то и было все дело.

- А камень был отвален?

- Конечно, ведь я же сидел на нем и продолжал сидеть, хотя незнакомцу очень хотелось, чтобы я исчез.

- Какому незнакомцу?

- Да тому, который по глупости прокрался к колодцу. Это был громадный детина с огромными, как колонны храма, ножищами, но с тонким голосом при таком могучем теле.

- Рувим! - почти забыв об осторожности, воскликнул Иосиф.

- Называй его как хочешь, но это был глупый великан. Явиться с веревками и кафтаном к такому настораживающе пустому колодцу...

- Он хотел спасти меня! - догадался Иосиф.

- Возможно, - сказал проводник и как-то по-женски зевнул, жеманно прикрыв рукой рот и тихонько вздохнув. - Он тоже играл свою роль, добавил он уже невнятно, ибо уткнул подбородок и рот в шейный платок, не скрывая, что его клонит ко сну. Потом Иосиф услышал несвязное, ворчливое бормотанье:

- Не придавать значения... Просто шутка и намек... Молокосос... Ожидание...

Никакого толку от него больше нельзя было добиться, и в течение всего дальнейшего путешествия через пустыню Иосиф больше не заговаривал с вожатым и сторожем.

## КРЕПОСТЬ ЗЕЛ

Изо дня в день, вслед за бубенцом головного верблюда, от одной колодезной стоянки к другой, они терпеливо ехали через эту мерзость, и когда миновало наконец девять дней,

нарадоваться не могли своему счастью. Проводник не солгал, он знал свое дело. Он даже тогда не сбивался с пути и не отклонялся от дороги, когда они оказывались среди беспорядка гор, которые были, однако, не настоящими горами, а нагромождениями сероватых, причудливых по очертаниям обломков песчаника и не как камень, а как руда, черновато отсвечивающих глыб, высившихся в тусклом своем блеске наподобие железного города. И даже тогда, когда целыми днями никакой дороги в наземном смысле этого слова вообще не было, когда мир, превратившись в проклятое дно морское, охватывал их своей пугающей беспредельностью, до самой кромки поблекшего от жары неба полный мертвенно-фиолетового песка, и они ехали по барханам, гребни которых волнисто, с гнетущим изяществом, взморщил ветер, а понизу, над равниной, дрожало марево зноя, вот-вот, казалось, готовое вспыхнуть пляшущим пламенем, и в нем, клубясь, вихрился песок, так что путники закутывали головы при виде столь злобного ликования смерти, предпочитая продвигаться вперед вслепую, чтобы только поскорей миновать этот страшный край.

Часто у дороги лежали белые кости, - то клетка ребер, то мосол верблюда, а то и высохшие человеческие останки торчали в этой восковой пыли. Путники морщились и сохраняли надежду. Было два дня, когда между полуднем и вечером впереди них, словно бы указывая им дорогу, двигался огромный огненный столб. Хотя они знали природу этого явления, их отношение к нему определялось не только его естественной стороной. Они знали, что это пламенеют на солнце летучие вихри пыли. Однако они с почтительной многозначительностью говорили друг другу: "Впереди нас движется огненный столп". Если бы столь важное знаменье внезапно исчезло на их глазах, это было бы ужасно, ибо тогда, всего вероятнее, последовала бы пыльная буря абубу. Но столб не падал, а лишь причудливо менял свои очертанья и постепенно рассеялся на северо-восточном ветру. Этот ветер оставался им верен все девять дней; их счастье сковывало южный ветер, не давая ему осушить их мехи и отнять у них влагу жизни. А уж на девятый день они были вне всякой опасности и, уйдя от ужасов пустыни, нарадоваться не могли своему счастью; ибо оставшаяся часть дороги через пустыню была уже обжита Египтом, который, глубоко вторгшись в этот горемычный край, на каждом шагу защищал свои подступы бастионами, сторожевыми башнями у колодцев и земляными валами, где под началом египтян несли службу небольшие отряды нубийских лучников - эти носили в волосах страусовые перья - и секироносцев-ливийцев, неприветливо окликавших путников, чтобы допросить их, откуда и куда они едут.

Весело и умно беседуя с воинами, старик легко убеждал их в чистоте своих намерений и завоевывал их расположение маленькими подарками из своего товара - ножами, светильниками, аскалунским луком. Так и шли они от караула к караулу - хоть и не очень-то быстро, но бодро, ибо шутить с воинами было все-таки много приятнее, чем пробираться через железный город или по белесому дну морскому. Путешественники, однако, отлично знали, что эти стоянки - лишь предварительная проверка, что самое придирчивое испытание их порядочности и благонадежности им еще предстоит, - и что произойдет оно у той могучей и неминуемой заставы, которую старик называл "стеной властителей" и которая еще в древности была воздвигнута на перешейке между горькими озерами на тот случай, если дикари шосу и жители пыли погонят свой скот на фараоновы пастбища.

С возвышенности, где они устроили на закате привал, оглядывали путешественники эти грозные сооружения и приспособления боязливой и надменной обороны, через которые старику, благодаря его приветливой общительности, не раз уже, и при въезде и при выезде, удавалось пройти, так что он не испытывал перед ними особого страха и совершенно спокойно показывал своим спутникам, длинную зубчатую стену с башнями, что поднималась за каналами, соединявшими цепь больших и малых озер. Приблизительно посредине стены, если считать по длине, над водой был переброшен

мост, но именно здесь, по обе стороны перехода, крепость была особенно внушительна: окруженные собственными каменными оградями, здесь грузно высились тяжелые двухъярусные укрепления, стены и выступы которых тянулись замысловато изломанной линией и, неприступности ради, завершались парапетами; со всех сторон здесь виднелись зубчатые четырехгранные башни, бастионы, ворота для вылазок, оборонительные площадки, а в узких частях строений решетчатые оконца. Это была крепость Зел, боязливо-могущественная защита изнеженной, счастливой и уязвимой земли Египетской от пустыни, разбоя и восточного горемычья, - старик называл эту твердыню по имени, он не боялся ее, но его слишком уж пространные рассуждения о том, что ему при его чистой совести должно быть, да и в самом деле будет очень легко пройти через эту преграду, создавали впечатление, что он подбадривает себя такими речами.

- Разве, - говорил он, - у меня нет письма от знакомого купца из Гилеада, что за Иорданом, к знакомому купцу в Джанете, или, иначе, Зо'ане, построенном на семь лет позже Хеврона? Нет, у меня есть такое письмо, и вы увидите, что оно отворит нам любую дверь". Ведь важно только предъявить какое-нибудь писание, чтобы дать людям Египта возможность опять что-нибудь написать и послать это куда-нибудь, где это опять-таки переписут учета ради. Конечно, без письма тебе дорога закрыта; но если ты можешь предъявить им какое-нибудь удостоверение, будь то черепок или свиток, они сразу становятся другими людьми. Ибо хоть они и говорят, что высший их бог - это Амун или Обиталище Ока - Усир, я отлично знаю, что, в сущности, это писец Тот. Вот увидите, если только выйдет на стену Горваз, молодой писец и начальник, с которым я давно уже состою в дружеских отношениях, и мне удастся поговорить с ним, дело сразу уладится и мы пройдем. А уж когда мы окажемся по ту сторону крепости, никто больше не станет проверять нашей благонадежности, и мы свободно проедем через любую область, следуя против течения реки, куда захотим. Давайте раскинем здесь шатры и переночуем, ибо сегодня мой друг Гор-ваз уже не выйдет на стену. А завтра, перед тем как испрашивать пропуск в крепости Зел, мы должны будем умыться водой и стряхнуть пыль пустыни с нашей одежды, а также очистить от нее уши и ногти, чтобы показаться им людьми, а не какими-то грязными зайцами; а еще, ребята, вам придется смазать волосы сладким маслом, подвести глаза и вообще навести лоск на себя, ибо нищета внушает им недоверие, а дикость приводит их в ужас.

И путники поступили так, как сказал старик, они переночевали там, где остановились, а утром навели красоту, поскольку это было возможно после столь долгого путешествия по такому ужасному краю. Во время этих приготовлений случилось, однако, нечто неожиданное: проводника, нанятого стариком в Газе и уверенно ведшего их через пустыню, не оказалось на месте, и никто не мог с определенностью сказать, когда он исчез - еще ночью или куда они прихорашивались перед тем, как появиться у крепости Зел. Когда проводника случайно хватились, его уже не было, хотя тот верблюд с бубенцом, на котором он ехал, остался, да и жалованья незнакомец у старика не получил.

Они не стали горевать, а только покачали головами, тем более что уже не нуждались в проводнике, который к тому же не был приветливым и словоохотливым спутником. Они подивились такому обороту дела, и лишь непонятность случившегося и тревога, какую всегда оставляет у нас не оплаченный нами долг, несколько уменьшали удовольствие старика по поводу этого неожиданного сокращения расходов. Старик, впрочем, полагал, что когда-нибудь проводник еще явится, чтобы получить причитающееся. Иосиф счел возможным, что тот тайком получил уже больше, чем причиталось, и предложил проверить сохранность товаров; но проверка показала, что Иосиф ошибся. Больше всех это удивило его самого: он поразился непоследовательности своего знакомого, его равнодушию к наживе, которое никак не вязалось с его явным корыстолюбием. За дружеские, добровольно оказанные услуги он взыскал непомерную плату, а честно заработанным пренебрег. Но об этих несообразностях нельзя было говорить с

измаильтянами, а невысказанное быстро забывается. И потом, у всех было сейчас слишком много других забот, чтобы думать об этом капризном проводнике; ибо, вытерев уши и подведя глаза, они направились к озерам и к Стене Властителей и около полудня достигли предмостной крепости Зел.

Ах, вблизи она была еще страшнее, чем издали, эта двойная крепость, которую нельзя было взять никакой силой, благодаря ее бастиянам, башням и вышкам; зубцы ее были усеяны воинами высоты в кольчугах и с меховыми щитами на спинах; они стояли, сжав кулаками копья и опершись подбородком на кулаки, и поистине свысока глядели на приближавшихся. Позади них сновали начальники в коротких париках и белых рубахах. Эти не обращали на путников никакого внимания; но передние часовые подняли руки, приставили трубой, подпирая плечом копье, ладони к губам и закричали:

- Назад! Кругом! Крепость Зел! Хода нет! Забросаем копьями!

- Пускай кричат, - сказал старик. - Сохраняйте спокойствие. Все не так страшно, как можно подумать. Покажем, что мы пришли с мирными намереньями, медленно, но уверенно продолжая свой путь. Разве у меня нет письма от знакомого купца? Уж как-нибудь да пройдем.

И, показывая, что они пришли с мирными намереньями, путники продолжали двигаться прямо к зубчатой стене, к ее середине, где находились ворота, а за этими воротами - большие ворота из меди, что вели к мосту. Над каменными воротами, высеченное в стене и размалеванное огненными красками, светилось огромное изображение голошеего грифона с распростертыми крыльями и с круглой скобой в когтях, а справа и слева от него из кирпичной кладки выступали на цоколях каменные очковые змеи с раздутыми головами - знак обороны; они стояли на животах, достигая высоты четырех футов, и были на вид очень гнусны.

- Поверните назад! - кричали часовые, стоявшие над внешними воротами и над изображением грифона. - Крепость Зел! Назад, грязные зайцы, ступайте в свое горемычье! Здесь хода нет!

- Вы ошибаетесь, воины Египта, - отвечал им, сидя на своем верблюде, старик. - Проход именно здесь, и больше нигде. Да и где же ему еще быть на этом перешейке? Мы люди сведущие, мы едем не наобум, мы отлично знаем, где проходят в вашу страну, ибо уже много раз ездили по этому мосту туда и оттуда.

- Говорят вам - назад! - кричали сверху. - Назад, назад, и только назад в пустыню, вот и весь сказ! В страну нет входа всяким там голодранцам!

- Кому вы это говорите? - отвечал старик. - Мне, которому это не только отлично известно, но который это от души одобряет? Ведь всяких там голодранцев и грязных зайцев я ненавижу не меньше вашего и очень хвалю вас за то, что вы не позволяете им осквернять вашу страну. Но посмотрите на нас, взгляните в наши лица! Разве мы похожи на бродяг и разбойников, разве у нас есть что-нибудь общее с синайской чернью! Разве наш вид внушает подозрение, что мы хотим разведать вашу страну с недобрыми умыслами! Или, может быть, мы гоним свои стада на пастбища фараона? Ничего подобного нет и в помине. Мы минейцы из Ма'она, странствующие купцы, люди самого почтенного образа мыслей, мы везем прекрасные чужеземные товары, которые могли бы вам показать, мы хотим обменять их у сынов Кеме на дары Иеора, или, как его здесь зовут, Хапи, чтобы отвезти эти дары на самый край света. Ибо настала пора обмена и торговых сношений, и мы, путешественники, ее служители и жрецы.

- Ну и чистые же у нее жрецы! Ну и пыльные же у нее жрецы! Все вранье! - кричали воины сверху.

Но старик не сдался, а только снисходительно покачал головой.

- Как будто я их не знаю, - тихонько сказал он своим спутникам. - Они всегда ведут себя так, всегда на всякий случай чинят препятствия, чтобы ты предпочел уйти подброду. Но назад я еще ни разу не поворачивал, пройду и на этот раз. Эй, воины фараона, - закричал он им снова, коричнево-красные добрые воины! Мне доставляет величайшее удовольствие беседовать с вами, ибо вы люди веселого нрава. Но вообще-то мне хотелось бы поговорить с молодым начальником отряда Гор-вазом, который пропустил меня в прошлый раз. Будьте добры, вызовите его на стену! Я предъявлю ему письмо, что везу в Зо'ан. Письмо! - повторил он. - Писание! Тут! Павиан Джхути!

Он прокричал им это с усмешкой, полузадиристо-полуугодливо, как называют людям, в которых видят не столько отдельных лиц, сколько представителей определенного и в общих чертах известного миру народа, какое-нибудь широко распространенное словцо, которое, став уже неким нарицательным именем, шутливо связывается у всех с представлением об этом народе. Они тоже засмеялись, хотя, возможно, всего лишь над обычным для чужеземцев неверным представлением, будто каждый египтянин одержим страстью к писанию, но, конечно, на них произвело впечатление то, что старик знал имя одного из их предводителей; ибо, посоветовавшись между собой, они ответили измаильтянину, что начальник отряда Гор-ваз уехал по служебным делам в город Сент и вернется не раньше, чем через три дня.

- Какая досада! - сказал старик. - Какая это неудача, воины Египта! Три дня, три черных дня новолуния без нашего друга Гор-ваза! Придется подождать. Мы подождем здесь, дорогие копьеносцы, его возвращения. Только соблаговолите вызвать его на стену сразу же по его возвращении из Сента, сказав ему, что его знакомые минейцы из Ма'она прибыли сюда с письмом!

И они действительно разбили шатры в песках перед крепостью и провели три дня в ожидании знакомого начальника, поддерживая добрые отношения с людьми стены, которые время от времени приходили к ним поглядеть на их товар и поторговать с ними. Тем временем прибыли и другие путники: они явились сюда с юга, со стороны Синая, держа путь вдоль горьких озер, и тоже хотели вступить в Египет: это был довольно оборванный, диковатый народ. Они стали ждать вместе с измаильтянами, и когда наконец срок настал и Гор-ваз вернулся, воины отворили ворота стены и впустили всех ожидавших во двор перед воротами моста, где те прождали еще несколько часов, прежде чем этот молодой начальник показался на лестнице и, спустившись на своих тонких ногах, остановился на нижней ступеньке. Начальника сопровождали два человека, один нес его письменные принадлежности, другой - знамя с головой овна. Гор-ваз сделал знак, чтобы просители подошли к нему.

Голову его покрывал каштановый, с прямым обрезом на лбу парик, до ушей зеркально-гладкий, а ниже - в мелких, спускавшихся на плечи завитках. К его панцирному камзолу со знаком отличия в виде бронзовой мухи не очень-то подходили нежные складки видневшейся из-под панциря белоснежной полотняной рубахи с короткими рукавами, равно как и мелкие сборки передника, прикрывавшие наискось его подколенные впадины. Путники приветствовали его самым почтительным образом; но сколь жалки ни были они в его глазах, он ответил на их приветствие, пожалуй, еще вежливее, с какой-то даже нелепой учтивостью, по-кошачьи взгорбив спину, но откинув назад голову с такой любезной улыбкой, как будто он целовал воздух вытянутыми вперед губами, и подняв по направлению к путникам коричневатую, очень длинную и тонкую руку, украшенную у

запястья браслетом, а у плеча сборками короткого рукава. Впрочем, движения его были быстры и ловки, так что вся эта витиеватая, преувеличенно выразительная пантомима длилась не больше мгновенья; ясно было, - особенно отметил это Иосиф, - что все это делалось не ради них, а в знак уважения к цивилизации, из чувства собственного достоинства... У Гор-ваза было курносое, мальчишеское и в то же время немолодое лицо с подведенными глазами и резкими морщинами возле все время выпячивавшихся и улыбающихся губ.

- Кто это? - быстро спросил он по-египетски. - Люди горемычья, которые в таком великом множестве хотят вступить в наши страны?

Слово "горемычье" не имело в его устах бранного смысла; он просто называл так чужие земли. Но к "великому множеству" он отнес обе части путников, не отличая мидианитов с Иосифом от синайцев, которые даже пали перед ним наземь.

- Вас слишком много, - продолжал он с укором. - Каждый день отовсюду, будь то из Земли Бога или с гор Шу, прибывают люди, желающие вступить в нашу страну. Ну, если не каждый день, то почти каждый день. Не далее как третьего дня я пропустил нескольких человек из страны Упи и с горы Усер, ибо они везли письма. Я писец больших ворот, который составляет отчеты о делах стран, а это для человека толкового прекраснейшее занятие. Моя ответственность чрезвычайно велика. Откуда вы явились и что вам угодно? Какие у вас намерения - добрые или не очень добрые или, может быть, вовсе злые, так что вас нужно либо прогнать назад, либо сразу же сделать бледными трупами? Вы явились из Кадеша и Тубихи или из города Хэра? Пусть скажет это ваш главарь! Если вы явились из гавани Сура, то мне известно это горемычное место, куда доставляют воду на лодках. Да и вообще мы хорошо знаем чужие земли, ибо мы покорили их и взимаем с них дань... Но прежде всего, сумеете ли вы прожить? Я хочу сказать: есть ли у вас пища и способны ли вы так или иначе себя прокормить, не становясь обузой для государства и не прибегая к воровству? Если способны, то где соответствующее удостоверение, где письменное поручительство в том, что вы сумеете так или иначе прожить? Есть ли у вас письма к тому или иному гражданину стран? Если есть, то предъявите их. А если нет, то вам придется вернуться.

Старик приблизился к нему с умным и кротким видом.

- Ты здесь как фараон, - сказал он, - и если я не пугаюсь твоей важности и не запинаясь от страха при виде твоего могущества, то лишь потому, что стою перед тобой не впервые и уже изведаль твою доброту, мудрый начальник!

И он напомнил ему, что тогда-то и тогда-то, не то два года назад, не то четыре, он, купец-минеец, проходил здесь в последний раз и тогда впервые имел дело с начальником отряда Гор-вазом, который, видя чистоту его намерений, не чинил ему никаких препятствий. Гор-вазу и в самом деле смутно припомнились борода и косо посаженная голова этого старика, который говорил по-египетски как человек; поэтому Гор-ваз благосклонно выслушал его ответы на заданные вопросы: что явился он с самыми добрыми намерениями, а не с не очень добрыми и уж никак не со злыми; что, разъезжая по торговым делам, он переправился через Иордан, миновал страну Пелешет и пустыню и что сумеет со своими людьми отлично прожить и прокормиться, о чем свидетельствуют ценные товары, навьюченные на спины его верблюдов. Что же касается его связей в Египте, то вот письмо - и старик развернул перед начальником свиток лощеной козлиной кожи, на котором один купец из Гилеада написал ханаанским уставом несколько рекомендательных слов одному купцу в Дельте, в Джанете.

Тонкие пальцы Гор-ваза - причем пальцы обеих рук - с нежностью потянулись к письму.

Он плохо разобрал написанное, но, узнав в уголке свитка свою собственную пометку, понял, что этот кусок кожи однажды уже предъявляли ему.

- Ты показываешь мне, - сказал он, - всегда одно и то же письмо, старый приятель. Так не годится, оно уже недействительно. Я не хочу больше видеть эти каракули, твое письмо устарело, добудь что-нибудь новое.

На это старик возразил, что его связи вовсе не исчерпываются джанетским купцом. Нет, сказал он, они простираются до самых Фив, до самой Узет, Амунова города, где он и намерен явиться в один дом, дом почета и высоких отличий, с управителем которого Монткау, сыном Ахмоса, он дружит с незапамятных пор, часто поставляя ему чужеземный товар. А дом этот принадлежит великому среди великих, Петепра, носителю опахала одесную.

Упоминание даже о столь косвенной связи со двором произвело на молодого начальника заметное впечатление.

- Клянусь жизнью царя, - сказал он, - выходит, что ты не совсем обычный проситель, и если твой азиатский язык не лжет, то это, конечно, меняет дело. Нет ли у тебя какого-нибудь письменного подтверждения твоего знакомства с сыном Ахмоса Монт-кау, который управляет домом этого носителя опахала? Очень жаль, ибо тогда твое дело весьма упростилось бы. Но как бы то ни было, ты способен назвать мне эти имена, а твой миролюбивый вид может сойти за свидетельство твоей правдивости.

Он сделал знак, чтобы подали письменные принадлежности, и его помощник поспешил вручить ему деревянную дощечку, на гладком гипсовом покрытии которой начальник отряда обычно делал черновые заметки, а также заостренную тростинку. Гор-ваз окунул тростинку в одну из чернильниц палитры, что держал стоявший возле него воин, стряхнул, творя возлияние, несколько капель на землю, размашисто поднес тростинку к дощечке и принялся писать, заставляя старика повторить все сведения, которые тот представил. Писал он стоя у знамени, уперев табличку в предплечье, изящно наклонившись вперед, слегка прищурив глаза, усердно, самодовольно, с явным наслаждением. "Проходите!" - объявил он затем и, вернув своему помощнику письменные принадлежности, сделал знакомый уже, до нелепого изощренный поклон и взбежал вверх по ступенькам лестницы. Кудлатобородому синайскому шейху, который все это время не поднимал лба от земли, так и не пришлось раскрыть рот. И его, и его людей Гор-ваз причислил к спутникам старика, так что в ведомства Фив, уже на отличном папирусе, должны были поступить весьма неточные сведения. Но из-за этого оплакивать Египет не стоило, ибо это не могло внести беспорядка в дела страны. Измаильтянам, во всяком случае, было всего важнее, что усилиями воинов Зела распахнулись медные створки ворот и открылся плавучий мост, по которому, с верблюдами и товарами, они и вступили в урочища Хапи.

Самым ничтожным из них, никем не замеченный и даже не упомянутый в грамоте Гор-ваза, прибыл Иосиф, сын Иакова, в землю Египетскую.

## РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ВСТУПЛЕНИЕ В ШЕОЛ

### ИОСИФ ВИДИТ ЗЕМЛЮ ГОСЕН И ПРИБЫВАЕТ В ПЕР-СОПД

Что он увидел там прежде всего? Это мы знаем с полной определенностью; об этом говорят обстоятельства путешествия. Путь, которым вели его измаильтяне, был предначертан им не только в одном смысле; он был predetermined также и географическими условиями, и хотя об этом мало задумывались, несомненно, что первой

пройденной Иосифом областью Египта была земля, обязанная своей известностью, чтобы не сказать: славой, не той роли, которую она играла в истории Египта, а той, которую она играла в истории Иосифа и его близких. Это была местность Госен.

Она называлась также Госем или Гошен, как угодно, как у кого выговаривалось, и принадлежала к округе Аравии, двадцатой округе страны Уто, Змеи, то есть Нижнего Египта. Находилась она в восточной части Дельты, почему Иосиф со своими вожатыми сразу же и вступил в нее, как только оставил позади себя соленые озера и пограничные укрепления; ничего великого и замечательного в ней не было, - Иосиф нашел, что покамест ему еще не очень грозит опасность потерять голову и впасть в ненужную робость при виде умопомрачительных чудес Мицраима.

Дикие гуси летели в хмуром, сеявшем мелкий дождь небе над однообразной, пересеченной канавами и плотинами болотистой местностью, на которой кое-где одиноко торчали то куст терновника, то смоковое дерево. Голенастые птицы, аисты и ибисы, стояли в камышах мутных от ила водоотводов, что тянулись вдоль насыпей, где проходила дорога. Осененные дум-пальмами деревни, с глиняными четырехугольниками своих амбаров, отражались в зеленоватых утячьих прудах точно такие же с виду, как деревни на родине, не ахти какая награда глазам за путешествие продолжительностью в седмижды семнадцать дней. Иосиф видел самую обыкновенную, несколько не поразительную землю, даже еще не "житницу", какой представлялась Кеме; крутом виднелись одни только луга и выгоны - влажные, правда, и тучные, сын пастуха с участием это отметил. Паслись здесь и стада - главным образом коров, белых и в рыжих пятнах, безрогих и с изогнутыми наподобие лиры рогами, - но также и овец; пастухи, укрепив на посохах папирусные циновки, прятались под ними от моросившего дождя со своими остроухими, как шакалы, собаками.

Скот, как рассказал старик своим спутникам, был по большей части нездешний. Землевладельцы и управляющие храмовыми стойлами далеких верховьев, где была только пахотная земля, а для скота приходилось сеять клевер, посылали на долгие месяцы свои стада на сочные травы этих болотистых лугов северного низовья, столь тучных благодаря пресноводным, достаточно глубоким для судоходства канавам, а также главному каналу, вдоль которого путники сейчас, кстати, и ехали и который вел их прямо к Пер-Сопду, самому древнему и священному городу этой округи. Там от одного из рукавов Хапи ответвлялась канава, соединявшая дельту потока с Горькими озерами. А озера, как утверждал старик, в свою очередь, соединялись каналом с морем Красной земли, короче говоря, с Красным морем, так что от Нила туда был прямой водный путь и из Амунова города можно было пройти под парусом вплоть до страны ладана Пунт, на что и отважились корабли Хатшепсут, женщины, которая некогда была фараоном и даже носила бороду Озириса.

Старик делился этими знаниями, ведя, как обычно, мудрую, непринужденную беседу. Иосиф, однако, слушал его невнимательно, не вникая в подвиги Хатшепсут, женщины, чье естество изменилось, благодаря ее царскому сану, настолько, что у нее выросла борода. Будет ли преувеличением отметить в его истории, что уже тогда мысли его проложили воздушный мост между этими лоснящимися лугами, с одной стороны, и оставшейся дома родней, отцом и маленьким Вениамином, с другой? Конечно, нет, - хотя мышление Иосифа было иного рода, чем наше, хотя оно определялось как бы несколькими мечтательными мотивами, составлявшими музыкальную основу его духовной жизни. Сейчас зазвучал один из них, с самого начала тесно связанный с мотивами "отрешения" и "возвышения", - мотив "продолжения и переселения рода". В противовес этому мотиву в музыке мыслей Иосифа выделился другой: мотив отцовской неприязни к стране отрешения; и он примирял их, он объединял оба мотива в стройном созвучии, говоря себе, что эти мирные пажити хоть уже и Египет, а все-таки еще не заправский, еще не во

всей своей мерзости, что такой Египет мог бы, пожалуй, прийтись по душе Иакову, царю стад, которому дома едва хватало земли. Он глядел на с гада, посланные сюда землевладельцами верховьев ради сочной травы, и живо ощущал, что мотив отрешения нужно сперва щедро дополнить мотивом возвышения, чтобы скот с верховьев уступил пастбища земли Госен другому скоту, иными словами, чтобы мотив "переселения" оказался на очереди. Он снова все взвесил и еще более утвердился во мнении, что если уж суждено идти на запад, то надо, по крайней мере, стать первым среди тамошних жителей...

А покамест он ехал со своими покупателями глинистым, отлогим, иногда окаймленным чахлыми пальмами берегом благодатного канала, по ровной поверхности которого навстречу им, на восток, медленно скользила вереница судов с очень высокими парусами на шатких мачтах. Двигаясь этим путем, нельзя было не выйти к Пер-Сопду, священному городу, оказавшемуся, когда они наконец достигли его, тесно застроенным, обнесенным непомерно высокими стенами и довольно-таки глухим. Ибо почти все население города составляли наместник-староста, "Тайный знаток царских приказов", величаемый на вполне сирийский лад "рабису", со своими чиновниками и стриженные жрецы бога этой округи Сопда, носившего прозвище "Победитель синайцев"; среди остальных жителей пестрая азиатская одежда и наречья Амора и Захи были куда распространеннее, чем белая одежда египтян и их язык. В тесных закоулках Пер-Сопда стоял такой сильный запах гвоздики, что приятен он был лишь поначалу, а потом становился несносен; это была любимая пряность Сопду, и ею обильно приправляли всякую жертву, приносимую в храме этого бога настолько древнего, что даже его собственные жрецы и пророки, носившие на спине рысьи шкуры и ходившие с потупленными глазами, не могли с уверенностью сказать, какая у него голова - свиной или же бегемота.

Это был оттесняемый, захиревший и, судя по настроению и речам его служителей, довольно-таки озлобленный бог, он давно уже не одерживал побед над синайцами. Небольшое, всего лишь с ладонь, изображение бога стояло в самой глубине его по-старинному топорного храма, дворы и притворы которого были украшены совсем уж топорными сидячими изваяниями построившего этот храм фараона первобытных времен. Позолоченные, увешанные пестрыми флагами шесты, стоявшие в нишах переднего, с воротами и покатыми расписными стенами притвора, тщетно пытались придать обиталищу Сопда мало-мальски веселый вид. От казны денег на содержание храма почти не поступало, кладовые и сокровищницы, окружавшие главный двор, были пусты, а приношениями бога Сопду мало кто чтит - разве только египтяне, жившие в самом городе, а уж со стороны к нему никто не приходил на поклон; ибо не было такого общего для всей страны праздника, который стягивал бы в низовье, к ветхим стенам Пер-Сопда охваченную священным пылом толпу.

Когда измаильтяне, по купеческой своей обязательности, положили на стол даяний в приземистом притворе храма несколько букетов цветов, купленных ими в открытом переднем дворе, и начиненную гвоздикой утку, жрецы с блестящими, остриженными наголо головами, длинными ногтями и неизменно полуопущенными веками тягуче поведали им о горестном положении их древнего бога и его города. Они жаловались на время великой несправедливости, бросившее с возвышением Уазе все гири власти, блеска и превосходства на одну чашу весов - южную, в верхнем течении, - тогда как прежде они по справедливости священной отягощали северную чашу низовья, страны устий; ибо в справедливые времена древности, когда блистала столица Мемпи, область Дельты была настоящим, истинным Египтом, а верхние земли, включая Фивы, причислялись чуть ли не к горемычному Кушу и к негритянским странам. Тогда Юг был беден образованностью и духовностью, а также красотой жизни; именно отсюда, с древнего Севера, плодотворно проникли в верховье эти высокие блага; здесь истоки

знания, цивилизации и благосостояния, и недаром здесь родились самые почтенные и древние боги страны - хотя бы тот же Сопд, владыка Востока в своем капище, великий бог, которого это несправедливое перемещение гирь совсем отодвинуло в тень. О том, что отвечает и что не отвечает духу Египта, берется сегодня судить сосед негритянских стран, фиванский Амун, - настолько уверен он, что имя Египта и его собственное имя значат одно и то же. Совсем недавно, рассказывали грустные служители Сопда, люди Запада, живущие по соседству с ливийцами, направили к Амуну посольство и заявили, что, по их мнению, они и сами ливийцы, а не египтяне, ибо, живя за пределами Дельты, они служат богам иначе, чем дети Египта, да и вообще ни в чем не походят на тех: они, например, было передано Амуну, любят говядину и хотят ее есть так же свободно, как и ливийцы, разновидностью которых себя считают. Но Амун ответил им, что о говядине не может быть и речи, ибо Египет - это все земли, оплодотворяемые Нижним и Верхним Нилом, а египтянин - всякий, кто живет по сю сторону города Слонов и пьет нильскую воду.

Таков был Амунов ответ, и жрецы бога Сопду воздели руки с длинными ногтями, чтобы измаильтяне поняли, сколь несправедливо такое решение. Почему же по сю сторону Иаба и первого порога? - спросили они насмешливо. Потому что Фивы находятся как раз по сю сторону? Вот какова щедрость этого бога! Если бы Сопд, их повелитель, владыка северного низовья, то есть исконной и настоящей египетской земли, заявил, что египтянами считаются все, кто пьет нильскую воду, то с его стороны это было бы, конечно, проявлением великодушия и щедрости. Но когда это заявляет Амун, бог, которого, мягко говоря, подозревают в нубийском происхождении и в том, что он когда-то был богом горемычного Куша, бог, добывший права исконного владыки народа самовольным отождествлением себя с Атумом-Ра, тогда подобная щедрость мало чего стоит и уж во всяком случае не имеет ничего общего с великодушием...

Одним словом, ревнивая уязвленность пророков Сопда велениями времени и первенством Юга была очевидна; измаильтяне, и в первую очередь старик, отнеслись к их обиде почтительно и, как люди торговые, с ней согласились; они прибавили к своему приношению еще несколько хлебов и кувшинов пива и вообще оказывали оттесненному Сопду всяческое внимание, покуда не двинулись дальше, по направлению к Пер-Бастету, до которого было рукой подать.

## КОШАЧИЙ ГОРОД

Здесь так резко пахло кошачьей травой, что непривычного чужестранца прямо-таки тошнило. Этот запах противен любому живому существу, кроме одного - священного животного Бастет, а именно - кошки, которая даже, как известно, очень любит его. Множество образцов этого животного, черных, белых и пестрых, содержалось в святилище Бастет, обширном ядре города, где они с обычным своим ленивым и бесшумным изяществом сновали среди молящихся по стенам и по дворам; и их ублажали этим мерзким растением. А поскольку в Пер-Бастете кошек чтили вообще везде, вообще в каждом доме, то запах валерьяны примешивался здесь поистине ко всему, приправляя кушанья и пропитывая одежду, отчего путников, побывавших в этом городе, узнавали даже в Оне и в Мемпи, где им со смехом и говорили: "Сразу видно, что вы из Пер-Бастета!"

Впрочем, смех этот относился не только к запаху валерьяны, но и к самому кошачьему городу и к тем веселым мыслям, какие с ним связывались. Ибо, составляя полную противоположность Пер-Сопду и, кстати, значительно превышая его размерами и числом жителей, Пер-Бастет, хоть он и находился в самой глубине старозаветной Дельты, пользовался славой города веселья, но веселья как раз старозаветного, грубого, такого, что одно упоминание о нем смешило уже весь Египет. В отличие от обиталища Сопда, в

этом городе справлялся один общий праздник, на который с верховьев, сухопутьем и по реке, съезжались, как хвастались местные жители, "миллионы", что значило, конечно, десятки тысяч людей - людей, уже заранее настроившихся на самый веселый лад, ибо женщины, например, гремели побрякушками, всячески проказничали, и, стоя на палубах кораблей, потешали тех, мимо кого проплывали, весьма старозаветными ругательствами и жестами. Да и мужчины бывали очень веселы, они свистели, пели и хлопали в ладоши. Прибывающие разбивали палатки и устраивали в Пер-Бастете трехдневные сутолочные гулянья с жертвоприношениями, плясками, ряжеными, ярмаркой, глухим барабанным боем, сказителями, фиглярами, заклинателями змей и таким количеством виноградного вина, какое не потреблялось в Пер-Бастете за всю остальную часть года; не диво, что люди приходили в поистине старозаветное расположение духа и временами даже бичевали самих себя, вернее, не бичевали, а пребольно ударяли себя колючими дубинками, - и непременно под общий крик, который, будучи неразрывно связан с древним праздником богини Бастет, как раз и делал смешным всякое упоминание о Пер-Бастете: так кричит кошка, когда к ней ночью приходит кот.

Об этом и рассказали чужестранцам местные жители, хвастаясь обогатительным людским наплывом, один раз в году нарушавшим течение их вообще-то размеренной жизни. Старик, из деловых соображений, пожалел, что не приурочил свой приезд к празднику, приходившемуся, впрочем, на другое время года. Молодой раб Узарсиф слушал эти описания с довольно внимательным видом и, вежливо кивая головой, думал об Иакове. О нем и о бесхрамовом боге своих отцов думал он, когда сверху, с высоты города, в глубине которого в тени деревьев, охватывая священный полуостров двумя рукавами, извивалась река, глядел на жилище богини, что спрятали в старой смоковой роще свое главное здание и раскинулось со своими расписными пилонами, со своими полными шатров дворами и узорчатыми палатами, где возглавля колонн изображали открытые и закрытые цветки библийских кувшинок, - за высокой оградой у мощеной, уходившей на восток дороги, которая привела сюда с измаильтянами и его, Иосифа; и когда, оказавшись внизу, в храме, ходил по покоям и разглядывал резные настенные изображения, раскрашенные ярко-красной и голубой краской: на этих изображениях фараон воскурял благовония кошке, а под волшебными надписями из птиц, глаз, колонн, жуков и ртов коричнево-красные, хвостатые, в набедренных повязках божества, украшенные светящимися запястьями и воротниками, с высокими венцами на звериных головах и со знаком жизни - крестом в кольце - в руках, дружески дотрагивались до плеча своего земного сына.

Иосиф глядел на все это снизу вверх, маленький возле этих исполинских картин, молодыми, но спокойными глазами. Он был молод, созерцая это величие старости; однако ощущение, что он моложе не только годами, но и в другом, более широком смысле, расправляло ему спину перед лицом этого угнетающего величия, и, вспоминая о старозаветном ночном крике, оглашавшем во время праздника дворы Бастет, он только пожимал плечами.

## УЧЕНЫЙ ОН

Как точно известен нам путь, которым вели отторгнутого от дома Иосифа! Вниз ли, вверх ли, это зависит от того, как считать. Ко всем его запутанным обстоятельствам прибавлялась и путаница с "верхом" и "низом". Относительно родины он, как прежде Аврам, двигался, следуя в Египет, "вниз", но зато в самом Египте он стал двигаться "вверх", то есть навстречу течению реки, а текла река с юга, так что в полуденном направлении Иосиф уже не "спускался", а "поднимался". Эта путаница казалась нарочитой, как в игре, когда тебя с завязанными глазами поворачивают на месте несколько раз, чтобы ты не знал, что у тебя спереди и что сзади... Со временем, то есть со временем года и календарем, здесь, внизу, творилось тоже что-то неладное.

Был двадцать восьмой год правления фараона, и была, выражаясь нашим языком, середина декабря. Люди Кеме говорили, что стоит "первый месяц затопления", который они, к удовольствию Иосифа, называли Тот, или, как они именовали эту лунолюбивую обезьяну, Джхути. Но эти сведения отнюдь не соответствовали естественным условиям. Здешний год был почти всегда в разладе с действительностью; он отличался непостоянством и лишь время от времени, через огромные промежутки, его начало совпадало с действительным, настоящим началом года, когда на утреннем небе опять появляется звезда Пес, а воды готовятся выйти из берегов. Вообще же между условным годом и сроками природы не было никакого закономерного соответствия, так что и теперь ни о каком начале затопления практически нельзя было говорить; поток уже настолько спал, что почти вернулся в старое русло; земля обнажилась, посев многократно свершился, рост начался, - ибо измаильтяне спускались сюда настолько неторопливо, что со времени летнего солнцеворота, когда Иосифа бросили в яму, миновало уже полгода.

Итак, слегка запутавшись в вопросах пространства и времени, он следовал с остановками дальше... С какими остановками? Это нам известно достаточно точно; об этом говорят обстоятельства путешествия. Его вожатые, измаильтяне, по-прежнему не торопясь и по старой привычке вообще не заботясь о времени, а следя только за тем, чтобы при всех задержках хоть как-то двигаться к цели своего путешествия, направились с ним вдоль пер-бастетского рукава на юг, к тому месту, где в самой вершине треугольника устьей этот рукав соединяется с главным потоком. Так прибыли они в золотой Он, расположенный у этой вершины, - поразительный город, самый большой из всех, какие доселе случалось видеть Иосифу, построенный, как показалось ослепленному юноше, преимущественно из золота, обителище Солнца; а оттуда им предстояло добраться до Мемпи, или, иначе, Менфе, древней столицы, чьих мертвецов не нужно было переправлять через реку, ибо этот город и так уже находился на западном берегу. Вот что было заранее известно о Мемпи путникам. Дальше они собирались следовать уже не по суше, а водным путем и, наняв корабль, доплыть до самого Но-Амуна, города фараона. Так определил старик, чьей волей все и решалось, а покамест, соответственно этому решению, они, не без торговых проволочек, ехали берегом Иеора, именовавшегося здесь Хапи, который бурел в своем русле и лишь кое-где отдельными лужами стоял на полях, зазеленевших уже во всю ширь плодородной полосы между двумя пустынями.

Там, где берега были круты, здешние жители набирали илистую воду рожденья укрепленными на шестах черпалок кожаными кошельми, пользуясь в качестве противовеса комьями глины, и разливали ее по стокам, чтобы она сбегала в канавы и у них было зерно к тому времени, когда за ним явятся писцы фараона. Ибо здесь была служильня египетская, которой не одобрял Иаков, и собиравших оброк писцов сопровождали нубийцы с пальмовыми прутьями.

Измаильтяне выменивали в деревнях у барщинников свои светильники и смолы на воротники и подголовники, а также на холсты, что ткали из льна полей жены этих крестьян и потом забирали сборщики оброка; они беседовали с этими людьми и видели землю Египетскую. Иосиф видел ее и в мирской суеде дышал ее воздухом, весьма своеобразным, резким и даже острым, пряно приправленным самобытностью веры, нравов и уклада; не следует, однако, думать, что его ум и чувства изведывали здесь нечто совсем новое, дикое и неведомое. Его родина, - если прииорданскую область с ее горами и те гористые места, где он вырос, принять за некое отечественное единство, испытывала, будучи промежуточной, проходной страной, в такой же мере влияние юга, египетской цивилизации, как и восточных, подвластных Вавилону земель; по ней проходили войска фараона, оставляя после себя гарнизоны, наместников и постройки.

Иосиф уже и раньше видел египтян и их одежду; не был ему в диковину и египетский храм; да и вообще он был не только сыном своих гор, но и сыном большого пространственного единства, средиземноморского востока, где для него не было ничего совсем уж дивного и неведомого, а кроме того, и сыном своего времени, скрытого от нас времени, в котором он жил и в которое мы спустились к нему, как спускалась к сыну Иштар. А время тоже, вместе с пространством, придавало единообразию умонастроению и взгляду на мир; по-настоящему новым в этом путешествии было для Иосифа, пожалуй, только сознание, что он и такие, как он, не одни на земле и не во всем исключение; что многое в помыслах отцов, в их тревожных обращениях к богу и настойчивом размышлении было не столько их отличительным преимуществом, сколько данью времени и пространству и порожденной ими общности - при всех, конечно, существенных различиях в благословенности и успешности ее проявления.

Если Аврам так долго и так подробно беседовал с Мелхиседеком о возможной степени тождества между сихемским баалом завета Эль-эльоном и его собственным Аденом, то это была очень характерная для данного времени и для данного мира беседа, характерен был и самый ее предмет, и та важность, какую ему придавали, и тот интерес, какой к нему публично выказывали. Как раз в то время, когда Иосиф прибыл в Египет, жрецы Она, города владыки солнца Атума-Ра-Горахте, догматически определили отношение своего священного быка Мервера к жителю горизонта как "живое повторение"; эта формула, сочетавшая идею сосуществования с идеей единства, очень занимала весь Египет и произвела сильное впечатление даже на царский двор. Она была притчей во языцех и у маленьких людей, и у знати, так что измаильтяне не могли выменять пяти дебен ладана на соответствующее количество пива или хорошую воловью шкуру, без того чтобы другой участник сделки, как во вступительном, так и в заключительном разговоре, не коснулся прекрасного нового определения отношения Мервера к Атуму-Ра и не пожелал узнать, что скажут по этому поводу чужеземцы. Он смело мог ждать от них если не восторгов, то во всяком случае интереса к предмету; ибо они прибыли хоть и издалека, но все-таки из того же пространства, не говоря уж о том, что общее время заставляло их выслушивать эти новости с известным волнением...

Итак, Он, обиталище Солнца, вернее, обиталище того, кто утром Хепре, в полдень Ра, а вечером Атум, того, кто открывает глаза - и родится свет, кто закрывает глаза - и родится тьма, - того, кто назвал свое имя дочери своей Исет, итак. Он Египетский, тысячелетний город, лежал на пути измаильтян к югу, осиянный золоченым остроконечным четырехгранником огромного лощеного гранитного обелиска, что стоял на широком взголовье великого храма Солнца, где увенчанные цветами лотоса кувшины с вином, пироги, чаши с медом, птица и всяческие плоды покрывали алавастровый алтарь Ра-Горахте, а жрецы в оттопыренных, крахмальных передниках и хвостатых пантерьих шкурах на спинах курили смолкой перед живым повторением бога. Великим быком Мервером, быком с медным затылком, лирообразными рогами и могучими ядрами. Это был город, какого Иосиф еще никогда не видал, не похожий не только на города мира, но и на обычные египетские города, и даже его храм, возле которого стоял высокобортый, сложенный из золоченого кирпича корабль Солнца, совершенно не походил на другие египетские храмы ни видом, ни общими очертаниями. Весь город блестел и сверкал золотом Солнца, отчего у всех местных жителей слезились глаза, а чужестранцы, спасаясь от этого сияния, по большей части накидывали на голову башлыки и плащи. Кровли его обводных стен были из золота, золотые лучи так и сыпались, так и отлетали от фаллических игл, которыми он был утыкан, от золотых, в виде животных, изображений солнца, ото всех этих львов, сфинксов, козлов, быков, орлов, соколов и ястребов, которыми он был наполнен; мало того что любой из его саманных домов, даже самый бедный, сверкал каким-нибудь позолоченным знаком Солнца, будь то крылатый диск, зубчатое колесо, повозка, глаз, топор или жук-скарабей, и красовался золотым шаром или золотым яблоком на своей крыше, - такой же вид имели жилые дома, амбары и

склады всех деревень в округе Она: каждый из них сверкал на солнце подобной эмблемой - медным щитом, спиральной змеей, золотым пастушеским посохом или кубком; ибо здесь была область Солнца, край зажмуренных глаз.

Городом, где поневоле зажмуришься, тысячелетний Он был, однако, не только по своему внешнему виду, но и по своей внутренней самобытности, по своему духу. Здесь процветала премудрая ученость, которую и чужеземец сразу же чувствовал - чувствовал, как говорится, кожей. Ученость эта касалась измерения и строения чисто воображаемых правильных трехмерных тел и определяющих их плоскостей, которые, пересекаясь под равными углами, образуют чистые линии и сходятся в одной точке, не имеющей никакой протяженности и не занимающей никакого пространства, хотя и существующей, - и других священных вопросов такого же рода. Свойственный Ону интерес к чисто воображаемым фигурам, пристрастие к учению о пространстве, отличавшее этот древнейший город и явно связанное со здешним культом дневного светила, сказывались уже в застройке местности. Расположенный как раз у вершины треугольника, образуемого развилкой устьей, город и сам со своими домами и улицами представлял собой равнобедренный треугольник, вершина которого - в воображении точно, а в действительности примерно совпадала с вершиной Дельты; на этой вершине, покоясь на огромном, огненно-красного гранита ромбе, вздымался четырехгранный, высоко вверху, где его ребра сходились в вершине, покрытый золотом обелиск, ежеутренне вспыхивавший с первым лучом и замыкавший каменной своей оградой всю территорию храма, что начиналась в середине треугольника города.

Здесь, возле увешанных флагами ворот храма, ведущих в проходы, расписанные прекрасными изображениями событий и даров всех трех времен года, находилась открытая, усаженная деревьями площадь, где измаильтяне провели почти целый день; ибо эта площадь служила жмурящимся жителям Она, да и чужестранцам, местом сходов и рынком. Выходили на рынок и служители бога со слезившимися, оттого что так часто глядели на солнце, глазами и блестящими головами, носившие, кроме жреческих повязок, лишь короткие набедренники древних времен; они смешивались с толпой и охотно беседовали со всеми, кто желал познакомиться с их премудростью. Казалось даже, что им ведено это свыше, что они только и ждут расспросов, чтобы высказаться в пользу своего почтенного культа и древних ученых преданий своего храма. Наш старик, хозяин Иосифа, не упускал случая воспользоваться этим молчаливым, но явным разрешением и много раз беседовал при Иосифе на площади с учеными служителями Солнца.

Богомыслие и дар законодателей веры, говорили они, передаются в их среде по наследству. Священная изошренность ума является их достоянием издавна. Они, то есть их предшественники по службе, начали с того, что, разделив и измерив время, создали календарь, а это, как и поучительное пристрастие к чистым фигурам, имеет прямое отношение к сущности бога, которому достаточно открыть глаза, чтобы наступил день. Ведь дотолле люди жили в слепом безвременье, не имея меры и не обращая на это внимания. А он, сотворив часы - почему и возникли дни, - открыл им через своих ученых глаза. Что они, то есть их предшественники, изобрели солнечные часы, было ясно само собой. О приборе для измерения ночного времени, водяных часах, этого нельзя было сказать с такой же уверенностью; но, вероятно, они появились благодаря тому, что крокодилообразный водяной бог Собк Омбоский, подобно многим другим почитаемым обликам, был, если как следует взглянуть в него слезящимся глазом, не кем иным, как Ра, только под другим именем, в знак чего и носил оснащенный змеею диск.

Кстати сказать, это обобщение было сделано именно ими, зеркальноголовыми, и входило в их науку; они, по их собственным словам, были очень сильны в обобщениях и в приравнивании всевозможных хранителей отдельных местностей онскому богу Атуму-Ра-

Горахте, каковой и так уже был обобщением и созвездием первоначально самостоятельных божеств. Делать из многого одно было излюбленным занятием этих жрецов, и послушать их - так, в сущности, было всего лишь два великих бога: бог живых. Гор на светозарной вершине, Атум-Ра, и владыка мертвых Усир, Стольное Око. Но Оком был также и Атум-Ра, солнечный круг, и таким образом, если как следует вдуматься, оказывалось, что Усир - это владыка ночного струга, на который, как всем известно, после заката садится Ра, чтобы направиться с запада на восток и светить тем, кто внизу. Другими словами, даже оба этих великих бога - это в сущности один и тот же бог. Не меньше, чем остроумием такого обобщения, можно было восхищаться умением этих наставников никого не обижать и, несмотря на свои отождествительные устремления, не посягать на фактическую множественность богов Египта.

Это удавалось им благодаря науке о треугольнике. Известна ли сколько-нибудь их слушателям, спрашивали наставники Она, природа этой великолепной фигуры? Ее основанию, говорили они, соответствует многоименно-многообразные божества, которым молится народ и которых чтят жрецы в городах стран. Но над основанием поднимаются сходящиеся боковые стороны этой прекрасной фигуры, и удивительную площадь, ими ограниченную, можно назвать "площадью обобщения"; отличительное свойство этой площади состоит в том, что она непрерывно сужается, и проводимые по ней новые основания становятся все короче и короче, а наконец и вовсе лишаются протяженности. Ибо боковые стороны встречаются в одной точке, и эта конечная точка, точка пересечения, ниже которой треугольник остается равносторонним при любом основании, и есть владыка их храма Атум-Ра.

Такова была теория треугольника, этой прекрасной фигуры обобщения. Служители Атума считали ее немалой своей заслугой. Они, по их словам, нашли подражателей; повсюду, говорили они, теперь обобщают и отождествляют, но делают это по-ученически, неумело, не в том духе, в каком следовало бы, вернее - вообще неодоходливо, с насильственной грубостью. Амун, например, владыка рогатого скота в Фивах, в Верхнем Египте, устами своих пророков отождествил себя с богом Ра и хочет, чтобы в его капище его именовали теперь Амун-Ра - отлично, однако делается это не в духе треугольника и примирения, а в том смысле, что Амун победил, поглотил и вобрал в себя Ра, что Ра был, так сказать, вынужден назвать ему свое имя, - а это не что иное, как надругательство над учением, неумная натяжка, противоречащая самому смыслу треугольника. Что же касается Атума-Ра, то он недаром назывался жителем горизонта; его горизонт был широк и емок, и емким было треугольное пространство его обобщения. Да, он был широк, как мир, и дружелюбен миру, смысл этого древнейшего и давно уже созревшего для веселой кротости бога. Он познает себя, говорили зеркальноголовые, не только в тех меняющихся своих формах, каким служит народ в городах и весях Кеме, нет, он полон веселой готовности вступить в открытый миру союз с солнечными божествами других народов - в полную противоположность молодому Амуну в Фивах, который начисто лишен способности к созерцанию и чей горизонт в действительности настолько узок, что он не только ничего не признает, кроме Египта, но и здесь, не видя, так сказать, дальше своего носа, ни с кем не считается, а всех поглощает и вбирает в себя.

Но они, говорили эти мокроглазые, не хотят распространяться насчет своих разногласий с молодым фиванским Амуну, ибо природе их бога соответствует не рознь, а дружеское согласие. Все чужеземное он любит так же, как себя самого, и потому-то его слуги с таким удовольствием и беседуют с этими чужестранцами, со стариком и его подручными. Каким бы те богам ни служили и какими бы именами ни называли себя, они могут смело и не предав этих богов приблизиться к алавастровому алтарю Горахте и положить на него, в зависимости от своих средств, голубей, хлебцы, плоды или цветы. Стоит им взглянуть на кроткую улыбку отца-первосвященника, который, в золотом колпачке на опушенной сединой лысине и в широком складчатом облачении, сидит в

золотом кресле у подножья большого обелиска, перед крылатым диском солнца, и следит за приношениями, полный веселой доброты, - стоит им только взглянуть на него, как они убедятся, что одновременно с Атумом-Ра одаривают и своих отечественных богов, воздавая им должное в свойственном треугольнику духе.

И от имени отца-прорицателя служители Солнца обняли и поцеловали старика и его спутников, включал Иосифа, одного за другим, после чего занялись какими-то другими посетителями рынка, чтобы расположить их к Атуму-Ра, владыке широкого горизонта. А измаильтяне, весьма польщенные, простились с вершиной треугольника Оном и, следуя то ли вниз, то ли вверх, двинулись дальше в землю Египетскую.

## ИОСИФ У ПИРАМИД

Нил медленно катил свои воды между отлогими, поросшими камышом берегами, но в зеркальных остатках его преходящего разлива еще виднелись стволы пальм. и в то время как на многих участках благословенной полосы между двумя пустынями уже зеленели всходы пшеницы и ячменя, на другие поля пастухи в белых набедренниках, с посохами в руках, гнали коров и овец, чтобы скот втоптал посев в рыхлую от влаги почву. Коршуны и белые соколы кружили, высматривая добычу, в прояснившемся небе и стремительно снижались над деревнями, чьи крытые навозом дома с пилообразно сужающимися стенами стояли под высокими, похожими на опахала финиковыми деревьями у оросительного канала, - деревьями, носившими печать того самобытного, всепроникающего, определившего облик здешних людей и вещей духа Египта, духа его форм и божеств, который у себя на родине Иосиф ощущал лишь в отдельных постройках, лишь в каких-то частных житейских случаях и который теперь, безраздельно господствуя, заявлял ему о себе в большом и в малом.

Голые дети играли среди домашней птицы на деревенских пристанях, где были навесы из жердей и веток и куда, отталкиваясь шестами, направляли свои камышовые, с высокой кормой лодки местные жители, возвращавшиеся по каналу из необходимых поездок. Ибо если обильный парусами поток делил страну на две части в направлении от севера к югу, то и поперек нее, между западом и востоком, деля ее на острова и родя оазисы тенистой зелени, повсюду проходили оросительные водоотводы; дорогами же служили запруды, по которым и лежал путь между канавами, полями и рощами, а поэтому измаильтяне двигались на юг среди местного люда, среди всадников, ехавших верхом на ослах, среди грузовых, воловьих и лошачьих упряжек, среди пешеходов в набедренных повязках, несших на шестах, за плечами, уток и рыбу на рынок. Это были тощие, рыжеватые люди со впалыми животами и прямыми плечами, безобидные, смешливые, все с тонкими, выступающими подбородками, широконосые и курносые, с ребяческими щеками, непременно с цветком камыша либо во рту, либо за ухом, либо за краем застиранной, косо запахнутой, спереди более низкой, чем сзади, набедренной повязки, с прямыми волосами, ровно обрезанными на лбу и у мочек. Иосифу нравились эти путники; для жителей царства мертвых и сынов Шеола у них был довольно-таки веселый вид, и при виде дромадеров с хабирскими всадниками они со смехом выкрикивали шуточные приветствия, ибо их забавляло все чужеземное. К ихговору он втайне примеривался языком и, слушая его, упражнялся, чтобы вскоре без труда объясняться с ними на их наречье.

Здесь Египетская земля была тесной, плодородная полоса - узкой. Слева, на востоке, подступая к ней вплотную, тянулись на юг горы Аравийской пустыни, а на западе были Ливийские горы, мертвые пески которых обманчиво-приятно алели, когда за ними садилось солнце. Но там, перед этой цепью, ближе к зеленой земле, у кромки пустыни, перед путниками, если глядеть прямо на запад, высились и другие, особого рода горы, - правильных очертаний, из треугольных плоскостей, чьи ровные грани сбегались к

вершинам исполинскими скосами. Перед их глазами были, однако, не богозданные горы, а искусственные; это были великие, всемирно известные возвышенности, о появлении которых на их пути старик заранее предупредил Иосифа, надгробия Хуфу, Хефрена и других древнейших царей, сооруженные в многолетней неволе и священных муках сотнями тысяч кашлявших под бичом рабов из миллионов тяжелых глыб, обтесанных ими по ту сторону Нила, в аравийских каменоломнях, а затем волоком доставленных к реке, переправленных и со стонами перетащенных к ливийской границе, где те же рабы, падая и умирая в знойной пустыне с высунутыми от неимоверного напряжения языками, подняли их особыми приспособлениями на невероятную высоту, чтобы под этими горами, глубоко внутри их, огражденный лишь маленькой камеркой от вечной тяжести пятисот миллионов пудов, покоился божественный царь Хуфу с веточкой мимозы на сердце.

То, что взгромоздили там дети Кеме, не было делом рук человеческих, и все же это было делом рук тех самых людишек, что шагали и ехали по дорогам запруд, их кровоточащих рук, худосочных мышц и кашляющих легких, - делом, которого добились от людей, хотя оно и превосходило силы людские, добились потому, что Хуфу был великим царем, сыном Солнца. А Солнце, что убивало и пожирало строителей, Рахотеп, Довольное Солнце, оно и впрямь могло быть довольно сверхчеловеческим делом рук человеческих; ибо в нагляднейшей связи с ним находились эти идеально чистые фигуры - одновременно надгробные знаки и знаки Солнца; и огромные их треугольные плоскости, выложенные от оснований до общей вершины, были с благоговейной точностью обращены к четырем странам света.

Широко открытыми глазами глядел Иосиф на стереометрические надгробные горы, воздвигнутые в этой служильне египетской, которой не одобрял Иаков, и, глядя на них, слушал болтовню старика, что рассказывал, повторяя бытовавшие в народе предания о царе Хуфу, всякие истории об этом строителе-сверхчеловеке, мрачные анекдоты, свидетельства недоброй памяти, на тысячу и больше лет оставшейся у людей Кеме о грозном царе, добившемся от них невозможного. Говорили, будто он был злым богом и закрыл ради себя все храмы, чтобы никто не похищал у него времени на жертвоприношения. После этого будто бы он взял весь народ в кабалу, обязав всех без исключения строить ему чудо-гробницу и в течение тридцати лет не жалуя никому ни одного часа на собственную жизнь. Десять лет будто бы пришлось им обтесывать и волочить камни, а затем дважды десять лет строить, отдавая этому все свои силы и даже еще немного сверх того. Ибо если бы сложить все их силы, то этих сил оказалось бы недостаточно для такой пирамиды. Необходимый излишек придала им божественность Хуфу, но благодарить тут было не за что. Строительство стоило огромной казны, и поскольку у его величества бога вся казна вышла, он выставил напоказ во дворце собственную дочь и отдавал ее за плату любому мужчине, чтобы пополнить строительную казну выручкой от ее блуда.

Так, по словам старика, говорил народ, и вполне возможно, что через тысячу лет после смерти Хуфу добрую часть рассказов о нем составляли всякие небылицы. Но из этих рассказов, во всяком случае, явствовало, что в народе осталась лишь смешанная со страхом благодарность покойнику за то, что тот, выжав из него все, что в нем было, и еще больше, заставил его совершить невозможное.

Когда путники подъехали ближе, цепь остроконечных гор разомкнулась в песке, и стали видны изъяны в треугольных плоскостях, лощеная облицовка которых уже начала крошиться. Пусто было между этими исполинскими памятниками, поодиночке стоявшими в каменистом песке пустынной равнины, слишком огромными, чтобы время вгрызлось в них глубже. Они одни победоносно состязались с ужасным бременем возраста, давно подмявшим под себя и похоронившим все, что некогда с благочестивой

пышностью заполняло и разделяло промежутки между их невероятными глыбами. Ни опиравшихся на их откосы храмов мертвых, где был установлен "вечный" культ тех, кто стал после смерти солнцем; ни крытых расписных проходов, что туда вели, ни широких башенных ворот, что с восточной стороны, на краю зеленой земли, открывали последние пути в волшебное царство бессмертия; ничего этого Иосиф не увидел и даже не знал, что, не увидев, \_уже не увидел\_, то есть увидел уничтоженное. Относительно нас он был, правда, довольно близок к тем временам, но если направить это сравнение в другую сторону, то принадлежал к позднему, совсем еще зеленому племени, и его взгляд притрагивался к этой оголенной, но не уничтоженной временем исполинской математике, к этой великой свалке смерти так же, как притрагивается нога к куче тряпья. Не то чтобы он не испытывал удивления и благоговения при виде этих треугольных соборов; но ужасное постоянство, с каким они, покинутые своим временем, лишние, вторгались в нынешний день господень, накладывало на них в его глазах печать какого-то страшного проклятья, и он вспоминал о Башне.

Тайна в головной повязке, великий сфинкс Гор-эмахет, разительный пережиток, тоже лежал здесь где-то в песке, снова уже изрядно завевшем его и покрывшем, хотя еще недавно последний предшественник фараона, Тутмос Четвертый, в соответствии с одним своим вещим полуденным сновидением, освободил и спас его от песка. Опять у самой груди этой громадины, которая всегда здесь лежала, так что никто не ведал, когда и как она выступила из скалы, опять у самой ее груди косо лежал песок, покрыв уже одну ее лапу и еще не засыпав другую, высотой в три дома. У этой-то гороподобной груди и дремал некогда сын царя, кукольно-маленький в сравнении с безмерно-большим богозверем, и его слуги, в некотором отдалении, стерегли его охотничью повозку, а высоко над крошечным человечком загадочная голова с жестким затыльником, с вечным лбом, с источенным носом, придававшим ей что-то озорное, со сводчатой скалой верхней губы и с широким ртом, застывшим, казалось, в какой-то спокойно-остервенелой и чувственной улыбке, глядела на восток ясными, широко открытыми глазами, глядела умно, слегка опьяненная хмелем времени, как глядела всегда.

Так лежала она и теперь, эта невообразимо древняя химера, во времени, отстояние и отличие которого от того, прежнего времени, было в ее глазах, несомненно, ничтожно, и с остервенело-чувственной неизменностью глядела на восход высоко поверх крошечной горстки людей - хозяев Иосифа. На грудь ее опиралась каменная, выше человеческого роста плита с надписью, и, прочтя эту надпись, минейцы почувствовали облегчение и бодрость. Ибо поздний этот камень давал твердую временную опору; он был подобен узкой площадке, позволяющей остановиться над пропастью: камень был установлен здесь фараоном Тутмосом на память о его сне и об освобождении этого бога от песка. Старик прочитал своим спутникам запечатленный на камне рассказ о том, как в тени этого чудовища, в час, когда солнце находилось в самой высокой своей точке, царского сына одолел сон и во сне он увидел этого прекрасного бога, его величество Гармахиса-Хепере-Атума-Ра, своего отца, который по-отечески с ним разговаривал и назвал его любимым сыном. "Уже много-премного лет, - сказал бог, - мое лицо, а равным образом и мое сердце обращены к тебе. Я дам тебе, Тутмос, царскую власть, ты будешь носить венцы обеих стран и займешь престол Геба, и тебе будет принадлежать вся земля вдоль и вширь и все, что освещает лучистый глаз Вседержителя. Тебе суждено владеть сокровищами Египта и взимать богатую дань со многих народов. Между тем меня, бога, достойного поклонения, угнетает песок пустыни, в которой я стою. Справедливое мое желание явствует из этой жалобы. Я не сомневаюсь, что ты выполнишь его как можно скорее. Ибо я знаю, что ты мой сын и мой спаситель. А я пребуду с тобой". Когда Тутмос проснулся, гласила надпись, он еще помнил слова этого бога и не забывал их до часа своего возвышения. И в тот же час он велел немедленно устранить песок, отягощавший великого сфинкса Гармахиса в пустыне близ Мемпи.

Вот что было сказано в надписи. И, слушая, как старик читает ее, Иосиф старался и словом не обмолвиться по поводу этой истории; он помнил совет старика - держать в Египте язык за зубами и хотел доказать, что на худой конец можно утаить и такие мысли, какие у него сейчас возникали. А про себя он с обидой за Иакова досадовал на этот вещий сон, находя его в своей обиде очень сухим и скудным. Такой памятной надписью, считал Иосиф, фараон поднял слишком большой шум по поводу этого сна. Ведь что, собственно говоря, было ему обещано? Только то, что и так было суждено ему от рождения, - что он станет царем обеих стран в назначенный час. Бог посулил ему эту заранее определенную будущность, если фараон спасет его кумир от угнетающего песка. Вот и видно, какая это нелепость - творить себе кумиров. Кумира одолело песчаное злополучье, и богу приходится клянчить: "Спаси меня, сын!" - и ставить завет, обетующий в награду за жалкое благодеяние нечто и без того весьма вероятное. С его, Иосифа, отцами господь бог поставил другой, более тонкий завет: тоже в силу потребности, но потребности обоюдной - спасти друг друга от песка пустыни и стать святыми друг в друге! Кстати, царем-то царский сын стал в положенный час, а бога снова уже занесло песком пустыни. Столь кратковременное облегчение, видно, и не стоит лучшей награды, чем такой излишний посул, - подумал Иосиф и с глазу на глаз высказал это сыну старика Кедме, удивившемуся подобной язвительности.

Но хоть Иосиф и язвил, хоть он и насмеялся ради Иакова, вид сфинкса так или иначе произвел на него большее впечатление, чем все дотоле увиденное в Египте, и вызвал в его юном сердце тревогу, от которой его не могли избавить никакие насмешки и которая не давала ему уснуть. Покуда они мешкали у великанов пустыни, настала ночь, и путники разбили шатры, чтобы выспаться и поутру тронуться в сторону Менфе. Иосиф же, улегшись было возле своего товарища по ночлегам Кедмы, вышел из шатра под звезды оглашаемой отдаленным воем шакалов пустыни и подошел к исполинскому идолу, чтобы еще раз, самовольно и в полном одиночестве, без свидетелей, в мерцании ночи, внимательно разглядеть и расспросить это чудовище.

Ибо оно было чудовищно, это исчадие времени в скалоподобной царской повязке на голове, чудовищно не только своими размерами и даже не только неведомостью своего происхождения. Как гласила его загадка? Она вообще не гласила. Она состояла в молчании, в том спокойно-хмельном молчании, в каком этот исполин глядел поверх вопрошавшего-вопрошаемого; он глядел невозмутимо и испуганно, отсутствующий нос придавал ему такой вид, словно он надел скуфью набекрень. Да, если бы он был загадкой, вроде загадки доброго старика об участке соседа Дагантакалы, - и если бы даже числа этой загадки были еще хитрее скрыты и спрятаны, можно было бы прикинуть и так и этак, взвесить условия и не только найти решение, но еще и прикрасить его из озорства словесной игрой. А эта загадка была сплошным молчанием; и озорство, судя по ее носу, было ее уделом; и хотя у нее была человеческая голова, человеческой голове, даже самой светлой, она не давала решительно никакой зацепки.

Например... Какого она была пола - мужского или женского? Здешний люд называл ее "Гор на светозарной вершине" и считал ее, как недавно и Тутмос, изображением владыки Солнца. Однако это было современное толкование, не всегда имевшее силу, но даже если бы в этом лежащем кумире и воплощался владыка Солнца - что можно было сказать о поле кумира? Пол его был спрятан и скрыт, ибо кумир лежал. Что явил бы он, если бы поднялся - величественно висящие ядра, как онский Мервер, или, как молодая львица, женскую статью? Ответа на это не было. Ведь даже если он сам и вставал когда-то с песка, он сделал себя таким, какими художники делают или, вернее, не делают, а представляют глазу свои картины, в которых того, что не видно, нет вообще; и явись хоть тысяча каменотесов, чтобы спросить, какого пола это чудовище, молотком и резцом, у него все равно не оказалось бы пола.

Это был сфинкс, а значит, это была загадка и тайна, тайна дикая, с львиными когтями, жадная до молодой крови, опасная для сына господня, западня и угроза отпрыску завета. О жалкая скрижаль царского сына! У этой груди из скал, между лапами женщины-дракона, не снятся обетные сны - разве только если посулы их очень убоги! К обетованию это жестокое, отверстоглазое чудище с изъеденным временем носом, что лежало здесь в исступлении неизменности, взирая на свою реку, - к обетованию оно не было причастно, и не такова была природа его грозной загадки. Оно, охмелев, продлевало свое бытие в будущее, но это будущее было диким и мертвым, ибо оно было лишь длительностью, лишь ложной вечностью, ничего не сулившей.

Иосиф стоял и искушал свое сердце сладострастно улыбающимся величием длительности. Он стоял близко-близко... Не поднимет ли вдруг это чудовище лапу с песка, не прижмет ли оно его, мальчика, к своей груди? Он закалял свое сердце и думал об Иакове. Любование новизной не имеет прочных корней, это всего лишь юношеский праздник свободы. Оказавшись с запретным наедине, чувствуешь, чей ты духовный сын, и берешь сторону отца.

Долго стоял Иосиф под звездами перед исполинской загадкой, выставив вперед одну ногу, держа локоть в одной руке, а подбородок - в другой. Когда он потом снова улегся в шатре рядом с Кедмой, ему приснилось, что сфинкс сказал ему: "Я люблю тебя. Приблизься ко мне и назови мне свое имя, какова бы ни была моя статья!" Но он ответил: "Ужели сотворю я такое зло и согрешу перед богом?"

## ЖИЛИЩЕ ЗАКУТАННОГО

Они ехали по западному берегу, правому по их движению и правильно выбранному. Ибо им не нужно было переезжать через реку, чтобы достигнуть великого Мемпи, который и сам был расположен на западном берегу, - самый большой из всех, что доселе встречались первенцу Рахили, человеческий муравейник, зажатый высокими холмами, где находились каменоломни и где город хоронил своих мертвецов.

Головокружительно стар был Мемпи и, значит, достопочтен, если одно совпадает с другим. Тот, дальше кого не шла память, родоначальник царей, древнейший царь Мени, укрепил это место, чтобы удержать Низовье, насильно присоединенное к Царству; могучий дом Птаха, сложенный из вечных камней, был также построен царем Мени и стоял здесь, следовательно, гораздо дольше, чем пирамиды в пустыне, - с тех дней, дальше которых человеку не дано было заглянуть.

Но в облике Мемпи седая древность представала не как там, оцепенелым безмолвием, а бурлящей жизнью, животрепещущей современностью, огромным городом, насчитывающим более ста тысяч жителей и множество разноименных кварталов - с путаницей извилистых, то на холм, то с холма, улочек, где все так и кишело, так и пахло суетящимся, хлопочущим, чешущим языки людом и где к середине сбегали с обеих сторон ручейки сточных вод. Были здесь и смеющиеся кварталы богачей, где в радушном уединении, в веселых садах, стояли прекраснодверные особняки, и зеленые, с развевающимися флагами, урочища храмов, где в священных прудах отражались затейливо расписанные стены палат. Были здесь и широкие, в пятьдесят локтей, аллеи сфинксов, и обсаженные деревьями улицы, по которым катились повозки богатых; их мчали горячие, украшенные султанами кони, а перед конями бежали запыхавшиеся скороходы, крича: "Абрек!", "Побереги свое сердце!", "Будь начеку!"

Да, "абрек!". Иосифу в пору было сказать это себе и взять под надзор свое сердце, чтобы оно не впало в ненужную робость перед таким изысканным бытом. Ибо это был Мемпи или Менфе, как говорили здешние жители, смелым стяжением сокращая название "Мен-

нефру-Мира", что значило "Останется красота Мира", - а Мира был царь шестого поколения, который расширил изначальную крепость храма, пристроив к ней свою резиденцию, и соорудил себе неподалеку пирамиду, чтобы в ней и осталась его красота. "Мен-нефру-Мира" и называлась прежде собственно только могила царя, но со временем и весь разросшийся город стал носить это название надгробья Менфе, весы стран, царская усыпальница.

Как странно, что имя Менфе было смело сокращенным именем могилы! Иосифа это очень занимало. Так небрежно, радея лишь об удобопроизносимости, могли назвать город только эти людишки, эти жители сточных улиц, эти тощие, все ребра наперечет, обитатели трущоб, в одной из которых находилось и пристанище измаильтян - битком набитый разноплеменным людом, сирийцами, ливийцами, нубийцами, митаннийцами и даже критянами караван-сарай с грязным мощеным двором, где всегда было шумно от крика скота или от бречанья и завыванья слепцов-музыкантов. Когда Иосиф выходил оттуда, перед ним открывались картины, знакомые по городам родины, только как бы увеличенные и с египетским отпечатком. По обеим сторонам водостока цирюльники скоблили своих клиентов, а сапожники зубами натягивали полоски кожи. Ловкими, выпачканными землей руками похлопывали горшечники по вертящимся сосудам, распевая песни во славу Хнума, творца, козлиноголового владыки гончарного круга; гробовщики мастерили продолговатые, человекоподобные ящики с бородами, а из шумных пивных, под насмешки совсем еще зеленых мальчишек, выходили, пошатываясь, пьяные. Сколько людей! Все носили одинаковые полотняные набедренники и одинаковую прическу: у всех были одинаковые лежесные плечи и тонкие руки, и брови поднимали тоже все одинаково - наивно и бесстыдно. Их было очень много, и однообразная множественность настраивала их на насмешливый лад. Это было похоже на них - потехи ради упростить приличествующее смерти пышное имя в короткое "Менфе", и это имя снова вызвало в груди Иосифа знакомые чувства, однажды уже им испытанные, когда он глядел с родного холма на город Хеврон и на наследственную усыпальницу предков, двойную пещеру, и благоговение, источником которого является смерть, смешалось в его сердце с приязнью, которую вызвал в нем вид многонаселенного города. Это была тонкая и приятная смесь чувств, отличительно ему свойственная и тайно соответствовавшая тем двум назначениям, чьим сыном, а также, шутки ради, посредником он себя ощущал. Такой же шуткой показалось ему и ходовое имя могилы-столицы, и его сердце склонилось к тем, кто упростил это имя, к тощим, все ребра наперечет, жителям сточных улиц, а поэтому он старался болтать с ними на их языке, смеяться с ними и так же бесстыдно, как они, поднимать брови, что, кстати, удавалось ему без труда.

Впрочем, он догадывался, и это было ему по душе, что насмешливость их объясняется не только их многочисленностью и направлена не только наружу, на остальной мир; нет, жители Менфе потешались и над самими собой, зная, чем был когда-то их город и чем он давно уже перестал быть. Их насмешливость была формой, которую в их большом городе приняла та угрюмость, что звучала в речах жителей и брюзгливых жрецов Пер-Сопда: жизнеощущение отставшей от века древности стало здесь веселостью, ироническим сомнением во всем, в том числе и в себе. Дело обстояло так. Некогда, во времена строителей пирамид, Египтом, по праву царской столицы, правил Менфе, весы стран, толстостенный город. Но из Фив на верхнем юге, из Фив, которых никто не знал, когда Менфе уже несметные годы пользовался мировой славой, - оттуда, после черной поры смут и чужеземного господства, усилиями правящего ныне поколения потомков Солнца, пришли освобождение и воссоединение, и скипетр с двойным венцом перешли к Уазе, а Менфе, при прежней своей избыточной многолюдности и великой обширности, стал развенчанным царем, могилой своего величия, всемирно известным городом с дерзко укороченным именем смерти.

Не следует думать, будто Птах, этот владыка в своем капище, был оттесненным и обедневшим богом, как Сопду на востоке. Нет, имя его почиталось повсюду, и не было у человекообразного Птаха недостатка в угожьях, приношениях и скоте, это сразу бросалось в глаза при виде сокровищниц, кладовых, стоил и амбаров на усадьбе его храма. Владыка Птах, которого никто не видел, - ибо даже когда он выезжал на своем струге, посещая какое-либо другое здешнее божество, его небольшое изваяние скрывалось за золотыми завесами и только прислуживавшие ему жрецы знали его лицо, - владыка Птах жил в своем храме вместе со своей женой Сахмет, то есть Могушественной, изображенной на стенах храма с львиной головой и, как говорили, любившей войну, и общим их сыном Нефертамом, прекрасным уже благодаря своему имени, но менее понятным богом, чем человекообразный Птах и жестокосердная Сахмет. Он был их сыном, а больше о нем ничего не знали, и ничего другого Иосифу не удалось о нем выяснить. Одно, впрочем, знали о Нефертаме - что он носит на голове цветок лотоса, и поэтому некоторые считали даже, что и сам-то он в общем не что иное, как этакая голубая кувшинка. Но подобное неведение не мешало сыну быть излюбленным представителем менфийской троицы, и поскольку было точно известно, что голубой лотос - любимый его цветок и прямо-таки выражение его сущности, его жилище было всегда украшено букетами этого красивого растенья, и измаильтяне тоже не преминули преподнести ему голубой лотос, расчетливо отдавая дань его популярности.

Никогда еще похищенный сын Иосиф не приобщался к запретному так сильно, как здесь, если иметь в виду, что внушенный ему запрет выражался в требовании "Не сотвори себе кумира". Птах недаром был богом, создававшим произведения искусства, покровителем каменотесов и ремесленников, о котором говорили, что его желания сбываются, а мысли осуществляются. Большое жилище Птаха было сплошным кумиром; его храм и дворы его храма были полны изображений; высеченные из камня - гранита, известняка или песчаника, - из дерева и из меди, мысли Птаха населяли его палаты, где отсвечивающие росписью, увенчанные вязанками камыша колонны слоноподобно вздымались от похожих на жернова оснований к позолоченному, покрытому пылью карнизу. Вдвоем, втроем, в обнимку или поодиночке, изваяния стояли, шагали или сидели на престольных скамьях, у которых виднелись их дети, выполненные в гораздо меньшем масштабе; здесь были кумиры царей в венцах и с крючковатыми жезлами, в складчатых, расправленных у живота набедренных повязках или в повязках головных, крылья которых падали на плечи за оттопыренными ушами, кумиры с благородно непроницаемыми физиономиями и нежной грудью, с прижатыми к ладоням ладонями, кумиры широкоплечих и узкобедрых властителей седой старины, ведомых богинями, которые охватывали мускулистые руки своего подопечного негибкими пальчиками, меж тем как сокол распрямлял крылья за самым его затылком. Опираясь на посох, с мясистым носом и такими же губами, шагал рядом со своим непомерно маленьким сыном высеченный из меди царь Мира, тот самый, кому этот город был обязан своим величием; он, как и другие, не отрывал от земли еще не шагнувшей ступни: он опирался на обе ступни, он шел, стоя на месте, и стоял на месте, идя. На сильных ногах, с поднятой головой, с прямоугольными плечами и свободно опущенными руками, отходили они от каменных пилястров, поднимавшихся с тыльной стороны их подножий, сжимая в кулаке короткие, округлые палочки. Они сидели, как писцы, подобрав под себя ноги, с занятыми руками, и умными глазами глядели на зрителя поверх разложенной на коленях работы. Они сидели рядом, сомкнув колени, мужчины и женщины, раскрашенные в естественнейшие цвета кожи, волос и одежды, они были как бы живыми мертвецами, как бы застывшей жизнью. Многим из них художники Птаха сделали глаза, и глаза страшные, не из того же материала, что все изваяние, а вставные: зрачком служил черный, вплавленный в стекло камешек, а в камешек, в свою очередь, врезался кусочек серебра, и когда оно вспыхивало на свету, широкие глаза кумиров сверкали настолько ужасающе, что под натиском этих мерцающих взоров нельзя было не закрыть руками лицо.

Это были застывшие мысли Птаха, населявшие его дом вместе с ним, со львиноголовой матерью и с лотосом-сыном. Сам этот человекообразный бог был изображен на стенах придела своего капища, стенах, сплошь волшебным образом расписанных, - сотни раз: в облике несомненно человеческом, но странно кукольном и как бы абстрактном, в профиль, так что видна была только одна нога, с удлинённым глазом, в обтягивающем голову капоре, с искусственно укрепленным клином царской бороды. И кулаки его вытянутых вперед рук, сжимавшие скипетр, и весь его стан были как-то странно, как-то очень уж общо и непонятно очерчены; казалось, что он помещен в какой-то футляр, в какую-то тесную, сглаживающую линии оболочку, казалось, если уж признаться по чести, что он закутан и забальзамирован... Что это было такое и как обстояло дело с владыкой Птахом? Выть может, эта древняя столица обязана могильным своим именем не только пирамиде, по которой она названа, и не только своему прошлому, но еще, и даже главным образом, тому, что она является домом своего владыки? Иосиф знал, куда лежит его путь, когда его покупатели повели его в Египет, в страну, которой Иаков не одобрял. Он был совершенно убежден, что по своему положению он и должен быть здесь, что запретное для него не запрещено, что оно, наоборот, пристало ему и что в этом таится глубокий смысл. Разве в пути он уже заранее не дал себе имени, которое показывало бы, что он человек здешний? И все-таки он никак не мог избавиться от чисто отцовской неприязни к своему новому окружению, и его так и подмывало искушать сыновей этой страны вопросами об их богах и о самом Египте, чтобы они открыли всю правду не только ему, который ее и так знал, но и самим себе, ибо казалось, что они по-настоящему не знают ее.

Так получилось с менфийским булочником Батой, встреченным ими во время жертвоприношения Апису в храме Птаха.

Кроме бесформенного бога, львицы, непонятного сына и застывших мыслей, там жил еще Хапи, великий бык, "живое повторение" господина, зачатый от луча небесного света коровой, которая затем уже никогда не рожала; ядра этого быка были столь же могучи, как ядра Мервера в Оне. Хапи жил за бронзовыми дверями в глубине открытой небу колоннады с каменными, прекрасной работы парапетами между колоннами, на полувысоте которых и проходили изящные притолоки этой ограды; на плитах двора обычно толпился народ, когда служители выводили сюда Хапи из полумрака его освещенного только светильниками стойла-придела, чтобы люди видели, что бог жив, и приносили ему жертвы.

Один из таких молебнов наблюдал вместе со своими владельцами Иосиф. Это было любопытное, довольно-таки безобразное, но веселое зрелище - веселое благодаря хорошему настроению жителей Менфе, мужчин, женщин и топавших ногами детей - всей этой по-праздничному оживленной толпы, которая в ожидании бога, смеясь и болтая, "целовала" - так говорили они вместо "ела" - смоквы и лук, впивалась зубами, так что текло по щекам, в арбузы и пререкалась с разносчиками, торговавшими возле колонн дарственными хлебцами, жертвенной птицей, пивом, куреньями, медом и цветами.

Возле измаильтян стоял какой-то толстобрюхий человек в лыковых сандалиях, с которым они и разговорились, когда их стиснуло в давке. Он носил холщовый набедренник с треугольным, до колен, подолом, а руки его и туловище были обмотаны всяческими повязками со множеством ритуальных узлов. Его короткие волосы гладко лежали на круглом черепе, а глаза, и без того стеклянно выпученные, выкатывались, и притом с самым добродушным выражением, еще сильнее, когда красивый, бритый рот начинал говорить. Он долго рассматривал старика и его спутников со стороны, прежде чем дал волю своему любопытству к чужеземцам и обратился к ним с вопросом, откуда они прибыли и куда держат путь. Сам он, как он сообщил, был пекарем, но это не значило, что он собственноручно пек хлеб и сам совал голову в печь. Он держал полдюжины подмастерьев и разносчиков, которые на своих головах, в корзинах, разносили по городу

его превосходные рогульки и кренделя; и горе им, если они зазевывались и не размахивали рукой над товаром, отчего на него налетали и крали его из корзины птицы небесные! Разносчик, с которым это случилось, получал, как выразился булочник Бата, "урок". Итак, его звали Батой. Было у него за городом и немного земли, дававшей муку для пекарни. Но этой муки было недостаточно, ибо он вел дело с размахом, и ему приходилось прикупать на стороне. Сегодня он вышел из дому поглядеть на бога, что выгодно постольку, поскольку невыгодно этим пренебрегать. А его жена тем временем посетит Великую Матерь в храме Исет и преподнесет ей цветы, ибо она особенно привержена к этой богине, тогда как он, Бата, находит большее удовлетворение здесь. А они, видимо, объезжают страны с деловыми намерениями? - спросил булочник.

Да, это так, отвечал старик. И, находясь в Менфе с его могучими воротами, в Менфе, богатыми жилищами и вечными строениями, они уже достигли, так сказать, цели своего путешествия и могли бы с таким же успехом повернуть назад.

Приятно слышать, сказал булочник. Они могли бы повернуть, но не повернут: ибо, как и весь мир, они, конечно же, глядят на это старое гнездо только как на ступеньку, с которой можно подняться к великолепию Амуна. Все так делают, и у всех цель путешествия - новехонькая Узет, город фараона (да будет он жив и здоров!), куда стекаются богатства и люди, Узет, чьим жителям обветшалое имя Менфе только на пользу, ибо оно помогает им щеголять званиями придворных и великих евнухов фараона: так, например, главный булочник бога, надзирающий за дворцовой пекарней, зовется "князем менфийским", - и зовется, надо признать, не без основания, так как и в те времена, когда люди Амуна довольствовались поджаренным зерном, в Менфе разносили уже по домам сдобу в виде коров и улиток.

Старик отвечал. Ну, конечно, после пребывания по преимуществу в Менфе они, пожалуй, взглянут на Узет - только чтобы посмотреть, насколько опять отстал этот город во всем, что связано с удобствами быта и с искусством хлебопечения, - но тут, под удары литавр, отворились задние ворота, и во двор, на расстояние всего нескольких шагов от распахнутых створок, вывели бога, Толпа пришла в великое возбуждение. Подпрыгивая на одной ноге, люди кричали: "Хапи! Хапи!", а иные, кому это удавалось в такой давке, падали ниц, чтобы поцеловать землю. Кругом были видны изогнутые позвоночники, и воздух дрожал от гортанного придыхания, каким начиналось вырывавшееся из сотни уст имя бога. Оно было также названием потока, создавшего эту страну и ее кормившего. Это было имя солнечного быка, обозначение всех сил плодородия, свою зависимость от которых эти люди знали, имя существования страны и людей, имя жизни. При всем своем легкомыслии, при всей своей болтливости, они были глубоко взволнованы, ибо их благоговение слагалось из всех надежд и всех страхов, какими наполняет грудь строго обусловленное бытие. Они думали о разливе, который, чтобы жизнь продолжалась, не должен быть ни на локоть ни выше, ни ниже; о живости своих жен и о здоровье своих детей; о своем собственном теле и его подверженных расстройствам отправлениях, доставлявших, если с ними все было в порядке, наслаждение и удовольствие, но причинявших, если они нарушались, жестокие муки, отправлениях, которые следовало застраховать от волшебства волшебством; о врагах страны на юге, на востоке и на западе; о фараоне, которого они тоже называли "сильным быком", и которого, как им было известно, так же ублажали и холили во дворце в Фивах, как Хапи здесь, потому что он защищал их и в своем переменном лице осуществлял связь между ними и тем, от чего зависело все. "Хапи! Хапи!" - кричали они в боязливом восторге, угнетенные сознанием опасности и строгой обусловленности бытия, и с надеждой взирали на четырехугольный лоб, на железные рога, на могучий загривок богозверя, без углублений идущий от спины к голове, на его половые части, залог плодovitости. "Безопасность!" - вот какой смысл вкладывали они в этот крик, - "Защита и благополучие!", "Да здравствует Египетская земля!"

Невероятно красиво было это живое повторение Птаха, - ну, еще бы, если целый год лучшие знатоки придирчиво выбирали самого красивого быка между болотами устья и островом Слонов, то уж такой бык не мог не быть красив! Он был черен; и чудесно, чтобы не сказать божественно, шел к его черноте алый чепрак на спине. Два лысых служителя в плоеных, золотой парчи, набедренниках, спереди не закрывавших пупка, а сзади доходивших до середины спины, держали его с обеих сторон за золоченые поводья, и тот, что стоял справа, немного приподнял чепрак, чтобы показать народу белое пятно на боку Хапи, считавшееся отпечатком серпа луны. Один из жрецов, в леопардовой, с хвостом и лапами шкуре на спине, сделал поклон, выставил вперед одну ногу и, держа за ручки курильницу, протянул ее прямо к быку, который, приняв ее, опустил голову и принялся раздувать толстые, влажные ноздри, раздраженные пряным дымком. Затем он мощно чихнул, и народ стал кричать и подпрыгивать на одной ноге с удвоенным воодушевлением. Воскурение сопровождалось игрой арфистов, которые сидели, подобрав под себя ноги, и с обращенными к небу лицами пели гимны, меж тем как позади них другие певцы хлопали в ладоши в лад музыке. Показались и женщины, храмовые девушки с непокрытыми волосами, одна выходила обнаженная, в одном только кушаке над широкими бедрами, а другая - в длинном, прозрачном, как фата, платье, открытом спереди и равным образом позволявшем увидеть всю ее молодость. Обходя в пляске площадку, они потрясали над головой систрами и бубнами и поразительно высоко задирали вытянутые ноги. Священник-чтец, сидевший у самых копыт быка, начал, качая головой, нараспев читать по своему свитку какой-то текст, в котором повторялись неизменно подхватываемые народом слова: "Хапи - это Птах. Хапи - это Ра. Хапи - это Гор, сын Исет!" Затем, обмахивая его на ходу опахалами из перьев, к быку подвели какого-то явно высокопоставленного жреца в широком и длинном батистовом набедреннике с помочами, лысого и гордого, с золотой, наполненной кореньями и травами чашей в руках, которую он тотчас же, как бы ползком, ловко отводя далеко назад одну ногу и опираясь на пальцы другой, поджатой под себя как можно плотнее, поднес богу обеими руками.

Хапи не обращал на это внимания. Привыкший ко всем этим посвященным ему церемониям, к торжественной скуке, ставшей из-за определенных телесных качеств грустным его уделом, он с тягостным нетерпением, широко расставив ноги, глядел своими маленькими, налитыми кровью глазами поверх жреца на людей, которые, подпрыгивая и подскакивая, прижав одну руку к груди и протянув другую к нему, выкрикивали его священное имя. Им было так радостно видеть его на золотой привязи и знать, что он находится под надежной охраной храма, в руках прислуживающих ему сторожей. Он был их богом и их пленником. Его пленение и безопасность, которую оно им сулило, собственно, и были причиной их ликования, их веселых подскоков; и, глядя на них с таким нетерпением и с такой злостью, он, наверно, понимал, что, несмотря на все знаки почтения, они относятся к нему вовсе не так хорошо.

Булочник Бата по своей грузности воздерживался от подскоков, но он тоже вторил чтецу зычным голосом и, явно взволнованный близостью бога, приветствовал его челобитьями и воздеванием рук.

- Видеть его очень полезно, - объяснял он своим соседям. - Это укрепляет силы и восстанавливает бодрость. Я знаю по опыту, что, увидев Хапи, я могу уже целый день ничего не есть, мне кажется, что я до отвала наелся говядины, такая разливается по всему телу сонливость и сытость. Я ложусь вздремнуть и, проснувшись, чувствую себя так, словно родился заново. Это величайший бог, живое повторение Птаха. Да будет вам известно, что его ждет могила на Западе и что отдано повеление засолить и закутать его после смерти по высшей смете, лучшими смолами и повязками из царского полотна, а затем, согласно обычаю, похоронить его в городе мертвых, в вечном жилище

божественных быков. Так было велено, и так будет. Уже два Усара-Хапи покоятся в каменных раках в вечном жилище Запада.

Старик бросил на Иосифа взгляд, который тот истолковал как предложение подсказать хозяину какой-нибудь вопрос, чтобы попытаться булочника.

- Пусть, - сказал он, - этот человек объяснит тебе, почему он говорит, что Усара-Хапи ждет его жилище на Западе, тогда как оно ждет его вовсе не на Западе, а в Менфе, городе живых, который и сам-то расположен на западном берегу, откуда не нужно переправлять мертвецов через реку.

- Этот юноша, - обратился старик к булочнику, - спрашивает то-то и то-то. Можешь ли ты ответить ему?

- Я, - отвечал египтянин, - просто сказал то, что все говорят, и даже не призадумался. Ведь мы же все повторяем это, не думая. Запад - это Запад, и у нас принято называть его городом мертвых. Между тем мертвецы Менфе, в отличие от других мест, вовсе не переправляются через реку, и город живых уже и сам находится на Западе. Если рассуждать разумно, то замечание твоего юноши справедливо. Но в обороте речи я не ошибся.

- Спроси у него еще вот что, - сказал Иосиф. - Если прекрасный бык Хапи - это живой Птах для живых, то что же представляет собой Птах в своем капище?

- Птах велик, - отвечал булочник.

- Скажи ему, что в этом я не сомневаюсь, - возразил Иосиф. - Но Хапи, когда он умрет, зовется Усар-Хапи, а с другой стороны. Птах на своем струге - это человекообразный Усир, имеющий облик тех бородатых ларей, которые мастерят гробовщики, и, кажется, закутанный. Так что же он все-таки представляет собой?

- Объясни своему юноше, - сказал булочник старику, - что к Птаху ежедневно входит жрец, который особыми приспособлениями открывает ему рот, чтобы он мог есть и пить, и ежедневно подкрашивает ему щеки румянами жизни. Вот как служат ему и вот как ходят за ним.

- Тогда я позволю себе спросить, - отвечал Иосиф, - что делают с мертвецом у его могилы, когда позади него стоит Ануп, и в чем состоит обряд, совершаемый жрецом над мумией?

- Неужели он и этого не знает? - сказал булочник. - Сразу видно, что он житель песков, чужак и новичок в нашей стране. Да будет же ему известно, что этот обряд состоит прежде всего в так называемом отверзании уст, а заключается оно в том, что жрец особым жезлом открывает мертвецу рот, чтобы умерший мог снова есть и пить и вкушать жертвы, которые ему принесут. Кроме того, в знак возвращения к жизни по примеру Усира, на мумию накладывают цветущие румяна, каковые весьма отраднo видеть скорбящим.

- Благодарю, - сказал Иосиф. - Вот в чем, значит, различие между служением богам и служением мертвецам. Спроси же теперь господина Бату, из чего строят в земле Египетской.

- Твой юноша, - отвечал булочник, - красив, но туповат. Для живых строят дома из самана. А обиталища мертвым, как и храмы, строятся из вечных камней.

- Весьма благодарен, - сказал Иосиф. - Но если о двух предметах можно сказать одно и то же, то, значит, эти предметы тождественны, и их можно безнаказанно поменять местами. Могилы Египта - это храмы, а храмы...

- Это жилища богов, - подхватил булочник.

- Ты это говоришь. Мертвецы Египта - это боги, а ваши боги - кто они?

- Боги велики, - отвечал булочник Бата. - Я сужу об этом по сытости и по усталости, овладевающей мною после встреч с Хапи. Пойду-ка я лучше домой да и прилягу, чтобы уснуть тем освежающим сном, после которого заново родишься на свет. А тем временем и жена вернется со службы Матери. Будьте здоровы, чужеземцы! Радуйтесь и отправляйтесь с миром!

И он удалился. А старик сказал Иосифу:

- Он устал от бога, и тебе не следовало докучать ему через меня каверзными вопросами.

- Но ведь должен же раб твой, - оправдывался Иосиф, - все как следует разузнать, чтобы приспособиться к жизни Египта, где ты его намерен оставить и где он надолго задержится. Здесь все внове и все в диковинку твоему молодому рабу. Дети Египта молятся в могилах, как бы они их ни называли - храмами или вечными обиталищами; а мы у себя на родине молимся по обычаю предков под зелеными деревьями. Как не задуматься, как не посмеяться, глядя на этих детей? Живая ипостась Птаха зовется у них Хапи, и она, по-моему, и впрямь нужна Птаху, ибо он явно закутан и мертв. А они не могут успокоиться, покуда не закутают и живую ипостась и не сделают из нее тоже Усира и мумию. Без этого им не по себе. Между тем мне нравится Менфе, чьим мертвецам незачем переправляться на другой берег, ибо он и сам уже расположен на западном берегу, этот большой город, полный людей, которые удобопроизносимости ради упрощают его могильное имя. Жаль, что тот благословенный дом, куда ты хочешь меня доставить, дом Петепра, носителя опахала, находится не в Менфе, ибо из всех египетских городов мне, пожалуй, подходит именно этот.

- Слишком ты еще зелен, - отвечал старик, - чтобы различать, что тебе полезней. Но я это знаю и помогу тебе, как отец; да ведь таковым я тебе и прихожусь, если считать твоей матерью яму. Завтра чуть свет мы отплываем. Девять дней будем мы плыть на юг, вверх по реке, через землю Египетскую, чтобы ступить на сияющее побережье царской столицы Узет-пер-Амуна.

## РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ПРИБЫТИЕ

### ПО РЕКЕ

"Блистающий скоростью" назывался корабль, на который по сходне, вместе со своими верблюдами, взошли измаильтяне с причала, после того как они в разбитых там торговых палатках запаслись продовольствием на девять дней. Таково было его имя, написанное по обеим сторонам его украшенного гусиной головой носа, - имя, исполненное египетской хвастливости, ибо это была самая неповоротливая баржа из всех, какие стояли у менфийских причалов, с очень широкими, большей грузоподъемности ради, боками, с деревянными поручнями, с каютой, представлявшей собой всего-навсего сводчатый шалаш из циновок, и с одним-единственным, но очень тяжелым правильным веслом, отвесно укрепленным на бруске в кормовой части.

Хозяина судна звали Тот-нофер; это был северянин, он носил серьги, у него были седые

волосы на голове и на груди; старик познакомился с ним на подворье и сошелся на небольших прогонных деньгах. Корабль Тот-нофера был нагружен строительным лесом, партией царского и партией обыкновенного полотна, папирусом, воловьей кожей, корабельным канатом, двадцатью мешками чечевицы и тридцатью бочками вяленой рыбы.

Кроме того, на борту "Блистающего скоростью" находилась статуя одного богатого фиванца, стоявшая на носу в опалубке из реек и мешковины. Статуя эта предназначалась для "Доброго Дома", то есть для могилы заказчика на западном берегу, где этот ее обитатель, выступая из мнимой двери, должен был глядеть на свое вечное достояние и на настенные изображения привычной своей жизни. Глаза, которыми ей предстояло это делать, не были еще вставлены, да и сама она еще не была расписана красками жизни, и не было еще палки, которую следовало пропустить сквозь ее кулак возле косо оттопыренного подола набедренника. Но ее прототип счел необходимым, чтобы его двойной подбородок и его толстые ноги были хотя бы начерно выполнены под наблюдением Птаха и руками художников этого бога; окончательный же блеск можно было навести в одной из мастерских фиванского города мертвых.

В полдень корабельщики отчалили и подняли коричневый, в заплатках, парус, который тотчас же наполнился сильным северным ветром. Кормчий, сидевший на краю заднего скоса судна, начал с помощью правила двигать лопасть, его товарищ, стоя на самом носу, принялся промерять шестом глубину, а судовладелец Тот-нофер, заботясь о том, чтобы боги благоприятствовали плаванию, покурил у входа в каюту смолкой, взятой у измаильтян в счет прогонных; и покуда судно с Иосифом, высоко вздыбленное сзади и спереди, так что оно разрезало воду только серединой своего киля, выходило на речной простор, старик, усевшись со своими спутниками позади каюты на сложенных бревнах, разглагольствовал о мудрости жизни, в которой выгоды и невыгоды почти всегда взаимно уравниваются и уничтожаются, благодаря чему создается промежуточное совершенство не слишком хорошего и не слишком плохого. Так, например, сейчас они плывут вверх, против течения, но зато ветер, пособнически толкая парус, дует, как почти всегда, с севера, вследствие чего действие и противодействие дают в итоге размеренное продвижение. Если же ты плывешь вниз, то это, с одной стороны, даже весело, потому что течение несет тебя само, но, с другой стороны, твое судно может в любой миг, выйдя из повиновения, стать поперек реки и ты должен, не щадя сил, орудовать веслами и кормилом, чтобы все твое плавание не пошло кувырком. Так всегда в жизни выгоды умеряются невыгодами, а невыгоды покрываются выгодами, и хотя в чисто числовом итоге всегда получается нуль, итог практический - это мудрость уравнивания и промежуточного совершенства, мудрость, перед лицом которой неуместны ни ликование, ни проклятья, а уместно только довольство. Ибо совершенство состоит не в одностороннем скоплении выгод, при котором, с другой стороны, сплошные невыгоды сделали бы жизнь невозможной, а во взаимном уничтожении выгод и невыгод, в превращении их в равнозначное довольству ничто.

Так, подняв палец и косо склонив голову, поучал старик, и его родственники слушали его с разинутыми ртами, обмениваясь растерянными-смущенными взглядами, как то нередко бывает с обыкновенными людьми, когда им твердят о высоких материях, а они предпочли бы не слушать этого. Впрочем, Иосиф тоже слушал отвлеченности старика невнимательно, ибо его радовали новизна плавания, свежий ветер, мелодичный плеск волн под носовым сгибом, плавное, с мягким покачиваньем скольжение по просторной реке, чьи воды, сверкая, скакали им навстречу, как скакала земля навстречу Елизеру во время его путешествия. Непрестанно менялись картины веселых, плодородных и священных берегов; их нередко окаймляли колоннады, иногда в виде пальмовых рощ, но столь же часто это были каменные портики, сооруженные человеческими руками и принадлежавшие городским храмам. Проплывали мимо деревни с высокими

голубятнями, потом зеленые нивы, а потом снова появлялось пестрое городское великолепие с золотоблещущими иглами Солнца, флагами на воротах и парами исполинов, что, положив на колени руки, в величественном оцепенении глядели вдаль поверх воды и земли. Подчас все это оказывалось совсем рядом, а затем снова далеко отступало от судна, - когда они плыли посередине реки, чьи воды то ширились морем, то петляли в излучках, за которыми прятались и открывались все новые и новые картины Египта. Но как занимательна была и жизнь самой этой священной дороги, этого великого пути Египта, сколько парусов, грубых и дорогих, вздувалось на ветру и сколько весел упиралось в нильские воды! Звонкий воздух над рекой был наполнен человеческими голосами, приветствиями и шутками лодочников, криками шестовых, предупреждавших о водоворотах и мелях, напевными приказаниями корабельщиков, стоявших на крышах кают, парусной прислуге и кормчим. Простых судов, таких, как корабль Тот-нофера, было кругом множество, но попадались, перегоняя "Блистающего скоростью" или идя навстречу, и складные, изящные струги синей окраски, с низкой мачтой и широким, голубино-белым, красиво изгибавшимся при наполнении парусом, со штевнем в виде лотоса и затейливыми павильонами вместо чуланоподобных кают. Встречались храмовые струги с алыми парусами и росписью по всему носу; благороднейшие дорожные суда знати, с двенадцатью гребцами на каждом борту, с надстроенными арками и беседками, на крыши которых грузились поклажа и повозка хозяина, а среди ослепительных ковровых стен, сложив на коленях руки и как бы застыв в своей красоте и своем богатстве, не глядя ни вправо, ни влево, сидел он сам, важный и знатный. Встретилась им и похоронная процессия, три счаленных, один за другим, корабля, на последнем из которых, белом, без паруса и без весел, струге, головой вперед, оплакиваемый скорбящими, на козлах с ножками в виде львиных лап, лежал размалеванный Озирис.

Да, тут многое можно было увидеть, и на берегу, и на реке, и для Иосифа, проданного Иосифа, который впервые совершал путешествие на корабле, да еще такое путешествие, дни пролетали словно часы. Каким обычным должен был стать для него именно этот вид путешествия и каким привычным именно этот отрезок реки между домом Амуна и полным загробной шутливости Менфе! Точь-в-точь как эти знатные господа в их ковровых капищах, суждено было некогда сидеть и ему самому, сидеть в той величавой неподвижности, которой ему предстояло научиться, потому что народ ждал ее от богов и от знати. Ибо так умно повел он себя и так ловко поладил с богом, что стал первым среди людей Запада и волен был сидеть, не глядя ни вправо, ни влево. Но это ему еще предстояло. А покамест он, сколько мог, глядел и вправо и влево, чтобы умом и сердцем постигнуть эту страну и жизнь этой страны, глядел, непрестанно заботясь о том, чтобы его любопытство не выродилось ни в смущение, ни в ненужную робость, а сохранило ему сдержанность и бодрость духа во славу отцов.

Так дни слагались из вечеров и утр, слагались и множились. Менфе и день, когда они оттуда отплыли, остались далеко позади. Когда садилось солнце и пустыня окрашивалась в фиолетовый цвет, когда аравийское небо по левую руку смягчало и отражало ослепительное оранжевое сиянье ливийского неба по правую, они причаливали где придется и ложились спать, чтобы наутро двинуться дальше. Ветер был почти все время попутный, исключение составляли дни, когда он вообще затихал. Тогда приходилось ложиться на весла, причем подлежавший продаже Узарсиф и молодые измаильтяне тоже гребли, так как корабельная прислуга была малочисленна; продвижение в эти дни замедлялось, что очень огорчало Тот-нофера, который должен был доставить могильную статую к назначенному сроку. Но такие задержки легко наверстывались, ибо на следующий день полотнище паруса наполнялось с особой силой, и выгода и невыгода взаимно уничтожались, а в итоге оставалось довольство: и на девятый вечер вдали показались зубчатые, прозрачно-пунцовые, словно яхонтовые, вершины, на вид удивительно привлекательные, хотя они, и это все знали, были так же

мертвы и гибельны, как любые другие горы Египта. Судовладелец и старик узнали горы Амуна, высоты Но; и когда, переночевав, путники снова подняли парус, причем от нетерпения они взялись и за весла, вот тут-то и началось, вот тут-то и засверкало перед ними золото и заиграли все цвета радуги, и они вошли в прославленный фараонов город, оставаясь еще на своем корабле, еще не ступив на землю: река превращалась здесь в дорогу почета, она проходила вдоль вереницы божественных зданий, среди отдохновенной зелени садов, между храмами и дворцами, высившимися справа и слева, на берегу жизни и на берегу смерти, между колоннадами с папирусными оглавьями и с оглавьями в виде лотосов, среди обелисков с золотыми остриями, исполинских статуй, башен с воротами, к которым вели от берега аллеи сфинксов и створки которых, как и шесты для флагов на башнях, были покрыты позолотой; от этого сиянья слепило глаза, и все краски картин и надписей на постройках, коричнево-красная, темно-багровая, изумрудно-зеленая, охряно-желтая и лазурно-голубая, сливались в сплошные яркие пятна.

- Это Эпет-Эсовет, великое жилище Амуна, - сказал, указывая пальцем, старик Иосифу. - Там есть палата, в пятьдесят локтей шириной, с пятьюдесятью двумя колоннами и пилястрами, подобными шатровым шестам, и эта палата, поверишь ли, вымощена серебром.

- Конечно, поверю, - отвечал Иосиф. - Ведь я же знал, что Амун очень богатый бог.

- А это божественные верфи, - заговорил старик снова, указывая на затоны и сухие доки по левую руку, где множество людей в набедренниках, плотников бога, орудовало около остовов кораблей сверлами, молотками и смолой. - Это смертный храм фараона, а это вот - дом его жизни, продолжал старик, указав дважды на запад, где видны были роскошные здания - одни величественные, другие просто приятные глазу. А это Южный Дом Утех фараона, - сказал старик, переходя снова к другому берегу и направляя палец на продолговатые храмы у самой реки: в их ярко освещенные солнцем фасады вклинивались у выступов резкие треугольные тени; а вокруг этих храмов везде копошились люди, еще явно занятые строительными работами. Ты видишь эту красоту? Ты видишь, где совершается таинство царского зачатия? Заметил ли ты, что перед покоем и двором фараон строит еще одну палату, колонны которой выше, чем где-либо? Друг мой, это гордая Новет-Амун! Ты, наверно, глядишь на Дорогу овнов, что ведет от Южного Дома Утех к Великим Покоям? Знай же, что длина ее пять тысяч локтей и что слева и справа она сплошь уставлена овнами Амуна, несущими изображение фараона меж ног.

- Все это более чем мило, - сказал Иосиф.

- Мило? - изумился старик. - Ну и слова же ты выбираешь из своего запаса, - до смешного неподходящие, скажу я тебе. Нет, таким отзывом об облике Узет ты меня совсем не обрадовал.

- Я же сказал "более чем мило", - возразил Иосиф. - Насколько угодно более. Но где же дом носителя опахала, куда ты хочешь меня доставить? Можешь ли ты показать мне его?

- Нет, отсюда его не разглядишь, - ответил старик. - Он находится вон там, ближе к восточной пустыне, где город редееет, растворяясь в садах и особняках знатных господ.

- И ты сегодня же доставишь меня в этот дом?

- Тебе, видно, не терпится, чтобы я доставил тебя туда и продал? А откуда ты знаешь, возьмет ли тебя управляющий и достаточно ли он заплатит за тебя, чтобы я не только

покрыл свои издержки, но и получил еще какую-то справедливую прибыль? Много раз обновлялась луна с тех пор, как я принял тебя из материнского чрева колодца, и много дней печешь ты мне в дороге лепешки, а прощаясь со мною на ночь, достаешь из запаса слов все новые и новые выражения. Вполне возможно, что тебе это наскучило, что мы надоели тебе и ты стремишься к какой-то новой службе. Но ведь за это множество дней ты равным образом мог настолько привыкнуть к старому минейцу из Ма'она, твоему восприемнику, что теперь тебе было бы тяжело с ним расстаться и ты не торопил бы того часа, когда он удалится, передав тебя в руки чужих людей. Таковы две возможности, вытекающие из множества дней совместного путешествия.

- Действительностью, - сказал Иосиф, - стала последняя, преимущественно последняя из них. Конечно же, я не спешу расстаться с тобой, с моим спасителем. Я только спешу прибыть туда, где меня хочет видеть Господь.

- Потерпи же, - ответил старик. - Высадившись на берег, мы должны будем проделать все хлопоты, которых требуют от приезжих дети Египта, а это обычно длится долго. Затем мы отправимся туда, где город не редок, а густ, на знакомое мне подворье, и там переночуем. А уж утром я доставлю тебя к этому благословенному дому и предложу тебя своему другу, управляющему Монт-кау.

Ведя такие речи, они подошли к гавани, или, вернее, к причалу, куда свернули с середины реки, меж тем как хозяин судна, Тот-нофер, в благодарность за благополучное плавание, снова курил смолкой перед каютой; прибытие оказалось связано с такими долгами, с такими утомительными и нудными хлопотами, с какими только могло или может быть сопряжено завершение плавания. Путников охватила сумятица пристани, где теснилось множество здешних и чужестранных судов, либо уже причаливших, либо ждавших, когда освободится тумба, чтобы закинуть чал; "Блистающего скоростью" взяли штурмом гаванские охранники и таможенные писцы, тотчас принявшиеся переписывать всех и вся, меж тем как на берегу посыльные хозяина статуи с криками протягивали руки к долгожданному изваянию, а рядом раздавались голоса торговцев, расхваливавших новоприбывшим свои сандалии, шапки и пряники, слышалось бляенье выгружаемых стад, гремела на набережной музыка скоморохов, пытавшихся обратить на себя внимание приезжих. Притихшие и оглушенные этой великой суматохой, Иосиф и его спутники сидели на бревнах в кормовой части своего судна, дожидаясь того мгновения, когда им позволят сойти на берег и направиться на постоянный двор. А до этого было еще далеко. Таможенники занялись стариком, велев ему представить сведения о себе самом и о своем имуществе и заплатить пошлину за свой товар. Он сумел расположить к себе этих чиновников и направить беседу с ними по руслу мудрой человечности, а не унылой казенности; они посмеялись и, приняв небольшие подарки, не стали придирается к странствующим купцам; и через несколько часов после того, как чал бы закинут, покупатели Иосифа смогли провести по сходням своих верблюдов и, не привлекая к себе ни малейшего внимания привыкшей к любому цвету кожи и к любой одежде толпы, направиться своей дорогой сквозь толчею ближайших к гавани улиц.

## ИОСИФ ПРОХОДИТ ПО УАЗЕ

Город, чье имя в устах греков, старавшихся сделать его родней и привычнее, звучало позднее как "Тебай", - этот город в ту пору, когда там высадился и жил Иосиф, отнюдь не достиг еще вершины своей славы, хотя был уже достаточно знаменит, как то явствовало из восхищения, с каким говорил о нем измаильтянин, и из чувств, овладевших Иосифом, когда он узнал, что цель его путешествия - Фивы. Издавна, еще с темных и скудных дней первобытной древности, этот город все более возвышался, все более приближался к полнолунной красоте; однако многого еще не хватало для того, чтобы его великолепии достигло предела и, не в силах уже больше расти, застыло в своей завершенности,

сделав Фивы одним из семи чудес света - и в целом, и главным образом благодаря одной их части - беспримерной колоннаде огромных размеров, которую один позднейший фараон по имени Ра-мессу, что значит "Его породило Солнце", пристроил к ансамблю большого северного храма Амуна, понеся издержки, вполне соответствовавшие тому высочайшему уровню богатства, какого достиг этот бог. Но глаза Иосифа не увидели упомянутой колоннады, как не увидели они раньше и древностей вокруг пирамид, только по противоположной причине: потому что она еще не стала действительностью и ни у кого не было мужества представить себе ее. Ведь для того чтобы она появилась, нужно было сначала возвести много других зданий, которые были бы затем превзойдены уже привыкшей к ним силой человеческого воображения, ибо эта сила возрастая не насытна: например, мощенную серебром палату в Эпет-Эсовете, которую знал старик, с пятьюдесятью двумя колоннами, подобными шатровым шестам, построенную третьим предшественником нынешнего бога; или палату, которую сам нынешний бог пристраивал теперь, как видел Иосиф, к Южному Дому Утех Амуна, этому прекрасному храму у реки, оставляя все дотопе построенное далеко позади. Нужно было сначала представить себе и, уверовав в ее предельность, воздвигнуть всю эту красоту, чтобы некогда, взяв ее основанием, человеческая ненасытность представила себе, а затем и осуществила нечто уже совершенно, предельно прекрасное - чудо света, Рамзесову колоннаду.

Но хотя в наше, Иосифа, время оно еще не возникло, а находилось, так сказать, в пути, столица на Ниле Уазе или, иначе, Новет-Амун, вызывала и на этой ступени во всем мире, насколько он тогда сам себя знал, вплоть до самых дальних краев, величайшее восхищение, и слава эта была даже преувеличенной: люди любят дружную хвалу и, повторяя чужие слова, настаивают на ней с единодушным упрямством и прямо-таки приличия ради, и поэтому всякий, кто во всеуслышание усомнился бы в том, что Но в Египте безмерно велик и красив, что это воплощение строительного великолепия и вообще мечта, а не город, - такой человек показался бы всем очень странным и в какой-то мере поставил бы себя вне человечества. Нам, спустившимся к этому городу - "спустившимся" и в пространственном смысле, то есть вместе с Иосифом вверх по реке, и во временном, то есть в прошлое, где этот город, на сравнительно небольшой глубине, все еще шумит, клокочет, блещет и с великой четкостью отражает свои храмы в неподвижных зеркалах священных озер, - нам приходится поступить с этим городом приблизительно так, как поступили мы, когда впервые увидели его у колодца воочию, с самим Иосифом, тоже возведенным в ранг совершенства песнями и преданиями: мы вернули его якобы невероятную красоту к человеческим мерам его времени, и при этом она сохранила достаточно очарования, прежде непомерно разукрашенного молвой.

Так мы поступили и с небесным городом Но, Построен он был не из небесного вещества, а, как всякий другой, из крашеного самана, и улицы его, как установил, к своему успокоению, Иосиф, были такими же узкими, кривыми, грязными и зловонными, какими всегда были и будут в этих местах улицы человеческих селений, больших и малых, - таковы, по крайней мере, были они в обширных кварталах бедноты, которая численностью, как обычно, превосходила богачей, живших, конечно, просторнее и привольнее. Если во всем мире, и на островах моря, и на дальних берегах, твердили и пели, что в Уазе "дома полны сокровищ", то справедливо это было, если не считать храмов, где золото действительно мерили четвериками, лишь в отношении очень немногих домов, которые обогатил фараон; подавляющее же большинство их отнюдь не скрывало сокровищ, а было так же бедно, как жители островов и дальних берегов, гревшиеся в лучах сказочной славы о богатствах Уазе.

Что касается размеров Но, то они слыли огромными и таковыми действительно были, с той оговоркой, что "огромный" понятие не самодовлеющее-однозначное, а относительное, применимое лишь при определенных условиях, целиком зависящее от каких-то общих и субъективных понятий. Но главный признак, по которому мир судил о размерах Уазе,

"стовратность" этого города, был чистым недоразумением. На Кипре-Алашии, на Крите, да и повсюду считали, что у столицы Египта сто ворот. В мифическом упоении ее называли "стовратной" и добавляли, что из каждых ворот могут ринуться на врага двести вооруженных конников. Совершенно ясно, что эти болтуны представляли себе каменную ограду такого охвата, что внутрь ее должно было вести не пять и не шесть, а сто городских ворот; столь ребяческое представление о столице Египта могло возникнуть, конечно, только у тех, кто не видел Уазе своими глазами, а знал этот город по преданиям, с чужих слов. Идея множества ворот связывалась с образом Амунова города в известном смысле по праву; он и в самом деле имел много "ворот", но это были не крепостные ворота, предназначенные для оборонительных вылазок, а веселые, громадные, сверкающие красками своих волшебных надписей и цветных барельефов, увешанные пестрыми вымпелами на золоченых древках парные пилоны, которыми носители двойного венца постепенно, веками и десятилетиями, украшали и отмечали святилища богов. Их было действительно множество, хотя до самого дня полнолуния и беспримерной красоты Уазе к ним нет-нет да и прибавлялись новые сооружения такого рода. "Сотни", однако, не набиралось ни теперь, ни позже. Но "сто" - это просто круглое число, которое и в наших-то устах означает часто всего только "очень много". Одно лишь Великое Северное Жилище Амуна, Эпет-Эсовет, уже тогда заключало в себе шесть или семь этих "ворот", по нескольку было и в ближайших к нему храмах меньших размеров - домах Хонсу, Мут, Монта, Мина, бегемотообразного Эпета. Другой большой храм Амуна возле реки, называвшийся Южным Домом Утех или просто "гаремом", тоже насчитывал несколько башенных ворот, и еще были такие ворота в меньших по размеру жилищах не очень-то прижившихся здесь, но все же оседлых и как-никак подкармливаемых богов - в домах Усира и Исета, Птаха Менфийского и других.

Окруженные своими садами, рощами и озерами, усадьбы храмов и составляли ядро города, они-то, по существу, и были самим городом, а все светские и жилые постройки лишь заполняли промежутки между ними; эти постройки тянулись от южного портового квартала и Амунова Дома Утех к ансамблю храмов на северо-востоке, лепясь с обеих сторон к большой парадной дороге бога, Аллее онов, которую старик показал Иосифу еще с корабля. Это была великолепная улица, в пять тысяч локтей длиной, а так как она отклонялась от Нила на северо-восток и застроенный жилыми домами участок между ней и рекой расширялся и так как по другую сторону этой парадной дороги населенная часть города продолжалась, подходя к восточной пустыне, и растворялась в садах и особняках богачей (здесь-то "дома и были полны сокровищ"), - то город был и в самом деле очень велик, даже, если угодно, огромен: говорили, что он насчитывает более ста тысяч жителей; и если применительно к воротам число сто было поэтическим округлением с перебором, то в отношении многонаселенности Уазе большая цифра сто тысяч была тоже не чем иным, как таким округлением, но уже с недобором: жителей, если мы вправе полагаться на свою и на Иосифа оценку, было здесь не просто "больше", а гораздо больше, возможно даже вдвое или втрое, особенно если считать и жителей города мертвых на западе, за рекой, называвшегося "Напротив своего повелителя", - жителей не мертвых, разумеется, а живых, которые обосновались там из-за своей профессии; ибо служили переправленным через реку усопшим по роду своей ремесленной или культовой деятельности. Все они вместе со своими жилищами составляли особый город, который, будучи причислен к Уазе, делал эту столицу необычайно большой. К ним принадлежал и сам фараон; он жил не в городе живых, а на западе, за рекой: воздушно-изящный его дворец и прекрасные вертоградные дворца со своим озером и своими потешными прудами, которых раньше не было, раскинулись у самого края пустыни и под ее красными скалами.

Итак, это был очень большой город - большой не только по размерам и по числу жителей, но прежде всего по напряженности своей внутренней жизни, по своей пестроты и веселой ярмарочной разноплеменности, большой, как ядро и как фокус мира. Он сам считал себя

пупом вселенной - хотя это утверждение казалось Иосифу дерзким, да и вообще было спорным. Ведь был же еще на свете Вавилон со своим пятащимся Евфратом, где считали, что пятится, наоборот, река Египта, и не сомневались, что весь мир представляет собой восхищенное окружение Баб-илу, хотя в строительстве там тоже еще не достигли тогда полнолуного совершенства. Недаром говаривали на родине Иосифа об Амуновом городе, что "силу его составляют бесчисленные нубийцы и египтяне, а помогают им ливийцы и люди Пунта". Уже при первом знакомстве с городом, когда Иосиф вместе с измаильтянами направился с пристани на постоялый двор, находившийся в самой глубине городского лабиринта, это присловье подтвердилось множеством впечатлений. На Иосифа и на его спутников никто не глядел, ибо чужеземная внешность была здесь обычным явлением, а его вид был не настолько диковинным, чтобы привлечь внимание. Тем удобнее было смотреть ему самому, и разве лишь опасение, что такой натиск широкого мира смутит его религиозную гордость и заставит его оробеть, придавало его глазам некоторую сдержанность.

Чего он только не увидел по дороге от пристани к подворью! Какие чудесные товары текли из лавок, как кишели улицы адамовыми детьми самых разнообразных пород и званий! Казалось, что все население Уазе вышло на улицы и зачем-то движется из одного конца города в другой, туда и обратно; в толпе коренных жителей виднелись лица и одежды всех четырех стран света. У самого причала образовалась толчея вокруг нескольких эбеново-черных мавров с невероятно выпяченными припухлостями губ и страусовыми перьями на головах - мужчин и зверооких женщин с похожими на бурдюки грудями и смешными детьми в заплечных корзинах. Они вели на цепях отвратительно завывавших пантер и передвигавшихся на четвереньках павианов; были у них и жирафы, спереди высотой с дерево, а сзади всего лишь с лошадь, и борзые собаки; а под золотыми покрывалами эти мавры несли предметы, ценность которых несомненно соответствовала такой оболочке, - по-видимому, из золота или слоновой кости. Это, как узнал Иосиф, явилось с данью одно из посольств страны Куш, что находилась за страной Вевет, к югу от нее, в далеком верховье реки, но посольство маленькое, внеочередное и дополнительное, отправленное попечителем южных стран, кушским наместником и князем, в надежде порадовать сердце фараона и расположить это сердце таким неожиданным даром к нему, князю, дабы его величеству не вздумалось отозвать наместника и заменить его одним из своих приближенных, которые прожужжали ему уши просьбами о доходном месте и вели против сидевшего на этом месте князя заушательские речи в утренних покоях царя. Любопытно было, что глазевший на посольство гаванский люд вплоть до уличных мальчишек, потешавшихся над длинной, как пальма, шеей жирафы, отлично знал всю подоплеку этого спектакля, - и озабоченность наместника, и заушательские речи в утренних покоях, - и в присутствии Иосифа и измаильтян отпускал громкие критические замечания на этот счет. Жаль, думал Иосиф, что из-за такой холодной осведомленности их радость по поводу этого яркого зрелища лишается непосредственности и чистоты. Но, может быть, именно поэтому она приобретает особую остроту, - предположил он тут же и с удовольствием ловил каждое слово, считая полезным наматывать на ус такие интимные подробности здешнего быта, как боязнь кушского принца потерять свою должность, заушательство придворных и любовь фараона к приятным неожиданностям; такое знание укрепляло чувство собственного достоинства и прогоняло робость.

Под охраной и под началом египетских чиновников негры были переправлены через реку, чтобы предстать перед фараоном - Иосиф успел это увидеть; увидел он по дороге и других людей с кожей такого же цвета. Но, кроме того, он увидел здесь все оттенки человеческой кожи, от обсидианово-черной, через ступени коричневого и желтого цветов до белой, как сыр, он увидел даже желтые волосы и лазоревые глаза, он увидел лица и платье самого разного покроя, он увидел человечество. Объяснялось это тем, что многие суда стран, с которыми торговал фараон, не задерживались в гаванях устья, а с ходу, при

попутном северном ветре, поднимались сюда по реке, чтобы доставить свой груз, оброк или товар, прямо в то место, куда и так все стекалось, то есть в казнохранилище фараона, обогащавшего, благодаря этим средствам, Амуна и своих друзей, чтобы первый становился все требовательней в делах строительства и оставлял далеко позади уже имеющиеся постройки, а вторые могли беспредельно утончать свой образ жизни, изоцряя его настолько, что он становился даже нелепым в своей изысканности.

Вот почему, как объяснил старик, среди людей Уазе Иосиф, кроме мавров из Куша, увидел бедуинов из богохранимой страны у Красного моря; светлолицых, в пестротканых одеждах и с торчащими колтуном косами ливийцев из оазисов Западной пустыни; таких же, как он сам, жителей земли Аму и азиатов, одетых в цветную шерсть; хеттов, что жили по ту сторону гор Амана, - эти люди носили кошелю для волос и узкие рубахи; торговцев-митаннийцев в строгом, со множеством сборок, отороченном бахромой вавилонском платье; купцов и моряков с островов и из Микены в белых шерстяных тканях, падавших красивыми складками, с медными кольцами на обнаженных до самого плеча руках. Вот скольких людей увидел он, несмотря на то что старик из скромности вел своих спутников самыми жалкими и будничными закоулками, избегая благородных улиц, чтобы не нарушить их красоты. Совсем ее не нарушить он, однако, не смог: на прекрасную улицу Хонсу, параллельную улице бога, на "улицу Сына", как ее называли, ибо связанный с луной Хонс был сыном Амуна и его баалат Мут, - он был здесь тем же, кем голубой лотос Нефертам в Менфе, и составлял вместе с великими своими родителями узетскую трицу, - так вот, на его улицу, одну из главных артерий города, сплошной "абрек", где ни на один миг нельзя было выпускать свое сердце из-под надзора, - на нее измаильтянам поневоле пришлось ступить и даже пройти по ней некоторое расстояние, рискуя нанести ущерб ее красоте; и здесь Иосиф увидел дворцы, например, дворец управления казнохранилищами и житницами, а также дворец чужеземных принцев, где воспитывались сыновья сирийских градоправителей, большие, чудесные здания из кирпича и драгоценного дерева, ярко раскрашенные. Мимо Иосифа катились повозки, целиком окованные золотом, в которых, размахивая бичом над спинами мчавшихся с выкаченными глазами коней, стояли гордые ездоки. А кони жарко дышали, брызгая пеной, их ноги походили на ноги оленей, а их прижатые к холке головы были украшены страусовыми перьями. Мимо Иосифа проплывали паланкины; двигаясь быстрым, но осторожно-пружинистым шагом, их несли на плечах рослые юноши в золотых набедренниках; на этих крытых, резных и золоченых носилках, защищенные со спины от ветра камышовой плетенкой и расписным ковром, спрятав руки и опустив веки, сидели мужчины с блестящими, зачесанными со лба на затылок волосами и небольшими бородками, обязанные в силу своего высокого положения хранить полную неподвижность. Кому суждено было некогда вот так же сидеть в паланкине, следуя в свой богатый, по милости фараона, дом? Это сокрыто в будущем, и этот час нашего повествования еще не пришел, хотя на своем месте он уже есть, и о нем знает любой. А сейчас Иосиф только видел, что ему предстояло, только глядел на это глазами, такими же широко раскрытыми и чужими глазами, как те, что будут некогда взирать на него или прятаться от него, великого и чужого, - молодой раб Озарсиф, сын колодца, похищенный и проданный, в бедном плаще и с грязными ногами, которого прижали к стене, когда на улице Сына, гремя трубами, вдруг показались копьеблещущие воины, шагавшие со щитами, луками и дубинками в правильном, четком строю. Он принял этих угрюмо однообразных пехотинцев за отряд фараонова войска; но по их знаменам и по знакам на их щитах старик определил, что это воинство бога, храмовая Амунова рать. Неужели, подумал Иосиф, у Амуна, как и у фараона, есть военная сила? Это ему не понравилось, и не понравилось не только потому, что толпа притиснула его к стене. Он почувствовал ревнивую обиду за фараона при мысли о том, кто же здесь выше всех. Его и так уже угнетала близость Амунова блеска, наличие другого высочайшего владыки, фараона, казалось ему благотворным противовесом, и то, что этот идол тягался с царем на его собственном поприще и содержал войско, вконец разозлило Иосифа; он решил даже, что,

наверно, это злит и самого фараона, и стал на его сторону в споре с посягавшим на царские полномочия богом.

Итак, вскоре они покинули улицу Сына, чтобы больше уже не портить ее вида, и тесными, убогими переулками добрались до подворья, которое называлось "Сиппарский двор", так как хозяином его был один халдеянин из Сиппара-на-Евфрате и останавливались здесь преимущественно халдеяне, хотя бывали и всякие другие постояльцы. Двором же оно называлось потому, что и впрямь представляло собой почти не что иное, как двор с колодцем, такой же грязный, шумный, зловонный, оглашаемый мычаньем скота, перебранкой жильцов и брякотней скоморохов, как заезжий двор в Менфе; в тот же вечер старик устроил там небольшое торжище, оказавшееся весьма бойким. Когда же они, укрывшись плащами, поспали, причем каждому из них, кроме старика, который спал всю ночь, приходилось по очереди просыпаться и быть начеку, чтобы пестрые обитатели подворья не поживились их товаром и добром, а потом, после долгого стояния в очереди к колодцу, умылись и подкрепились халдейским утренним кушаньем, что здесь подавалось, мучным киселем с кунжутной приправой, который назывался "паппасу", старик, не глядя на Иосифа, сказал:

- Ну, вот, друзья мои, зять мой Мибсам, племянник Эфер и сыновья Кедар и Кедма! Отсюда мы двинемся со своими товарами и предложениями на восток, в сторону пустыни, где город барски редеет. Там у меня есть постоянные, высокорачительные покупатели, которые, как я смиренно надеюсь, приобретут у нас кое-что для своих кладовых и заплатят нам так, чтобы мы не только покрыли свои расходы, но и, получив справедливую прибыль, обогатились, как то положено на земле нам, купцам. Навьючьте же верблюдов и оседлайте мне моего, чтобы я вас повел!

Так они и поступили и направились из "Сиппарского двора" на восток, к садам богачей. Впереди шел Иосиф, ведя дромадера со стариком на длинном поводу.

## ИОСИФ ПРИБЫВАЕТ К ДОМУ ПЕТЕПРА

Они двигались к пустыне и к раскаленным холмам пустыни, где по утрам появлялся Ра, в сторону, следовательно, богохранимого края, что лежал перед морем Красной Земли. Двигались они по выровненной дороге, совсем так же, как некогда в долине Дофана, только теперь верблюда, на котором ехал старик, вел не толстогубый мальчишка по имени Иупа, а Иосиф. Так добрались они до длинной обводной ограды с покатыми стенами, за которыми виднелись прекрасные деревья, смоковницы, колючие акации, финиковые и фиговые пальмы, гранаты, а также верха ослепительно-белых и расписных зданий. Поглядев на них, Иосиф взглянул снизу вверх на своего господина, чтобы по выражению его лица узнать, не дом ли это носителя опахала, ибо благословенным этот дом был вне всяких сомнений. Но старик, склонив набок голову, смотрел, покуда они двигались вдоль стены, прямо вперед, и по его виду ничего нельзя было определить; наконец, достигнув возвышавшейся над стеной башни с воротами, он остановился.

В тени ворот была кирпичная скамья, на которой сидело четверо или пятеро молодых людей в набедренниках, играя руками в какую-то игру.

Старик поглядел на них несколько мгновений со своего верблюда, прежде чем они обратили на него внимание, опустили руки, умолкли и, чтобы смутить его, насмешливо-удивленно уставились на него, высоко подняв брови - все как один.

- Доброго вам здоровья, - сказал старик.

- Радуйся, - ответили они, пожимая плечами.

- Что бы это могла быть за игра, - спросил он, - которую вы прервали из-за моего появления?

Они переглянулись и засмеялись, пожимая плечами.

- Из-за твоего появления? - переспросил один из них. - Мы прервали ее потому, что нам сделалось тошно, когда ты выставил напоказ свою рожу.

- Неужели, старый заяц пустыни, ты больше нигде не можешь пополнить свои знания, - воскликнул другой, - если спрашиваешь об этой игре именно нас?

- Многое выставляю я напоказ, - отвечал старик, - только не рожу, ибо при всем разнообразии моей поклажи этого товара я вообще не знаю, а у вас, судя по вашему отращению к нему, его более чем достаточно. Отсюда, видно, и вытекает ваше желание убить время, желание, которое вы, если я не ошибаюсь, удовлетворяете веселой игрой "Сколько пальцев".

- Ну, вот видишь, - сказали они.

- Я спросил это невзначай и для начала, - продолжал старик. - Итак, перед нами дом и сад благородного Петепра, носителя опухала одесную?

- Откуда ты это знаешь? - спросили они.

- Мне указывает это моя память, - ответил он, - а ваш ответ подтверждает ее указание. Вы же, сдается мне, поставлены сторожить ворота этого святого мужа и оповещать его, когда к нему приходят в гости знакомые.

- Это вы-то наши знакомые! - сказал один из них. - Прощелыги, разбойники с большой дороги! Нет уж, увольте.

- Молодой страж и оповеститель, - сказал старик, - ты ошибаешься, и твое знание жизни незрело, как зеленые фиги. Мы не прощелыги и не грабители, мы сами терпеть их не можем и являемся полной их противоположностью в мире. Мы странствующие купцы, мы разъезжаем между богатыми людьми, и благодаря нам держатся прекрасные связи. Поэтому нас принимают везде, в том числе и в этом многорачительном доме. И если нас здесь еще не приняли, то только по вине твоей суровости. Но послушайся моего совета, не бери на себя вины перед Монт-кау, твоим начальником, который управляет этим домом, считает меня своим другом и ценит мои товары! Исполни обязанность, назначенную тебе в мире, сбегай к управляющему и доложи ему, что его знакомые купцы из Ма'она и Мозара, одним словом, торговцы-мидианиты, снова явились к этому дому с хорошим пополнением для его кладовых.

Привратники переглянулись, когда он назвал имя управляющего. И тот, к кому старик обращался, толстощекий, с узкими глазками, сказал:

- Как же я смогу доложить ему о тебе? Посуди сам, старик, и поезжай-ка лучше своей дорогой! Что же, по-твоему, я прибегу к нему и доложу: "Явились мидианиты из Мозара, а поэтому я покинул ворота, хотя в полдень должен приехать хозяин, и мешаю тебе"? Да ведь он же назовет меня мерзавцем и надерет мне уши. Он сейчас рассчитывается в пекарне и совещается с писцом питейного поставца. У него найдутся дела поважнее, чем возня с твоим хламом. Поэтому убирайся!

- Мне жаль тебя, молодой сторож, - сказал старик, - если ты не допускаешь меня к моему давнишнему другу Монт-кау, встречаая меж нами, как полная крокодилов река или же как гора непреодолимой крутизны. Не зовут ли тебя Шеши?

- Ха-ха, Шеши! - воскликнул привратник. - Меня зовут Тети!

- Это я и имел в виду, - ответил старик. - Если я сказал иначе, то только из-за своего произношения и из-за того, что у меня, старика, уже не осталось зубов. Так вот, Чечи (опять лучше не получается), давай поглядим, не найдется ли брода, чтобы перейти реку, и тропинки, чтобы обойти кручи горы. Ты по ошибке назвал меня хапугой и прощельгой, - сказал он, извлекая что-то из-под одежды, - но вот и в самом деле одна чудесная вещица, которая тебе достанется, если ты сбегаешь и приведешь Монт-кау сюда. Подойди и возьми ее! Это всего лишь малая толика моих богатств. Вот видишь, рукоятка сделана из самого твердого, отлично моренного дерева, а в ней имеется паз. Теперь вытащим острое, как алмаз, лезвие, и нож не согнется. А стоит лишь нажать на лезвие сбоку, оно защелкнется прежде, чем ты прижмешь его к черенку, и уйдет для безопасности в прорезь, так что эту штуку можно спрятать в набедреннике. Идет?

Молодой человек подошел и принялся разглядывать предложенный ему складной нож.

- Недурен, - сказал он затем. - Значит, он мой?

Он спрятал ножик.

- Из страны Мозар? - спросил он. - И из Ма'она? Торговцы-мидианиты? Погодите минутку!

И он скрылся в воротах.

Старик поглядел ему вслед, с усмешкой качая головой.

- Мы взяли крепость Зел, - сказал он, - мы справились с пограничными стражами фараона и с его писцами. Уж как-нибудь мы проникнем к моему другу Монт-кау.

И он щелкнул языком, веля своему верблюду лечь, а Иосиф помог ему спешиться. Другие всадники тоже слезли с верблюдов, и все стали ждать возвращения Тети.

Он вскоре вернулся и сказал:

- Проходите во двор. Управляющий к вам выйдет.

- Хорошо, - ответил старик, - если ему необходимо нас повидать, мы, так уж и быть, уделим ему некоторое время, хотя у нас есть и другие дела.

И вслед за молодым сторожем они прошли через гулкие ворота в сплошь мощный утоптанной глиной двор, лицом к распахнутым, окаймленным тенистыми пальмами воротам внутренней, кирпичной, с бойницами, четырехугольной стены, за которой возвышался господский, с расписным колонным порталом, прекрасными карнизами и треугольными, открытыми с запада продухами на крыше дом.

Он стоял посредине участка, охваченный с двух сторон, с южной и с западной, зеленью сада. Двор был просторен, и между зданиями, стоявшими без оград в северной части усадьбы, фасадами к югу, было много свободного места. Самое большое из этих зданий, длинное, изящное, светлое, охраняемое сторожами, тянулось направо от входивших во двор, в дверях его сновали служанки с чашами для фруктов и высокими жбанами. Другие

женщины сидели на крыше дома, пряли и пели. За этим зданием, западнее его и ближе к северной стене, был еще один дом, откуда шел дым и перед которым люди хлопотали у пивоварных котлов и у мукомольниц. Еще западнее, за плодовым садом, тоже виднелся дом, и перед ним трудились ремесленники. А уж за этим зданием, в северо-западном углу обводной стены, находились амбары и хлевы.

Дом, вне всяких сомнений, благословенный. Иосиф окинул усадьбу быстрыми, так и норовившими во все проникнуть глазами, но на этот раз ему не довелось как следует осмотреться, ибо он должен был участвовать в работе, которая, по приказанию старика, началась сразу же, как только они вошли во двор: разгружать верблюдов, ставить на глиняном настиле двора, между воротами и господским домом, лоток и раскладывать привезенный товар, чтобы управляющий или любой другой покупатель из его подчиненных мог легко обозреть заманчивые богатства измаильтян.

## КАРЛИКИ

Вскоре их в самом деле обступила любопытная челядь, наблюдавшая издали за прибытием азиатов и увидевшая в этом вообще-то не таком уж редком событии приятный повод отвлечься от работы или даже просто от безделья. Пришли сторожа гарема - нубийцы, пришли служанки, женская стать которых, по здешнему обычаю, отчетливо просвечивала сквозь тончайший батист их одежд; слуги из главного дома, на которых, в зависимости от того, какую ступень занимали они на лестнице должностей, был либо один короткий набедренник, либо еще и длинный, поверх короткого, а кроме того, и верхняя одежда с короткими рукавами; кухонная прислуга с какими-то полуощипанными тушками в руках, конюхи, ремесленники из людской и садовники; все они подходили к измаильтянам, глядели и болтали, нагибались к товарам, брали в руки то одно, то другое, осведомлялись о меновой стоимости в мерах меди и серебра. Пришли и два маленьких человечка, карлики: их было как раз двое в доме носителя опакхала; но хотя оба были не больше трех футов ростом, вели они себя совершенно по-разному, ибо один был дурак дураком, а другой, что пришел первым со стороны главного здания, человек степенный. На ножках, казавшихся по сравнению с его туловищем особенно маленькими, нарочито деловитой походкой подошел он к лотку, подчеркнуто держась прямо и даже немного откинувшись назад, то и дело озираясь и быстро, ладошками тоже назад, размахивая в такт ходьбе коротенькими ручками. На нем был крахмальный набедренник, торчавший спереди косым треугольником. Его сравнительно большая, с выдававшимся затылком, голова была покрыта короткими волосами, падавшими на лоб и на виски, нос у него был заметный, а выражение лица независимое, даже решительное.

- Это ты главный торговец? - спросил он, подойдя к старику, который сидел возле своего товара, подобрав ноги, что было карлику явно кстати, ибо благодаря этому он хоть в какой-то мере мог говорить с ним как равный с равным. Голос у него был глухой, он старался сделать его как можно ниже, прижимая подбородок к груди и натягивая нижнюю губу на зубы.

- Кто вас пригласил? Привратник? С разрешения управляющего? Тогда все в порядке. Можете здесь остаться и подождать его, хотя неизвестно, когда он сгложет уделить вам время. Вы привезли товар, хороший товар? Наверно, все больше хлам? Или есть действительно ценные вещи, стоящие, приличные, доброкачественные? Я вижу смолы, я вижу трости. Мне лично, пожалуй, нужна была бы трость, но только самого твердого дерева и если отделка ее заслуживает внимания. Однако прежде всего, есть ли у вас нательные украшения - цепочки, воротники, кольца? Я смотритель господских нарядов и драгоценностей, управляющий одеждой. Меня зовут Дуду. Добротным украшением я мог бы порадовать и мою жену, мою супругу Цесет, в знак благодарности ее материнству. Найдется ли у вас что-нибудь в этом роде? Я вижу цветные стеклышки, я вижу всякую

дрянь. А мне нужно золото, мне нужен янтарь, мне нужны хорошие камни, лазурит, корналин, горный хрусталь...

Покуда этот человек подобным образом разглагольствовал, со стороны гарема, где он, должно быть, развлекал своими шутками дам, к лотку скакал другой карлик: слух о прибытии купцов достиг его ушей, видимо, с опозданием, и он помчался к месту происшествия с ребяческим рвением бегом, во всю мочь своих толстых ножек, прыгая время от времени лишь на одной из них; запыхавшись, он выпаливал слова тонким, резким голосом, полным какой-то судорожной радости:

- Что такое? Что такое? Что творится в мире? Сборище, толкотня? Что вы там увидели? Какие такие диковинки на нашем дворе? Торговые люди... дикие люди... люди песков? Карлик боится, карлику любопытно, гоп, гоп, вот и он...

Одной рукой он придерживал сидевшую у него на плече мартышку, которая, вытянув шею, глядела на окружающих иступленно вытаращенными глазами. Одежда этого коротыша была забавна тем, что представляла собой некий парадный наряд, нелепо превращенный в повседневное платье, отчего тонкие складки его плоеного, с бахромчатым подолом, набедренника, как и его прозрачная, с плоеными опять-таки рукавами курточка были измяты и несвежи. На младенческих своих запястьях он носил золотые спиральные кольца, на шейке растрепанный венок из цветов, в который было вплетено много других, оплечных венков, а на коричневом, из шерсти, парике, покрывавшем его голову, душицу, состоявшую, однако, не из тающего душистого жира, как полагалось бы, а всего лишь из войлочного, пропитанного благовониями валика. В отличие от первого карлика, лицо у него было старообразно-детское, сморщенное, дряхлое и колдовское.

Если хранителя платьев Дуду челядинцы учтиво приветствовали, то появление его товарища по судьбе и собрата по недорослости вызвало у них взрыв веселья.

- Визирь! - кричали они (так его, видимо, называли в насмешку). Бес-эм-хеб! (Это было имя одного смешного, ввезенного из чужих земель карлика-бога с добавлением эпитета "на празднике", намекавшего на всегдашнюю нарядность коротышки.) - Ты хочешь что-то купить, Бес-эм-хеб? Глядите, как он берет под руки наши ноги! Ступай, Шепсес-Бес! (Это значило "прекрасный Бес", "великолепный Бес". Торопись, приценись, но сперва отдышись! Купи себе, визирь, сандалий да подставь под него голяшки, вот у тебя и выйдет кровать. Вытянуться на ней ты вытянешься, только без подножки, пожалуй, на нее не взберешься!

Так кричали они ему, а он, приближаясь, отвечал им с одышкой, писклявым, словно бы издали доносившимся голосом:

- Пытаетесь, шутить, долговязые? И что же, по-вашему, у вас это получается? Зато визиря одолевает зевота, - фу, фу, - потому что ему скучны ваши шутки, как скучен мир, где его поселил какой-то бог и где все рассчитано на великанов - и товары, и шутки, и сроки. А будь мир сделан по его мерке и будь он ему родным, то мир был бы тоже забавным и не пришлось бы зевать. Годики так и бежали бы, часочки катились, ночные стражи летели стрелой. Тук-тук-тук - стучало бы сердце, и время несло бы на крыльях, и поколения людей так и менялись бы, так и менялись бы: не успеет одно вдосталь порезвиться на свете, а другое уже вот оно, тут как тут. Ну, и веселой была бы эта короткая жизнь. А у нас все затянато, и карлику остается только зевать. Не стану я покупать ваших грубых товаров, а вашего неуклюжего остроумия мне и даром не нужно. Я только хочу поглядеть, что нового появилось за это исполинское время на нашем дворе. Чужие люди, люди горемычья, люди песков, кочевники, одетые не по-людски... Тьфу! - прервал он внезапно

свое стрекотанье, и его лицо гнома исказилось от злости и раздражения. Он заметил своего собрата Дуду, который стоял перед сидевшим стариком и, размахивая ручонками, требовал полноценных товаров.

- Тьфу! - сказал так называемый визирь. - Он, оказывается, здесь, мой многоуважаемый кум! Надо же мне было наткнуться на него, удовлетворяя свое любопытство, - как неприятно! Он уже здесь, господин платьехранитель, он опередил меня и ведет свои нудные, достопочтенные речи... С добрым утром, господин Дуду! - прострекотал он, становясь рядом с другим коротышкой. Доброго здоровья вашему степенству и всяческое почтение вашей ядрености! Позвольте осведомиться о самочувствии госпожи Цесет, которая охватывает вас одной рукой, а также о самочувствии высоких отпрысков, Эсези и милой Эбеби?..

Дуду весьма пренебрежительно взглянул на него через плечо, но не встретился с ним глазами, а явно отвел взгляд куда-то к ногам "визиря".

- Ах ты, мышь, - сказал он, качая головой как бы над ним и втянув нижнюю губу, отчего верхняя нависла над ней, как крыша. - Что ты там пицишь и копошишься? Мне до тебя не больше дела, чем до какого-нибудь рака или пустого ореха, из которого ничего, кроме трухи, не выколупнешь, право не больше. Как ты смеешь, да еще со скрытой издевкой, спрашивать меня о моей жене Цесет и о моих подрастающих детях Эсези и Эбеби? Не тебе о них спрашивать, потому что это не твое дело, тебе это не пристало, не подобает и не положено, шут и обломок...

- Скажите на милость! - отвечал тот, кого называли "Шепсес-Бес", и его личико сделалось еще раздраженнее. - Ты хочешь возвыситься надо мной и всячески пыжишься, чтобы твой голос звучал как из бочки, а сам не выше кротовины и не дорос до своего же отродья, не говоря уж о той, что охватывает тебя одною рукою. Все равно ты карлик из племени карликов, сколько бы ты ни напускал на себя важности, отчитывая меня за то, что я вежливо осведомился о твоей семье. Мне, говоришь ты, это не подобает. Ну, а тебе, видно, подобает, тебе, видно, к лицу изображать перед долговязыми отца и супруга, если ты женишься на полномерной женщине, отрекаясь от своей крошечности...

Челядь громко смеялась над ссорой этих человечков, чья взаимная неприязнь была для нее, по-видимому, привычным источником веселья, и подстрекала их к перебранке, выкрикивая: "Дай-ка ему, визирь!", "Покажи-ка ему. Дуду, муж Цесет!" Но тот, кого они называли "Бес-эм-хеб", вдруг перестал ссориться и обнаружил полное равнодушие к спору. Он стоял как раз рядом со своим ненавистным собратом, а тот по-прежнему перед сидевшим стариком. Но возле старика стоял Иосиф, так что Бес оказался напротив сына Рахили; заметив юношу, карлик умолк и стал внимательно его разглядывать, отчего его старообразное лицо гнома, еще только что полное досады и злости, сразу разгладилось и приняло самозабвенно-испытующее выражение. Рот у него остался разинут, а места, где должны быть брови (у него их не было), полезли на лоб. Так, снизу вверх, глядел он на молодого хабира, и столь же сосредоточенно, как ее хозяин, глядела на него с плеча карлика обезьянка: вытянув шею, широко раскрытыми, исступленно вытаращенными глазами уставилась она в лицо Аврамова правнука.

Иосиф терпеливо снес это испытание. Он с улыбкой встретился взглядом с гномом, и они продолжали смотреть друг на друга, меж тем как степенный карлик Дуду снова начал перечислять старику свои требования, и всеобщим вниманием опять завладели товары и чужеземцы.

Наконец, ткнув себя в грудь крошечным пальчиком, карлик сказал своим странным, словно бы издавека донесшимся голосом:

- Зе'энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе-эм-пер-Амун.

- Что вы имеете в виду? - спросил Иосиф...

Карлик еще раз повторил сказанное, продолжая указывать на свою грудь.

- Имя, - объяснил он. - Имя маленького человека. Не визирь. Не Шепсес-Бес. Зе'энх-Уэн-нофре...

И он в третий раз пролепетал эту фразу, свое полное имя, столь же длинное и столь же пышное, сколь ничтожен и мал был он сам. Оно означало: "Пусть благое существо (то есть Озирис) продлит жизнь любимцу богов (или боголюбу) в доме Амуна"; Иосиф понял это.

- Красивое имя! - сказал он.

- Красивое, да неверное, - прошептал издали коротышка. - Я не благообразен, я не мил богам, я жаба. \_Ты\_ благообразен, \_ты\_ Нетерухотпе, так будет и красиво и верно.

- Откуда вы это знаете? - спросил, улыбнувшись, Иосиф.

- Видеть! - донеслось словно из-под земли. - Ясно видеть! - и он поднес пальчик к глазам. - Умный, - прибавил он. - Маленький и умный. Ты не из маленьких, но тоже умный. Добрый, красивый и умный. Ты принадлежишь ему?

И он показал на старика, который разговаривал с Дуду.

- Я принадлежу ему, - ответил Иосиф.

- Сызмала?

- Я был ему рожден.

- Значит, он твой отец?

- Он приходится мне отцом.

- Как тебя зовут?

Иосиф ответил не сразу. Прежде чем ответить, он улынулся.

- Озарсиф, - сказал он.

Карлик прищурился. Он думал об этом имени.

- Ты рожден тростником? - спросил он. - Ты Усир в камышах? Мать, блуждая, нашла тебя в болоте?

Иосиф промолчал. Коротышка продолжал щуриться.

- Монт-кау идет! - сказал кто-то из челядинцев, и все начали поспешно расходиться, чтобы управляющий не застал их празднующимися. Его можно было увидеть, заглянув через просвет между господским и женским домами в ту часть двора, что виднелась

перед строениями в северо-западном углу усадьбы: он ходил там и останавливался, пожилой, в красивой белой одежде, сопровождаемый несколькими рабами-писцами, которые сгибались вокруг него и, с тростинками за ухом, заносили на писчие дощечки его замечанья.

Он приближался. Челядь рассеялась. Старик поднялся. И куда совершались эти движения, Иосиф услышал тоненький, словно из-под земли шепчущий голосок:

- Останься у нас, молодой житель песков!

МОНТ-КАУ

Управляющий подошел к открытым воротам в зубчатой стене главного здания. Наполовину уже повернувшись к нему, он взглянул через плечо на кучку чужеземцев, на новоявленное торжище.

- Что это такое? - спросил он весьма недовольно. - Что за люди?

О докладе привратника он, казалось, забыл за другими заботами, и поклоны, которые ему издали отвешивал старик, делу не помогали. Один из писцов напомнил ему о торговцах, указав на дощечку, на которой он явно успел уже сделать соответствующую заметку.

- Ах да, купцы из Ма'она или Мозара, - сказал управляющий. - Прекрасно, но я ни в чем не нуждаюсь, кроме как во времени, а его они не могут продать!

И он направился к старику, который, засуетившись, поспешил навстречу ему.

- Ну, старик, как ты поживаешь после столь многих дней? - спросил Монт-кау. - Опять пришел к нашему дому, чтобы всучить нам свой товар?

Они посмеялись. У обоих остались от зубов только нижние клыки, торчавшие теперь одиночными столбиками. Управляющий был крепкий, коренастый человек лет пятидесяти, с выразительной головой и с решительными манерами, которые вытекали из его положения, но смягчались природной доброжелательностью. У него были широкие, еще совсем черные брови и очень заметные слезные мешки, из-за которых глаза его казались маленькими и заплаканными, чуть ли не щелками. От его приятно вылепленного, хотя и широковатого носа, по обе стороны выпуклой и, как и щеки, до блесна выбритой верхней губы, резко выделяя ее на лице, спускались ко рту глубокие складки. Он носил узкую, прямую, пересыпанную сединой бороду. Спереди он уже сильно полысел, но на затылке волосы у него были густые и веером рассыпались за ушами, в которых поблескивали золотые серьги. Какое-то наследственное крестьянское лукавство и какая-то моряцкая насмешливость была в физиономии Монт-кау, подчеркнута оттенявшей красно-коричневой смуглостью нежную белизну его одежды - неподражаемого египетского полотна, великолепно плоившегося, как о том свидетельствовал передник его длинного, до пят, набедренника, начинавшийся у пупка и широко расходившийся книзу, но не до самой кромки подола. В мелких поперечных складках были и просторные короткие рукава заправленного в набедренник камзола. Сквозь батист просвечивало мускулистое, волосатое туловище.

К нему и к старику присоединился карлик Дуду; оба коротышки позволили себе остаться и при появлении управляющего. Дуду подошел к ним с важным видом, подгребая ручонками.

- Боюсь, управляющий, что ты напрасно тратишь время на этих людей, сказал он Монткау, как равный равному, хотя и издалека снизу. - Я осмотрел все, что они выложили. Я вижу ветошь, я вижу дрянь. А ценных, добротных вещей, достойных дома великого мужа, нет и в помине. Ты едва ли заслужишь его благодарность, приобретя что-либо из этого хлама.

Старик огорчился. По выражению его лица было видно, что ему жаль той дружеской, многообещающей веселости, которая возникла после приветственных слов управляющего и была убита суровостью Дуду.

- Нет, у меня есть цепные вещи! - сказал он. - Ценные, может быть, не для вас, людей высокопоставленных, и уж никак не для вашего господина этого я не говорю. Но ведь сколько слуг в этом доме - пекарей, поваров, оросителей садов, скороходов, сторожей и привратников - им просто числа нет, хотя их все-таки недостаточно и уж никак не слишком много для такого великого человека, как его милость Петепра, друг фараона, и число их всегда можно пополнить тем или иным пригожим и ловким рабом, здешним ли, чужеземным ли, была бы лишь в нем нужда. Но, кажется, я отклоняюсь в сторону, вместо того чтобы сказать без обиняков: тебе, великий управляющий, как их начальнику, положено печься о них и об их нуждах, а поможет тебе в этом деле своими разнообразными товарами старый минеец, странствующий купец. Взгляни на эти прекрасно расписанные глиняные светильники с горы Гилеад, что за рекой Иорданом, - они обошлись мне дешево, так неужели же я запрошу за них с тебя, с моего покровителя, высокую цену? Возьми несколько светильников даром, но яви мне свое благорасположение, и я буду богат! А вот кувшинчики с сурьмилами подводить глаза, и к ним щипчики и ложечки коровьего рога - ценность их велика, а цена ничтожна. А вот мотыки, в хозяйстве необходимы: прошу два горшка меду за штуку. А содержимое этого мешочка уже дороже, здесь аскалунский лук из самой Аскалуны, его не так-то просто достать, он придает приятную кислинку любому кушанью. А в этих кувшинах восьмижды доброе вино из Хазати в стране фенехийцев, как то и написано. Видишь, я располагаю свои предложения лесенкой, поднимаясь от менее ценных товаров к прекрасным, а от них к превосходным, - таков мой продуманный обычай. Вот эти смолы и благовония, астрагальная камедь и коричневатый лабдан гордость моей торговли, слава моего дома. Мы знамениты этим в мире, и между реками все только и говорят, что в смолах мы сильнее любого купца и странствующего, и оседлого, сидящего в лавке. "Это, - говорят о нас, измаильтяне из Мидиана, они везут пряности, бальзамы и мирру с Гилеада в Египет". Вот что говорят люди, а ведь мы, случается, везем с собой и другой товар, и мертвый, и живой, и вещи, и, бывает, предметы одушевленные, так что любой дом мы можем не только снабдить всем необходимым, но также умножить. Но я умолкаю.

- Ты умолкаешь? - удивился управляющий. - Ты болен? Когда ты молчишь, я тебя не узнаю, я узнаю тебя только тогда, когда по твоей бородке текут приятные речи - они еще стоят у меня в ушах с прошлого раза, и по ним я тебя узнаю.

- Не речью ли, - ответил старик, - и славится человек? Кто умело подбирает слова и ловок изъясняться, к тому расположены боги и люди, и он находит благосклонных слушателей. Но твой покорный слуга, скажу по чести, не наделен красноречием и не владеет богатствами языка, а поэтому недостающую его речам изысканность он восполняет их настойчивостью и длительностью. Торговец должен уметь говорить, и его язык обязан подладиться к покупателю, иначе в нем нет проку и купец ничего не сбудет, не то что из семи, а даже из семидесяти семи видов товара...

- Из шести, - слышался словно издалека, хотя он стоял совсем рядом, шепоток маленького Боголюбца. - Ты назвал шесть видов товара: светильники, сурьмила, мотыки, лук, мирру и вино. Где же седьмой?

Измаильтянин приложил левую руку раструбом к уху, а правую козырьком ко лбу.

- Что изволил заметить, - спросил он, - этот празднично одетый господин среднего роста?

Один из его спутников разъяснил ему замечание карлика.

- Ну, - ответил он на это, - найдется и седьмой. Кроме мирры, которая у всех на устах, среди товаров, привезенных нами в Египет, есть и еще кое-что, и на этот товар я тоже не пожалею слов, - пусть не изысканных, а только настойчивых, - чтобы сбыть и его и чтобы все говорили об измаильтянах из Мидиана: "Чего они только не привозят в Египет!"

- Простите! - сказал управляющий. - Вы думаете, я могу здесь стоять и слушать вашу болтовню целую вечность? Ра уже почти достиг своей полуденной высоты. Смилуйтесь! С минуты на минуту вернется с запада, из дворца, мой господин. Неужели я положусь на челядь и не проверю, все ли в порядке в столовом покое, хороши ли жареные утки, пирожные и цветы и сможет ли мой господин отобедать, как он привык, вместе с госпожой и священными родителями с верхнего этажа? Поторопитесь или уходите! Мне пора в дом. Старик, мне не нужны твои семь видов товара, совсем не нужны, если уж говорить правду...

- Потому что все это - нищенская дрянь, - вставил карлик-супруг Дуду.

Управляющий мельком взглянул вниз на этого строгого человека.

- Но тебе, как мне показалось, нужен мед, - сказал он старику. - Так вот, я дам тебе горшок-другой нашего меду за две таких мотыки, чтобы только не обижать тебя и твоих богов. А еще дай мне пять мешков этого острого лука, во имя Сокрытого, и пять мер твоего фенехийского вина, во имя Матери и во имя Сына! Сколько ты спросишь за это? Но не будь мелочным, не запрашивай сначала втридорога, чтобы долго не торговаться, а назови хотя бы двойную цену, чтобы мы поскорей дошли до настоящей и я поспел в дом. Предлагаю взамен писчий папирус и домотканое полотно. Если хочешь, можешь получить пиво и хлеб. Только отпусти меня поскорей!

- Тебя обслужат, - сказал старик, отвязывая от своего кушака ручные весы. - Достаточно одного твоего слова, даже знака, и тебя тотчас же, без церемоний, обслужит твой покорный слуга. Да, да, без церемоний, но не бесцеремонно! Если бы мне не нужно было жить, все вещи достались бы тебе безвозмездно. А так приходится назначить им цену, чтобы жить хоть впроголодь, но только сохранить себя для служенья тебе, ибо это самое главное. - Эй, ты, - бросил он через плечо Иосифу. - Возьми список товаров, тобою составленный, где названия написаны черной тушью, а мера и вес красной! Возьми и прочти нам весовую стоимость лука и вина, но переведи ее сразу, в уме, в здешние меры, в дебены и лоты, чтобы мы знали, сколько стоят эти товары в фунтах меди, а благородный управляющий оплатил вычисленное количество меди полотном и писчим папирусом из запасов этого дома! А я, мой покровитель, если захочешь, еще раз, для большей верности, взвешу эти товары.

Иосиф успел уже приготовить свиток и, развертывая его, подошел к старику. От юноши не отставал господин Боголюб, который, конечно, никак не мог заглянуть в эту опись, но внимательно следил за руками, ее разворачивавшими.

- Какую цену прикажет рабу назвать мой господин - двойную или настоящую? - скромно спросил Иосиф.

- Разумеется, настоящую; что ты болтаешь? - побранил Иосифа старик.

- Но ведь благородный управляющий велел тебе назвать двойную цену, возразил Иосиф с очаровательной серьезностью. - И если я назову настоящую цену, он может принять ее за двойную и предложить тебе только половину, как же ты тогда будешь жить? Уж лучше бы, пожалуй, он принял двойную цену за настоящую, и если бы он даже немного сбавил ее, ты все-таки мог бы жить не так чтобы впроголодь.

- Хе-хе, - ухмыльнулся старик. - Хе-хе, - повторил он и взглянул на управляющего - как ему это понравится.

Писцы, с тростинками за ушами, засмеялись. Гном Боголюб хлопнул даже ручонками по ноге, которую он, подсакивая на другой, поднял вверх. Его колдовское лицо сморщилось сотнями складок карличьей радости. Зато Дуду, его малорослый собрат, с еще большей важностью выпятил крышу своей губы и покачал головой.

Что касается Монт-кау, то он взглянул на этого умного молодого раба, на которого дотоле, понятно, не обращал внимания, с явным удивлением, быстро переросшим в изумление и уже вскоре заслуживавшим несравненно более решительного и сильного названья. Возможно, - мы только высказываем предположение, но не осмеливаемся утверждать, - возможно, что в этот миг, от которого столь многое зависело, бог его праотцев оказал Иосифу особую милость и озарил его светом, способным вызвать в душе смотревшего как раз те чувства, которые и требовались для исполнения его, бога, планов. Конечно, тот, о ком идет речь, дал нам зрение, слух и все прочие чувства на нашу собственную потребу - но все же с условием, что мы будем пользоваться ими еще и как проводниками его намерений, принаравливающими наш дух к его более или менее далекому замыслу. Отсюда-то и следует наше предположение, хотя мы готовы от него отказаться, если его сверхъестественность не вяжется с естественностью этой истории.

Естественные и трезвые объяснения уместны здесь тем более, что трезвость и естественность были присущи самому Монт-кау, жившему в мире, уже весьма далеко от тех, кому ничего не стоило представить себе неожиданную, среди бела дня и, так сказать, на улице, встречу с богом. Но к таким возможностям, к таким допущениям его мир был все же ближе, чем наш, хотя они уже и стали половинчатыми, утратив свою недвусмысленность, определенность, буквальность. Монт-кау взглянул на сына Рахили и увидел, что тот красив. Но понятие красоты, навязавшееся ему через зрение и завладевшее его сознанием, было для него по законам мышления связано с представлением о Луне, каковая, в свою очередь, являлась светилом Джхути из Хмуну, небесным обличем Тота, хранителя меры и лада, мудрого волшебника и писца. Иосиф стоял перед ним со свитком в руке и вел весьма хитроумные для раба и даже для раба-писца речи, - а это вносило в ход мыслей управляющего какое-то беспокойство. На плечах у молодого азиата-бедуина не было головы ибиса, и значит, он был, несомненно, человеком, не богом, не Тотом из Хмуну. Но в цепи понятий он был связан с Тотом и являл ту двусмысленность, которая подчас чувствуется в некоторых словах, например, в прилагательном "божественный": будучи известным ослаблением того высокого имени существительного, от которого оно произведено, не сохраняя всей его полнозначной величественности, а лишь напоминая о ней и приобретая фигуральный, переносный смысл, оно все-таки, хоть и нерешительно, притязает на его полнозначность, поскольку "божественный" обозначает ощутимые качества, то есть самый феномен бога.

Эти двусмысленности поразили управляющего Монткау при первом же взгляде на Иосифа и возбудили его внимание. Сейчас происходило некое повторение. Так или подобным образом уже поражались другие, а третьим это еще предстояло. Не нужно думать, что пораженный был так уж сильно взволнован. То, что он сейчас испытывал, в

общем уложилось бы в наше восклицание: "Черт побери!" Но этого он не сказал. Он спросил:

- А это еще что такое?

Сказав "что такое" из пренебрежения и осторожности ради, он облегчил старику ответ.

- Это, - ответил старик, осклабясь, - Седьмой Товар.

- Что за дикая манера, - сказал египтянин, - говорить загадками!

- Мой покровитель не любит загадок? - ответил старик. - Жаль! У меня их много в запасе. Но эта совсем проста: мне сказали, что у меня только шесть видов товара, а вовсе не семь, как я, мол, для красного словца прихвастнул. Так вот, этот раб, что ведет у меня учет, и есть седьмой товар - это кенанский юноша, которого я привез в Египет вместе с моими знаменитыми смолами и теперь продам. Продам не во что бы то ни стало и не потому, что не вижу в нем проку. Он умеет печь и писать, и у него светлая голова. Но в почтенный дом, в такой дом, как твой, - одним словом, тебе я продам его, если ты мне заплатишь за него так, чтобы я мог хотя бы впроголодь жить. Ибо я желаю ему хорошего пристанища.

- У нас штат заполнен! - не без поспешности сказал управляющий, качая головой. Он не хотел ничего сомнительного ни в обычном, ни даже в высоком смысле и ответил как трезвый практический человек, желающий оградить подведомственный ему круг дел от всяких враждебных порядку, высоких, "божественных", так сказать, посягательств.

- У нас нет вакансий, - сказал он, - и дом ни в ком не нуждается. Нам не требуется ни пекарей, ни писцов, ни светлых голов, ибо моя голова достаточно светла для того, чтобы поддерживать в доме порядок. Возьми свой седьмой товар с собой и пользуйся им в свое удовольствие!

- Потому что он дрянь и нищий и нищая дрянь! - с важным видом прибавил Дуду, муж Цесет.

Но глухому его голоску ответил другой голосок - дурачка Боголюб, который тихонько прострекотал:

- Седьмой товар самый лучший. Приобрети его, Монт-кау!

Старик начал снова:

- Чем светлей твоя собственная голова, тем досадней тебе темнота окружающих, ибо из-за них ты страдаешь от нетерпенья. Светлой голове начальника нужны светлые головы подчиненных. Этого слугу я предназначил твоему дому еще тогда, когда между мной и тобой лежали большие отрезки пространства и времени, и привел его сюда, чтобы оказать твоему дому особую, дружескую услугу, предложив тебе подобный товар. Ибо мой юноша так смышлен и речист, что это просто сущее удовольствие, и достает из сокровищницы языка такие затейливые обороты, что просто заслушаешься. Триста шестьдесят раз в году он пожелает тебе в разных выражениях спокойной ночи, и на пять дополнительных дней у него тоже найдется что-нибудь новое. И если он хотя бы два раза скажет тебе одно и то же, можешь вернуть его мне и получить обратно уплаченное.

- Послушай, старик! - отвечал управляющий. - Все это прекрасно. Но коль скоро мы уж заговорили о нетерпении, то мое терпенье, кажется, подходит к концу. Я по доброте своей

соглашаюсь взять у тебя несколько совершенно ненужных мне безделиц, - только чтобы не обижать твоих богов и наконец уйти отсюда внутрь дома, а ты сразу же навязываешь мне какого-то слугу для пожелания спокойной ночи, да еще делаешь вид, будто он предназначен дому Петепра чуть ли не со времени основания страны.

Тут смотритель одежной Дуду издал снизу достаточно полновзвучный смешок "хо-хо!", и управляющий бросил на него быстрый, сердитый взгляд.

- Откуда же оно у тебя, это воплощение краснобайства? - продолжал он и, не глядя, протянул руку к свитку, который Иосиф, подойдя, учтиво ему передал. Монт-кау развернул свиток, держа его на большом расстоянии от глаз, ибо был уже весьма дальноророк.

Тем временем старик отвечал:

- Поистине жаль, что мой покровитель не любит загадок. Я бы мог ответить ему загадкой, откуда у меня этот юнец.

- Загадкой? - рассеянно повторил управляющий, ибо он разглядывал список.

- Отгадай ее, если пожелаешь! - сказал старик. - Что это такое? "Мне родила его бесплодная мать". Сумеешь найти ответ?

- Значит, это он написал? - спросил все еще занятый свитком Монт-кау. Гм... Отойди-ка в сторонку, ты - как тебя! Ну, что ж, выполнено на совесть и со вкусом, не стану спорить. Это могло бы украсить стену и служить памятной надписью. А уж есть ли здесь лад и склад, судить не берусь, ибо это самая настоящая тарабарщина. - Бесплодная? - переспросил он, так как одним ухом он все-таки слушал старика. - Бесплодная мать? Что ты мелешь? Женщина либо бесплодна, либо родит. Как же может быть сразу и то и другое?

- Вот в этом-то, господин мой, и загадка, - объяснил старик. - Я позволил себе облечь свой ответ в одежду забавной загадки. Если прикажешь, я дам и отгадку. Далеко отсюда на моем пути оказался пересохший колодец, а из колодца доносились жалобные стоны. И я извлек на свет этого малого, который пробыл три дня во чреве, и вспоил его молоком. Вот почему колодец стал матерью, и притом бесплодной.

- Ну, что ж, - сказал управляющий, - загадка так себе. Во все горло над ней, пожалуй, не станешь смеяться. И даже если улыбнешься, но только из вежливости.

- Возможно, - ответил старик тихо и обиженно, - она показалась бы тебе забавнее, если бы ты отгадал ее сам.

- А ты, - не остался в долгу управляющий, - дай мне лучше ответ на другую загадку, гораздо, кстати, более трудную, а именно - почему я все еще здесь стою и болтаю с тобой! Только ты отгадай ее лучше, чем отгадал свою, ибо, насколько мне известно, на свете нет таких нечестивцев, которые изливали бы семя в колодцы, отчего те родили бы. Как же оказалось дитя во чреве, то есть раб в колодце?

- Жестокие хозяева, прежние его владельцы, у которых я его купил, отвечал старик, - бросили его туда за сравнительно небольшие провинности, каковые нисколько не уменьшают его достоинств, ибо относились только к делам премудрым и таким тонкостям, как различие между "\_чтобы\_" и "\_так что\_" - об этом не стоит и говорить. А я приобрел его, ибо сразу и, можно сказать, на ощупь определил, что этот мальчик - существо благородной выделки, каким бы темным ни было его происхождение. К тому

же в колодце он раскаялся в своих провинностях, а наказание очистило его от них настолько, что он стал мне самым полноценным слугой. Он умеет не только хорошо говорить и писать, но также печь на камнях лепешки необычайной вкусности. Не следует расхваливать свой товар самому, пусть лучше назовут его необыкновенным другие; но для разума и проворства этого юноши, очистившегося через жестокую кару, в сокровищнице языка есть только одно определение: они необыкновенны. И уж поскольку твой взгляд упал на него, а я обязан искупить свою глупость, - ведь я же мучил тебя загадками, - прими его от меня в подарок великому Петепра и дому, которым тебя поставили управлять! Я же отлично знаю, что ты не преминешь отдарить меня из богатств Петепра, \_чтобы\_ я жил и \_так что\_ я смогу жить, снабжая, а подчас и умножая твой дом и впредь.

Управляющий взглянул на Иосифа.

- Правда ли, - спросил он, с надлежащей резкостью, - что ты речист и умеешь потешно выражаться?

Сын Иакова призвал на помощь все свои познания в египетском языке.

- Слово слуги не в счет, - ответил он распространенной поговоркой. Ничтожный молчит, когда говорят великие, - гласит начало любого свитка. Да ведь и имя, которое я ношу, - это имя молчания.

- Вот как! Как же тебя зовут?

Иосиф помедлил с ответом. Потом он поднял глаза.

- Озарсиф, - сказал он.

- Озарсиф? - повторил Монт-кау. - Такого имени я не знаю. Его, правда, не назовешь чужеземным, и его можно понять, потому что в нем слышится имя обитателя Абоду, владыки вечного безмолвия. Однако, с другой стороны, у нас оно не встречается, и в Египте нет людей с этим именем, как не было их и при прежних царях. Но хотя твое имя связано с безмолвием, твой хозяин сказал, что ты умеешь приятно говорить, а в конце дня на разные лады прощаться на ночь со своим господином. Так вот, сегодня вечером я тоже пойду спать и улягусь в свою постель в Особом Покое Доверия. Что же ты скажешь мне?

- Сладко почивай, - проникновенно ответил Иосиф, - после дневных трудов! Пусть твои ноги, опаленные жаром своей стези, блаженно ступают по прохладному мху покоя, и журчащие источники ночи усладят твой усталый язык!

- Да, это в самом деле трогательно, - сказал управляющий, и на глазах у него показались слезы. Он кивнул головой старику, который тоже кивнул ему и стал, улыбаясь, потирать руки. - Когда человек намается, как я, и к тому же не очень хорошо себя чувствует, потому что у него ноет почка, такие слова просто трогают. Не может ли нам, во имя Сета, - повернулся он к своим писцам, - понадобится один молодой раб - скажем, зажигать светильники или опрыскивать пол? Как ты думаешь, Ха'ма'т? - сказал он долговязому писцу с опущенными плечами и с несколькими тростинками за каждым ухом. - Не может ли он нам понадобится?

Писцы стали нерешительно жестикулировать; они выражали свои колебания, выпячивали губы, втягивая голову в плечи и приподнимая руки.

- Что значит "понадобиться"? - ответил тот, кого звали Ха'ма'т. - Если это значит "нельзя обойтись", то мы вполне обойдемся и без него. Но понадобится может и то, без чего легко обойтись. Все зависит от цены. Если этот дикарь хочет продать тебе раба-писца, то гони его прочь, ибо нас и так достаточно, и никто нам больше не нужен и не может понадобится. Но если он предлагает тебе раба, который бы ходил за собаками или прислуживал в бане, то пусть назовет свою цену.

- Итак, старик, - сказал управляющий, - поторопись! За какую плату продашь ты сына колодца?

- Он твой! - отвечал старик. - Поскольку мы вообще заговорили о нем и ты спрашиваешь меня о его обстоятельствах, он уже принадлежит тебе. Мне, право, не пристало определять стоимость подарка, которым ты, как я вижу, собираешься меня отдарить. Но если ты велишь - павиан садится возле весов! Кто нарушит меру и вес, того изобличит сила Луны! Двести дебенов меди вот как надлежит оценить этого слугу ввиду его необыкновенных качеств. А лук и вино из Хазати ты получишь в придачу как дар и привесок дружбы.

Это была очень высокая цена, тем более что дикорастущему аскалунскому луку и широко потребляемому фенехийскому вину старик весьма благоразумно придал характер довеска и, собственно, весь запрос относился к молодому рабу Озарсифу; да, это была дерзкая оценка, даже если признать, что из всех товаров странствующих купцов, не исключая и знаменитых смол, в Египет стоило везти один только этот, и даже если стать на ту точку зрения, что вся торговля измаильтян была только придачей и что самый смысл их жизни состоял единственно в том, чтобы во исполнение неких замыслов доставить в Египет мальчика Иосифа. Не отважимся утверждать, что хотя бы смутное подозрение такого рода могло шевельнуться в душе старика минейца; управляющему Монт-кау, во всяком случае, подобные представления были совершенно чужды, и вполне вероятно, что он сам запротестовал бы против такой завышенной оценки, если бы его не опередил своим вмешательством почтенный карлик Дуду. В полную силу посыпались у него возражения из-под прикрытия верхней губы, и во всю прыть забежали перед грудью кисти его коротеньких ручек.

- Это смешно! - сказал он. - Это в высшей степени и донельзя смешно, управляющий; отвернись же во гневе! Этот старый мошенник имеет наглость говорить о какой-то дружбе, как будто возможна дружба между тобой, египтянином, возглавляющим имение великого мужа, и дикарем песков! Что же касается его торговли, то это просто капкан и ловушка. За этого пентюха, и он протянул ладошку к Иосифу, возле которого уже пристроился, - за этого паршивца пустыни, за этот подозрительный хлам он просит не больше не меньше, как двести дебенов меди. А малый, по-моему, очень и очень подозрителен. Хоть он и ловок болтать о прохладных мхах и журчащих источниках, кто знает, за какие неискоренимые пороки он был в действительности наказан знакомством с ямой, откуда якобы извлек его этот старый плут. Вот тебе мое слово - не приобретай этого шалопая, вот тебе мой совет - не покупай его для Петепра, ибо тот не поблагодарит тебя за такое приобретение.

Так говорил Дуду, смотритель нарядов. Но вслед за его голосом послышался голосок, похожий на стрекотание кузнечика. Это был голос маленького Боголюбя в праздничном платье, "визиря", который стоял рядом с Иосифом с другой стороны: юноша оказался между обоими карликами.

- Купи, Монт-кау! - зашептал он, привстав на цыпочки. - Купи этого мальчика из страны песков! Из всех товаров купи только его одного, ибо это самый лучший товар! Доверься маленькому, он видит! Озарсиф добр, красив и умен. Он благословен и будет

благословением дому. Послушайся разумного совета!

- Не слушайся дурного совета, а послушайся дельного! - воскликнул тотчас же другой карлик. - А как может дать дельный совет этот сморчок, если в нем самом дельного и путного столько же, сколько в пустом орехе? У него нет в мире ни веса, ни положения, и он, как пробка, всегда торчит на поверхности, этот пустомеля и попрыгун, - так как же он может дать полноценный совет, как же он может судить о делах мира, о товарах и людях и о товаре в виде людей?

- Ах ты, напыщенный дурак, болван ты болваном! - закричал Бес-эм-хеб, и от злости его гномье лицо сморщилось сотнями складок. - Как ты берешься о чем-то судить и как можешь ты дать мало-мальски дельный совет, гнусный отступник? Ты промотал карличью мудрость, отрекшись от своей неполномерной стати. Ты женился на долговязой, произвел на свет длинных, как жерди, детей, Эсези и Эббл, и строишь из себя важную особу. Но все равно ты остался карликом, и даже межевой камень выше тебя. Зато глупость твоя полноразмерна, и ничего не стоят твои сужденья о товарах и людях и о товаре в виде людей...

Трудно представить себе, как взбесили Дуду эти упреки и в какую ярость привела его такая характеристика его умственных способностей. Лицо его позеленело, крыша верхней губы задрожала, и он разразился ядовитыми речами о ветрености и неполноценности Боголюбя, на которые тот незамедлительно отвечал ехидными замечаниями о напыщенности, из-за которой утрачивается всякая тонкость ума; так ссорились и бранились эти человечки, уперев руки в колени, по обе стороны от Иосифа; иногда в пылу спора они обегали его, словно дерево, которое отделяло и защищало их друг от друга; и все собравшиеся, и египтяне и измаильтяне, в том числе и управляющий, от души смеялись над этой междоусобицей, разыгравшейся у их ног; но вдруг все прекратилось.

## ПОТИФАР

С улицы, издалека и нарастая, донесся шум - цокот копыт, грохот колес, топот семенящих человеческих ног, а также разноголосые призывы к вниманию; все это приблизилось с большой скоростью, было уже у ворот.

- Ну вот, - сказал Монт-кау. - Господин. А порядок в столовой? Великая фиванская троица, я истратил время на сущие пустяки! Тише, слуги, не то отведаете ремня! Ха'ма'т, ты закончишь торговлю, а я пойду с хозяином в дом! Возьми эти товары по сходной цене! Будь здоров, старик! Приходи к нашему дому снова лет через пять или через семь!

И он поспешно повернулся. Сторожа кирпичной скамьи что-то кричали во двор. Со всех сторон сбежались слуги, желавшие упасть ниц при въезде своего повелителя. И вот уже загремела повозка, и топот рысаков гулко отдался в каменной арке: в ворота въезжал Петепра; впереди, задыхаясь, бежали скороходы, предостерегавшие прохожих, сбоку и сзади, тоже задыхаясь, скороходы с опахалами; пара лоснящихся, в красивой сбруе, украшенных страусовыми перьями, резвых на вид гнедых была запряжена в маленькую двуколку - изящный экипаж со слегка изогнутыми поручнями, в котором можно было стоять лишь вдвоем с возничим; но возничий стоял без дела, присутствуя, видимо, только почета ради, ибо друг фараона правил сам: по лицу и по наряду того, кто держал вожжи и бич, видно было, что хозяин именно он; это, как в общих чертах разглядел Иосиф, был чрезвычайно большой и толстый человек с маленьким ртом; но внимание Иосифа было занято главным образом переливавшимися на солнце цветными камнями на спицах повозки - игрой красочно кружащихся отблесков, которой Иосиф охотно позабавил бы маленького Вениамина и которая, хотя и без такого мелькания,

повторялась во внешности самого Петепра, а именно на его прекрасном воротнике, подлинном произведении искусства, состоявшем из множества продолговатых, скрепленных в ряды узкими сторонами финифтевых и самоцветных пластинок всех оттенков, что также полыхали всеми цветами радуги на том ярком свете, которым залил и всю Узет и это место достигший своей вершины бог.

Ребра скороходов так и ходили. Сверкающие кони остановившись, били копытами, вращали глазами и фыркали, и слуга, взяв лошадей под уздцы, с ласковыми словами похлопывал их по взмыленным холкам. Повозка остановилась как раз между торговцами и обводной стеной главного здания, у пальм, и Монт-кау, приветственно замерший было перед воротами, теперь, улыбаясь, кланяясь, приняв самый счастливый вид и даже качая головой от восторга, подошел к хозяину, чтобы помочь ему выйти из экипажа. Петепра передал возничему вожжи и бич, оставив в своей маленькой руке только короткий, сделанный из тростника и золоченой кожи с раструбом спереди жезл, облагороженное подобие палицы. "Вымыть вином, хорошенько укрыть, поводить по двору!" - сказал он тонким голосом, указывая на лошадей этим изящным видоизменением дикарского оружия, превратившимся в легкий знак начальственной власти, и, отстранив предупредительно протянутую руку управляющего, ловко для своего сложения спрыгнул с повозки, хотя мог бы и спокойно с нее сойти.

Иосиф отлично видел его и слышал, особенно когда повозка медленно покатила к конюшням, целиком открыв взглядам измаильтян хозяина и домоправителя, провожавших глазами упряжку. Этому сановнику было лет тридцать пять - сорок, и роста он был действительно саженого - Иосиф невольно вспомнил о Рувиме при виде этих столпообразных ног, вырисовывавшихся под царским полотном его не достававшей до щиколоток одежды, сквозь которую просвечивали также складки и свисающие тесемки-набедренника; но эта громада плоти была совсем иной, чем у богатыря брата: она была сплошь очень жирной, и особенно жирной была грудь, которая под тонким батистом верхней одежды выдавалась двумя холмами и во время ненужного прыжка с повозки прямо-таки затряслась. Совсем маленькой по сравнению с таким ростом и такой полнотой была у него голова, благородно вылепленная, с короткими волосами, коротким, нежно изогнутым носом, изящным ртом, приятно выступающим подбородком и подернутыми поволокой глазами, гордо глядевшими из-под длинных ресниц.

Стоя с управляющим в тени пальм, он с удовольствием проводил взглядом удалявшихся шагом жеребцов.

- Очень горячие кони, - донеслись его слова. - Уисер-Мин еще резвее, чем Уэпуавет. Они не слушались, хотели понести. Но я с ними справился.

- Только ты с ними и можешь справиться, - отвечал Монт-кау. - Это поразительно. Твой возничий Нетернахт не отважился бы с ними тягаться. Никто в доме не отважился бы, до того отчаянны эти сирийцы. У них в жилах огонь, а не кровь. Это не лошади, это демоны. А ты их обуздываешь. Они чувствуют руку хозяина - и воля их сломлена, и они покорно бегут в упряжке. А ты, господин мой, даже не устал от победоносной борьбы с их дикостью и спрыгиваешь с повозки, как смелый юноша.

Петепра усмехнулся углубленными уголками своего маленького рта.

- Я собираюсь, - сказал он, - еще до вечера почтить Себека и поохотиться на воде. Приготовь все необходимое и разбуди меня вовремя, если я усну. В челноке должны быть копья и дротики для рыбной ловли. Но позаботься и о гарпунах, ибо мне доложили, что в проток, где я обычно охочусь, забрел огромный гиппопотам, а он-то и нужен мне в первую очередь; я хочу его уложить.

- Повелительница, - отвечал управляющий с опущенными глазами, Мут-эм-энет, задрожит от страха, когда об этом услышит. Будь так добр, не убивай гиппопотама, по крайней мере, собственноручно, а предоставь это опасное дело слугам! Госпожа...

- Нет, что мне за радость, - возразил Петепра. - Я сам.

- Но госпожа будет дрожать от страха!

- Пускай дрожит! А в доме, - спросил он, повернувшись к управляющему резким движением, - надеюсь, все благополучно? Никаких неприятностей или происшествий не было? Нет? Что это за люди? Ах, странствующие купцы. Весела ли госпожа? А высокие родители с верхнего этажа - здоровы ли?

- Порядок и благополучие не оставляют желать лучшего, - отвечал Монт-кау. - На исходе утра прелестная госпожа велела отнести себя в гости к Рененутет, супруге главного смотрителя говяд Амуна, чтобы поупражняться с нею в пении. Возвратившись, она велела Тепем'анху, писцу Дома Замкнутых, почитать ей сказки и соблаговолила поцеловать сладости, которые приказал подать ей твой слуга. Что же касается достопочтенных родителей с верхнего этажа, то они соизволили переправиться через реку и принести жертву в погребальном-храме Тутмоса, слившегося с Солнцем отца богов. Вернувшись с запада, высокие брат и сестра Гуий и Туий чинно и благолепно, рука об руку, сидели в беседке у пруда твоего сада и коротали время в ожидании часа, когда ты вернешься и будет подан обед.

- Им тоже, - сказал хозяин дома, - можешь невзначай сообщить, что я еще сегодня пойду на гиппопотама: пусть знают.

- Но это, - возразил управляющий, - приведет их, увы, в великий страх.

- Неважно, - отвечал Петепра. - Здесь, я вижу, - добавил он, - жили сегодня утром в свое удовольствие, а у меня были при дворе и во дворце Мерима'т всякие неприятности.

- У тебя? - сокрушенно спросил Монт-кау. - Возможно ли это? Ведь добрый бог во дворце...

- Одно из двух, - донесли слова хозяина, который уже отворачивался от управляющего; при этом он пожимал своими огромными плечами, - одно из двух: либо ты военачальник и глава палачей, либо нет. Если да... а тут какой-то...

Его слов уже не было слышно. Вместе с управляющим, который держался немного позади и, склонившись к хозяину, слушал и отвечал, он прошел между рядами поднимавших руки рабов через ворота к своему дому. А Иосиф увидел "Потифара", как выговаривал он про себя это имя, египетского вельможу, которому его продали.

## ИОСИФА ОПЯТЬ ПРОДАЮТ, И ОН ПАДАЕТ НИЦ

Ибо теперь это случилось. Долговязый писец Хамат, в присутствии карликов, совершил от имени управляющего сделку со стариком. Но Иосиф почти не обращал внимания на то, как проходили эти переговоры и за какую цену его наконец продали, настолько был он поглощен своими мыслями и первыми впечатлениями от нового своего владельца. Его сверкающий воротник с золотыми регалиями и его заплывший жиром, но гордый стан; его прыжок с повозки и льстивые слова, сказанные ему Монт-кау о его силе и смелости в объезжании лошадей; его намерение собственноручно сразить дикого бегемота, беспечно пренебрегая тревогой своей супруги Мут-эм-энет и своих родителей Гуия и Туий

(причем слово "беспечность" отнюдь не исчерпывающе определяло его отношение к ним); с другой стороны, его внезапный вопрос о том, все ли в доме благополучно и весела ли госпожа; даже отрывочные намеки на какую-то неудачу во дворце, оброненные им уже на ходу, - все это дало сыну Иакова пищу для самых усердных раздумий, сопоставлений, догадок; он молча старался все это объяснить, истолковать и дополнить, как всякий, кто стремится как можно скорее стать в душе хозяином положения, в которое его ненароком поставили и с которым он обязан считаться.

Будет ли он - так шли мысли Иосифа - некогда стоять возле "Потифара" в двуколке его возничим? Или ездить с ним на охоту в нильском протоке? Да, верьте или не верьте, уже тогда, едва оказавшись перед этим домом и при первом же внимательно-беглом взгляде на свое новое окружение, уже тогда он думал о том, что должен будет раньше или позже непременно приблизиться к своему господину, самому высокому в этом кругу, хотя и не самому высокому в земле Египетской, - а из такого уступительного добавления явствует, что бесконечные трудности, лежавшие на пути к этой первой, еще очень и очень далекой цели уже тогда не мешали ему заглядывать дальше, представляя себе близость к еще более окончательным воплощениям самого высокого.

Так было; мы его знаем. Разве при меньших притязаниях он достиг бы в этой стране того, чего достиг? Он находился в преисподней, входом в которую оказался колодец, он был уже не Иосифом - Озарсифом; и оставаться последним из обитателей преисподней он долго не мог. Он быстро учел благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Монтау был добрый человек. Он прослезился, услышав ласковое пожелание приятного сна, потому что порой чувствовал себя не совсем здоровым. Дурачок Боголюб был тоже доброго нрава и явно горел желанием ему помочь. Дуду был враг - доколе он им оставался; но, возможно, существовал способ его обезвредить. Писцы выказали ревность, потому что и он был писцом, - с этим неприязненным чувством следовало снисходительно считаться. Так взвешивал он ближайшие свои возможности, - и неверно было бы осудить его за это и назвать своекорыстным пронырой Им Иосиф не был, и не так надлежит оценивать его мысли. Он думал, он помышлял о высшем долге. Бог положил конец его безрассудной жизни и воскресил его, чтобы он начал новую жизнь. Через посредство измаильтян он привел его в эту страну. Привел, несомненно, с великим, как всегда, замыслом. Он не делал ничего, что не имело бы великих последствий, и нужно было преданно помогать ему в полную силу отпущенного тебе ума, а не сковывать его намерений своей косной бездеятельностью. Бог послал ему сны, которые тот, кому они приснились, обязан был помнить: о снопах, о звездах; такие сны были не столько обетованием, сколько указанием. Они должны были так или иначе исполниться; каким образом - было ведомо одному только богу, но удаление в эту страну было тому началом. Однако сами собой они не могли исполниться - надо было помочь. Жить соответственно своей молчаливой догадке или даже убежденности, что бог назначил тебе какую-то неповторимую долю, - это не своекорыстная пронырливость, и честолюбием это тоже нельзя назвать; ибо если честолюбие относится к богу, оно заслуживает более почтительного названия.

Итак, Иосиф не обращал внимания на то, как именно и за какую цену его во второй раз продают, - настолько он был поглощен разбором своих впечатлений и желанием стать в душе хозяином положения. Долговязый Хамат с тростинками за ухом - этими тростинками он поразительно балансировал, они держались, как приклеенные, и сколько он ни вертелся, торгуясь, ни одна не упала - долговязый Хамат, чтобы сбавить цену, упрямо стоял на различии между "нужен" и "может понадобиться", а старик выдвигал свой старый и убедительный довод: стоимость ответного подарка должна быть достаточно велика, чтобы он мог жить, дабы и впредь служить этому дому; и ему удалось представить эту необходимость такой очевидной, что писец, к своей невыгоде, даже не попытался ее оспаривать. Одного поддерживал смотритель одежной Дуду, который

ссылался на разницу между "нужен" и "может понадобиться" применительно ко всем трем товарам: и к луку, и к вину, и к рабу; а другого Шепсес-Бес, который стрекотал насчет своей карличьей прозорливости и советовал приобрести Озарсифа без мелочных проволочек, заплатив первую же спрошенную цену. И лишь под конец, да и то ненадолго, в эти споры вмешался сам их виновник, сказав, что сто пятьдесят дебенов, по его мнению, слишком дешевая плата за него и что сойтись можно было бы, по крайней мере, на ста шестидесяти. Он сделал это из честолюбия в отношении бога, и писец Хамат резко заметил ему, что предмету купли-продажи никак не пристало вмешиваться в переговоры о своей цене; тогда он снова умолк и предоставил делу идти своим чередом.

Наконец он увидел чубарого бычка, которого велел вывести из стойла Хамат; было странно увидеть выражение собственной стоимости в стоящем напротив тебя животном - странно, хотя и не обидно в этой стране, где большинство богов узнавало себя в животных и где в таком почете была идея соединимости тождественного и сходного.

Кстати, бычком дело не ограничилось; его стоимость еще не была тождественна стоимости Иосифа, ибо старик отказался оценить его выше ста двадцати дебенов, и к бычку пришлось приложить еще много всякого добра латы из воловьей шкуры, несколько штук папируса и грубого полотна, несколько бурдюков из барсовой шкуры, большое количество натра для засаливания мертвецов, связку рыболовных крючков и несколько метелок, чтобы весы павиана пришли в священное равновесие, пришли, впрочем, скорее по договоренности и на глазок, чем чисто математическим путем; ибо посла долгих споров о каждом отдельном предмете обе стороны в конце концов отказались от числовых расчетов, удовлетворившись ощущением, что в общем они не так уж и прогадали. Обе стороны оценивали совершенную сделку в пределах от ста пятидесяти до ста шестидесяти дебенов меди, и за эту цену сын Рахили вместе с назначенной стариком придачей перешел в собственность Петепра, египетского вельможи.

Свершилось. Измаильтяне из Мидиана выполнили свое назначение в жизни, они сбыли то, что им суждено было доставить в Египет, теперь они могли продолжить свой путь и исчезнуть в мире - в них не было больше нужды. Впрочем, такое положение дел несколько не уязвляло их самолюбия, они были о себе такого же высокого мнения, как прежде, и отнюдь не казались себе лишними и ненужными. И разве отеческие побуждения доброго старика, разве его желание позаботиться о найденыше и устроить юношу в самом лучшем из имевшихся на примете домов, разве они не были нравственно полновесны, даже если, с другой стороны, его настроение было только орудием, только вспомогательным средством достижения каких-то неведомых ему целей? Достаточно удивительно, что он вообще перепродал Иосифа, словно иначе и быть не могло, - с барышом, который, по его словам, "позволял ему не умереть" и лишь с грехом пополам успокаивал его совесть купца. Ведь он же сделал это явно не барыша ради и, в общем-то с удовольствием оставил бы у себя сына колодца, чтобы тот прощался с ним на сои грядущий и пек ему вкусные лепешки. Он действовал не из своекорыстия, как ни старался он добиться для себя хотя бы чисто торговой выгоды. Да и что значит "своекорыстие"? Ему хотелось позаботиться об Иосифе; устроить его в жизни получше, и, удовлетворяя это желание, он попутно служил своей корысти, откуда бы это преимущественное желание ни шло.

Иосиф тоже умел соблюдать то свободное достоинство, которое придает необходимости какую-то человечность; и когда после заключения сделки старик сказал ему: "Ну, вот, Эй-Как-Тебя, или, по-твоему, Узарсиф, теперь ты принадлежишь уже не мне, а этому дому, и я сделал то, что задумал", Иосиф выказал ему всяческую признательность, поцеловал несколько раз край его платья и назвал его своим спасителем.

- Прощай, сын мой, - сказал старик, - и веди себя достойно благодеянья, тебе оказанного! Будь умен и предупредителен в обращении с людьми и держи язык за зубами, если ему вдруг захочется позлословить и пуститься в такие неприятные тонкости, как различие между достопочтенным и старым, иначе ты доведешь себя до ямы! Твоим устам дарована сладость, ты умеешь приятно прощаться на ночь и вообще быть приятным в речах - на том и стой. Радуй людей, вместо того чтобы раздражать их своим злословием, ибо от него не дождешься добра. Одним словом, прощай! Не стоит, пожалуй, напоминать тебе, чтобы ты избегал ошибок, которые и довели твою жизнь до ямы, - преступного доверия и слепой требовательности, ибо уж в этом-то отношении ты, я надеюсь, достаточно умудрен. Я не допытывался до подробностей дела и не пытался проникнуть в твои обстоятельства, ибо знаю, что в многошумном мире скрывается множество тайн. Этим знанием я и довольствуюсь, и мой опыт учит меня считать возможным все, что угодно. Если, как порой говорили мне твои способности и манеры, твои обстоятельства были прекрасны и ты умащался елеем радости, до того как вошел в чрево колодца, то, продав тебя в этот дом, я бросил тебе спасительный канат и предоставил счастливую возможность снова подняться на подобающую тебе высоту. Прощай в третий раз! Ибо я уже сказал это дважды, а чтобы слово имело силу, его нужно произнести трижды. Я стар и не знаю, увижу ли я тебя снова. Пусть бог твой Адон, тождественный, насколько мне известно, заходящему солнцу, хранит каждый твой шаг и не даст тебе оступиться. Будь же благословен!

Иосиф стал на колени перед этим отцом и еще раз поцеловал край его платья, а старик положил руку ему на голову. Попрощался он и со стариковым зятем Мибсамом, поблагодарив его за то, что тот вытащил его из колодца; затем с Нефером, племянником старика, и с его сыновьями Недаром и Кедмой; а также, хотя и более небрежно, с погонщиком Ба'алмахаром и с Иупой, толстогубым мальчишкой, который теперь держал за веревку бычка, это равноценное Иосифу животное. А потом измаильтяне прошли через двор и через гулкие ворота, точно так же, как они явились сюда, только без Иосифа, который теперь стоял и глядел им вслед, не без уныния и боли думая об этой разлуке и обо всем том новом и неизвестном, что его ожидало.

Когда они скрылись из виду, он оглянулся и увидел, что все египтяне разбрелись по своим делам и что он оказался в одиночестве или почти в одиночестве; ибо единственным, кто остался с ним рядом, был Зе'энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе-эм-пер-Амун, Боголюб, потешный визирь; он держал на плече рыжую свою мартышку и глядел вверх на Иосифа, сморщив лицо в улыбку.

- Что мне теперь делать и к кому обратиться? - спросил Иосиф.

Карлик не ответил. Он только кивнул ему, продолжая радоваться. Но вдруг он повернул голову и в испуге прострекотал:

- Пади ниц!

Одновременно он сделал это и сам и, прижавшись лбом к земле, скрючился в крошечный, с обезьянкой сверху, комок; ибо, ловко справившись с резким движением своего хозяина, мартышка только перебралась с его плеча на его спинку, где, подняв хвост, и уселась, и теперь широко раскрытыми от страха глазами глядела туда, куда не преминул поглядеть и Иосиф; он хоть и последовал примеру Боголюб, но, застыв в поклоне, уперся локтями в землю и охватил ладонями лоб, чтобы увидеть, к кому или к чему относится выказанное им благоговение.

От гарема к господскому дому, пересекая наискось двор, двигалась небольшая процессия: пять слуг в набедренниках и обтягивающих голову колпаках спереди, пять

служанок с непокрытыми волосами сзади, а между ними, плывя на обнаженных плечах рабов-нубийцев, скрестив ноги и откинувшись на подушки золоченых носилок, украшенных звериными мордами с разинутой пастью, - египетская дама, весьма ухоженная, с блестящими драгоценностями в кудрях, с золотом на шее, с кольцами на пальцах и с браслетами на руках, одну из которых - это была очень белая и красивая рука - она небрежно свесила с облокотника качалки, и под диадемой, увенчивавшей ее голову, Иосиф увидел ее особенный, несмотря на печать моды, единично-своеобразный и неповторимый профиль - с подведенными, так что они удлинялись к вискам, глазами, с приплюснутым носом, с тенистыми выемками щек, с узким и одновременно пухлым, змеящимся между ямками своих уголков ртом.

Это была Мут-эм-энет, хозяйка дома, которая следовала в столовую, супруга Петепра, женщина роковая.

## РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ. САМЫЙ ВЫСОКИЙ

### СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОЖИЛ ИОСИФ У ПОТИФАРА

Жил-был один человек, у него была строптивая корова. Она не хотела носить ярмо и всегда, когда нужно было пахать поле, сбрасывала ярмо с шеи. Вот он и забери у нее теленка и отведи его в поле, которое нужно было вспахать. Корова услышала мычанье своего детеныша и с ярмом на шее послушно пошла туда, где был теленок.

Теленок в поле, человек отвел его туда, но теленок не мычит, он не издает ни звука, он осматривается в чужом поле, которое кажется ему мертвым. Он чувствует, что еще не пришло время подавать голос; но он определенно представляет себе цели и дальние замыслы своего хозяина, этот телец Иегосиф или Озарсиф. Зная хозяина, он сразу догадывайся и в мечтах своих не сомневается, что его увод в это поле, к которому так строптиво относятся дома, не простая, ни с чем не связанная случайность, а часть некоего замысла, где одно влечет за собой другое. Тема "переселения и продолжения рода" - одна из тех, которые музыкально сочетаются друг с другом в его разумной и вместе мечтательной душе, где, так сказать, солнце и луна, как то и бывает, стоят на небе одновременно, и где мотив луны, которая, мерцая, прокладывает путь своим братьям, звездным богам, тоже присутствует. Иосиф, телец, - разве не размышлял он уже и по собственному почину и на собственный лад, хотя и в соответствии с замыслами хозяина, при виде тучных лугов земли Госем? Преждевременные, слишком далеко - он сам это понимал - забегающие вперед мысли, и покамест им лучше умолкнуть... Ибо многое должно осуществиться, прежде чем они станут осуществимы, и одного увода для этого мало; должно прибавиться и нечто другое, чего он втайне ждал с сокровенной детской уверенностью, но покамест даже и предположить нельзя, как тут пойдет дело. Это зависит от бога...

Нет, Иосиф не забыл оцепеневшего на родине старца; его молчание, молчание стольких лет, ни на миг не должно быть поводом к такому укоризненному мнению - и, уж во всяком случае, не в момент, о котором идет речь и о котором мы повествуем с чувствами, как нельзя более похожими на его собственные, - да это и есть его чувства. Если нам кажется, что мы уже однажды доходили до этого места нашей истории и все это уже когда-то рассказывали, если нами повелительно овладевает какое-то особое ощущение узнавания увиденного уже наяву или в мечтах, - то в точности это же ощущение испытывал теперь наш герой; и такое соответствие, по-видимому, закономерно. Именно теперь чрезвычайно сильно сказалось в Иосифе то, что нам так и хочется назвать на своем языке слитностью с отцом, слитностью тем более неразрывной и полной, что благодаря широкому отождествлению и смешению понятий она была одновременно и слитностью с богом, - да и как могла она в нем не сказаться, если сказалась применительно к нему, на

нем и вне его"? То, что он сейчас переживал, было подражанием и преемничеством; в слегка измененном виде все это уже некогда пережил отец. Есть что-то таинственное в феномене преемственности, где субъективная воля настолько сливается с велением обстоятельств, что нельзя различить, кто, собственно, подражает и добивается повторения пережитого - человек или судьба. Внутренние предпосылки отражаются на внешних и как бы помимо желания овеществляются в каком-то событии, которое было уже заложено в этом человеке. Ибо мы идем по стопам предшественников, и вся жизнь состоит в заполнении действительностью мифических форм.

Иосиф любил всякие преемственности и самообольстительно благочестивые путаницы, он умел произвести ими на людей сильное и хотя бы ненадолго самое выгодное для себя впечатление. Но теперь возвращение и воскресение отцовских обстоятельств в нем, Иосифе, заполняло и занимало его целиком: он был Иаковом, отцом, вступившим в Лаваново царство, похищенным в преисподнюю, нестерпимым дома, бежавшим от братоубийственной ненависти, от остервенелых притязаний Красного на благословение и первородство - правда, на сей раз, в отличие от образца, у Исава было десять обличий, да и Лаван выглядел в этой действительности несколько иным: он появился на сверкающих колесах и в одежде царского полотна, Потифар, укротитель коней, толстый, жирный и такой смелый, что люди дрожали от страха за него. Но он был им, это не подлежало сомнению, хотя жизнь и играла все новыми и новыми формами одного и того же. Снова, согласно давнему предсказанию, отпрыск Аврамов оказался пришельцем в чужой стране. Иосифу предстояло служить Лавану, носившему в этом своем повторении египетское имя и выпренье называвшемуся "даром Солнца", - так сколько же времени он будет ему служить?

Мы задавали этот вопрос по поводу Иакова и ответили на него по своему разумению. Теперь, задавая его применительно к сыну Иакова, мы опять хотим окончательно во всем разобраться и проверить действительностью мечтательный вымысел. Вопрос о соотношении с действительностью времени и возраста в истории Иосифа разбирался всегда очень небрежно. Поверхностно-мечтательное воображение приписывает нашему герою такую неизменяемость и нетронутость временем, какую он приобрел в глазах Иакова, ибо тот считал его мертвым и растерзанным, и которую и в самом деле придает человеку одна лишь смерть. Но умерший, по мнению отца, мальчик был жив, и лета его возрастали, и нужно отчетливо представлять себе, что тот Иосиф, перед чьим креслом предстали и склонились однажды нуждающиеся братья, был сорокалетним мужчиной, которого сделали неузнаваемым не только важность, сан и одежда, но и все те изменения, каким подвергает человека время.

К этому дню прошло уже двадцать три года с тех пор, как его продали в Египет братья-Исавы, - почти столько же, сколько в целом провел Иаков в стране "Откуда Нет Возврата"; страну, где отпрыск Аврамов был чужеземным пришельцем на этот раз, тоже вполне можно было назвать этим именем, и даже, пожалуй, с еще большим правом, чем ту, ибо Иосиф пробыл здесь не четырнадцать, шесть и пять или семь, тринадцать и пять лет, а действительно всю свою жизнь и только по смерти возвратился на родину. Но совершенно неясно, да и не очень-то об этом задумываются, как же все-таки распределяется время, проведенное им в преисподней, между столь резко отличными друг от друга эпохами его благословенной жизни, а именно, первыми, решающими годами, которые он провел в Потифаровом доме, и годами ямы, куда он угодил сызнова.

На оба эти отрезка приходится в сумме тринадцать лет, ровно столько, сколько понадобилось Иакову, чтобы произвести на свет двенадцать своих месопотамских детей, - если допустить, что Иосифу было тридцать лет, когда он возвысился и стал первым среди жителей преисподней. Заметим: нигде не написано, что тогда ему было столько лет, - а если и написано, то, во всяком случае, не там, где эта цифра могла бы служить для

нас указанием. И все же это общепризнанный факт, аксиома, которая не требует доказательств, говорит сама за себя и, как солнце, зачинает себя самое с собственной матерью, самым естественным образом притязая на ясное "Так и считать". Ибо это всегда так и есть. Тридцать лет - самый подходящий возраст для того, чтобы достичь той ступени жизни, которой Иосиф тогда достиг; в тридцать лет мы выходим из пустыни и мрака подготовительного периода в деятельную жизнь; это время, когда выявляются задатки, время свершения. Тринадцать лет, стало быть, прошло со дня прибытия в Египет семнадцатилетнего юноши до того дня, когда он предстал перед фараоном, - это не подлежит сомнению. Но сколько из них приходится на пребывание в Потифаровом доме и сколько, следовательно, на яму? Каноническое предание не дает на это ответа; от него ничего, кроме весьма расплывчатых фраз, для выяснения временных отношений внутри нашей истории не добьешься. Какие же временные отношения мы в ней установим? Как же распределим мы в ней годы?

Такой вопрос кажется неуместным. Знаем мы историю, которую рассказываем, или не знаем ее? Разве это полагается, разве это соответствует природе повествования, чтобы рассказчик публично, путем каких-то умозаключений и выкладок, рассчитывал даты и факты? Разве рассказчик - это нечто иное, чем анонимный источник рассказываемой или, собственно, рассказывающей себя самой истории, где все самообусловлено, все совершается именно так, а не этак и ничто не допускает сомнений? Рассказчик, скажут нам, должен присутствовать в истории, он должен слиться с ней воедино, он не должен быть вне ее, не должен рассчитывать ее и доказывать... Ну, а как обстоит дело с богом, которого создал и познал мыслью Аврам? Он присутствует в огне, но он не есть огонь. Значит, он одновременно и в нем, и вне его. Конечно, одно дело - быть какой-то вещью, и другое дело - ее наблюдать. Однако существуют плоскости и сферы, где имеет место и то и другое сразу: рассказчик присутствует в истории, но он не есть история; он является ее пространством, но его пространством она не является: он находится также и вне ее и благодаря своей двойственной природе имеет возможность ее объяснять. Мы никогда не задавались целью создать ложное впечатление, будто мы являемся первоисточником истории Иосифа. Прежде чем оказалось возможным ее рассказывать, она произошла; она вытекла из того же родника, откуда вытекает все, что творится на свете, и, творясь, рассказывала себя самой. С тех пор она и существует в мире; каждый знает ее или думает, что знает, ибо сплошь да рядом это всего лишь приблизительное, ни к чему не обязывающее, бездумное, мечтательно-поверхностное знание. Она рассказывалась сотни раз и сотнями способов. Здесь и сегодня она рассказывается таким способом, при котором она словно бы приобретает самосознание и вспоминает, как же это на самом-то деле происходило во всех подробностях; она одновременно течет и объясняет себя.

Например, она объясняет, как расчленились тринадцать лет, прошедшие между продажей Иосифа и вознесением его главы. Ведь во всяком случае, точно известно, что Иосиф, когда его бросили в темницу, отнюдь уже не был тем мальчиком, которого доставили израильтяне в дом Петепра, и что львиная доля этих тринадцати лет ушла на его пребывание в этом доме. Мы могли бы и безапелляционно заявить, что так было; но мы доставим себе удовольствие спросить, как же могло быть иначе. По своему общественному положению Иосиф был полным ничтожеством, когда он семнадцати или без малого восемнадцати лет попал на службу к этому египтянину, и для карьеры, которую он сделал в его доме, нужно время, - столько, сколько он там и в самом деле провел. Не через день и не через два поставил "Потифар" раба-хабира надо всем, что имел, и отдал это "на руки" Иосифа. Известное время понадобилось уже для того только, чтобы Потифар вообще обратил на него внимание, - Потифар и другие лица, решившие исход этого весьма важного в его жизни эпизода. Да и головокружительная его карьера на поприще управления хозяйством непременно должна была растянуться на несколько лет, чтобы стать для него той подготовительной школой, какой она была задумана: школой управления величайшим хозяйством, затем последовавшего.

Одним словом, десять лет, до двадцатисемилетнего возраста, прожил у Потифара Иосиф, "евреин", как его называют, хотя иные при случае именуют его "рабом-евреем", но это отдает уже отчаянием и обидой, ибо "рабом" он тогда практически давно уже не был. Момент, когда он, по своему весу и положению, перестал им быть, не поддается сегодня точному определению - и никогда, впрочем, не поддавался. Ведь в сущности и в чисто правовом смысле Иосиф всегда оставался "рабом", он оставался им и достигнув высшей своей власти, до самого конца жизни. Мы можем прочесть, что его продавали и перепродавали; но о том, что его отпустили на волю или выкупили, - об этом нигде не написано. Его необычайная карьера не принимала во внимание факта его рабства, а после его внезапного возвышения никто уже об этом не заговаривал. Но даже в доме Петепра он недолго оставался рабом в самом низком смысле этого слова, и на его благословенное продвижение к елиезеровской должности домоправителя уши ли далеко не все его Потифаровы годы. На это хватило семи лет - таково наше твердое убеждение; другое наше твердое убеждение состоит в том, что лишь остаток Потифарова десятилетия прошел под темным знаком волнений, вызванных чувствами несчастной женщины и положивших конец этому периоду. При самом общем и приблизительном определении времени предание все же дает понять, что эти волнения начались не сразу и даже не вскоре по прибытии Иосифа, что они, таким образом, не совпали с его продвижением, а появились уже после того, как он достиг вершины. Начались они - так написано - "после этого", то есть после завоевания Иосифом высочайшего доверия; следовательно, эта несчастная страсть должна была длиться только три года, - достаточно долго для обеих сторон! - прежде чем закончиться катастрофой.

Итог такой самоповерки нашей истории подтверждается проверочным испытанием. Если, согласно этому итогу, на потифаровский эпизод пришлось десять лет жизни Иосифа, то на следующий ее отрезок, темницу, приходится три - не больше и не меньше. И в самом деле, редко истина и вероятность совпадают убедительнее, чем в этом факте. Что может быть очевиднее и правильнее утверждения, что соответственно тем трем дням, которые Иосиф провел в дофанской могиле, он пробыл ровно три года, не больше, не меньше, в этой дыре? Более того, можно утверждать, что и сам он предполагал и даже знал это наперед, не допуская после всего пережитого, казавшегося ему таким осмысленным и многозначительным, никакой другой возможности и видя в этом подтверждение подчиненности своей судьбы чистой необходимости.

Три года, - мало того что так было, иначе и не могло быть. И, с необычной в мелочах точностью указывая время, предание определяет, как делились эти три года; оно устанавливает, что знаменитые приключения с главным хлебодаром и главным виночерпием, знатными союзниками Иосифа, которым ему пришлось прислуживать, приходятся уже на первый год из этих трех лет. "По прошествии двух лет", говорит предание, фараону приснились сны, и Иосиф растолковал их ему. Через два года - после чего? Об этом можно спорить. Это может означать: через два года после того, как фараон стал фараоном, то есть после вступления на престол того фараона, которому и выпали на долю эти загадочные сны. Или же это означает: через два года после того, как Иосиф растолковал вельможам их сны, а хлебодар был, как известно, повешен. Но такой спор был бы бесполезен, ибо это свидетельство сохраняет свою силу в обоих случаях. Да, фараон увидел загадочные сны через два года после приключений с опальными царедворцами; при этом он увидел их через два года после того, как стал фараоном, ибо как раз во время пребывания Иосифа в темнице, а именно в конце первого года, царь Аменхотеп, третий носитель этого имени, соединился с Солнцем, а его сын, каковому и снились сны, увенчался двойным венцом.

Вот и видно, как правдива эта история, как все верно насчет тех десяти и трех лет, что прошли до того, как Иосифу исполнилось тридцать, и до чего ладно и точно все сходится

в правде истинной!

## В СТРАНЕ ВНУКОВ

Игра жизни, если иметь в виду отношения между людьми и полное неведение этих людей касательно будущности их отношений, которые при первом обмене взглядами как нельзя более поверхностны, случайны, неопределенны, полны отчужденности и равнодушия, хотя в некий невообразимый день им суждено принять характер жгучей неразрывности и ужасающей близости, - эта игра и это неведение заставили бы, наверно, заранее осведомленного наблюдателя задумчиво покачать головой.

Итак, скрючившись с поджатыми под себя коленями на утопанной глине рядом с карликом Боголюбом, по прозвищу Шепсес-Бес, Иосиф с любопытством глядел из-под ладоней на это драгоценное, совершенно незнакомое существо, проплывавшее в нескольких шагах от него на золотом, украшенном львами ложе, - на это явление высокой цивилизации преисподней, не вызывавшее у него никаких других чувств, кроме благоговения, да и то сильно смешанного с критической неприязнью, и никаких других мыслей, кроме - примерно таких: "Эге! Это, наверно, и есть госпожа. Жена Потифара, которая должна дрожать за него. Добрый она человек или злой? По ее виду этого не узнаешь. Очень важная египетская дама. Отец не одобрил бы ее. Я менее строг в суждениях, но я тоже не стану робеть..." Вот и все. А ее впечатления были и того бледнее. Проплывая мимо, она на миг повернула свою нарядную головку в сторону застывших в молитвенном поклоне рабов. Она их видела и не видела - такой это был равнодушный и слепой взгляд. Коротышку она, вероятно, узнала, потому что знала его, и возможно, что на какое-то мгновение подобие улыбки мелькнуло в ее финифтевых, подмалеванных глазах и чуть-чуть углубило уголки ее извивчатых губ - но и это можно было оспаривать. Другого раба она не знала, но вряд ли отдавала себе в этом отчет. Он мог обратить на себя внимание своим застиранным измаильтянским плащом с башлыком (ибо он все еще носил эту одежду), да и прическа его была еще необычной. Видела ли она это? Конечно. Но до ее гордого сознания это не доходило. Если он здесь человек посторонний, то как он попал сюда - это дело богов, - вполне достаточно, чтобы они это знали; она, Мут-эмэнет, или Эни, слишком дорожила собой, чтобы об этом задумываться. Видела ли она, как он красив и прекрасен? Но что толку в этих вопросах! Она видела и не видела, она не догадывалась, ей было невдомек, что сейчас следовало смотреть во все глаза. Ни у него, ни у нее не возникло ни малейшей тени предчувствия, до чего они дойдут через несколько лет и что между ними произойдет. Что этот безвестный застывший в почтительном поклоне комочек станет некогда ее единственным сокровищем, ее блаженством, ее яростью, ее болезненно всепоглощающей мыслью, которая помутит ее разум, толкнет ее на безумные поступки, лишит ее жизнь покоя, почета и привычного уклада - это ей и в голову не приходило. О том, какое она ему уготовит горе, какой великой опасности подвергнет она его обрученность с богом и прекрасный венец его чела и как ее безрассудству почти удастся разлучить его с богом, - об этом наш мечтатель и не мечтал, хотя лилейная ручка, свисавшая с носилок, могла бы заставить его призадуматься. Наблюдателю, знающему эту историю в каждом ее часе, право же, простительно немного покачать головой по поводу неведения тех, кто находится внутри, а не вне ее.

Он спешит извиниться за нескромность, с которой приподнял завесу будущего, и обещает держаться текущего часа праздника. А час этот охватывает семь лет, семь лет столь невероятного поначалу возвышения Иосифа в доме Петепра, начиная с того момента, когда проплывавшая через двор госпожа скрылась из виду, а дурачок Бес-эм-хеб прошептал:

- Надо постричь тебя и переодеть, чтобы ты был таким же, как все, - и отвел его к

цирюльникам людской, которые, обмениваясь шутками с карликом, обкорнали Иосифу волосы на египетский лад, после чего он стал похож на путников, сновавших по дорогам запруд; а оттуда на склад набедренных и платья в этом же здании, где писец выдал ему из хозяйских запасов египетскую одежду, рабочую и праздничную, после чего Иосиф совершенно преобразился в юношу Кеме, так что вполне возможно, что уже и тогда братья не узнали бы его с первого взгляда.

Эти семь лет, явившиеся подражанием и повторением отцовских годов в жизни сына и соответствовавшие тому отрезку времени, за который Иаков превратился из нищего беглеца в богатого собственника и необходимого участника благословенно расцветавшего хозяйства Лавана. Теперь пришел час, когда стать необходимым должен был Иосиф, - как же это произошло и как это ему удалось? Нашел ли он, подобно Иакову, воду? Это было совершенно излишне. Воды у Петепра было сколько угодно, ибо, кроме пруда с лотосами в увеселительном садике, между деревьями в плодовом саду и между грядками в огороде имелись четырехугольные водоемы, которые хоть и не сообщались с Кормильцем, но все же питали почву, так как были полны грунтовой воды. В воде не было недостатка; и если по своей внутренней жизни дом Потифара не был благословенным, - напротив, это, как вскоре выяснилось, был при всей своей представительности довольно-таки несуразный, неприятный дом, таивший в себе немало горя, - то зато его хозяйственное благосостояние и так уже не оставляло желать лучшего; стать здесь "множителем" было трудно, да в этом, пожалуй, и не было особой нужды; достаточно было того, чтобы в один прекрасный день хозяин пришел к убеждению, что в руках этого молодого чужеземца его добро будет в наибольшей сохранности и что при таком управляющем ему, Петепра, можно ни о чем не заботиться и ни во что не вмешиваться самому - как то и подобало его высокому сану и как он, Петепра, привык. Сила благословения должна была, следовательно, сказаться здесь прежде всего в завоевании широкого доверия; и естественное нежелание хоть в чем-либо, а уж тем более в самом щекотливом вопросе, обмануть такое доверие сильно помогло впоследствии Иосифу избежать разлада с господом богом.

Да, для Иосифа начиналось теперь лавановское время, однако на этот раз все было совершенно иным, чем в отцовском воплощении, и совсем по-иному складывались обстоятельства у преемника - сына. Ибо возврат есть видоизменение, и, подобно калейдоскопу, где из одних и тех же стекляшек складываются непрестанно меняющиеся узоры, жизнь, играя, родит все новое и новое из одного и того же, образуя гороскоп сына из тех же частиц, что и планиду отца. Калейдоскоп - поучительная забава; как непохоже сложатся у сына стекляшки и камешки, составившие картину жизни Иакова, - насколько богаче, сложнее, но и злосчастнее лягут они! Он - более поздний, более тонкий "случай", этот Иосиф. Случай сына не только легкомысленней и остроумней, но и труднее, болезненней, интересней, чем случай отца, и нелегко узнать простые прообразы отцовской жизни в том их виде, в каком они возвращаются в жизнь Иосифа. Что станется в ней, к примеру. С идеей Рахили, с этим классически прекрасным первообразом, с этим главным узором жизни отца, - какая тут получится искривленная, смертельно опасная арабеска!.. Не скроем, события, которые сейчас назревают, которые уже налицо, поскольку свершились, когда эта история рассказывала себя самое, но которым по вновь вступившему в силу закону времени и последовательности, покамест еще не пришел черед, - не скроем, они пугающе-властно влекут нас к себе; наше к ним любопытство, любопытство особого рода, ибо оно уже все знает и относится не столько к самим фактам, сколько к их изложению, - наше к ним любопытство никак не уймется; оно то и дело подбивает нас забежать вперед, опередить очередной и правомочный час праздника. Так случается, когда оказывает свое волшебное действие двойной смысл слова "некогда"; когда будущее - это прошлое, когда все давно уже разыгралось и только вновь должно разыграться в доподлинном настоящем!

Чтобы сделать небольшую поблажку нашему нетерпению, мы можем расширить слишком уж узкое понятие настоящего, сливая отдельные совокупности последовательных событий в какое-то приблизительное временное единство. Такому обзору довольно легко поддаются годы, сделавшие Иосифа сначала личным слугой, а потом домоправителем Петепра; более того, именно такого обзора они и требуют, ибо обстоятельства, весьма способствовавшие успеху Иосифа (а не помешавшие ему, как это ни странно) и оказывавшие действие в течение всего этого периода и даже позднее, сыграли решающую роль уже вначале, так что ни о каком начале вообще нельзя говорить, не упомянув этих всепроникающих, как воздух, обстоятельств.

Удостоверив факт перепродажи Иосифа, текст прежде всего прочего устанавливает, что Иосиф "был в доме господина своего Египтянина". Ну, разумеется, он там был. Где ж еще? Его продали в этот дом, и в этом доме он был, - кажется, что текст подтверждает нечто и без того известное, что он без нужды повторяет одно и то же. Написанное, однако, нужно верно прочесть. Сообщение, что Иосиф "был" в доме Потифара, говорит нам, что он там \_остался\_, а это уже отнюдь не подтверждение прежнего, а новая, заслуживающая, чтобы ее подчеркнули, подробность. Купленный Иосиф остался в самом доме Потифара, а это значит, что волею бога он избежал весьма реальной опасности быть посланным на барщинные работы в полях Египта, где он днем изнывал бы от жары, а ночами дрожал от холода и окончил бы свои дни во мраке и нищете, прозябая в неизвестности под плетью какого-нибудь невежды-надсмотрщика.

Этот меч висел над ним, и нам приходится только удивляться, что он не упал на него. Он вполне мог упасть. Иосиф был чужеземцем, проданным в рабство в Египте, азиатом по рождению, молодым аму, хабиром или евреем, и нужно ясно представить себе то презрение, которое поэтому в принципе грозило ему в этой чванливейшей на свете стране, прежде чем говорить о противодейственных влияниях, ослабивших и даже уничтоживших это презрение. Если в течение нескольких секунд домоправитель Монткау готов был принять Иосифа отчасти за бога, то это вовсе не доказывает, что он прежде всего и \_больше\_, чем отчасти, принял его за человека. Откровенно признаться, он этого не сделал. Житель Кеме, чьи предки пили воду священной реки и чьей несравненной родиной, изобилующей прекрасными зданиями, архидревными письменами и статуями, некогда самолично правил владыка Солнца, - житель Кеме слишком подчеркнуто называл себя "человеком", чтобы неегиптянам в точном смысле слова, например, неграм из Куша, носившим косы ливийцам и всяким там бородачам-азиатам, досталось так уж много от этого звания. Понятие скверны и мерзости не было изобретением Аврамова семени, оно отнюдь не являлось привилегией детей Сима. Иное вызывало у них и у сынов Египта одинаковое омерзение - свинья, например. Но, кроме того, для египтян были мерзостью сами евреи, так что египтяне считали даже недостойным и непристойным есть с ними хлеб - это оскорбляло их застольный обычай, и лет через двадцать после описываемых сейчас событий, когда Иосиф с разрешения бога стал по всем привычкам и поведению настоящим египтянином, он, угощая обедом неких варваров, велел подавать им особо, а себе и окружавшим его египтянам особо, чтобы не уронить своего достоинства и не оскверниться в глазах своих слуг.

Вот как, в принципе, обстояло дело с людьми из племен аму и хару в земле Египетской; так обстояло оно и с самим Иосифом, когда он прибыл туда. Что он остался в доме, а не погиб на полевых работах, - это чудо или, во всяком случае, удивительно и чудно; ибо чудом господним в полном смысле слова это все-таки не было: слишком уж дали тут себя знать человеческие вкусы, мода, местные нравы, - одним словом, те влияния, о которых мы сказали, что они противодействовали общему правилу, ослабили и даже отменили его. Оно, кстати, не преминуло заявить о себе, - устами Дуду, например, супруга Цесет: его-то он как раз и отстаивал, добиваясь, чтобы Иосифа отправили на барщину. Ибо он был не только человеком - или человекком - полноценно-солидным, он был также

сторонником и защитником священной традиционности, этот верный старинным принципам карлик; будучи деятельным их поборником, он примыкал к идейной школе, в которой естественным образом слились всевозможные этические, политические и религиозные течения и которая воинственно отстаивала свои позиции от другого, менее ограниченного и приверженного к старине идейного направления во всей стране, а на усадьбе Петепра находила опору главным образом в гареме, точнее - в личных покоях госпожи, Мут-эм-энет, куда постоянно заходил один твердокаменный человек, по праву считавшийся средоточием этих устремлений, - первый пророк Амуна, Бекнехонс.

О нем позже. Иосиф услышал о нем и увидел его только через некоторое время, сумев лишь постепенно разобраться в отношениях, на которые мы сейчас намекаем. Но будь он даже менее внимателен и более медлителен в учете своих выгод и невыгод, - и тогда он мог бы весьма скоро, собственно при первой же беседе с остальной челядью, получить кое-какие, и даже довольно-таки существенные сведения на этот счет. Он делал при этом вид, что все уже знает заранее и не хуже других разбирается во внутренних тайнах и тонкостях здешней жизни. На своем еще немного смешном для слуха этих людей, но очень осмотрительном и бойком в словоупотреблении египетском языке, явно доставлявшем им удовольствие, отчего он не особенно и спешил придать ему большую правильность, Иосиф рассказал им о "смолоедах", - он щегольнул знанием этой излюбленной клички нубийских мавров, - которых увидел, когда те переправлялись для аудиенция через реку, и прибавил, что на первых порах наговоры завистников в утренних покоях не смогут повредить наместнику Куша, поскольку тот догадался обрадовать фараоново сердце неожиданной данью и подставить ножку своим противникам. По этому поводу челядинцы смеялись больше, чем если бы Иосиф стал рассказывать им какие-то новости, ибо именно эта старая, общеизвестная сплетня была им по нраву; и то, как они наслаждались, а в известной мере даже и восхищались его чужеземным говором, прислушиваясь к кенанским словам, которые он вспомогательно нет-нет да вставлял в свою речь, - это сразу открыло ему глаза на его выгоды и невыгоды.

Ведь и сами они, в меру своих возможностей, делали то же самое. Они сами пытались пересыпать свою речь иностранными словечками, то аккадско-вавилонскими, то из родной Иосифу стихии языка, и тот сразу, еще не получив никаких подтверждений, почувствовал, что в этом они старались уподобиться знати, каковая предавалась такому дурачеству тоже не по собственному почину, а в подражание еще более высокой сфере - двору. Иосиф, как было сказано, понял эти зависимости еще до того, как проверил их на опыте. Да, так оно и было, и он установил это с тонкой усмешкой: этот народец, безмерно кичившийся тем, что он вспоен нильской водой и живет в стране людей, на единственно подлинной родине богов; народец, который на любое сомнение в исконном и вообще само собой разумеющемся превосходстве своей цивилизации надо всем окружающим миром ответил бы не гневом, а только усмешкой, который помешался на воинской славе своих царей, всех этих Ахмосов, Тутмосов и Аменхотепов, завоевавших всю землю вплоть до попятного Евфрата и продвинувших вехи своих рубежей до самого Ретену на севере и до лучников пустыни на юге, - этот весьма самоуверенный народец был, значит, одновременно достаточно слаб и ребячлив, чтобы открыто завидовать ему, Иосифу, в том, что канаанский язык был его родным языком, и невольно, вопреки всякому здравому смыслу, ставить ему в духовную заслугу его естественное владение этим языком.

Почему? Потому что канаанский язык был изысканным. А почему изысканным? Потому что он был иностранным языком. Но ведь все иностранное было жалко и неполноценно? Да, это так, но все-таки оно было изысканным, и основывалась такая непоследовательная оценка, по ее собственному мнению, не на ребяческой слабости, а на вольнодумстве - Иосиф это почувствовал. Он был первым на свете, кто это почувствовал, ибо впервые на свете возникло такое явление. То было вольнодумство

людей, которые победили и покоряли жалкое чужеземье не сами, а предоставили это своим предшественникам и теперь позволяли себе находить в нем изысканность. Пример подавала верхушка - дом носителя опухла отчетливо показал это Иосифу, ибо, приглядываясь к нему, он все больше убеждался, что богатство этого дома составляют главным образом заморские товары, то есть привозные иноземные изделия, преимущественно с большой и малой родины Иосифа, из Сирии и Ханаана. Это льстило ему, хотя одновременно и казалось довольно глупым; во время неторопливого путешествия из области устья к дому Амуна Иосифу не раз случалось наблюдать прекрасные и самобытные промыслы стран фараона. Лошади Потифара, его покупателя, были сирийских кровей - ну, что ж, этих животных удобней всего было ввозить оттуда или из Вавилона; в Египте коневодство было плохо поставлено. Но и его повозки, в том числе и та, с игрой драгоценных камней на спицах, тоже были из чужих краев, и если он получал скот из страны амореев, то уж это при виде великолепных местных говяд с лирообразными рогами, кроткоглазых коров Хатхор, могучих быков, из которых выбирали Мервера и Хапи, никак нельзя было не признать чудачеством моды. Друг фараона опирался на сирийскую трость с насечкой, пил сирийское вино и пиво. "Заморскими" были и кувшины, в которых ему подавались эти напитки, а также оружие и музыкальные инструменты, которыми были украшены его комнаты. Золото высоких, почти с человеческий рост сосудов, стоявших в северной и в западной колонных палатах дома в расписных нишах, а в столовой - по обеим сторонам помоста, было добыто, несомненно, в нубийских рудниках, но изготовлены были эти вазы в Дамаске и Сидоне; в прекрасной гостиной, служившей также местом званых обедов и расположенной перед семейной столовой, так что сюда входили прямо из передней, Иосифу показали другие, довольно-таки странные по форме и росписи кувшины, привезенные не откуда-нибудь, а из земли Едом, с Козьих гор, и как бы передававшие ему привет от Исава, от его чужеземного дяди, которого здесь тоже явно находили изысканным.

Весьма изысканными находили здесь также богов Емора и Канаана, Баала и Астарту: Иосиф сразу же заметил это по тону, в каком Потифаровы слуги, принявшие их за богов Иосифа, осведомлялись о них, и по тому, как они хвалили ему этих богов. Слабовольным вольнодумством это казалось по той причине, что отношения между странами и народами, как и соотношение сил между ними воплощались по общему разумению в богах и были лишь выражением их личной жизни. Однако что было в данном случае существом дела и что его внешней стороной? Что было действительностью и что ее иносказанием? Было ли только условным оборотом речи утверждение, что Амун победил и обложил данью богов Азии, тогда как, в сущности, фараон подчинил себе царей Канаана? Или же как раз второе было лишь земным и неточным выражением первого? Иосиф прекрасно знал, что это неразлично. Суть дела и его внешняя сторона, точное и описательное его выражение сливались в неразрывное тождество. Но именно поэтому люди Мицраима в какой-то мере предавали Амуна не только тогда, когда они находили изысканными Баала и Ашерат, но уже и тогда, когда уснащали язык своих богов искаженными речениями детей Сима, говоря вместо "писец" - "сепер", а вместо "река" "негел", потому что в Канаане эти слова звучали "софер" и "нагал". Фактически в основе этих обычаев, настроений и моды лежало вольнодумство, направленное против египетского Амуна. Благодаря этому вольнодумству отвращение ко всему семитско-азиатскому было не таким уж принципиальным; и при учете своих выгод и невыгод Иосиф отнес это к выгодам.

Он взял на заметку приоткрывшиеся ему различия во взглядах и противоположные течения, с которыми, как было сказано, он затем знакомился ближе в той мере, в какой срастался с жизнью страны. Поскольку Потифар был придворным, одним из друзей фараона, нетрудно было предположить, что источник этой вольной, враждебной Амуна приверженности ко всему иноземному, проглядывавшей в его привычках, находится на западе, по ту сторону "негела", в Великом Доме. Не связано ли это как-то, думал Иосиф, с

воинством Амуна, с теми копьеблещущими храмовыми ратниками, что прижали его к стене на "улице Сына"? С недовольством фараона, огорченного тем, что Амун, этот слишком богатый державный бог, соревнуется с ним на его собственном, воинском, поприще?

Удивительно далеко идущие связи! Досада фараона на дерзкую мощь Амуна или его храмов была, возможно, конечной причиной того, что Иосиф не угодил в попе, а был оставлен в доме своего господина и приобщился к полевым работам лишь в более поздний час, да и то не как барщинник, а как надсмотрщик и управляющий. Эта зависимость, позволившая ему втихомолку пользоваться такими отдаленно-величественными побуждениями, обрадовала молодого раба Озарсифа и связала его через голову высокого его господина с самым высоким. Но еще сильнее обрадовало его то другое, более общее, чем повеяло на него в этом мире, куда его пересадили, и что, принявшись к своим выгодам и невыгодам, он почуял своим красивым, хотя и немного слишком ноздристым носиком - родная его стихия, в которой он чувствовал себя как рыба в воде. Это была зрелость, то есть отдаленность общества внуков и наследников от образцов и установлений предков, чьи победы они привели уже в такое состояние, когда побежденное кажется изысканным. Она была Иосифу по сердцу, потому что он и сам был человеком зрелого времени и зрелой души - легкомысленным, остроумным, трудным и интересным образчиком сына и внука. Потому-то он и чувствовал себя здесь как рыба в воде и был полон доброй надежды, что с помощью бога и к вящей его славе он далеко пойдет в фараоновой преисподней.

## ЦАРЕДВОРЕЦ

Итак, Дуду, карлик-супруг, действовал в духе доброго старого времени и прямо-таки от имени Амуна, когда глухим голосом, усердно жестикулируя коротенькими ручками, убеждал Монт-кау отправить новоприобретенного раба-хабира на барщину, поскольку на усадьбе, как представителю враждебного богам племени, ему не место. Но управляющий поначалу сказал, что вообще не понимает, о чем идет речь и кого имеет карлик в виду. Раба аму? Купленного у минейцев? По имени Озарсиф? Ах, да! И, показав Дуду своей забывчивостью, сколь равнодушного и пренебрежительного отношения это дело заслуживает, он выразил свое удивление тем, что смотритель одежной тратит на него не только мысли, но даже слова. Он заботится о приличиях, отвечал Дуду. Людям усадьбы было бы омерзительно есть хлеб с таким азиатом. Но управляющий сказал, что они вовсе не так уж чопорны, и сослался на пример вавилонянки Иштарумми, служанки в доме замкнутых, с которой отлично ладили наложницы и жены.

- Амун! - сказал начальник одежной. Он назвал имя бога-хранителя и пристально, даже не без угрозы, снизу вверх поглядел на Монт-кау. Он заботился об Амуне - вот, мол, в чем дело.

- Амун велик, - отвечал домоправитель, довольно заметно пожав плечами. - Впрочем, - прибавил он, - вполне возможно, что я и отправлю его на полевые работы. Может быть, отправлю, а может быть, нет, но если я это и сделаю, то только тогда, когда сам об этом подумаю. Я не люблю, чтобы к моим мыслям привязывали веревочку и вели их на поводке.

Одним словом, он осадил супруга Цесет - отчасти, конечно, потому, что вообще не выносил его, не выносил по причинам явным и тайным. Явной причиной этого отвращения был зливший его заносчивый педантизм карлика; причиной же тайной была его, Монт-кау, большая и неподдельная преданность своему хозяину Петепра, в силу которой его оскорбляла и злила такая заносчивость. Мы поясним это ниже. Однако неприязнь к ядренному карлику была не единственной причиной неподатливости Монт-

кау. Ведь дурачка Боголюб, к которому он вообще-то относился вполне терпимо, не столько, впрочем, ради него самого, сколько в противоположность своему отношению к Дуду, - ведь дурачка Боголюб он обрезал в точности так же, когда тот, еще раньше, обратился к нему по поводу Иосифа с ходатайством противоположного свойства. Этот молодой житель песков, - прострекотал Шепсес-Бес, - красив, добр, умен и любим богами; он. Боголюб, который, однако, несмотря на свое имя, богами отнюдь не любим, распознал это благодаря своей неутраченной карличьей пронизательности, и пусть управляющий позаботится о том, чтобы Озарсифу, будь то внутри или вне дома, дали такое занятие, в котором смогли бы проявиться его достоинства. Но и тогда управляющий тоже сначала притворился, что не помнит, о ком идет речь, а потом, довольно сердито, вообще отказался заниматься вопросом об использовании в доме какого-то никому не нужного раба, купленного по случаю, да и то из любезности. Ведь это же, право, не к спеху, а у него, Монт-кау, найдутся другие заботы.

Против этого трудно было что-либо возразить; для перегруженного обязанностями человека, у которого к тому же порой побаливала почка, это был вполне приличный ответ, и Боголюб ничего не осталось, как замолчать. В действительности же управляющий не хотел слышать об Иосифе и притворялся, что забыл о нем, не только перед другими, но и перед самим собой потому, что стыдился весьма странных мыслей и впечатлений, возникших у него, человека рассудительного, при первом взгляде на этого юношу, которого он тогда наполовину принял за бога, за властителя белой обезьяны. Стыдясь этих своих впечатлений он не хотел, чтобы ему напоминали о них или побуждали к действиям, походившим в его собственных глазах на какую-то уступку. Он отказался и посылать новокупленного раба на барщину, и заботиться о его использовании в доме, потому что вообще не желал думать о нем и с ним связываться. Чудак, он не замечал, он скрывал от самого себя, что своим невмешательством он как раз и отдавал дань первым своим впечатлениям. Оно шло от робости; оно, между нами говоря, шло от чувства, лежащего в основании мира, а следовательно, лежавшего и в основании души Монт-кау: от ожидания.

Вот почему Иосиф, после того как его обкорнали и одели на египетский лад, еще несколько недель и даже месяцев слонялся без дела или, что то же самое, без определенного дела по усадьбе Пегепра, выполняя то там, то тут, сегодня одни, а завтра другие, но всегда случайные, мелкие и весьма нехитрые поручения, что, впрочем, не очень-то бросалось в глаза, ибо благодаря богатству этого благословенного дома бездельников и праздношатающих здесь было хоть отбавляй. В известном смысле ему даже нравилось, что на него не обращают внимания, то есть преждевременно, еще без серьезного и почетного интереса к нему. Иосифу важно было не загубить свою карьеру в самом начале, не оказаться, например, приставленным к какому-нибудь из ремесел этого дома, рискуя, что его навеки замкнут в такой убогой деятельности. Он остерегался этого и умел сделаться невидимым в надлежащий момент. Он сживал и болтал с привратниками на кирпичной скамье, пересыпая свой речь смешившими их азиатскими словечками. Но он избегал пекарни, где выпекали такие чудесные хлебцы, что его необыкновенные лепешки не шли с ними ни в какое сравнение, и старался не показываться ни у сапожников, изготовлявших сандалии, ни у клеильщиков папируса, ни у тех, что сплетали из луба пальм пестрые циновки, ни у столяров, ни у горшечников. Внутренний голос подсказывал ему, что, имея в виду будущее, не следует выступать среди них неумелым, неопытным новичком.

Зато ему раз-другой случалось составлять списки и счета в прачечной и хлебных амбарах, для чего его знания здешнего письма вскоре оказалось вполне достал точно. Внизу он скорописью прибавлял: "Писано молодым иноземным рабом Озарсифом для его великого господина Петепра - да пошлет ему Сокрытый долгую жизнь! - и для Монт-кау, который всему голова и весьма искусно исполняет свои обязанности - да

осчастливит его Амун десятью тысячами лет жизни после его кончины! - в такой-то день третьего месяца времени года Ахет, то есть затопления". Столь отступнически приспособляя перед лицом бога свои благословения к местным нравам, он надеялся, что, снисходя к его положению и понимая, как ему необходимо завоевать доверие, бог не взыщет с него за такой способ выражаться. Монт-кау раз-другой видел такие списки и подписи, но не сказал ни слова по этому поводу.

Хлеб Иосиф ел со слугами Потифара в людской и с ними же, слушая их болтовню, пил пиво. По части болтовни он вскоре сравнялся с ними и даже превзошел их, ибо способности у него были к словесному, а не к прикладному творчеству. Слушая, он перенимал у них ходкие обороты речи, чтобы на первых порах болтать с ними, а затем и приказывать им. Он научился говорить: "Чтоб царь так жил!" и "Клянусь великим Хнумом, владыкой Иабским!" Он научился говорить: "В меня вошла величайшая радость земли" и "Он находится в комнатах под комнатами", то есть в подвале, а о злом надсмотрщике: "Он уподобился верхнеегипетскому леопарду". Он привык, повествуя о чем-либо, выказывать по местному обычаю большое пристрастие к указательному местоимению и выражаться по такому способу; "И когда мы подошли к этой непобедимой крепости, этот добрый старик сказал этому начальнику: "Взгляни на это письмо!" Когда же этот молодой начальник крепости взглянул на это письмо, он сказал: "Клянусь Амун, эти чужеземцы пройдут". И слушателям Иосифа это нравилось.

По праздникам, которых в каждом месяце, и по календарю, и по действительному времени года, бывало несколько, например, когда фараон, в знак начала жатвы, собственноручно срезал десяток-другой колосьев, или в день восхождения на престол и объединения обеих стран, или в день, когда под звуки систров и шум маскарадов воздвигали колонну Усира, не говоря уж о лунных днях и великих днях троицы. Отца, Матери и Сына - по праздникам в людской угощались жареными гусями и говяжьими кострецами; Иосифу же его маленький покровитель Боголюб приносил, кроме того, всякие лакомства и сладости, припасенные им для этой цели в гареме, - виноград, винные ягоды, пироги в виде лежащих коров, фрукты в меду - и, принося, шептал:

- Возьми, молодой житель песков, это повкуснее, чем хлеб с луком, малыш взял это для тебя со стола замкнутых после того, как они поели. Ведь от чревоугодия они и так непомерно полнеют. Я пляшу перед стадом раскормленных, гогочущих гусынь. Возьми угощение, которое принес тебе карлик, и пусть оно придется тебе по вкусу, ибо у других этого нет.

- А Монт-кау еще не вспомнил обо мне и не собирается дать мне дело? спрашивал Иосиф, поблагодарив за гостинец.

- Нет еще, - качая головкой, отвечал Боголюб. - Он не любит, когда ему напоминают о тебе, и становится в таких случаях глух и сонлив. Но малыш, дай ему только срок, устроит твои дела! Он добьется того, чтобы Озарсиф предстал перед Петепра, так и знай.

Ибо Иосиф настойчиво упрашивал его любым способом устроить так, чтобы он, Иосиф, предстал перед Петепра; однако это было и в самом деле почти неосуществимо, и лишь постепенно, лишь путем многих попыток, мог справиться с этой задачей маленький доброхот. Должности, хотя бы и самым отдаленным образом связанные с особой хозяина, а тем более должности его личных слуг, находились в слишком крепких и ревнивых руках. Не могло быть и речи о том, чтобы Иосифа допустили, например, ходить за лошадьми, задавать сирийцам корм, чистить их скребницей, надевать на них сбрую. Если бы это и удалось, ему все равно не разрешили бы подавать упряжку даже возничему Нетернахту, не то что хозяину. Но все-таки это явилось бы ступенькой к цели, а хода и к этой ступеньке не было. Нет, покамест ему еще не приходилось говорить с господином, а

приходилось только слушать, что говорят о нем слуги, и расспрашивать слуг о нем и вообще о делах дома, куда его, Иосифа, продали, а также при случае внимательно наблюдать за ними, когда они по служебной надобности общались со своим повелителем, - и в первую очередь, как сразу же в день продажи, за управляющим Монткау.

Всякий раз повторялось то же, что и тогда, Иосиф видел это и слышал: Монткау льстил хозяину, он гладил его по шерстке, если только это выражение применимо к человеку вообще и к знатному египетскому вельможе, в частности, он заговаривал его, - вот пожалуй, более точное слово, облекая его жизнь в слова, восхваляя ее богатство и ее почетность, напоминая ему с восхищением о его мужестве охотника и укротителя коней, за которого все на свете так и дрожат - причем все это, как убеждался Иосиф, он делал не для того, чтобы подольститься к хозяину, не ради себя, а ради него, то есть отнюдь не из подхалимства и раболепия, - ибо Монткау казался человеком порядочным, который не помыкает подчиненными и не лебезит перед вышестоящими; в данном случае говорить следовало не об угодничестве, а об угождении, да и то понимать это слово надо в самом невинном его смысле, то есть попросту так, что управляющий любил своего господина и как искренне преданный слуга хотел убажить его душу этими лестными уверениями. Впечатленье Иосифа подтверждалось той слабой, одновременно и грустной и торжествующей улыбкой, с какой друг фараона, этот высокий, как башня, и все же совсем не похожий на Рувима человек, принимал подобного рода услуги; и чем больше Иосиф узнавал обстоятельства этого дома, тем яснее становилось ему, что отношение Монткау к его повелителю было лишь частным примером взаимоотношений между всеми домашними. Они все держались с большим достоинством и относились друг к Другу почтительно, с нежностью и предупредительной заботливостью, с чуткой, несколько напряженной и тревожной вежливостью: Потифар к своей супруге Мут-эмэнет, а она к нему; "священные родители с верхнего этажа" к своему сыну Петепра, а он к ним; они же к своей невестке Мут, а она, в свою очередь, к ним. Похоже было на то, что их чувство собственного достоинства, хотя ему очень благоприятствовали внешние обстоятельства и хотя оно, укрепившись в их сознании, целиком определяло их поведение, - не имело такой уж твердой опоры и было каким-то ненастоящим и пустым, отчего все они всячески стремились утвердить друг друга в этом чувстве щепетильнейшей вежливостью и нежнейшей почтительностью. Если что-либо в этом благословенном доме было несуразно и неприятно, то корень был именно здесь, и если в этом доме таилось какое-то горе, то сказывалось оно именно здесь. Оно не называло своего имени, но Иосифу казалось, что он узнал это имя. Это имя гласило, как слышалось Иосифу, Пустое Достоинство.

У Петепра было много чинов и званий; фараон высоко вознес его голову и неоднократно, в присутствии царской семьи и всего двора, бросал ему из окна своего появления золото славы, что сопровождалось громким ликованием и церемониальными подскоками слуг. В людской они рассказывали об этом Иосифу. Хозяин именовался носителем опахала одесную и другом царя. Его надежда стать некогда "Единственным Другом Царя" (каковых имелось очень немного) была вполне обоснованной. Он был командующим дворцовой стражей, главой палачей и начальником царских темниц - то есть так он именовался, это были его придворные должности, пустые или почти пустые звания, которые он носил. В действительности, как узнал Иосиф от слуг, командовал телохранителями и распоряжался казнями один солдафон-военачальник по имени Гаремхеб или Гор-эм-хеб, отчасти, правда, подчинявшийся придворному, титулоносному коменданту и почетному смотрителю острога, но и то только формально; и хотя этот жирный рувимоподобный великан с тонким голосом и грустной улыбкой был счастлив, что ему не приходится собственноручно кромсать людям спины пятьюстами ударами палкой и самолично, как говорилось, "вводить их в Дом пыток и казни", чтобы "сделать их бледными трупами", так как это не очень-то подходило к нему и определенно не

пришлось бы ему по вкусу, то все же Иосиф понимал, что такое положение чревато для его господина частыми неприятностями и угоняет ему много позолоченных пилюль.

Да, военачальничество и комендантство Потифара, символически воплощенное в изящной и тонкой, с оконечностью в виде сосновой шишки палочке в его маленькой руке, было на самом деле почетной фикцией, гордиться которой ему ежечасно помогал не только верный Монт-кау, но и весь мир, все внешние обстоятельства, и которую он все-таки - пусть втайне, пусть безотчетно, - считал тем, чем она являлась: обманом, пустой видимостью. Но если изящная палочка была символом его пустых чинов, то так казалось Иосифу - это уподобление можно было продолжить и углубить, отнеся его уже не к служебным, а к коренным, естественно-человеческим качествам: мнимость должностей могла быть, в свою очередь, символом более, так сказать, коренного ничтожества.

У Иосифа были внеличные воспоминания о том, сколь бессильны условные, установленные обычаем, общественным соглашением понятия о чести против глубинного, темного и безмолвного сознания чести, которого никогда не обманут никакие светлые выдумки дня. Иосиф думал о своей матери - да, как это ни странно, когда он разбирал обстоятельства египтянина Петепра, своего покупателя и господина, мысли его уносились к миловидной Рахили и к ее смятению, о котором он знал, потому что оно было главой его предания и его предыстории и потому что Иаков не раз повествовал о той поре, когда по воле бога Рахиль, несмотря на свою готовность, была бесплодна и должна была заменить себя Валлой, чтобы та родила на ее, Рахили, колени. Иосифу казалось, что он воочию видит смятенную улыбку, появившуюся тогда на лице отвергнутой богом, - эту улыбку гордости материнством, которое, являясь почетной условностью, а не вошедшей в плоть и кровь Рахили действительностью, было наполовину счастьем, наполовину обманом, обманом, хотя и опирающимся с грехом пополам на обычай, но, по сути, все-таки ничтожным, все-таки отвратительным. Это воспоминание Иосиф и призвал на помощь, разбираясь в обстоятельствах своего господина, размышляя о противоречии между совестью плоти и подмогой обычая. Несомненно, всякого рода подтверждений и утешений, возмещающие согласие в мыслях, были в случае Потифара куда сильнее и обильнее, чем в случае подставного материнства Рахили. Его богатство, весь его блестящий, украшенный самоцветами и страусовыми перьями быт, привычное зрелище падающих ниц рабов, битком набитых сокровищами жилых и гостиных покоев, ломящихся от запасов кладовых, гарема, полного щебечущих, кудахчущих, лгущих и лакомящихся атрибутов вельможного быта, первой и праведной среди которых была лилейнорукая Мут-эм-энет, - все это поддерживало в нем чувство собственного достоинства. И все же в глубине души, в той глубине, где Рахиль стыдилась этого тихого ужаса, он, наверно, не мог не знать, что военачальником он был не на самом деле, а только по званию, коль скоро Монт-кау считал нужным его "ублажать".

Он был царедворцем, слугой и прислужником царя, правда, очень высокопоставленным, осыпанным почестями и благами, но все-таки царедворцем - и только: а это слово имело язвительный оттенок, или, вернее, оно охватывало два родственных понятия, сливавшихся в нем в одно; это было слово, которое сегодня употреблялось уже не - или уже не только - в своем первоначальном значении, а в переносном, но при этом сохраняло и свой истинный смысл, отчего оно приобретало священную двусмысленность почтительной язвительности и давало двойной повод к лести - и своим высоким, и своим низким значеньем. Один разговор, который Иосиф услышал, не подслушал, а открыто услышал, исполняя свои служебные обязанности, многое разъяснил ему на этот счет.

ПОРУЧЕНИЕ

Через девяносто, а может быть, и сто дней после его прибытия в дом почета и отличий Иосифу, благодаря карлику Зе'энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе эм-пер-Амуну, досталось одно счастливое и легко выполнимое, хотя и немного тягостное, не очень веселое поручение. Он как раз опять волей-неволей бил баклуши, слоняясь по усадьбе в тихом ожидании своего часа, когда карлик, как всегда в праздничном, но измятом платье и с войлочной душницей на голове, подбежал к нему и шепотом сообщил, что у него есть для Иосифа приятная новость, что вот наконец и счастливый случай, удача, которой необходимо воспользоваться. Он добился этого у Монт-кау: тот не сказал ни "да", ни "нет" и, следовательно, согласился. Нет, перед Петепра Иосиф не предстанет, пока еще нет.

- Послушай, Озарсиф, как тебе повезло благодаря стараниям карлика, который никогда не забывал о тебе. Сегодня в четвертом часу пополудни, отдохнув от трапезы, священные родители с верхнего этажа проследуют в беседку прекрасного сада, чтобы, укрывшись от солнца и ветра, насладиться прохладой вод, а также спокойствием своей старости. Они любят сидеть там, рука об руку, на двух креслицах, и в эти часы их покоя около них нет никого, кроме Немого Слуги, что стоит в углу на коленях и держит в руках угощенье, которым они и подкрепляют свои утомленные мирным сидением силы. Этим Немым Служгой будешь ты, ибо Монт-кау велел или, во всяком случае, не запретил тебе быть им. Но если, стоя на коленях с угощеньем в руках, ты шевельнешься или хотя бы только глазом моргнешь, ты нарушишь их покой своей чрезмерной заметностью. Ты должен быть самым настоящим Немым Служгой, похожим на изваяние Птаха, так уж они привыкли. Но если эти высокие брат и сестра покажут знаками, что они утомились, тогда пошевеливайся и, не вставая на ноги, как можно ловчее, подавай им угощенье, только смотри, не споткнись на коленях и не запутайся в платье. А как только они подкрепятся, ты должен так же тихо и ловко вернуться на коленях в свой угол, всячески сдерживая свое тело и затаив дыхание, чтобы ни в коем случае не приобрести непристойной заметности и снова стать настоящим Немым Служгой. Сумеешь?

- Ну конечно! - ответил Иосиф. - Спасибо тебе, маленький Боголюб, я все сделаю, как ты мне сказал, и даже придам глазам стеклянную неподвижность, чтобы целиком уподобиться изваянию и не быть заметней того пространства, которое занимает в воздухе мое тело, - вот как скромно я буду себя вести. А уши мои будут украдкой открыты, так что священные брат и сестра сами не заметят, как, беседуя между собой в моем присутствии, назовут обстоятельства дома их именами, благодаря чему я стану хозяином этих обстоятельств в своей душе.

- Вот и прекрасно! - отвечал карлик. - Только не думай, что это такое уж легкое дело - долгое время изображать Немого Слугу и статую Птаха и торопливо передвигаться на коленях с угощеньем в руках. Тебе следовало бы заранее немного поупражняться в этом без свидетелей. Угощенье ты получишь у писца-буфетчика, но не на кухне, а в кладовой господского дома, где оно всегда есть в запасе. Войди через ворота дома в переднюю и поверни налево, где находятся лестница и дверь, ведущие в Особый Покой Доверия, в спальню Монт-кау. Пройдя через нее наискось, отвори дверь справа, и перед тобой откроется длинная, наподобие коридора, комната. Она полна съестных припасов, так что ты догадаешься, что это и есть кладовая. Получив у писца, которого ты там увидишь, все необходимое, ты с благоговением снесешь это через сад к беседке, но загодя, чтобы непременно быть на месте к приходу священных родителей. Ты станешь на колени в углу и будешь прислушиваться. Услыхав, что они идут, ты застынешь и затаишь дыхание до тех пор, пока они не покажут, что утомились. Усвоил ли ты свои обязанности?

- Вполне, - ответил Иосиф. - У одного человека жена превратилась в соляной столп, потому что она оглянулась на гибнущий город. Я буду так же неподвижно стоять с чашей в своем углу.

- Я не знаю этой истории, - сказал Нетерухотпе.

- Как-нибудь при случае я тебе расскажу ее, - отвечал Иосиф.

- Сделай это, Озарсиф, - прошептал карлик, - сделай это в благодарность за то, что я добился для тебя должности Немого Слуги! И расскажи мне еще раз историю о змее на дереве и о том, как нелюбезный богу убил любезного, и о ковчеге предусмотрительного старика! Я с удовольствием послушал бы также еще раз историю о мальчишке, не принятом в жертву, а равно и о гладком сыне, которого мать сделала косматым, обвязав его шкурами, и который познал в темноте не ту, что следовало!

- Да, - сказал Иосиф, - наши истории приятно послушать. Но сейчас я хочу поупражняться в ходьбе на коленях, передвигаясь вперед и назад, и взглянуть на тень часов, чтобы, вовремя приодевшись к службе и получив в кладовой угощение, сделать все, как ты мне сказал.

Так он и поступил; найдя свое умение ходить на коленях достаточным, он умастился маслом и принарядился, надел праздничное свое платье, нижний набедренник и верхний, более длинный, через который нижний просвечивал, заправил внутрь курточку из темноватого, небеленого холста, а также, ради почетной службы, которой его удостоили, не преминул украсить венками и лоб и грудь. Затем, взглянув на солнечные часы, стоявшие во дворе между господским домом, людской, кухней и гаремом, он прошел через обводную стену и ворота дома в переднюю Потифара, имевшую семь красного дерева, с широкими полосами инкрустаций, дверей. Потолок здесь покоился на круглых, тоже красного дерева, до блеска вылощенных колоннах с каменными основаниями и зелеными возглавиями: пол же передней изображал звездное небо и был испещрен сотнями картинок: в кругу, среди всевозможных богов и царей, здесь можно было увидеть Льва, Бегемота, Скорпиона, Змею, Козерога и Тельца, а также Овна, Обезьяну и венценосного Сокола.

По этому полу, наискось, а затем под лестницей, что вела в комнаты над комнатами, Иосиф прошел к двери в Особый Покой Доверия, где по вечерам укладывался управляющий домом Монт-кау. Оглядывая Особый Покой с изящной, покрытой шкурой кроватью на ножках в виде звериных лап, на изголовной спинке которой были изображены покровительствующие сну божества: скрюченный Бес и беременная бегемотица Эпет, - оглядывая этот покой с ларями, с каменным умывальником, с жаровней, с подставкой для светильников, Иосиф, который спал со слугами в людской, на полу, закутавшись в плащ где-нибудь на циновке, подумал о том, какого большого доверия нужно добиться, чтобы устроиться в земле Египетской с таким особым уютом. Поэтому он поспешил приступить к своим служебным обязанностям и вошел в длинный, слишком узкий, чтобы нуждаться в колоннах и подпорках, коридор кладовой, тянувшийся до задней, западной стены дома, так что к нему примыкали не только комната для приема гостей и столовая, но и третья, западная палата с колоннами; ибо кроме этой палаты и передней на восточной стороне, имелась еще северная передняя - настолько богато и расточительно был построен дом Петепра. А кладовая, как и сказал карлик, была загромождена многоярусными полками и ящиками с припасами и столовыми принадлежностями - фруктами, хлебами, пирогами, жестянками с пряностями, чашками, бурдюками для пива, длинношеими кувшинами для вина на красивых подставках и цветами, чтобы увенчивать ими эти кувшины; писец же, которого застал здесь Иосиф, оказался долговязым Хаматом: с тростинками за ушами, он сидел в кладовой, что-то подсчитывая и записывая.

- Ну, как поживаешь, молокосос и щеголь пустыни? - сказал он Иосифу. Что это ты так расфуфырился? Тебе, видно, нравится жить в стране людей и возле богов? Да, ты будешь

прислуживать священным родителям, я уже слышал - твое имя значится у меня на дощечке. Наверно, Шепсес-Бес тебе это выхлопотал; ведь как, в общем-то, мог ты добиться этого? Недаром он так хотел, чтобы тебя купили, и до смешного вздул твою продажную цену. Ведь ты, кажется, стоишь быка, теленок?

"Лучше вовремя выбирай выражения, - подумал Иосиф, - ибо я еще наверняка буду твоим начальником в этом доме".

Вслух он сказал:

- Будь так добр, Ха'ма'т, питомец книгохранилища, умеющий читать, писать и колдовать, отпусти этому недостойному просителю угощение для почтенных стариков Гуия и Туий, чтобы я, как Немой Слуга, мог им подать его в тот час, когда они утомятся.

- Это я и обязан сделать, - ответил писец, - поскольку ты значишься на моей дощечке по милости дурака карлика. Предвижу, что ты опрокинешь угощение на ноги священным родителям, а тогда тебя уведут, чтобы угостить и тебя, и угощать тебя будут до тех пор, покуда и ты и тот, кто тобою займется, не утомитесь.

- Я, слава богу, предвижу нечто иное, - ответил Иосиф.

- Ах, вот как? - спросил долговязый Хамат и подмигнул Иосифу. - Ну, что ж, в конце концов все зависит от тебя. Угощение уже приготовлено и записано: серебряная чаша, золотой кувшинчик с кровью гранатов, золотые кубки и пять морских раковин с виноградом, винными ягодами, финиками, плодами дум-пальм и миндальными пирожными. Надеюсь, ты не полакомишься или, того хуже, не украдешь?

Иосиф поглядел на него.

- Не украдешь, значит, - сказал Хамат с некоторым смущением. - Тем лучше для тебя. Я спросил это просто так, хотя и сразу подумал, что ты не захочешь, чтобы тебе отрезали уши и нос, да и вообще, наверно, воровство не в твоих привычках. Но ведь как-никак, - добавил он, поскольку Иосиф молчал, - известно, что прежним твоим хозяевам пришлось подвергнуть тебя наказанию колодцем - не знаю уж, за какие провинности, может быть даже, за незначительные, связанные не с собственностью, а с вопросами мудрости, чего не знаю, того не знаю. Да и говорят, что наказание пошло тебе впрок, так что я только на всякий случай счел нужным задать тебе этот вопрос...

"Зачем, собственно, я это говорю, - думал он про себя, - зачем шевелю языком? Я сам себе удивляюсь, но, как ни странно, испытываю искреннее желание говорить еще, и говорить вещи, которые никак не должны были бы меня трогать, а все-таки трогают".

- Моя служба велела мне, - сказал он, - спросить так, как я спросил; моя обязанность - удостовериться в честности слуги, которого я не знаю, и сделать это я должен ради себя самого, ибо любая недостача в посуде остается на моей совести. А тебя я не знаю, и происхождение твое темное, поскольку в колодце темно. Возможно, что за колодцем оно светлее, но если я не ошибаюсь, то третьим своим слогом твое имя - ведь тебя же зовут Озарсиф? - показывает, что тебя нашли не то в камышах, не то в камышовой корзинке, которую, может быть, кто-нибудь вытащил, черпая воду, - такие случаи бывают на свете. Впрочем, возможно, что твое имя намекает на что-то другое, я не берусь судить. Во всяком случае, вопрос, который я задал, я задал тебе по обязанности или, если не совсем по обязанности, то по обычаю и для складности речи. Так уж принято у людей, что с молодым рабом они говорят, как я говорил с тобой, так уж ведется, что они называют его теленком. Я отнюдь не хотел сказать, что ты и в самом деле теленок, - да и как бы могло

это быть. Я просто говорил, как все и как принято. И я вовсе не предвижу и не ожидаю, что ты обольешь ноги священных родителей гранатовым соком; я сказал это только обычной грубости ради и в известной мере солгал. Удивительное дело, по большей части человек говорит совсем не то, что у него на уме, а то, что, по его мнению, сказали бы другие, и речь его обычно скована образцом - не правда ли?

- Посуду и остатки угощения, - сказал Иосиф, - я принесу, когда закончу службу, обратно.

- Хорошо, Озарсиф. Можешь выйти прямо через эту дверь в конце кладовой, не возвращаясь через Особый Покой Доверия. Ты выйдешь сразу к обводной стене и к дверце обводной стены. Пройди в эту дверцу, и ты окажешься среди цветов и деревьев, и увидишь пруд, и тебе улыбнется беседка.

Иосиф вышел.

"Ну, и разболтался же я! - подумал оставшийся в кладовой писец. - Не знаю, что и подумает обо мне этот азиат. И добро бы я еще говорил, как все, по общему образцу, так нет же, мне взбрело в голову, что я должен высказывать какие-то самобытные истины, и я, вопреки собственной воле, нагородил такой чепухи, что у меня и теперь еще горят щеки! К свиньям собачьим! Пусть только еще раз попадется мне на глаза, я буду с ним груб в полную силу обычая!"

ГУИЙ И ТУИЙ

Тем временем Иосиф вышел через дверцу обводной стены в сад Потифара и оказался среди прекрасных смоковниц, финиковых пальм, дум-пальм, гранатовых и персиковых деревьев, рядами стоявших в зеленом дерне между дорожками из красного песка. На небольшой, с помостом насыпи, полускрытая деревьями, виднелась изящно расписанная беседка, обращенная к четырехугольному, окаймленному зарослями папируса пруду, по зеленоватому зеркалу которого плавали красивые, пестроперые утки. Среди цветков лотоса стоял легкий челнок.

Держа в руках угощение, Иосиф поднялся по ступенькам к потешному домику. Вельможное это урочище было ему знакомо. За прудом отсюда видна была платановая аллея, которая шла к двубашенным воротам южной внешней стены, открывавшим с этой стороны непосредственный доступ к благословенному Потифарову дому. Плодовый сад со своим маленьким, полным подпочвенной воды бассейном продолжался и к востоку от пруда, а дальше шел виноградник. Были здесь и приятные глазу цветники по обеим сторонам платановой аллеи и вокруг беседки. Чтобы подвезти тучную землю, необходимую для столь пышного цветения в этих бесплодных прежде местах, детям служильни египетской пришлось пролить много соленого пота.

Беседка, со стороны пруда совершенно открытая, с маленькими красно-белыми колоннами по обе стороны входа, была весьма благоустроена и представляла собой укромно-изысканный уголок, равно удобный и для того, чтобы наслаждаться созерцанием красот сада в уютном одиночестве, и для того, чтобы вести задушевные беседы или просто коротать время вдвоем, как о том свидетельствовала шашечница, видневшаяся на подставке в сторонке. Белые стены были покрыты веселыми, очень живо написанными картинами, среди которых имелись красочно-нарядные подражания венкам и гирляндам из васильков, желтых цветов персика, виноградных листьев, красного мака и белых лепестков лотоса, и отдельные, опять-таки очень живые сцены: то стадо ослов, крик которых, казалось, доносился до слуха, то - фризом вереница жирногрудых гусей, то зеленоглазая кошка в камыше, то спесивые светло-бурые журавли, то люди, закалывающие животных и несущие в жертвенном шествии говяжьих

ножки и птицу, то еще какая-нибудь другая услада для глаз. Выполнено все это было великолепно, с таким радостным, умным и слегка насмешливым отношением к натуре, такой смелой и все же благочестивой рукой, что поистине хотелось, рассмеявшись, воскликнуть: "Ах, какая чудесная кошка, бог ты мой, какой надменный журавль!", но при этом с устремленностью в какую-то более строгую и более веселую сферу, в какое-то царство небесное высокого вкуса, царство, которому Иосиф, чьи глаза неотрывно глядели на стены, не смог бы найти определения, но которое было ему хорошо знакомо. То, что улыбалось ему с этих стен, было культурой, и поздний потомок Авраама, младший из сыновей Иакова, отличавшийся некоторой суетностью, склонный к сочувственному любопытству и падкий на мальчишеские триумфы свободы, наслаждался ею с тайной оглядкой на слишком уж непреклонного в своей вере отца, который, конечно же, не одобрил бы такой кумиротворной мазни. Это, думал Иосиф, очень красиво, и ты примиришься с этим, старый Израиль, ты не брани того, что создали в суетности своих игривых усилий и своего изощренного вкуса сыновья Кеме, ибо возможно, что это угодно самому богу! Погляди, я с этим в ладу и нахожу это прелестным, хотя в крови моей и живет тайное сознание, что возносить сущее на небо тонкого вкуса не так уж необходимо и важно, важнее божественная забота о будущем.

Так думал он про себя. Убранство домика тоже было исполнено небесного вкуса: изящно-продолговатый диван из черного дерева и слоновой кости с ножками в виде львиных лап, покрытый подушечками, а также шкурами барса и рыси; широкие кресла со спинками золоченой, искусного тиснения кожи, украшенные вышитыми подушками, а перед креслами мягкие скамеечки для ног; бронзированные курильницы, в которых тлели драгоценные благовония. Но, будучи по своему убранству уютным жилым помещением, эта беседка была также молельней, домовым капищем, ибо на скамье-эмпоре у задней стены, среди принесенных им в дар букетов цветов, стояли маленькие серебряные терафимы с венцами богов на головках, а разнообразная культовая утварь показывала, что им здесь служили.

Чтобы быть наготове, Иосиф опустил на колени в углу у входа, поставив покамест угощенье перед собой на циновку, дабы побережь руки. Вскоре, однако, он поспешно подхватил его и застыл, ибо в сад, шаркая остроносными сандалиями, вошли Гуий и Туий; обоих поддерживали под руку дети-слуги, две девочки с тонкими, как палочки, руками и дурашливо разинутыми ротиками. Только таких и терпели у себя в услужении эти древние старики. Опираясь на своих маленьких поводырей, они поднялись на помост и вошли в домик. Гуий был брат, а Туий сестра.

- Сначала к владыкам, - потребовал хриплым голосом старый Гуий, - чтобы отвесить поклон!

- Да, да, - подтвердила старая Туий, у которой оказалось большое, овальное, со светлой кожей лицо. - Прежде всего к серебряным владыкам, чтобы сначала вымолить у них разрешение, а потом уже блаженствовать в креслицах, наслаждаясь покоем беседки!

И, опираясь на руки девочек, они прошли к терафимам, где подняли свои дряхлые руки и согнули свои и без того уже согбенные спины, ибо старость искривила и сгорбила их позвоночники. Брат Гуий, к тому же, сильно качал головой - не только вперед и назад, но иногда и в стороны. У Туий голова еще держалась крепко. Зато у нее были поразительно сморщенные веки, из-за чего ее глаза казались двумя щелками и были совершенно лишены цвета и выражения, а с большого лица ее не сходила неподвижная усмешка.

Когда родители помолились, тонкорукие девочки подвели их к креслицам, приготовленным для них у входа в беседку, и, осторожно усадив не перестававших вздыхать и кряхтеть стариков, поставили их ноги на подушки скамеечек, отороченные

золотыми шнурами.

- Ну вот, ну вот, ну вот, вот, вот, вот! - сказал Гуий опять хриплым шепотом, ибо другого голоса у него не было. - Теперь ступайте, слуги-детишки, вы позаботились о нас, как вам положено, ножки стоят, косточки отдыхают, и все хорошо. Ничего, ничего, я сижу. А ты, Туий, постельная моя сестра, ты тоже сидишь? Вот и хорошо, и вы до поры до времени покиньте нас, удалитесь, ибо мы хотим остаться наедине, чтобы в полном одиночестве насладиться прекрасным послеполуденным и предвечерним часом над камышами и над прудом с утками, а также над аллеей, что доходит до башен ворот в защитной стене. Мы хотим посидеть в полном покое, чтобы никто нас не видел и не услышал тех задушевных слов старости, которыми мы будем обмениваться!

Между тем Иосиф со своей посудой стоял на коленях в углу, почти рядом со стариками, чуть наискось. Но, зная, что он всего лишь Немой Слуга, то есть должен быть столь же незаметен, как неодушевленный предмет, он глядел остекленевшими глазами мимо голов священных родителей.

- Ступайте же, девочки, как вам кротко приказано! - сказала Туий, у которой, в противоположность сиплону голосу ее брата во браке, был довольно мягкий и звучный голос. - Удалитесь и будьте не ближе и не дальше, чем это требуется, чтобы вы услышали, если мы позовем вас, хлопнув в ладоши. Ибо, почувствовав слабость или внезапное приближение смерти, мы хлопнем в ладоши, чтобы вы оказали нам помощь, а при случае и выпустили из наших ртов птиц наших душ.

Девочки пали ниц и ушли. Гуий и Туий сидели в креслицах рядом, соединив на внутренних подлокотниках свои стариковские, украшенные кольцами руки. Их седые, цвета тусклого серебра волосы были причесаны одинаково: у обоих они падали от проредившегося пробора тонкими прядями, закрывая уши и почти доходя до плеч, только у Туий, сестры, была заметна попытка сплести вниз эти пряди по две и по три, хотя из-за того, что волосы у нее были жидки, задуманного подобия бахромы так и не получилось. Зато у Гуия была маленькая, такого же тускло-серебристого цвета бородка. Кроме того, он носил золотые, проступавшие сквозь волосы серьги, тогда как старая голова Туий была увенчана широким начельником с черно-белым, в виде лепестков, финифтяным узором - искусно сделанным украшением, которое больше подошло бы к не столь дряхлой головке. Ибо к красивым вещам мы питаем ревность во имя юности, и нам втайне досадно видеть их на голове, похожей уже скорее на череп.

Да и вообще одета была мать Петепра очень изысканно. Ее светлое платье, напоминавшее покроем верхней части пелерину, было подпоясано в талии пестрым, с дорогой вышивкой кушаком, лирообразно изогнутые концы которого спускались почти до пят, а ее старую грудь покрывало широкое ожерелье из такой же черно-белой финифти, что и начельник. В левой руке она держала букетик лотосов, который и поднесла к лицу брата.

- Старое мое сокровище! - сказала она. - Понюхай своим носом эти священные цветы, эту красу болота! Освежись их анисовым благоуханием после утомительного пути с верхнего этажа в этот уголок покоя!

- Благодарю тебя, сестра моя и невеста! - хрипло сказал Гуий, укутанный в большое тонкошерстное белое одеяло. - Довольно, не беспокойся, я уже понюхал и освежился. Желаю тебе благополучия! - сказал он с чопорным, великосветски-стариковским поклоном.

- А я тебе! - отвечала она.

Затем они некоторое время сидели молча и, моргая, глядели на красоты сада, на светлую гладь пруда, на аллею, на цветники и на башни ворот. Он моргал потухшими, натруженными глазами, не переставая жевать своим беззубым ртом, отчего его борода равномерно поднималась и опускалась.

Туий не делала этих жевательных движений. Ее большое, склоненное набок лицо оставалось спокойным, и казалось, что щелки ее глаз участвуют в этой застывшей улыбке. Она, как видно, привыкла пробуждать дух супруга и взбадривать его сознание, ибо она сказала:

- Ну вот, мы и сидим здесь, мой лягушонок, радуясь этому с разрешения серебряных богов. Юные создания усадили нас, достопочтенных, на подушки прекрасных кресел и ушли прочь, чтобы мы остались одни, как чета богов в материнской утробе. Только в нашей обители совсем не темно, и мы можем наслаждаться ее удобствами, ее красивыми картинками, ее благородным убранством. Погляди, наши ноги поставлены на мягкие, в позументах скамеечки - в награду за то, что они так долго бродили по земле, всегда вчетвером. А если мы поднимем глаза, то над входом нашей обители расправляет свои пестрые крылья оснащенный змеями солнечный диск, владыка лотоса Гор, сын темных объятий. Слева от нас поставили на особое возвышение фигурный светильник, высеченный из алавастра каменотесом Мер-эм-опетом, а справа, в углу, стоит на коленях Немой Слуга со всякими сладостями, которые только и ждут, чтобы нам захотелось к ним прикоснуться. Может быть, тебе уже захотелось, милый выпенок?

Ужасающе сипло брат отвечал:

- Мне уже захотелось, любезная моя полевая мышка, но я подозреваю, что этого требуют только душа и глотка, но не желудок, который, пожалуй, возмутится и восстанет во мне, донимая меня холодным потом и страхом смерти, если я его не вовремя обременю. Лучше подождем, когда мы устанем от сидения и нам действительно понадобится подкрепиться.

- Ты совершенно прав, мой одуванчик, - отвечала она, и после его речи ее голос показался очень мягким и полнозвучным. - Будь умерен, это самое мудрое, тогда проживешь дольше, а Немой Слуга со своими лакомствами все равно никуда от нас не убежит. Погляди, он молод и красив. Он красив такой же изысканной красотой, как все вещи, которыми нам, священным родителям, услаждают глаза. Он увенчан цветами, словно кувшин с вином; это цветы деревьев, цветы тростника и цветы гряд. Его приятные черные глаза глядят мимо твоего уха, они глядят не на то место, где мы сидим, а в глубину этой обители, и следовательно - в будущее. Ты понял мою игру слов?

- Это легко понять, - с усилием прокряхтел старый Гуий. - Твои слова имеют в виду еще одно назначение нашей беседки; ведь в ней некоторое время хранят мертвецов дома, помещая их расписные гробы на прекрасных подставках позади нас и перед серебряными богами, когда умерших выпотрошат, начнут нардом и закутают пеленами врачи и свивальщики, перед тем как доставить их на корабль и препроводить вниз по реке в Абоду, где покоится он сам и где им будут устроены великолепные похороны по образцу похорон Хапи, Мервера и фараона: их запрут в колонных палатах прекрасного и вечного дома, со стен которого им будет улыбаться их жизнь во всех своих красках.

- Совершенно верно, мой близнец и бобренок, - отвечала Туий. - Ясным умом ты уловил игру и смысл моих слов. Да ведь и я всегда сразу улавливаю, куда ты клонишь, сколь бы кудрява ни была твоя речь, ибо мы отлично сыгрались друг с другом как старые брат и сестра, которые играли вместе во все игры жизни, сперва в игры детства, а потом в игры

зрелого возраста, твоя старая слепышка говорит это не из бесстыдства, а для пущей доверительности и потому, что мы одни в этом домике.

- Ну, разумеется, разумеется, - снисходительно сказал старый Гуий. Прожита жизнь, жизнь вдвоем от начала и до конца. Мы много бывали в свете и среди людей света, ибо рода мы знатного и близки к престолу. Но по сути мы всегда были наедине в своем домике, в домике нашего родства, как сейчас в этом; сначала в материнской утробе, затем в обители детства и в темном покое брака. А теперь мы, старики, сидим в изящном здании своего созерцательного возраста, в весьма легком и недолговечном укрытии. Вечная же защита уготовлена этой священной чете в колонной палате Запада, которая окончательно укроет нас на тысячи лет, и с окутанных мраком стен нам будут улыбаться сны нашей жизни.

- Истинно так, добрый мой бобренок! - отвечала Туий. - Не странно ли, однако, что сейчас мы еще сидим в своих креслицах и беседуем у входа в эту часовенку, но уже вскоре будем лежать у ее задней стены на львиноногих подставках носками вверх, в ларях, на которых у нас будут вторые лица с бородами богов - Усир Гуий и Усир Туий, а над нами склонится остроухий Ануп?

- Наверно, это действительно очень странно, - прохрипел Гуий. - Только я не в силах представить себе это так ясно, а напрягаться боюсь, ибо голова у меня уже устала - тогда как ты еще отлично владеешь своими мыслями и шея у тебя куда как крепка. Это меня беспокоит, ибо может случиться, что ты, благодаря своей свежести, не почишь вместе со мной и останешься в своем креслице, когда я буду лежать, и отпустишь меня одного идти по узкой тропе.

- Об этом не беспокойся, совенок! - отвечала она. - Твоя слепышка не отпустит тебя одного, и если ты умрешь первым, она вкусит травы подмаренника, убивающей жизнь, и мы все равно будем вдвоем. Я непременно должна быть возле тебя после смерти, чтобы помочь тебе вразумительно объясниться и оправдать нас, если будет суд.

- А суд будет? - с тревогой спросил Гуий.

- К этому нужно быть готовым, - отвечала она. - Так утверждает учение. Однако неизвестно, вполне ли оно достоверно. Есть учения, похожие на заброшенные дома: они целы и невредимы, но никто в них уже не живет. Я говорила об этом с Бекнехонсом, великим пророком Амуна, и спрашивала его, как обстоит дело с палатой богинь права, с весами сердец и с допросом перед лицом Западного Владыки, рядом с которым сидят сорок два носителя ужасных имен. Бекнехонс не дал мне ясного ответа. Учение сохраняет свою силу, сказал он твоей кротихе. Все должно навсегда сохранять свою силу в земле Египетской, и старое и то новое, что возникло с ним рядом, чтобы страна была до отказа полна изображений, строений и учений, мертвого и живого и чтобы люди почтительно ко всему относились. Ибо мертвое только священнее, оттого что оно мертво, это мумия правды, которую нужно навеки сохранить народу, хотя бы даже приверженцы новых взглядов духовно от нее отошли. Так сказал мудрец Бекнехонс. Но он деятельный слуга Амуна и ратует за своего бога. Царь преисподней, владыка изогнутого посоха и опахала, заботит его меньше, и меньше заботят его истории и учения этого великого бога. Если Бекнехонс называет их заброшенным зданием и закутанной правдой, то это еще не значит, что нам не придется предстать перед судом, как верит народ, и доказывать свою невиновность. И вполне возможно, что наши сердца будут взвешены на весах, прежде чем Тот выправит нам освобождение от сорока двух грехов и Сын за руки отведет нас к Отцу. К этому нужно быть готовым. Потому твоя совушка должна быть непременно рядом с тобой не только в жизни, но также и в смерти, чтобы держать речь перед владыкой престола и носителями ужасных имен и объяснить им все нами содеянное,

если вдруг у тебя не найдется вразумительных оправданий в решающий миг. Ибо мой летучий мышонок порою бывает уже несколько туповат.

- Не говори так! - крайне хрипло воскликнул Гуий. - Если я бываю туповат и устаю, то только из-за долгих и тяжких раздумий о вразумительном объяснении; но о причинах своей тупости может говорить и тупица. Разве не я навел нас на эту мысль, разве не я зажег ее в священной темноте, мысль о жертве и примирении? Уж этого ты никак не можешь отрицать, ибо, конечно же, это моя заслуга. Ведь из нас двоих мужчина и плодотворен все-таки я. Пусть я как твой брат и супруг в священной темноте нашего совокупления человек темный, но все-таки именно я, мужчина, зажег в старинно-священной обители мысль о постепенной выплате долга священно-новому.

- Разве я это отрицаю? - возразила Туий. - Нет, старая твоя супруга вовсе не отрицает, что именно ее темный муж первым завел речь о различии между священным и величественным, то есть тем новым, которым, возможно, повеяло в мире и к которому мы, сами того не зная, стремимся, так что на всякий случай лучше задобрить его примирительной жертвой. Твоя мышка не знала этого, - прибавила она, замотав, как слепая, своей крупнолицей, со щелками глаз головой, - и довольствовалась священной стариной по своей неспособности понять новые веяния.

- Нет, - кряхтя, возразил ей Гуий, - ты отлично все поняла, когда я завел об этом речь, ибо ты очень понятлива, хотя и совсем ненаходчива; но ход мыслей брата и его озабоченность веяниями и веком ты поняла как нельзя лучше - разве иначе ты согласилась бы на уступки и жертвы? Впрочем, "согласилась" - это, пожалуй, не то слово; мне кажется, что я только научил тебя тревожиться о веке и веяниях, а на мысль, что мы должны посвятить темного сына нашего священного брака величественному и новому, отняв его у старого, - на эту мысль ты напала сама и раньше меня.

- Ну, и хорош же ты! - сказала старуха и зажеманилась. - Ты просто-напросто хитрец-коростель, если ты теперь утверждаешь, что речь об этом завела я, и в конце концов, чего доброго, свалишь все на меня, когда придется держать ответ перед царем преисподней и перед носителями ужасных имен! Ах ты, плутишка! Ведь я же это только поняла - и не больше, только приняла от тебя, мужчины, точно так же, как зачала от тебя нашего сына темноты. Гора, царедворца Петепра, которого мы сделали сыном света и посвятили величественно-новому, как того требовала мысль, от тебя исходившая, а мною, словно матерью Исет, только принятая, выношенная и рожденная. А теперь, когда нужно оправдываться и на суде может оказаться, что мы поступили неверно и совершили промах, теперь ты, проказник, хочешь быть ни при чем и уверяешь меня, что я зачала и родила это совершенно самостоятельно.

- Глупости! - сердито прокряхтел Гуий. - Хорошо еще, что мы одни в этом домике и никто не слышит вздора, который ты городишь. Ведь я же сам признал, что я был мужчиной и зажег в темноте светоч открытия, а ты облыжно приписываешь мне, что я считаю, будто зачатие и рождение могут соединиться, как то, может быть, и случается в болотах и в черноте речного ила, где бурлящее материнское вещество обнимает и оплодотворяет во мраке само себя, но никак не в высшем мире, где самец добропорядочно приходит к самке.

Он безголосо откашлялся и пожевал губами. Его голова сильно качалась.

- Не настало ли время, дорогая жерляночка, - сказал он, - привести в движение Немого Слугу, чтобы он подал нам освежительные лакомства? Мне кажется, что твой лягушонок уже очень устал от этих мыслей и его силы истощены раздумьями о вразумительном оправданье.

Не переставая безучастно глядеть мимо них, Иосиф уже приготовился было побежать на колени; но надобность в этом миновала, ибо Гуий продолжал:

- Но я думаю, что на мысль о подкреплении сил наводит меня моя взволнованность этими раздумьями, а не настоящая усталость, и встревоженный желудок может его отвергнуть. Нет ничего более волнующего в мире, чем тревога о веяниях и о веке, она важнее всего, и разве только еда занимает еще более важное место. Конечно, сначала человек должен поесть и насытиться, но стоит ему только насытиться и избавиться от этой заботы, как его начинают одолевать тревожные мысли о священном и о том, что оно, может быть, уже совсем не священо, а наоборот - ненавистно, потому что начался новый вен и нужно поскорее усвоить новые веяния и задобрить их какой-нибудь искупительной жертвой, чтоб не погибнуть. Но поскольку мы, супруги и близнецы, богаты и знатны и у нас, разумеется, сколько угодно вкуснейшей еды, то для нас нет ничего более важного и более волнующего, чем эти дела, и у твоего старого лягушонка давно уже качается голова от этого волнения, в котором так легко совершить непростительный промах при попытке любовного соглашения...

- Успокойся, мой дорогой пингвин, - сказала Туий, - и не сокращай без нужды свою жизнь такими волнениями! Если будет суд и учение окажется справедливым, то уж я постараюсь, держа речь от имени нас обоих, объяснить подвиг искупления настолько понятно, что ни боги, ни носители ужасных имен не причислят его к сорока двум провинностям, а Тот выправит нам освобождение от всякой вины.

- Да, очень хорошо, - отвечал Гуий, - что ты будешь держать там речь, ведь ты представляешь себе все это гораздо лучше и не так сильно взволнована всем этим, потому что все это ты не открыла, а только поняла, только приняла от меня, а значит, и говорить тебе легче. Я же, как первооткрыватель и плодотворец, вполне могу сбиться и начать заикаться перед этими судьями, и тогда наше дело проиграно. Ты будешь обоим нам языком; ведь язык, как ты, наверно, знаешь, двуснастен и отвечает в скользкой темноте своего логовища за оба пола, как болото и как бурлящий ил, который сам себя обнимает, тогда как на более высокой ступени миропорядка самец приходит к самке.

- Ты, как то и положено на более высокой ступени, добропорядочно ко мне приходил, - сказала она, с жеманным смущением покачав своей большелицей, с подслеповатыми щелками глаз головой. - Тебе суждено было приходиться долго и часто, прежде чем твоя сестра сподобилась благословенного плодородия. Родители соединили нас браком в весьма раннем возрасте, и потребовалось много лет, чтобы союз брата с сестрой стал плодородным и я понесла, а затем и родила тебе нашего Гора, царедворца Петепра, друга фараона, прекрасный лотос, в чьем доме, в верхнем его этаже, мы, священные родители, и доживаем свои последние дни.

- Суцая правда, суцая правда! - подтвердил Гуий. - Все верно, что ты сказала, - и насчет добропорядочности и даже насчет священности, и все-таки в этих обстоятельствах была некая загвоздка для сокровеннейших догадок и для тайной тревоги, которая внимательно прислушивается к веку и к веяниям. Спору нет, как мужчина и женщина, мы зачинали наше дитя со всей добропорядочностью высших существ, однако мы делали это в темном покое нашего родства, а объятие брата и сестры - скажи, разве оно отличается от самообъятия бездны, разве оно не сходно с тем самооплодотворением бурлящего материнского вещества, которое так ненавистно свету и силам нового века?

- Да, - сказала она, - как супруг ты внушал мне это к моему огорчению, и я даже немного досадовала на тебя за то, что ты называл прекрасный наш брак бурлением ила, хотя он всегда был до святости благочестив и достопочтен, соответствовал самым благородным

обычаям и услаждал душу богам и людям. Ведь что может быть благочестивее, чем подражание богам? А они все бросают семя в родную кровь и состоят в браке с матерью и сестрой. Недаром написано: "Я Амун, который сделал беременной собственную мать!" Написано же так потому, что каждое утро небесная Нут родит этого лучезарного бога, а в полдень, возмужав, он зачинает себя самого, нового бога, с собственной матерью. Разве Исет не доводится Усиру и сестрой, и матерью, и женой одновременно? Заранее, еще до своего рождения, совокупились эти высокие брат и сестра в материнской утробе, где, кстати, так же темно и скользко, как в обители языка и как в глубине болота. Но темнота священна, и с большим почтением относятся люди к браку, заключенному по этому образцу.

- Это говоришь ты, и говоришь справедливо, - ответил он хрипло и с заметным усилием. - Но в темноте совокупились и те, кому не следовало совокупляться друг с другом, Усир и Небтот, и это была злосчастливая оплошность. Так отомстил за себя величественный владыка света, которому ненавистна темнота материнского чрева.

- Да, ты говоришь и говорил это как мужчина и как владыка, - возразила она, - и ты, конечно, на стороне величественных владык. Я же, как женщина и мать, скорее на стороне священного и старинного, поэтому твои взгляды меня огорчали. Мы, старики, люди благородного звания и близки к престолу. Но разве Великая Супруга не приходилась чаще всего, по божественному примеру, сестрой фараону, разве она не предназначалась в супруги богу именно как сестра? Он, чье имя - благословение, Менхепер-Ра-Тутмос, - с кем совокупился бы он как с матерью бога, если не с Хатшепсут, своей священной сестрой? Она родилась его женой, и они были единой божественной плотью. Муж и жена должны быть единой плотью, и если едины они изначально, то их брак - это сама добропорядочность и никакое не бурление ила. Я тоже рождена в союзе и для союза с тобою, и если наши благородные родители предназначили нас друг другу в день нашего рождения, то, вероятно, они предполагали, что их божественные близнецы обнимали друг друга уже в материнской утробе.

- Об этом я ничего не знаю, да и не могу вспомнить, - хрипло ответил старик. - Столь же вероятно, что в утробе мы ссорились и пинали друг друга ногами, хотя и этого я не могу утверждать, ибо о той поре никаких воспоминаний не остается. Вне утробы, во всяком случае, мы иногда, как ты знаешь, ссорились, хотя, разумеется, и не пинали друг друга ногами, ибо мы были прекрасно воспитаны, вели себя самым достойным образом и жили счастливо, услаждая души людей своей верностью благородным обычаям. И ты, моя слепышка, была, подобно священной корове с довольным обличем, вполне довольна в душе, и особенно после того, как ты зачала мне Петепра, нашего Гора, не правда ли, сестра, супруга и мать?

- Да, - грустно кивнула она головой. - Я, слепышка и благочестивая корова, была священной довольна в обители нашего счастья.

- А я, - продолжал он, - обладал в лучшие дни моего духа достаточным мужеством и достаточно, как подобает моему полу, тяготел ко всему величественному, чтобы не довольствоваться священно-старинным. Я был сыт, и я думал. Да, это я помню, моя тупая сонливость рассеивается, и я могу облечь этот миг в слова даже перед судом преисподней. Мы жили по образцу богов и царей, услаждая души людей своей верностью благочестивым обычаям. И все-таки меня, мужчину, снедала тревога, меня терзала боязнь мести света. Ибо свет величествен, у него мужская стать, и ему ненавистно бурление темной утробы, к которой все еще так тяготела, ибо была все еще связана с ней пуповиной, наша брачная близость. Эту-то пуповину и нужно перерезать, чтобы телец отделился от коровы-родильницы и сделался быком света! Совершенно не важно, какие учения еще в силе и будет ли вообще суд после нашей смерти. Единственно важный

вопрос - это вопрос о веке, в каком мы живем, и о том, соответствуют ли еще мысли, которым подчинена наша жизнь, веяниям века. Только это и имеет значение - коль скоро мы сыты. И вот, как я давно уже предчувствовал, такое время пришло: мужская статья хочет оборвать пуповину между собой и коровой и, возвысившись над материнским естеством, взойти владыкой на престол мира, чтобы основать царство света.

- Да, так ты меня учил, - отвечала Туий. - И как ни спокойно мне было в священной темноте, я загорелась этими мыслями и стала вынашивать их для тебя. Ибо, любя мужчину, женщина любит и принимает также и его мысли, хотя это совсем не ее мысли. Женщина принадлежит священному, но ради величественного владыки мужчины она любит величественное. Так мы и пришли к мысли о жертве и примирении.

- Да, именно таким путем, - согласился старик. - Сегодня я смог бы вполне вразумительно объяснить это царю преисподней. Нашего Гора, которого мы, как брат Усир и сестра Исет, породили во мраке, мы захотели отнять у тьмы и посвятить чистому царству. Это было нашей общей данью новому времени. Не спросив его мнения, мы сделали с ним то, что сделали, и даже если мы совершили ошибку, то намеренья у нас были самые добрые.

- Если это была ошибка, - сказала она, - то виноваты в ней мы оба, ибо мы вместе решили так поступить с нашим темным сыночком: но у тебя были свои соображения, а у меня свои. Я как мать думала не столько о свете и о том, чтобы его задобрить, сколько о земной славе нашего сына: посредством такого ухищрения я хотела сделать из него царедворца и личного слугу царя. Мне хотелось, чтобы самой его статью ему было назначено сделаться высоким сановником и чтобы фараон осыпал милостями и наградами своего всецело посвященного службе вельможу. Вот каковы были, если честно признаться, мысли, примирившие меня с таким примирением, ибо мне оно далось нелегко.

- Это вполне естественно, - сказал он, - что ты по-своему вынашивала мою мысль, прибавляя к ней по собственному почину собственные соображения, благодаря чему и родилось действие, которое мы с любовью учинили над нашим сыночком, когда у него еще не было своего мнения. Я тоже был рад добавочным преимуществам, вытекавшим, по женской твоей мысли, из такой подготовки, но мои мысли были мужскими и были обращены к свету.

- Ах, старый мой братик, - сказала она, - я думаю, что вытекавшие для него преимущества достаточно важны, чтобы сослаться на них не только при испытании сердец в дольней палате, но и при объяснении с ним самим, с нашим сыночком. Ибо хотя он относится к нам, достопочтенным родителям, с нежной почтительностью и хотя мы, благородные старики, занимаем в его доме весьма высокое положение, мне кажется, и порой я даже со страхом читаю это по его лицу, что в глубине души он немного сердится на нас обоих за то, что мы обкорнали его в царедворцы, не спросив его мнения и воспользовавшись его безответностью.

- Невелика беда, - разволновался осипший Гуий, - если он втайне и ропщет на священных родителей с верхнего этажа! Как сын, принесенный в жертву, он должен помирить их с веком и с веяниями, это его задача. К тому же он пользуется самыми лестными преимуществами, которые все искупают, так что пусть не ворчит. Да я и не думаю, чтобы он ворчал, а тем более на нас, ибо по духу и по природе своей он мужчина, а значит, тяготеет к величественному. Я не сомневаюсь, что он одобряет это примирительное деяние священных родителей и горд своей особенной статью.

- Верно, верно, - кивнула она головой. - И все же, старик мой, ты сам не уверен, что мы не перемудрили, перерезав пуповину, связывавшую его с материнской теменью. Разве сын,

которого мы принесли в жертву, стал благодаря этому быком солнца? Нет, он стал только царедворцем света.

- Не докучай мне моими же тревогами, - упрекнул он ее хриплым голосом, - ибо они второстепенны. Главная тревога - это тревога о веке и веяниях и о примирительной уступке. Если при самых добрых намерениях эта уступка оказывается не совсем чистой и немного неуклюжей, то такова уж ее природа.

- Верно, верно, - сказала она опять. - Совершенно ясно, что у нашего Гора, как у личного слуги солнца и вельможи самой величественности, нет недостатка ни в утешеньях, ни в возмещениях самого лестного и самого почетного свойства, это не подлежит сомнению. Но существует еще Эни, наша невестка, красавица Мут-эм-энет, первая в доме, законная жена Петепра. Как женщина и мать, я бываю подчас беспокойна и за нее, ибо, хотя она выказывает нам, священным родителям, свою почтительность и любовь, я подозреваю, что в Глубине души она тоже немного сердита на нас за то, что мы сделали своего сына придворным, и военачальник он у нее не настоящий, а только по званию. Поверь мне, она в достаточной мере женщина, наша Эни, чтобы втайне на это досадовать, а я в достаточной мере женщина, чтобы увидеть это недовольство на ее лице, когда она не следит за его выражением.

- Пустое! - отвечал Гуий. - Это было бы сущей неблагодарностью, если бы она скрывала в своей священной груди подобное недовольство! Ведь утешений и возмещений у нее столько же, сколько у Петепра, и даже еще больше, и я не поверю, что ее гложет червь завистливой тоски о земном, когда она живет в близости к божеству и зовется побочной женой Амуна из фиванского дома супруги бога! Разве это пустяк, разве это безделица быть Хатхор, подругой великого Ра, которая вместе с другими носительницами этого звания пляшет перед богом в узком, облегающем тело платье и поет перед ним в сопровождении бубна, покрыв лоб золотым рогатым начельником с изображением солнечного круга между рогами? Нет, это не пустяк и не безделица, а утешение самого величественного свойства, и выпало оно ей на долю как почетной жене нашего вельможного сына. Ее родственники знали, что делали, когда отдали ее нашему сыну, чтобы она была ему первой и праведной, хотя в то время оба были еще детьми и между ними еще не могло состояться плотского брака; это было мудро, ибо их брак был почетным и почетным остался.

- Да, да, - сказала Туий, - таковым он по необходимости и остался. И все же, по женскому моему разумению, это жестокая судьба, при свете дня, может быть даже, почетная и блестящая, но зато ночью сущее горе. Ее зовут Мут, нашу сноху, она носит имя Мут-в-пустынной-долине, имя праматери. Но матерью она из-за придворности нашего сына не может и не должна стать, и я боюсь, что втайне она зла за это на нас и что за нежностью, которую она нам выказывает, скрыта обида.

- Пусти не будет гусыней, - в сердцах воскликнул Гуий, - пусть не будет птицей земли, что чревата водой! Так и скажи ей, нашей невестке, если она дуется! Нехорошо, что ты как женщина и как мать защищаешь ее в ущерб нашему сыну, мне неприятно это слышать. Ты обижаешь не только его, нашего Гора, но также и женскую статью, которую хочешь взять под защиту. Ты принижаяешь ее, как будто у нее нет в мире никакого другого образа, кроме образа беременной бегемотицы. Конечно, по природе своей ты всего-навсего слепая кротиха, и мысль о новом веке и об искупительном платеже внушил тебе, как мужчина, я. Но все-таки ты не смогла бы ее принять и уразуметь и не согласилась бы совершить это с нашим сыночком, если бы женская статья была совершенно чужда, совершенно непричастна величественному и чистому! Разве ее образ и ее доля - это непременно черная, беременная земля? Отнюдь нет; женщина может предстать и в почетном обличье непорочной, как Луна, жрицы. Так и скажи ей, своей Эни: пусть не

будет гусыней! Как первая и праведная нашего сына, она принадлежит к первым женщинам стран; благодаря его величию, она зовется подругой царицы Тейе, жены бога, и сама является женой бога из Южного Гарема Амуна, принадлежа к сословию носительниц звания Хатхор, сословию, возглавляемому супругой Великого Пророка Бекнехонса, первой в гареме. По священному своему положению наша невестка - это просто-напросто богиня с рогами и солнечным кругом, это просто-напросто белая жрица Луны - вот каково ее духовное утешение. Разве земному ее браку не уместно быть почетным и мнимым, а ее супругу искупительной жертвой и царедворцем света? По моему, очень даже уместно, и теперь ты знаешь, что сказать ей в том случае, если она обнаружит непонимание этой уместности.

Но Туий, качая головой, возразила:

- Я не могу передать ей этого, дорогой мой старичок, ибо она не дает своей свекрови повода для такого напоминания, и у нее, как говорится, глаза бы на лоб полезли, если бы я послушалась тебя и сравнила ее с гусыней. Она горда, наша Эни, она так же горда, как Петепра, ее супруг и наш сын, и кроме своей дневной гордости, они оба, и жрица Луны и постельник Солнца, ничего и знать не хотят. Разве не живут они перед лицом дня в почете и счастье, разве, в согласии с благородными обычаями, они не услаждают души людей? Что им и знать, как не свою гордость? Да если бы они даже и знали что-то другое, они все равно не дали бы себе поблажки, а упорствовали бы в своей гордыне. Как же я назову нашу сноху гусыней от твоего имени, когда она совсем не гусыня, когда она гордится долей избранницы бога и вся ее статья исполнена терпкого благоухания миртовых листьев? Если я говорю об обиде и горечи, то имею в виду не день и не достопочтенный дневной распорядок, а тихую ночь и безмолвную материнскую темноту, которую не пристало оскорблять гусиными кличками. И если из-за нашего темного брака ты боялся мести света, то я, женщина, по временам боюсь мести материнской темноты.

Тут Гуий захихикал - к легкому испугу Иосифа, который со своим угощением в руках даже вздрогнул, утратив на мгновение незаметность Немого Слуги. Он быстро перевел взгляд с задней стены беседки на стариков, чтобы узнать, увидели ли они, как он ужаснулся; но они ничего не увидели; поглощенные разговором об общем своем деле, они обращали на Иосифа так же мало внимания, как и на фигурный алавастровый светильник каменотеса Мер-эм-опета, стоявший противоположием Немого Слуги. Поэтому он снова отвел глаза в сторону, и, остекленев, они снова устремились в заднюю стену беседки мимо уха Гуия. Но у Иосифа все еще немного спирало дыхание; стариковское хихиканье Гуия, в довершение всего услышанного, показалось ему жутковатым.

- Хи-хи, - прохрипел Гуий. - Бояться нечего, темнота нема, она знать не знает о своем недовольстве. Сынок и сноха полны гордости, они и не думают злиться и обижаться на старичков, которые учинили им это, сделав из вепря борова, когда тот еще не имел своего мнения, а только барахтался и не мог защититься. Хи-хи-хи, бояться нечего! Злость и обида надежно упрятаны в темноту, а сюит им хотя бы немного высунуться на свет, как они снова будут упрятаны в благодное смирение и нежную почтительность к нам, любимым родителям, хотя мы, ради примирения с веком, сыграли однажды шутку с нашими детками! Хи-хи-хи, дважды упрятать, дважды обезопасить, запереть на два замка, благодаря чему милые старички совершенно неязвимы, - разве это не хитро, не забавно?

Сначала Туий была явно озадачена и встревожена поведением своего брата-супруга, но его слова ее успокоили, и она тоже захихикала, сощуриив свои и без того узкие глазки в слепые щелки. Сложив ручки на животах и втянув свои старые головы в ссутуленные плечи, они сидели в своих пышных креслицах и тихонько кудахтали.

- Хи-хи-хи-хи, ты прав, - кудахтала Туий. - Твоя мышка понимает, какую забавную шутку сыграли мы с нашими детками, а их обида упрятана дважды, заперта на два замка и нам не страшна. Это куда как хитро и мило. И я рада, что мой кротенок весел и что он забыл свою тревогу по поводу допроса в дольней палате. Но, может быть, в твоём естестве появились признаки утомления и мне следует приказать Немому Слуге подать нам лакомства?

- Ни малейшего! - отвечал Гуий. - Ни малейшего признака утомления нет в моем теле. Наоборот, оно прямо-таки посвежело от нашей уютной беседы. Побережем позыв на еду до часа вечерней трапезы, когда Священная Родня соберется в столовой и каждый будет с нежной заботливостью подносить к носу другого букетик лотосов. Хи-хи! А сейчас хлопнем в ладоши прислужницам, чтобы они немного повели нас по плодовому саду, ибо моим посвежевшим членам угодно размяться.

И он хлопнул в ладоши. Девочки, с разинутыми от дурашливого усердия ртами, прибежали, подали старикам тоненькие свои ручки и помогли им спуститься с помоста и удалиться.

Иосиф, переведя дух, опустил угощение на пол. Руки у него затекли почти так же, как тогда, когда измаильтяне вытащили его из колодца.

"Ну и глупцы же они перед господом, - думал он, - эти священные старички. Да и горестные тайны этого благословенного дома такие, что только упаси боже! Вот и видно, что жить на небесах высокого вкуса вовсе не значит быть защищенным от глупости и от ужаснейших промахов. Хорошо бы рассказать отцу о богоглупости этих язычников. Бедный Потифар!"

И прежде чем отнести Хамату оставшееся угощение, он здесь же прилег на циновку, чтобы его до боли натруженное тело отдохнуло от службы Немого Слуги.

## ИОСИФ РАЗМЫШЛЯЕТ ОБ ЭТИХ ДЕЛАХ

Он был потрясен и взволнован всем, что услышал, неся свою службу, и это часто занимало тогда его мысли. Его неприязнь к священным старичкам была достаточно пылкой, заперта она была только на замок умной вежливости и почтительности, но никоим образом не на замок темного неведения, ибо ни его досада на безответственную богоглупость родителей, ни его отвращение к уютному спокойствию, которое доставляла им их достойная застрахованность от всяких упреков, отнюдь не были неосознанными и безотчетными.

Но и поучительный смысл, каковым для него, Аврамова отпрыска, обладали эти сделанные им в столь неодушевленном состоянии открытия, - поучительный их смысл от него тоже не ускользнул, и он не был бы Иосифом, если бы не постарался обратить их себе на пользу. То, что он услышал, расширяло его кругозор и предостерегало его от соблазна видеть в своей непосредственной духовной родине, в мире отцов с его заботой о боге, в мире, чьим потомком и питомцем он был, нечто единично-своеобразное и ни с чем не сравнимое. Не один Иаков тревожился в мире. Это происходило с людьми везде, и везде жила тоска о сохранении согласия с господом и со временем, - хотя подчас она и приводила к весьма неуклюжим действиям и хотя, конечно, наследственный помысел Иакова о господе открывал ему тончайшие и труднейшие способы выяснения беспокойного вопроса о возможном разладе между заведенным обычаем, с одной стороны, и волей и ростом этого самого господина, с другой.

И все же как недалеко бывало до ошибки и здесь! Незачем было вспоминать

закосневшего в своей первобытности Лавана и его сыночка, упрятанного в кувшин. Там вообще были совершенно глухи, когда дело шло о вырождении обычая в омерзительный грех. Но изощренная чувствительность к таким превращениям - как легко сбивала с толку именно она! Разве грустные раздумья относительно праздника не искушали Иакова вообще отменить праздник со всеми обрядами из-за его, возможно, и уходящих в низменное похабство корней? Сыну пришлось просить отца пощадить праздник пощады, это высокое, тенистое дерево, которое вместе с господом поднялось над своим грязным корнем, но высохло бы, если бы его выкорчевали. Иосиф был за пощаду, а не за корчевание. Он видел в боге, который в конце концов тоже не всегда был тем, кем он был, бога пощады и снисходительности, даже при потопе не истребившего человечество окончательно, а пробудившего у одного мудреца светлую мысль о спасительном ковчеге. Мудрость и снисходительность - они казались Иосифу идеями-сестрами, которые попеременно носили одну и ту же одежду и носили даже общее имя - имя доброты. Испытывая Аврама, бог потребовал, чтобы тот принес ему в жертву сына, но жертвы этой не принял и поучительно заменил ее овном. В преданиях здешних жителей, хотя и вознесшихся на небеса тонкого вкуса, не было, к сожалению, таких мудрых историй, - к этим людям следовало быть снисходительным, как ни противно они хихикали по поводу неудачной шутки, которую сыграли со своими детьми. В неуверенной и далеко еще не порвавшей с царством темени догадке им тоже было указано отчим духом, что от освященной обычаями старины мы должны воспарить к чему-то более светлому, и они тоже услышали требование жертвы. Но как глубоко, как по-лавановски глубоко увязли они в старине именно тогда, когда попытались уступить новому. Ведь у них, нечестивцев, не оказалось овна, чтобы сделать его холощеным бараном света, и они сделали им Потифара, барахтавшегося своего сыночка.

Это можно было, пожалуй, назвать нечестивым образом действий, глупым и неуклюжим жертвоприношением величественному и новому! Ибо к отчему духу, думал Иосиф, нельзя было приблизиться корчеванием, и велика разница между совершенством двуполости и царедворческой бесполостью. Мужеженственность, соединявшая в себе силы обоих полов, была божественна, как изображение Нила с одной женской и одной мужской грудью и как Луна - для Солнца самка, но самец для Земли, ради которой она лучом своего семени зачинала священного быка в корове-избраннице; двуснастность, считал Иосиф, относилась к царедворству как два к нулю.

Бедный Потифар! Он был нулем при всем великолепии своих огнеблещущих колес и при всем своем величии среди великих Египта. Господином молодого раба Озарсифа был нуль, рувимоподобная, но бессильная и безгрешная башня, неудачная жертва, не отвергнутая, но и не принятая, ни то ни се, нечто внечеловеческое и небожественное, очень важное и гордое среди светлого дня своего почета, но не сомневавшееся в убогом своем ничтожестве среди темной ночи своего естества и крайне нуждавшееся в тех почестях и в той лести, которыми так баловали Потифара его положение и особенно его преданный слуга Монт-кау.

После всего услышанного Иосиф увидел эту льстивую преданность в новом свете и сразу же счел ее достойной подражания. Да, да, из открытий, сделанных им в роли Немого Слуги, он заключил, что, как только и насколько это окажется возможным, он будет "помогать" своему господину по образцу Монт-кау, и даже, в чем он не сомневался, еще тоньше и услужливее, чем тот. Ибо таким образом, говорил он себе, он скорее всего "поможет" другому господину, самому высшему, продвинуть его, молодого раба Озарсифа, в том мире, куда его занесло.

Именно здесь, в интересах истины, следует отвести от Иосифа упрек в холодной расчетливости, который поспешат предъявить ему строгие моралисты. Не так-то просто дать нравственную оценку его решению. Недаром сам Иосиф, давно уже

приглядывавшийся к старшему слуге дома Монт-кау, считал его человеком порядочным, чье угодничество перед хозяином верней было бы назвать не угодничеством, а другим, куда более мягким словом, угождением; а из этого следовало уже, что Петепра, военачальник только по званию, заслуживал, видимо, чтобы ему угождали, и этот вывод подтверждался собственными впечатлениями Иосифа от своего господина. Иосифу этот египетский вельможа казался достойным и благородным человеком доброй и нежной души; а если Потифару хотелось, чтобы все за него дрожали, то это объяснялось вполне естественными для жертвы духовного невежества особенностями его нрава: по мнению Иосифа, Потифар имел право на некоторую озлобленность.

Таким образом, еще до общения с ним Иосиф служил Потифару наедине с собой, в собственных мыслях, когда защищал его и искал случая оказаться ему полезным. Египтянин был прежде всего \_его\_ господином, которому его продали, высочайшим в непосредственном окружении лицом; а самая идея господина и высочайшего существа издавна заключала в себе для Иосифа элемент услужливой бережности, который можно было перенести из высшей в низшую сферу, применить к земным делам и к своему непосредственному окружению. Это нужно только хорошенько понять! Идея господина и высочайшего существа уже создавала некое единство, благоприятное для известного смешения и отождествления высшего с низшим. Усиливалась эта склонность понятием "помощи" и уверенностью Иосифа, что лучшей помощью провидящему владыке снов будет "помощь", по примеру Монт-кау, земному владыке - Петепра. Но и нечто иное низводило в известной мере его отношение к владыке небесному до отношения к владыке огнеблещущих колес. Он увидел грустную, гордую и втайне благодарную улыбку, которой ответил Потифар на лесть своего управляющего, - горькое одиночество, вылившееся в эту улыбку. Пусть наше утверждение покажется ребячливым, но между одинокой отрешенностью бога отцов от мира и гордой, увешанной золотыми наградами отрешенностью от человечества убогой рувимоподобной башни Иосиф усматривал обязывающее к сходному сочувствию родство. Да, господь бог тоже был одинок в своем величии, и в крови Иосифа жила память о том, как важно было одиночество неженатого и бездетного бога для понимания великой его ревности к заключенному с человеком завету.

Он помнил, как благотворна для одинокого бережная нежность слуги и как ужасна для него любая неверность. Он, конечно, не забывал, что по природе своей бог лишь потому не имеет никакого отношения к рождению и смерти, что является сразу и Баалом и Баалат; существенная разница между двумя и нулем не ускользала от него ни на секунду. И все же мы только облечем в слова немой факт, если скажем, что некоторые свои сочувственно-бережные привязанности Иосиф мечтательно объединил, то есть что он решил хранить человеческую верность бедному нулю, как привык хранить ее высокой и бедной двойке.

## ИОСИФ ГОВОРIT ПЕРЕД ПОТИФАРОМ

И вот мы подходим к той первой и решающей беседе Иосифа с Потифаром в плодовом саду, которой нет и в помине ни в каких изложениях этой истории, ни в восточных, ни в западных, ни в прозаических, ни в стихотворных, - как нет в них и многих других подробностей, мелочей и убедительных объяснений, которыми вправе гордиться наша повесть, ибо именно она обнаружила их и сделала достоянием изящных искусств.

Нам известно, что этой долгожданной встречей, поистине определившей все дальнейшее, Иосиф был снова косвенно обязан Бес-эм-хебу, потешному визирю, хотя карлик не устроил ее в точном смысле этого слова, а только создал необходимые для нее предпосылки. Они состояли в том, что в один прекрасный день празднующийся молодой раб Озарсиф был назначен садовником Потифарова сада, - садовником,

разумеется, неглавным: главным садовником был некий Хун-Ануп, сын Деди, прозванный Краснопузым за свой багровый от солнца живот, свисавший, подобно заходящему светилу, над закрепленным ниже пупка набедренником, - человек одних лет с Монт-кау, но более низкого звания, что, однако, не мешало его прочному положению, ибо он был настоящим мастером своего дела: знаток и попечитель растений и их жизни, внимательный не только к их декоративным и хозяйственно полезным качествам, но также к их целебным и ядоносным свойствам, он служил дому не только садовником, лесничим и цветоводом, но также аптекарем и знахарем, заведя отварами, вытяжками, мазями, клистирами, рвотными средствами и примочками и пользуя ими заболевших людей и животных, - из людей, впрочем, только слуг, ибо господам помогал в таких случаях выжить или умереть один строгий и сведущий врач из храма бога. Лысина у Хун-Анупа была тоже багровая, поскольку он не признавал шапочек, а за ухом он обычно носил цветок лотоса, как писец тростинку. Из набедренника у него постоянно торчали пучки всевозможных трав или опытные образцы корневищ и побегов, мимоходом срезанные садовыми ножницами, которые вместе с гравчиком и небольшой пилой побрякивали у него на бедре. Лицо этого коренастого человека было румяно и при весьма приветливом выражении имело сосредоточенный вид: с шишковатым носом, к которому поднимался своеобразно искаженный не то довольной, не то, наоборот, недовольной улыбкой рот, оно неравномерно поросло волосами никогда не подстригаемой бороды, висевшими наподобие корневых мочек и подчеркивавшими, несмотря на алый загар, всю землевидность облика Краснопузого. Короткий, цвета киновари и земли палец, которым он грозил нерадивым своим подчиненным, был очень похож на только что вытащенную из грядки морковку.

К нему-то и обратился маленький Боголюб по поводу чужеземного раба, сызмала, как тот шепнул ему, карлику, прекрасно разбирающегося во всем, что касается земли и ее даров, ибо прежде чем его продали в рабство, он ухаживал за масличной рощей своего отца у себя на родине, в горемычном Ретену, и из любви к плодам поссорился со своими товарищами, которые сбивали их с веток камнями и небрежно давили. Кроме того, он сумел уверить его, карлика, что унаследовал дар волшебства, получив так называемое благословение, причем благословение двойное: и сверху, с неба, и из подземной бездны. А поскольку такие качества как раз и нужны садовнику, то пусть Хун-Ануп возьмет этого малого под свое начало, чтобы тот не бездельничал в убыток хозяйству; так советует ему, Хун-Анупу, карличья мудрость, в послушании которой еще никто не раскаивался.

Визирь говорил это, памятуя о желании Иосифа предстать перед господином и отлично зная, что работа в саду как нельзя более благоприятствует исполнению такого желания. Ибо как всякий другой вельможа Египта, носитель опахала любил свой благоорошаемый сад, обладать и наслаждаться которым он надеялся и в жизни после жизни; в самое разное время суток Потифар сживал здесь и прогуливался, а иногда, если приходило такое настроение, останавливался поболтать с садовниками - не только с главным, Краснопузым, но и с другими работниками, землекопами и водоносами; на этом-то и строился замысел карлика, целиком удавшийся.

Иосиф был и в самом деле поставлен Краснопузым ходить за садом; он получил работу в плодовом, а еще точнее - в пальмовом саду, который южнее главного здания примыкал к восточной стороне пруда, а еще восточнее, по направлению к площадке двора, переходил в виноградник. Но уже и сама пальмовая роща была виноградником, ибо между колоннами ее высоко оперенных стволов повсюду вились виноградные лозы, гирлянды которых лишь кое-где открывали проходы через лесок. Это скопление плодов земных - ибо лозы ломились от гроздьев, а пернатые пальмы ежегодно приносили финики сотнями пудов - было поистине райским, оно радовало глаз, и неудивительно, что Петепра был особенно привязан к своему пальмовому саду с его многочисленными водоемами и часто даже приказывал поставить туда диван, чтобы в тени тихо шумящих

дерев послушать своего чтеца или выслушать отчет писцов.

Вот где указано было трудиться сыну Иакова, и занятие, указанное ему, было такого рода, что оно поневоле будило в нем задумчиво-горькое воспоминание об одном дорогом и так ужасно утраченном сокровище прежней его жизни - о покрывале, о разноцветной одежде, о его и его матери кетонет пассиме. Среди вышивок кетонета была одна, которая бросилась ему в глаза при первом же осмотре покрывала в шатре Иакова, когда этот брачный наряд сверкал всеми своими переливами между руками отца: она изображала священное дерево, а возле него, друг против друга, двух бородатых ангелов, оплодотворявших его прикосновением пустоцветной шишки. Иосиф выполнял теперь ту же работу, что и эти духи. Финиковая пальма - двудомное дерево, и опыление ее плодноносных особей семенами тех, у цветков которых нет пестиков и рылец, а есть только тычинки, производит ветер. Но человек издавна брал на себя эту обязанность и совершал искусственное оплодотворение, собственноручно осеменяя отрезанными соцветиями неплодноносного дерева соцветия плодноносных деревьев. Именно этим и заняты были духи покрывала у священного дерева, и именно это приходилось теперь делать Иосифу; ему задал эту работу Краснопузый, сын Деди, главный садовник Потифара.

Он сделал это ввиду его молодости и расторопности его возраста; ибо выполнять обязанности ветра довольно трудно, для этого нужно быть смелым верхолазом и не знать, что такое головокружение. С помощью особой мягкой бечевы, обвитой вокруг твоего тела и пальмы, нужно, используя сучья, а также другие выступы и неровности чешуйчатого ствола, вскарабкаться с деревянным сосудом или корзинкой к вершине мужского дерева; по мере того как ты поднимаешься, нужно все время движением отпускающего поводья возницы с обеих сторон подбрасывать бечеву вверх, а достигнув вершины, срезать и осторожно собрать в корзинку метелки; затем нужно спуститься, взобраться таким же манером на ствол плодноносного дерева, и еще одного, и другого, и третьего, и везде "подсадить" семяносные метелки, то есть поместить их в соцветия с завязями, чтобы эти соцветия оплодотворились и вскорости принесли светло-желтые финики, которые можно уже собирать и есть, хотя по-настоящему хороши только те из них, что созрели в жаркие месяцы паофи и хатхир.

Своим землисто-морковным пальцем Хун-Ануп указал Иосифу деревья с мужскими цветками, - а их среди пальм было немного, ибо одно такое дерево может опылить до тридцати плодноносных. Он дал ему бечеву, отличного местного изготовления, не пеньковый, а из тростникового луба, превосходно вымоченный, отмятый и ссученный канат, и для первого раза сам проследил за обвязкой; ибо он сознавал свою ответственность и не хотел, чтобы новичок упал с дерева и растерял свои потроха, а хозяин понес убыток. Затем, увидев, что этот юноша весьма ловок и вряд ли даже нуждается в бечеве, что на деревья он карабкается лучше, чем белка, и вообще делает свое дело старательно и с умом, он предоставил его самому себе и пообещал оставить его работать в саду, чтобы сделать из него со временем заправского садовника, если окажется, что это поручение он выполняет успешно и на плодноносных деревьях вскоре появятся обильные плоды.

Честолюбиво, как всегда, заботясь о боге, Иосиф, кроме того, находил удовольствие в этом смелом и разумном труде и выполнял его, чтобы изумить главного садовника такой быстрой и совершенной работой, - а изумить он вообще старался всех и каждого, - с великим усердием; он проработал день и еще один день до самого вечера, так что в час заката, когда на западе, за прудом с лотосами, за городом и за Нилом, заиграли во всем своем ежедневном великолепии алые и тюльпаново-красные краски, а в саду уже больше никого из работников не было, он все еще оставался один возле своих деревьев или, вернее, на них, пользуясь для "подсадки" последним, быстро угасающим светом. Осторожно работая, он сидел среди ветвей голенасто-тонкого плодноносного дерева,

когда вдруг услышал внизу чьи-то семенящие шаги и стрекочущий голос; поглядев вниз, он увидел маленького, как гриб, карлика Боголюбца, который сначала делал ему знаки обеими руками, а потом, приставив их раструбом к губам, изо всех сил прошептал: "Озарсиф! Он идет!" - и сразу исчез.

Иосиф поспешно прекратил свои кропотливые манипуляции и скорей съехал, чем слез с дерева, чтобы, оказавшись внизу, убедиться, что со стороны пруда, по тропинке, среди виноградных лоз, сюда шел между пальмами, с небольшим числом провожатых, сам Потафар - рослый и белый под багрянцем неба, в сопровождении управляющего Монтау, который следовал чуть наискось позади, смотрителя одежды Дуду, двух писцов дома и Бес-эм-хеба, который, оповестив Иосифа, уже ухитрился присоединиться к ним снова. Вот оно что, подумал Иосиф, увидев хозяина, он выходит в сад с наступлением вечерней прохлады. И когда они подошли еще ближе, Иосиф пал ниц у подножия дерева, прижавшись к земле лбом и подняв только руки ладонями к подошедшим.

Взглянув на согнутый позвоночник возле тропинки. Петепра остановился, а с ним остановились и прочие.

- На ноги, - сказал он коротко, но мягко, и одним быстрым движением Иосиф выполнил этот приказ.

Он стоял, прижавшись к стволу пальмы, с самым смиренным видом, скрестив руки у шеи и склонив голову. Его сердце было полно бодрости и готовности. Свершилось: он стоял перед Потифаром. Потифар остановился. Нельзя было допустить, чтобы он слишком скоро двинулся дальше. Во что бы то ни стало следовало его изумить. Какой вопрос он задаст? Такой, надо надеяться, на который можно ответить достойным изумления образом.

- Ты из моего дома? - скупое осведомился рядом с ним нежный голос.

Покамест возможности представлялись совсем незавидные. Разве лишь словесными прикрасами, но никак не смыслом ответа можно было добиться того, чтобы этот ответ был выслушан если не с изумлением, то хотя бы с некоторым вниманием и, самое главное, помешал одному - уходу допрашивавшего. Иосиф пробормотал:

- Великий мой господин знает все. Это самый последний и самый ничтожный из его рабов. Самый последний и самый ничтожный из его слуг счастлив славить его.

"Так себе!" - подумал Иосиф. Неужели он сразу уйдет? Нет, сначала он спросит, почему я еще здесь. На это нужно ответить витиевато.

- Ты из садовников? - услышал он после короткого молчания снисходительный голос.

- Все знает и видит мой господин, - как Ра, который его подарил. Из его садовников самый последний.

На это - голос:

- Но зачем ты остаешься в саду в час заката, когда твои товарищи уже отдыхают от трудов и едят свой хлеб?

Иосиф еще ниже опустил голову над руками.

- Господин мой, предводитель войск фараона, величайший из великих мужей стран! -

сказал он молитвенно. - Ты подобен Ра, который странствует по небу на своем струге со своими окольными. Ты кормило Египта, и ладья царства повинуется твоей воле. Ты - первое лицо после Тота, что творит суд, невзирая на лица. Оплот бедных, да будет дарована мне твоя милость, как сытость голодному. Подобно платью, что прикрывает наготу, пусть будет даровано мне твое прощение: не взыщи, что, ухаживая за твоими деревьями, я замешкался до того часа, когда ты выходишь в сад, и оскорбил твой взор своим присутствием!

Молчание. Возможно, что Петепра обернулся к сопровождавшим его слугам, удивляясь этой искусной речи, произнесенной хоть и с дикарским еще выговором, но ловко и гладко, несколько скованной, правда, обычными условностями, но все же проникновенной. Иосиф не видел, глядит ли он на своих провожатых, но надеялся на это и ждал. Прислушавшись, можно было определить, что друг фараона тихонько усмехнулся, когда ответил:

- Усердная служба и сверхурочное прилежание в трудах для дома не могут разгневать его хозяина. Не бойся! Ты, значит, усердно работаешь и любишь свое ремесло?

Тут Иосиф счел приличным поднять голову и глаза. Черные и глубокие глаза Рахили встретились на довольно большой высоте с другими, светло-карими, мягкими и немного печальными глазами, которые хоть и сквозь гордую поволоку, но с добродушной пытливостью глядели в них из-за длинных ресниц. Большой, жирный, в тончайшей одежде, Потифар стоял перед ним, положив одну руку на особую опорную рукоять своего высокого посоха, находившуюся чуть ниже хрустального набалдашника, и держа в другой жезл с сосновой шишкой и мухогонку. Пестрый фаянс его воротника подражал своим узором цветам. Его голени были защищены кожаными поножами. Из кожи равным образом, а также из луба и бронзы были и сандалии, на которых он стоял; их завязки проходили между большим и вторым пальцами. Изящно вылепленная его голова, на лоб которой свисал с темени свежий цветок лотоса, наклонилась в ожидании ответа к Иосифу.

- Как же мне, великий мой господин, - отвечал тот, - не любить ремесло садовника и не усердствовать в нем, если оно любезно богам и людям, а работа мотыки превосходит по красоте работу плуга, а также многие другие работы, если не почти все? Она любит умельцев, и в древности ею занимались лишь избранные. Разве не был Ишуллану садовником одного великого бога и разве не взирала на него благосклонно сама дочь Сина, ибо он каждодневно приносил ей цветы, и поэтому ее жертвенник воссиял? Я знаю о ребенке, которого она посадила в корзинку из камыша, после чего поток отнес его к водочерпию Акки, а тот обучил мальчика тонкому искусству садоводства, и садовнику Шарук-ину Иштар подарила свою любовь и царство в придачу. Я знаю еще одного великого царя, Урраимитти из Исина, он в шутку поменялся местами со своим садовником Эллил-бани и посадил его на свой престол. И что же? Эллил-бани остался сидеть на престоле и сам стал царем.

- Скажи на милость! - воскликнул Петепра и, усмехаясь, снова взглянул на управляющего Монт-кау, который со смущенным видом закачал головой.

С таким же видом закачали головами писцы, а особенно карлик Дуду, и только маленький Боголюб Шепсес-Бес одобрительно закивал головой во всю свою мочь.

- Откуда ты знаешь все эти истории? Ты из Кардуниаша? - спросил царедворец по-аккадски, ибо так он именовал Вавилонию.

- Там родила меня моя мать, - отвечал Иосиф также на языке Вавилона. Но в стране Захи,

в одной из долин Канаана, возле стад своего отца вырос тот, кто тебе принадлежит, господин.

- Да? - рассеянно спросил Потифар. Ему доставляло удовольствие говорить по-вавилонски, и поэтическая интонация ответа, какая-то неясная многозначительность, скрытая в словах "возле стад своего отца", очаровала его - и в то же время смутила. Барское опасение придать своими расспросами излишнюю интимность беседе и услышать то, что его никак не касается, боролось в нем с уже разбуженным любопытством, с желанием услышать еще что-нибудь из этих уст.

- Ты, однако, недурно, - сказал он, - говоришь на языке царя Кадашманхарбе. - И, переходя на египетский: - От кого ты узнал эти предания?

- Я читал их, господин мой, со старшим рабом моего отца.

- Как, ты умеешь читать? - спросил Петепра, довольный, что он может этому удивиться; ибо об отце и о том, что у него был старший раб, а значит, и вообще рабы, он и знать не хотел.

Иосиф скорее опустил, чем склонил голову, так, словно он признавал свою вину.

- И писать тоже?

Голова опустилась еще ниже.

- За какой же работой, - спросил Потифар, немного помедлив, - ты здесь замешкался?

- Я подсаживал цветы, господин мой.

- Да? А это, у тебя за спиной, какое дерево - женское или мужское?

- Это плодоносное дерево, господин мой, и оно даст плоды. А каким его считать - женским или мужским, - толком не выяснено, и у людей существуют на этот счет разные мнения. В Египте плодоносные деревья называют мужскими. Но мне приходилось говорить с жителями островов моря, Алашии-Крита, и у них женскими считаются плодоносные деревья, а мужскими неплодоносные, холостые, у которых есть только пыльца.

- Стало быть, плодоносное, - коротко сказал военачальник. - А сколько ему лет? - спросил он, ибо такой разговор мог иметь целью только проверку профессиональных знаний допрашиваемого.

- Оно цветет уже десять лет, о господин, - улыбнувшись, ответил Иосиф, ответил не без воодушевления, которое было отчасти искренним (ибо он знал толк в деревьях), отчасти же казалось ему полезным. - А семнадцать лет назад посадили росток. Через два или три года оно - именно "оно", а не "она" и не "он" - достигнет самой высокой своей плодоносности. Но уже и теперь оно ежегодно приносит тебе около двухсот гин отменных, янтарного цвета плодов чудесной красоты и величины, если, конечно, не полагаться на ветер, а поручить опыление рукам человеческим. Это одно из прекраснейших твоих деревьев, - сказал он, давая волю своему воодушевлению, и положил руку на стройный, столпоподобный ствол, - по-мужски гордое своей силой и высотой, так что хочется согласиться с людьми Египта и с их определением, но в то же время по-женски плодовитое, так что можно понять и жителей островов. Короче говоря, это божественное дерево, если ты позволишь своему слуге соединить в одном слове то,

что разделено устами людей.

- Ишь ты, - с насмешливым любопытством сказал Петепра, - значит, о делах божественных ты можешь тоже кое-что мне рассказать? Ты, наверно, с детства привык молиться деревьям?

- Нет, господин мой. Под деревьями - да, но не деревьям. Впрочем, к деревьям мы питаем почтение, ибо в них есть что-то священное, и говорят, будто они старше самой земли. Твой раб слышал о дереве жизни, в котором нашлась сила сотворить все, что существует на свете. А какого пола эта всетворная сила - мужского или женского? Возьмем художников Менфе и здешних ваятелей фараона, творящих изображения и наполняющих мир прекрасными образами - какого пола сила, благодаря которой они это делают - мужского или женского, она бросает семя или родит? Этого нельзя решить, ибо она двойка, и древо жизни было, по всей вероятности, однодомным растением, двуполым, как большинство деревьев и как солнечный жук Хепра, родящий себя самого. Мир разделен на два пола, мы говорим о мужском и женском начале и даже расходимся в их определении, и поэтому народы спорят, какое дерево считать мужским - плодоносное или неплодоносное. Но основа мира и древо жизни принадлежат не к мужскому полу и не к женскому, а к тому и другому сразу. Но что значит - и к тому и другому? Это значит ни к тому, ни к другому. Они девственны, как бородатая богиня, и являются одновременно отцом и матерью сущего, ибо они выше пола к плодовице их целомудрие не имеет ничего общего с половой рознью.

Потифар молчал, опершись башнеобразной громадой своего тела на прекрасный свой посох, и глядел в землю, под ноги испытуемого. Он чувствовал в лице, в груди и во всех своих членах какое-то тепло, какое-то легкое волнение, которое приковывало его к этому месту и не хотело, чтобы он двинулся дальше, хотя он, при всей своей светской ловкости, не знал, как продолжать такой разговор. Если из барской робости он не стал вникать в личные обстоятельства какого-то раба, то теперь, уже по робости другого рода, эта беседа показалась ему рискованной из-за направления, какое она приняла. Он вполне мог бы удалиться, а молодой чужеземец остался бы стоять у своего дерева; но он не смел, не находил в себе силы так поступить. Он колебался, и в его колебания вторгся степенный голос коротышки Дуду, супруга Цесет, который счел нужным напомнить:

- Не продолжить ли тебе, великий наш господин, свой путь и не повернуть ли к дому? Огни неба уже догорают, и того и гляди, из пустыни повеет холодом. Не подхватить бы тебе насморк, ибо ты без плаща.

К досаде Дуду, носитель опахала пропустил его слова мимо ушей. Тепло в голове сделало его глухим к разумным речам. Он сказал:

- Вдумчивый же ты, однако, садовник, юноша из Канаана.

И, не в силах отвязаться от выражения, которое так запомнилось ему своим звучанием и смыслом, он спросил:

- И много их было - стад твоего отца?

- Очень много. Земля была для них почти что непоместительна.

- Значит, твой отец жил беззаботно?

- Кроме заботы о боге, у него не было забот, господин.

- А что такое забота о боге?

- Она распространена во всем мире, о господин. С большим или с меньшим счастьем, с большей или с меньшей удачей ей предаются все люди на свете. Но на людей моего племени она была возложена с особенно давних пор, и поэтому моего отца, царя стад, называли также князем от бога.

- Ты именуешь его даже царем и князем! Значит, дни детства ты прожил в полном благополучии?

- Твой раб, - отвечал Иосиф, - вправе сказать, что в дни детства он умащался елеем радости и жил в почете и достатке. Ибо отец любил его больше, чем его собратьев, и обогащал его дарами своей любви. Так, он подарил сыну один священный наряд с вытканными на нем светилами и высокими знаками, - это было платье обмана, одеяние замены, оно осталось от матери, и сын носил его вместо нее. Но оно было растерзано зубами зависти.

Потифар не думал, что тот лжет. Обращенный в прошлое взгляд юноши, проникновенность его речи свидетельствовали о противном. Некоторую туманность его выражений можно было отнести на счет его иноземности, а кроме того, она явно таила в себе зерно подлинности.

- Как же ты попал... - сказал было носитель опахала, но ему хотелось выразиться помягче, и он спросил: - Как же из твоего прошлого получилось твое настоящее?

- Я умер для прежней жизни, - ответил Иосиф, - и у тебя на службе мне была дарована новая жизнь, господин. Зачем мне утруждать твой слух подробностями моей истории и остановками на моем пути? Я назвал бы себя человеком скорби и радости. Осыпанный дарами был ввергнут в пустыню и горе, похищен и продан. Он вдоволь хлебнул горя после блаженства, его пищей были страданье и скорбь. Ибо его братья послали ему вслед свою ненависть и поставили силки, чтобы его поймать. Они выкопали яму перед его ногами и бросили его жизнь в яму, где его обителью была темнота.

- Ты говоришь о себе?

- О последнем из твоих рабов, господин. Он три дня пролежал связанный в дольном жилище и уже поистине засмердел; ибо, подобно овце, он вымарался в собственных испражнениях. Но путники, кроткие души, вытащили его по доброте сердечной из пропасти. Они накормили новорожденного молоком и прикрыли одеждой его наготу. А затем они привели его к твоему дому, о Акки, и ты, великий водочерпий, сделал его по доброте сердечной своим садовником и помощником ветра при деревьях своего сада. Поэтому его второе рождение можно считать таким же чудом, как и первое.

- Как и первое?

- Господин, от смущения твой слуга провинился в обмолвке. Мой язык не хотел сказать того, что сказал.

- Но ты сказал, что твое рождение было чудом?

- Это, великий мой господин, сорвалось у меня с языка, потому что я стою перед тобой. Мое рождение было девственным.

- Как это может быть?

- Мать моя, - сказал Иосиф, - была миловидна, Хатхор запечатлела на ее челе поцелуй миловидности. Но тело ее не отверзалось многие годы, так что она уже отчаялась стать матерью и никто из людей не надеялся увидеть плод ее миловидности. Однако по истечении двенадцати лет она зачала и, когда на востоке восходило созвездие Девы, родила первенца в сверхъестественных муках.

- Ты называешь такое рождение девственным?

- Нет, господин мой, если это тебе не угодно.

- Нельзя утверждать, что эта мать родила девственно только на том основании, что роды ее происходили под знаком Девы.

- Не только на этом основании, о господин мой. Нужно принять в расчет и другие обстоятельства - поцелуй миловидности и то, что многие годы тело этой божественной девы не отверзалось. Все это вместе с созвездием Девы дает уже достаточно оснований для моего утверждения.

- Но ведь девственных рождений не бывает на свете.

- Нет, господин мой, коль скоро ты это говоришь.

- А разве, по-твоему, такие случаи встречаются в мире?

- Тысячами, господин мой! - радостно воскликнул Иосиф. - Они тысячами встречаются в мире, который разделен на два пола, и вселенная полна возвышающихся над этой рознью зачатий и родов. Разве не луч луны благословляет тело той стельной коровы, что родит Хапи? Разве не учит нас древнее поверье, что пчела сотворена из листьев деревьев? Или возьми опять же деревья, питомцев твоего слуги, и их тайну: здесь природа играет принадлежностью к полу, то вовсе не различая, то прихотливо распределяя ее между ними, один раз так, а другой раз иначе, так что никто не знает, какого они пола, да и принадлежат ли они к какому-либо полу вообще, и люди держатся разных мнений на этот счет. Ведь деревья часто продолжают свой род и без участия пола - не через опыление и зачатие, а отводками и отростками или же саженцами, и садовники, кстати, сажают побеги, а не зерна пальмы, чтобы знать, какое получится дерево - плодоносное или неплодоносное. Но и при половом размножении пыльца и зачатие бывают порою сосредоточены в одном цветке, порою же распределены между цветками одного и того же дерева, а иногда между разными, плодоносными и неплодоносными, деревьями сада, и дело ветра - переносить семя с цветка пыльцы на цветок зачатия. А разве это, если разобраться, настоящее половое оплодотворение? Не родственно ли то, что делает ветер, оплодотворению коровы лучом луны, не является ли это уже переходом к более высокому оплодотворению и к девственному зачатию?

- Оплодотворяет не ветер, - сказал Потифар.

- Не говори этого, великий мой господин! Я слышал, что ласковое дуновение зефира иной раз оплодотворяет птиц задолго до запретной для охоты поры. Ибо это дуновение духа божьего, и ветер есть дух, и если о художниках Птаха, которые наполняют мир прекрасными изображениями, никто не может сказать, плодovitы ли они как мужчины или как женщины, ибо плодovitость эта двуполоая и бесполоая, то есть девственная, то и сам мир полон бесполоых оплодотворений и зачатий от дуновения духа. Бог - отец и творец мира и всего сущего не потому, что они рождаются от семени. Иной силой вложил Предвечный в материю то плодородное начало, которое видоизменяет и размножает ее.

Все многообразие вещей существовало сначала в помыслах бога, и творец этого многообразия - слово, несомое дуновением духа.

Такие занятные сцены никогда еще не разыгрывались ни в доме, ни во дворе египтянина. Потифар стоял, опершись на посох, и слушал. Тонкие черты его лица отражали борьбу терпимой насмешливости, которую он в угоду приличиям старался изобразить, с некоей удовлетворенностью, достаточно полной, чтобы назвать ее радостью, даже счастьем, - настолько, в сущности, полной, что вряд ли следовало бы и говорить о какой бы то ни было борьбе с иронией, ибо победа благодарной удовлетворенности была явно предрешена... Рядом с ним стоял остробородый Монт-кау, управляющий, и смущенно, недоверчиво, благодарно, с признательностью, походившей уже скорей на восторг, глядел своими маленькими, покрасневшими, припухшими снизу глазами в говорящее лицо купленного им раба - этого мальчика, который делал нечто такое, что его самого, управляющего, научила делать его верность слуги, его любовь к своему благородному господину, но только делал это куда более возвышенным, нежным и действенным образом... А за Монт-кау стоял Дуду, супруг Цесет, оскорбленный глухотой господина к его словам, но не осмеливавшийся при виде такого внимания к этому молодому рабу вмешаться вторично и прекратить беседу, в которой этот болван явно добился большого успеха, - и добился к его, карлика-супруга, невыгоде. Ибо ему казалось, что бесстыдные и неуместные речи этого раба, столь жадно впиваемые хозяином, наносят какой-то урон его, карлика, достоинству и обесценивают то, что составляло надежную гордость его жизни и его преимущество перед некоторыми как маленькими, так и большими людьми... Если уж речь зашла о маленьких, то здесь был еще сморчок Боголюб, взволнованный и восхищенный успехом своего подопечного, предельно довольный ловкостью, с какой тот воспользовался минуткой и доказал, что он, карлик, недаром за него ратовал... Еще стояли здесь два писца; ничего подобного они никогда не видали, но пытливый взгляд на лица хозяина и управляющего, а также собственные впечатления не дали им повода для смеха. А у своего дерева, перед этими слушателями, с улыбкой на устах, стоял Иосиф и витийствовал самым очаровательным образом. Он давно уже отказался от рабьей позы, которая его поначалу сковывала, и стоял с приятно непринужденным видом, по-ораторски сопровождая умелыми жестами свои рассуждения о дуновении духа и о высшем зачатъе, лившиеся из его уст плавно и без усилий, с веселой серьезностью. Совсем так же стоял он в темнеющей колоннаде этого сада, как стоит в храме вдохновенное небо дитя, которому бог, прославляя себя его устами, развязывает язык, чтобы оно вещало и поучало на диво учителям.

- Бог единичен, - продолжал он радостно, - но божественное не единично, и не единично в мире плодovitое целомудрие, непричастное ни к мужскому, ни к женскому полу, ибо оно выше пола и не имеет ничего общего с половой рознью. Позволь мне, поскольку я перед тобою стою, господин, произнести краткое похвальное слово подобному целомудрию! Ибо глаза мои открылись во сне, и я увидел благословенный дом, богохранимое надворье в далекой стране, жилые постройки, амбары, сады, поля и мастерские, людей и скот без числа. Там царили рачительность и удача, люди вовремя сеяли и вовремя жали, маслобойные мельницы не стояли без дела, из давяльных чанов струилось вино, из сосцов жирное молоко, а из восковых сотов сладкое золото. Но благодаря кому все это ладилось, вершилось и процветало? Благодаря главному хозяину, который всем владел! Стоило ему глазом моргнуть - и все повиновались ему, его вдох был законом, его выдох приказом. Он говорил человеку; "Иди!" - и тот шел, - он говорил ему: "Сделай!" - и тот делал. А без него все остановилось бы, замерло и заглохло. Вся челядь кормилась его щедротами и славилась его имя. Отцом и матерью был он хозяйству и дому, ибо взор его глаза был подобен лучу луны, от которого зачинает родящая бога корова, дуновение слова его походило на ветер, что переносит пыльцу от дерева к дереву, а всякий почин и всякий успех вытекали из лона его естества, как золото меда из сотов. Вот какой сон о плодovitом целомудрии приснился мне далеко отсюда, вот как узнал я, что на свете есть

иная, не земного свойства и пола, не плотская, а божественная духовная плодотворность. Я сказал уже, что народы спорят о том, какое дерево назвать мужским, плодоносное или опыляющее, и говорят об этом по-разному. А почему они говорят об этом по-разному? Потому что слово - это дух и потому что спорными вещи становятся в духе. Я видел одного человека - господин мой, он был ужасен мощью своего тела и страшен силой плоти своей, это был великан, сын Энака, и душа его была жестка, как воловья кожа. Он ходил на льва, бил тура, крокодила и носорога и всех их всегда побеждал. И если, бывало, спрашивали его: "Неужели у тебя нет страха?", он отвечал: "А что это такое - страх?" Ибо он не знал страха. Но видел я на свете и другого сына человеческого, душой он был нежен так же, как плотью, и страх был ему куда как знаком. И вот он взял щит и копье и сказал: "Ну-ка, страх мой, попробуй-ка подступись!" И уложил льва, тура, крокодила и носорога. Так вот, если бы ты, господин мой, пожелал испытать своего раба и вздумал спросить его, которого из этих двух следовало бы скорее назвать мужчиной, - бог, может быть, и подсказал бы мне верный ответ.

Потифар стоял, опершись на высокий свой посох и немного наклонившись вперед; по голове и по всему его телу разливалось приятное тепло. Говорили, что такое блаженное чувство испытывают люди, которым, в образе странника, нищего или какого-нибудь родственника или знакомого, является бог, чтобы вести с ними беседы. Это чувство будто бы и помогало им узнать бога или хотя бы проникнуться таким счастливым подозрением. Своеобразное блаженство, их охватывавшее, указывало этим людям, что хотя их собеседник - действительно странник, нищий, действительно тот или иной их знакомый или родственник и что хотя здравый смысл велит считаться с этой действительностью и вести себя соответственно, нужно все же - именно ввиду столь поразительного блаженства - не забывать и о других, одновременно открывающихся возможностях. Одновременность - это природа и форма бытия всех вещей, действительности закутаны одна в другую, и нищий отнюдь не перестает быть нищим от того, что в нем, может быть, скрывается бог. Разве Нил не бог, имеющий облик быка или венценосного женомужа с двойственной грудью, разве он не создал эту страну и не кормит ее? Но это не исключает делового отношения к его воде, такого же трезвого, как она сама: ее пьют, по ней плавают на судах, в ней стирают холсты, и только блаженство, испытываемое тобою, когда ты пьешь ее или купаешься в ней, равнозначно напоминанию о более возвышенном к ней отношении. Граница между земным и небесным зыбка, и стоит только остановить взгляд на каком-либо явлении, как оно уже начинает двоиться. Кроме того, существуют начальные и промежуточные ступени божественного, наметки, половинчатые и переходные формы. Хотя в рассказе этого юноши о его прежней жизни было много знакомого, хотя в нем было много лукавых напоминаний, походивших до известной степени на литературные реминисценции, трудно было сказать, что тут шло от произвольной подтасовки фактов и что от самой действительности - а эти черты и были свойственны жизни полубожественных благодетелей, приносивших исцеление, утешавших или спасавших. Юный садовник знал эти черты; он духовно овладел ими и сумел приспособить к ним личные свои задатки. Это могло быть заслугой его живого ума; но поразительное чувство блаженства, овладевшее Потифаром, свидетельствовало о том, что и обстоятельства, со своей стороны, по меньшей мере помогли Иосифу. Потифар сказал:

- Итак, друг мой, я тебя испытал, и ты недурно выдержал испытание. Однако, - добавил он поучающе, с дружеской назидательностью, - нельзя говорить о девственном рождении только на том основании, что роды проходили под знаком Девы. Запомни это.

Он сказал это в угоду здравому смыслу, считаясь с практической стороной представшей ему действительности, как бы затем, чтобы не дать богу заметить, что он узнал его.

- Отдохни же теперь от дневных трудов со своими товарищами, - сказал он, - а с новым

солнцем примись опять за службу при моих деревьях.

И с улыбкой на раздумывавшемся лице он уже повернулся, чтобы уйти, но, сделав каких-нибудь два шага, еще раз остановил своих окольных, которые следовали за ним по пятам, так как остановился сам, и, чтобы не возвращаться, подзвал к себе Иосифа кивком головы.

- Как тебя зовут? - спросил он. Ибо он забыл об этом спросить.

Не преминув предослать своему ответу паузу, которую никак нельзя было объяснить тем, что он задумался, Иосиф с серьезным видом поднял глаза и сказал:

- Озарсиф.

- Хорошо, - быстро и коротко ответил носитель опахала и торопливо зашагал дальше. Торопливыми были и его слова, когда он (это слышал и почти тотчас же передал Иосифу карлик Боголюб) бросил на ходу Монт-кау, своему управляющему:

- Этот слуга, которого я испытывал, на редкость умен. Думаю, что за деревьями ухаживают умелые руки. Но, пожалуй, не следует его так уж долго задерживать на этой работе.

- Ты сказал, - ответил Монт-кау, зная, что ему теперь делать.

## ИОСИФ ЗАКЛЮЧАЕТ СОЮЗ

Неспроста привели мы здесь, слово в слово, в точности как он протекал, со всеми его оборотами и поворотами, этот нигде больше не упоминаемый разговор. С него-то и началась знаменитая карьера Иосифа в Потифаровом доме; благодаря той встрече египтянин сделал его своим личным слугой, а впоследствии поставил его над домом своим и отдал на руки его все, что имел: отчет о ней, как резвый скакун, перенес нас в те семь лет, что привели сына Иакова к новой вершине жизни перед новым смертельным падением. Во время описанного испытания он доказал, что понял, как надо вести себя в этом благословенно-горестном доме, куда его продали, а именно - льстиво помогать друг другу и бережной услужливостью поддерживать его, дома, пустое достоинство. И доказал, что не только понял здешние требования, но и способен выполнять их ловчее и лучше, чем кто-либо.

Таков именно и был вывод Монт-кау, который признал, что своей невероятной ловкостью в услужливой лести Иосиф оставил его, управляющего, с его преданным радением о душе благородного господина далеко позади, признал без ревности и с радостью, прибавим мы, чтобы отдать должное его порядочности и существенному различию между услужливостью и угождением. По сути, не было даже нужды в хозяйском распоряжении, чтобы побудить управляющего тотчас же после сцены в саду вытащить купленного им раба из темноты низшей службы и открыть перед ним более светлые возможности. Ведь мы давно знаем, что до сих пор Монткау воздерживался от этого только из-за стыдливой робости перед чувствами, тайно смутившими его при первом взгляде на раба со свитком и весьма родственными ощущениям самого Потифара во время беседы с рабом-садовником.

Поэтому на следующий же день, не успел Иосиф после утреннего киселя вновь приступить к обязанностям подмастерья Хун-Анупа и помощника ветра, Монткау вызвал этого еврея к себе и объявил ему о решительных изменениях в его службе, которые счел нужным назвать запоздалыми и за задержку которых в известной мере упрекнул

Иосифа. Каковы, однако, люди и как любят они переворачивать все вверх ногами! Он сделал вид, что чуть ли не сердится, и сообщил новоназначенному о его счастье весьма странным образом, представив дело так, будто по вине Иосифа недопустимо затянулось какое-то неправомерное состояние.

Он принял его неподалеку от стойл, во дворе, между людской, гаремом и кухней.

- Наконец-то! - ответил он на приветствие Иосифа. - Хорошо, что ты, по крайней мере, приходишь, когда тебя зовут. Ты, наверно, думаешь, что так будет всегда и ты до скончания дней сможешь околачиваться среди деревьев? Как бы не так! Теперь мы поговорим по-другому, пора прекратить баловство. Будешь служить в доме - и все тут. Будешь прислуживать господам в столовом покое, подавать блюда и стоять позади кресла фараонова друга. Никто не спрашивает тебя, нравится это тебе или нет. Ты достаточно долго занимался пустяками и уваливал от высших обязанностей. На кого ты похож? Все тело и вся одежда в древесной коре и в пыли сада! Ступай и приведи себя в порядок! Получи в кладовой серебристый набедренный слуг стола, а у цветоводов приличный венок для волос - или, по-твоему, стоять за креслом Петепра можно и без этого?

- Я не думал, что смогу там стоять, - ответил Иосиф тихо.

- Вот именно, мало ли что ты думал. И еще приготовься: после трапезы, испытания ради, ты считаешь господину из свитков, прежде чем он уснет, это будет в северной колонной палате, где всегда прохладно. Надеюсь, ты сделаешь это сносно?

- Тот мне поможет, - позволил себе ответить Иосиф, уповая на снисходительность того, кто удалил его в Египет, и действуя по правилу; "С волками жить - по-волчьи выть". - А кто читал господину до сих пор?

- До сих пор? Аменемуйе, воспитанник книгохранилища. Почему ты об этом спрашиваешь?

- Потому что, клянусь Сокрытым, я не хотел бы никому перебивать дорогу, - сказал Иосиф, - и не хотел бы обидеть человека, отняв у него дело его чести.

Монт-кау очень порадовала такая неожиданная щепетильность. Со вчерашнего дня - если только со вчерашнего дня - он предчувствовал, что способности молодого человека позволят ему пойти весьма далеко, соревнуясь за должности в этом доме, дальше, чем тот сам предполагал, и уж гораздо дальше места чтеца, с которого он теперь вытеснял Аменемуйе; поэтому такая деликатность была ему приятна, хоть он и принадлежал к людям рувимовского толка, которые видят счастье и честь своей души в том, чтобы быть "справедливыми и честными", иными словами, в том, чтобы радостно подчинять свои намерения, даже в ущерб себе, намерениям высших сил. К такой радости и к такой чести Монт-кау стремился по самой природе своей - может быть, потому, что он был не вполне здоров и у него часто ныла почка. Тем не менее, повторяем, заботливость Иосифа пришлась ему по душе, и он сказал:

- Мне кажется, ты слишком предупредителен для своего положения. О чести и об устройстве Аменемуйе предоставь уж заботиться ему самому и мне! К тому же такая предупредительность - обратная сторона нескромности. Повинуйся приказу, и дело с концом.

- Это приказал великий господин?

- Выполняй то, что тебе приказал управляющий. А что я тебе сейчас приказал?

- Пойти привести себя в порядок.

- Вот и ступай!

Иосиф поклонился и сделал несколько шагов вспять.

- Озарсиф! - сказал управляющий более мягким голосом, и тот снова приблизился к нему.

Монт-кау положил руку ему на плечо.

- Ты любишь господина? - спросил он, и маленькие его глазки с толстыми слезными мешками пытливо и с болью заглянули в лицо Иосифу.

Странно волнующий, связанный со столькими воспоминаниями вопрос, знакомый Иосифу с детства! Так спрашивал Иаков, посадив к себе на колени своего любимца, и так же пытливо, с такой же болью заглядывали в лицо ребенка его карие, с нежными припухлостями железок глаза. И проданный в рабство невольно ответил формулой, которая была уместна в этом всегда повторяющемся случае и предопределенность которой не нанесла ущерба ее внутренней жизни:

- Всей душой, всем сердцем и всеми помыслами.

Управляющий кивнул так же удовлетворенно, как некогда Иаков.

- Это хорошо, - сказал он. - Он добр и велик. Ты говорил с ним вчера в саду самым похвальным образом, не всякий бы так сумел. Я увидел, что ты способен на большее, чем прощаться на сон грядущий. Были у тебя, правда, и ошибки: ты, например, назвал свое рождение девственным только потому, что оно случилось под знаком Девы, но это можно объяснить твоей молодостью. Боги дали тебе тонкие мысли и развязали тебе язык, чтобы высказывать их ладно и складно. Господину это понравилось, и ты будешь стоять за его креслом. Но кроме того, как мой ученик и подручный, ты будешь сопровождать меня во время моих обходов, чтобы освоиться в доме, на усадьбе и в поле, познакомиться с хозяйством и охватить его взглядом, а со временем стать и моим помощником, ибо у меня много забот и порою я чувствую себя не совсем хорошо. Ты доволен?

- Если я определенно никому не перебиваю дорогу, находясь за креслами господина и рядом с тобой, - сказал Иосиф, - то, конечно, я буду очень доволен и благодарен, хотя и не без некоторой робости. Ибо, признаться по совести, кто я такой и что я умею? По милости моего отца, царя стад, меня, правда, немного учили писать и говорить, но вообще-то я просто умащался елеем радости и не знаю ни одного ремесла - ни сапожного, ни клеильного, ни гончарного. Как же отважусь я ходить между теми, которые сидят и знают свое дело: один - одно, а другой - другое, и неужели у меня хватит наглости распоряжаться ими и за ними присматривать?

- А я, ты думаешь, умею сапожничать и клеить? - ответил Монт-кау. - Я не умею также делать горшки, кресла или гробы, в этом нет нужды, и никто от меня этого не требует, - и уж во всяком случае, не те, кто умеет. Ибо я другого происхождения и из другого теста, и у меня всеобъемлющая голова, отчего я и стал управляющим. Работники не спрашивают тебя, что ты умеешь, они спрашивают только, кто ты таков, ибо с этим связано другое умение - умение распоряжаться. Кто умеет так говорить с господином, как ты, у кого так складно облекаются в слова тонкие мысли, тот не должен сидеть и корпеть над чем-

нибудь одним, а должен расхаживать по всей усадьбе рядом со мной. Ибо власть и обобщение заключены в слове, а не в руке. Но может быть, по-твоему, я не прав и ты возразишь против моего мнения?

- Нет, великий управляющий. Я благодарно соглашаюсь с тобой.

- Вот это, Озарсиф, верное слово! Пусть же оно послужит мне и тебе, старику и молодому, порукой нашего согласия в служении нашему господину и в любви к благородному Петепра, военачальнику фараона. Служа ему, давай заключим друг с другом союз, которому каждый будет верен до самого своего конца, так что даже смерть старшего не расторгнет этого союза, ибо подобно тому как сын и преемник оправдывает и защищает отца, оставшийся в живых будет в союзе с мертвым оправдывать и защищать нашего благородного господина. Понятно ли и по сердцу ли это тебе? Или, может быть, тебе это кажется диким и странным?

- Нисколько, отец мой и управляющий, - отвечал Иосиф. - Для меня твои слова вполне приятны и вразумительны, ибо я издавна знаю, что такое союз, который заключают с господом и между собой, служа своей любви к господа, и с моей точки зрения это самая обычная и наименее странная вещь на свете. Клянусь головой своего отца и жизнью фараона - я твой союзник.

Купивший Иосифа все еще держал руку у него на плече и теперь пожал его руку другой рукой.

- Хорошо, Озарсиф, - сказал он, - хорошо. Ступай же и приведи себя в порядок, чтобы прислуживать и читать вслух господину. А когда он тебя отпустит, приходи ко мне, и я познакомлю тебя с хозяйством дома и научу надзирать и обобщать!

## РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. БЛАГОСЛОВЕННЫЙ

### ИОСИФ ПРИСЛУЖИВАЕТ И ЧИТАЕТ ВСЛУХ

Знаете ли вы, как улыбаются и опускают глаза люди низкого звания, когда, непонятным для них образом, на их взгляд несправедливо, возносят и повышают в чине какого-нибудь человека из их среды, с которым у них вот уж никак не связывалось таких ожиданий? Эти улыбки, эти переглядыванья, эти потупленные взоры, то смущенные, то ехидные, то завистливые, а то и снисходительные, пожалуй, даже восхищенные прихотью счастья и начальства, Иосиф замечал в ту пору изо дня в день: впервые заметил тогда в саду, когда сообщили, что его хочет видеть Монт-кау - из всех именно его, какого-то верхолаза, какого-то мальчишку, подсаживающего метелки, - а потом уже замечал на каждом шагу. Ибо теперь началось вознесенье, и притом очень многообразное вознесенье его главы: если он, как утверждает наша история, сделался приближенным Потифара и тот постепенно отдал весь свой дом на руки евреянина, - то все это было уже подготовлено и, как зародыш, заключено в словах Монт-кау, все это было заложено в них, как заложено в ростке медленно, долгие годы растущее дерево, и требовалось только время, чтобы все это развилось и свершилось.

Итак, Иосиф получил серебристый набедренник и венок, положенные слугам столовой палаты, и незачем говорить, что это убранство придало ему весьма привлекательный вид. Именно такой вид и должны были иметь рабы, допущенные прислуживать Петепра и его семье во время трапез; но этот сын миловидной выделялся среди них еще какой-то высшей, не сводившейся к простой миловидности красотой, в которой духовное и физическое начала соединялись и возвышали друг друга.

Ему было указано место позади кресла Петепра на помосте, но сначала - у каменной площадки в противоположной, узкой стороне комнаты, где стена была выложена каменными плитами и где стояли бронзовые кувшин и кружка. Когда члены сиятельной семьи входили в столовую, будь то из северного покоя или из западного, на этом, снабженном ступенькой возвышении, им поливали руки водой; обязанностью Иосифа было сливать воду на маленькие и белые, в перстнях с печатками и в кольцах с жуками руки Потифара и подавать ему благоуханное полотенце. Покуда господин вытирал руки, Иосиф должен был быстро пройти по циновкам и пестротканым половикам к подмосткам в противоположном конце комнаты, где стояли кресла хозяев - священных родителей с верхнего этажа, а также их сына и Мут-эм-энет, госпожи. Там он становился за креслом Потифара, дожидаясь хозяина и потчевал его кушаньями, которые подавали ему, Иосифу, другие слуги в серебристых набедренниках. Ибо сам Иосиф не бегал взад и вперед, принося и унося блюда, он только передавал то, что вносили другие, другу фараона, который, таким образом, принимал все, что выбирал и ел, из его рук.

Столовый покой был высок и светел, хотя дневной свет проникал сюда не непосредственно, а только из смежных помещений, особенно из западной наружной палаты, через семь имевшихся здесь дверей и через окна над ними, в которые были вставлены плиты из прозрачного, красиво просвечивавшего камня. Дневной свет усиливали очень белые стены с расписными фризами у столь же белого потолка, разлинованного голубыми балками, в которые упирались пестрые возглавья деревянных, окрашенных в голубой цвет и покоившихся на круглых подножьях колонн. Голубые колонны были изящным украшением, да и все в будничной столовой Потифара было изящно, красиво, отличалось веселой нарядностью и роскошеством: хозяйские кресла из черного дерева и слоновой кости, украшенные львиными головами и обложенные вышитыми пуховыми подушками, благородные светильники и треножники для курений у стен, вазы, сосуды для мирры, обвитые цветами кувшины с большими ручками на особых подставках и все другие предметы барского обихода, какими блистала эта палата. В середине ее находился довольно большой поставец, высоко, как жертвенник Амуна, уставленный кушаньями, которые передавались слугами-разносчиками слугам, непосредственно подающим, и которых было слишком много, чтобы вельможная четверка на помосте могла хотя бы с грехом пополам справиться со всеми этими жареными гусями, утками и говядиной, овощами, пирогами и хлебами, огурцами, дынями и сирийскими фруктами, разложенными самым соблазнительным образом. Среди блюд возвышалась золотая настольница, новогодний подарок фараона, изображавшая храм среди диковинных деревьев с обезьянами на ветвях.

Во время трапез в столовой раздавались только приглушенные звуки. Босые ноги слуг неслышно ступали по подстилкам, а беседа господ была, ввиду их взаимной почтительности, немногословной и тихой. Они предупредительно наклонялись один к другому, предлагали друг другу между переменах блюд понюхать цветок лотоса, подносили ко рту соседа то или иное лакомство, и нежная эта заботливость внушала тревогу. Кресла были расставлены попарно, с небольшим промежутком. Петепра сидел рядом с той, что его родила, а Мут, госпожа, рядом со старым Гуием. Не всегда показывалась она в том виде, в каком впервые явилась перед Иосифом во дворе, проплывая мимо него на носилках, - с посыпанными золотой пылью кудрями настоящих своих волос. Она часто носила спускавшийся ниже плеч парик, голубой, золотистый или русый, весь в мелких-премелких завитках, отороченный снизу сученой бахромкой и увенчанный плотно прилегавшей к нему диадемой. Прическа, немного похожая на головную повязку сфинкса, сердцевидно извивалась по белому лбу; с обеих сторон на щеки падало по несколько прядей или кистей, с одной из которых Мут-эм-энет иногда играла, своеобразно окаймлявших это и без того своеобразное лицо, где глаза никак не соответствовали рту, ибо они были строги, хмуры и малоподвижны, а рот извилист и странно углублен в уголках. Обнаженные, белые, словно бы художниками Птаха

высеченные и лощеные, прямо-таки божественные руки, которыми орудовала госпожа за едой, были на близком расстоянии не менее замечательны, чем издали.

Друг фараона ел своим изящным ртом весьма много, отдавая должное каждому блюду, ибо такая башня из плоти требовала и соответствующего подкрепления; кроме того, за любой трапезой приходилось многократно наполнять его кубок содержимым длинношеего кувшина, так как вино усиливало в нем, видимо, чувство собственного достоинства и веру в то, что он, несмотря ни на какие происки Гор-эм-хеба, самый настоящий военачальник. Госпожа, напротив, обхаживаемая своей изящной и тоже очень нарядной служанкой в тонком, как паутина, платье, под которым - не дай бог увидеть это отцу, Иакову! - на ней не было почти ничего, - Мут-эм-энет, напротив, ела без особой охоты, являясь в столовую, по-видимому, только обычая и порядка ради: она брала, например, жареную утку, откусывала, еле открыв рот, небольшой кусок от грудной части и бросала ее к обедкам... Что же касается священных родителей, которым прислуживали уже знакомые нам дурочки (ибо они терпеть не могли взрослой прислуги), то эти просто ворчали и брюзжали и сидели за трапезой только из приличия, так как им достаточно было двух-трех кусочков какого-нибудь овощного блюда или печенья, причем Гуий всегда беспокоился, как бы не взбунтовался его желудок и его, старика, не прошибло холодным потом... Иногда на ступеньке помоста, у ног хозяев, сидел и грыз что-нибудь Бес-эм-хеб, Боголюб, холостой карлик, хотя вообще-то он ел за лучшим людским столом, где кормились также сам Монт-кау, смотритель одежной Дуду, главный садовник Краснопузый и несколько писцов, одним словом - старшие слуги дома, и где вскоре стал кормиться Иосиф, именуемый Озарсифом слуга-хабир; и иногда этот потешный визирь забавно плясал в своем измятом наряде вокруг поставца. В дальнем углу покоя обычно сидел старик-арфист, который медленно перебирал струны узловатыми пальцами и что-то невнятно напевал. Он был слеп, как полагалось певцу, и немного умел предсказывать будущее, но только с запинками и неточно.

Вот как проходили повседневные трапезы Петепра. Телохранитель часто бывал у фараона во дворце Мерима'т, на другом берегу реки, или же сопровождал бога, когда тот на царском своем струге направлялся вверх или вниз по Нилу для осмотра каменоломен, рудников и построек на суше и на воде. В такие дни застольная служба отменялась, и голубой покой пустовал. Если же господин бывал дома, то по окончании полуденной трапезы с ее многочисленными изъявлениями взаимной нежности, когда священные родители, с помощью своих прислужниц, ковыляли на верхний этаж, а их невестка, схимница луны, либо уходила в покой, отведенный ей в главном здании и отделенный от спальни ее супруга северной колонной палатой, либо на львиных своих носилках и в окружении слуг удалялась в Дом Замкнутых, Иосиф следовал за Потифаром в одну из соседних комнат, представлявших собой просторные помещения с расписными полупроемами в трех стенах и с легкими колоннами вместо четвертой, передней: в северную, что переходила в столовую и приемную широкой своей стороной, или в западную, еще более красивую, так как из нее открывался вид на сад, на деревья сада и на возвышение беседки. Зато у северной комнаты было то преимущество, что оттуда господин мог видеть хозяйственный двор, амбары и стойла. К тому же она была прохладнее.

И там и здесь имелись великолепные вещи, которые Иосиф разглядывал с той смесью восторга и насмешливого сомнения, какую всегда вызывала в нем высокая культура земли Египетской: то были милостивые дары фараона своему числящемуся полководцем слуге, вроде той золотой настольницы в трапезной, расставленные по ларям и по полкам и развешанные по стенам, - маленькие статуи из серебра и золота или из черного дерева и слоновой кости, изображавшие все как одна царственного дарителя Неб-ма-ра-Аменхотпе, приземистого толстяка в различных украшениях, венцах и прическах; бронзовые финксы - опять-таки с головой этого бога; всяческие изваяния животных -

например, бегущее стадо слонов, сидящие павианы, газель с цветами в зубах; драгоценные сосуды, зеркала, опахала и плети; но прежде всего оружие, воинское оружие в большом количестве и всевозможных видов: топоры, кинжалы, чешуйчатая броня, обтянутые мехом щиты, луки и бронзовые серповидные мечи; и было удивительно, что фараон, хоть и преемник великих завоевателей, но сам уже отнюдь не воин, а предприимчивый строитель и богатый князь-миротворец, так подарил боевым снаряжением своего царедворца - этого рувимоподобного великана, который тоже, казалось, отнюдь не рвался топить в крови племена смолоедов и жителей песков.

Среди убранства этих покоев были также красивые, с резными изображениями, подставки для книг, и когда Потифар вытягивал громаду своего тела на изящном диванчике, казавшемся под его тяжестью особенно хрупким, Иосиф подходил к ним, чтобы предложить хозяину выбрать какой-нибудь свиток для чтения, например, приключения моряка с погибшего корабля на острове чудовищ; историю о царе Хуфу и Деди, который мог срastить с туловищем отрубленную голову; правдивую и подлинную историю о завоевании города Иоппе верховным военачальником его величества Менхапер-Ра-Тутмоса Третьего Тути, велевшим внести в город пятьсот воинов в мешках и корзинах; сказку о царском сыне, которому хатхоры предсказали, что он примет смерть от крокодила, змеи или собаки, - или еще что-нибудь. Выбор был велик. У Петепра было прекрасное, разностороннее собрание книг, размещенное на поставцах обеих палат и состоявшее отчасти из занимательных сказок, подобных "Войне кошек и гусей", отчасти же из сочинений диалектического характера, таких, как воинственно-резкая переписка между писцами Гори и Аменемоне, из религиозных и магических текстов и ученых трактатов на темном, искусственном языке, списков царей от эпохи богов до эпохи иноземных пастушьих владык с указанием времени правления каждого сына Солнца и летописью достопамятных событий, включая чрезвычайные повышения налогов и важнейшие годовщины. Были здесь также "Книга о дыхании", книга "О пути через вечность", книга "Да цветет имя" и ученая топография потустороннего мира.

Потифар знал все это назубок. Если он слушал, то только чтобы еще раз услышать знакомое, как слушают одну и ту же музыку. Такое отношение к книгам было вполне понятно, ибо в подавляющем большинстве этих сочинений содержание и фабула почти ничего не значили и весь упор делался на красоты слога, на изысканность оборотов речи. Иосиф, который либо сидел, подобрав под себя ноги, либо стоял на покоем на кафедре возвышении, читал превосходно: плавно, правильно, внешне непритязательно, со сдержанным драматизмом и столь естественно владея словом, что самые трудные, самые книжные места приобретали в его устах легкость импровизации и разговорную удобопроизносимость. Его чтение проникало в сердце слушателя, и нельзя понять его возвышения в глазах египтянина, возвышения, известного лишь самим своим фактом, упустив из виду эти часы чтений.

Часто, впрочем, Потифар вскоре задремывал, убаюканный этим ломким, но приятным голосом, который говорил с ним так ровно и так умно. Но часто Потифар бдительно вмешивался в чтение, поправляя выговор Иосифа, обращая и свое, и чтеца внимание на художественные достоинства какой-нибудь риторической прикрасы, подвергая услышанное литературной критике или же выясняя точный смысл какого-нибудь темного места вместе с Иосифом, чье остроумие и толковательский дар всегда его восхищали. Со временем обнаружилось личное пристрастие господина к определенным произведениям изящного искусства - например, его слабость к "Песне уставшего от жизни в похвалу смерти", которую он, по мере того как умножались дни чтения, то и дело приказывал читать вслух и где смерть однозвучно-тоскливо сравнивалась со множеством приятных и вызывающих нежность вещей: с выздоровлением после тяжелой болезни, с запахом мирры и лотосов, с сидением под навесом в ветреный день, с прохладным напитком на берегу, с "дорогой под дождем", с возвращением моряка на боевом корабле, с прибытием

в отчий дом после многих лет плена и с другими желанными ощущениями. Подобной всему этому, говорил поэт, видится ему смерть; и Потифар слушал его слова, слетавшие со старательных губ Иосифа, как слушают музыку, которую знают до мелочей.

Другим литературным произведением, его увлекавшим и потому часто читавшимся, было мрачное и жуткое предсказание губительного разлада в обеих странах и дикого безвластия в его итоге, ужасной всеохватывающей перемены, при которой бедные станут богатыми, а богатые - бедными, что будет сопровождаться запустением храмов и полным забвением службы богам. Почему, собственно, Петепра так любил слушать это пророчество, было неясно; возможно, что только из-за чувства ужаса, которое было приятно, поскольку богатые покамест еще были богаты, а бедные бедны, да и вообще все могло остаться по-прежнему, если только избегать беспорядка и приносить жертвы богам. На этот счет он не высказывался; не делал он никаких замечаний и по поводу "Песни уставшего от жизни", да и относительно так называемых "Утешительных песен" с их приторно-ласковыми словами и любовными сетованиями он тоже хранил молчание. Эти романсы говорили о муках и радостях влюбленной девочки-птичницы, тоскующей о юноше и страстно желающей стать его хозяйкой, чтобы его рука всегда покоилась на ее руке. Если он не придет к ней ночью, жаловалась она приторно-ласково, она уподобится лежащей в могиле, ибо он ее здоровье и ее жизнь. Но это было недоразумение, ибо он тоже слег в своей спальне и посрамил искусство врачей своей болезнью, которая была не чем иным, как любовью. А потом она нашла его на ложе, и больше они уже не терзали друг друга душу, а сделали друг друга первыми людьми в мире, идя рука об руку, с пылающими щеками, по цветущему саду своего счастья. Время от времени Петепра приказывал читать вслух это любовное воркование. В таких случаях лицо его оставалось неподвижным, а глаза, которыми он медленно обводил комнату, выражали холодную внимательность, и он никогда не высказывался об этих песнях будь то одобрительно или неодобрительно.

Но однажды, по прошествии уже многих дней, он спросил Иосифа, какого тот мнения об "Утешительных", и тогда впервые господин и слуга осторожно коснулись снова области того испытательного разговора в саду.

- Ты довольно хорошо, - сказал Потифар, - и словно бы устами самой птичницы и ее мальчика, читаешь мне эти песни. Они нравятся тебе, наверно, больше других?

- Мое стремление, - отвечал Иосиф, - угодить тебе, великий мой господин, независимо от предмета всегда одинаково.

- Возможно. Но, по-моему, такому стремлению помогают ум и сердце чтеца, иногда больше, иногда меньше. Не все предметы одинаково близки нам. Я не хочу сказать, что эту книгу ты читаешь лучше, чем прочие. Но это не мешает тебе читать ее охотней, чем прочие.

- Тебе, - сказал Иосиф, - тебе, господин мой, я читаю с одинаковой охотой решительно все.

- Отлично. Однако мне хотелось бы услышать твое мнение. По-твоему, эти песни красивы?

Лицо Иосифа приняло холодное, надменно-испытующее выражение.

- Да, довольно красивы, - сказал он, поморщившись. - Красивы, пожалуй, и приторно-нежны. Но, может быть, несколько простоваты, да, именно простоваты.

- Простоваты? Но ведь книга, совершенно выразившая простоту и прекрасно передавшая образец самых обычных человеческих отношений, будет жить века и тысячелетия. В

твоим возрасте можно уже судить, образцово ли передан в этих речах такой образец.

- Мне кажется, - помедлив, ответил Иосиф, - что в словах этой птичницы и занемогшего юноши образцовая простота довольно удачно передана и прочно запечатлена.

- Тебе это только кажется? - спросил носитель опахала. - А я-то рассчитывал на твой опыт. Ты юн и красив лицом. Но ты говоришь так, словно сам никогда не ходил с такой птичницей по цветущему саду.

- Юность и красота, - возразил Иосиф, - бывают и более строгим украшением, чем то, каким венчает детей человеческих упомянутый сад. Твой раб, господин, знает одно вечнозеленое растение, которое одновременно олицетворяет юность и красоту и служит украшением жертвы. Тот, кто носит его, сбережен, тот, кого оно украшает, оставлен в сохранности.

- Ты говоришь о мирте?

- О нем. Люди моего племени и я - мы называем его растением не-тронь-меня.

- Ты носишь этот цветок?

- Мое семя и мой род - мы носим его. Наш бог обручился с нами, он кровный наш суженый и очень ревнив, ибо он одинок и жаждет верности. А мы, как верная невеста, посвящены ему и сохранены для него.

- Как, вы все?

- Вообще-то все, господин мой. Но из друзей бога и старейшин нашего рода бог обычно выбирает одного, который должен с ним обручиться еще и особо, во всей красе своей освященной юности. Отец должен принести сына во всеожжение. Если он может, он делает это. Если не может, это делается без него.

- Мне неприятно, - сказал Потифар, ворочаясь на своем диване, слышать, что кому-то делают то, чего сам он не хочет и не может сделать. Лучше расскажи о чем-нибудь другом, Озарсиф!

- Я могу смягчить свои слова, - ответил Иосиф, - ибо и всеожжение предполагает некоторую снисходительность и уступчивость. Его требуют, но именно поэтому оно запрещено и считается грехом, и кровь сына заменяется кровью животного.

- Какое ты сейчас употребил слово? Считается... чем?

- Грехом, великий мой господин. Считается грехом.

- А что такое... грех?

- Именно это, мой повелитель, - затребованное, но в то же время запретное, приказанное, но в то же время заказанное под страхом проклятья. Пожалуй, только мы одни в мире и знаем, что это такое - грех.

- Нелегкое это, наверно, знание, Озарсиф, если грех так мучительно противоречив.

- Бог тоже страдает из-за нашего греха, и мы страдаем с ним вместе.

- А ходить в сад птичницы, - спросил Потифар, - это, как я начинаю догадываться, тоже, по-вашему, грех?

- Это имеет к нему близкое отношение, господня. Если ты спросишь меня напрямик, грех это или не грех, я отвечу: грех. Не могу сказать, что мы это так уж любим, хотя и мы, наверно, на худой конец могли бы сочинить песню, подобную "Утешительным". Не то чтобы этот сад был для нас настоящим Шеолом, я не хочу заходить слишком далеко. Он для нас не мерзок, но страшен, ибо это - царство демонов, область затребованного, но запретного, целиком открытая ревности бога. Два зверя лежат у входа в него: одного зовут "Стыд", другого "Вина". А из веток выглядывает и третий, чье имя "Глумливый смех".

- Теперь, - сказал Петепра, - я начинаю понимать, почему ты назвал простоватыми "Утешительные песни". Однако я никак не могу избавиться от мысли, что судьба рода, связывающего образцовую простоту с грехом и глумливым смехом, опасна и странна.

- Это, господин мой, имеет у нас свою историю и свое место во времени и преданиях. Образцовая простота изначальна, а потом дело идет к усложнению. Жил-был один человек, друг бога, он любил свою миловидную так же сильно, как бога, и все было образцово просто в отцовской этой истории. Но бог из ревности отнял ее у него и погрузил ее в смерть, откуда она вышла к отцу уже в ином облике - в облике юноши-сына, в котором он теперь и любил миловидную. Итак, смерть сделала из возлюбленной сына, и возлюбленная жила теперь в сыне, который был юношей только вследствие смерти. Но любовь отца к сыну была иной, видоизмененной смертью любовью, - любовью уже не в образе жизни, а в образе смерти. Господин мой, конечно же, согласится, что обстоятельства этой истории всячески усложнились и утратили свою образцовую простоту.

- А юноша-сын, - сказал Потифар, улыбнувшись, - был, наверно, тот самый, чье рождение ты поспешил объявить девственным только потому, что оно случилось под знаком Девы?

- Может быть, после того, что я сказал, господин, - ответил Иосиф, ты, по доброте своей, смягчишь или даже - кто знает! - милостиво возьмешь обратно этот упрек? Ведь если сын - юноша только вследствие смерти, если он мать в образе смерти, если он, как написано, вечером женщина, а утром мужчина, - то разве, посуди сам, у меня нет всех оснований говорить о девственности такого рождения? Бог избрал мое племя, и все носят жертвенное украшение суженой. Но один, сохраненный в угоду ревности, носит его еще дополнительно.

- Предоставим эти вещи самим себе, друг мой, - сказал телохранитель. За болтовней мы далеко ушли от простого к сложному. Если ты просишь об этом, я согласен смягчить и даже почти целиком взять назад свой упрек. А теперь почитай мне что-нибудь другое! Прочти мне о ночном путешествии Солнца по двенадцати домам подземного мира - я давно не слушал этой повести, хотя в ней, помнится, есть превосходные изречения и весьма изящные обороты.

И с большим вкусом Иосиф прочел о путешествии Солнца по преисподней. Голос чтеца и прекрасные слова, произнесенные этим голосом, поддержали в Потифаре то приятное чувство, каким наполнила его предшествующая беседа, как поддерживают пламя жертвенника, питая его снизу дровами, а сверху маслом, - приятное чувство, которое этот раб-еврей умел пробуждать в фараоновом друге снова и снова и которое было равнозначно доверию - будь то доверие к себе самому или к своему слуге. Все дело в этом двойном доверии, какое почувствовал Потифар к Иосифу, и в росте этого доверия, и потому-то мы сейчас и воспроизвели в точности еще вот эту беседу, которая, как и

испытание в пальмовом саду, даже не упоминается в прежних изложениях нашей истории.

Мы не можем привести все беседы, которые питали приятное чувство доверия, выросшее до степени той безусловной привязанности, что составила счастье Иосифа. Мы довольствуемся некоторыми яркими примерами, показывающими его метод "льстить", и, прислуживая, "помогать" своему господину согласно договору, заключенному относительно Потифара с добрым Монт-кау. Да, да, мы можем употребить слово "метод", не боясь холода, который от него, возможно, исходит, так как мы знаем, что в искусстве, с каким Иосиф обращался со своим господином, расчетливость и сердечность переходили одна в другую в точности так же, как в его отношении к одиноким существам высшего рода. Да и может ли сердечность вообще обойтись без расчета и умной техники, если дело идет о ее реализации - например, о возбуждении приятного чувства доверия? Люди редко доверяют друг другу; но у людей с потифаровскими телесными свойствами, у номинальных мужей номинальных жен, общее, неопределенно-ревнивое недоверие ко всем иносушным образует даже основу всей жизни, и поэтому ничто так не способно одарить их непривычным, а значит, тем более счастливым чувством доверия, как открытие, что тот или иной представитель ревнотворного человечества носит на волосах строгую зелень, утешительно лишаящую его тревожной обычности. Расчетливо и методично подвел Иосиф Потифара к такому открытию. Но если кто-нибудь считает нужным осудить за это Иосифа, то пусть он воспользуется тем преимуществом, что уже знает рассказываемую нами историю, и, забегаая вперед, вспомнит, что Иосиф не обманул добытого этим путем доверия, а сохранил подлинную верность ему под натиском искушения - согласно союзу, который он заключил с Монт-кау, поклявшись головой Иакова и еще жизнью фараона вдобавок.

#### ИОСИФ РАСТЕТ СЛОВНО У РОДНИКА

Итак, в свободные от службы при господине часы он вместе с управляющим, которого уже называл отцом, как его ученик и подручный, обходил хозяйство и, встречаемый повсюду улыбками и опущенными глазами, учился обобщать. Обычно Монт-кау сопровождали и другие служащие - например, писец буфетной Хамат и некий Менг-па-Ра, писец стойл и зверинцев. Однако это были люди заурядные, довольные тем, что они более или менее сносно справлялись с узким кругом прямых своих обязанностей и к удовлетворению управляющего содержали в порядке людей, животных, утварь, счета, но даже и мысленно не стремившиеся к чему-то более крупному, требующему всеохватывающего ума; вялые души, только и готовые записывать своими тростинками все, что прикажут, они вообще не думали, что могли быть рождены для власти и обобщения, для чего они именно поэтому и не были рождены. Надо только напасть на мысль, что бог уготовил тебе особую долю и что нужно ему помочь, и тогда душа напрягается, а разум приобретает должную силу, чтобы подчинить себе обстоятельства и стать их хозяином, хотя бы они и были так сложны, как положение в благословенном Потифаровом доме в городе Уазе, в Верхнем Египте.

Ибо оно было сложно, и если сначала Иосиф стал Потифару утешительно-незаменимым личным слугой, а потом тот отдал на руки его весь свой дом, то добиться второго было несравненно труднее, чем первого. Монт-кау, под чьим началом Иосиф вникнул в хозяйство, недаром сказал, что у него много забот: даже при очень хорошей всеохватывающей голове управлять этим хозяйством, а тем более человеку, который из-за больной почки чувствует себя порой не совсем хорошо, было довольно тяжело, и вполне понятно, что Монт-кау воспользовался удобным случаем обзавестись молодым помощником и подготовить себе замену, так как втайне он, конечно, давно уже об этом мечтал.

Петепра, друг фараона, начальник дворцовых войск и глава палачей (по званию), был очень богатым человеком, - богатым в куда большей мере, чем Иаков в Хевроне, и делался на глазах все богаче и богаче, ибо кроме того, что как царедворец он получал высокое жалованье и щедрые подарки царя, его хозяйство, которое было его наследством лишь в малой своей части, а в большей, особенно в отношении земельной собственности, являлось также милостивым подарком бога и к тому же постоянно пополнялось и питалось такими доходами, - его хозяйство приносило ему большую прибыль; он, однако, в него совершенно не вмешивался, заботясь исключительно о подкреплении своего огромного тела едой, своего мужского достоинства охотой в болотах, а своего ума - книгами и отдав все остальное на руки управляющего, в чьи отчеты, когда тот почтительно заставлял его их проверить, он лишь равнодушно заглядывал, говоря:

- Ладно, ладно, мой старый Монт-кау, все хорошо. Я знаю, ты любишь меня и делаешь свое дело в меру своего умения, а этого уже вполне достаточно, ибо умение твое велико. Верны ли сведения о пшенице и о мякине? Конечно, верны, я уже вижу. Я убежден, что ты надежен, как золото, и предан мне душой и телом. Да и может ли быть иначе? Иначе и быть не может, по самой природе твоей, ибо тебе было бы омерзительно меня обмануть. Из любви ко мне ты заботишься о моих делах, как о своих собственных, и я доверяюсь тебе, зная твою любовь и понимая, что ты не станешь вредить самому себе нерадивостью или каким-либо худшим пороком. Кроме того, это увидел бы Сокрытый, и позднее тебе достались бы только муки. Твой отчет верен. Возьми его, я благодарю тебя от души. У тебя нет уже ни жены, ни детей ради кого же ты станешь причинять мне убытки? Ради себя самого? Но ведь ты не вполне здоров - правда, тело твое сильно и волосато, но внутри оно с червоточинкой. Недаром ты часто желтеешь и у тебя увеличиваются мешки под глазами. Едва ли тебе придется сильно состариться. Так зачем же тебе подавлять свою любовь ко мне и меня надувать? Вообще-то я от души желаю, чтобы ты состарился у меня на службе, ибо не знаю, кому же еще я смогу доверять так, как тебе? Доволен ли твоим самочувствием лекарь Хун-Ануп? Дает ли он тебе надлежащие коренья и травы? Я в этом решительно ничего не смыслю, я здоров, хотя и не так волосат. Если он не сможет тебе помочь и тебе станет хуже, мы пошлем за лекарем в храм. Ибо хотя ты принадлежишь к сословию слуг и вообще-то тебя полагалось бы пользоваться Краснопузому, ты мне достаточно дорог, чтобы я пригласил к тебе ученого врача из книгохранилища, если этого потребует твое тело. Не благодари меня, друг мой, я сделаю это ради твоей любви и потому, что твои счета столь явно верны. Забери же их и впредь делай все в точности так же, как и доселе!

Вот что говорил в таких случаях Потифар управляющему. Ведь сам он не брался ни за какие дела - по барственной своей нежности, по ложности своего положения, заставлявшей его бояться практической жизни, а также из-за своей уверенности в том, что другие полны заботливой любви к нему, священному великану. Что тут он был прав, что управляющий действительно служил ему верой и правдой, непрестанно умножая его богатство своей рачительностью и бескорыстнейшей добросовестностью, это дело другое. Ну, а если бы все было иначе и самовластный домоправитель, наоборот, обирал его и довел его и всю семью до нищеты? Тогда Потифару пришлось бы пенять на самого себя, и его никак нельзя было бы не упрекнуть в ленивой доверчивости. Слишком уж полагался Потифар на бережную и умиленную преданность, которую все должны были выказывать такой священной и нежной особе, как царедворец Солнца, - от этой оценки мы не можем удержаться уже и сейчас.

Итак, он не брался ни за какие дела, а только и знал, что ел и пил; зато у Монт-кау было тем больше забот, что его собственные дела шли попутно и даже сплетались с делами его повелителя. Ибо то, что он получал в качестве платы за свою службу - зерно, хлебы, пиво, гусей, холсты и кожу, - он один, разумеется, не мог съесть или потребить и должен

был доставлять все это на рынок и обменивать на прочные ценности, умножая тем самым свое состояние. То же самое, только в большем объеме, происходило и с хозяйским добром - как собственного производства, так и прибывавшим извне.

Носитель опахала был одним из наиболее щедро одаряемых слуг фараона, и обильно сыпались на него сверхутешительные вознаграждения за его ложное, основанное на одних званиях бытие. Добрый бог ежегодно платил ему большими количествами золота, серебра и меди, одежды, пряжи, курений, воска, меда, масла, вина, овощей, зерна и льна, пойманных птицеловами птиц, крупного скота и гусей и даже кресел, носилок, зеркал, повозок и целых деревянных судов. Все это шло на нужды дома только частично - как, впрочем, и продукты собственного хозяйства, - изделия ремесленников и плоды поля и сада. Большая часть всего этого продавалась, отвозилась на судах вверх или вниз по реке на рынки и обменивалась у купцов на другие товары, а также на чеканный и нечеканный металл, наполнявший хозяйское казнохранилище. Эта торговля, столь неразрывно связанная с хозяйством в собственном смысле слова, то есть с производством и потреблением, нуждалась во всяческом учете и требовала обобщающего надзора.

Нужно было приготовить и распределить на суточные пайки довольствие работников и слуг: хлеб, пиво, овсяную и чечевичную похлебку в будни, гусей в праздники. Изо дня в день ставило свои требования в части снабжения и расчетов особое хозяйство гарема. Ремесленникам - пекарям, сандалящикам, клейщикам папируса, пивоварам, вязальщикам циновок, столярам и горшечникам, ткачихам и прядильщицам - нужно было отмеривать сырье, а их изделия, так же как и плоды деревьев и овощных гряд, частью распределять для насущных нужд, частью же отправлять в кладовые или на рынок. Ухода и пополнения требовали и животные Потифарова дома - лошади, которые возили хозяина, собаки и кошки, с которыми он охотился, - большие, дикие собаки для охоты в пустыне и тоже очень большие, похожие больше на ягуаров кошки, ходившие с ним на болотную птицу. Было на самой усадьбе и некоторое количество крупного рогатого скота; но большая часть Потифарова стада находилась в поле, на острове посреди реки, чуть ниже в сторону Дендеры и храма Хатхор; этот остров, подаренный ему в знак любви фараоном, имел пятьсот сажень пахотной земли, приносящих ему по двадцати мешков пшеницы и ячменя и по сорока корзин луку, чеснока, дынь, артишоков и бутылочных тыкв каждая, - прикиньте же, сколько добра давали пятьсот сажень и с какими заботами были сопряжены такие доходы! Имелся там, правда, и свой распорядитель, работник весьма умелый, писец урожая и начальник ячменя, переполняющий четверики и отмеривающий пшеницу своему господину, - так самодовольно, в стиле надгробных надписей, именовал себя этот человек; но это отнюдь не значило, что на него можно было целиком положиться; все оставалось на плечах Монт-кау: в конце концов счета, относившиеся к посеву и урожаю, проходили через его руки, точно так же как счета, относившиеся к маслостойкам, виноградным давальням, крупному и мелкому скоту - словом, ко всему, что производит, поглощает, вывозит и ввозит такой благословенный дом, и в конечном счете ему еще приходилось самому и присматривать за полевыми работами, так как тот, кому все это принадлежало, царедворец Потифар, по своей изнеженности и в силу ложного своего положения, не привык во что-либо вникать и за что-либо браться.

Вот как получилось, что в надлежащее время и при надлежащих обстоятельствах Иосиф все-таки попал в поле - и слава богу, что не в другое время и не при других обстоятельствах. Ибо попал он туда не в качестве барщинника, как то случилось бы, если бы победило консервативное мировоззрение карлика-супруга Дуду и молодого жителя песков тотчас же отправили бы туда, не дав ему поговорить с Потифаром, - нет, он появился там, как провожатый и подручный Монт-кау, как его ученик, постигающий мастерство обобщения, - он появился там с тростинками и писчей дощечкой; на парусном

струге с гребцами, среди окольных Монт-кау, спустился он по реке к островной житнице Потифара, и в пути управляющий сидел среди ковров своего шалаша так же торжественно-неподвижно, как те знатные путешественники, что скользили мимо Иосифа во время первого его плаванья, а сам он сидел позади управляющего с другими писцами. И все встречные узнавали этот струг и говорили друг другу:

- Это едет Монт-кау, домоправитель Петепра, и едет, как видно, с ревизией. Но кто же этот юноша, выделяющийся среди его провожатых чужеземной своей красотой?

Затем они вышли на берег и пошли по плодородному острову, проверяя посевы и урожай, осматривая скот и пугая того, кто "переполнял четверики", своим пронизательным видом; и тот, удивляясь юноше, которому управляющий все показывал и перед которым как бы даже, в свою очередь, отчитывался, предусмотрительно сгибался перед незнакомцем. А Иосиф, представив себе, как легко мог бы тот сделаться его начальником и надсмотрщиком, попади он в поле в неподходящее время, тихонько говорил распорядителю острова:

- Смотри, не переполняй четвериков так, чтобы самому поживиться! Мы это сразу заметим, и тогда тебя обратят в пепел!

Выражение "обратить в пепел" было в ходу на родине Иосифа, а здесь его вообще не употребляли. Но тем более испугало оно писца урожая...

А дома, обходя с Монт-кау столы ремесленников, глядя на их работу и внимательно слушая отчеты, принимаемые управляющим у нарядчиков и учетчиков, а также объяснения, которые тот давал ему по этому поводу, Иосиф мог поздравить себя с тем, что ему удалось сбереечь уважение работников и утаить от них свое невежество; иначе им было бы труднее увидеть в нем всеобъемлющий ум, созданный для начальственного надзора. Но до чего же трудно сделать из себя то, для чего ты создан, и подняться до уровня намерений, связываемых с тобой богом, даже если эти намерения довольно скромны; намерения же, связанные у бога с Иосифом, были очень даже значительны, и Иосифу ничего не оставалось, как поднатужиться. Он подолгу сидел тогда над счетами домашнего хозяйства и промыслов и, глядя на цифры и выкладки, обращал свой внутренний взор к той действительности, из которой они были извлечены. Работал он и вместе с Монт-кау, своим отцом, в Особом Покое Доверия, и тот удивлялся быстроте и пронизательности его ума, способности этой красивой головки не только схватывать и связывать любые дела, но и по собственному почину предлагать всякие улучшения. Так как большие количества собранной в саду смоквы сбывались в город, вернее, в западный город мертвых, где эти плоды, заполнявшие жертвенники храмов смерти и приносимые на могилы для подкрепления умерших, хорошо раскупались, Иосифу пришла в голову мысль заказать гончарам дома глиняные, окрашенные в естественные цвета модели этого плода, которые выполняли бы свое назначение на могилах ничуть не хуже настоящих плодов. А поскольку назначение это было магическим, то как магические символы они выполняли его даже еще лучше, и вскоре в городе появился большой спрос на волшебную смокву, которая поставщику почти ничего не стоила и могла быть изготовлена в любом количестве, вследствие чего этот промысел Потифара вскоре расцвел и, заняв множество рабочих рук, способствовал обогащению господина хоть и не в такой уж значительной по сравнению с прочим, но все-таки в достойной внимания мере.

Управляющий Монт-кау был благодарен своему помощнику за то, что он так добросовестно выполнял договор, заключенный ими однажды ради их благородного господина, и когда он видел ясную целеустремленность этого юноши и находчивость, с какой тот подчинял своему уму любое сложное дело, в нем часто вновь оживали те

странные и смутные чувства, которые в свое время, едва тот предстал перед ним со свитком в руках, так двусмысленно разволновали его.

Вскоре, чтобы снять с себя часть трудов, он стал посылать своего молодого ученика и в деловые поездки, и на рынки с товарами - как вниз по реке, в сторону Абуду, усыпальницы Растерзанного, вплоть до Менфе, так и вверх, на юг, к острову Слонов, так что Иосиф бывал хозяином струга или даже многих стругов, нагруженных добром Петепра: пивом, вином, овощами, мехами, холстами, глиняной посудой и касторовым маслом, как светильным, так и очищенным - для внутреннего лощения. Поэтому через короткое время встречные уже говорили:

- Это идет под парусом помощник Монт-кау, что живет в доме Петепра, юноша-азиат, прекрасный лицом и ловкий в поступках. Он везет товары на рынок, ибо управляющий доверяет ему, и доверяет по праву, ибо в глазах у него есть что-то волшебное, а на человеческом языке он говорит лучше, чем мы с тобой. Он располагает людей к своему товару, расположив их к себе, и сбывает его по хорошей цене, чрезвычайно отрадной для фараонова друга.

Вот что говорили корабельщики Нехела, встречаясь с Иосифом. И все так и было, как они говорили; благословение сопутствовало Иосифу, он умел очаровывать покупателей в деревнях и городах, его речь была блаженством для каждого, и поэтому всех так и тянуло к нему и к его товарам, и он привозил управляющему выручку, какой ни тот, ни любой другой поверенный никогда не добились бы. И все-таки Монт-кау не часто посылал Иосифа в деловые поездки, а посылая, наказывал поскорей воротиться; ибо Петепра бывал весьма недоволен, если этого слуги не оказывалось в столовом покое, если кто-то другой сливал ему на руки воду и подавал кубок и кушанья и если он был лишен общества Иосифа в часы послеобеденного чтения на сон грядущий. Да, только если учесть, что, справляясь с такой многосложной задачей, как изучение хозяйства, Иосиф не переставал быть личным слугой и чтецом Потифара, только если это учесть, можно вполне измерить тяжесть требований, предъявленных в ту пору голове Иосифа и его энергии. Но он был молод и полон готовности и решимости подняться на уровень намерений бога. Последним из тех, кто жил здесь внизу, он больше не был; гнуть перед ним спину начали уже многие. Но все должно было еще пойти совсем по-другому, по воле божьей. Он проникся этим сознанием, и гнуть перед ним спину должны были не только некоторые, а все, все, кроме одного, самого высокого, единственного, кому он имел право служить, - таково было твердое, беспрекословно определившее его жизнь убеждение Аврамова отпрыска. Как это произойдет, как случится, он не знал и не мог представить себе; но нужно было послушно и мужественно идти указанной богом дорогой, заглядывая вперед ровно настолько, насколько это дано человеку, когда он идет по дороге, и не унывать на крутых подъемах, ибо они-то как раз и указывали на высокую цель.

Поэтому он всячески подчинял своему уму хозяйственные и торговые дела, стараясь стать для Монт-кау с каждым днем все более незаменимым помощником, а кроме того, соблюдал договор, заключенный с управляющим относительно Потифара, доброго господина, самого высокого в ближайшем кругу лица, прислуживая телу его и душе и укрепляясь в его доверии по тому же способу, что в беседе у пальм, и в разговоре о саде птичницы. Нужно было не жалеть ни ума, ни искусства, чтобы так поддерживать господина в глубине его души, подогревая в нем чувство собственного достоинства успешнее, чем это могло бы сделать вино за столом. И добро бы этим исчерпывались заботы Иосифа! Чтобы составить себе полную картину обязанностей, которые должен был выполнять сын Иакова, будучи одновременно помощником управляющего и помощником господина, нужно иметь в виду, что ему еще ежевечерне приходилось прощаться на ночь с Монт-кау, причем добывая каждый раз новые обороты в словарной

сокровищнице; ведь ради этого-то сначала его и купили, и слишком приятно был тронут Монт-кау первым, еще чисто проверочным опытом такого прощания, чтобы отказывать себе в этом удовольствии впоследствии. К тому же, как свидетельствовали мешки, висевшие у него под глазами и уменьшавшие их, спал он довольно плохо. Натруженная его голова никак не могла успокоиться после хлопотливого дня; да и почка, с которой дело у него обстояло не совсем хорошо, тоже не способствовала быстрому успокоению, и в конце дня он, конечно, бывал рад этим ласковым пожеланьям и благозвучным внушеньям. Поэтому Иосиф обязан был неукоснительно являться к нему перед наступлением ночи и шептать ему на ухо какие-нибудь успокоительные слова, которые тоже, помимо всех прочих дел, нужно было днем продумать и подготовить; ибо выразиться надлежало изысканно.

- Прими, отец мой, прощальный ночной привел - говаривал он, подняв руки. - Гляди, день отжил свое, он сомкнул вежды, устав от самого себя, и на весь мир снизошла тишина. Прислушайся, что за диво! Разве что в стойле топнет копыто, да еще вдруг где-то залает собака, но от этого безмолвие становится только глубже; несет оно мир и душе человека, его клонит ко сну, и над двором и над городом, над плодородными полями и над пустыней загораются неусыпные светильники бога. Люди радуются, что вовремя, как раз когда они устали, наступил вечер и что завтра, когда они подкрепятся отдыхом, день снова откроет свои глаза. Поистине достойна благодарности премудрость божия! Пусть только представит себе человек, что ночи не существует и пылающая дорога трудов безраздельно и бесконечно простирается перед ним в гнетущем однообразии. Разве это было бы не ужасно, разве он не отчаялся бы? Но бог сотворил дни и назначил каждому из них свою цель, которой мы уверенно и достигаем в положенный час: роща ночи манит нас священным отдохновением, и с раскинутыми руками, с запрокинутой головой, с открытыми губами и блаженно угасшим взором вступаем мы под ее милую сень. Не думай же, дорогой господин мой, на ложе своем, что ты \_должен\_ уснуть! Нет, думай, что ты \_волен\_ уснуть, и усмотри в этом великую милость, и тогда мир пребудет с тобой! Вытяни же члены свои, отец мой, и да ниспадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою блаженным покоем сладостный сон, и да почиешь ты, избавленный от забот и волнений, у его священной груди!

- Спасибо, Озарсиф, - отвечал управляющий, и как в тот раз, когда Иосиф среди бела дня впервые пожелал ему доброй ночи, у него немного увлажнились глаза. - Отдохни же и ты! Вчера ты говорил, может быть, чуть складнее, но и сегодня речь твоя была отрадна и родственна опию, и я надеюсь, что она поможет мне от бессонницы. Мне особенно понравилось твое утверждение, что я волен спать, а не должен; я буду об этом думать, это будет моей опорой. И как только получается, что слова складываются у тебя в волшебное заклинание: "Да ниспадет на тебя, да окутает тебя, да наполнит всю душу твою..."? Этого ты, пожалуй, и сам не знаешь. Итак, спокойной ночи, мой сын!

## АМУН КОСИТСЯ НА ИОСИФА

Вот сколько всяких требований предъявлялось в ту пору Иосифу, и мало того, что он их выполнял, он еще должен был заботиться о том, чтобы ему простили его счастье; ибо улыбки и опущенные взоры, которыми сопровождают люди подобное возвышение, таят в себе много злости, и всех приходится и так и этак задабривать, задабривать с умом, осторожностью и тонким искусством: еще одним требованием больше предъявляется в этом случае к бдительности и собранности. Совершенно невозможно, чтобы тот, кто, подобно Иосифу, растет словно у родника, не перебил кому-то дорогу и не вторгся в чью-либо область; он не может этого избежать, потому что ущемление других неотвратимо связано с его бытием, и добрая часть его умственных сил всегда должна быть направлена на то, чтобы примирять с фактом своего существования оставленных в тени и придавленных. До ямы Иосиф не понимал таких истин и не был к ним чуток;

невосприимчивым к ним сделала его убежденность, что все люди любят его больше, чем самих себя. По смерти и стаз Озарсифом, он сделался смышленее или, если угодно, умнее, ибо смышленость, как и показывает пример юного Иосифа, не защищает от глупости; и щепетильность, проявленная им в беседе с Монт-кау по отношению к Аменемуйе, своему предшественнику по должности чтеца, была рассчитана в первую очередь на самого управляющего, в уверенности, что она приятно тронет его, даже если он и склоняется к добровольной отставке. Но и на самого Аменемуйе он тоже не пожалел сил, сходил к нему и поговорил с ним так вежливо и так скромно, что этот писец был совершенно задобрен и с искренней охотой поступился своей должностью ради такого обворожительного преемника. Прижав руки к груди, в самых трогательных словах, Иосиф объяснил, сколь тягостна ему священная воля господина, изъявлению которой он сознательно ничем не способствовал, будучи - и это лучшее доказательство - убежден, что воспитанник книгохранилища Аменемуйе читает куда лучше, чем он, Озарсиф, хотя бы уже потому, что тот - сын Черной Земли, а он, Озарсиф, коверкающий слова азиат. Но так уж случилось, что, когда ему однажды пришлось говорить в саду с господином, он от смущения стал выкладывать все, что случайно знал о деревьях, о пчелах и птицах, и это вдруг почему-то, совершенно не по достоинству, настолько понравилось господину, что тот со свойственной великим мира сего быстротой принял свое решение, - и принял, как он, Иосиф, должен признать, не на пользу себе. Ибо господин то и дело ставит ему в пример Аменемуйе и говорит: "Вот как и вот с каким ударением читал это Аменемуйе, прежний мой чтец; если хочешь снискать мою милость, читай так же, как он, ибо я избалован хорошим чтением". И тогда Иосиф пытается читать так же, а значит, живет он, собственно, только за счет своего предшественника. И если господин не отменяет этого своего приказа, то только потому, что великие мира сего никогда не хотят, да и не могут признать, что отдали приказ опрометчиво и себе во вред. Поэтому он, Иосиф, пытается утешить его в его тайном раскаянье, ежедневно говоря ему такие слова: "Ты должен, о господин, подарить Аменемуйе два праздничных платья, а кроме того, назначить его на хорошую должность - писцом сладостей и увеселений в Доме Замкнутых, и тогда тебе, да и мне тоже, будет легче при мысли о нем".

Все это было, разумеется, истинным бальзамом для Аменемуйе. Он и не подозревал, что он такой хороший чтец, ибо обычно господин засыпал, стоило ему, Аменемуйе, только раскрыть рот; и, говоря себе, что если бы не отставка, он этого так и не узнал бы, он должен был радоваться своему отстранению от должности. Согревали ему также душу угрызения совести преемника и непризнанное раскаянье господина; и так как он в самом деле получил два праздничных платья и прекрасную должность смотрителя увеселений в гареме, из чего явствовало, что Иосиф действительно замолвил за него слово у господина, то он не питал ни малейшей злобы к этому кенанитянину, относился к нему с приязнью и считал, что тот обошелся с ним, Аменемуйе, чрезвычайно любезно.

А для Иосифа ничего не значило выхлопотать другому хорошую должность, так как сам он вместе с богом не довольствовался малым и при поддержке Монт-кау готовился, пусть еще исподволь, к общенаправляющей деятельности. Точно так же поступил он с работником, обычно сопровождавшим господина во время охоты на птицу и рыбной ловли, с неким Мерабом. На эти мужские развлечения Потифар тоже брал теперь с собой подручным Озарсифа, а не Мераба, что вообще-то, конечно, было для Мераба что нож под ребра, и нож отравленный. Однако Иосиф лишил этот нож отравы и остроты, поговорив с Мерабом так нее, как с Аменемуйе, и равным образом выхлопотав ему взамен почетный подарок и хорошую должность смотрителя пивоварни, после чего Мераб стал Иосифу другом, а не врагом и говорил о нем всем и каждому такие слова:

- Хотя он родом из горемычного Ретену и кочевник пустыни, а малый он все-таки, ничего не скажешь, изящный и ведет себя очень мило. Клянусь всеми тремя божествами, он делает еще ошибки в человеческом языке, и все-таки, если приходится уступать ему

место, то уступаешь его с радостью и у тебя при этом еще и глаза светятся. Не объясняйте мне, почему это так, ведь словами тут все равно ничего не объяснишь, - а глаза светятся.

Так говорил этот Мераб, обыкновенный египтянин; и не кто иной, как Зе'энх-Уэн-нофре и так далее, то есть карлик Боголюб, шепотом уведомил Иосифа, что отставной ловчий ведет на людях подобные речи. "Ну, что ж, это хорошо", - ответил Иосиф. Но он отлично знал, что не каждый так скажет; от детского заблуждения, что все должны любить его больше, чем самих себя, он давно избавился и отлично понимал, что его возвышение в Потифаровом доме, неприятное для многих уже само по себе, вызывает из-за его чужеземности, из-за его принадлежности к "жителям песков", к иврим, еще и особое, требующее от него величайшей тактичности недовольство. Мы снова подходим к той борьбе партий и к тем внутренним противоречиям, которые владели страной внуков и среди которых протекала там карьера Иосифа; к неким религиозным и патриотическим началам, противостоявшим этой карьере и чуть не испортившим ее на самых первых порах, - а равным образом к неким другим, которые можно было бы назвать вольнодумно-терпимыми или модными и уступчивыми и которые благоприятствовали его возвышению. Этих последних принципов домоправитель Монт-кау держался просто-напросто потому, что их держался его господин, великий царедворец Петепра. А Петепра почему? Конечно, потому что их отстаивал двор; потому что там досадовали на обременительное богатство и на могущество храмов Амуна, являвшегося в зрелой стране воплощением патриотически-охранительной строгости нравов, и потому что высшие царедворцы склонялись предпочтительно к другому культу можно уже догадаться к какому. К культу Атума-Ра, почитаемого на вершине треугольника, в Оне, этого очень древнего и очень кроткого бога, к которому Амун приравнял себя, но приравнял не полюбовно, а силой, назвавшись Амун-Ра, богом царства и Солнца. Они оба, и Ра и Амун, были Солнцем на струге, но в каких разных смыслах были они Солнцем и как не походили они при этом один на другого! На месте, в разговоре с мокроглазыми жрецами Горахте, Иосиф получил представление о гибкой, радостно-ученой солнечной природе этого бога; он знал о его желании расшириться, о его склонности вступить в связь и установить согласие с богами Солнца всех существующих в мире народов, с солнечными юношами Азии, которые, как жених, выходили наружу из своей горенки, как веселый герой, пробегали положенный путь и которых оплакивали женщины, когда они погибали. Похоже было, что Ра не хотел отмежеваться от них, как не хотел в свое время Авраам отмежевать своего бога от Эль-эльона Мелхиседека. Он назывался Атумом в час своей гибели и был в этот час очень красив и достоин плачей; но ныне, благодаря гибкости ума его ученых пророков, он приобрел сходное по звучанию имя, обозначавшее не только час его гибели, но и вообще все его солнечное естество - и утро, и полдень, и вечер: он называл себя Атоном, и ни от кого не мог ускользнуть странный отголосок, звучавший в этом новом имени бога, ибо оно было очень похоже на имя растерзанного вепрем юноши, о котором плакала флейта в ущельях и рощах Азии.

Вот каким иноземным налетом, вот какой гибкостью и дружественной миру универсальностью отличалась солнечная природа Ра-Горахте, которую так почитал двор; ученые фараона не знали лучшего занятия, чем размышление о ней. Зато Амун-Ра, отец фараона в своем могучем и богатом сокровищами доме в Карнаке, был полной противоположностью Атума-Ра. Он был неподвижен и строг, непримиримо враждебен любому обобщающему рассуждению, неприязнен ко всему иноземному, он застыл в своей приверженности к слепому обычаю, к священной исконности - а ведь при этом он был гораздо моложе, чем онский бог, и, следовательно, древнее оказывалось в данном случае, как это ни парадоксально, гибким и дружественным миру, а новое - негибким и негибким.

Поскольку же карнакский Амун косо смотрел на успех, который имел при дворе Атум-Ра-

Горахте, Иосиф чувствовал, что тот косо смотрит и на него, чужеземца, исполняющего обязанности слуги и чтеца царедворца; и, учитывая свои выгоды и невыгоды, он вскоре пришел к заключению, что солнечная природа Ра благоприятна ему, а природа Амуна - неблагоприятна и что эта неблагоприятность требует от него большого такта.

Ближайшим к нему воплощением природы Амуна был спесивец Дуду, смотритель одежной. Что тот любил его никак не больше, чем себя самого, а значительно меньше, было с самого начала достаточно ясно; невозможно передать, сколько сил ушло у сына Иакова за все это время, за долгие годы, на этого степенного карлика, как старался он, держась отменно учтиво не только с ним, но и с той, что охватывала его одной рукой, с его супругой Цесет, занимавшей в гареме высокое положение, и с его длинными, но уродливыми детьми Эсези и Эбеби, умиротворить его и расположить к себе, как тщательно избегал хотя бы в малейшей степени его ущемить. Кто сомневается в том, что при отношениях, сложившихся у него с Потифаром благодаря определенным услугам согревающе-отрадного свойства, Иосифу ничего не стоило оттеснить Дуду и стать самому смотрителем платья? Ведь господин был только рад лишнему поводу приблизить его к своей особе, и можно даже с уверенностью сказать, что он без всяких просьб, по собственному почину, предлагал ему должность главного гардеробщика, тем более что этого чванного карлика, как Иосиф заметил, а еще раньше заключил по неприязни к Дуду верного управляющего, Петепра совершенно не выносил. Но столь же решительно, как и скромно Иосиф отклонил это предложение, во-первых, потому, что, готовясь к деятельности обобщающего характера, он не должен был брать на себя новых обязанностей личного слуги, а еще, как он подчеркнул, потому, что не хотел и не мог заставить себя перейти дорогу этому достойному человечку.

И вы думаете, карлик его отблагодарил? Ничуть не бывало - в этом отношении Иосиф дал волю ложным надеждам. Враждебности, которую проявил к нему Дуду в первый же день, нет, в первый же час, когда попытался расстроить сделку с измаильтянами, нельзя было ни преодолеть, ни хотя бы только смягчить ни вежливостью, ни деликатностью; и кто хочет понять подоплеку, движущие силы всей этой истории, тот при объяснении столь упрямой неприязни не остановится на том, что наш египтянин, будучи страстным приверженцем своей партии, не мог примириться с покровительством иноземцу и ростом его значения в доме. Нет, тут, несомненно, нужно принять во внимание и те своеобразные волшебные средства, благодаря которым Иосиф оказался "полезен" господину и расположил его к себе, средства, с которыми Дуду довелось познакомиться. Они были ему крайне ненавистны, потому что в них он усматривал умаление своей полноценности и тех преимуществ, что составляли гордость и оправдание его низкорослой жизни.

Иосиф об этом тоже догадывался. Он не скрывал от себя, что в тех же тайных глубинах души, где ему удалось ублажить одного, он своей речью в финиковом саду чувствительно ранил другого и что, значит, он все-таки, вопреки своему желанию, этого карлика-супруга задел. Поэтому-то он и был так обходителен с женой и с потомством Дуду. Но все было тщетно, тот всячески, снизу вверх, выказывал Иосифу свою недоброжелательность, что особенно удавалось карлику, когда он с достоинством ревнителя старинных обычаев подчеркивал порочность хабирского происхождения Иосифа. За столом, когда старшие слуги дома, и в их числе Иосиф, ели свой хлеб вместе с управляющим Монт-кау, Дуду, с важностью втянув свою нижнюю губу под крышу верхней, упорно требовал, чтобы египтянам подавалось особо, а еврею особо; более того, если управляющий и другие, исходя из солнечной природы Атума-Ра, отказывались от строгого соблюдения такого обычая, то карлик, демонстрируя свою верность Амуна, садился как можно дальше от этой нечисти, а то и отплевывался на все четыре стороны, или произносил очистительные заклинания и осенял себя волшебными знаменьями, явно стараясь обидеть Иосифа.

И добро бы этим все ограничивалось! Так нет же, очень скоро Иосиф узнал, что надменный Дуду ведет самые настоящие происки против него, Иосифа, пытаясь выжить его из дома, - узнал он это сразу же и во всех подробностях опять-таки через своего дружокка Боголюб, Беса-на-празднике, ибо, благодаря своей крошечности, тот умел как нельзя лучше подглядывать и подслушивать; словно бы созданный для незримого присутствия в нужных местах, он знал укрытия, о которых люди обычного роста даже и подозревать не могли. Но Дуду, принадлежавшему к тому же племени карликов и так же, как он, привыкшему к мерам их малого мира, следовало бы проявлять большую осторожность и предусмотрительность, чем полнорослым. Прав был, видно, маленький Боголюб, считавший, что, вступив в брачный союз с миром долгоязыких. Дуду отказался от многих тонкостей малоразмерной жизни, а в силу своей способности к такому союзу, наверно, и обладал карличьей тонкостью лишь в ограниченной мере. Как бы то ни было, он не заметил соглядатайства своего презренного братца, и тот вскоре узнал, какими именно путями ходил Дуду, пытаясь помешать росту Иосифа: пути эти вели в Дом Замкнутых, они вели к названной супруге Потифара Мут-эм-энет; а то, что сообщал ей карлик, она, в свою очередь, будь то в его присутствии или с глазу на глаз, обсуждала с одним могущественным лицом, завсегдаем Потифарова гарема и ее личных покоев, - с Бекнехонсом, Первым пророком Амуна.

Из разговора злых старичков, родителей Потифара, известно уже, в сколь близких отношениях находилась госпожа Иосифа с храмом этого богатого державного бога, с домом Амуна-Ра. Как и многие женщины ее сословия, например, как ее подруга Рененутет, жена главного смотрителя говяд Амуна, она принадлежала к аристократическому ордену Хатхор, покровительницей которого считалась Великая супруга фараона, а предводительницей обычно бывала жена верховного жреца карнакского бога, в то время, следовательно, жена, благочестивого Бекнехонса. Средоточием и духовным очагом этого ордена был прекрасный храм у реки, называвшийся "Южным Домом Утех Амуна" или "гаремом" и соединявшийся удивительной аллеей Овнов с Великой Карнакской Обителью, тот самый храм, к которому фараон собирался пристроить не имеющий себе равных колонный зал; члены этого ордена в торжественных случаях именовались "женами Амуна", а их начальница, супруга верховного жреца, соответственно "первой из жен Амуна". Но почему эти дамы назывались "хатхорами", если великую супругу Амуна-Ра звали Мут или "мать", а прекрасная лицом, волоокая Хатхор относилась, скорее, к онскому владыке Ра-Атуму, чьей госпожой она и была? Да, таковы уж были политические тонкости земли Египетской! Поскольку Амуну, по соображениям государственным, угодно было отождествить себя с Атумом-Ра, то и Мут, мать его сына, отождествила себя с покорительницей Хатхор, и то же самое сделали земные жены Амуна, знатные фиванские дамы: каждая из них была олицетворением владычицы любви Хатхор, когда они по большим праздникам, в маске супруги Солнца, в узком платье, с коровьими рогами и солнечным диском на золотой диадеме, играли, плясали и пели Амуну, - пели, как только могут петь великосветские дамы; ибо выбирались они не за благозвучные голоса, а за богатство и знатность. Впрочем, хозяйка Потифарова дома Мут-эм-энет пела отлично, она даже обучала хорошему пенью других, в частности упомянутую уже смотрительшу говяд Рененутет, и вообще пользовалась почетом в гареме бога, благодаря чему занимала в ордене почти такое же высокое положение, как его настоятельница, чей супруг, то есть Бекнехонс, Великий пророк Амуна, постоянно посещал Мут-эм-энет, будучи ее другом и благочестивым наперником.

## БЕКНЕХОНС

Этого сурового человека Иосиф давно знал в лицо; он не раз видел его во дворе и возле гарема и всегда досадовал за фараона на шумную пышность выездов Бекнехонса:

ратники бога с копьями и дубинками шагали впереди его паланкина, длинные шести которого покоились на плечах четырежды четырех зеркальноголовых жрецов; за носилками следовал еще один военный отряд, по обеим их сторонам, как у струга самого Амуна во время торжественных шествий, несли страусовые опахала, а впереди переднего отряда бежали еще скороходы, которые, сообщая о прибытии Бекнехонса, оглашали двор своим требовательным и взволнованным криком, чтобы все сбежались и управляющий, а то и сам Петепра, встретил у порога высокого гостя. Потифар в таких случаях обычно не сказывался дома, но Монт-кау всегда бывал тут как тут, а за ним уже не раз выходил к Бекнехонсу и Иосиф, внимательно разглядывая этого очень важного посетителя, который был для него самым высоким я самым далеким воплощением той враждебной природы Солнца, чьим ближайшим и мельчайшим воплощением являлся Дуду.

Бекнехонс был высокого роста и вдобавок держался очень осанисто, он ходил, выпятив грудь, развернув плечи и задрав подбородок. Его яйцообразная, всегда непокрытая, гладко выбритая голова была довольно крупна, и заметней всего на ней выделялась глубокая и резкая борозда между глаз, которая никогда не исчезала и не утрачивала своей строгости, даже если он улыбался, а улыбался он только высокомерно и только в награду за особое подобострастие. Тщательно очищенное от растительности, точено-правильное и неподвижное лицо верховного жреца, с высокими скулами и глубокими, как борозда между глаз, морщинами около ноздрей и рта, обычно глядело мимо людей и предметов; взгляд этот был более чем надменным, он был равнозначен отказу от всего современного мироустройства, отрицанию и осуждению всего векового или даже тысячелетнего хода жизни, да и одежда его, очень тонкая и дорогая, отличалась старозаветностью и по священническому обычаю отставала от моды не меньше, чем на несколько эпох: ясно видно было, что под верхним, начинавшимся под мышками и ниспадавшим до пят платьем он носит простой, узкий и короткий набедренник, какой был принят при первых династиях; к еще более древним и, вероятно, более благочестивым временам восходила священническая шкура леопарда, обвивавшая его плечи таким образом, что голова и передние лапы кошки висели у него за спиной, а задние лапы скрещивались на его груди, где виднелись и другие знаки его сана: голубая повязка и затейливое золотое украшение с бараными головами.

Леопардовая шкура была, строго говоря, некоей узурпацией, ибо она являлась частью убранства Первого пророка Атума-Ра в Оне и служителям Амуна не полагалась. Но Бекнехонс всегда сам определял, что ему полагается, и все, в том числе Иосиф, отлично понимали, почему он носит первобытную одежду людей, священную шкуру. Он хотел этим показать, что Атум-Ра растворился в Амуне, что он является лишь разновидностью фиванского владыки и в известной мере, да и не только в известной мере, ему подчинен. Ибо Амун, то есть Бекнехонс, добился того, что верховный пророк Ра в Оне принял почетное звание второго жреца Амуна в Фивах, а поэтому здесь, в Фивах, главенство над ним первосвященника и право первосвященника на его знаки отличия были очевидны. Но даже и в Оне, резиденции Ра, это превосходство оставалось в силе. Ибо мало того что Бекнехонс называл себя "предводителем жрецов всех богов в Фивах", он присвоил себе также звание "предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта" и был, следовательно, сверхпервым и в доме Атума-Ра. Так неужели же он не имел права носить леопардовую шкуру? Нельзя было без страха глядеть на него при мысли о его значении; что же касается Иосифа, то он уже достаточно сжился с землею Египетской, чтобы тревожиться и недоумевать по поводу того, что фараон бесконечными своими дарами непрестанно умножает богатство и гордость этого могучего мужа, теша себя представлением, будто он благодетельствует лишь собственному отцу Амуну, а следовательно, себе самому. Иосиф, для которого, хотя он этого и не показывал, Амун-Ра был таким же идолом, как всякий другой, - отчасти овном в своем приделе, отчасти же куклой в ларце своего капища, которую катали по Иеору в нарядном струге просто

потому, что не могли придумать ничего лучшего, - Иосиф судил в данном случае свободнее и острее, чем фараон; он считал, что тот поступает неверно и неумно, безудержно обогащая своего мнимого отца, и, глядя, как князь Амуна исчезает в гареме, Иосиф проникался уже, следовательно, более высокой заботой, чем забота о собственном благе, заботой государственной, хотя и знал, что там, в гареме, ведутся весьма сомнительные речи о нем самом.

От маленького Боголюб, самого первого его покровителя в Потифаровом доме, ему было известно, что Дуду уже не раз приходил к Мут, госпоже, с жалобами на него, Иосифа: подслушивая эти беседы из самых невероятных укрытий, карлик шепотом передавал их Иосифу с такими подробностями, что тот воочию видел, как смотритель одежной стоял в накрахмаленном набедреннике перед их повелительницей и, напыщенно прикрывая нижнюю свою губу крышей верхней, возмущенно жестикулируя коротенькими ручками и стараясь говорить как можно более низким голосом, жаловался госпоже на это досадное неблагополучие. Раб Озарсиф, как он невразумительно и, видимо, произвольно называет себя, - говорил карлик, - этот хабирский мошенник, этот молокосос-чужеземец, постыдным образом возвышается в доме и пользуется, на беду, большой благосклонностью - можно не сомневаться, что Сокрытый глядит на это с неодобрением. Вопреки его, карлика, дельному совету. Озарсиф был за слишком дорогую цену, сто шестьдесят дебен, куплен у мелких торговцев пустыни, укравших его из колодца, куда его бросили в наказание, и благодаря хлопотам этого пустомели, этого холостого шута Шепсес-Беса, попал в дом Петепра. Но вместо того чтобы послать этого мерзкого чужеземца в поле на барщину, как люди почтенные и советовали управляющему, тот сначала предоставил ему слоняться без дела по двору, а затем, в финиковом саду, позволил поговорить с Петепра, чем этот повеса более чем бесстыдно воспользовался. Он прожужжал господину уши своей злокозненной болтовней, которая была поношением Амуна и оскорблением верховной силе Солнца: но этим ему удалось обворожить и преступно околдовать священного повелителя, и тот назначил его своим личным слугой и чтецом; а Монт-кау обращается с ним и вовсе как со своим сыном, вернее даже - как с молодым хозяином, позволяя ему знакомиться со всем в доме, как будто тот достанется ему в наследство, и изображать из себя заместителя управляющего - это паршивому-то азиату в египетском доме! Он, Дуду, осмеливается почтительнейше указать госпоже на эти ужасные обстоятельства, ибо разгневанный ими Сокрытый может отомстить за столь пагубное свободомыслие тем, кто в нем провинился и его терпит.

- И что же ответила госпожа? - спросил Иосиф. - Передай мне все в точности, маленький Боголюб, и постарайся повторить ее собственные слова.

- Вот ее слова, - отвечал карлик. - "Покуда вы говорили, смотритель одежной, - сказала она, - я все думала, кого собственно вы имели в виду и на какого раба вы жаловались, ибо моя память ничего мне не подсказала. Вы не можете от меня требовать, чтобы я помнила всех слуг дома и сразу же догадывалась, на кого вы изволили намекнуть. Но поскольку вы дали мне время подумать, у меня возникло предположение, что вы имеете в виду того еще юного годами слугу, который с некоторых пор за обедом наполняет кубок супругу моему Петепра. Этот серебряный набедренник я при известном усилии смутно припоминаю".

- Смутно? - не без разочарования переспросил Иосиф. - Возможно ли, чтобы у нашей госпожи было такое уж смутное представление обо мне, если я каждодневно нахожусь близ нее и близ господина во время трапез, да и вообще она не может не знать о милости, которой я пользуюсь у него и у Монт-кау? Я удивлен, что ей пришлось так долго и напряженно рыться в памяти, прежде чем она сообразила, о ком говорил этот зловредный Дуду. А что она еще сказала?

- Она сказала, - продолжил свой отчет карлик, - она сказала вот что: "Зачем, однако, вы приходите с этим ко мне, зритель одежной? Вы же навлекаете на меня гнев Амуна. Ведь вы сами сказали, что он разгневан на тех, кто терпит подобные неурядицы. А если я ничего не знаю, то, значит, я ничего не терплю, и вам следовало бы пощадить меня и оставить в неведении, а не подвергать ненужной опасности".

Над этими словами Иосиф посмеялся и горячо их одобрил.

- Какой великолепный ответ и какой умный выговор! Рассказывай дальше о госпоже, маленький Бес! Только повтори мне все в точности, ибо, надеюсь, ты был внимателен!

- А дальше, - отвечал Боголюб, - говорил злобный Дуду. Он стал оправдываться и сказал: "Я сообщил госпоже об этом ужасном положении не для того, чтобы она терпела его, а для того, чтобы она его прекратила; из любви к ней я предоставил ей возможность оказать услугу Амуну, посоветовав господину выгнать этого нечистого раба из дому и, поскольку он уже куплен, отправить, как то ведется, на барщину, чтобы он не сделался здесь управляющим и, обнаглев, не поставил себя выше детей страны".

- Прескверно, - сказал Иосиф. - Отвратительная, гнусная речь! Но госпожа, что ответила ему госпожа?

- Она, - доложил Боголюб, - ответила так: "Ах, строгий карлик, госпоже редко удается поговорить по душам с господином. Прими во внимание чинность этого дома и пойми, что у нас с господином не такие отношения, как, например, у тебя с той, что обнимает тебя одной рукою, с твоей задушевной подругой Цесет. Она запросто приходит к тебе, смело говорит с тобой, со своим супругом, обо всем, что касается ее и тебя, и при случае дает тебе те или иные советы. Она мать, она родила тебе двоих пригожих детей, Эсези и Эбеби, а поэтому ты благодарен ей и у тебя есть все основания прислушиваться к голосу такой заслуженной, плодовитой жены и уважать ее желания и ее просьбы. А кто я нашему господину, с какой стати он будет меня слушаться? Ты знаешь, как велико его упрямство, какое у него гордое и глухое сердце; я бессильна перед ним со своими увещаниями".

Иосиф помолчал, задумчиво глядя поверх своего маленького друга, который озабоченно подпер ручкой измятое личико.

- Ну, а что сказал на это хранитель платья? - спросил через несколько мгновений сын Иакова. - Нашел ли он какой-нибудь ответ и продолжал ли нести свое?

Малыш ответил отрицательно. После слов госпожи Дуду с достоинством умолк; зато госпожа прибавила, что постарается поскорей поговорить об этом с отцом первосвященником. Ведь поскольку Петепра возвысил этого чужеземца, после того как услышал его рассуждения о делах солнечных, здесь явно замешаны политика и религия, а это уже касается Бекнехонса, князя Амуна, ее друга и исповедателя. Он должен обо всем узнать, и в его отцовское сердце изольет она для своего облегчения то, что поведал ей об этом неурядице Дуду.

Вот каковы были новости доброго карлика. Но позднее Иосиф вспоминал, что тогда Бес-эм-хеб долго еще сидел у него - в смешном своем наряде, с душницей на парике, опершись подбородком на ручку и мрачно шурясь.

- Что ты шуришься, Боголюб в доме Амуна, - спросил он, - зачем продолжаешь размышлять об этих делах?

А тот ответил своим стрекочущим голоском:

- Ах, Озарсиф, малыш думает о том, как это нехорошо, что наш злой куманек говорит о тебе с нашей госпожой Мут, - это очень и очень нехорошо!

- Конечно, - сказал Иосиф. - Зачем ты говоришь мне об этом? Ведь я и сам знаю, что это совсем нехорошо и даже опасно. Но видишь, я принимаю это с легким сердцем, ибо надеюсь на бога. Разве госпожа не призналась сама, что она не имеет такого уж большого влияния на Петепра? Ее словечка и знака еще далеко не достаточно, чтобы отправить меня на барщину, можешь не беспокоиться!

- Как же мне не беспокоиться, - прошептал Бес, - если это опасно и по-другому, совсем в другом отношении - то, что наш куманек, поговорив с госпожой, прояснил ее смутное представление о тебе.

- Ну, это пойми, кто может! - воскликнул Иосиф. - Я, во всяком случае, этого не понимаю, и мне темна карличья твоя болтовня. Опасна и по-другому, совсем с другой стороны? Что за темные слова ты мне шепчешь?

- Да, я шепчу, шепчу о своем страхе и о своих подозрениях, - услышался снова голос маленького Боголюб, - я вышептываю тебе беспокойную карличью мудрость, которая до тебя, долговязого, никак не доходит. Куманек хочет сделать тебе худо, но возможно, что он, против собственной воли, сделает тебе доброе дело, и даже слишком доброе, так что опять получится худо, куда хуже, чем рассчитывал сделать.

- Ну, дружок, ты на меня не обижайся, но того, что лишено смысла, человек не может понять. Худо, хорошо, слишком хорошо, еще хуже? Да это какая-то карличья галиматья, какая-то пустяковая тарабарщина, которой я при всем желании не в силах понять!

- А почему ты покраснел, Озарсиф, и почему ты сердисься так же, как раньше, когда я тебе сказал, что у госпожи было о тебе смутное представление? Карличья мудрость предпочла бы, чтобы оно так и осталось смутным, ибо это опасно, дважды опасно, еще опаснее опасности, что проклятый куманек заморочит ее своей зловредностью. Ах, - сказал малыш и спрятал лицо в ладошках, - карлик полон страха и ужаса перед врагом, перед быком, чье огненное дыханье опустошает ниву.

- Какую ниву? - спросил Иосиф с подчеркнутым недоумением. - И что это за огнедышащий бык? Ты сегодня немного не в себе, и я ничем не могу тебе помочь. Сходи к Краснопузому, пусть он попотчует тебя успокоительным соком кореньев, который охладит твою голову. А я займусь своими делами. Могу ли я помешать Дуду жаловаться на меня госпоже, даже если это и очень опасно? Однако ты видишь, что я надеюсь на бога, и поэтому ты не должен отчаиваться. Будь и впредь начеку и старайся не пропускать ни одного слова из того, что Дуду будет говорить госпоже, а особенно из ее ответов, чтобы передавать мне все в точности. Ибо мне нужно знать все толком.

Вот как (и позднее Иосиф вспоминал это) проходил тогда разговор, во время которого маленький Боголюб держался так странно испуганно. Но в самом ли деле только благодаря надежде на бога и без всяких иных оснований Иосиф так сравнительно бодро воспринял известие о кознях Дуду?

До сих пор он был для своей повелительницы если не в полном смысле слова пустым местом, то, по крайней мере, незаметным предметом домашней утвари, таким же, каким был в роли Немого Слуги для Гуия и для Туий. Дуду, желая ему зла, во всяком случае изменил это положение. Если теперь во время трапез, когда Иосиф подавал кушанья и наполнял кубок своему господину, на него падал взгляд госпожи, то падал он уже не по

чистой случайности, как на предмет неодушевленный, - нет, теперь она глядела на него лично, глядела, как на явление, имеющее свою подоплеку и свои связи, которые дают приятный или неприятный повод задуматься. Одним словом, эта знатная дама Египта стала с недавних пор его замечать. Ее внимание было, разумеется, очень слабым и мимолетным; сказать, что глаза ее задерживались на нем, было бы преувеличением. Но на мгновение, на какой-то миг они не раз испытующе к нему устремлялись - при мысли, впрочем, и при воспоминании о том, что она должна поговорить о нем с Бекнехонсом; а Иосиф, глядя сквозь ресницы, отмечал такие мгновения; ни одно из них, при всем внимании, которое он должен был уделять Петепра, от него не ускользало, хотя всего лишь один или два раза этот взгляд был двусторонним и их глаза, глаза госпожи и слуги, случайно встречались, и тогда ее взор оказывался равнодушным, гордым и строго-неторопливым, а его взгляд, полный сначала почтительного испуга, поспешно скрывался за веками и становился смиренным.

Это стало случаться после того, как Дуду побеседовал с госпожой. Прежде этого не случалось, и, говоря между нами, это было Иосифу не так уж и огорчительно. Он видел в этом известный успех и был почти благодарен своему врагу Дуду за его донос. И когда Бекнехонс явился в гарем в следующий раз, Иосифу была довольно-таки приятна мысль, что речь там пойдет, вероятно, о нем, Иосифе, и о его возвышении. С этой мыслью, при всей ее тревожности, было связано известное удовлетворение, более того радость.

Какие именно там велись речи, он узнал опять-таки от потешного визиря, умудрившегося подслушать их из какого-то закутка. Сначала жрец и дама из ордена беседовали о делах богослужебных и о светских событиях - они, как, пользуясь вавилонским выражением, говорили дети Египта, "чесали язык", другими словами, перебирали столичные сплетни; и когда потом зашла речь о Петепра и о его доме, госпожа действительно передала своему духовному другу жалобу Дуду и рассказала ему о беспорядке с рабом-евреем, которому царедворец и его управляющий столь вызывающим образом мирволят и покровительствуют. Бекнехонс выслушал это сообщение, качая головой, так, словно оно подтверждало его печальные ожидания общего характера и как нельзя лучше соответствовало нравственному облику эпохи, почти вовсе утратившей благочестие тех времен, когда в ходу были такие узкие и короткие набедренники, как у него, Бекнехонса. Это, сказал жрец, несомненно скверный признак. Вот он, разрушительный дух пренебрежения к исконному мироустройству: поначалу изысканный и веселый, он затем поневоле оборачивается запустением и дикостью и, разрушая самые священные связи, истощает страны, и вот уже скипетр их не внушает страха на побережье, и царство гибнет. По словам маленького Боголюбя, первосвященник тотчас же отклонился от темы: он увлекся и, указуя перстами в разные стороны, стал рассуждать о делах государственных, о господстве над миром, о сохранении власти. Он говорил о митаннийском царе Тушратте, которого следует сдерживать с помощью Шуббилулимы, великого правителя царства Хатти на севере, не допуская, однако, чтобы тот сдерживал его слишком успешно. Ведь если воинственная Хета, целиком подчинив себе Митанни, продвинется на юг, то это представит опасность для сирийских владений фараона, добытых завоевателем Мен-хе-пер-Ра-Тутмосом, тем более что она и так может в один прекрасный день, обойдя Митанни, вторгнуться в приморскую страну Амки между Амановыми и Кедровыми горами, если того пожелают дикие боги Хеты. Правда, на шахматной доске мира этому противостоит фигура аморитянина Абдаширту, который, будучи данником фараона, правит землями между Амки и Ханигалбатом и призван препятствовать продвижению Шуббилулимы на юг. Но препятствовать этому продвижению аморитянин станет лишь до тех пор, пока страх перед фараоном будет в его сердце сильнее, чем страх перед Хатти, а иначе он непременно столкнется с Хатти и предаст Амуна. Ведь все эти царьки, платящие дань после покорения Сирии, сразу же становятся предателями, стоит лишь хоть немного ослабеть страху, в котором приходится держать всех, в том числе бедуинов и кочевников-степняков, которые, не будь у них

страха, кинулись бы на плодородную землю и опустошили бы города фараона. Короче говоря, множество забот требует от Египта решительности и собранности, если он хочет сохранить своему скипетру страх, а своим венцам - царство. А поэтому он должен, как в древние времена, благочестиво блюсти обычаи и не отступать от правил строгой нравственности.

- Сильный человек, - сказал Иосиф, выслушав эту речь. - Вместо того чтобы посвятить себя богу и быть зеркальноголовым слугой господним, который, как добрый отец своего народа, протягивает руку всем, кто оступится, - вместо этого он целиком занят земными делами и политическими вопросами - просто удивительно. Говоря между нами, маленький Боголюб, заботу о царстве и страхе народов он должен был бы предоставить фараону, который для того и сидит во дворце; ведь можно не сомневаться, что во времена, восхваляемые им в ущерб нынешним, отношения между храмом и дворцом были именно таковы. А наша госпожа - она больше ничего не сказала после его слов?

- Я слышал, - сказал карлик, - как она ответила на эти слова. Она ответила так: "Ах, отец мой, разве я ошибаюсь: когда Египет держался благочестивых и строгих обычаев, он был беден и мал, и ни на юг, за пороги реки, в страну негров, ни на восток, к попятнотекущей реке, не уходили его рубежи так далеко по землям платящих оброк народов. Но бедность уступила место богатству, а из тесноты возникло царство. Теперь и страны, и Уазе, великая их столица, кишат чужеземцами, богатства так и текут в Египет, и все стало новым. Но разве тебя не радует и новое, итог и награда старого? Из оброка, выплачиваемого народами, фараон приносит щедрые жертвы отцу своему Амуну, благодаря чему этот бог может строить сколько его душе угодно, наполняясь силой, словно река весной, когда вода ее достигает самого высокого уровня. Так неужели отец мой не одобряет хода событий, последовавшего за благочестивой стариной?"

"Совершенно справедливо, - ответил на это, как передал Боголюб, Бекнехонс, - дочь моя очень верно ставит вопрос о странах, ибо вопрос этот стоит так: добрая старина несла в себе новое, то есть богатство и царство, как свою награду, но награда, то есть богатство и царство, - несет в себе ослабление, истощение, утрату. Как же поступить, чтобы награда не стала проклятием, чтобы добро не вознаградилось в итоге злом? Вот как стоит вопрос, и карнакский владыка, бог царства Амун, отвечает на него так: старое должно властвовать в новом, а править царством должны сила и строгость, и тогда царство не ослабеет и не лишится заслуженной им награды. Ибо не сыновьям нового, а сыновьям старого по праву принадлежит царство и подходят венцы: и белый, и красный, и синий, и кроме того, венец богов".

- Убедительно, - сказал Иосиф, когда карлик умолк. - Убедительный, сильный ответ довелось тебе услышать благодаря твоему малому росту, дружок Боголюб. Он пугает меня, хотя и не удивляет, ибо, в сущности, я всегда подозревал, что таковы взгляды Амуну, - подозревал уже с тех пор, как впервые увидел его ратников на улице Сына. И едва лишь наша госпожа заикнулась обо мне, Бекнехонс так увлекся, что про меня они, видно, и вовсе забыли. Вернулись ли они, насколько тебе удалось услышать, к разговору обо мне вообще?

Они сделали это, доложил Шепсес-Бес, лишь в самом конце, и на прощанье первосвященник Амуну пообещал в ближайшее время взяться за Петепра и заставить его задуматься о покровительстве рабу-чужеземцу с точки зрения суровых старинных правил.

- В таком случае, - сказал Иосиф, - я должен дрожать, я должен бояться, что Амун положит конец моему возвышению, ибо как мне жить, если он будет против меня? Это очень скверно, дружок Боголюб. Ведь если я окажусь на барщине теперь, после того как писец

урожая уже сгибался передо мной, мне придется еще хуже, чем если бы я попал в поле сразу и днем изнывал бы там от зноя, а ночью дрожал от холода. Ты думаешь, Амуна удастся так со мной обойтись?

- Я не настолько глуп, - застрекотал малыш. - Я ведь не женат, чтобы утратить карличью мудрость. Правда, я вырос - если я вправе так выразиться - в страхе перед Амуном. Но я давно понял, что за тобой, Озарсиф, стоит бог, который сильнее и умнее Амуна, и я никогда не поверю, чтобы он отдал тебя в его руки и позволил тому, что в капище, указать твоему возвышению иной предел, нежели назначенный им самим.

- А если так, то не горюй, Бес-эм-хеб, - воскликнул Иосиф, осторожно, чтобы не причинить ему боли, ударив по плечу карлика, - и не беспокойся обо мне! В конце концов я тоже могу поговорить с господином с глазу на глаз и заставить его кое о чем призадуматься, тем более что об этом, наверно, задумывается и его господин - фараон. Вот он и послушает нас обоих, Бекнехонса и меня. Первосвященник будет говорить ему о рабе, а раб - о боге, - посмотрим, к кому он отнесется с большим вниманием, то есть я хочу сказать: не к кому, а к какому предмету, пойми меня правильно. А ты, мой друг, будь по-прежнему начеку и, когда Дуду станет снова жаловаться на меня госпоже, благоразумно схоронись в закутке, чтобы я опять услышал и его слова, и ее!

Так и было. Ибо известно, что одной жалобой дело не ограничилось, что смотритель одежной не отступался и время от времени осуждающе напоминал Мут-эмэнет о возмутительном покровительстве какому-то чужеземцу из карающей ямы. Боголюб занимал при этом свой наблюдательный пост и, донося обо всем Иосифу, добросовестно уведомлял его о каждом шаге Дуду. Но даже если бы он и не был столь бдителен, Иосиф все равно узнавал бы о каждой жалобе женатого карлика на его, Иосифа, возвышение; ибо за ней следовали взгляды в столовой. И если они на много дней прекращались, так что Иосиф уже начинал грустить, то их возврат и мгновения, когда эта женщина снова смотрела на него испытующе-строго, как на человека, а не как на вещь, ясно показывали ему, что Дуду опять приходил к ней с жалобами, и тогда Иосиф говорил себе: он напомнил ей обо мне. Как это опасно! А сам думал при этом: "Как это отратно!" - и был даже до некоторой степени благодарен Дуду за то, что он напомнил о нем.

## ИОСИФ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЕГИПТЯНИНА

Уже невидимый отцовскому глазу, но живой по-прежнему и оставшийся вдали от него самим собой, Иосиф вглядывался и вживался в египетское бытие: он быстро надел ярмо новых требований, хотя мальчиком, в первой своей жизни, не знал никаких обязанностей и усилий и коротал дни как придется; теперь он деятельно старался подняться на высоту намерений бога, занятый цифрами, инвентарем, товарами, деловыми частностями, а кроме того, вовлеченный в сеть щекотливых, требующих непрерывного внимания человеческих отношений, нити которой вели к Потифару, к доброму Монт-кау, к карликам и бог весть к кому еще внутри и вне дома, - обо всех этих людях на старом его месте, там, где был Иаков и были братья, никто и знать не знал.

Это было далеко-далеко, дальше, чем в семнадцати днях пути, и еще дальше, чем были удалены от своего сына Исаак и Ревекка, когда Иаков вглядывался и вживался в бытие месопотамское. Тогда они тоже понятия не имели о людях и отношениях, окружающих сына, а ему было совсем чуждо их бытие. Где ты, там и мир - узкий круг, в котором живешь, познаешь и действуешь; остальное - туман. Правда, люди всегда стремились переместиться, чтобы погрузилось в туман то, что примелькалось, и поглядеть на иное бытие. Сильно было среди них и неффалимовское стремление - метнуться в туман и сообщить его жителям, которые знали только свой мир, о мире здешнем, и, наоборот, доставить домой любопытные сведения об их бытии. Короче говоря, сообщение и связи

существовали. Существовали они испокон веку и между далекими друг от друга местами людей Иакова, с одной стороны, и Потифаровыми, с другой. Ведь уже и урский странник, привыкший менять поле своего зрения, побывал в Стране Ила, хотя, впрочем не так далеко внизу, как Иосиф теперь, а его супруга-сестра, "прабабка" Иосифа, одно время находилась даже в гареме фараона, который тогда блистал на своем горизонте еще не в Уазе, а выше, несколько ближе к сфере Иакова. Связи между этой сферой и той, что включала теперь в себя Иосифа, существовали всегда: разве мрачный красавец Измаил не взял в жены одну из дочерей ила и разве не этому союзу были обязаны своим существованием полуегиптяне-измаильтяне, избранные и призванные доставить Иосифа вниз? Множество людей, как и они, занималось торговлей между реками, и тысячу лет и дольше сновали по миру гонцы в набедренниках с письмами-кирпичами в складках одежды. Но если эта неффалимовская деятельность была привычной и давней, то расширилась и распространилась она только теперь, в эпоху Иосифа, когда страна его второй жизни и его отрешения стала уже настоящей страной внуков, не замыкаясь более в строгом своеобычии, как того все еще хотел Амун, а приветливо открывшись миру и проникшись такой вольностью нравов, что никому не ведомому мальчику-азиату потребовалось" только известное умение прощаться на ночь и делать из нуля двойку, чтобы стать личным слугой египетского вельможи и всем, чем угодно!

О нет, в возможностях связи между местами Иакова и местами его любимца не было недостатка; но Иосиф, в чьей власти было воспользоваться ими (ведь он знал местонахождение отца, а тот его местонахождения не знал) и которому это ничего не стоило, так как, будучи правой рукой управляющего большим хозяйством и отлично постигнув искусство обобщать и обозревать, он мог прекрасно обозреть и способы снестись с отцом, - Иосиф этого не делал, не делал в течение многих лет, не делал по причинам, давно уже нам известным, ни одна из которых, пожалуй, не будет обойдена, если определить их одним словом: ожидание. Теленок не мычал, он молчал, как мертвый, и, не давая знать корове, на какое поле отвел его человек, он, разумеется, с согласия человека, требовал ожидания и от нее, сколь бы трудным оно ни было именно для нее, ибо корова вынуждена была считать теленка растерзанным.

Нам странно подумать, нас даже смущает мысль, что Иаков, этот скрытый где-то в тумане старик, все это время считал своего сына мертвым, - она смущает нас потому, что, с одной стороны, за него можно порадоваться, так как он заблуждался, а с другой стороны, как раз из-за этого заблужденья его и жаль. Ведь известно, что для того, кто любит, смерть любимого человека имеет и свои преимущества, хотя преимущества, может быть, и несколько унылого характера; и, следовательно, если разобраться, то этот искупающий свою вину старец заслуживает двойного сострадания, коль скоро он считал Иосифа мертвым, а тот даже и не был мертв. Отцовское сердце тешило себя - правда, казнясь тысячей мук, но все же и к сладостному своему утешению, - уверенностью в его смерти; оно мнило, что он, хранимый и укрытый смертью, неизменен и неуязвим, что он больше не нуждается в опеке и навек остался тем семнадцатилетним мальчиком, который уехал верхом на белой Хульде; а все это было сплошным заблуждением - и муки, и постепенно побеждавшая их утешительная уверенность. Ибо тем временем Иосиф был жив и не был застрахован ни от каких передраг. Хоть и похищенный, он не был отнят у времени и не оставался семнадцатилетним юнцом, а рос и созревал там, где он был: ему исполнялось и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один; разумеется, он был по-прежнему Иосифом, но отец уже не узнал бы его, во всяком случае - с первого взгляда. Материя его жизни менялась, сохраняя, однако, свое счастливое благообразие; он созревал и делался шире и крепче, будучи уже не полумальчиком-полуоношей, а полуоношей-полумужчиной. Еще несколько лет, и от материи того Иосифа, которого обнимал на прощанье Иаков-Ревекка, не останется уже ничего - не больше, чем если бы плоть его была разрушена смертью; только меняла его не смерть, а жизнь, и поэтому облик Иосифа до некоторой степени уцелел. Он уцелел в меньшей мере, чем его могла

уберечь в чьем-либо сердце и действительно обманчиво уберегла в сердце Иакова охранница-смерть. Нужно, однако, иметь в виду, что когда речь идет об облике и материи, то вовсе не так и существенно, как нам это кажется, кто удалил из поля нашего зрения то или иное лицо - смерть или жизнь.

Вдобавок и материю, благодаря которой она, меняясь и созревая, приобретала свой облик, жизнь Иосифа извлекала совсем из другой сферы, чем если бы он оставался на глазах у Иакова, а это тоже накладывало отпечаток на его облик. Его питали воздух и соки Египта, он ел пищу Кеме, клетки его тела пропитывались и набухали влагой этой страны, облучались ее солнцем; он одевался в полотно из ее льна, ходил по ее земле, сообщавшей ему свои старые силы и свои безмолвные идеи формы, изо дня в день видел воочию рукотворные воплощения этой безмолвно-решительной всесвязующей главной идеи, наконец, говорил на языке этой страны, который видоизменил его губы и его подбородок настолько, что вскоре Иаков, отец, сказал бы ему: "Отпрыск мой. Даму, что случилось с губами твоими? Я не могу их узнать".

Словом, Иосиф все больше превращался в египтянина лицом и манерами, и происходило это с ним легко, быстро и незаметно, ибо он, как истинное дитя мира, отличался гибкостью души и материи, а кроме того, пришел в эту землю еще очень юным и мягким; тем проще и тем удобней приобретала его натура местные черты, что, во-первых, если говорить о предпосылках физических, в облике его, бог весть почему, всегда было что-то египетское - тонкие члены, лежесные плечи, а во-вторых, если говорить о нравственных предпосылках, положение приспособляющегося к жизни "детей страны" чужеземца было для него не новым, а издавна знакомым, традиционным: ведь и дома он и его соплеменники, потомки Авраама, всегда жили среди детей страны как гости, как "герим", хоть и давно уже обвыкнув, освободившись, приладившись и прижившись, но все же с какой-то внутренней оговоркой, с отстраненным и трезвым взглядом на мерзкие бааловские обычаи истинных детей Канаана. Так жил теперь и Иосиф в земле Египетской; как дитя мира, он легко примирял внутреннюю оговорку с приспособленчеством, ибо эта-то оговорка и помогала ему приспособляться, не боясь, что он предаст бога, элохима, который привел его в эту страну, и на чье согласие и милостивую снисходительность следовало доверчиво рассчитывать, если он, Иосиф, будет во всех отношениях походить на египтянина и внешне целиком уподобится сынам Хапи и подданным фараона - но, конечно, раз навсегда оговорит эту молчаливую свою оговорку. Удивительная получалась картина: с одной стороны, именно как дитя земное, он бодро приспособлялся к быту сынов Египта и был в ладу с их прекрасной культурой; но, с другой стороны, они-то как раз и были детьми земными, на которых он глядел отрешенно, с доброжелательной снисходительностью, проникнутый духовной иронией своего племени по отношению к затейливой мерзости их обычаев.

Его захватил и закружил египетский год с чередой своих времен, с непрерывным хороводом своих праздников, началом которого можно было считать любой: новогодний праздник в начале затопления, невероятно суматошный и богатый надеждами день, оказавшийся, впрочем, как выяснится, роковым для Иосифа; или годовщину вступления на престол фараона, день, когда вновь оживали радостные надежды народа, связанные с первым днем нового правления и новой эпохи: что теперь на смену несправедливости придет справедливость и что люди будут жить, не уставая смеяться и удивляться; или любой другой памятный и праздничный день; ибо это был круговорот повторений.

Иосиф вступил в природу Египта в пору спада воды, когда уже обнажилась земля и совершился посев. В эту пору Иосиф был продан, а потом он последовал дальше в глубь года и вместе с ним закружился: пришла пора урожая, длившаяся, судя по ее названию, вплоть до знойного лета и до тех дней, которые мы называем июнем, когда обмелевшая река, к благоговейному ликованию народа, вновь поднималась и медленно выходила из

берегов, тщательно наблюдаемая и измеряемая чиновниками фараона, ибо весьма важно было, чтобы река разливалась правильно, не слишком буйно, но и не слишком вяло, так как от этого зависело, будет ли пища у детей Кеме, выдастся ли удачный для сбора налогов год и сможет ли фараон продолжить строительные работы. Шесть недель поднимался и поднимался кормилец-поток, он поднимался бесшумно, пядь за пядью, и днем, и ночами, когда люди спали, но даже и во сне не переставали верить в него. И лишь позднее, в пору самого жаркого солнца, которую мы назвали бы второй половиной июля, а дети Египта называли месяцем паофи, вторым месяцем своего года и своего первого времени года, того, что именовалось ахет, поток набирал полную силу и разливался далеко в обе стороны, затопляя поля и покрывая страну, эту особенную, неповторимую, не имевшую себе равных в мире страну, которая поэтому, на первых порах к веселому изумлению Иосифа, превращалась в одно сплошное священное озеро, где, однако, благодаря возвышенному их положению, выступали, подобно островам, города и деревни, связанные между собой проезжими насыпями. Так, давая своему туку, питательному своему илу, осесть на поля, бог стоял целых четыре недели, вплоть до второго, зимнего времени года, которое называлось перет: тут он начинал чахнуть и вновь входить в свои берега - "воды убывали", так определял это явление глубоко пораженный Иосиф, и к нашему январю уже снова уместались в старом своем русле, где, впрочем, продолжали спадать и убывать до самого лета; и семьдесят два дня - это были дни семидесяти двух заговорщиков, дни зимней засухи, когда бог терял силы и умирал, - проходило до того дня, когда фараоновы стражи потока сообщали, что он вновь стал расти и что начался новый благословенный год, может быть, умеренный, а может быть, и обильный, но во всяком случае, избави Амун, не голодный и не настолько бедный оброками, чтобы фараон и вовсе перестал строить.

Для Иосифа время от нового года до нового года или от той поры, когда он впервые вступил в эту страну, до другой такой же, летело быстро; быстро, откуда ни считай, летело оно через три поры года, затопление, посев и жатву, через четыре месяца каждой поры, через праздники, которые каждую из них украшали и в которых он, как дитя мира, участвовал, уповая на высшую снисходительность и с внутренней оговоркой; участвовать в них, и притом с самым невозмутимым видом, он должен был хотя бы уже потому, что идолопоклоннические эти празднества были тесно связаны с хозяйственной жизнью, а он, состоя на службе у Петепра и будучи поверенным Монт-кау, не мог избегать приуроченных к священным обрядам рынков и ярмарок, ибо торговая жизнь всегда бьет ключом в больших человеческих скопищах. В преддверьях фиванских храмов торговля, благодаря повседневному жертвоприношениям, велась непрерывно; но и выше и ниже по реке было множество мест паломничества, куда отовсюду толпами стекался народ, если тот или иной бог, справляя свой праздник, украшал свой дом, вещал устами гадателей и одновременно с подкреплением духовным обещал гулянья, веселую толчею, шумные торжища. Не у одной только Бастет, этой почитаемой в Дельте кошки, был свой праздник, о котором Иосиф некогда услышал всякие непристойности. К мендесскому или, как говорили дети Кеме, к джедетскому козлу богомольцы из дальних и ближних мест ежегодно прибывали точно такими же и даже, пожалуй, еще более веселыми толпами, так как грубый и похотливый козел Биндиди был еще популярнее кошки Бастет и во время своего праздника публично совокуплялся с какой-нибудь девственницей. Мы можем, однако, поручиться за то, что Иосиф, хоть он и совершал деловые поездки на козлиную ярмарку, на это зрелище никогда не оглядывался и, как поверенный своего управляющего, был занят только сбытом папируса, посуды и овощей.

При всех своих свойствах сына мира, на многое в этой стране и в ее обычаях, точнее сказать, праздничных обычаях, ибо праздник - это большой день и апофеоз обычая, - Иосиф, думая об Иакове, не оглядывался или если уж оглядывался, то глядел с самым холодным и отрешенным видом. Так, он не любил любви здешнего люда к хмельному: сочувствовать этому пристрастию ему мешали и воспоминания о Ное, и пример трезвой

вдумчивости отца, и собственная природа, которая была веселой и светлой, но питала отвращение к оупляющему дурману. Дети же Кеме только и радовались случаю опьянить себя пивом или вином - и мужчины и женщины. По праздникам у египтян бывало столько вина, что они могли пить четыре дня подряд вместе с детьми и женами и все это время никуда не годились. Но, кроме того, бывали и особые питейные дни, например, большой пивной праздник в честь одной старой истории о том, как Хатхор, эта могущественная богиня, эта львиноголовая Сахмет, чуть не уничтожила, разъярившись, людей и полное истребление нашего рода было предотвращено только вмешательством Ра, ухитрившегося допьяна напоить ее подкрашенным кровью пивом. Поэтому в соответствующий день дети Египта выпивали совершенно невероятное количество пива - темного пива, очень крепкого пива хес, пива с медом, пива заморского и пива, сваренного в самом Египте, главным образом в городе Дендере, местопребывании Хатхор, куда для этой цели и отправлялись и который, как обитель богини пьянства, даже назывался "столицей пьянства".

На это Иосиф не очень-то оглядывался и пил только для виду, только из вежливости, не больше, чем это требовалось для дела и для приспособления к здешним нравам. Весьма отрешенно, памятуя об Иакове, глядел он и на некоторые другие местные обычаи, дававшие знать о себе во время большого праздника владыки мертвых Усира, в самые короткие дни года, когда умирало солнце - хотя вообще-то к этому празднику, к его играм и представлениям Иосиф относился с сочувственным вниманием. Эти дни были годовщиной страданий растерзанного, похороненного и воскресшего бога, чья история, в виде блистательного маскарада, воспроизводилась жрецами и народом со всеми ее ужасами и со всей радостью по поводу воскресения, которая выражалась подпрыгиваньем на одной ноге и всяким традиционным шутовством, включавшим в себя и древние, никому уже толком не понятные лицедейства: например, устраивались очень жестокие потасовки между двумя группами людей, одна из которых изображала "жителей города Пе", а другая - "жителей города Депа", хотя никто понятия не имел, что это за города; или же с насмешливым гоготом и опять-таки очень жестоко колотя их по спинам палками, прогоняли вокруг города стадо ослов. В том, что это животное, считавшееся символом фаллической мощи, осыпали насмешками и ударами, заключалось известное противоречие, ибо, с другой стороны, праздник умершего и похороненного бога был также чествованием напряженной мужской силы, которая прорвала свивальники Усира, благодаря чему Исет, в виде самки коршуна, зачала от него сына-мстителя, и в деревнях в эти дни года женщины устраивали величальные шествия с фаллом в локоть длиной, который они приводили в движение с помощью особых веревочек. Таким образом, насмешки и побои противоречили величаньям; противоречили же они им по той понятной причине, что упрямое продолжение рода было, с одной стороны, делом горячо любимой жизни и плодотворного бытия, а с другой стороны, и тут-то вся суть, делом смерти. Ведь Усир был мертв, когда от него зачинала Изиди-коршун; все боги обретали в смерти упрямую плодовитость, и в этом-то, говоря между нами, и заключалась причина, почему Иосиф, при всем своем личном сочувствии празднику Усира, Растерзанного, не глядел на некоторые обряды этого праздника и внутренне отрешался от них. Что же это за причина? Говорить о ней щекотливо и трудно, если один ее знает, а другой еще не видит ее, что, впрочем, вполне простительно, тем более что сам Иосиф почти не видел ее и она наполовину, если не на три четверти, ускользала от его сознания. Тут сказывался едва ощутимый, почти безотчетный страх его совести перед изменой, изменой "господину" - независимо от того, к кому будет отнесено обозначенное этим словом понятие. Нельзя забывать, что он считал себя мертвым, принадлежащим царству мертвых, где он теперь рос, нельзя забывать, какое имя принял он там с рассудительной дерзостью. Да и не так уж велика была его дерзость, коль скоро дети Мицраима давно уже добились того, чтобы каждый из них, даже самый ничтожный, становился после смерти Усиром и сочетал свое имя с именем Растерзанного, по тому же образцу, по какому бык Хапи превращался по смерти в Сераписа, то есть так, чтобы это

сочетание значило "умереть и стать богом" или "быть как бог". А это-то "быть богом" и "умереть" наводило на мысль о прорывающей свивальники мужественности; и полуосознанный страх Иосифа был связан с тайной догадкой, что известные взоры, пугающе и отраднo вкравшиеся тогда из-за Дуду в его жизнь, имеют уже далекое, но опасное отношение к божественной плодовитости смерти, а значит - к измене.

Итак, мы сказали, мы как можно деликатнее объяснили, почему Иосиф старался не видеть обрядов Усирова праздника, - ни шествий деревенских женщин, ни избиваемых палками ослов. А вообще-то, и в городах и в деревнях, он многое видел в украшенном праздниками круговороте года египетского. Случалось ему, по мере того как бежали годы, видеть и фараона... Ибо бывало, что бог являлся людям - не только у "окна появления", где он в присутствии некоторых избранных лиц осыпал счастливицев золотыми наградами, но и когда он благоволил воссиять над горизонтом дворца и показаться в полном своем великолeпии всему народу, который при этом от радости начинал скакать на одной ноге, как то было предписано, да и вполне отвечало внутренним побуждениям детей Египта. Фараон, как заметил Иосиф, был толст и приземист, цвет лица у него был, по крайней мере когда сын Рахили увидел его во второй или в третий раз, не очень хороший, а выражение его глаз удивительно напоминало Монт-кау, когда у того ныла больная почка.

Действительно, в те годы, которые Иосиф провел в доме Петепра, все больше там возвышаясь, Аменхотеп Третий, Неб-ма-ра, начал хворать, обнаруживая в своем физическом состоянии, по мнению сведущих во врачебном искусстве жрецов храма и волшебников книгохранилища, усиливающуюся склонность к воссоединению с Солнцем. Воспрепятствовать этой склонности пророки-целители никоим образом не могли, поскольку она имела слишком много естественных оснований. Когда Иосиф во второй раз проходил круг египетского года, божественный сын Тутмоса Четвертого и митаннийки Мутемвейе отмечал тот юбилей своего царствования, который назывался хебсед, иными словами, тогда исполнилось тридцать лет с тех пор, как он, с бесчисленными церемониями, точнейшим образом повторявшимися в великую годовщину, надел на свою голову двойной венец.

Великолепная, почти свободная от войн жизнь властелина, отягощенная иератической пышностью и заботами о стране, словно золотыми плащами, наполненная охотничьими радостями, на память о которых он раздавал каменных скарабеев, и гордая своими строительными свершениями, - эта жизнь была у него позади, и теперь его природа претерпевала упадок, как природа Иосифа - рост. Прежде величество этого бога страдало лишь от частой зубной боли, каковой способствовала его привычка грызть смолисто-пахучие сладости, так что оно нередко присутствовало на аудиенциях и на государственных приемах в престольной палате с распухшей щекой. Но после хебседа (когда Иосиф увидел божественный выезд) недомогание пошло уже от других, более глубоко скрытых органов: фараоново сердце временами слабело, временами же стучалось в грудь слишком часто, спирая дыхание; в выделениях бога появились вещества, которые должны были бы задерживаться в его теле, но в нем не удерживались, так как оно содействовало своему разрушению; а еще позднее, помимо щеки, раздалась и разбухли живот и ноги. Тогда дальний собрат и корреспондент бога, тоже считавшийся божеством в своей сфере, митаннийский царь Тушратта, сын Шутарны, отца Мутемвейе, которую Аменхотеп называл своей матерью, - короче говоря, его евфратский шурина (ибо дочь Шутарны царевну Гилухипу фараон ввел в свой гарем в качестве побочной жены) из своей далекой столицы прислал ему чудодейственное изображение Иштар; услышав о невзгодах фараонова тела, он прислал это изваяние в Фивы с надежной охраной, так как ему, Тушратте, оно всегда являло, в более, правда, легких случаях, свою целебную силу. Вся столица, нет, весь Верхний и Нижний Египет, от негритянских границ и до моря, говорил о прибытии этого посольства во дворец

Меримат, и в Потифаровом доме тоже только об этом и шли разговоры целыми днями.

Известно, однако, что владычица дороги Иштар не смогла или не пожелала ослабить одышку и отеки фараона надолго - к удовлетворению, кстати сказать, местных волшебников, чьи зелья тоже не оказывали больному никакой существенной помощи просто потому, что его склонность к воссоединению с Солнцем была сильнее всего на свете и медленно, но верно делала свое дело.

Иосиф видел фараона во время хебседа, когда вся Узет была на ногах и глядела на выезд бога - одну из тех торжественных процедур, что заполняли этот радостный день. Большая часть этих процедур, всякие облачения, восхождения на престол, очистительные омовения жрецов в масках богов, окуривания и прочие архисимволические манипуляции, совершались внутри дворца, в присутствии только самых знатных людей двора и страны, а народ в это время пил и плясал на улицах, отдавшись представлению, что время отныне коренным образом обновится и начнется эра благоденствия, справедливости, мира, смеха и всеобщего братства. Уже тридцать лет назад радостная эта уверенность была восторженно связана с подлинным днем смены царя; с тех пор каждую годовщину она оживала вновь, хотя, правда, в несколько более слабой и поверхностной форме. Но в хебсед она воскресала в сердцах во всей своей свежести и праздничности как торжество веры над опытом, как культ убежденности, которой не вырвет из души человека никакой опыт, потому что она вложена в его душу свыше... Зато выезд фараона, когда он в полдень направлялся к дому Амуна, чтобы принести жертву, был зрелищем публичным, и толпы народа, в том числе Иосиф, ждали царя на западе, у самых ворот дворца, а другие толпы обступали дорогу, по которой он должен был проследовать через правобережную часть города - в особенности проспект Овнов, главную улицу Амуна.

Царский дворец. Великий Дом, у которого фараон и заимствовал свое наименование, ибо слово "фараон" означало не что иное, как "Великий Дом", хотя в устах детей Египта оно звучало несколько иначе, отличаясь от слова "фараон" так же, как имя "Петепра" от имени "Потифар", - итак, царский дворец находился у края пустыни, у подножья пестроблестящих фиванских скал, посреди просторного круга обводной стены с охраняемыми воротами, которая охватывала также прекрасные сады бога и сверкавшее среди цветов и чужеземных деревьев озеро, возникшее по манию фараона и главным образом на радость Тейе, Великой Супруги, в восточной части садов.

Сколько ни вытягивал шею толпившийся у дворца люд, из ослепительного великолепия Меримата он мало что видел; он видел у ворот стражей с кожаными клиньями над набедренниками и с перьями на шлемах, видел, как блестит на непрестанном ветру освещенная солнцем листва, видел затейливые крыши над пестрыми балясинами, видел, как на золотых шестах развеваются длинные разноцветные флаги, и вдыхал сирийские ароматы, поднимавшиеся от невидимых садовых гряд и как нельзя более согласные с идеей божественности фараона, тал как сладостное благоухание обычно сопутствует божеству. А потом оправдывалось ожидание всех этих балагуров, зубоскалов и зевак перед воротами, и когда струг Ра достигал самой высокой своей точки, раздавался клич, часовые у ворот поднимали копья, и между шестами с флагами распахивались бронзовые створки, открывая вид на посыпанную синеватым песком дорогу сфинксов, которая шла через сад и по которой торжественный поезд фараона мчался через главные ворота в пятящуюся, расступающуюся, кричащую от радости и от страха толпу. Ибо предварительно в нее врывались скороходы с дубинками и расчищали путь колесницам и коням, пронзительно крича: "Фараон! Фараон! Трепещи! Головы долой! Посторонись! С дороги, с дороги, с дороги!" И народ, пьяный от радости, расступался, подпрыгивал на одной ноге, отчего по толпе ходили волны, как по морю в бурю, протягивал худые руки к солнцу Египта, восторженно посылал воздушные поцелуи; а

женщины вздымали в воздух барахтающихся и хнычущих ребятишек или, запрокинув головы, жертвенно поднимали обеими руками груди, оглашая окрестность ликующими и страстными криками: "Фараон! Фараон! Могучий бык своей матери! Крылатый духом! Живи миллионы лет! Живи вечно! Люби нас! Благослови нас! Мы неистово любим и благословляем тебя! Золотой сокол! Гор! Гор! Ты всеми своими членами Ра! Хепре в истинном его облике! Хебсед! Хебсед! Поворот времени! Конец горестям! Восход счастья!"

Такое ликованье народа - зрелище очень волнующее, оно захватывает даже человека постороннего, внутренне отрешенного. Иосиф тоже немного покричал и попрыгал с детьми Египта, но главным образом он глядел, глядел в немом волненье. А глядел он так внимательно и волновался он так потому, что увидел самого высокого, фараона, который выходил из своего дворца, как луна среди звезд, и потому что, согласно древнему, приобретенному у него, Иосифа, несколько земной и мирской характер завету, он всегда устремлялся сердцем к самому высшему, чему единственно и должен служить человек. Еще далеко ему было до того, чтобы предстать перед самым высоким в ближайшем своем окружении, Потифаром, а его помыслы, как мы не преминули заметить, были уже направлены на еще более, так сказать, окончательные и безусловные воплощения этой идеи. Теперь мы увидим, что в своем стремлении забежать вперед он и на этом не останавливался.

Вид фараона был чудом. Его колесница, сплошь из чистого золота - с золотыми колесами, золотыми стенками и золотым дышлом, - была покрыта чеканными изображениями, разглядеть которые, однако, не удавалось, ибо на ярком полуденном солнце она сверкала так ослепительно, что глазам становилось невмощно; а так как колеса ее и копыта коней взметали густые клубы пыли, то казалось, будто фараон мчится в дыму и пламени, и зрелище это было и страшным, и величественным. Казалось, что и кони, запряженные в колесницу, "большая первая упряжка" фараона, как говорили египтяне, вот-вот выдохнут пламя ноздрями - в таком диком плясе неслись эти налитые мышцами жеребцы в нарядной своей сбруе, с золотыми яремными нагрудниками, золотыми же львиными головами и качающимися перьями султанов на темени. Фараон правил сам; он стоял один в огненной колеснице и сжимал поводья левой рукой, а правой, торчком, на какой-то священный лад, косо держал перед грудью, у самого низа сверкающего золотом воротника, бич и изогнутый, черно-белый жезл. Фараон был уже довольно дряхл, это было видно по его ввалившемуся рту, по его усталому взгляду, по спине, которая явно горбилась под белой, как лотос, верхней одеждой. Скулы отчетливо выступали на его худощавом лице, и казалось, что он поддурманил щеки. Сколько всяческих амулетов висело у него на боку под платьем - и завязок, разнообразно скрепленных и сплетенных, и талисманов в виде твердых предметов! Голову его, до самого затылка, покрывала голубая тиара, усеянная желтыми звездами. А в лобной ее части, над носом фараона, мерцая разноцветной финифтью, дыбилась ядовитая змея кобра, волшебное отворотное средство Ра.

Так, не глядя ни вправо, ни влево, проехал царь Верхнего и Нижнего Египта мимо Иосифа. Высокие опахала из страусовых перьев качались над ним, воины-телохранители, щитоносцы и лучники, египтяне, азиаты и негры бежали со знаменами рядом с его колесами, а офицеры следовали за ним в повозках, кузова которых были обтянуты пурпурной кожей. А потом весь народ снова молитвенно загомонил, ибо за этими повозками показалась еще одна, особая, с золотыми, сверкавшими в пыли колесами, и в ней стоял мальчик, лет восьми или девяти, тоже под страусовыми опахалами, и сам держал вожжи и бич слабыми, в браслетах руками. Лицо у него было продолговатое, бледное, с полными, малиново-красными, что особенно подчеркивало эту бледность, губами, печально и приветливо улыбавшимися кричавшей толпе, и полуоткрытыми глазами, подернутыми поволокой не то гордости, не то грусти. Это был Аменхотеп,

божественное семя, наследный принц, преемник престола и венцов, когда его предшественник соблаговолит воссоединиться с Солнцем, единственный сын фараона, дитя его старости, его Иосиф. По-детски худое туловище этого возникшего было обнажено, если не считать запястий на руках и тускло поблескивавшего финифтяными цветами воротника на шее. Но его плоеный золототканый набедренник захватывал большую часть спины и доходил до икр, хотя спереди, где сверху висел клапан с золотой бахромой, глубокий дугообразный вырез ниже пупка открывал вздутый, как у негритенка, живот. Золототканая повязка, гладко прилежавшая ко лбу, где у мальчика, как и у отца, торчала змея, окутывала его голову, образуя на затылке кошель для волос, а над одним ухом, в виде широкой бахромчатой ленты, у него свисала детская прядь царских сыновей.

Во всю мощь своих глоток приветствовал народ это уже рожденное, но еще не восшедшее Солнце, это солнце, скрытое горизонтом востока, солнце завтрашнее. "Мир Амуна! - кричали люди. - Многая лета сыну бога! Как ты прекрасен на светозарном небе! О, мальчик Гор с детской прядью! О, волшебный сокол! Защитник отца, защити нас!" Им еще долго нужно было кричать и молиться, ибо вслед за окольными, поспешавшими за солнцем грядущего дня, опять показалась огнеблещущая колесница с высоким навесом, где позади согнувшегося над перилами возницы стояла Тейе, жена бога. Великая Супруга Фараона, владычица стран. Она была мала ростом и смугла лицом; ее подведенные в длину глаза блестели, ее изящно-крепкий божественный носик отличался решительностью изгиба, а ее толстогубый рот улыбался сытой улыбкой. На земле не было ничего, что могло бы сравниться по красоте с ее головным убором, представлявшим собой диадему в виде грифа, целой золотой птицы, чье туловище с вытянутой вперед головой прикрывало темя Тейе, а чудесной выделки крылья спускались к ее щекам и плечам. А к спине птицы был еще прикован обруч, откуда поднималось несколько высоких и жестких перьев, превращавших эту диадему в венец божества; на лбу же царицы, кроме голого, хищного, с крючковатым клювом черепа грифа, торчала и очковая, налившаяся ядом змея. Знаков высшей власти и божественного отличия на жене фараона было более чем достаточно, их было слишком много, чтобы народ не пришел в восторг и не начал самозабвенно кричать: "Исет! Исет! Мут, небесная мать-корова! Богоносное чрево! О ты, что наполняешь дворец любовью, сладостная Хатхор, помилуй нас!" Во весь голос приветствовал он и царских дочерей, которые, обнявшись, стояли в повозке позади скрючившегося в три погибели и в такой позе правившего конями возницы, а также придворных дам, каковые затем проезжали парами с почетным опахалом в руке, равно как и Вельмож Близости и Доверительности, истинных и единственных друзей фараона, посетителей Утреннего Покоя, ехавших следом. Так, сквозь толпы, двигался этот праздничный поезд по суше к реке, где стояли наготове пестрые струги, и среди них небесный струг фараона "Звезда обеих стран", чтобы бог, родительница, семя и весь двор переправились на восточный берег и там, уже на других упряжках, проехали через город живых, где на улицах и на крышах тоже кричал и неистовствовал народ, - к дому Амуна, на великое воскурение.

Так вот и увидел Иосиф "фараона", как однажды, будучи предметом продажи, впервые увидел во дворе благословенного дома "Потифара", самое высокое лицо ближайшего своего окружения; тогда он подумал, что должен будет во что бы то ни стало оказаться с ним рядом. Теперь, благодаря умной словоохотливости, он был рядом с ним; но наша история утверждала, что уже тогда он тайне задался целью вступить в связь с более отдаленными и, так сказать, окончательными проявлениями высочайшего, а затем она приписала его воле стремления, идущие даже еще дальше. Как же понимать это последнее? Разве может быть что-либо еще выше, чем высочайшее? Конечно, может быть, если только в крови у тебя есть вкус к будущему: еще выше высочайшее завтрашнего дня. Среди ликованья толпы, в котором он участвовал с известной сдержанностью, Иосиф достаточно тщательно разглядел фараона. И все же самое глубокое, самое участливое его любопытство относилось не к старому богу, а к тому, кто

должен был прийти ему на смену, к мальчику с длинной прядью и болезненно улыбающимися губами, к Иосифу фараона, к наследному Солнцу. Его провожал он взглядом, его узкую спину и его золотой кошель для волос, его слабые, в браслетах руки, управлявшие лошадьми; его, а не фараона провожал он взглядом души и тогда, когда все уже миновало и толпа хлынула к Нилу; малым, грядущим Солнцем были заняты мысли Иосифа, и это, вероятно, объединяло его с детьми Египта, которые тоже при виде юного Гора кричали и молились еще усерднее, чем когда мимо них проезжал сам фараон. Ибо будущее - это надежда, и человеку из милости отпущено время, чтобы он жил ожиданием. А разве Иосифу не нужно было еще расти и расти на своем месте, чтобы у него появилась хотя бы самая ничтожная, самая общая возможность только предстать перед самым высоким, а не то что стать рядом с ним? Поэтому вполне закономерно, что на празднике хебседа его взгляд устремлялся за нынешний предел высоты в будущее, к еще не восшедшему солнцу.

## ОТЧЕТ О СКРОМНОЙ СМЕРТИ МОНТ-КАУ

Семь раз провел Иосифа по своему кругу египетский год, восемьдесят четыре раза прошло любимое им и родственное ему светило через все свои состояния, и от той матери сына Иакова, в которой его, тревожась и благословляя, отпустил от себя отец, действительно ничего уже не осталось в ходе непрерывного обновления; он носил, так сказать, совсем новую одежду, в которую бог облек теперь его жизнь и в которой не было уже ни одного волокна от прежней, принадлежавшей семнадцатилетнему юноше: в этой, сотканной из египетских прибавлений одежде Иаков с трудом узнал бы его, - сыну уже пришлось бы заверить отца: это я, Иосиф. Семь лет прошли у него во сне и в бдении, в раздумьях, в ощущениях, в делах и событиях, как проходят дни, то есть ни быстро, ни медленно, а просто прошли - и все тут, и вот ему было уже от роду двадцать четыре года, и он был прекрасен лицом и станом, этот полуюноша-полумужчина, сын миловидной, дитя любви. Уверенней и решительней были теперь его деловая повадка и полновзвучнее некогда ломкий голос, когда он, обходя как надсмотрщик работников и челядинцев дома, распоряжался по-своему или же передавал распоряжения Монт-кау по праву его заместителя и главных уст. Ибо таковым он давно уже был, и с не меньшим правом его можно было назвать также глазом, ухом или правой рукой управляющего. Домочадцы, однако, именовали его просто "уста", ибо так вообще принято было в Египте называть уполномоченных, передающих приказы хозяина, а в данном случае это прозвище напрашивалось на язык еще и благодаря двойному смыслу, который оно приобретало применительно к Иосифу; ведь этот юноша говорил, как бог, и дети Египта, высоко ценившие красноречие и даже считавшие его величайшим наслаждением, отлично понимали, что именно красивыми и умными речами, до каких они сами никогда не додумались бы, он сделал или, во всяком случае, подготовил свою карьеру у господина и у Монт-кау.

Монт-кау доверял ему уже решительно все: и управление хозяйством, и расчеты, и надзор, и торговые сделки, и если в предании говорится, что Потифар отдал весь свой дом на руки Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел, то сказано это в широком, переносном смысле: строго говоря, хозяин возложил все на своего управляющего, а уж тот - на новокупленного раба, с которым заключил договор об угождении хозяину; кстати сказать, хозяин и дом могли быть довольны, что такое перепоручение кончалось на Иосифе и что в конце концов вел хозяйство действительно он, а не кто другой, ибо, радея о господе и о его далеко идущих замыслах, он вел хозяйство с умелой преданностью и пекся о выгодах дома и днем и ночью, а потому, в полном согласии с выражением старого измаильтянина и со своим собственным именем, не только снабжал дом, но и умножал его.

Почему к концу этого семилетнего отрезка времени Монт-кау все больше и больше

перекладывал на плечи Иосифа надзор за домом, а потом и вовсе ушел от всех дел в Особый Покой Доверия - об этом пойдет речь чуть ниже. А прежде нужно заметить, что зловредному Дуду, сколько он ни старался, никак не удавалось преградить Иосифу путь, которым тот столь счастливо следовал, еще до истечения этих семи лет оставив далеко позади не только всех прочих слуг, но и малорослого Потифарова гардеробщика с его чином и положением в доме. Должность Дуду, доставшаяся этому человечку, несомненно, за его достойную солидность и карличью полноценность, была, конечно, весьма почетна и, предполагая личную близость к господину, по самой природе своей должна была способствовать опасным для Иосифа нашептываниям. Но Потифар терпеть не мог этого женатого карлика; степенность и важность Дуду были ему глубоко противны, и, не считая себя вправе лишить его должности, он всячески старался быть от него подальше, для чего и в одежной, и в Утреннем Покое ставил посредников между собою и карликом, которому предоставил только заведовать украшениями, нарядами, амулетами и почетными знаками, допуская его к себе не чаще и не на больший срок, чем то было совершенно необходимо, так что Дуду не мог ему толком и слова сказать, не то что произнести обвинительное слово против этого чужеземца и его досадного возвышения в доме.

Но даже и представься удобный случай, карлик все равно не отважился бы завести такой разговор - с самим повелителем. Отлично зная, как он противен хозяину - и тайной своей заносчивостью, которой он никак не мог, да и не хотел отрицать перед самим собой, и тем, что он сторонник солнечного главенства Амуна, - Дуду опасался, что его слова не возымеют действия на Петепра. Нужно ли было ему, супругу Цесет, убеждаться в этом на опыте? Нет, он предпочитал идти косвенными путями: через госпожу, которая, по крайней мере, внимательно выслушивала его частые жалобы; через Векнехонса, этого сильного Амунова стража, которого он, когда тот посещал госпожу, мог настропалить против враждебного старинным обычаям покровительства чужеземцу-хабиру; да и Цесет, полномерную свою супругу, которая несла службу у Мут-эм-энет, он заставлял влиять на нее в духе своей ненависти.

Но и усердный подчас не достигает успеха - представьте себе, что Цесет не принесла бы супругу плодов их брака, и вы получите наглядный тому пример. Вот так же и в данном случае были безуспешны старанья Дуду; они не приносили ему плодов. Известно, правда, доподлинно, что однажды во дворце, в палате перед покоем фараона, первосвященник Амуна Бекнехонс дипломатически пожурил Петепра за огорчительное для набожных его, Петепра, домочадцев возвышение некоего нечистого чужеземца, сделав ему отечески-вежливое замечание на этот счет. Однако носитель опахала не понял, о ком идет речь, стал напрягать свою память, заморгал глазами, обнаружил свою рассеянность, а задерживаться на частностях, на мелочах, на делах домашних больше, чем на мгновение, Бекнехонс, как человек большого полета, совершенно не был способен: он тотчас же перешел к высоким материям, стал указывать на все четыре стороны света, заговорил о делах государственных, о сохранении власти, не преминув упомянуть иноземных царей Тушратту, Шуббилулиму и Абдаширту, и разговор растекся по общим местам... Что же касается Мут, госпожи, то она даже и заставить себя не могла заговорить об этом с супругом, так как знала его глухое упрямство, да и не привыкла обсуждать с ним какие-либо дела и, обмениваясь с ним лишь сверхпредупредительными нежностями, воздерживалась от предъявления ему каких-либо требований. Этими причинами объяснялось ее молчаливое невмешательство. Для нас, однако, оно является одновременно указанием, что в то время, то есть на исходе этих семи лет, присутствие Иосифа оставляло ее равнодушной и ей еще не было важно прогнать его из дому и со двора. Желание, чтобы он был удален и скрылся прочь с ее глаз, пришло к жене египтянина позднее, пришло одновременно со страхом перед самой собой, которого сейчас ее гордость еще не знала. И еще об одном поразительном "одновременно" приходится тут сказать: одновременно с тем, как госпожа поняла, что ей лучше не видеть

больше Иосифа, и действительно попросила Петепра его удалить, - Дуду, казалось, переменял свое отношение к молодому хабиру и стал его сторонником; он начал так усиленно подлизываться к нему и прислуживаться, что карлик и госпожа словно бы поменялись ролями - и теперь она переняла его ненависть, а он на все лады расхваливал ей этого юношу. И то и другое было, однако, притворством. Ибо в тот миг, когда госпожа выразила желание, чтобы Иосифа удалили, она на самом деле уже не могла этого желать и обманывала самое себя, притворяясь, что хочет этого. А Дуду, который, конечно, обо всем догадывался, просто хитрил и надеялся лишь, что, прикинувшись его товарищем, он успешней напакустит сыну Иакова.

К этому мы скоро, немного ниже, вернемся. Событием же, которое уготовило или, во всяком случае, имело своим последствием эти перемены, была злосчастная болезнь управляющего Монт-кау, союзника Иосифа по преданной службе хозяину, - злосчастная для него, злосчастная для Иосифа, привязанного к нему всем сердцем и испытывавшего чуть ли не угрызения совести из-за его болезни, злосчастная для всякого, кто сочувствует этому простому, но прозорливому человеку, даже если сочувствие сочетается тут с пониманием планомерной необходимости его ухода. Ибо в том, что Иосиф оказался в доме, управляющий которого был обречен смерти, нельзя не видеть определенной планомерности, и смерть управляющего была в известной степени жертвенной смертью. Счастье только, что в душе он склонялся к отставке и проявлял ту готовность, которую мы в другом месте пожелали свести к застарелой болезни почек. Вполне, однако, возможно, что его недуг был лишь физическим выражением этой душевной склонности, отличным от нее не больше, чем слово от мысли и письменное начертание от слова, и что, следовательно, в книге жизни Монт-кау почка была иероглифом для обозначения отставки.

Какое нам дело до Монт-кау? Почему мы говорим о нем не без умиления, хотя мало что можем сказать о нем, кроме того, что он был человеком сознательно простым, то есть скромным, и порядочным, то есть одновременно практичным и душевным, что нам за дело до того, кто жил некогда на земле и в стране Кеме, рано ли, поздно ли, но, во всяком случае, в те времена, когда именно его произвела на свет многолюдная жизнь, времена пусть поздние, но все же достаточно ранние, чтобы его мумия давно уже рассыпалась на мельчайшие части и была развеяна по миру всеми ветрами? Он был трезвым сыном земли, который не мнил, что он лучше, чем жизнь, и, в сущности, не желал знать ни о чем высшем и дерзновенном - но не по низости своей, а по скромности, ибо в глубинах души был вовсе не глух к высшим велениям, благодаря чему и сумел сыграть такую немаловажную роль в жизни Иосифа, ведя себя при этом, в сущности, точно так же, как когда-то большой Рувим: ведь образно говоря, Монт-кау тоже отступил с опущенной головой на три шага от Иосифа, а потом от чего отвернулся... И уже одна эта порученная ему судьбой роль обязывает нас отнестись к нему с известным участием. Но и совершенно независимо от нашей обязанности, чисто по-человечески, нас привлекает эта простая и все же душевно тонкая фигура, в силу некоей сочувственной потребности, которую он бы назвал колдовством, восстанавливаемая нами сейчас из праха тысячелетий.

Монт-кау был сыном средней руки чиновника из казнохранилища храма Монгу в Карнаке. Рано, когда ему было всего пять лет, его отец, Ахмос по имени, посвятил его Тоту и отдал его в имевшееся при храме училище, где в великой строгости, на скудном довольствии и щедрых побоях (ибо существовала поговорка, что уши у ученика на спине и что он слушает, когда его бьют) воспитывалось подрастающее поколение чиновников Монту, воинственного бога с головой сокола. Впрочем, это была не единственная задача училища: посещаемое детьми разного происхождения, и знатного и низкого, оно вообще давало основы литературной образованности, обучая божественной речи, то есть письму, искусству тростинки и приятного слога, а это было предпосылкой не только для карьеры

чиновника-писца, но и для карьеры ученого.

Что касается сына Ахмоса, то он не хотел стать ученым - не потому, что он был для этого слишком глуп, а из скромности и потому что с самого начала твердо решил довольствоваться умеренно-добропорядочным положением и ни в коем случае не заноситься высоко. И если, в отличие от отца, он не провел всю свою жизнь в канцеляриях Монту, а стал управляющим у вельможи, то даже это произошло почти вопреки его воле; его учителя и начальники рекомендовали его и добыли ему эту прекрасную должность без каких-либо ходатайств с его стороны, из уважения к его способностям и к его сдержанности. Бит он бывал в училище только в пределах неизбежного, причитавшегося и самому лучшему ученику, чтобы он слушался; общую свою смывленность он доказывал быстротой, с которой овладевал великим подарком божественной обезьяны - письмом, умной аккуратностью, с какой он, ведя длинные строки, запечатлевал в своих ученических свитках преподанное, все эти правила приличия, образцы писем, древние наставления, назидательные стихи, увещательные речи и похвалы писцам, а на обороте тем временем подсчитывал заприходованные мешки зерна и делал наброски деловых писем, ибо чуть ли не с самого начала участвовал в практической деятельности управления храмом, - участвовал скорее по собственной воле, чем по воле отца, который был бы рад, если бы его сын достиг большего, чем он сам, и стал каким-нибудь прорицателем бога, волшебником или, например, звездочетом, тогда как Монт-кау сызмала решительно и скромно готовил себя к деловой жизни.

Есть что-то своеобразное в таком врожденном смирении, проявляющемся в добросовестном усердии, в спокойной терпимости ко всяким невзгодам жизни, из-за которых другой возроптал бы и вознегодовал на богов. Монт-кау сравнительно рано женился на дочери одного отцовского сослуживца, горячо ее полюбив. Но его жена умерла во время первых родов, а с ней и ребенок. Монт-кау горько ее оплакивал, однако он не был особенно поражен подобным ударом и не очень донимал богов жалобами на такую судьбу. Он не делал попыток устроить заново свое семейное счастье, а остался вдовцом, и вдовцом одиноким. Сестра его была замужем за одним фиванским лавочником, Монт-кау иногда навещал ее на досуге, до которого он вообще-то не был охотником. Закончив ученье, он сначала работал в канцелярии храма Монту, потом стал управляющим в доме первого пророка этого бога и наконец оказался во главе прекрасного дома царедворца Петепра, где уже десять лет добродушно, но твердо исполнял свои обязанности, когда измаильтяне доставили ему более способного, чем он, помощника в преданном служении нежному господину и одновременно его преемника.

Что Иосифу суждено быть его преемником, он почувствовал рано, ибо при всей своей умышленной простоте был человеком проницательным, и можно сказать, что эта простота, эта склонность к самоограничению и к самоотстранению была даже следствием его проницательности, проницательности болезни, дремавшей в его крепком теле, болезни, без влияния которой - ибо, подтачивая силы, она утончала душу, - он вряд ли бы оказался способен составить себе те деликатные впечатления, которые у него создались при первом взгляде на Иосифа. В то время он уже знал свое слабое место, так как знахарь Краснопузый, на основании глухой боли, нередко испытываемой Монт-кау в спине и в левом бедре, а также блуждающих болей в области сердца, частых приступов тошноты, замедленного пищеварения, плохого сна и чрезмерного давленья мочи, сказал ему напрямик, что у него червоточина в почке.

Эта болезнь по природе своей часто бывает скрытой и медленной, она иногда пускает корни в самом раннем возрасте и оставляет промежутки кажущегося здоровья, делая вид, что она затихла или даже совсем прекратилась, чтобы затем снова явить признаки своего продвижения. На двенадцатом году жизни у Монт-кау, как ему помнилось, была

уже однажды кровь в моче, но только однажды, а потом ее много лет не было, так что этот пугающий и показательный случай постепенно забылся. Лишь когда ему исполнилось двадцать лет, она появилась снова - одновременно с вышеописанными недугами, причем тошнота и головная боль вызвала желчную рвоту. Это тоже прошло; но с тех пор он, человек спокойный и дельный, должен был жить в постоянной борьбе с то отступающей и на целые месяцы, а то и годы отпускающей его, то вновь с большей или меньшей силой овладевающей им болезнью. Скромность, ею вызванная, вырождалась подчас в глубокую вялость, тоску и подавленность, подавленность физическую и душевную, вопреки которой Монт-кау с тихим геройством выполнял свой каждодневный урок и которую люди сведущие или выставлявшие себя сведущими во врачебном искусстве преодолевали кровопусканиями. И так как аппетит у него был удовлетворительный, язык - чистый, испарение кожи не нарушалось, а частота пульса была достаточно равномерна, то эти лекари не сочли его опасно больным и тогда, когда однажды у него на щиколотках появились бледные пузыри, откуда, когда их прокололи, вышла водянистая жидкость. Более того, так как выделение жидкости явно разгружало сосуды и взбадривало сердце, врачи сочли это явление даже благотворным, означаящим, что болезнь выходит наружу и утекает.

Нужно сказать, что с помощью Краснопузого и его садовых лекарств он довольно сносно прожил десятилетие, предшествовавшее появлению Иосифа, хотя своей редко утрачиваемой работоспособностью был скорее обязан скромной силе собственной воли, чем народной мудрости Краснопузого. Первый по-настоящему тяжелый приступ - с такими отеками рук и ног, что ему пришлось их перевязать, с неистовой головной болью, бурными возмущениями желудка и даже помутнением глаз - случился у него почти сразу же после того, как прибыл Иосиф, и, пожалуй, даже во время переговоров со стариком-измаильтянином и осмотра товара это обострение уже начиналось. Так мы, по крайней мере, полагаем; ибо нам кажется, что тонкие предчувствия, возникшие у Монт-кау при виде Иосифа, и та особая растроганность, в которую привело его пробное пожелание спокойной ночи, были уже вестниками припадков и признаками болезненно повышенной чувствительности. Но возможно и другое врачебное толкование, а именно что, наоборот, эти слишком ласковые прощальные слова вызвали известное ослабление его природы и ее сопротивляемости неизменно осаждающему ее недугу, - и мы действительно склонны опасаться, что ежевечерние пожелания Иосифа, как ни были они приятны управляющему, отнюдь не шли на пользу его жизнеутверждающей воле, которая бессознательно боролась с болезнью.

И то, что Монт-кау поначалу совсем не заботился об Иосифе, тоже объясняется главным образом тогдашним приступом, сковавшим его. Как и многие позднейшие, более слабые или столь же сильные вспышки, этот приступ миновал благодаря Хун-Ануповым кровопусканиям, пиявкам, фантастическим зельям растительного и животного происхождения, а также примочкам из листов исписанного папируса, которыми садовник обвязывал бедра больного, предварительно размягчив папирус в горячем масле. Здоровье или видимость здоровья опять воцарялась на долгие отрезки дальнейшей жизни Монт-кау, когда Иосиф уже был в доме и вырастал в первого помощника и в главные уста управляющего. Но на седьмом году пребывания Иосифа в доме, на похоронах одного своего родственника, точнее сказать - своего зятя, лавочника, приказавшего долго жить, Монт-кау простудился, что сразу свалило его и распахнуло ворота беде.

Это заражение смертью, этот, так сказать, уход вслед за тем, кому отдают последние почести в открытом для сквозняков кладбищенском здании, было очень распространенным явлением во все времена, и тогда не менее, чем сегодня. Стояло лето, и было очень жарко, но, как это часто бывает в Египте, довольно ветрено, а это опасное сочетание, так как ветер, непрестанно обвевая вспотевшую кожу, резко ее охлаждает.

Перегруженный делами, управляющий замешкался в доме, и когда спохватился, рисковал уже опоздать на торжественную церемонию. Он стал спешить, вспотел и уже во время переправы через реку на запад в эскорте похоронного струга, будучи недостаточно тепло одет, сильно мерз. Не на пользу пошло ему затем и пребывание у маленького, купленного в рассрочку лавочником, ныне Усиром, склепа в скале, перед скромным порталом которого один жрец - на нем была собачья маска Анупа - поддерживал мумию, чтобы она стояла, тогда как другой, действуя мистическим "копытцем", производил обряд отверзания уст, а толпа скорбящих, положив руки на посыпанные пеплом головы, наблюдала за этим волшебным актом, - не на пользу из-за холода, которым тянуло от камня и от входа в пещеру. Монт-кау вернулся домой с насморком и с воспалением мочевого пузыря; уже на следующий день он пожаловался Иосифу, что ему как-то странно трудно шевелить руками и ногами; полуобморочное состояние вынудило его отступить от домашних дел и улечься в постель, и когда садовник, чтобы унять невыносимую, сопровождавшуюся рвотой и наполовину ослепившую Монт-кау головную боль, поставил ему на висок пиявки, с управляющим случился апоплексический удар.

Иосиф страшно испугался, поняв намеренья бога. Принять против них человеческие меры не значило, так решил он про себя, пытаться греховно перечеркнуть провидящую волю, а значило лишь подвергнуть ее необходимому испытанию. Поэтому он тотчас же попросил Потифара послать в дом Амуна за ученым врачом, перед которым Краснопузый должен был отступить, - хоть и с обидой, но все-таки с чувством освобождения от ответственности, ибо у него хватало знаний, чтобы понять ее тяжесть.

Ученый из книгохранилища, действительно, отверг большинство назначений садовника, хотя различие между его предписаниями и предписаниями Краснопузого носило, по общему, да и по его собственному мнению, не столько медицинский, сколько общественный характер: эти были для простонародья, которому они вполне могли принести пользу, а те для высших слоев, требовавших более изысканного лечения. Так, например, мудрец из храма отменил размягченные в масле исписанные листы папируса, которыми его предшественник покрыл живот и бедра больного, и предписал компрессы из льняного семени на хороших полотенцах. Он высказал также полное презрение к популярным всеисцеляющим средствам Краснопузого, изобретенным якобы богами для самого Ра, когда тот стал хворать на старости лет, и состоявшим из всяких гадостей, числом от четырнадцати до тридцати семи, таких, как кровь ящерицы, толченые зубы свиньи, жидкость из ушей этого животного, молоко роженицы, всевозможный кал, в том числе антилоп, ежей и мух, человеческая моча и так далее, а кроме того, содержащим снадобья, рекомендованные управляющему, но только без гадостей, и самим ученым врачом, а именно - мед и воск, затем белену, небольшие дозы макового сока, горечавку, толокнянку, соду и рвотный корень. Разжевыванье семян клещевины с пивом, процедура, на которой особенно настаивал садовник, было также одобрено ученым врачом, равно как и применение сильного слабительного средства - некоего смолистого корня. Зато сильнодействующие кровопусканья, которые чуть ли не ежедневно практиковал Краснопузый, ибо мучительный стук в голове и помутнение глаз удавалось ослабить только с их помощью, ученый объявил ошибочными и велел применять их лишь с осторожностью: при такой бледности больного, учил он, потеря питательных и будящих жизнь частиц крови - слишком дорогая плата за временное облегчение.

Это была, видимо, неразрешимая дилемма, ибо именно обедневшая полезными и насыщенная вместо них вредными веществами, но, с другой стороны, все-таки необходимая кровь, вызывая ползучие воспаления, затопляла тело сменяющимися друг друга и одновременными болезнями, которые в ней-то явно и коренились, будучи, как знали оба врача, лишь косвенно связаны с почкой, давно уже работавшей плохо. Поэтому, независимо от того, как называли и как толковали эти неприятные явления врачи, Монт-кау попеременно и одновременно страдал воспалением грудной плевры,

брюшины, сердечной сумки и легких; ко всему этому прибавились бедственные мозговые симптомы: рвота, слепота, приливы крови, судороги. Короче говоря, смерть наступала на него со всех сторон и во всеоружии, и было просто чудом, что после того как он слег, он еще несколько недель оказывал ей сопротивление и некоторые из одолевавших его болезней все-таки победил. Он был сильный больной; но как ни стойко он держался, как ни защищал свою жизнь - он все равно должен был умереть.

Иосиф понял это рано, когда Хун-Анун и ученый Амуна еще надеялись помочь управляющему, и очень убивался - не только из-за своей привязанности к этому славному человеку, который делал ему добро и чья судьба была ему по сердцу, так как это была тоже судьба "человека горя и радости", судьба Гильгамеша, и взысканного милостями, и побитого, - но также и прежде всего потому, что он, Иосиф, испытывал угрызения совести при виде его страданий и смерти; ибо они были явно подстроены для его, Иосифа, возвышения, и Монт-кау был жертвой замыслов бога: его убрали с дороги, это было совершенно ясно, и Иосифу так и хотелось сказать владыке замыслов: "То, что ты сейчас творишь, господи, - это только твоя воля, а не моя. Я решительно заявляю: я к этому непричастен, и то, что это делается для меня, пусть не значит, что я в этом виноват, - вот о чем я смиренно молюсь!" Но это не помогало, он все равно испытывал угрызения совести из-за жертвенной смерти своего друга и понимал, что если тут вообще может быть речь о вине, то, значит, виноват он, получающий выгоду, ибо бог не знает вины. То-то и оно, думал про себя Иосиф, что все делает бог, а испытывать из-за этого угрызения совести дано нам, и мы оказываемся перед ним виноваты, потому что берем на себя вину ради него. Человек берет на себя вину бога, и было бы только справедливо, если бы бог однажды решился взять на себя нашу вину. Как он, священно чуждый вины, сделает это, неясно. По-моему, ему пришлось бы стать просто-напросто человеком для этого.

Он не отходил от страдальческого одра жертвы в течение тех четырех или пяти недель, которые она еще сопротивлялась отовсюду наступавшей на нее смерти, - так мучила его совесть из-за этих страданий. И днем и ночью ухаживал он за больным, ухаживал самоотверженно, жертвуя собой, как принято говорить и как в данном случае было бы совершенно справедливо сказать, ибо дело действительно шло об ответной жертве, и, принося ее, Иосиф отказывался от сна и недоедал. Он устроил себе постель возле больного, в Особом Покое Доверия, и ежечасно помогал умирающему, чем мог: согревал компрессы, подносил ему лекарство, втирал в кожу мази, заставлял его, по назначению врача из храма, вдыхать пар от растертых растений, которые разогревал на камнях, держал его конечности, когда у него начинались судороги; от них в последние дни несчастный страдал чрезвычайно сильно, он иногда даже вскрикивал под этим грубым натиском смерти, которая, казалось, дожидаться не могла, чтобы он сдался, и безжалостно теребила его. Особенно наседала она, когда Монт-кау засыпал; она судорогами вздымала с постели усталое тело, как будто говорила: "Ах, вот как, ты хочешь спать? Поднимись же, поднимись и умри!" Сейчас более, чем когда-либо, были уместны успокоительные пожелания спокойной ночи; Иосиф вкладывал в них все свое искусство и ласковым, заклинающим шепотом внушал больному, что теперь он, конечно же, отыщет стезю, ведущую в край утешения, и беспрепятственно последует по этой стезе, а его левая рука и нога, заботливо закрепленные холщовыми бинтами, не вернут его отчаянной болью обратно, в томительный день его муки.

Это оказывало свое действие и помогало в известных пределах. Но Иосиф и сам испугался, когда заметил, что его снотворные речи помогают слишком уж хорошо и управляющий, столько лет страдавший бессонницей, начинает, наоборот, склоняться к сонливости и готов целиком уйти в ядовитое свое забытие, отчего благая стезя становилась роковой и возникала опасность, что путник забудет о возвращении. Поэтому Иосиф пошел по другому пути и, вместо того чтобы сочинять колыбельные песни, пытался задержать друга на этом свете, подкрепляя его силы всякими историями и

притчами, точнее сказать, историями и притчами из того обширно-древнего запаса сказок и анекдотов, которым он, Иосиф, благодаря наставлениям Иакова и Елиезера, с детства располагал. Управляющий всегда любил слушать о первой жизни своего помощника, о его детстве в стране Канаан, его милостивой матери, что умерла у дороги, о великой и самоупоенной нежности, с которой отец относился сначала к ней, а потом к сыну, так что мать и сын были одним и тем же в праздничном наряде этой любви. Слышал он уже и о дикой зависти братьев, и о вине, заключающейся в преступном доверии и слепой требовательности, вине, которую Иосиф по-ребячески взвалил на себя, и о том, как он был растерзан, и о колодце. Вообще-то управляющему, как Потифару, да и как всякому другому здесь, в доме, прошлое Иосифа и страна его юности виделись как нечто очень далекое, пыльное и убогое, от чего человек, естественно, быстро отрывается, коль скоро судьба переносит его к людям, в страну богов; поэтому, как и другие, Монт-кау несколько не удивлялся тому, что египетский Иосиф не делал никаких попыток восстановить связь с варварским миром своего детства, и несколько не осуждал за это Иосифа. Но истории этого мира Монт-кау всегда любил слушать, а во время последней его болезни самым приятным и самым успокоительным развлечением было для него лежать со сложенными руками и слушать изящно-увлекательные и торжественно-веселые рассказы своего молодого опекателя - о косматом и гладком и о том, как они пинали друг друга уже в материнской утробе; о празднике обмана и о бегстве гладкого в преисподнюю; о злом дяде и его детях, которых он поменял местами в ночь свадьбы, и о том, как тонкий хитрец, благодаря своему умному сочувствию природе, умудрился получить причитающееся у хитреца грубого. Сплошные обмены, обмены первородством и благословением, подмена невест и обмен богатств. Замена лежащего на жертвеннике сына животным, а животного похожим на него сыном, когда тот заблеял в смертный свой час. Все эти обмены и обманы развлекали, очаровывали и увлекали слушателя; ибо что может быть очаровательнее обмана? К тому же рассказы и рассказчик бросали друг на друга свой свет: от историй, им повествуемых, на него падал очаровательный отсвет обмана, а сам он, в свою очередь, озарял их собой, - ведь это он носил покрывало любви попеременно с матерью и всегда озадачивал Монт-кау какой-то смесью приветливости и лукавства - начиная с того мгновения, когда впервые предстал перед ним со свитком в руках и, улыбаясь, заставил его спутать себя с ибисоголовым богом.

Монт-кау почти лишился зрения и уже не мог сказать, сколько пальцев ему показывают. Но слышать он еще слышал и, слушая странные, чужеземные истории, так умно зазвучавшие у его одра, мог прогнать полуобморочную дремоту, к которой его клонила ядовитая кровь. Он слушал о постоянно наличном Елиезере, что вместе со своим господином побил царей Востока и навстречу которому, когда он ехал за невестой для отвергнутой жертвы, скакала земля. О деве, спрыгнувшей с верблюда и накинувшей на голову покрывало при виде того, кому ее высватали. О дикарски красивом брате из пустыни, уговаривавшем Рыжеволосого убить и съесть отца. Об урском страннике, всеобщем отце, и о том, что произошло с ним и с его супругой-сестрой здесь, в Египте. О его брате Лоте, об ангелах перед его дверью и о необычайном бесстыдстве содомлян. О серном дожде, соляном столпе и о том, как поступили озабоченные будущим человечества дочери Лота. О синеарском Нимроде и о дерзостной башне. О хитроумном Ное, об этом втором первом и о его ящике. О самом первом, сотворенном из земли в саду Востока, о женщине из его ребра и о змее. Красноречиво и остроумно расточал Иосиф запасы этой наследной сокровищницы у постели больного, чтобы успокоить свою совесть и еще немного задержать умирающего на этом свете. И охваченный эпическим духом, Монт-кау в конце концов заговорил сам; он попросил приподнять подушки и с взволнованным близостью смерти лицом стал рукою ощупывать Иосифа, как будто он был Ицхаком, ощупывавшим в шатре сыновей.

- Дай мне увидеть видящими руками, - начал он, обратив лицо к потолку, - ты ли это, Озарсиф, сын мой, ибо я хочу благословить тебя перед кончиной, как нельзя лучше

подкрепившись историями, которыми ты щедро меня попотчевал! Да, это ты, я вижу, я узнаю тебя, как узнают слепые, и тут не может быть ни сомнения, ни обмана, ибо у меня только один сын, и это ты, Озарсиф, и благословить я могу только тебя. Я полюбил тебя с годами вместо того младенца, которого забрала с собой мать в родильных муках, когда он задохнулся, ибо слишком узко была она сложена. У дороги? Нет, она умерла родами дома, у себя в комнате, и я не отважусь назвать ее муки какими-то сверхъестественными. Но все-таки они были настолько ужасны и настолько жестоки, что я пал на лицо и молил богов о ее смерти, каковую боги и даровали. Даровали они мне и смерть мальчика, хотя об этом я их не молил. Но зачем нужно было мне дитя без нее? Ее звали "Масличное Дерево", дочь Кегбоя, чиновника казначейства, Бекет было имя ее, и я не дерзнул возлюбить ее так, как этот благословенный осмелился возлюбить свою милovidную нахаринянку, твою мать, - на это я не решился. Но и она была милovidна, незабываемо милovidна в убранстве шелковистых ресниц. Она опускала их, когда я говорил ей слова сердца, слова любви, слова песен, на которые никогда не чаял отважиться, но которые стали моими словами в ту пору, в ту прекрасную пору. Да, мы любили друг друга, несмотря на ее узкое сложение, и когда она умерла с ребенком, я плакал о ней много ночей, покуда не высушили моих глаз работа и время - а они высушили их, и я перестал плакать даже ночами, но и мешки под ними, и то, что глаза мои были такие маленькие, - все это, я думаю, пошло от тех долгих ночей. Не то чтобы я был в этом вполне уверен, может быть, это так, а может быть, и не так, и поскольку я умираю и глаза мои, которые плакали о Бекет, исчезнут, миру будет совершенно безразлично, как тут обстояло дело когда-то. Но сердце мое опустело, с тех пор как глаза мои высохли; оно стало таким же маленьким и таким же узким, как и глаза, оно утратило бодрость, потому что любовь его была так неудачна, и казалось, что теперь в нем осталось место только для отречения. Но сердцу нужно еще что-то, кроме отречения, оно хочет жить заботой более нежного свойства, чем прибыль и выгода. Я был управляющим, я был Старшим Рабом Петепра и ни о чем, кроме процветания и благоденствия этого дома, не думал. Ибо тот, кто от всего отрекся, хороший слуга, и, понимаешь, это стало заботой моего уменьшенного сердца: служить и с нежностью помогать Петепра, моему господину. Ведь кто больше, чем он, и нуждается в преданной службе? Он сам ни за что не берется, ибо он от всего отчужден и не создан для дела. Он так нежен, так отчужден от всего рода человеческого и так горд, этот титулоносец, что поневоле тревожишься о нем и жалеешь его, ибо он добр. Разве он не был здесь, разве не навестил он меня во время моей болезни? Покуда ты был занят делами, он потрудился прийти к моей постели, чтобы по доброте своего сердца справиться обо мне, больном старике, хотя видно было, что и на болезнь он тоже глядит отчужденно и робко, ибо никогда не бывает болен, хотя трудно назвать его здоровым и представить себе, что он умрет. Я не могу представить себе этого, ибо, чтобы заболеть, нужно быть здоровым, а чтобы умереть, нужно жить. Но разве это уменьшает тревогу о нем, разве поэтому не нужно приходить на помощь его нежной чести? Скорее наоборот! Сердце мое прониклось этой тревогой куда больше, чем заботой о выгоде и о прибыли, оно так пеклось об этой преданной службе, что в меру своего разумения и своих сил я старался помочь его достоинству и угодить его гордости своими речами. Но ты, Озарсиф, делаешь это несравненно лучше, чем я: боги наделили душу твою тонкостью и высшей привлекательностью, которых так не хватает моей душе - то ли потому, что она для этого слишком тупа и черства, то ли потому, что она просто не посягала, не притязала на высшее. Поэтому ради преданной службы я заключил с тобой союз, которому ты обязан быть верен, когда я умру и меня не будет на свете; и если мне суждено благословить тебя и завещать тебе свою должность управляющего, ты должен поклясться у моего смертного одра, что будешь не только в полную меру своих сил и способностей беречь дом и вести дела господина, но и докажешь свою верность нашему нежному союзу преданным служением душе Петепра, защищая и оправдывая его честь со всей своей ловкостью, - не говорю уж о том, что ты никогда не обидишь эту устрашающе ранимую душу и не посрамишь ее ни словом, ни делом. Можешь ли ты торжественно обещать мне это, Озарсиф, сын мой?

- Обещаю торжественно и охотно, - ответил Иосиф на эту предсмертную речь. - Можешь быть спокоен, отец мой. Клянусь тебе, что согласно нашему договору буду помогать его душе бережной преданностью, даю обет верности его нуждам и обещаю тотчас же вспомнить о тебе, если когда-либо почувствую искушение причинить ему ту особую боль, которой поражает одинокого человека измена, - положишься на меня!

- Это меня очень успокаивает, - сказал Монт-кау, - хотя, с другой стороны, предчувствие смерти сильно меня волнует, чего оно не должно было бы делать, ибо на свете нет ничего обыкновеннее смерти, а тем более моей смерти, смерти простого человека, который всегда решительно избегал высшего; поэтому и смерть моя не высшего рода, и я не хочу поднимать из-за нее шум, как не поднимал шума вокруг своей любви к Масличному Деревцу, чьи муки я даже не осмелился назвать сверхъестественными. Но все же я хочу благословить тебя, Озарсиф, вместо сына, и благословить не без торжественности, ибо торжественность заключена в благословении, а не во мне, и поэтому наклонись, чтобы слепой положил руку на твою голову! Дом и усадьбу я завещаю тебе, истинному моему сыну и преемнику, новому управляющему господина моего Петепра, великого царедворца. Я ухожу в отставку, уступая место тебе, а это веселит и радует мою душу, - о да, эту радость отставки приносит мне смерть, и волнение мое перед смертью - это волнение, конечно же, радостное. А оставляю я все тебе по воле нашего господина, который, перебирая своих слуг, указывает на тебя перстом и прочит тебя в управляющие после моей смерти. Ибо на днях, когда он по доброте сердечной меня навестил и растерянно поглядел на меня, я заговорил с ним об этом и упросил его направить свой перст на тебя одного и окликнуть по имени, когда я сделаюсь богом, только тебя, чтобы я мог умереть спокойно, без тревоги о доме и обо всех делах. "Хорошо, Монт-кау, - сказал он, - хорошо, милый. Я укажу на него, если ты и в самом деле умрешь, о чем я весьма сожалел бы, - не колеблясь, на него и ни на кого другого, это решено, и всякий, кто вздумает меня отговаривать от этого, убедится, что воля моя тверда, как железо и как черный гранит из каменоломен Рехену. Он сам сказал, что моя воля именно такова, и я должен был с ним согласиться. Он вызывает у меня отрадное чувство доверия, у него это получается даже лучше, чем у тебя во времена твоей жизни, и мне часто казалось, что с ним заодно какой-то бог или много богов, которые все, за что он только ни возьмется, венчают удачей. Пожалуй, он будет еще меньше обманывать меня, чем при всей своей честности ты, ибо он сизмала знает, что такое грех, и как бы носит в волосах украшение жертвы, оберегающее его от греха. Одним словом, это решено, после тебя управлять домом и ведать всеми делами, которыми мне не вмоготу заниматься, будет Озарсиф. На него указывает мой перст". Вот слова господина, я их точно запомнил. А теперь, после того как он благословил тебя, благословляю тебя и я, ибо разве когда-либо поступают иначе? Благословляют всегда только благословенного и желают счастья только счастливому. Ведь и тот слепец в шатре благословил гладкого только потому, что благословение уже и было с гладким, а не с косматым. И ничего большего сделать нельзя. Итак, будь благословен, поскольку ты благословен! У тебя бодрый нрав, ты смело посягаешь на высшее, муки своей матери ты отваживаешься назвать сверхъестественными, а свое рождение без неопровержимого основания девственным, - это признаки благословенности, каковой я не обладаю, а значит, и не могу передать. Я могу только, умирая, благословить тебя и пожелать тебе счастья. Пониже наклони голову, сын мой, под мою руку, голову человека больших устремлений под рукой человека скромного. Я завещаю тебе дом, усадьбу и поле именем Петепра, для которого я управлял ими; поручаю тебе их тук и богатство, чтобы ты распорядился их службами, запасами их кладовых, плодами сада, крупным и мелким скотом, а также урожаем на острове, расчетами и всякой торговлей; а еще отдаю под твое начало посев и жатву, кухню и погреб, стол господина, довольствие гарема, маслобойные мельницы, виноградные тиски и всю челядь. Надеюсь, я ничего не забыл. А ты, Озарсиф, не забывай меня, когда я сделаюсь богом и уподоблюсь Озирису. Будь моим Гором, который защищает и

оправдывает отца, следи за тем, чтоб не стерлась моя надгробная надпись, и поддерживай мою жизнь! Скажи, позаботишься ли ты о том, чтобы Мин-неб-мат, пеленальных дел мастер, и его подмастерья сделали из меня отличную мумию, не черную, а прекрасно-желтую, для чего я уже припас все необходимое, - ты присмотришь за ними, чтоб они ничего не прибрали к рукам, а засолили меня чистым натром и взяли ради вечной моей жизни тонкие бальзамы: стираксу, можжевельник, привозную кедровую смолу, а также мастику из сладких фисташек - и закутали мое тело нежнейшими пеленами? Позаботишься ли ты, сын мой, чтобы вечная моя оболочка была красиво расписана, а изнутри сплошь, без единого пробела, покрыта защитными изречениями? Обещаешь ли ты проследить за тем, чтобы жрец Имхотеп, что служит на западе, в городе мертвых, не роздал своим детям запасов хлеба, пива, масла и ладана, которые я оставил ему для жертвоприношений моему телу, дабы отец твой по праздникам всегда имел вдоволь еды и питья? Как хорошо, что ты самым благоговейным голосом обещаешь мне сделать все это, ибо хоть смерть и обычное дело, она влечет за собой большие заботы, и человек должен обеспечить себя со всех сторон. И еще поставь в мою усыпальницу небольшую жаровню, чтобы челядь жарила для меня бычьи окорока! Прибавь к ним еще гусяное жаркое из алавастра, деревянное изображение кувшина для вина и побольше этих твоих глиняных смокв! Я рад, что ты обещаешь мне это в самых благочестивых и успокоительных выражениях. Поставь на всякий случай возле моего гроба кораблик с гребцами и помести в моем домике нескольких человечков в набедренниках, чтобы они постарались за меня, когда западный бог призовет меня работать на свое плодородное поле, ибо, хотя голова моя и пригодна для обобщающего надзора, сам я не умею орудовать плугом или серпом. О, сколько хлопот требует смерть! Не забыл ли я чего-нибудь? Обещай мне подумать и о том, о чем я не вспомнил, например, позаботься, чтоб вместо сердца в меня вложили прекрасного жука из яшмы, которого мне по доброте сердечной подарил Петепра и на котором написано, что на весах суда мое сердце не должно свидетельствовать против меня! Он лежит в шкатулке тисового дерева, справа, вместе с обоими моими воротниками, которые я оставляю в наследство тебе... Довольно, однако, пора кончать мои предсмертные речи. Ведь всего не предусмотреть, и все равно остается тревога, которую несет с собой сама смерть, хоть нам и кажется, что причина нашей тревоги - это необходимость обо всем позаботиться. Даже незнание того, как мы будем жить после нашей кончины, - это только личина смертной тревоги, только тот облик, который принимает она в наших мыслях, но, как бы то ни было, сейчас это мои мысли, мысли тревоги. Буду ли я сидеть на деревьях, птицею среди птиц? Смогу ли я стать кем захочу цаплей в болоте, скарабеем, который катит свой шарик, чашечкой лотоса на воде? Буду ли я жить в своем домике, радуясь жертвоприношениям из моего вклада? Или я окажусь там, где светит Ра ночью и где все будет такое же, как здесь, небо, земля, река, поле и дом, а я, по привычке своей, опять стану старшим слугой Петепра? Одни говорят об этом одно, другие - другое, третьи - и то и другое сразу, - и, наверно, одно равнозначно другому, а все вместе нашей тревоге, которая, однако, сходит на нет в хмелю зовущего меня сна. Уложи меня снова пониже, сын мой, ибо я изнемог: на это благословение и на эти заботы ушли последние мои силы. Я хочу отдаться сну, который уже наполняет мою голову хмелем, но прежде чем я предамся ему, мне бы все же хотелось быстренько узнать, свижусь ли я на берегу Нила Запада с Масличным Деревцем, отнятым у меня. Увы, теперь мне приходится думать прежде всего о том, чтобы в последний миг, когда я так хочу опочить, меня опять не схватили и не вернули к жизни судороги. Пожелай мне спокойной ночи, мой сын, как ты это умеешь делать, придержи мои руки и ноги и уйми судороги успокоительным заклинанием! Исполни еще раз изысканную свою обязанность - в последний раз! Нет, не в последний; ведь если на берегу Нила Преображенных все идет так же, как здесь, то, значит, и ты, Озарсиф, окажешься там снова моим подручным и будешь ежевечерне благословлять меня на ночь, каждый раз, благодаря своему дару, приятно разнообразя эту прощальную речь. Ведь ты благословен и можешь одаривать благословением, а я могу только пожелать тебе счастья... Я не в силах больше говорить,

друг мой! Кончились мои предсмертные речи. Но не думай, что я тебя уже не слышу!

Правая рука Иосифа лежала на бледных руках умирающего, а левой он придерживал ему бедро.

- Да пребудет с тобой мир! - заговорил Иосиф. - Спокойной тебе ночи, отец мой, блаженного сна! Смотри, я начеку, я позабочусь о твоих членах, и ты можешь без всяких забот последовать стезей утешения, ни о чем больше не беспокоясь, - подумай только и порадуйся, - решительно ни о чем! Ни о своих членах, ни о делах дома, ни о себе, ни о том, что с тобой станет и какова жизнь после жизни, - ведь в том-то и штука, что все это не твое дело и не твоя забота и тебе совершенно незачем об этом тревожиться, пусть будет все как есть, ведь все так или иначе должно быть устроено, если уж оно есть, - об этом отлично позаботились без тебя, а твои заботы кончились, и ты можешь беззаботно прийти на готовое. Разве это не чудесно и не отрадно? Разве сегодняшнее мое вечернее благословение чем-либо отличается от обычного, когда я советовал тебе не думать, что ты \_должен\_, а думать, что ты \_волен\_, что ты \_имеешь право\_ уснуть? Представь себе только, имеешь право! Конец горю, муке и всякой докуке. Нет больше ни боли в тебе, ни удушья, ни страха судорог. Ни противных лекарств, ни жгучих припарок, ни червей-кровописц у тебя на затылке. Отворяется темница твоих тягот. Ты выходишь на волю, ты, счастливый, бредешь налегке стезей утешенья, и каждый твой шаг утешает тебя все сильней и сильнее. Ибо сначала идешь ты еще по знакомой долине, ежевечерне встречавшей тебя благодаря моему напутствию, и с тобой еще, хоть ты этого уже не сознаешь, какая-то тяжесть, какая-то затрудненность дыхания, и причиной тому твое тело, которое сейчас придерживают мои руки. Но вскоре - ты не замечаешь пути, что приводит туда, - вскоре тебя встречают луга полнейшей легкости, где тебя и в самой малой, в самой неосознанной мере не гнетут и не обременяют здешние беды, и ты тотчас же освобождаешься от всяких забот и всяких сомнений насчет того, как обстоит с тобой дело и что с тобой станет, ты удивляешься даже, что когда-то мог мучиться этим, ибо все обстоит так, как обстоит, и находится в естественнейшем, правильнейшем, наилучшем, счастливейшем соответствии как с самим собой, так и с тобой, вековечным Монт-кау. Ибо что есть, то есть, а что было, то будет. Ты не знал, в тяготах своих, найдешь ли ты Масличное Деревце в тех дальних пределах? Ну, что ж, ты посмеешься над своими сомнениями, ибо она погляди-ка! - с тобой, да и как ей не быть с тобой, если она твоя? Буду с тобою также и я, Озарсиф, умерший Иосиф, как ты меня называешь, измаильтяне доставят тебе меня. Ты всегда будешь пересекать двор - с клинообразной своей бородкой, со своими серьгами и с большими слезными мешками, что остались у тебя, вероятно, от тех ночей, когда ты тайно и скромно оплакивал Бекет, Масличное твое Деревце, и всегда будешь спрашивать: "Что это такое? Что за люди?" - а потом говорить: "Вы думаете, я могу слушать вашу болтовню целую вечность?" Ибо и там ты будешь Монт-кау, ты не выйдешь из своей роли и на людях будешь делать вид, словно ты и вправду веришь, что я Озарсиф, чужеземный раб, которого можно продать и купить, хотя втайне, благодаря скромной своей проницательности, ты будешь уже по опыту прошлого раза знать, кто я такой и какой я делаю крюк, идя дорогой своих братьев, богов. Прощай же, мой отец и начальник! Мы увидимся с тобой снова в мире света, блеска и легкости.

Тут Иосиф закрыл рот и прекратил свою речь, ибо он увидел, что ребра и живот управляющего уже не вздымаются и что Монт-кау незаметно вышел из долины в луга. Он взял перо, которое часто подносил к его глазам, чтобы узнать, видит ли он еще, и положил это перо на его губы. Но оно не шелохнулось. Глаза не пришлось закрывать, так как он сам, засыпая, мирно закрыл их.

Прибыли погребальщики, которые сорок дней подряд солили и приправляли всякими снадобьями тело Монт-кау, после чего он был закутан и помещен в ящик, сделанный точно по его росту, и еще несколько дней, пестрым Озирисом, простоял в глубине

знакомой нам беседки в обществе серебряных владык. А потом ему еще пришлось спуститься на судне к священной могиле Абуду, чтобы нанести визит западному владыке перед своим не очень пышным переездом в скалистый домик в фиванских горах, предусмотрительно купленный.

Что же касается Иосифа, то у него, когда он вспоминал этого своего отца, неизменно увлажнялись глаз". Они становились при этом поразительно похожи на глаза Рахили, которая плакала слезами нетерпенья в ту пору, когда они с Иаковом ждали друг друга.

## РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. ОДЕРЖИМАЯ

### СЛОВО НЕВЕДЕНЬЯ

И после этой истории обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала...

Весь мир знает, что именно сказала Мут-эм-энет, названная супруга Потифара, когда она "обратила взоры" на Иосифа, молодого управляющего своего мужа, и мы не хотим, да и не смеем отрицать, что однажды, в крайнем смятении, в пылу отчаяния, она в конце концов и в самом деле это сказала, действительно прибегнув к той самой ужасающе прямой и откровенной формуле, которую вкладывает ей в уста предание, и прибегнув так непосредственно, как будто дело шло о весьма обычном в ее устах, ничего не стоившем ей, распутно-недвусмысленном предложении, а не о позднем, глубоко выстраданном крике души и тела. По совести говоря, нас пугает скупая сжатость отчета, не считающегося, как наш источник, с докучливой мелочностью жизни, и редко случалось нам так живо, как в этом месте, ощущать обиду, наносимую истине недомолвкой и лаконизмом. Да не подумают, что нас не трогает угроза упрека, который, либо вслух, либо из вежливости, молча, будет предъявлен всему нашему повествованию, всему нашему спору с этой историей; мы знаем, нам скажут, что убедительнее, чем в первоисточнике, ее нельзя изложить и что все наше затянувшееся предприятие - напрасный труд. Но когда, позволительно спросить, комментарий вызывался соревноваться со своим текстом? И потом, разве ответить на вопрос "как?" менее достойное, менее важное в жизни дело, чем рассказать, что же произошло? И разве сама жизнь не есть прежде всего ответ на вопрос "как"? Нужно вспомнить о том, о чем уже говорилось, а именно - что еще до того, как эта история была впервые рассказана, она рассказала себя самое, - рассказала с такой подробностью, на какую способна одна только жизнь и которой никогда не достигнуть никакому рассказчику. Он может только приблизиться к ней, служа жизни с ее "как" добросовестней, чем это соглашается делать лапидарный дух вопроса "что?". И если вообще оправдывает себя комментаторская добросовестность, то она, конечно же, оправдывает себя в данном случае, когда речь идет о жене Потифара и о том, что она, согласно преданию, так прямо сказала.

Представление о жене Потифара, которое на этом основании складывается или, по крайней мере, напрашивается, а у весьма широких кругов в мире и в самом деле, как мы боимся, сложилось, настолько ошибочно, что привести его в соответствие с истиной значит снискать настоящую заслугу перед подлинником - подразумевая под таковым либо первоначальный текст, либо (что будет вернее) рассказывающую самое себя жизнь. Во всяком случае, ложная эта картина разнузданной похотливости и бесстыжего соращения плохо согласуется с тем, что мы, вместе с Иосифом, услышали в беседе о жене сына из уст почтенной все же старухи Туий, в чьих словах жизнь открылась нам уже немного подробнее. "Гордой" назвала ее мать Петепра, говоря, что не может обругать ее глупой гусыней; она назвала ее жрицей Луны, избранницей, вся статья которой исполнена терпкого благоухания миртовых листьев. Скажет ли такая женщина то, что вкладывает в ее уста предание? И все же она сказала это, сказала даже дословно и не один раз, когда ее гордость была окончательно сломлена страстью, - мы это уже подтвердили. Но

предание забывает прибавить, сколько прошло времени, в течение которого она скорее откусила бы себе язык, чем сказала такие слова. Оно забывает прибавить, что в своем одиночестве она и вправду, в самом прямом смысле слова, прикусила себе язык, прежде чем впервые, невнятно от боли, произнесла слово, навсегда заклеившее ее соблазнительницей. Соблазнительницей? Женщина, охваченная такой страстью, как она, становится, разумеется, соблазнительницей: соблазнительность - это внешняя сторона, это наружность ее одержимости; сама природа заставляет ее глаза блеснуть призывнее, чем от искусственных капель, вводить которые учит ее искусство туалета; это она придает ее губам тот привлекательно-алый цвет, которого не придаст им никакая помада, и складывает их в задушевно-многозначительную улыбку; это она побуждает ее одеваться и украшаться с невинно-хитрой расчетливостью, это она, и притом нарочно, делает прелестным каждое ее движение, заставляет все ее тело, насколько лишь позволяют его возможности, и подчас даже сверх того, лучиться обещаньем блаженства. Все это с самого начала и означает именно то, что госпожа Иосифа в конце концов и сказала ему. Но разве можно возлагать ответственность за это на ту, которая повинуется внутреннему порыву? Разве она устраивает все это из каких-то дьявольских побуждений? Да и что она знает обо всем этом, кроме нестерпимых мук, которые столь обольстительно прорываются наружу? Короче говоря, если она становится соблазнительна, то значит ли это, что она соблазнительница?

Характер и форма соращения определяются прежде всего происхождением и воспитанием одержимой. Против предположения, что Мут-эм-энет, которую близкие ей люди называли также Эни или Энти, вела себя в своей одержимости как какая-нибудь потаскуха, говорит уже ее воспитание - самого благородного свойства. Дань, отданная честному Монт-кау, причитается и женщине, оказавшей на судьбу Иосифа совсем иное влияние, чем он, - поэтому самое необходимое об ее происхождении надо сообщить.

Никто не удивится, услышав, что супруга Петепра, носителя опахала, не была дочерью хозяина пивной или каменотеса. Она происходила не больше не меньше как из древнего княжеского рода, хотя времена, когда ее предки сидели патриархальными царьками и владельцами обширных земельных угодий в одной из областей Среднего Египта, давно прошли. Тогда двойной венец Ра носили чужеземные правители из одного азиатского пастушеского племени, обосновавшиеся на севере страны, и князя Уззе - на юге - в течение многих веков подчинялись этим захватчикам. Но из среды князей Уззе выходили сильные люди, например, Секендженра и его сын Камос, которые восставали против царей-пастухов и упорно сопротивлялись им, подхлестывая воинственное свое честолюбие чужеземным происхождением своих врагов. Брат Камоса, смельчак Ахмос, взял приступом царскую крепость чужеземцев, город Аварис, а потом и совсем изгнал их, освободив страну постольку, поскольку он присвоил ее себе и своему дому и заменил владычество чужеземцев собственной властью. Не все князья страны сразу же соглашались признать героя Ахмоса своим освободителем и отождествить его власть со свободой, как он это привык делать. Многие из них - у них, вероятно, имелись на то свои причины - были на стороне чужеземцев в Аварисе и предпочли бы остаться их вассалами, вместо того чтобы быть освобожденными своим собратом. И даже после полного изгнания их многовековых властителей некоторые из этих не желавших свободы царьков бунтовали против своего освободителя и, как сказано было в документах, "собирали враждебных ему мятежников", так что сначала он должен был победить их в открытом бою, а потом уже водворилась свобода. Что эти повстанцы лишались принадлежавшей им земли, разумелось само собой. Но и вообще все отнятое у чужеземцев фиванские освободители обычно прибирали к рукам, и поэтому тогда начался тот процесс, который ко времени нашей истории еще не закончился, хотя и зашел уже далеко, - процесс отчуждения земельной собственности от древней знати и конфискации богатств фиванским престолом, все более превращавшимся в безраздельного владельца земли, каковую он либо сдавал в аренду, либо раздаривал

храмам и фаворитам, подобно тому как фараон подарил Петепра известный нам плодородный остров. А старинные княжеские семьи превращались в чиновную и военную знать, которая составляла свиту фараона и занимала высшие должности в его войске и во всяких других его учреждениях.

Так же обстояло дело со знатным родом Мут-эмэнет. Госпожа Иосифа вела свою родословную прямо от того князя по имени Тети'ан, что в свое время "собирал мятежников" и должен был потерпеть поражение в битве, чтобы признать себя освобожденным. Но к внукам и правнукам Тети фараон не питал из-за этого зла. Их род остался большим и знатным, он поставлял государству военачальников, царских советников и смотрителей казначейств, а двору - стольников, Первых Возничих и смотрителей царской купальни, и некоторые представители этого рода сохранили даже княжеское звание, будучи наместниками таких больших городов, как Менфе или Тине. Так, например, отец Эни, Май-Сахме, занимал высокую должность градоначальника Уазе одного из двух; ибо их было два: один управлял городом живых, а другой городом мертвых на Западе, и Май-Сахме был князем западного города. При таком чине он жил, говоря языком Иосифа, в почете и славе и мог без всяких ограничений умащаться елеем радости, - могли это делать и его родственники, в том числе Энти, его прекрасно сложенное дитя, хотя она была уже не владетельной княжной, а дочерью служащего нового времени. По решению, принятому относительно Мут ее градоначальными родителями, можно судить о переменах, происшедших в образе мыслей этого рода со времен отцов. Ибо, отдав уже в раннем возрасте, ради больших придворных выгод, свое любимое дитя в жены Петепра, приготовленному для титулоносной деятельности сыну Гуия и Туий, они ясно показали, что плодотворие их оседло сросшихся с землей предков свойственно им в духе нового времени уже в гораздо меньшей степени.

Мут была ребенком в ту пору, когда ею распорядились примерно так же, как распорядились барахтающимся своим сыночком философствующие родители Потифара, посвятив его в царедворцы света. Притязания ее пола, которыми тогда пренебрегли, эти притязания, символизируемые черной от влаги землей и началом всякой вещественной жизни - лунным яйцом, тихо дремали в ней, находясь еще в зачаточной стадии, ничего не зная еще о себе и нимало не сопротивляясь такому враждебному жизни, хотя и вызванному любовью решению. Она была легкой, веселой, беззаботной, свободной. Она была подобна кувшинке, что плавает по зеркалу воды и улыбается поцелуям солнца, не подозревая, что корень длинного ее стебля уходит в темный ил глубокого дна. Никакого противоречия между ее глазами и ее ртом тогда еще не было; напротив, тут царила тогда по-детски невыразительная гармония, так как задорный взгляд девочки еще не знал омрачающей строгости, а особенная змеистость этого рта с его углубленными уголками была далеко не такой явной. Несоответствие между глазами и ртом возникло лишь постепенно, с годами, прожитыми ею в качестве жрицы Луны и почетной супруги личного слуги Солнца, и возникло, несомненно, в знак того, что рот - более близкое, более родственное низшим силам орудие, чем глаз.

Что касается ее тела, то любой знал его размеры и все его красоты, ибо "сотканный воздух", тончайшая шелковистая ткань, которую она носила, целиком выставлял его, по обычаю этой страны, на всеобщее обозрение. Можно сказать, что главным своим выражением оно больше соответствовало рту, чем глазам; принадлежность к почетному сословию не помешала его расцвету и не сковала его роста: с маленькими и крепкими грудями, с тонкой спиной и шеей, нежными плечами и совершенными по своей вылепке руками, с благородно-стройными ногами, верхние линии которых самым женственным образом переходили в великолепные бедра и зад, оно было, по общему признанию, самым прекрасным женским телом: более достойного похвал Уазе не знала, и при виде его у здешних людей возникали туманные, старинно-отрадные образы, образы начала и праначала, образы, связанные с первозданным лунным яйцом, например, образ

прекрасной девы, которая в сущности, - в илесто-влажной своей сущности, - была не кем иным, как гусыней любви в облике девы: это к ее лону, колотя раскинутыми крылами, припадал дивный лебедь, ласково-сильный, белоснежно-пернатый бог, и влюбленно вершил свое дело с польщенной и пораженной красавицей, чтобы та родила яйцо...

Действительно, при взгляде на просвечивающее тело Мут-эм-энет в душах жителей Уазе выплывали из мрака именно такие древние образы, хотя эти люди знали о почетном положении лунной схимницы, в котором она жила и о котором говорили ее строгие глаза. Они знали, что эти глаза свидетельствовали о ее существовании достовернее, чем показывавший, несомненно, нечто иное рот, который мог бы, вероятно, снисходительно улыбнуться по поводу царственной деловитости лебедя; им было известно, что лучшие мгновенья полноты жизни это тело испытывает отнюдь не во время таких визитов, а единственно лишь тогда, когда оно по торжественным дням, потрясая трещоткой, изгибается перед Амуном-Ра в культовой пляске. Короче говоря, они не злословили о ней; не было ни сплетен, ни подмигиваний, которые относились бы к этой женщине и, веря ее рту, уличали бы ее глаза во лжи. Они перемывали кости другим дамам, хотя и замужним в более полной мере, чем внучка Тети'ана, но, если верить молве, сплошь да рядом нарушавшим правила нравственности, в том числе участницам ордена и женам из гарема бога, например, Рененутет, супруге смотрителя говяд, - о ней знали нечто такое, чего смотритель говяд Амуна не знал или не хотел знать, о ней знали многое и с наслаждением провожали ее носилки и ее повозку, как и другие носилки и повозки, ехидными замечаниями. Зато о первой и, так сказать, праведной жене Петепра в Фивах не знали решительно ничего и были убеждены, что о ней и нечего знать. И в доме Петепра, и вне его ее считали святой, посвященной и сохраненной богу, а это при такой всеобщей, при такой укоренившейся страсти к сплетням и пересудам кое-что значило.

Какого бы мнения ни были на этот счет наши слушатели, мы не считаем своей задачей исследовать обычаи Мицраима, и в частности обычаи но-амунских женщин и дам, - обычаи, о которых нам давно уже довелось выслушать торжественно-резкий отзыв старика Иакова. Его знание мира не было лишено патетически-мифотворческого налета, на который и следует сделать поправку, чтобы не впасть в преувеличение. Но сказать, что его выпревшие слова не имели решительно никакого отношения к действительности, конечно, нельзя. От людей, не знающих слова "грех" и расхаживающих в одеждах из сотканного воздуха, людей, чей культ животных и смерти влечет за собой к тому же чрезмерное пристрастие к плотскому началу, можно заранее, еще до опыта, ждать той вольности нравов, которую в таких поэтически громких словах расписывал Иаков. А опыт соответствовал этому ожиданию - мы устанавливаем это скорее с логическим удовлетворением, чем со злорадством. Было бы мелким соглядатайством доказывать это на отдельных примерах из жизни фиванских женщин. В данном случае приходится не столько оспаривать, сколько прощать. Нам достаточно перевести взгляд со смотрительши говяд Рененутет на одного довольно смазливового младшего начальника царской стражи или с этой же высокопоставленной дамы на одного молодого зеркального жреца из храма Хонсу, чтобы намекнуть на обстоятельства, вполне оправдывавшие образные определения Иакова. Не наше дело становиться в позу блюстителей нравственности и осуждать Уазе - такой большой город, где сто с лишним тысяч жителей. Кого нельзя удержать и спасти, тех мы бросим на произвол судьбы. Но за одну мы ручаемся головой и, отстаивая безупречность ее поведения до того момента, когда она, несомненно волей богов, превратилась в неистовую менаду, готовы поставить на карту всю нашу повествовательскую репутацию: это дочь князя Маи-Сахм, жена Потифара - Мут-эм-энет. Что она была от природы распутницей, у которой приписываемое ей предложение всегда, так сказать, вертелось на языке и легко и дерзко слетело с него, - это совершенно неверное представление, и мы, истины ради, хотим во что бы то ни стало рассеять его. Когда она, прокушенным языком, в конце концов пролепетала эти слова, она уже не помнила себя; она уже совершенно не владела собой,

изойдя в своей муке, жертва бичующей мстительности низших сил, перед которыми она была в долгу из-за своего рта, тогда как ее глаза полагали, что могут отвечать им холодным презрением.

## ОТВЕРЗАНИЕ ГЛАЗ

Известно, что по доброжелательному родительскому согласию невестой и супругой сына Гуия и Туий Мут стала уже в детском возрасте, и для внутренней последовательности об этом необходимо еще раз напомнить; известно, что к формальному характеру своего брака она привыкла давно, и момент, когда ее материальное начало могло ощутить некую недостаточность такого союза, точному определению не поддавался. Нелишне заметить, что номинально ее девственность была нарушена уже раньше - и на том все кончилось. Не став еще по-настоящему девушкой, а будучи, скорее, подростком, она уже оказалась избалованной начальницей великосветского гарема, владычицей всякого изобилия, ее на руках носили в диком своем раболепии голые мавританки и приторно-нежные евнухи, она была первой среди пятнадцати других, утопавших в роскоши местных красавиц самого разного происхождения, которые и сами-то были не чем иным, как пустой роскошью, почетной и показной принадлежностью благословенного дома, ненужной службой любви в хозяйстве царедворца. Повелительница этих мечтательных и болтливых созданий, чутких к каждому ее мановению, грустивших, если она была печальна, облегченно тараторивших, если ей делалось весело, и глупейшим образом ссорившихся друг с другом из-за маленьких, ничего не значащих милостей Петепра, когда тот, сидя среди них за шашечницей и угощая их конфетами и амбровой водкой, играл почетную партию с Мут-эм-энет, звезда гарема, она была вместе с тем главной женщиной в доме, супругой Потифара в более узком и более высоком смысле, чем эти побочные жены, просто госпожой, которая при других обстоятельствах стала бы матерью его детей; которая, если хотела, занимала собственный покой в главном здании (к востоку от северной колонной палаты, где Иосиф обычно исполнял должность чтеца, разделявшей, стало быть, комнаты супругов); которая, наконец, во время приемов с плясками и музыкой, устраиваемых другом фараона для фиванской знати, изображала хозяйку дома и вместе с ним посещала такие же праздники в других высокопоставленных домах, и прежде всего - при дворе.

Жизнь у нее была напряженная, до отказа заполненная светскими обязанностями, - обязанностями, если угодно, праздными, но не менее обременительными, чем настоящие. Из опыта всех цивилизаций известно, как много сил отнимают у знатных женщин требования света, то есть одной лишь культуры и ее разросшихся частностей; известно, что соблюдение внешних форм губит истинную жизнь чувств и души и холодная пустота сердца незаметно для сознания становится не такой уж даже и печальной привычкой. Во все времена и во всех поясах земли наблюдался этот феномен бесстрастной женской светскости, и не будет преувеличением сказать, что в подобных случаях не очень существенно, является ли супруг, бок о бок с которым ведется эта дамская жизнь, военачальником в подлинном смысле слова или только по званию. Ритуал туалетного стола, например, всегда одинаково притязателен, независимо от того, должен ли он подогревать желания супруга или является самоцелью, так сказать, общественным долгом. При его исполнении - при кропотливейшем уходе за ее финифтяно отсвечивавшими ногтями рук и ног; во время душистых омовений, удаления волос, умщений и растираний, которым она подвергала прекрасное свое тело; при сложнейших процедурах подмалевыванья и каплевпусканья, производимых над ее и без того красивыми, с металлически-синеватой радужной оболочкой, опытными в многообразной игре, а благодаря высшей школе помады, кисточки и всяческих снадобий и вовсе похожими на драгоценные украшения глазами; при укладывании ее волос, - и собственных, коротких, блестяще-черных, густых кудрей, обычно пересыпанных лазурной или золотой пудрой, и разноцветных, с косами, косичками, галунами и бахромчатыми

гирляндами жемчуга париков; при бережной подгонке к тончайшим, как лепестки, одеждам вышитых, лирообразно отглаженных набедренных лент и мелкоскладчатых наплечных накидок; а также при выборе коленопреклоненно предложенных украшений для головы, рук и груди, - не до смеха было при этом нагим мавританкам, цирюльникам-евнухам и служанкам-портнихам, да и сама Мут в такие часы никогда не смеялась, ибо малейшая небрежность в этих делах вызвала бы пересуды в высшем обществе и скандал при дворе.

Были еще визиты подруг, чей образ жизни не отличался от ее собственного и к которым она отправлялась в своем паланкине, если не принимала их у себя. Была еще служба во дворце Меримат, при жене бога Тейе, к чьей свите принадлежала Мут, - она носила опахало, как и ее супруг Петепра, и была обязана участвовать в водных ночных праздниках, устраиваемых зачинательницей Амуна на искусственном озере, возникшем по манию фараона, праздниках, пышные красоты которых бывали погружены в искристые краски недавно изобретенных цветных факелов. Были также - это нам подсказывает имя родительницы бога - упомянутые уже нами благочестиво-почетные обязанности, где светский лоск приобретал религиозно-жреческий оттенок и которые, как никакие другие, придавали надменно-строгое выражение ее глазам, то есть обязанности, вытекавшие из ее принадлежности к ордену Хатхор и ее положения наложницы Амуна, носившей коровьи рога с солнечным диском посередине, короче говоря, из ее положения временной богини. Странно сказать, в какой мере эта роль Эни, эта сторона ее жизни усиливала светскую холодность знатной дамы и закрывала ее сердце для более мягких мечтаний. Такое действие священной должности было связано с номинальностью ее брака, - которой эта должность вообще-то не требовала. Гарем Амуна отнюдь не был гаремом нетронутых. Плотское воздержание было чуждо божественной природе Великой Матери, чьими праздничными воплощениями были Мут и ее подруги. Царица, делившая ложе с Богом и родившая наследное Солнце, была покровительницей этого ордена. Наставницей его, как уже упоминалось, была замужняя женщина, супруга влиятельного первопророка Амуна, и состоял он по преимуществу из замужних женщин, таких, как Рененутет, смотрительша говяд (если не говорить о прочих ее делах). На самом деле храмовая должность Мут была связана с ее браком лишь постольку, поскольку этой должностью она была обязана положению своего мужа. Но в душе, по собственному почину, она делала то же, что делал в беседе со своей дряхлой сестрой-супругой осипший Гуий: она соотносила свою принадлежность к жрицам с особым характером своего брака, она, не облекая этого прямо в слова, находила пути и способы показать, что, по ее мнению, побочной жене бога вполне подобает и, собственно, даже надлежит иметь такого земного супруга, как Петепра; она сумела сообщить и внушить это представление обществу, которое, в свою очередь, помогало ей его сохранять, видя ее положение среди прочих хатхор в свете ее целомудренной верности богу, благодаря чему, еще больше чем благодаря красивому голосу и танцевальному мастерству Мут, это положение было молча признано привилегированным, почти равным положению высокой наставницы. Это было делом ее воли, заявившей о себе миру и доставившей Мут-эм-энет те сверхутешительные возмещения, которых требовали ее немые глубины.

Нимфа? Распутная бабенка? Смешно, да и только. Мут-эм-энет была элегантною святой, светски-холодной схимницей, чьи силы отчасти поглощались требовательной цивилизацией, отчасти же были, так сказать, храмовой собственностью и тратились на религиозную гордость. Так и жила она первой и праведной женой Потифара, благоухоженная, носимая на руках, укрепленная в своем довольстве собою всеобщим коленопреклоненным уважением, даже и во сне не волнуемая желаниями из той сферы, что являла себя в змеистом ее ротике, желаниями, выразимся короче и резче, гусяного свойства. Ибо неверно считать сон свободной и дикой областью, где все, что запрещено днем, всегда может с лихвой взять свое. Того, что совершенно неведомо яви и начисто

отрезано от нее, не знает и сон. Граница между этими двумя областями зыбка и проницаема; она неуверенно проходит через одно и то же пространство души, а что пространство это для совести и для гордости неделимо, доказало смущение, доказали стыд и тревога, охватившие Мут не только по пробуждении, но уже и во сне, когда ей ночью впервые приснился Иосиф.

Когда это случилось? У нее на родине не ведут такого уж точного счета годам жизни, и, во многом следуя привычкам мира нашей повести, мы тоже удовлетворимся приблизительными определениями. Эни была, несомненно, на много лет моложе своего супруга, который при покупке Иосифа предстал нам на исходе четвертого десятка и которому за это время прибавилось круглым счетом семь лет. Ей, следовательно, не было еще за сорок, как ему, и даже до сорока было еще далеко; но все-таки она была зрелой женщиной и, безусловно, на много лет старше Иосифа - на сколько именно, нам не хочется высчитывать, не хочется из нравственного уважения к высокой, почти стирающей женские возрастные различия косметической культуре, результатам которой, поскольку они воспринимаются чувствами, принадлежит более высокая правда, чем результатам всяких подсчетов и выкладок. С тех пор как Иосиф впервые увидел свою госпожу, когда она проплывала на золотых носилках, он изменился - с точки зрения женского внимания - к лучшему, чего нельзя было сказать и, уж во всяком случае, никак не сказал бы о ней тот, кто видел ее с тех пор непрерывно. Горе рабыням-умастильницам и скопцам-массажистам, если эти годы смогли нанести какой-то ущерб ее осанке! Да и в лице ее, которое при впалой переносице и своеобразных углублениях щек никогда не было в строгом смысле слова красивым, так же как и тогда, спорили согласие и прихотливость, печать моды и живое, не знающее никаких правил очарование; зато явно усилилось за эти годы тревожное противоречие между извилиной рта и глазами, и при склонности усматривать в тревожном красивом можно было даже найти, что она стала красивее.

С другой стороны, красота Иосифа вышла к этому сроку из той ее стадии юношеской пригожести, в которой мы воздавали ей должное в свое время. В двадцать четыре года он все еще был или, вернее, именно стал чудо как красив, но его красота переросла двойное очарование той ранней поры и, сохранив общую свою обаятельность, куда решительней обратила свою силу в одном направлении - в направлении женских чувств. При этом, став мужественнее, она даже облагородилась. Лицо его уже не было, как прежде, пленительной мордочкой мальчика-бедуина, оно, правда, сохраняло кое-что от нее, особенно когда Иосиф, хотя он отнюдь не был близорук, по-матерински, словно обволакиваясь туманом, прищуривал свои глаза, глаза Рахили, но стало полнее, строже, да и смуглее под верхнеегипетским солнцем и приобрело большую правильность, большее благообразие. Об изменениях, происшедших в его фигуре, а также - следствие не только возраста, но и обязанностей, с которыми он сжился, - в его движениях, в звучании его голоса, мы уже мимоходом упомянули. Но к этому, под воздействием культуры Египта, прибавился внешний лоск, который необходимо принять во внимание, чтобы верно представить себе тогдашний его вид. Его нужно представлять себе в белой полотняной одежде высокопоставленного египтянина: нижнее платье просвечивает сквозь верхнее, широкие и короткие рукава оставляют открытыми руки, украшенные в запястьях финифтяными браслетами; в тех случаях, когда нужно быть строго одетым - ибо в более удобных случаях он не прятал собственных своих гладких волос - голова его покрыта легким париком из лучшей овечьей шерсти, который, будучи чем-то средним между платком и накладкой, прилегает к верхней части головы очень тонкими, равномерной частоты прядями, похожими на рубчатый шелк, а у затылка, начиная от определенной косой линии, меняет свою фактуру и падает на плечи мелкими, симметричными завитками, как черепица, набегающими один на другой; на шее у него, кроме пестрого воротника, плоская цепочка, изготовленная из тростника и золота, на которой висит защитный скарабей; лицо его несколько изменено иератической

картинностью, достигнутой теми искусственными приемами, которые он, приспособляясь к египетским нравам, ввел в утренний свой туалет, - симметричным подведением бровей и удлинением линии верхних ресниц к вискам. В таком виде ходил он, выставляя, вероятно, вперед длинный посох, по усадьбе в качестве верховных уст управляющего, в таком виде ездил на рынок, в таком виде, делая знаки слугам, стоял в столовой за креслом Петепра - таким и видела его госпожа, видела либо в обеденном зале, либо когда он появлялся в гареме и, бывало, самым смиренным образом обращался за каким-либо распоряжением к ней самой, - таким она его вообще впервые увидела; ибо прежде, ничтожным новокупленным рабом, и даже во времена, когда он сумел согреть сердце Потифара, она его вообще не видела, и даже когда он рос в доме, словно у родника, все еще нужны были заушательские указания Дуду, чтобы у нее наконец открылись глаза на него.

Но даже и это отверзание глаз, выполненное таким "копытцем", как язык Дуду, было еще далеко не полным: не более чем со строгим любопытством глядела она на раба, о предосудительном возвышении которого ей твердили. Опасность (как приходится выразиться тому, кому дороги ее гордость, ее покой) - опасность заключалась лишь в том, что глаза ее обратились тогда именно на Иосифа, что именно его глаза встречались тогда на какие-то доли секунды с ее глазами, - а это действительно немаловажное обстоятельство, и недаром у маленького Беса, благодаря его карличьей мудрости, сразу же возникла страшная догадка, что злобный Дуду кладет начало чему-то более крупному, чем его злоба, и что отверзание глаз может приобрести гибельную полноту. Врожденный страх, вчуже испытываемый Бесом перед силами, которые виделись ему в образе огнедышащего быка, сделал его скорым на такие догадки. Иосиф же, по непозволительному легкомыслию - мы не собираемся щадить его в данном случае - не хотел понимать визиря и вел себя так, как будто тот мелет вздор, хотя, в сущности, разделял мнение стрекочущего своего доброжелателя. Ведь и ему, Иосифу, тоже был не так важен смысл этих мгновений в столовой, как то, что они вообще случаются, и в душе он глупейшим образом гордился тем, что перестал быть пустым местом для госпожи и что она обращает внимание, пусть гневное внимание, на него лично... Ну, а наша Эни?

Что ж, она тоже не оказалась умнее. Она тоже не хотела понимать карлика. Если она глядела на Иосифа гневно и строго, то это казалось ей достаточным оправданием того, что она вообще на него глядела - а это с самого начала величайшее заблуждение, простительное, покуда она не знала, кого она видит, если видит, но потом все более добровольное и преступное заблуждение. Несчастливая не хотела замечать, что из "строгого любопытства", с которым она глядела на личного слугу своего супруга, строгость постепенно ушла, а оставшееся любопытство вскоре уже заслуживало другого, более счастливого и более злосчастного имени. Она воображала, что ее очень интересует существо жалоб Дуду, досадное возвышение Иосифа; она чувствовала, что имеет право и обязана проявлять такой интерес по своей религиозной или, что одно и то же, политической позиции, в силу своей слитности с Амуном, который должен был счесть оскорбительным для себя главенство в доме раба-хабира, видя в этом уступку азиатским склонностям Атума-Ра. Тяжесть подобного оскорбления помогала оправдывать удовольствие, доставляемое ей этим занятием, удовольствие, которое она называла заботой и беспокойством. Поразительна способность человека к самообману. Когда в короткие летние или более долгие зимние, свободные от светских обязанностей часы, Мут, чтобы собраться с мыслями, ложилась на диван у края четырехугольного, с разноцветными рыбками и плавающими лотосами бассейна, устроенного в полу открытой колонной палаты гарема, у задней стены которой сидела маленькая нубийка, с завитыми, сильно намасленными волосами, обязанная сопровождать мысли хозяйки тихой игрой на лютне, - она бывала убеждена, что собирается подумать, как вопреки упрямству супруга и уклончивой выпренности Бекнехонса не допустить, чтобы раб из страны Захи и племени иврим приобретал столь большой вес в ее доме; из-за важности

этого дела она не удивлялась, когда заранее радовалась таким размышленьям, - хотя почти уже знала, что радость эта вызвана лишь тем, что ей предстоит думать об Иосифе. Если бы не было ее жаль, можно было бы рассердиться за такую слепоту. Не удивлялась Мут и тому, что стала с радостью ждать трапез, за которыми она должна была увидеть Иосифа. Она воображала, что радость ее относится к тем гневным взглядам, какими она намеревалась его наказать. Это плачевно, но она не замечала, что змеистый ротик ее растерянно улыбался, когда она думала о том, как испуганно и смиренно гаснет под веками взгляд Иосифа, встретившись со строгостью ее взгляда. Если брови ее одновременно хмурились от досады на такую домашнюю неприятность, она полагала, что этого уже достаточно. И если бы карличья мудрость испуганно предостерегла ее от огнедышащего быка и вздумала указать ей, что искусственный строй ее жизни уже зашатался и грозит рухнуть, ее лицо, вероятно, сразу бы залилось краской, но она, уличив ее в этом кто-нибудь, объяснила бы все своим недовольством такой нелепой болтовней и постаралась бы с лицемерно преувеличенной беззаботностью подчеркнуть, что не понимает таких опасений. Кого хотят обмануть этой неестественной подчеркнутостью? Того, кто предостерегает? Ах, она призвана только прикрыть путь авантюр, которым, чего бы это ни стоило, хочет идти душа. Морочить себя, покуда не станет поздно морочить себя, - вот в чем задача. Спohватиться, протрезветь, опомниться \_прежде\_, чем станет поздно, - вот "опасность", которую стремятся предотвратить в плачевном лукавстве. В плачевном ли? Да не выставит себя человеколюбец в смешном свете своим соболезнованием. Его легковверное предположение, что человеку, в сущности, важнее всего сохранить покой, мир, защитить от потрясений и тем более от краха свой уклад жизни, создаваемый подчас с великим искусством и большой тщательностью, - это предположение, мягко говоря, не доказано. Не перечислить примеров, свидетельствующих скорее о том, что человек прямо-таки стремится к своему блаженству и к своей гибели и не испытывает ни малейшей благодарности к тому, кто хочет его от этого уберечь. Вот как раз такой случай - пожалуйста!

Что касается Эни, то человеколюбец должен не без горечи отметить, что ей шутя удалось миновать тот момент, когда еще не было поздно и она еще не погибла. Блаженно-ужасное подозрение, что она погибла, внушил ей тот, ранее упомянутый нами сон об Иосифе - и тут уж ее охватил страх. Тут уж ей вспомнилось, что она существо разумное, и она повела себя соответственно этому - то есть она, так сказать, подражала разумному существу, механически поступая по образцу разумного существа, но в действительности уже потеряв разум, она предприняла шаги, успеха которых на самом деле уже не могла желать, - а это шаги нелепые и недостойные, и человеколюбец предпочел бы закутать голову, чтобы вовсе не знать о них, если бы не был обязан соваться со своим состраданием.

Облекать сны в слова и рассказывать их почти невозможно, потому что не так важна самая суть сна, - ее-то именно и можно выразить, - как его аромат и флюид, тот непередаваемый дух ужаса или счастья (или того и другого сразу), которым он пропитан и которым порой наполняет душу сновидца еще долгое время спустя. В нашей истории снам принадлежит решающая роль: великие и по-детски яркие сны снились ее герою, будут здесь сниться сны и другим лицам. Но как затрудняла их всех задача хотя бы приблизительно поведать пережитое другим, как не удовлетворяла их самих каждая такая попытка! Достаточно вспомнить сон Иосифа о солнце, луне и звездах и о том, сколь беспомощно и отрывочно изложил Иосиф увиденное. Поэтому нам простят, если нам не удастся, рассказав сон Мут-эмэнет, сделать вполне понятным то чувство, которое у нее возникло после него и осталось. Как бы то ни было, мы намекали на него уже слишком часто, чтобы сейчас снова откладывать его изложение.

Итак, ей приснилось, что она сидит за трапезой в палате голубых колонн, на помосте, на своей скамеечке, рядом со старым Гуием, принимая пищу в той предупредительной

тишине, какая во время этой процедуры всегда стояла. Однако на сей раз тишина была особенно предупредительной и глубокой, ибо четверо сотрапезников не только безмолвствовали, но и старались управляться с едой совершенно бесшумно, и поэтому в тишине отчетливо слышалось нестройное дыхание занятых своим делом слуг, настолько отчетливо, что казалось, оно будет слышно и при менее предупредительной тишине, так как походило уже скорей на пыхтение. Эти торопливо-тихие звуки вызывали тревогу, и то ли потому, что Мут к ним прислушивалась, то ли по какой-то другой причине, она недостаточно внимательно следила за действиями своих рук и нанесла себе рану. Разрезая остро отточенным бронзовым ножичком гранат, она по рассеянности промахнулась, и лезвие довольно глубоко вошло в мякоть руки, между большим и четырьмя остальными пальцами, что привело к обильному кровотечению. Кровь была такая же рубиново-красная, как гранатовый сок, и глядела она на нее со стыдом и печалью. Да, она очень стыдилась своей крови, хотя та была такого прекрасного рубинового цвета, - стыдилась и потому, наверно, что ее белое платье сразу же и самым неизбежным образом замаралось, но, независимо от выпачканного платья, ей было чрезвычайно стыдно, и она всячески старалась скрыть от присутствующих, что у нее идет кровь; это ей, как можно или как должно было заключить, удалось: все тщательно делали вид, что не заметили оплошности Мут, и никто не оказывал ей помощи, что раненую, с другой стороны, и огорчало. Она не хотела показывать, что у нее идет кровь, не хотела, потому что ей было стыдно; но то, что все закрывали на это глаза, что никто палец о палец не ударил, чтобы ей помочь, что все, словно сговорившись, предоставили Мут самой себе - это возмущало ее поистине до глубины души. Ее служанка, нарядное, одетое в паутину создание, деловито склонилась над одностолпным столиком Мут, как будто там срочно нужно было привести что-то в порядок. Сосед ее, старый Гуий, качая головой, беззубо глодал кольчатый валик сладкого печенья, пропитанного вином и нанизанного на позолоченную бедренную косточку, которую он держал за один конец дряхлыми пальцами, и делал вид, что целиком поглощен этим занятием. Петепра протянул через плечо свою кружку сирийцу, своему чашнику и слуге, чтобы тот ее снова наполнил. А мать господина, старуха Туий, та даже ободряюще подмигнула растерянной Мут слепыми щелками своего большого, белого лица, и было неясно, с каким она это сделала смыслом и заметила ли она неловкость Эни. Что же касается Эни, то она, во сне, продолжала постыдно истекать пачкавшей платье кровью, молча досадуя на всеобщее равнодушие и печалась, независимо от этого равнодушия, по поводу самой своей ярко-красной крови. Ибо эта упрямо сочившаяся кровь вызывала у нее неопишуемое чувство раскаянья; ей было жаль ее, ах, как жаль, это была глубокая, несказанная скорбь души, скорбь не о себе и не о своей задаче, а о милой крови, которая так утекала и утекала, и от горя она без слез коротко всхлипывала. Вдруг она спохватилась, что из-за этой беды она забыла о своей обязанности - бросать во имя Амуна осуждающий взгляд на несчастье дома, на раба-кенанитянина, который возвысился самым неподобающим образом; и она нахмурила брови и строго взглянула на юношу Озарсифа, стоявшего у Петепра за спиной. И тот, словно его позвал ее строгий взгляд, покинул место, указанное ему службой, и приблизился к ней. И он был близко от нее, и близость его была очень чувствительна. А приблизился он к ней для того, чтобы остановить кровь. Он взял раненую ее руку и приложил к своему рту, так что четыре пальца прижались к одной его щеке, большой палец к другой, а рана к его губам. И от восторга кровь у нее остановилась, перестала идти. А в палате, откуда происходило это исцеление, все было противно и страшно. Слуги, все, сколько их там находилось, забегали как безумные, на цыпочках, правда, но дружно пыхтя; Петепра закутал голову, и его, согбенного и закутанного, ощупывала растопыренными пальцами его родительница, сокрушенно качая над ним своим слепым, обращенным кверху лицом. А старик Гуий стоял и грозил Эни своей золотой косточкой, на которой уже не было печенья, и рот его над сероватой бородкой отворялся и затворялся, извергая беззвучную брань. Богам было ведомо, какие ужасные речи слетали с его хлопотливого языка и вылетали из его беззубого рта, но всего вероятней, что они совпадали по смыслу с тем, о чем пыхтели мечущиеся слуги. Ибо в их дружном и

громком дыхании можно было различить шепот: "Огню, реке, собакам и крокодилу", - и звуки эти повторялись снова и снова. Этот хор шепчущих голосов еще ясно слышался Эни, когда она пробудилась от сна и сначала похолодела от ужаса, а потом запылала от блаженства такого исцеленья, зная, что жезл жизни ее ударил.

## СУПРУГИ

После этого отверзания глаз Мут решила вести себя как существо разумное и сделать шаг, который, имея своей бесспорной и ясной целью убрать Иосифа из ее поля зрения, был бы сочувственно встречен престолом разума. Она изо всех сил стала ходатайствовать перед своим супругом об удаленье его слуги.

День после той ночи, когда ей приснился этот сон, она провела в одиночестве, вне круга своих сестер и не принимая гостей. Она сидела в своем дворе у бассейна и глядела поверх сновавших в воде рыбок "в одну точку", как принято говорить, когда взгляд оцепенело теряется в пустоте и, ни на что не направленный, расплывается в себе самом. Но иногда вдруг, как бы выходя из тупого оцепенения, глаза ее испуганно расширялись, очень широко, словно бы в ужасе, распахивались, хотя и не отрывались от пустоты, а рот ее при этом сразу же отворялся и учащенно заглатывал воздух. Затем глаза ее снова становились спокойными, ужас в них исчезал, но зато рот ее, углубляя свои уголки, оживлялся безотчетной улыбкой и незаметно для Мут продолжал улыбаться под ее задумчивыми глазами, покуда, через минуту-другую, она не спохватывалась и в испуге не прижимала руку к непокорным губам, большим пальцем к одной щеке, а четырьмя другими - к другой. "О боги!" - шептала она при этом. А потом все повторялось опять оцепенение, учащенное дыхание, самозабвенная улыбка, испуг, когда она замечала ее, - повторялось до тех пор, пока Эни наконец не решила покончить со всем одним махом.

На закате, удостоверившись, что Петепра дома, она велела служанкам нарядить ее для посещения господина.

Царедворец находился в западной палате своего дома, откуда открывался вид на плодовый сад и на боковую стену стоявшей на одном из его холмов беседки. Вечерняя заря, свет которой вливался сквозь легкие и пестрые наружные колонны, стала уже наполнять это помещение, сгущая бледные краски картин, небрежно набросанных каким-то художником на штукатурке пола, стен и потолка; картины эти изображали порхающих над болотом птиц, прыгающих телят, пруды с утками, стадо коров, которое пастухи гонят вброд через реку и за которым следит притаившийся в воде крокодил. Фрески задней стены, в простенках между дверями, соединявшими эту палату со столовой, показывали жизнь самого хозяина дома, воспроизводя, например, его возвращение домой и старание слуг все приготовить к прибытию хозяина по его вкусу. Прозрачные изразцы окаймляли двери, на которых, сине-красно-зелеными иероглифами по верблюжье-коричневатому грунту, были написаны изречения славных старинных авторов и слова из гимнов богам. Между дверями тянулось подобие эмпоры или террасы со ступенькой-скамеечкой и невысокой, прилегающей к стене спинкой; глиняное это сооружение было покрыто белой штукатуркой и размалевано по передним своим плоскостям цветными надписями. Оно служило и подставкой для всяких вещей, произведений искусства, подарков, которыми были битком набиты палаты Петепра, и просто скамьей для сидения; сейчас наш сановник как раз сидел посредине этого возвышения на подушке, сложив ноги на ступеньке-скамеечке, и по бокам его, справа и слева, громоздились такие чудесные вещи, как животные, боги и царские сфинксы из золота, малахита и слоновой кости, а за спиной его - совы, соколы, утки, зубчатые линии воды и другие символы надписей. Устраиваясь поудобнее, он снял с себя всю одежду, кроме белого, до колен набедренного плотного полотна с широким накрахмаленным кушаком. (Его верхнее платье, его палка и прикрепленные к ней сандалии лежали на львиноногом кресле у одной из дверей.)

Однако он не позволил себе совсем распуститься, он сидел подчеркнуто стройно, положив на колени маленькие, почти крошечные в сравнении с массивным телом кисти рук и держа очень прямо свою тоже очень изящную сравнительно с туловищем голову с благородно изогнутым носом и с тонко очерченным ртом, и глядел через зал своими кроткими, карими, в длинных ресницах глазами на алеющий вечер - жирное, но не лишенное достоинства и аристократизма сидячее изваяние, у которого огромные голени высились, как колонны, руки не отличались от рук толстой женщины, а груди подушками выступали вперед. При всей тучности у него не было живота. Он был даже довольно узок в тазу. Зато бросался в глаза его пупок, который был так велик и так вытянут лежесом, что походил немного на рот.

Уже много времени провел Петепра в этой исполненной достоинства неподвижности, в этом облагороженном осанкой безделье. В темноте ожидавшей его могилы, стоя где-нибудь в ложных дверях, его натуральной величины изваяние вечно будет вот так же спокойно и неподвижно, как он сейчас, глядеть своими стеклянными карими глазами на его вечную собственность, на предметы, которые ему дадут, и на те, которые, волшебства ради, изобразят на стене. Его статуя будет тождественна с ним - и он предвосхищал это тождество, он сидел и увековечивал себя. За его спиной и у ступеньки-скамеечки красно-сине-зеленые иероглифы говорили свое; по бокам от него громоздились дары фараона; совершенны, согласно египетской идее формы, были расписные колонны палаты, сквозь которые он глядел на вечернее небо. Окружающее имущество благоприятствует неподвижности. Ему предоставляют покоиться и сиять красотой и, сложив руки, предаются покою в его окружении. К тому же подвижность подобает скорее тем, кто плодотворно открыт миру, кто сеет и расточает и, умирая, растворяется в собственном семени, - а не тем, кто, как Петепра, замкнут в своем бытии. Он сидел, целиком сосредоточившись в себе, лишенный выхода в мир, неподвластный смерти плодозачатия, вечный, он сидел, как сидит в своем капище какой-нибудь бог.

Черная тень бесшумно вплыла между колоннами сбоку, только темный окомок на багрянце зари, и согбенно скользнув, замерла ничком, ладонями к полу. Он медленно перевел туда взгляд: это была одна из голых мавританочек Мут, настоящий зверек. Он собрался с мыслями, моргая глазами. Потом он слегка, только до запястья, поднял одну руку с колена и приказал:

- Говори.

Она оторвала лоб от каменного настила, поворачивала глазами и выпалила хриплым, дикарским голосом:

- Госпожа близка к господину и хотела бы быть ближе к нему.

Он еще раз собрался с мыслями. Потом ответил:

- Разрешается.

Зверек, пятаясь, исчез за порогом. Петепра сидел, высоко подняв брови. Прошло несколько мгновений, и на том месте, где прижималась к полу рабыня, уже стояла Мут-эм-энет. Не отрывая локтей от туловища, она протянула к нему обе ладони, словно приносила жертвенный дар. Он увидел, что она плотно одета. Поверх узкого, до щиколоток, нижнего платья на ней было второе, широкое, как плащ, и целиком в складках. Тенистые ее щеки были окаймлены синим платком-париком, падавшим ей на затылок и на плечи и схваченным вышитой лентой. На темени у нее стояла душница, сквозь отверстия которой был продет стебель лотоса. Он изгибался на некотором расстоянии от головы, так что цветок висел надо лбом. Тускло блестели каменья ее

воротника и браслетов.

Петепра тоже приветственно поднял маленькие свои руки и одну из них, тыльной стороной, поднес для поцелуя к губам.

- Цветок стран! - сказал он удивленным тоном. - Прекрасноликая, у которой есть место в доме Амуна! Неповторимая красавица с чистыми руками, когда она держит систр, и со сладостным голосом, когда она поет! - Он сохранял тон радостного изумления, быстро произнося эти заученные формулы. - О ты, которая наполняешь дом красотой, прелестное создание, перед которым все преклоняются, подруга царицы... ты умеешь читать в моем сердце, ибо ты исполняешь его еще не высказанные желания, ты исполняешь их, явившись ко мне... Вот подушка, - сказал он более сухо, извлекая таковую у себя из-за спины и кладя ее на ступеньку-скамеечку у своих ног. - Молю богов, - прибавил он, снова переходя на придворный язык, - чтобы ты, сама ты, пришла ко мне с каким-нибудь желанием, которое я выполнил бы тем радостнее, чем сильнее оно будет!

У него имелись основания для любопытства. Этот визит был чем-то из ряда вон выходящим и встревожил его, потому что нарушал привычный, исполненный бережной предупредительности порядок. Он полагал, что она пришла к нему с просьбой, и это вызывало у него какую-то боязливую радость. Но покамест она говорила только красивые слова.

- Чего мне еще желать, будучи твоею сестрою, господин мой и друг? сказала она своим мягким, хорошо поставленным голосом певицы, благозвучным альтом. - Тобой только я и живу, но благодаря твоему величию у меня есть все, чего только можно желать. Если у меня есть место в храме, то потому только, что ты выделяешься среди украшений страны. Если я зовусь подругой царицы, то лишь потому, что ты друг фараона и блещешь золотом солнечной милости. Без тебя я была бы покрыта мраком. Будучи же твоей сестрой, я обильно озарена светом.

- Не стоит, пожалуй, противоречить тебе, коль скоро таково твое мнение, - сказал он, улыбаясь. - Постараемся лучше не опровергнуть сразу же сказанного тобой об обилии света.

Он хлопнул в ладоши.

- Зажги свет! - приказал он явившемуся со стороны столовой слуге в набедреннике.

Эни попросила не делать этого:

- Не нужно, супруг мой! Сумерки только наступают. Ты сидел и радовался прекрасному свету этого часа. Ты заставишь меня раскаиваться в том, что я помешала тебе.

- Нет, я настаиваю на своем приказании, - ответил он. - Прими уж это как подтверждение того, в чем меня упрекают, - что моя воля похожа на черный гранит из долины Рехену. Ничего не поделаешь, я слишком стар, чтобы исправиться. Да и не хватало еще, чтобы самую любимую и самую праведную, когда она, угадав сокровеннейшее желание моего сердца, приходит ко мне, я принимал во мраке и сумраке! Разве не праздник для меня твой приход, а разве праздник оставляют неосвещенным? Все четыре! - сказал он двум вошедшим с огнем слугам, которые спешили зажечь стоявшие на подстолбиях по углам зала пятиплоскочные светильники. - Да чтобы горели поярче!

- Твоя воля - закон, - сказала она, как бы восхищаясь, и покорно пожала плечами. - Мне и в самом деле известна твердость твоих решений, и пусть упрекают тебя за нее мужчины,

которые с ними сталкиваются. Женщины же обычно ценят в мужчине его несгибаемость. Сказать - почему?

- Я был бы рад услышать.

- Потому что только она придает ценность снисходительной уступчивости и превращает ее в подарок, которым мы вправе гордиться, если его получим.

- Очень мило, - сказал он и поморгал глазами - отчасти из-за сильного света, наполнившего теперь палату (ибо фитили двадцати плашек торчали в вощаном жиру и горели широким и ярким пламенем, так что их беловатый свет и багрянец зари залили залу красками молока и крови), отчасти же потому, что задумался о смысле ее слов. Конечно же, она пришла с просьбой, думал он, и с просьбой немалой, иначе она обошлась бы без таких долгих сборов. Это совсем на нее не похоже, ибо она знает, как важно мне, человеку особенному и священному, чтобы меня оставляли в покое и не заставляли ни за что браться. Да и вообще она слишком горда, чтобы чего-то от меня требовать, и, таким образом, ее высокомерие и мой покой живут в добром брачном согласии. Тем не менее было бы приятно и утешительно сделать ей любезность, показав ей свое могущество. Я жажду и боюсь услышать, чего она хочет. Лучше бы это только казалось ей важным, но не было важно для меня, тогда я смог бы порадовать ее без особого ущерба для своего покоя. Оказывается, в груди у меня существует известное противоречие между моим вполне оправданным себялюбием, вытекающим из моей особой священности, в силу которой я особенно не люблю, когда кто-либо задевает или хотя бы только беспокоит меня, и, с другой стороны, желанием показаться этой женщине могущественным и любезным. Она красива в плотной своей одежде, в которой явилась ко мне по той же причине, по какой я приказал осветить эту палату, - красивы ее глаза-самоцветы и ее тенистые щеки. Я люблю ее, насколько это допускает оправданное мое себялюбие; но тут-то, собственно, и заключено настоящее противоречие, ибо я еще и ненавижу, не перестая ненавидеть ее из-за требования, которого она мне, разумеется, не предъявляет, но которое в общем заключено в нашем союзе. Однако мне не хочется ненавидеть ее, я предпочел бы, чтобы я мог любить ее без ненависти. Если бы она сейчас дала мне удобный случай показать ей мою любезность и могущество, моя любовь хоть на этот раз лишилась бы ненависти, и я был бы счастлив. Поэтому мне весьма любопытно узнать, чего она хочет, хотя одновременно мне страшно за свой покой.

Так думал, моргая глазами, Петепра, покуда рабы зажигали светильники, а затем, с тихой поспешностью, удалялись, держа головешки в скрещенных руках.

- Значит, ты разрешаешь мне присесть рядом с тобой? - услышал он обращенный к нему с улыбкой вопрос Эни и, оторвавшись от своих мыслей, еще раз, со всяческими изъявлениями радости, склонился над подушкой, чтобы поудобнее устроить жену. Она села у его ног на испещренную письменами ступеньку.

- В общем-то, - сказала она, - нам слишком редко случается праздновать такие часы и дарить друг другу свое общество просто подарка ради, без всякой цели, болтая о том, о сем, безразлично о чем, без всякого предмета, - ведь предметность речи обычно связана с какой-то нуждой, а ее беспредметность, напротив, с веселым избытком. Не так ли, по-твоему?

Держа свои могучие женские руки раскинутыми на спинке скамьи-эмпоры, он утвердительно кивнул головой. При этом он думал: "Редко? Не редко, а вообще никогда. Никогда у нас этого не случается, ибо мы, члены благородной и священной семьи, родители и дети-супруги, живем обособленно в своих покоях, мы с нежной предупредительностью избегаем друг друга и разве только едим хлеб вместе; и если

сегодня это случилось, то, значит, за этим скрывается какой-то предмет, какая-то нужда, о которых я думаю с тревожным любопытством. Неужели я не прав? Неужели она пришла только затем, чтобы мы одарили друг друга своим обществом, неужели сердце ее пожелало такого времяпрепровождения? Не знаю, чего мне хотеть, ибо мне хочется, чтобы она не очень-то посягала на мой покой своим делом; но чтобы она пришла ко мне только ради моего общества, этого мне хочется, может быть, даже еще больше..." Думая обо всем этом, он сказал:

- Я совершенно согласен с тобой. Это пристало ничтожным и бедным, чтобы речь служила им для жалкого изъяснения их нужд. А наш удел, удел богатых и благородных, - это прекрасный избыток, и вообще во всем, и в речах наших уст, ибо красота и избыток едины. Удивительно меняется иногда смысл и достоинство слов, когда они, сбросив с себя обычную вялость, вздымаются к гордой своей сущности. Разве суждение "избыточный" не заключает в себе осуждающего пожатия плеч, вялого пренебрежения? Но вот это слово вздымается, надевает на себя царский венец, и теперь это уже не суждение, а сама красота и по сути и по названию: "избыток" - вот оно теперь каково. Я часто разбираю такие тайны, когда сижу в одиночестве, и это служит уму моему прекрасным, ненужным занятием.

- Я благодарна моему господину за то, что он позволяет мне участвовать в этом занятии, - отвечала она. - Твой ум светел, как светильники, которые ты велел зажечь ради нашей встречи. Не будь ты личным слугой фараона, ты вполне мог бы быть одним из ученых бога, что живут во дворах храмов и ведут мудрые речи.

- Очень возможно, - сказал он. - Мало ли кем может стать человек, кроме того, кем ему задано стать или предстать. Часто он даже удивляется, как удивляются ряженым, что ему задана именно эта задача, и маска жизни кажется ему такой же тесной и жаркой, какой, наверно, кажется маска бога жрецу на празднике. Понятно ли я говорю?

- Пожалуй, да.

- Наверно, не совсем, - предположил он. - Наверно, вам, женщинам, не так понятна эта беда, потому что по доброте Великой Матери вам дано нечто общее и вы являетесь подобием Великой Матери, женщиной как таковой, в большей мере, чем той или иной женщиной. Поэтому ты Мут-эм-энет в меньшей степени, чем я Петепра, каковым меня обязал быть более строгий отцовский дух. Согласна ли ты со мной?

- Очень уж светло в этой палате, - сказала она, опустив голову, - от огней, которые горят здесь по твоей мужской воле. Мне кажется, за такими мыслями было бы лучше следить при меньшем свете; в сумерках мне было бы, я думаю, легче погрузиться в такую мудрость и быть более женщиной и подобием Великой Матери, чем только Мут-эм-энет.

- Прости! - поспешил он ответить. - Я совершил неловкость, не приспособив должным образом к освещению нашу изящно-бесполезную, не имеющую ни предмета, ни цели беседу. Я сейчас же поверну ее так, чтобы она больше соответствовала освещению, которое я счел подобающим радостному этому часу. Мне это ничего не стоит. Я сделаю переход и переведу речь из области ума и внутренней природы в область осязаемого, озаренного светом постижимого мира. Я уже знаю, как совершить такой переход. Позволь мне только попутно насладиться этой прекрасной тайной, что мир осязаемых вещей есть также мир постижимого. Ведь то, что осязает рука, легко постигается и женским, и детским, и самым заурядным умом, тогда как неосязаемое может постигнуть лишь более строгий отцовский дух. Постигание - это духовный образ осязания, но и осязание, в свою очередь, тоже может быть образом, и о легко постижимом духовном предмете мы обычно говорим, что он осязаем.

- Твои наблюдения, муж мой, и твои бесполезные мысли, - сказала она, просто великолепны, и я передать не могу той радости, которую ты мне сейчас по-супружески доставляешь. Не думай, однако, что я так уж спешу перейти от неосязаемого к удобопостижимому. Напротив, я была бы рада задержаться с тобой в этой области и внимать твоему избытку, возражая тебе в меру своего женского и детского разума. Я хотела только сказать, что о делах внутренней природы при менее ярком свете болтаешь сосредоточенней.

Он недовольтно помолчал.

- Госпожа этого дома, - сказал он затем, с упреком качая головой, - все время возвращается к одному и тому же, к вопросу, в котором ее воле пришлось уступить некоей высшей. Это не очень красиво и не делается красивее оттого, что таково уж свойство всех женщин - не обходить подобных вопросов, а упрямо возвращаться к ним и привязываться. Позволь мне заметить, что нашей Эни следовало бы попытаться стать хотя бы в этом отношении больше Мут, больше особенной женщиной, чем женщиной вообще.

- Слушаю и сожалею, - пробормотала она.

- Если бы мы стали упрекать друг друга, - продолжал он изливать свое недовольство, - за наши обоюдные действия и решения, то я мог бы неотвязно язвить тебя за то, что ты, подруга моя, явилась ко мне в густоскладчатом платье-плаще, тогда как желание и радость твоего друга состоят в том, чтобы видеть очертанья твоего лебединого тела сквозь дружественную ткань.

- Ты прав, увь! - сказала она и опустила, краснея, голову. - Лучше мне умереть, чем узнать, что я не избежала ошибки, нарядившись для посещения моего господина и друга. Клянусь тебе, я думала, что этим платьем я сослужу своей красоте наилучшую службу в твоих глазах. Оно драгоценнее и сделано с большим старанием, чем большинство моих платьев. Его изготовила, неусыпно трудясь, рабыня-портниха Хети, и она разделяла мою заботу о том, чтобы я снискала у тебя милость в этом наряде; но разделенная забота - это не ползаботы!

- Ничего, дорогая, - отвечал он. - Не беспокойся! Я же не сказал, что хочу бранить тебя и язвить, я сказал только, что тоже мог бы стать на этот, путь в том случае, если бы ты захотела на него стать. Но я не думаю, что намерение твое таково. Однако оставим это и продолжим нашу беспредметную беседу как ни в чем не бывало, как будто в ней вовсе не наступало разлада по твоей или по моей вине. Ибо теперь я и совершу переход к вещам осязаемого мира, выразив удовлетворение тем, что мой жизненный удел носит печать бесцельного избытка, а не нужды. Царственным назвал я избыток, и он действительно процветает при дворе и во дворце Меримат: это - изысканность, беспредметность формы, витиеватая речь, которой приветствуют бога. И поскольку все это дело придворного, можно сказать, что царедворца маска жизни стесняет меньше, чем ограниченного насущной предметностью нецаредворца и что царедворец стоит ближе к женщинам, потому что его удел - более общее. Спору нет, я не принадлежу к тем людям, с которыми фараон советуется насчет буренья колодца в пустыне, у ведущей к морю дороги, относительно сооружения какого-либо памятника или по поводу того, сколько воинов послать для охраны груза золотой пыли из рудников горемычного Куша, и возможно, что порой это и умаляло мою удовлетворенность собой и я злился на Гор-эмхеба, который распоряжается дворцовой стражей и исполняет обязанности начальника палачей, почти не обращаясь ко мне, хотя, по званию, этими делами ведаю я. Однако я всякий раз быстро преодолевал такие приступы скверного настроения. Ведь от Гор-эм-

хеба я отличаюсь так же, как отличается носитель почетного опахала от того необходимого, но ничтожного человека, который действительно держит опахало над фараоном во время его выездов. Такие дела ниже моего достоинства. Зато мое дело - стоять перед фараоном в утренней его палате вместе с другими титулоносцами и столпами двора, сладкоголосо ублажая этого бога приветственным гимном "Ты равен Ра" и самым замысловатым витийством, как, например: "Язык твой - это весы, о Неб-ма-ра, а губы твои точнее, чем язычок на весах Тота" или такими, к примеру, сверхправдами: "Если ты говоришь воде: взойди на гору! - то сразу же после твоих слов вздымается океан". И все в такой беспредметной, красивой, далекой от каких бы то ни было нужд манере. Ибо мое дело - это чистая форма и бесцельный лоск, благодаря которым и царственна царская власть. Вот почему и не терпит ущерба мое довольство собой.

- Это прекрасно, - отвечала она, - если одновременно не терпит ущерба и правда, а она, несомненно, не терпит его в твоих словах, мой супруг. Только мне кажется, что придворный лоск и витийство в утреннем покое служат для того, чтобы окутать почетом и страхом, ввиду их важности для страны, такие предметно-насущенные заботы бога, как колодцы, постройки и золотые прииски, и что царственна царская власть именно благодаря заботе об этих делах.

На эти слова Петепра снова ответил не сразу; несколько мгновений он не раскрывал рта, играя вышитым кушаком своего набедренника.

- Я бы солгал, - сказал он наконец с легким вздохом, - если бы стал утверждать, что ты, моя любимая, подыгрываешь мне в этой беседе очень уж ловко. Я не без искусства совершил переход к мирским, удобопостижимым вещам, заведя речь о фараоне и о его дворе. А ты, вместо того чтобы подхватить мячик и спросить меня, например, кого из нас сегодня, после утреннего приема, при выходе из балдахинной палаты, потрепал за мочку, в знак своей мимолетной милости, фараон, - ты переходишь на всякие неприятные предметы и рассуждаешь о колодцах и рудниках, в которых ты, дорогая моя подруга, говоря между нами, смыслишь, конечно же, еще меньше, чем я.

- Ты прав, - ответила она и покачала головой по поводу своей ошибки. Прости меня! Слишком любопытно мне было услышать, кого сегодня потрепал за ухо фараон, и я спрятала свое любопытство за другими, не относящимися к делу словами. Пойми меня верно: я хотела оттянуть свой вопрос, ибо оттяжка представляется мне прекрасной и важной частью изящной беседы. Кто же станет сразу показывать, что у него на уме? Но уж поскольку ты предупредил мой вопрос, то скажи, не к тебе ли самому, супруг мой, прикоснулся наш бог при выходе из палаты?

- Нет, - сказал Петепра, - не ко мне. Со мной это тоже часто случалось, но сегодня это случилось не со мной. Но то, что ты мне сказала, прозвучало - сам не знаю как. Это прозвучало так, словно ты склоняешься к мнению, будто Гор-эм-хеб, действующий начальник войск, занимает при дворе и в странах более важное место, чем я...

- Клянусь тебе Сокрытым, муж мой и друг! - воскликнула она в страхе и положила руку в кольца на его колено, куда он и стал глядеть так, словно туда села птица. - Я была бы безнадежно безумна, если бы хоть на миг...

- Это прозвучало действительно так, - повторил, он, с сожалением пожимая плечами, - хотя, вероятно и вопреки твоему намерению. Получилось так, как если бы ты думала... Ну, какой бы пример тебе привести? Как если бы ты думала, что пекарь из придворной пекарни, который действительно печет хлеб для бога и для его дома и сует свою голову в печь, важнее, чем великий начальник царской пекарни, главный булочник фараона, носящий звание "князя Менфийского". Или как если бы ты думала, что я, поскольку я,

разумеется, ни за какие дела не берусь, менее важное лицо в доме, чем мой управляющий Монт-кау или даже чем его юные уста, сириец Озарсиф, который распоряжается хозяйством. Это очень меткие сравнения...

Мут вздрогнула.

- Они так метки и так разительны, что я даже вздрогнула, - сказала она. - Видя это, ты, я надеюсь, великодушно ограничишься таким наказанием. Теперь я понимаю, как я запутала нашу беседу своим стремлением к оттяжкам. Однако уйми мое любопытство, которое я хотела скрыть, уйми его, как унимают кровотечение, и скажи мне, кто был сегодня обласкан в престольной палате?

- Нофер-роху, смотритель благовоний из сокровищницы царя, - отвечал он.

- Ах, стало быть, этот князь! - сказала она. - И что же, его окружили?

- Да, по придворному обычаю его окружили и поздравили, - ответил он. Он сейчас пользуется первостепенным вниманием, и было бы очень важно, чтобы он показался на званом обеде, который мы дадим в следующей четверти месяца. Это придало бы особый блеск нашему обеду и моему дому.

- Несомненно! - согласилась она. - Напиши ему изящное пригласительное письмо с обращениями, которые ему будет воистину приятно читать, такими, например, как "Любимец своего господина!" или "Вознагражденный наперсник своего господина!", и пошли к нему с этим письмом и каким-нибудь подарком особо подобранных для такого случая слуг. Едва ли Нофер-роху ответит тебе на это отказом.

- Я и сам так думаю, - сказал Петепра. - Подарок тоже нужно, конечно, выбрать как следует. Я велю ознакомить меня со всеми возможностями этого рода и сегодня же вечером изготовить письмо с обращениями, которые ему будет воистину приятно читать. Да будет тебе известно, дитя мое, продолжал он, - что пир я устрою на славу, так что говорить о нем будет весь город и слух о нем пройдет даже по другим, в том числе и далеким городам: на семьдесят примерно гостей, со множеством благовоний, цветов, музыкантов, с великим обилием кушаний и вина. Я достал очень красивое изображение мумии, которое мы в этот раз и покажем гостям, отличная вещица, в полтора локтя длиной, я покажу ее тебе, если ты хочешь увидеть ее заранее: гроб золотой, а мертвец из черного дерева, и надпись "Празднуй этот день!" помещена у него на лбу. Ты слыхала о вавилонских танцовщицах?

- О каких, супруг мой?

- У нас в городе находится сейчас странствующая труппа этих иностранок. Я велел предложить им подарки, чтобы они показались на моем пиру. Судя по отзывам, они отличаются чужеземной красотой и сопровождают свои пляски игрой на бубнах и на глиняных тимпанах. Говорят, им известны какие-то новые, торжественные телодвижения, а глаза у них во время пляски, как и в минуты нежности, светятся яростью. Надеюсь, что они, да и весь мой праздник, вызовут бурное одобрение у наших гостей.

Эни, казалось, задумалась; глаза ее были опущены.

- Намерен ли ты, - спросила она после некоторого молчания, - пригласить на свой праздник и Бекнехонса, первого пророка Амуна?

- Несомненно и всенепременно, - ответил он. - Бекнехонса? Это само собой разумеется.

Зачем ты спрашиваешь?

- Тебе кажется, что его присутствие важно?

- Как же не важно? Бекнехонс велик.

- Оно важнее, чем присутствие девушек-вавилонянок?

- Что за сравнения и что за выбор навязываешь ты мне, моя дорогая?

- Одно исключает другое, супруг мой. Предупреждаю тебя, что тебе придется выбирать. Если вавилонские девушки будут плясать на твоём празднике перед первопророком Амуна, то чужеземная ярость их глаз может пойти вразрез с яростью его сердца, и тогда Бекнехонс встанет, позовет своих слуг и покинет твой дом.

- Это невозможно.

- Это очень даже вероятно, мой друг. Он не потерпит, чтобы у него на глазах оскорбляли Сокрытого.

- Пляской танцовщиц?

- Иноземных танцовщиц, - меж тем как Египет богат красотой и сам одаряет ею другие страны.

- Тем скорей может он позволить себе насладиться чем-то новым и редким.

- Строгий Бекнехонс не разделяет этого мнения. Его отвращение ко всему чужеземному не знает границ.

- Но ты-то, я надеюсь, разделяешь это мнение.

- Мое мнение - это мнение моего господина и друга, - сказала она, которое, конечно, не может угрожать чести наших богов.

- Честь богов, честь богов, - повторил он, шевеля и пожимая плечами. Должен признаться, что моя душа, увы, омрачается из-за твоих слов, хотя это никак не может быть целью изысканной болтовни.

- Я была бы в отчаянии, - отвечала она, - если бы это явилось следствием моей заботы именно о твоей душе. Ведь каково бы ей было, если бы Бекнехонс в гневе позвал своих слуг и покинул твой праздник, так что в обеих странах только и говорили бы об этой обиде.

- Надеюсь, он не столь мелок, чтобы рассердиться из-за изящной забавы, и не столь смел, чтобы нанести другу фараона такую обиду.

- Он достаточно велик, чтобы предаться великим мыслям и по мелкому поводу, и в предостережение фараону нанесет обиду сначала именно его другу, а не ему самому. Амуну ненавистны расслабляюще-разрушительный дух иноземности и пренебрежение к старинному укладу жизни, потому что они истощают страны и лишают скипетра царство. Это ненавистно Амуну, мы оба это знаем, он стремится к суровости нравов, к тому, чтобы в Кеме царили порядки седой старины, а дети Кеме замкнулись в отечественных обычаях. Но ты знаешь, так же, как я, что \_там\_, - и Мут-эм-энет указала на закат, в

сторону Нила и другого его берега, где стоял дворец, - что там господствует другая, расслабленно любимая мыслителями фараона идея солнца, - идея венчающего треугольник Она, подвижная, склонная к расширению и слияниям идея Атума-Ра, идея, которую они называют Атоном, хотя в этом названии слышен такой разрушительный отзвук. Как же не гневаться Бекнехонсу в Амуне, если его, Амуна, телесный сын оказывает предпочтение расслабленности и позволяет пытливым своим мыслителям размягчать костный мозг царства, народ, пустой иноземщиной? Фараона он не может отчитывать. Но он отчитает его в тебе, он устроит зрелище для Амуна: увидев девушек-вавилонянок, он разозлится, как верхнеегипетский леопард, вскочит с места и позовет своих слуг.

- Ты болтаешь, дорогая, - возразил он, - точь-в-точь как говорящая птица из Пунта, которая только и знает, что без толку твердит чужие слова. Костный мозг царства, заветы отцов, расслабляющая иноземщина - да ведь это же все безрадостные слова Бекнехонса, и, повторяя их, ты заметно омрачаешь мне душу, ибо твой приход сулил мне уютную беседу с тобой, а не с ним.

- Я напоминаю тебе, - ответила она, - его мысли, хоть ты их и знаешь, чтобы уберечь твою душу, супруг мой, от большой неприятности. Я не говорю, что мысли Бекнехонса - это мои мысли.

- Но это твои мысли, - возразил он. - Я так и слышу его, когда ты говоришь, и это неправда, что ты пересказываешь их мне как что-то чужое, тобою не разделяемое. Нет, ты усвоила их, ты с ним заодно, с этим плешивцем, вы оба против меня, и этим-то и скверно твое поведение. Разве я не знаю, что он твой завсегдатай и навещает тебя каждую четверть, если не чаще? У меня это вызывает тихую досаду, ибо он мне не друг и я его с его нудными словесами терпеть не могу. Моя душа и природа требуют умеренной, изящной и терпимой идеи Солнца, и поэтому сердце мое принадлежит Атуму-Ра, обходительному богу. Но прежде всего оно принадлежит ему потому, что принадлежит фараону, чьим царедворцем я состою, ибо фараон велит своим мыслителям исследовать мыслью дружественную миру идею этого бога. А ты, моя сестра и супруга перед богами и перед людьми, как ведешь себя в этих обстоятельствах ты? Вместо того чтобы быть со мной, то есть с фараоном, и держаться взглядов его двора, ты берешь сторону неподвижного, меднолобого Амуна, выступаешь с ним вместе против меня и милуешься с главным плешивцем этого необходимого бога, не думая об особой неблагоприятности и особой обидности отступничества по отношению ко мне.

- Твои метафоры, господин мой, - сказала она тихим, сдавленным от гнева голосом, - не говорят о хорошем вкусе, что весьма удивительно при твоей начитанности. Ведь только при отсутствии вкуса или при очень скверном вкусе можно сказать, что я милуюсь с пророком, отступаясь тем самым от тебя. Это, позволь мне заметить, очень плохая метафора, на редкость нелепая. По учению предков и по древнейшему поверью народа, фараон - сын Амуна, и поэтому ты отнюдь не изменил бы своему долгу царедворца, если бы, хоть она и кажется тебе нудной, отдал должное священной идее Амуна и принес ему небольшую жертву, поступившись и собственным, и своих гостей любопытством к каким-то жалким, при всей их торжественности, пляскам. Это о тебе. Что же касается меня, то я целиком принадлежу Амуну, для меня преданность ему - дело чести и веры, ибо я невеста его храма и наложница из его гарема, я Хатхор, я пляшу перед ним в наряде богини. Никакой другой чести, никакой другой утехи у меня нет. Это почетное мое положение единственное, чем я обладаю. А ты ссоришься со мной из-за того, что я верна своему владыке, своему богу и неземному супругу, и пользуешься метафорами вопиющей нелепости.

И, наклонившись, она закрыла лицо краем своей плоеной одежды.

Военачальнику было больше чем неприятно. Он просто дрожал от ужаса, просто похолодел, ибо все сокровенное, все, о чем предупредительно молчали, готово было самым страшным, самым убийственным образом выйти наружу. Со все еще раскинутыми по уступу скамьи руками, он, цепенея, отпрянул от плачущей и теперь в ужасе глядел на нее виновато-смущенным взглядом. "Что будет? - думал он. - Это невероятно, это неслыханно, и мой покой находится в величайшей опасности. Я зашел слишком далеко. Я выдвинул вперед оправданное свое себялюбие, но она его победила собственным себялюбием, - причем победила не только в нашей беседе, но и в моем сердце, которое разбито ее речью и где горе и сострадание смешаны с ужасом перед ее слезами. Да, я люблю ее: я чувствую это, ужасаясь ее слезам, и хочу, чтобы она тоже это почувствовала, услышав то, что я ей скажу". И, сняв руки с уступа, он наклонился к ней почти вплотную и не без боли сказал:

- Теперь ты видишь, милый цветок, это явствует из твоих собственных слов: напоминая мне нудные мысли пророка, ты разделяла их, это на самом деле и твои мысли, и сердце твое с Бекнехонсом и против меня. Ведь ты же, не обвиняясь, сказала мне прямо в лицо: "Я целиком принадлежу Амуну". Разве моя метафора была такой уж неверной? А что касается вкуса, то разве я виноват, что вкус ее для меня, для твоего супруга, так горек?

Она отняла от лица платье и взглянула на него.

- Ты ревнуешь меня к богу, к Сокрытому? - спросила она, и рот ее искривился. Ее глаза-самоцветы, в которых смешались презренье и слезы, были совсем рядом с его глазами и заглядывали в них так зло, что он испугался и быстро выпрямился. "Я должен уступить, - думал он. - Я зашел слишком далеко и должен на шаг-другой отступить, - отступить ради мира, ради покоя в доме, которые неожиданно оказались в такой жестокой опасности. Как это они вдруг очутились под угрозой, как случилось, что ей вдруг все предстало в таком ужасном свете? Казалось, все было так хорошо и устойчиво". И он вспомнил, что всегда, возвращаясь домой из дворца или из путешествия, он первым делом задавал встречавшему его управляющему один и тот же вопрос: "Все ли благополучно? Весела ли госпожа?" Ибо тайное опасение за покой, достоинство и надежность дома, смутное сознание, что они висят на волоске, всегда жило в глубине его души, и при взгляде на злые, заплаканные глаза Эни он понял, что оно всегда в нем жило и что тихие его страхи могут каким-то ужасным образом оправдаться.

- Нет, - сказал он, - от этого я далек, и твое допущение, что я ревную тебя к Амуну, приходится решительно отклонить. Я прекрасно вижу разницу между твоим долгом перед Сокрытым и долгом перед супругом, и поскольку мне показалось, что мое образное определение твоей близости к благородному Бекнехонсу тебе до некоторой степени неприятно; поскольку, далее, я всегда готов и только ищущая случая тебя порадовать, я доставляю тебе это удовольствие и беру обратно свою метафору. Считай, что я не употребил ее, что она стерта со скрижали моих речей. Теперь ты довольна?

Мут не смахивала стоявших в ее глазах слез, они высыхали сами, как будто она их вообще не замечала. Ее супруг ждал благодарности за свою уступку, но она не выказала благодарности.

- Это пустяк, - сказала она, качая головой.

"Она видит, что я иду на попятный, что я в страхе за покой своего дома, - думал он, - и, как всякая женщина, хочет использовать это как можно полнее. Она больше женщина вообще, чем какая-то определенная женщина, чем моя жена, и, хоть это и несколько неприятно, не приходится удивляться, видя в своей жене обычную общеженскую

простоватую хитрость. Есть в этом что-то смешное и жалкое, что-то очень досадное, когда ты невольно убеждаешься на собственном опыте, что человек воображает, будто его поступки и его поведение зависят от его хитрости, от его ума, и не замечает, что на самом деле он только подчиняется постыдной закономерности. Но что толку в этом сейчас? Об этом можно размышлять, но этого же не скажешь. А сказать, значит, придется вот что". И он ответил, продолжая беседу:

- Вообще-то, конечно, не пустяк, но по сравнению с тем, что я собирался тебе сообщить, и в самом деле пустяк. Ибо я не был намерен ограничиться сказанным, я хотел доставить тебе еще большее удовольствие, признавшись, что в ходе нашей беседы я отказался от мысли о приглашении на свой праздник вавилонских танцовщиц. Мне совсем не хочется обижать столь близкое тебе и столь высокопоставленное лицо. Его суждения можно считать предрассудками, но считаться с ними приходится. Мой праздник будет великолепен и без приезжих танцовщиц.

- И это пустяк, Петепра, - сказала она, назвав его по имени, что заставило его снова насторожиться.

- Что? - спросил он. - И это тоже пустяк? По сравнению же с чем?

- По сравнению с тем, чего должно желать. И даже требовать, - ответила она, вздохнув. - Нужно, непременно нужно изменить порядки в этом доме, супруг мой, чтобы твой дом не вызывал нареканий у благочестивых людей, а служил, наоборот, образцом благочестия. Ты хозяин его палат, и кто не склонится перед твоей властью? Кто откажет твоей душе в мягкости и тонкости кроткой идеи Солнца, определяющей твою жизнь и твои привычки? Я прекрасно понимаю, что нельзя получить сразу и царство, и могучую старину, ибо царство получилось из старины с течением времени, да и живет в царстве, среди богатства, иначе, чем в первобытной древности. Не говори, что я не принимаю во внимание времени и происходящих в жизни перемен. Но всему есть и должна быть своя мера, и всегда нужно благоговейно хранить остаток той священной суровости отцов, которая как раз и создала богатство и царство, чтобы они не пришли в позорный упадок и чтобы не был отнят скипетр у стран. Разве ты отрицаешь эту правду, разве отрицают ее мыслители фараона, которые исследуют мыслью подвижную идею Атума-Ра?

- Правду, - ответил носитель опахала, - нельзя отрицать, и возможно, что иному она милее даже, чем сам скипетр. Ты говоришь о судьбе. Мы дети времени, и, по-моему, нам больше пристало все же следовать той его правде, из которой мы родились, чем приспособляться к какой-то незапамятной правде и, отрекаясь от своей души, разыгрывать из себя могучих поборников старины. У фараона много наемных войск - азиатских, ливийских, нубийских и даже отечественных. Пускай они и охраняют скипетр, покуда это им позволяет судьба. А мы будем жить искренне.

- Искренность, - сказала она, - удобна, а следовательно, неблагородна. Что случилось бы с людьми, если бы каждый стремился быть только искренним и возводил свои естественные желания в достоинство правды, совершенно не желая обуздать себя и сделаться лучше? Искренни и воры, и пьяницы, валяющиеся в канавах, и прелюбодеи. Но разве мы спустим им их проступки, если они сошлются на свою правду? Ты хочешь жить правдиво, супруг мой, как дитя своего времени, а не по старинке. Но там-то как раз и жива дикая старина, где каждый следует правде своих порывов, а развитость требует от каждого ограничения ради высших нужд.

- В чем же я должен, по-твоему, исправиться? - спросил он со страхом.

- Ни в чем, мой супруг. Тебя нельзя изменить, и я не собираюсь выводить тебя из твоего

священного состояния косной замкнутости в себе самом. Не стану я также упрекать тебя в том, что ты ни в доме, ни во дворе, да и вообще нигде на свете, ни за какие дела не берешься, а только и знаешь, что ешь да пьешь. Руки твоих слуг делают все за тебя, и то же самое они будут делать в могиле. Единственное твое дело - назначать слуг, и даже не слуг, а только того, кто назначает слуг, своего заместителя, чтобы он управлял твоим домом, домом одного из вельмож египетских, как тебе того хочется. Никаких других дел, кроме этого благородно-легкого дела, у тебя нет, но оно важнее всего. Самое главное - это чтобы ты не ошибся, не указал перстом не туда, куда следует.

- Не помню уж сколько лет, - сказал он, - домом моим управляет Монт-кау, честная душа, который должным образом любит меня и прекрасно понимает, как это было бы гнусно - меня обидеть. Он, судя по его счетам, вряд ли меня когда-либо крупно обманывал, да и домом управляет он, по-моему, превосходно. Неужели он имел несчастье вызвать твое недовольство?

Она презрительно усмехнулась в ответ на его увертку.

- Ты знаешь, - сказала она, - знаешь не хуже, чем я и чем вся Уазе, что Монт-кау чахнет от червоточины в почке и с некоторых пор, так же как ты, ни за какие дела не берется. Вместо него трудится некто другой, которого называют его устами, человек, чье возвышение до этого чина казалось совершенно невозможным. Мало того, говорят, что после ожидаемой смерти Монт-кау эти так называемые уста целиком и окончательно займут его место и все твое имущество перейдет в его руки. Ты хвалишь своего управляющего за преданную заботу о твоей чести. Позволь же мне признаться, что в его действиях я никак не могу усмотреть этой заботы.

- Ты думаешь об Озарсифе?

Она опустила лицо.

- Как это ни странно, - отвечала она, - я действительно думаю о нем. О Сокрытый, лучше бы его вообще не существовало на свете, ибо тогда можно было бы не думать о нем, а сейчас, по вине твоего управляющего, о нем приходится, как ни совестно, думать. Ведь купив мальчиком того, кого ты назвал, у странствующих торговцев, управляющий не указал ему места, подобающего ничтожному иноплеменнику, а возвысил его в доме и возвеличил, подчинил ему всю челядь, твою и мою, и добился того, что ты, господин мой, говоришь об этом рабе с какой-то смущающей меня непринужденностью, против которой восстает все мое существо. Если бы ты задумался и сказал: "Кажется, ты имеешь в виду этого сирийца, этого жителя горемычного Ретену, этого раба-еврея?", то такой вопрос был бы в порядке вещей. А твои слова показывают мне, до чего дошло дело: ты привычно, словно он твой двоюродный брат, называешь его по имени и спрашиваешь меня: "Ты думаешь об Озарсифе?"

Тут это имя произнесла и она, произнесла с усилием над собой, которое было для нее тайным блаженством. Выкрикнув навсхлип эти загадочные, с отзвуком смерти и обожествления слоги, таившие в себе для нее всю упоительность рока, Мут-эм-энет попыталась вложить в них негодование и, как прежде, закрыла своей одеждой глаза.

Потифар снова искренне испугался.

- В чем дело, в чем дело, моя дорогая? - спросил он, разводя над ней руками. - Опять слезы? Почему - дай разобраться! Я назвал этого слугу так, как он сам называет себя и как все его называют. Разве имя - это не кратчайший способ определить какое-либо лицо? Я вижу, моя догадка верна. Тебя заботит этот юноша-кенанитянин, что служит мне

чашником и чтецом, и служит, не стану отрицать, к полному моему удовольствию. Разве это для тебя не причина думать о нем снисходительно? Я не участвовал в его приобретении. Несколько лет назад его купил у почтенных торговцев Монт-кау, уполномоченный мною набирать и увольнять слуг. А потом, испытал его случайно в беседе, когда он подсаживал цветки у меня в саду, я нашел его на редкость приятным малым, одаренным богами примечательным сочетанием прекрасных телесных и духовных качеств. Его красота кажется естественным олицетворением прелести его ума, а прелесть его ума опять-таки другим, невидимым выражением видимого, а это, я надеюсь, ты позволишь мне назвать примечательным, ибо такое суждение вполне уместно. К тому же и по своему происхождению он отнюдь не первый встречный, его рождение можно при желании назвать даже девственным, и уж во всяком случае, известно, что родитель его был чем-то вроде царя стад и божьего князя и что мальчик жил в почете и получал подарки, когда рос при стадах своего отца. Правда, затем пищей его стали всякие беды, и нашлись люди, которые успешно ставили силки, чтобы его поймать. Но история его мук тоже примечательна; в ней есть смысл и толк или, как говорят, лад и склад, и есть в ней что-то похожее на то сочетание, благодаря которому кажется, что его располагающая внешность и его ум - это одно и то же: имея свою собственную, самодовлеющую действительность, его история вместе с тем словно бы соотносится и согласуется с каким-то высшим предначертанием, так что одно трудно отличить от другого и одно отражается в другом, а все вместе придает этому юноше какую-то привлекательную двусмысленность. Увидев, что он недурно выдержал мое испытание, его назначили моим чашником и чтецом, без моего вмешательства, из любви ко мне, разумеется, и должен признаться, что в этих должностях он стал для меня совершенно незаменим. А затем, опять-таки без всякого моего вмешательства, он возвысился до надзора за делами дома, и тут оказалось, что буквально всему, за что он ни возьмется. Сокрытый посылает удачу через него, - иначе я не могу выразиться. И теперь, когда он стал незаменим для меня и для дома, - чего ты хочешь, что должен я с ним, по-твоему, сделать?

И правда, чего еще можно было хотеть, что можно было еще сделать, после того, как он высказался? Он удовлетворенно, с улыбкой перебирал свои слова в уме. Он надежно окопался, надежно обезопасил себя, заранее представив грозившее ему требование чудовищным и, разумеется, невыносимым преступлением перед любовью к нему. Он не подозревал, что Мут-эм-энет почти не заметила этого зашитого, этого оборонительного значения его речи, что она тайно впивала ее, словно мед, что, со все еще спрятанным в одежде лицом, она в глубоком и жадном напряжении ловила каждое слово, сказанное им в похвалу Иосифу. Это сильно ослабило то предостерегающее действие его слов, на которое он рассчитывал, и, как ни странно, не помешало ей остаться искренне верной тому разумно-нравственному намерению, с которым она пришла. Она выпрямилась и сказала:

- Я полагаю, супруг мой, что ты привел мне все доводы в пользу этого слуги, какие только, с большим или меньшим правом, можно было привести в его пользу. Так вот, их недостаточно, они неубедительны для богов Египта, и все, что ты соблаговолил мне сообщить о каких-то присущих твоему слуге сочетаниях и о привлекательных двусмысленностях - никак не удовлетворяет требования, которое должен тебе недвусмысленно предъявить Амун моими устами. Ибо я тоже уста, а не один твой слуга, названный тобой незаменимым для тебя и для дома, что было, конечно, опрометчиво с твоей стороны; ибо как может быть какой-то случайный чужеземец незаменимым в стране людей и в доме Петепра, доме, который благоденствовал и до того, как в нем начал возвышаться этот купленный раб? Ни в коем случае не следовало допускать его возвышения. Купив мальчишку, его нужно было отправить в поле на барщину, а не держать на усадьбе и, уж конечно, нельзя было доверять ему твой кубок, а в книгохранилище и твой слух ради его пленительных способностей. Способности не суть

человек; его нужно отделять от них. Тем хуже, если человек неблагородный обладает способностями, заставляющими в конце концов забыть его природное неблагородство. Какие способности могут оправдать возвышение человека неблагородного? Этот вопрос должен был задать себе твой управляющий Монт-кау, который, как ты говоришь, без твоего вмешательства возвысил этого неблагородного раба и позволил ему вырасти в твоём доме, к огорчению всех благочестивых людей. Неужели ты допустишь, чтобы твой управляющий оскорбил богов и на смертном одре, чтобы он указал на этого хабира как на своего преемника, опозорив твой дом перед всем миром и заставив твою отечественную дворню скрежетать зубами от злости под началом этого неблагородного чужеземца?

- Дорогая моя, - сказал слуга фараона, - как ты ошибаешься! Судя по твоим словам, ты плохо осведомлена, ибо о скрежете зубном не может быть речи! Вся моя челядь, сверху донизу, от смотрителя питейного поставца до псаря и до самой последней твоей служанки, любит Озарсифа и ничуть не стыдится ему подчиняться. Не знаю, откуда ты взяла, что в доме скрежещут зубами по поводу его возвышения, ибо это совершенно неверные сведения. Наоборот, они все так и стараются поймать его взгляд, они радостно, наперерыв друг перед другом, делают свое дело, когда он проходит мимо, и самым внимательным, самым приветливым образом выслушивают его наставления. И даже те, кому пришлось уступить ему свое место, даже они глядят на него не косо, а прямо и открыто, ибо перед его способностями нельзя устоять. А почему? Да потому, что с его способностями дело обстоит вовсе не так, как ты говорила, и в этом особенно видна твоя неосведомленность. Его способности отнюдь не являются обманчивым придатком к его личности, который можно отделить от нее. Нет, они от нее неотделимы, его способности - это способности человека благословенного, и впору было бы сказать, что он их заслуживает, если бы это опять-таки не было недопустимым разграничением личности и способностей и если бы вообще можно было говорить о какой-то заслуге, когда дело касается природных способностей. Вот почему, встречаясь с ним на суше или на воде, люди узнают его уже издали, вот почему они толкают друг друга в бок и радостно говорят: "Это едет Озарсиф, личный слуга Петепра, уста Монт-кау, прекрасный юноша, он едет по делам своего господина, которые он, как всегда, отлично устроит". И если мужчины глядят на него открыто и прямо, то женщины, наоборот, искоса, а это, насколько мне известно, такой же хороший знак, как прямой взгляд мужчин. И говорят, что когда он показывается на улицах города, возле лавок, девицы обычно взбираются на стены и крыши и бросают в него оттуда золотыми кольцами с пальцев, чтобы обратить на себя его внимание. Но он не обращает на них внимания.

Эни слушала с неопишуемым восторгом. Невозможно передать, как опьяняло ее прославление Иосифа, описание всеобщей любви к нему; радость огнем пробегала у нее по жилам, вздымала ей грудь, вызывала у нее короткие, порывистые, похожие на всхлипывания вздохи, заливала ей краской уши, и если бы не усилие воли, заставила бы ее губы блаженно улыбаться словам Петепра. Человеколюбцу остается только качать и качать головой по поводу подобного безрассудства. Хвала Иосифу укрепляла Эни в ее, если можно так выразиться, слабости к рабу-чужеземцу, оправдывала эту слабость перед ее гордостью, завлекала ее, Эни, еще дальше, мешала ей выполнить намерение, с которым она пришла, - спасти свою жизнь. Разве это основание для радости?.. Для радости - нет, но для блаженства - да, и с этим различием человеколюбцу приходится, качая головой, примириться. Известие о том, что женщины заглядываются на Иосифа и даже бросают в него кольцами, наполнило ее изнурительной ревностью, снова утвердило ее в слабости и внушило ей в то же время отчаянную ненависть ко всем, кто разделял эту слабость. То, что им не удалось обратить на себя его внимание, немного ее утешило и помогло ей вести себя и дальше по образцу существа разумного. Она сказала:

- Не стану говорить, друг мой, что это не очень деликатно с твоей стороны - занимать

меня рассказами о дурном поведении девиц Уазе независимо от того, насколько правдивы такие слухи, распространяемые, возможно, только самим их тщеславным героем или теми, кого он привлек на свою сторону всяческими посулами, для вящей его славы.

Ей было легче, чем то могло бы показаться, говорить так об уже безнадежно любимом. Она делала это совершенно машинально, как будто говорила не она, а какая-то другая женщина, и обычно певучий голос ее звучал сейчас глухо, соответствуя неподвижности ее лица, пустоте ее взгляда и не пытаясь даже скрыть лживости произносимых слов.

- Самое главное, - продолжала она так же глухо, - твой упрек в том, что я неверно осведомлена о делах дома, обращается против тебя самого, так что тебе же было бы лучше его не высказывать. Твоя привычка ни за что не братья и глядеть на всех вчуже и издали должна была бы заставить тебя усомниться в своем знании происходящего рядом с тобой. А правда заключается в том, что засилие этого раба в доме стало предметом жестокой злобы и общего недовольства. Смотритель твоих нарядов, Дуду, уже не раз обращался ко мне по этому поводу. И горько жаловался на владычество нечистого, оскорбительное для всякого благочестивого человека...

- Ну и видного же, - засмеялся Петепра, - ну и мощного же, прости меня, нашла ты себе союзника, милый цветок! Да ведь этот твой Дуду ничтожество, выскочка и хвостун, это же четвертушка человека, смешной недомерок; как можно считаться с его мнением в этом или в любом другом деле?

- Его размеры, - отвечала она, - тут ни при чем. Если его мнение так презренно, а его слово - пустяк, то зачем же ты назначил его своим гардеробщиком?

- Это было скорее шуткой, - сказал Петепра, - ведь придворным карликам почетные должности даются только для смеха. Его товарища, другого шута, называют даже визирем, но ведь этого нельзя принимать всерьез.

- Мне незачем указывать себе на разницу между ними, - возразила она. Ты достаточно хорошо знаешь ее и только сейчас не хочешь ее замечать. Очень грустно, что мне приходится защищать от твоей неблагодарности самых верных и самых достойных твоих слуг. Господин Дуду, несмотря на свой несколько малый рост, человек достойный, серьезный и положительный, который никак не заслуживает званья шута, и его мнение, когда речь идет о делах дома и чести дома, чрезвычайно важно.

- Он достает мне вот до этих пор, - заметил военачальник, проведя ребром ладони по своей голени.

Мут помолчала.

- Не забывай, - сказала она затем, собравшись с мыслями, - что ты, супруг мой, отличаешься особенно высоким, прямо-таки башнеподобным ростом, и поэтому рост Дуду кажется тебе, наверно, ничтожнее, чем другим, например его жене Цесет, моей служанке, и его детям, которые, будучи тоже обычного роста, возносятся взглядом к родителю с благоговейной любовью.

- Ха-ха, возносятся взглядом!

- Я употребила это выражение обдуманно, в высшем, песенном смысле.

- Ах, вот как, - с издевкой сказал Петепра, - значит, о своем Дуду ты уже говоришь даже на

песенный лад. Ты, кажется, жаловалась, что я плохо занимаю тебя. Так имей в виду, что ты уже достаточно долго занимаешь меня разговором о каком-то напыщенном дураке.

- Мы вполне можем оставить этот предмет, - сказала она покорно, - если он тебе неприятен. Я не нуждаюсь в том, чтобы человек, о котором зашла речь, поддерживал ту трижды справедливую по самому своему существу просьбу, с какой я должна обратиться к тебе, а ты не нуждаешься в его почтенном свидетельстве, чтобы понять, что ты должен ее исполнить.

- У тебя есть какая-то просьба ко мне? - спросил он.

"Значит, все-таки есть, - подумал он не без горечи. - Значит, она действительно пришла по какому-то более или менее тяжкому делу. Надежда, что она пришла только ради моего общества, не сбылась. Поэтому я заранее не очень-то благорасположен к этому делу..."

- Какая же это просьба? - спросил он.

- Вот такая, супруг мой. Удали этого раба-чужеземца, чье имя я не хочу повторять, из своего дома, где он, благодаря несправедливому покровительству и преступной небрежности, так нагло возвысился, что и дом твой стал вызывать нарекания, вместо того чтобы служить образцом благочестия.

- Озарсифа? Удалить из своего дома? О чем ты думаешь?

- Я думаю о благе, супруг мой. Я думаю о чести твоего дома, о богах Египта и о твоём долге перед ними - и не только перед ними, но и перед самим собой, да и передо мной, твоей сестрой и супругой, передо мной, посвященной и сбереженной, которая в убранстве Великой Матери услаждает Амуна звуками систра. Я думаю об этих вещах и твердо уверена, что мне достаточно только напомнить тебе обо всем этом, чтобы твои мысли целиком соединились с моими и ты незамедлительно выполнил мою просьбу.

- Удалив Озарсифа... Нет, дорогая, это невозможно, выкинь это из головы, это совершенно вздорная, совершенно дикая просьба, я не могу впустить эту мысль в среду моих мыслей, она им чужда, и они все восстанут против нее в величайшем гневе.

"Ну, вот, - думал он с досадой и болью. - Вот из-за чего пришла она ко мне в этот час, делая вид, что хочет только поболтать со мной, только провести время в изящной беседе. Я ждал этого, и все же до самого последнего мига это не приходило мне в голову, настолько это противно оправданному моему себялюбию, настолько, увы, непохоже на то, чего я ожидал: что ей это покажется важным, а для меня будет сущим пустяком; ибо, к несчастью, просьба ее кажется пустяковой, наоборот, ей самой, а мне она до крайности неудобна. Недаром я сразу немного встревожился за свой покой. Как жаль, что она не дает мне возможности порадовать ее, ибо мне не хочется ее ненавидеть".

- Твое, мой цветок, предубеждение, - сказал он, - против этого юноши, заставившее тебя обратиться ко мне с такой напрасной просьбой, поистине прискорбно. Ты явно судишь о нем только по наветам и поношениям каких-то недомерков, а не по собственному знакомству с его превосходными качествами, благодаря которым он, несмотря на свою молодость, мог бы, по-моему, занять и более высокое место, чем место управляющего моими владениями. Называй его варваром и рабом - внешнее право на это у тебя есть, но разве этого права тебе достаточно, если оно не подтверждено правом внутренним? Разве у нас принято, разве справедливо судить о человеке по тому, свободный он или раб, местный он уроженец или чужестранец, а не по тому, каков его ум - невежествен и темен или же просвещен словом и облагорожен его волшебством? Как принято у нас поступать,

каков в этом отношении опыт наших отцов? А у этого раба чистая и ясная речь, она изысканна и ласкает слух, он пишет красивым почерком, а книги читает так, словно говорит от себя, от собственного ума, и тебе кажется, что вся их мудрость, все остроумие идут от него и принадлежат ему, и ты просто диву даешься. Мне хотелось бы, чтобы ты узнала его достоинства, благосклонно сойдясь с ним и завоевав его дружбу, которая была бы тебе много полезнее, чем дружба этого чванного головастика...

- Я не хочу ни знакомиться с ним, ни сходитьсь, - сказала она упрямо. Я вижу, что я ошиблась, решив, что ты уже закончил свои восхваленья. Оказывается, ты должен был еще кое-что добавить. Ну, а теперь я жду твоего согласия удовлетворить мою священно-справедливую просьбу.

- Такого согласия, - отвечал он, - я не могу дать, ибо просьба твоя родилась по недоразумению. Она ошибочна и невыполнима во многих отношениях - вопрос только в том, сумею ли я объяснить тебе это; если не сумею, то выполнимее она, поверь мне, от этого все равно не станет. Я уже сказал тебе, что Озарсиф вовсе не первый встречный. Он умножает дом, он незаменимый ему слуга, - кто заставил бы себя выгнать его? Это было бы глупым разорением дома и чудовищной несправедливостью по отношению к благородному юноше, который ни в чем не провинился. Уволить его и ни с того ни с сего прогнать со двора было бы делом на редкость беспокойным, и никто на такое дело легко не отважится.

- Ты боишься этого раба?

- Я боюсь богов, которые с ним заодно, которые посылают ему удачу во всем и делают его приятным миру, - какие это боги, мне невдомек, но несомненно, что в нем обнаруживается их великая сила. Ты бы и думать забыла о том, чтобы бросить его в яму барщины или просто перепродать, если бы не отказалась познакомиться с ним поближе. Ты бы сразу, я в этом уверен, приняла в нем участие и твое сердце перестало бы быть суровым к этому юноше, ибо между твоей жизнью и его жизнью есть не одна точка соприкосновения, и если я люблю видеть его около себя, то люблю это, позволь тебе признаться, потому, что он мне часто напоминает тебя...

- Петепра!

- Я говорю то, что говорю и что, по-моему, совсем не бессмысленно. Разве ты не посвящена и не сбережена богу, перед которым ты пляшешь, будучи священной его наложницей, и разве ты с гордостью не носишь перед людьми жертвенное украшение своей посвященности? Ну, так вот, этот юноша, я узнал это от него самого, тоже носит подобное украшение, такое же невидимое, как и твое, - кажется, тут имеется в виду некое вечнозеленое растение, которое, как явствует из его довольно-таки кудрявого названия, обозначает посвященную юность и целомудрие, ибо его называют "Не-тронь-меня". Это я услышал от Озарсифа, и услышал не без удивления, ибо он сообщил мне нечто новое. Я знал о богах Азии, об Аттисе и Ашрат и о баалах растительности. Но он и его единоверцы служат одному богу, которого я не знал и ревнивость которого меня поразила. Этот одинокий бог требует верности, он обручился с ними как их кровный жених, - что весьма странно. Вообще-то они все носят это растение и берегут себя для своего бога, подобно невесте. Но одного из них он еще особо выбирает себе в жертву, и тот по-настоящему носит украшение посвященной юности и хранит себя для ревнивого жениха. И подумай, Озарсиф - как раз один из этих избранников. Они, сказал он, знают нечто такое, что они называют грехом и садом греха, а кроме того, они додумались до зверей, которые выглядывают из-за ветвей сада и невообразимо гнусны на вид - их трое, а имена их "Глумливый Смех", "Стыд" и "Вина". А теперь я задам тебе два вопроса. Первый: можно ли желать лучшего слугу и лучшего управляющего, чем человек, который рожден для

верности и с детства боится греха? И второй: преувеличивал ли я хоть сколько-нибудь, говоря о точках соприкосновения между тобою и этим юношей?

Ах, как испугалась Мут-эм-энет при этих словах! Если ей было изнурительно-больно слышать о девушках, бросающих в Иосифа кольца, то это был пустяк, это было сущее удовольствие по сравнению с тем холодным мечом, который пронзил ее, когда она узнала, почему дочерям города не удавалось привлечь его внимание. Ужасный страх, словно от предчувствия всего, что ей придется из-за него вытерпеть, овладел ею, и тоскливое отчаяние открыто показалось на ее обращенном кверху лице. Нужно только попытаться войти в ее положение, которое, ко всему прочему, было даже отчасти смешным! За что она здесь боролась, за что сражалась с упрямством Потифара, если он говорил правду? Если сон об исцелении, который открыл ей глаза и который погнал ее сюда, солгал? Если тот, от кого она старалась спасти свою жизнь и жизнь своего господина, названного полководца, был жертвой, обещанной богу и ревниво оберегаемой? В какое заблуждение боялась она впасть? У нее не было сил, да она и не позволяла себе закрыть рукою свои глаза, глядевшие в пустоту и мнившие, что они видят этих трех зверей сада. Стыд, Вину и Глумливый Смех, последний из которых ржал, как гиена. Это было невыносимо. "Прочь, прочь, - думала она торопливо, - теперь-то и прочь его, о ком мне лгут мои сны, сны об исцелении, которые позорны и позорны вдвойне, потому что я напрасно, ах, к тому же еще и совершенно напрасно, бросила бы ему кольцо со своего пальца! Да, я борюсь по праву и должна продолжать борьбу, именно теперь, когда обстоятельства таковы! Но не думаю ли я, не надеюсь ли я втайне с торжествующей уверенностью, что мое желание исцелиться окажется сильнее, чем его обрученность, что оно превозможет ее и он последует за моим взглядом, чтобы остановить мою кровь? Разве я не надеюсь на это, разве не боюсь этого с такой силой, что, по сути, она кажется мне совершенно неодолимой? Ну, что ж, значит, тем более ясно, что он должен исчезнуть с глаз моих и из дома ради моей жизни. Вот сидит мой толсторукий супруг, настоящая башня; чадородный карлик Дуду достает ему только до голени. Он полководец. От него и от его воли должна я ждать, спасенья и исцеленья, от него одного!.." И, словно ища прибежища у своего вялого мужа, который был ближе всех, чтобы испытать на нем силу своего желания исцелиться, она ответила звонким, поющим голосом:

- Позволь мне не согласиться с твоей речью, мой друг, но и не спорить с тобой, чтобы ее опровергнуть. Это было бы бесполезным занятием. Твои слова никак не могут быть предметом спора, тебе даже незачем было произносить их, достаточно было просто сказать: "Не хочу". Все это не что иное, как внешняя оболочка твоей негибкости, и за этой оболочкой я вижу только железную твердость твоих решений, твою гранитную волю. Зачем же мне оспаривать их в напрасных словопрениях, если я по-женски восхищаюсь ими с нежностью и с любовью? Сейчас, однако, я ожидаю другого, того, что без них ничего не стоило бы, но что благодаря им приобретает огромную ценность, я жду твоей снисходительной уступчивости. В этот час, непохожий на другие часы, в этот час нашего уединения, в час ожиданья, когда я пришла к тебе с просьбой, мужская твоя воля склонится ко мне и, исполняя мое желание, скажет: "Да будет наш дом избавлен от этого нареkania, да будет Озарсиф уволен, изгнан и перепродан". Услышу ли я такие слова, мой господин и супруг?

- Ты же слышала, дорогая, что этого ты от меня не услышишь, не услышишь при всем моем желании тебя порадовать. Я не могу изгнать и перепродать Озарсифа, я не могу этого желать, такой волей я не располагаю.

- Ты не можешь этого желать? Значит, не ты владеешь своей волей, а твоя воля тобой?

- Дитя мое, это крохоборство. Неужели разница между мной и моей волей такова, что кто-то из нас хозяин, а кто-то раб в кто-то кем-то владеет? Попробуй-ка ты сама овладеть

своей волей и пожелать чего-нибудь, что тебе же противно и даже ужасно!

- Я готова на это, - сказала она, откинув голову, - если дело идет о чем-то высшем, о чести, о гордости или о царстве.

- Ни о чем таком в данном случае нет и речи, - ответил он, - или, вернее, речь идет о чести здравого смысла, о гордости ума и о царстве справедливости.

- Не думай о них, Петепра! - сказала она звенящим голосом. - Подумай лучше об этом часе, об этом единственном часе и об его ожиданиях, о часе, когда я, в нарушение обычного порядка и в ущерб твоему уюту, явилась к тебе! Ты видишь, я обнимаю руками твои колени и прошу тебя: выполни своей властью мое желание, супруг мой, выполни один только раз, и дай мне уйти от тебя довольной!

- Как ни приятно мне, - отвечал он, - чувствовать своими коленями твои прекрасные руки, я не могу, выполнить твою просьбу; и лишь ради мягкости твоих рук я столь мягко упрекаю тебя в том, что ты так мало щадишь мой покой, а о моем благополучии, кажется, и вовсе не спрашиваешь. Но хотя ты меня и не спрашиваешь, я хочу кое-что сообщить тебе на этот счет с глазу на глаз в такой единственный час. Знай же, - сказал он с каким-то даже таинственным видом, - что за Озарсифа я должен держаться не только ради дома, который он для меня умножает, и не только потому, что этот юноша читает мне книги мудрецов, как никто другой. Он крайне важен для моего благополучия еще и по другой причине. Сказать, что он вызывает у меня приятное чувство доверия, - это еще не все сказать; я имею в виду нечто более необходимое. Да, ум его горазд на всякие отрядные выдумки; но самое главное состоит в том, что он в любой день, в любой час находит для меня такие слова обо мне, которые показывают меня самому в прекрасном, в божественном свете и укрепляют в моей душе уважение к себе, отчего я чувствую себя...

- В таком случае я хочу побороться с ним, - сказала она, крепко сжимая колени мужа, - и одержать перед тобой победу над тем, кто укрепляет тебя в твоём самомлюбии только словами! Я делаю это лучше. Я даю тебе случай укрепить свою душу на самом деле, без чьей-либо помощи, собственной властью, выполнив ожидания этого часа и вернув своего раба пустыне. Вот уж когда ты почувствуешь свою силу, супруг мой, если исполнишь мое желанье и я уйду от тебя довольная!

- Ты думаешь? - спросил он, моргая глазами. - Так слушай же! Когда мой управляющий Монт-кау умрет (ибо он близок к тому), я распорядюсь, чтобы управлял домом вместо него не Озарсиф, а кто-нибудь другой, например Хамат, писец питейного поставца. А в доме Озарсиф останется.

Она покачала головой.

- Этим ты не удовлетворишь ни меня, ни, следовательно, своего самомлюбия. Ибо такая уступка лишь наполовину или даже в еще меньшей мере выполнила бы мое желанье и оправдала ожидания этого часа. Озарсифа не должно быть в доме.

- Тогда, - сказал он быстро, - если этого тебе мало, я отказываюсь от своего предложенья, и Озарсиф будет управлять домом.

Она отпустила его колени.

- Это твое последнее слово?

- Другого у меня, к сожалению, нет.

- В таком случае я уйду, - прошептала она, вставая.

- Наверно, и правда пора, - сказал он. - А в общем-то это был приятный часок. Я пришлю тебе подарок, чтобы тебя порадовать, сосуд для благовоний из слоновой кости с резными изображениями рыб, мышей и глаз.

Она повернулась к нему спиной и направилась к аркам колоннады. Там она на мгновение остановилась и, собрав несколько складок своего платья в руке, которой она оперлась на одну из тонких колонн, прижалась к этой руке лбом и спрятала в складках лицо. Никто не заглядывал за эти складки и в спрятанные глаза Мут...

Потом она всплеснула руками и удалилась.

### ТРИ РАЗГОВОРА

Записав эту беседу, мы уже достаточно продвинулись в нашей истории, чтобы вернуться к тому месту, где мы, забегаая вперед, упомянули о странном узоре, в который жизнь смешала тут все обстоятельства. Ведь выше мы сказали, что примерно в то самое время, когда госпожа предпринимала свои мнимо-серьезные попытки удалить Иосифа из Потифарова дома, о чем дотолел и хлопотал гардеробщик Дуду, - что примерно тогда этот женатый карлик начал подлизываться к Иосифу и разыгрывать из себя преданного его друга, причем не только перед ним самим, но и перед госпожой, которой он его всячески расхваливал. Да, именно так все и происходило; в наших словах не было тогда ни малейшего преувеличения. А происходило так потому, что Дуду понял и увидел, как обстоит дело с Мут-эм-энет и чем вызвано ее стремление убрать Иосифа подальше от глаз; он открыл это благодаря солнечной силе, которой был удостоен его малый рост и которую он тем больше ценил и почитал, чем поразительнее была она при таком росте; поэтому Дуду и в самом деле можно было считать изощренным знатоком данной области, у него действительно был очень тонкий нюх на все, что касалось упомянутой сферы, - какой бы доли карличьего остроумия и карличьей мудрости вообще-то ни лишал его именно этот существенный дар.

Итак, прошло немного времени, и он понял, что он натворил или, по крайней мере, ускорил своими патриотическими жалобами на возвышение Иосифа, - он изумленно понял это даже гораздо раньше, чем она сама: сначала ему помогало понять это ее гордое неведение, еще не думавшее ни о каких мерах предосторожности, а потом, когда и у нее уже открылись глаза, ему помогла обычная неспособность всех одержимых и обезумевших скрывать свое состояние. И узнав, что его госпожа самым отчаянным и самым несчастным образом, со всей своей природной серьезностью, влюбилась в чужеземного слугу и чтеца своего супруга. Дуду только потирал руки. Ничего подобного он не ждал и не предвидел, но такой оборот дела, считал он, мог оказаться для этого пришельца ямой более глубокой, чем любая другая, какую ему только можно было бы выкопать; и тогда Дуду вдруг решил взять на себя одну роль, которая после него не раз исполнялась, но которую и он, живя уже, как-никак, в поздние времена человеческие, вряд ли играл первым; сколь ни мало осведомлены мы о его предшественниках, надо полагать, что, заучивая и исполняя ее, он шагал по глубоко вытоптаным следам. Как злорадный покровитель и почтальон пагубной взаимоприязни, начал снова этот карлик между Иосифом и Мут-эм-энет.

Он ловко изменял свои речи, по мере того как ему удавалось сначала предположительно, а потом и с уверенностью разгадать ее душу. Ибо теперь госпожа вызывала его к себе по тому поводу, по какому он обычно прежде и домогался у нее приема, чтобы

пожаловаться, и заговаривала с ним об этом неприятном деле сама, из чего он заключил было, что наконец-то зажег ее своей ненавистью. Но вскоре он почуял, в чем дело, ибо ее манера выражаться показалась ему несколько странной.

- Начальник, - говорила она (к его радости, она называла его просто "начальник", хотя он был всего лишь одним из младших смотрителей, а именно смотрителем одежд и ларей), - начальник, я вызвала вас через привратника гарема, послав к нему рабыню-нубийку, потому что так и не дождалась вашего самочинного прихода, хоть нам и необходимо продолжить наши совещания о той заботе, которую я называю так потому, что она вас заботит, и на которую вы обратили мое внимание. Я вынуждена мягко вас упрекнуть, упрекнуть со скидкой на ваши заслуги, с одной стороны, и на вашу карликовость, с другой, в том, что вы не явились ко мне для этого сами, по собственному побуждению, а заставили меня мучительно ждать; ибо ожиданье и вообще-то великая мука, но кроме того, оно недостойно женщины моего чина, а значит, мучительно вдвойне. Что это дело не дает мне покоя, - я имею в виду дело этого юноши-чужеземца, чье имя мне поневоле пришлось запомнить, так как он, я слышала, стал управителем вместо Озириса Монт-кау и, ко всеобщему или почти всеобщему вашему блаженству, обходит обобщающим дозором промыслы дома, выставляя напоказ свою красоту, - так вот, что этот стыд не дает мне покоя, должно было бы тебя радовать, карлик, ибо ты сам внушил мне его своими жалобами и пробудил во мне внимание к неприятности, которая, если бы не ты, меня, наверно, не трогала бы, а теперь стоит у меня перед глазами и днем и ночью. А ты, озаботив меня этим делом, сам не приходишь ко мне поговорить о нем, как то следовало бы, а оставляешь меня наедине с моей печалью, так что мне приходится в конце концов посылать за тобой и приказывать тебе явиться для выяснения этого противного дела, ибо нет ничего несноснее, чем быть одному при таких обстоятельствах. Ты должен бы и сам знать это, друг, ибо что можешь ты один, не имея союзницы в лице госпожи, предпринять против этого ненавистного тебе человека, у которого перед тобой столько всяческих преимуществ, что твою ненависть к нему, хранитель одежд, впору назвать прямо-таки бессильной, хотя я и одобряю ее. Благорасположение к нему господина, который тебя терпеть не может, совершенно непоколебимо, этот раб покорила его своим остроумьем и обаяньем и еще тем, что его, Озарсифа, боги посылают ему удачу во всяком деле. Как это у них получается? Я не думаю, что его боги, особенно здесь, в странах, где они чужие и не пользуются почетом, настолько сильны, чтобы добиться того, чего он добился, с тех пор как появился у нас. В нем самом заключены, видимо, способности, которые помогли ему, ибо без них последний раб никогда не вырастет в главного надсмотрщика и преемника управляющего, и ясно, как день, что по уму ты, карлик, не годишься ему в подметки, так же как и по внешности, поскольку его вид и осанка, хоть нам с тобой это и непонятно, производят на всех необыкновенное впечатление. Все любят его и ищут его взгляда, не только челядь дома, но и путники, встречающиеся с ним на суше и на воде, и жители города, и мне даже рассказывали, что, когда он появляется в городе, всякие там женщины влезают на крыши, чтобы глазеть на него оттуда и бросать в него кольца с пальцев в знак похоти. А это уже верх мерзости, и поэтому мне особенно не терпелось поговорить с вами, начальник, чтобы услышать ваш совет насчет того, как положить конец такому бесстыдству, или, наоборот, самой дать вам совет по этому поводу. Нынче ночью, лежа без сна, я думала, не следует ли, когда он отправляется в город, посылать с ним лучников, чтобы они сопровождали его и стреляли в лицо женщинам подобного поведения, да, да, именно, прямо в лицо, - и пришла к выводу, что эту меру непременно нужно принять, и так как ты наконец явился, я поручаю тебе немедленно распорядиться об этом на мою ответственность, хотя и не называя меня: ты можешь сделать вид, что эта мысль родилась в твоей собственной голове, и тем украсишь себя. Разве только ему одному, Озарсифу, ты можешь сказать, что это я, госпожа, пожелала, чтобы всем этим горожанкам стреляли в лицо, и можешь послушать, что он на это ответит и как он отзовется о моей затее; а потом ты передашь мне его слова, причем передашь их по собственному почину и тотчас же, чтобы мне не пришлось посылать за

тобой, претерпев муки ожидания и горечь одиночества в столь тяжком деле. Ибо похоже, увы, что ты, гардеробщик, стал нерадиво относиться к этой заботе, тогда как я неустанно тружусь в Амуне. Как того хотели достопочтенный Бекнехонс и ты, я обняла колени моего супруга, полководца Петепра, и полночи, нарушая его покой и тем унизив себя, боролась с ним за устранение этого неприятного обстоятельства. Однако я не справилась с гранитной его волей и ушла ни с чем и одна. А за тобой, карлик, приходится посылать гонцов за гонцами, чтобы ты явился ко мне и помог мне, помог, например, сообщив мне те или иные подробности, касающиеся этого мерзкого юноши, этого сорняка в доме, и его поведения: кичится ли он своим новодобытым чином, как отзывается он о домочадцах и господах, в частности обо мне, его госпоже, как упоминает меня вскользь в своих разговорах. Чтобы выступить против него и помешать его возвышению, я должна познакомиться с ним и знать, как он говорит обо мне. А твоя леность оставляет меня в неведении на этот счет. Ты бы пошевелил мозгами, заставил его приблизиться ко мне по службе и искать моей милости, чтобы я получше испытала его и распознала то волшебство, которым он ослепляет людей и привлекает их на свою сторону: ибо тут есть какая-то тайна и причина его побед непонятна. Или, может быть, вы, чистильщик нарядов, видите и скажете, что в нем находят? Затем-то я и позвала вас, чтобы обсудить это с вами, как с человеком опытным, и я задала бы вам этот вопрос еще раньше, если бы ты, карлик, раньше пришел. Разве он такого уже необыкновенного роста и сложения? Отнюдь нет. Он скроен так же, как многие, по обычной мужской мерке: конечно, он не так мал, как ты, но и далеко не так огромен, как мой супруг Петепра. Можно было бы сказать, что роста он как раз надлежащего, но разве таким суждением кого-либо потрясешь? Или он так силен, что способен вынести из амбара пять или больше четвериков семенного зерна, и это вызывает у мужчин уваженье, а у женщин восторг? Опять-таки нет, телесная его сила весьма умеренна, ее тоже можно назвать как раз надлежащей, и когда он сгибает руку, то мышца, признак мужской его стати, не вздымается на ней хвастливо и грубо, а напрягается умеренно и с изяществом, которое можно назвать человеческим, но и божественным тоже... Ах, друг мой, вот как обстоит дело. Но ведь все это встречается на свете тысячи раз и никак не оправдывает, значит, его побед! Спору нет, смысл и достоинства телосложения определяются только головой и лицом, и справедливости ради можно признать, что его темные, как ночь, осененные дугами надбровий глаза довольно красивы, красивы и тогда, когда они широко раскрыты, и тогда, когда ему вдруг вздумается сузить их на какой-то особый, несомненно знакомый вам лад, который я назвала бы мечтательным и туманно-лукавым. Но каковы его уста и как можно понять, что он очаровывает ими людей и те даже называют его самого, как я слышала, устами, устами управляющего? Этого понять нельзя, тут таится какая-то еще не разгаданная загадка, ибо губы его, пожалуй, слишком толсты, а улыбка, которой они украшают себя, обнажая блестящие зубы, объясняет ваше ослепление только отчасти, даже если прибавить к ней слетающие с этих губ искусные речи. Я склоняюсь к мнению, что тайна его волшебства - это в первую очередь тайна его уст, у которых ее и следует выведать, чтобы тем вернее поразить этого дерзкого юношу его же оружием. Если мои слуги не будут меня предавать и мне не придется мучительно ждать их помощи, я возьму это на себя - раскусить его и добиться его падения. А если он устоит против меня, тогда, карлик, я, так и знай, прикажу лучникам повернуть оружие и пустить стрелы в другую сторону, ему в лицо, в ночь его глаз, в гибельную прелесть его проклятых уст!

Такие странные слова госпожи Дуду выслушивал с достоинством, убрав нижнюю губу под крышу верхней и в знак своего внимания, которое было непритворным, приставив горстью ладошку к ушной раковине; и его опытность по части чадородия позволила ему толковать их. Когда же он стал разгадывать ее душу, он изменил свои речи, но не чересчур резко, а постепенно, украдкой переходя с одного тона на другой, отзываясь об Иосифе сегодня иначе, чем вчера, но ссылаясь при этом на свои вчерашние слова, словно они звучали столь же благоприятно (тогда как они имели уже, правда, несколько более мягкий, но все-таки еще хулительный смысл), и вообще стараясь все сказанное

доселе о молодом управляющем вывернуть наизнанку, сделать из черного белое. Всякого здравомыслящего человека такой грубый подлог оскорбил и разозлил бы своим откровенно-дерзким пренебрежением к человеческому разуму. Но дух чадородия учил Дуду, какие большие требования можно предъявлять к людям, находящимся в состоянии Мут-эм-энет, и он преспокойно предъявлял их этой женщине, которая была слишком поглощена и одурманена своими чувствами, чтобы возмутиться подобной наглостью, более того, была даже признательна карлику за его изворотливость.

- Благороднейшая госпожа, - говорил он, - если преданный твой слуга не явился к тебе вчера, чтобы обсудить с тобой текущие дела (ибо позавчера я был на месте, как ты сразу же вспомнишь, если я напомню тебе, и только священное твое усердие в этом деле увеличивает в твоих глазах длительность моего отсутствия), - если я не явился к тебе вчера, то единственно потому, что был крайне занят служебными своими делами, хотя мысли мои ни на минуту не отвлекались от забот, которые так волнуют тебя - а потому и меня - и касаются Озарсифа, нового управляющего. Мои обязанности смотрителя одежды - ты не станешь меня за это бранить - дороги мне и милы, я прилепился к ним сердцем, как это обычно бывает, когда то, что поначалу было только обузой и долгом, становится со временем предметом сердечной склонности. То же самое можно сказать и о важном деле, которое твой покорный слуга часто имеет честь с тобой обсуждать. Да и как выкинуть из сердца заботу, по поводу которой можно ежедневно или почти ежедневно, по вызову и без вызова, обмениваться с тобой суждениями и ответами? И как не перенести благодарность за столь высокое наслаждение также и на предмет этой заботы, как выкинуть его из своего сердца, того, кому дано было сделаться предметом твоей заботы? Нет, этого не выкинешь из сердца, и слуга твой счастлив припомнить, что об этом предмете, то есть о данном лице, он всегда думал не иначе как о предмете, достойном твоего внимания. Дуду был бы несправедливо обижен предположением, что прекрасная служба в одежной хотя бы на час помешала ему потихоньку размышлять и об этом деле, участвовать в котором ему позволила госпожа.

Ибо, занимаясь одним, нельзя забывать о другом - я всегда держался этого правила и в земных делах, и в божественных. Амун - великий бог, он предельно велик. Но разве поэтому нужно отказывать в почете и пище другим богам страны, особенно таким, которые до тождественности близки ему и назвали ему свое имя, как Атум-Ра-Горахте, что живет в Оне, в Нижнем Египте? Когда я в последний раз сподобился говорить со светлейшей своей госпожой, я уже пытался, хотя еще неумело и неудачно, высказаться о том, какой это великий, мудрый и кроткий бог, если ему принадлежат такие открытия, как часы и указатель времен года, открытия, без которых мы были бы подобны животным. С юных лет я втихомолку спрашивал себя, а сегодня спрошу себя вслух, может ли Амун в своем капище обижаться на нас за то, что в душе мы отдаем должное кротости и великодушию этого величавого бога, с чьим именем он соединил свое собственное. Разве досточтимый Бекнехонс не является Первым Пророком и того и другого? Когда на празднике моя госпожа, звеня систром, пляшет перед Амуном по праву его жены, ее зовут уже не Мут, как обычно, а Хатхор, но ведь Хатхор - это священная, украшенная рогами и диском сестра-супруга Атума-Ра, а не Амуна. Учитывая все это, твой верный слуга никогда не забывал о нашей заботе и не упускал случая приблизиться к этому цветущему юноше, отпрыску Азии, выросшему у нас в молодого управляющего, и получше узнать его, чтобы говорить о нем с тобой в этот раз с большей осведомленностью, чем то при всем моем старании удалось в прошлый. В общем, я нашел его очаровательным - в тех пределах, которыми природа ограничивает в данном случае мужское мое одобрение. С бабьем на крышах и на стенах дело обстоит, конечно, иначе, но я нашел, что наш юноша ничего не имел бы против обстрела их лучниками, и поэтому я не вижу причин поворачивать оружие в другую сторону. Ибо случайно я услышал, как он сказал, что только одна женщина имеет право пристально глядеть на него; при этом он направил на меня из-под надбровий весьма и весьма ночной взгляд,

сначала открытый и сияющий, а потом, по любопытному своему обычаю, туманно-лукавый. Хотя в этих словах есть уже указание на то, как он о тебе думает, я ими не удовольствовался; привыкши судить о людях по их отношению к тебе, я завел разговор о привлекательности женщин и по-мужски спросил его, кого из встречавшихся ему женщин он считает самой красивой. "Мут-эм-энет, наша госпожа, - отвечал он, - красивее всех и здесь, и в широкой округе. Ибо даже уйдя за семь гор, не найдешь лучшей красавицы". При этом лицо его залилось алой краской Атума, которую я могу сравнить только с той, что окрасила сейчас твое лицо, окрасила, как я себя тешу, от радости по поводу находчивости преданного твоего слуги в этом важнейшем деле. Более того, я предупредил твое желание, чтобы новый управляющий чаще прислуживал тебе и ты могла разгадать его волшебство и допытаться до тайны его уст, на что я, в силу природы своей, кажется, не гожусь. Я настойчиво призывал его, я убеждал его робость приблизиться к тебе, о женщина, и чем настойчивее, тем лучше, и поцеловать своими устами землю перед тобой, которая это терпит. На это он ничего не ответил. Но краска Атума, сошедшая было с его лица, тотчас же залила его снова, и я увидел в ней признак его боязни предаться тебе и выдать тебе свою тайну. И все же я убежден, что он последует моему совету. Правда, он, тем или иным способом, перерос меня в этом доме и стоит во главе его, но зато по годам и как коренной египтянин я старше. С таким юнцом я поговорю напрямик, как человек простой, каковым и остаюсь, имея честь откланяться своей даме.

С этими словами Дуду весьма чинно поклонился, свесив прямо вниз свои коротенькие ручки, повернулся и, мелко шагая, направился к Иосифу, которого приветствовал такими словами:

- Мое почтение, уста дома!

- Что я вижу, Дуду? - отвечал Иосиф. - Ты приходишь засвидетельствовать мне свое драгоценное почтение? С чего бы это? Ведь еще недавно ты не хотел со мной есть и всячески, на словах и на деле, показывал, что ты ко мне не очень-то расположен.

- Не расположен? - спросил супруг Цесет, запрокинув голову. - Я всегда был расположен к тебе гораздо больше, чем многие, которые притворялись особенно расположенными к тебе в эти семь лет, но я просто виду не подавал. Я человек чопорный, степенный, который не полезет ради прекрасных глаз к первому встречному с изъявлением своего благорасположенья и преданности, а сдержит себя, проверит свои чувства, чтобы доверие созревало лет эдак семь. Но уж когда оно созреет, на мою верность вполне можно положиться, и тот, кто выдержал испытание, может ее испытать.

- Прекрасно, - отвечал Иосиф. - Я рад, что завоевал твою приязнь, не очень-то на нее потратившись.

- Потратившись или не потратившись, - сказал, подавляя злость, карлик, - ты отныне, во всяком случае, можешь рассчитывать на мою ретивую службу, - службу прежде всего богам, ибо они явно с тобой заодно. Я человек благочестивый, уважающий мнение богов и судящий о достоинствах человека по его счастью. Покровительство богов достаточно убедительно. Кто столь упрям, чтобы противопоставлять ему свое мнение очень уж долго? Дуду не так глуп и не так косен, и поэтому я весь твой.

- Приятно слышать, - сказал Иосиф. - Поздравляю тебя с твоей богоугодной мудростью. А теперь не будем друг друга задерживать, ибо дела не ждут.

- Мне кажется, - не унимался Дуду, - что господин управляющий еще не оценил всей важности моего признания, которое равнозначно некоему предложенью. Иначе ты бы не

спешил вернуться к делам, не выяснив смысла и возможных последствий моего заявления и не узнав всех выгод, какие оно сулит тебе. Ведь ты можешь доверять мне и пользоваться моей верностью и находчивостью решительно во всем - и в делах домоводства, и в делах, касающихся тебя самого и твоего счастья. Ты можешь положиться на большую опытность такого светского человека, как Дуду, в изыскании окольных путей, а также во всех видах соглядатайства, тайного подслушивания, посредничества, наушничанья и осведомительства, не говоря уж о его скрытности, которая по своей тонкости и упорству не имеет, пожалуй, равной себе на свете. Надеюсь, теперь у тебя открылись глаза на значенье моих предложений.

- Они никогда не были слепы в этом смысле, - заверил его Иосиф. - Ты очень неверного мнения обо мне, если думаешь, что я не понимаю важности твоей дружбы.

- Твои слова удовлетворяют меня, - сказал карлик, - но меня не удовлетворяет тон, каким они были произнесены. Если слух меня не обманывает, в твоем тоне сквозит какая-то натянутость, какая-то сдержанность, которая в моих глазах принадлежит прошлому и должна исчезнуть между тобою и мною сейчас, когда я-то сам целиком от нее отказался. Мне было бы обидно и больно видеть ее с твоей стороны, ибо у тебя было ровно столько же времени, чтобы дать созреть своему ко мне доверию, сколько было отпущено на созревание моего доверия к тебе, а именно семь лет. Доверие за доверие. Я вижу, мне придется сделать дополнительное усилие и еще глубже открыть тебе свою душу, чтобы и ты без чопорной сдержанности открыл мне свою. Так знай же, Озарсиф, - сказал он, понижая голос, - что мое решение любить тебя и служить тебе верой и правдой родилось не только потому, что я чту богов. Кроме того, и, признаюсь тебе, прежде всего, оно определено волей и указанием одной земной, хотя и очень близкой к богам особы...

И он подмигнул.

- Какой же? - не удержавшись, спросил Иосиф.

- Ты спрашиваешь? - сказал Дуду. - Ну, что ж, своим ответом я как раз и открою тебе свою душу, чтобы ты отплатил мне тем же.

Он стал на цыпочки, приставил ручку ко рту и прошептал:

- Это была госпожа.

- Госпожа? - слишком быстро и так же тихо переспросил Иосиф и склонился к тянувшемуся вверх карлику. Да, так, увы, и было: Дуду ухитрился произнести слово, сразу же заставившее его собеседника вступить в этот разговор с нетерпением и любопытством. Сердце Иосифа, которое Иаков там, дома, считал давно уже сокрытым смертью, но которое здесь, в земле Египетской, продолжало биться и было по-прежнему открыто опасностям жизни, сердце Иосифа остановилось у него в груди; остановилось и в самозабвенье замерло оно на один миг, чтобы затем, по древнейшему своему обычаю, наверстать упущенное убыстренным биением.

Впрочем, он сразу же выпрямился и приказал:

- Убери руку ото рта! Можешь говорить тихо, но руку убери!

Это он сказал, боясь, как бы кто не увидел, что он секретничает с карликом, - а сам был готов секретничать с ним, но только не подавая вида: это было бы для Иосифа слишком противно.

Дуду повиновался.

- Это была Мут, наша госпожа, - подтвердил он, - первая и праведная. Из-за тебя она велела мне явиться к ней и обратилась ко мне со словами "господин начальник" - прости, после обожествления Монт-кау начальник здесь ты, который и занял Особый Покой Доверия, а я, как и прежде, начальствую лишь в одном, почетно ограниченном смысле. "Господин начальник, - сказала она, - что касается юноши Озарсифа, нового управляющего, по поводу которого мы с вами не раз обменивались мыслями, то, мне кажется, вам пора наконец отказаться от той мужественной неприступности, той испытующей сдержанности, которую вы проявляли по отношению к нему вот уже несколько, чуть ли не семь, лет, и начать служить ему не за страх, а за совесть, как вы, в сущности, давно хотели того в глубине души. Проверив все доводы против его неудержимого возвышения, которые вы время от времени считали своим долгом представить мне, я окончательно пренебрегла ими ввиду явных его достоинств, пренебрегла тем охотней и легче, что вы сами выкладывали эти доводы все более вяло и нерешительно, ибо не были в силах, да и не желали скрывать, что любовь к нему давно уже пустила ростки в вашей груди. Перестаньте себя насиловать, - я так и поступлю, - служите ему от чистого сердца, чего страстно желает и мое сердце, сердце госпожи. Ибо больше всего мое сердце должно желать, чтобы лучшие слуги дома любили один другого и сообща, в союзе друг с другом радели о его благоденствии. Заключите же. Дуду, такой союз с молодым управляющим и будьте, как человек опытный, помощником, советчиком, гонцом и вожаком его молодости - таково желание моего сердца. Ибо хоть он и умен, хотя боги обычно даруют ему удачу в делах, кое в чем его молодость является для него помехой и опасностью. Если начать с опасности, то его молодость связана с немалой красотой, которая заключена в соразмерном его росте, а также в его туманных глазах и в прекрасной форме его уст, так что даже за семью горами и то, наверно, не встретишь юноши такого чудесного вида. Я приказываю вам самолично охранять его от несносного любопытства, а в случае надобности приставить к нему для выходов в город отряд лучников, которые будут отвечать дождем стрел на назойливые налеты со стен и крыш. Что же касается помехи, то в некоторых отношениях его молодость делает его еще слишком робким и нерешительным, и поэтому я вменяю вам также в обязанность помочь ему преодолеть это малодушие. Например, он почти никогда не осмеливается явиться ко мне, своей госпоже, и обсудить со мною текущие дела дома. Это меня огорчает, ибо я отнюдь не похожу на своего супруга Петепра, который вообще ни за что не берется, нет, как госпожа дома, я была бы рада участвовать в хозяйственных хлопотах и всегда досадовала на то, что обожествленный ныне Монт-кау, то ли из ложной почтительности, то ли из властолюбия, совершенно меня от них отстранил. В этом отношении я ждала от перемены управляющего некоторой даже выгоды для себя, но поскольку надежда моя покамест не оправдалась, я приказываю вам, друг мой, стать тонким посредником между мною и молодым управляющим и добиться, чтобы он преодолел юношескую свою робость и почаще являлся ко мне для бесед о том и о сем. Считай это прямо-таки главной задачей союза, который тебе надлежит заключить с ним, подобно тому как я, Мут-эм-энет, заключаю союз с тобой. Ведь я пользуюсь твоими услугами ради него, а это можно, пожалуй, назвать тройственным союзом между тобою, мною и им". Вот слова, - заключил Дуду, - которые сказала мне госпожа, и, передав их, я широко открыл тебе свою душу, молодой управляющий, чтобы ты ответил мне тем же. Ибо теперь тебе, конечно, стало понятнее, что означает мое предложение беспрекословно повиноваться тебе и ходить всякими тайными и окольными путями ради тебя и нашего тройственного союза.

- Прекрасно, - ответил Иосиф тихо и с напускным спокойствием. - Я выслушал тебя, начальник ларей, выслушал из уважения к госпоже, которая, как я, по крайней мере, должен поверить, говорила твоими устами, а также из уважения к тебе, изысканно-светскому человеку, уступать которому в выдержке и хладнокровии мне не к лицу. Так

вот, я не очень-то верю, что ты вдруг воспылал ко мне нежностью - не обижайся, но, честно говоря, это, по моему, хитрая ложь светского человека. Да и я, друг мой, не пылаю к вам особой любовью и отнюдь не умираю от восторга перед вами, ибо мне, я сказал бы, вы скорее противны. Но мне хочется доказать вам, что своими чувствами я владею с не меньшей, чем вы, светской ловкостью и способен не обращать на них никакого внимания, если этого требует холодный расчет. Такой человек, как я, не всегда может идти только прямой дорогой, при случае он не должен гнушаться и обходной. И не только с людьми порядочными надлежит ему водить дружбу, нет, он должен со светской холодностью пользоваться услугами и прожженных лазутчиков, и гнусных доносчиков. Поэтому я не отклоняю вашего предложения и согласен пользоваться вашими услугами, досточтимый Дуду. О союзе лучше не будем говорить; мне неприятно определять этим словом отношения между вами и мной, даже если предполагается участие госпожи. Но все, что вы сможете мне донести о делах дома и города, пожалуйста, донесите, я постараюсь это использовать.

- Лишь бы ты только доверял моей верности, - возразил коротышка, - а какой ты ее считаешь - светской или чистосердечной, - мне все равно. Я не ищу в мире любви, ее мне хватает и дома - со стороны моей жены Цесет и моих удачных детей Эсези и Эбеби. Но сердце прекрасной госпожи пожелало, чтобы я вступил с тобою в союз и был помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости, - а я и стараюсь быть помощником, советчиком, гонцом и вожаком твоей молодости, - и оно удовлетворится уже одним тем, что ты будешь на меня полагаться, а как ты будешь на меня полагаться сердцем или светским умом, - это не важно. Не забывай о желании госпожи, чтобы ты посвящал ее в хозяйственные дела больше, чем Монт-кау, и почаще беседуй с ней! Нет ли у тебя каких-либо сообщений, чтобы я передал их на обратном пути?

- Пока мне ничего не приходит в голову, - ответил Иосиф. Удовлетворись тем, что свое дело ты сделал, а остальное предоставь мне.

- Как тебе будет угодно. Но я могу, - сказал карлик, - и дополнить преданный мой донос. Ибо госпожа невзначай упомянула, что сегодня на закате она для успокоения прекрасного своего духа погуляет в саду и поднимется на насыпь, в укромный домик, чтобы побыть там наедине со своими мыслями. Кто хочет побеседовать с ней, сообщить ей что-либо или обратиться к ней с просьбой, может воспользоваться этим на редкость благоприятным случаем и явиться для аудиенции в садовый домик.

Это Дуду просто соврал. Ничего подобного госпожа не говорила. Но он хотел, если бы Иосиф попался на удочку, пригласить ее туда, в продолжение своей лжи, от его имени и тем самым создать какую-то тайну. И хотя искушаемый на это не поддался, Дуду не отступился от своего замысла.

Иосиф только сухо кивнул в ответ, не говоря, как он воспользуется услышанным, и повернулся к зрителю нарядов спиной. Но сердце его билось, если и не так быстро, как прежде (ибо оно уже наверстало упущенное), то все же очень и очень сильно, и наша история не хочет и не может ни отрицать, ни скрывать, что он был до безумия рад услышанному о госпоже, а равно и тому, что он волен был предпринять на закате. Можно представить себе, сколь настойчив был его внутренний голос, шептавший ему, чтобы он не ходил в беседку; и никто не удивится, услышав, что и рядом с ним, что и вне его об этом тотчас же зашептал знакомый стрекочущий голосок. Ибо когда Иосиф после разговора с Дуду вошел в дом, чтобы собраться с мыслями в Особом Покое Доверия, Зе'энх-Уэн-нофре и так далее, Боголюб Шепсес-Бес, маленький вещун в измятом наряде, проскользнул туда вместе с ним и сразу же зашептал:

- Не делай, Озарсиф, того, что посоветовал тебе этот злой куманек, не делай ни в коем

случае!

- Ах, ты здесь, дружок? - спросил Иосиф немного смущенно. А потом спросил его, в каком же это уголке он опять притаился, если знает, что посоветовал Дуду.

- Ни в каком, - отвечал маленький человечек. - Благодаря карличьей остроте моих глаз я увидал издали, как ты запретил Дуду прикрывать рот рукой, но запретил лишь после того, как сам поспешно нагнулся к нему, чтобы услышать его тайны. А тут уж карличья мудрость легко распознала, чье имя он назвал.

- Ну и ловкач же ты! - сказал Иосиф. - А сейчас ты, наверно, проскользнул сюда, для того чтобы поздравить меня с такой прекрасной новостью? Подумать только, врага, который так долго жаловался ей на меня, госпожа сама посылает ко мне с недвусмысленным известием, что я наконец все-таки снискал ее милость и ей угодно обсуждать со мною дела! Признай, что это прекрасная новость, и порадуйся вместе со мной, что сегодня на закате я волен явиться к ней на аудиенцию в беседку, ибо я несказанно этому рад! Я не говорю, что собираюсь туда явиться - на это я отнюдь еще не решился. Но то, что я волен так поступить, что я могу выбирать явиться туда или не явиться, - это меня необычайно радует, и поэтому ты, малыш, должен меня поздравить!

- Ах, Озарсиф, - вздохнул Боголюб, - если бы ты не хотел явиться в беседку, ты не радовался бы так возможности выбора, и твоя радость указывает карличьей мудрости, что ты, скорее, настроен явиться туда! С этим, видно, карлик и должен поздравить тебя?

- Вот уж поистине карличья болтовня, - стал браниться Иосиф, - вот уж действительно вздорное верещанье! Неужели человеку нельзя порадоваться свободе своей воли, а тем более в таком деле, в каком он никак не рассчитывал на подобную радость? Давай-ка вместе вернемся мыслями к тому дню и часу, когда господин купил меня через бога Монт-кау, а тот через писца Хамата у моего колодезного отца, старика из Мидиана, я мы остались одни во дворе - я, ты и твоя обезьянка, - помнишь ли ты еще этот час? Ты сказал тогда растерявшемуся рабу: "Пади на землю!" - и на плечах смолоедов высоко и величественно проплыла госпожа купившего меня дома, свесив с носилок свою лилейную руку, как я сумел разглядеть, ибо подпер ладонями лоб. Она бросила на меня, как на вещь, слепой от пренебрежения взгляд, а мальчик взирал на нее, как на богиню, слепым от благоговения взглядом. Но потом бог пожелал и устроил, чтобы я семь лет рос в этом доме, словно у родника, перерос всю челядь, стал преемником больного Монт-кау и главным в доме. Так прославил себя во мне господь, мой господь бог. Лишь одно пятно было на солнце моего счастья, лишь в одном месте была покрыта окалиной блестящая медь моего блаженства: госпожа была против меня, она была заодно с досточтимым Бекнехонсом, слугой Амуна, заодно с Дуду, женатым калекой, и я бывал уже рад, если она бросала на меня мрачные взгляды: все лучше, чем вообще никаких. А теперь скажи: разве это не довершение моего счастья, разве на нем хоть где-нибудь осталось пятно или окалина, если взоры ее посветлели и она извещает меня о своей новойявленной милости, о своем желании обсуждать со мною дела на особом приеме? Кто мог бы подумать в тот час, когда ты шепнул мальчику: "Пади на землю!", что некогда этот мальчик волен будет выбирать, явиться ему к госпоже или нет? Не забывай же обо всем этом, друг, и не осуждай меня за то, что я радуюсь!

- Ах, Озарсиф, радуйся, когда решишь избежать свиданья, но не раньше того!

- Каждый раз ты начинаешь свою речь с "ах!", сморчок, вместо того чтобы начать ее с "о!", с возгласа удивленья и ликования. Зачем ты-ноешь, упрямишься, ищешь повода для тревоги? Я же говорю тебе, что я скорее склонен не явиться в беседку. Только и не явиться тоже не так-то просто. Ведь в конце концов - можно даже сказать: ведь прежде

всего, настолько это обстоятельство важно, - пригласила меня туда госпожа. Такому человеку, как я, приличествуют осмотрительность и расчетливость. Такой человек должен думать о своей выгоде и не вправе щепетильно отказываться от возможности укрепиться еще больше. Посуди сам, как упрочили бы мое положение в доме союз с госпожой и короткие с ней отношения! С другой стороны, скажи мне, кто я такой, чтобы соглашаться или не соглашаться с приказами госпожи и ставить выше ее желаний собственное решение? Хоть я и управляю домом, я принадлежу этому дому, я его собственность, его раб. А она здесь первая и праведная, она госпожа дома, и я обязан повиноваться ей. Никто, будь то живой или мертвый, не смог бы упрекнуть меня, если бы я слепо и покорно выполнил ее волю, и, наверно, меня даже упрекнули бы и живые и мертвые, поступи я иначе. Ибо, конечно же, мне рано распорядиться другими, если я еще не научился даже повиноваться. Поэтому я начинаю спрашивать себя, маленький Бес, не был ли ты прав, когда осуждал мою радость по поводу свободы выбора. Может быть, у меня ее вовсе нет, и я должен явиться в беседку во что бы то ни стало?

- Ах, Озарсиф, - зашуршал голосок карлика, - как же мне не ахать, как же мне не ахать и не охать, слушая вздор, который ты мелешь! Ты был добр, красив и умен, когда появился у нас в качестве Седьмого Товара, и я, наперекор злему куманьку, ратовал за то, чтобы тебя купили, потому что моя карличья, ничем не замутненная мудрость распознала твою благословенность с первого взгляда. Красив и добр ты, в сущности, и сейчас, но о третьем позволь уж мне помолчать! Разве это не горе слушать тебя и думать, каким ты был прежде? До сих пор ты был умен, умен настоящим, неподдельным умом, и мысли твои ходили свободно и прямо, с поднятой головой, веселой походкой, служа единственно лишь твоему духу. Но стоило только дыханью огненного быка, ужасней которого этот карлик ничего не знает на свете, стоило только его дыханию коснуться твоего лица, и ты уже глуп, так глуп, что не приведи боже, глуп, как осел, так что тебя впору, лупцую, обвести вокруг города, и мысли твои ходят на четвереньках, с высунутым языком, и служат уже не твоему духу, а только твоей недоброй тяге. Ах, ах, до чего это гнусно! Пустословие, увертки, непоследовательность - только этого и жди теперь от униженных мыслей, стремящихся обмануть твой дух и сослужить службу недоброй тяге. И ты еще пытаешься обмануть карлика жалкой хитростью, льстиво заявляя ему, что, вероятно, он был прав, когда порицал твою радость по поводу свободы выбора, потому что-де у тебя и в самом деле нет выбора - как будто не отсюда-то и шла твоя радость! Ах, ах, до чего же это постыдно и жалко!

И маленький Боголюб горько заплакал, закрыв ручками сморщенное свое личико.

- Ну, будет тебе, малыш, будет тебе, - смущенно сказал Иосиф. Утешься, не плачь! Тяжело видеть, как ты отчаиваешься всего-навсего из-за некоторой непоследовательности, случайно, может быть, и вкравшейся в речь собеседника! Если тебе легко всегда быть последовательным и подчинять свои мысли чистому духу, будь добрее и не стыдись столь плачевно за человека менее твердого, который иногда и запутывается.

- Это опять твоя доброта, - сказал коротышка, все еще всхлипывая, и вытер глаза измятым батистом своего праздничного наряда, - доброта, которой жаль карличьих моих слез. Ах, милый, пожалей самого себя и вцепись в свой рассудок изо всех сил, чтобы не потерять его в тот миг, когда он всего больше тебе понадобится! Ведь я же предвидел это с самого начала, хотя ты и не желал меня понимать и напускал на себя глупость в ответ на мой испуганный шепот, - ведь я же предвидел, что из жалоб, с которыми ходил к госпоже злой куманек, может вырасти нечто более злополучное, чем само злополучье, и нечто более опасное, чем сама опасность! Он замышлял учинить зло, но учинил такое зло, о каком и не помышлял, он губительно открыл этой бедняжке глаза на тебя, на доброго красавца! А ты, неужели ты закроешь свои глаза, находясь на краю ямы, которая глубже той, первой, куда бросили тебя из зависти брата, разорвав твой венчик и твое

покрывало, как ты мне неоднократно рассказывал? Никакой мидианский измаильтянин не вытащит тебя из этой ямы, которую выкопал тебе женатый наш куманек, открыв госпоже глаза на тебя! И вот она строит тебе глазки, святая, и ты тоже строишь ей глазки, и в пугливой игре ваших глаз таится огненный бык, опустошитель полей, а потом ничего не остается, кроме пепла и мрака!

- Это ты, бедный малыш, пуглив от природы, - отвечал ему Иосиф, - и мучишь малую свою душу карличьими виденьями! Подумать только, какой вздор внушил ты себе по поводу госпожи, лишь потому, что она обратила внимание на меня! Когда я был мальчиком, мне казалось, что каждый, кто на меня посмотрит, должен сразу же полюбить меня больше, чем себя самого, - такой я был зеленый юнец. Это и привело меня в яму, но из ямы я выбрался и из глупости тоже. Моя глупость, однако, перекинулась, кажется, на тебя, и ты внушаешь себе всякую чепуху. Госпожа если и поглядела на меня, то лишь строго, а я глядел на нее не иначе как с глубоким почтением. Если она требует от меня отчета о делах дома и хочет проверить меня - неужели я должен толковать это соответственно твоему пристрастному мнению обо мне? Оно, кстати, не так уж и лестно, ибо ты воображаешь, что мне достаточно протянуть госпоже мизинец - и я погиб. Но я не настолько робок и не думаю, что я так сразу и сделаюсь сыном ямы. Если бы я захотел потягаться с огненным твоим быком, ты думаешь, у меня не нашлось бы оружия, чтобы встретиться с ним и схватить его за рога? Право же, великий вздор внушил ты себе насчет меня! Ступай, позабавь женщин плясками и шутками и ни о чем не тревожься! Наверно, я не явлюсь в беседку на аудиенцию. Но теперь я должен в одиночестве, как человек полномерный, поразмыслить об этих делах и найти какое-то промежуточное решение, чтобы соединить одну мудрость с другой, то есть не оскорбить госпожу, но и не провиниться в пагубной неверности ни перед живыми, ни перед мертвыми, ни перед... Но этого тебе, малыш, не понять, ибо для вас, детей Египта, третье заключено во втором. Ваши мертвецы - это боги, а ваши боги - это мертвецы, и вы не знаете, что такое бог живой.

Так, довольно самоуверенно, отвечал карлику Иосиф. Но разве не знал он, что сам он, Озарсиф, умерший Иосиф, мертв и обожествлен? Остаться один он, по правде сказать, затем и хотел, чтобы без помех подумать об этом, - об этом и о мысленно неотделимой от этого напряженной готовности, с которой бог ждет самки коршуна.

## В ТИСКАХ УДАВА

Как ничтожна по сравнению со временной глубиной мира глубина прошлого нашей собственной жизни! И все же, ограничившись областью частного, чисто личного, наш взгляд так же мечтательно теряется в ее ранних далях, как теряется он и в более величественных далях жизни человечества, взволнованный ее повторяющимся единообразием. Как и самый род человеческий, мы не в силах проникнуть к началу своих дней, к своему рождению, и тем более еще дальше: оно скрыто мраком, предшествовавшим первому проблеску сознания и памяти, - скрыто в малой временной толще так же, как и в большой. Но в самом начале нашей духовной деятельности, когда мы уже вступили в культурную жизнь, как это некогда сделало человечество, и внесли в нее первый робкий свой вклад, мы находим в себе какое-то сочувствие, какую-то отзывчивость, заставляющую нас ощущать и узнавать это единообразие - и что все неизменно - с радостным изумленьем: это идея неумолимого недуга, идея вторжения буйно-разрушительных сил в стройный лад жизни, устремленной всеми своими надеждами к достоинству и условному счастью налаженности. Песнь о добытом и мнимонадежном мире, песнь жизни, которая, смеясь, разоряет искуснейшие сооружения упорства и верности, песнь о растоптанном совершенстве, о приходе чужого бога, - эта песнь была и в начале и в середине. И позднее, зрелой порой, сочувственно заглядывая в ранние дни человечества, мы снова, в знак упомянутого единообразия, находим в себе

старую эту отзывчивость.

Ибо и Мут-эм-энет, жена Потифара, что пела таким сладостным голосом, и она, ранняя и далекая, близко увидеть которую любезно позволяет нам дух повествования, она тоже была растоптана неумолимым недугом, неистовая жертва чужого бога, и искусный строй ее жизни был весьма успешно разрушен силами преисподней, над которыми она по неведенью осмеливалась смеяться хотя над всеми утешениями и сверхутешениями в конечном счете посмеялись они. Старому Гуию легко было требовать, чтобы она не была гусыней, не была той птицей черной, чреватой водою земли, которая, когда ее осенит и оплодотворит лебединая сила, довольно гогочет во влажной своей глубине, а была чистой, как Луна, целомудренной жрицей, что, дескать, не менее женственно. Сам он прожил жизнь в болотистой темноте одноутробного брака и, неуклюже усовестившись предчувствуемой новизны мира, окорнал своего сына в царедворцы света; без спросу сделал из человека нуль, он в таком виде отдал его в супруги и повелители женщине, носившей имя праматери: пусть, мол, сами поддерживают теперь свое достоинство нежной предупредительностью! Бесплезно отрицать, что человеческое достоинство воплощается в обоих полах и что тот, кто не принадлежит ни к одному из них, находится уже и вне человеческих категорий - откуда же тут взяться достоинству? Попытки, предпринимаемые, чтобы его все-таки поддержать, заслуживают, спору нет, глубокого уважения, потому что тут дело идет как-никак о начале духовном, а значит - это мы почтительно признаем несомненно о чем-то в высшей степени человеческом. Однако в угоду правде, сколь она ни горька, приходится признать, что всякая духовность и умственность лишь с грехом пополам, да и то недолго, сопротивляются началу навечноестественному. Как бессильны всякие почетные условности, всякие общественные соглашения перед глубинной, темной и безмолвной совестью плоти, как трудно ее обмануть уму и рассудку - это мы узнали уже в раннюю пору нашей истории, по поводу смятения Рахили. А Мут, ее египетская сестра княжеской крови, была из-за своего союза со слугой Солнца в такой же мере вне женской половины человечества, как он - вне мужской; внутри своего пола она влачила такое же жалкое, такое же бесславное для плоти существование, как он - внутри своего; и честь бога, которой она надеялась не только уравновесить, но и пересилить смутное сознание этого, была такой же хрупкой выдумкой ума, как те вознаграждения и сверхвознаграждения, что добывал себе храбростью, лихо укрощая коней и охотясь на бегемотов, ее дородный супруг - храбростью, которую Иосиф, умело льстя господину, ухитрился представить ему подлинно мужским качеством, хотя храбрость эта была нарочитой, и, находясь в пустыне или на болоте, Петепра, в сущности, всегда тосковал о покое своего книгохранилища - то есть о духовности чистой, а не прикладной.

Однако сейчас речь идет не о Потифаре, а о его Эни, наложнице бога, и о тисках выбора между честью духа и честью плоти, в которых она, к страху своему, оказалась. Черные глаза из далеких краев, глаза миловидной и слишком неумоно любимой, вскружили ей голову, и ее покоренность ими была, по существу, не чем иным, как возникающей в последнее или в предпоследнее мгновение боязнью спасти или, вернее, обрести честь своей плоти, женственную свою человечность, что значило бы пожертвовать честью ума и бога, пожертвовать всей той высокой духовностью, на которой так долго основывалось ее бытие.

Давайте-ка мы сейчас остановимся и хорошенько обдумаем эти обстоятельства! Обдумаем их вместе с ней, которая с возрастающей мукой и радостью думала о них день и ночь! Были ли тиски выбора подлинными тисками, считалась ли когда-либо жертва оскверненной и обесчещенной? В этом-то и заключался вопрос. Равнозначна ли посвященность целомудрию? И да и нет; ибо при вступлении в брак некоторые противоречия уничтожаются, и покрывало, этот признак богини любви, является одновременно признаком целомудрия и его жертвы, признаком схимницы и блудницы.

Та эпоха и храмовый ее дух знали так называемую "кедеша", посвященную и непорочную, которая "соблазняла", то есть была просто-напросто уличной девкой. Покрывало ей полагалось; и "непорочны" были эти кадишту, как непорочно животное, именно в силу его непорочности приносимое в жертву богу на праздник. Если ты посвящен Иштар, то твое целомудрие - это лишь одна из стадий жертвоприношения и покрывало, которому суждено быть разорванным.

Мы последовали сейчас за мыслями нашей влюбленной и борющейся со своей любовью Эни, и подслушай их отчужденно и боязливо враждебный влечениям пола маленький Боголюб, он, вероятно, заплакал бы над жалкой хитростью этих покорных влечению, а не уму мыслей. Ему легко было плакать, ибо он был ничтожный червяк, плясун-дурачок, и о человеческом достоинстве понятия не имел. А для Мут дело шло о чести ее плоти, и потому она вынуждена была предаваться мыслям, способным как-то примирить эту честь с честью бога. Поэтому она заслуживала сочувствия и снисхождения, даже если в мыслях ее была некоторая целенаправленность; ведь мысли редко приходят ради самих себя. К тому же ей было очень и очень нелегко с ее мыслями; ибо ее пробуждение к женственности, пробуждение от жреческо-дамского сна чувств, не походило на прообразно-образцовое пробуждение царского дитяти, чей детский покой при виде величия небесного князя сменился мукой и радостью всепоглощающей любви. Ей не выпало довольно-таки зловещее счастье столь величественно подняться в любви над своим сословием (когда в конечном счете приходится мириться и с высшей ревностью, и даже с превращением в корову), нет, она имела несчастье спуститься в любви гораздо ниже - по ее представлениям - своего сословия и узнать страсть благодаря безродному рабу, благодаря купленному, как вещь, слуге-азиату. Это мучило дамскую ее гордость куда сильнее, чем о том до сих пор сообщала история. Это долго мешало ей признаться себе в своем чувстве, а когда она наконец призналась себе, то к счастью, которое всегда приносит любовь, примешалась униженность, которая, по какой-то низменной жестокости, так ужасно обостряет желание. Целенаправленные мысли, которыми она пыталась узаконить свою униженность, вертелись вокруг соображения, что кедеша и культовая блудница тоже не выбирает себе любовника, а валится с каждым, кто ей свалится с неба. Но как незаконна была эта законность, и какое насилие делала Мут над собой, приписывая себе столь пассивную роль! Ведь избирающей, помогающей, предприимчивой стороной была тут она, если даже свой выбор она сделала и не вполне самостоятельно, а под влиянием жалоб Дуду, - она была ею и по возрастному своему старшинству, и по своему положению госпожи, которой в данном случае, естественно, и полагалась идти в любовное наступление, ибо не хватало еще, чтобы желание исходило от раба и он поднял на нее глаза по собственному почину, а она только следовала за ним, только повиновалась ему, и ее чувство было только смиренным ответом на его чувство! Нет, этому не бывать! Ее гордость хотела во что бы то ни стало отвести ей, так сказать, мужскую роль в этом деле - что, в сущности, опять-таки никак не получалось. Ибо, как ни верти, этот молодой раб, умышленно или бессознательно, просто в силу своего существования на свете, пробудил ее женственность от охранительного сна и тем самым, пусть безотчетно и невольно, стал господином над госпожой, ввиду чего ее мысли служили ему, а ее надежды зависели от одного его взгляда: она боялась, что он заметит, как она хочет отдаться ему, и одновременно с трепетом ждала, что вдруг он ответит взаимностью на ее неудобопризнаваемые желания. В общем, это было унижение, полное ужасной сладости. И чтобы уменьшить его, а также потому, что любовь, которая на самом деле вовсе не определяется такими понятиями, как ценность или достоинство, всегда жаждет оправдать себя особой ценностью своего предмета и всячески обольщает себя его достоинствами, Эни, с другой стороны, старалась поднять над его рабством раба, - того, кому она хотела стать госпожой в любви: она мысленно противопоставляла его низкому происхождению его хорошие манеры, ум, его положение в доме и пыталась даже, кстати сказать, под влиянием Дуду, призвать на помощь религию, ища, в угоду своей страсти, поддержки "недоброй тяге", как выразился бы потешный визирь, не у

недавнего своего повелителя, строго-отечественного Амуна, а у онского Атума-Ра, кроткого, готового к расширению, благосклонного к чужеземцам бога, и тем самым беря в союзники своей любви и двор, и самое царскую власть, а это давало умствующей ее совести то преимущество, что таким образом она, Эни, духовно приближалась к своему супругу, другу фараона и царедворцу, и делала его, которого ей все мучительней не терпелось обмануть, в известном смысле сторонником своего желания.

Так билась, боролась и задыхалась Мут-эм-энет в путях своей страсти, словно в кольцах посланной богом змеи, которая обвиняла ее и душила. Если учесть, что бороться ей приходилось одной и без всякой помощи, что, кроме Дуду - да и с ним дело не шло дальше недомолвок и полупризнаний, - ей некому было открыться - по крайней мере, вначале (ибо позднее она перестала сдерживаться и посвятила в свое безумие всех своих присных); если учесть далее, что в кровной своей беде она напала на уже облюбленного, который, из высших соображений, носил в волосах цветок верности и надменности, а проще сказать - избранности, и поэтому не хотел и не смел поддаваться ее соблазну; и если вдобавок еще учесть, что боль эта длилась три года, от седьмого до десятого года пребывания Иосифа в Потифаровом доме, да и потом была не утолена, а только убита, - то нельзя не признать, что "жене Потифара", этой, согласно молве, бесстыжей совратительнице и приманке зла, судьба досталась довольно-таки тяжелая, и нельзя не отнестись к ней, по крайней мере, с сочувствием, поняв, что орудия испытания несут свою кару в самих себе и сами карают себя сильнее, чем они, ввиду необходимости их действий, того заслуживают.

## ПЕРВЫЙ ГОД

Три года: в первый она пыталась скрыть от него свою любовь, во второй она дала ему знать о ней, на третий она ее предложила ему.

Три года: и она была вынуждена или вольна ежедневно видеть его, ибо они жили в близком соседстве на усадьбе Потифара, а это было ежедневной пищей ее безумию и большой милостью для нее, но в то же время и большой мукой. Ведь в любви с необходимостью и возможностью дело обстоит не так утешительно, как в дремоте, даже и в последней дремоте, когда Иосиф, умиротворяя Монт-кау, назвал в своей успокоительной речи необходимость возможностью. Нет, здесь перед нами до боли запутанное противоречие, раздваивающее душу каким-то особым, желанным и окаянным образом, ибо необходимость увидеть предмет своей любви влюбленный проклинает не менее пылко, чем благословляет ее как счастливую возможность, и чем сильнее он страдает после последней встречи, тем нетерпеливее ждет он ближайшего случая подогреть свою страсть лицезнением предмета любви - причем именно тогда, когда его страсть, пожалуй даже, идет на убыль, чему одержимый, будь он разумней, мог бы только с благодарностью радоваться. Ведь, действительно, иная встреча с предметом любви делает его почему-либо менее ослепительным, приносит с собой известное разочарование, отрезвление, охлаждение, каковое, казалось бы, должно быть любящему тем приятнее, что с ослаблением его влюбленности, благодаря большей внутренней свободе, возрастает его способность побеждать самому и заражать другого своей болезнью. Нужно владеть своей страстью, управлять ею, а не быть ее жертвой; обуздание собственного чувства существенно увеличивает виды на покорение предмета любви. Но влюбленный и знать об этом не хочет, и такие преимущества, как возврат здоровья, свежесть и бойкость, составляющие преимущество даже применительно к цели, выше которой для него ничего нет, кажутся ему пустяком по сравнению с тем уроном, который он - так ему кажется - терпит при охлаждении своего чувства. Такое охлаждение вызывает у него душевную опустошенность, как у наркомана - отсутствие возбуждающего снадобья, и он изо всех сил стремится вернуть себе прежнее состояние новыми воспламенительными впечатлениями.

Вот как обстоит дело с необходимостью и возможностью в любовном безумье, - самом большом безумье на свете, на примере которого удобней всего познать сущность безумья и отношение к нему его жертвы. Как ни страдает одержимый от своей страсти, он не только не способен ее не желать, но даже не в состоянии пожелать быть на это способным. Он прекрасно знает, что, не видя предмета любви в течение более или менее длительного и, может быть даже, постыдно короткого срока, он избавится от своей страсти; но именно этого забвенья он больше всего и страшится; да ведь и всякая боль разлуки основана на тайном предвидении неизбежного забвенья, которое, когда оно придет, уже не вызовет боли и которое, следовательно, оплакивают заранее. Никто не видел лица Мут-эм-энет, когда она, после напрасной борьбы со своим супругом за удаление Иосифа, опершись о колонну, спрятала лицо в складках одежды. Но многое и даже решительно все заставляет предполагать, что скрытое это лицо сияло от радости, что она и впрямь сможет видеть своего покорителя и что ей не придется его забыть.

Именно для нее это было очень важно, и ее страх перед разлукой и неизбежным затем забвеньем, то есть страх перед угасанием страсти, был особенно силен, потому что женщины ее возрастной зрелости, у которых кровь пробуждается поздно, а без чрезвычайного повода, может быть, и вовсе не пробудилась бы, отдаются своему чувству, первому и последнему, с необыкновенной горячностью и предпочитают умереть, чем променять эту новую, блаженную в страданиях жизнь на свой прежний, кажущийся им теперь прозябаньем покой. Тем ценнее, что добросовестная Мут сделала во имя разума все, что могла, добиваясь от косного своего супруга устранения возлюбленного: если бы его, Петепра, природа оказалась способна на такой подвиг любви, Эни принесла бы ему в жертву свое чувство. Но его-то как раз и нельзя было разбудить и расшевелить, потому что он был безнадежно почетным военачальником; и если сказать уж всю правду, то Эни втайне знала и учитывала это заранее и, таким образом, честную свою борьбу с мужем предприняла, собственно, для того, чтобы, получив отказ, обеспечить свободу своей страсти и всем роковым ее силам.

После супружеской встречи в вечерней палате она могла считать себя и вправду свободной; и если потом она еще так долго обуздывала свое желание, то это было скорее делом гордости, чем делом долга. И вид, с каким она в день трех бесед, на закате, встретила Иосифа у подножья насыпи, в саду, был полон величия, и только самый наметанный глаз, да и то лишь в редкие мгновения, разглядел бы в ее осанке слабость и нежность... Дуду весьма умно и хитро выполнил тогда тайный свой замысел: проследовав от Иосифа опять к госпоже, он уведомил ее, что новый управляющий рад отчитаться перед ней в домашних делах и очень хотел бы сделать это без помех, с глазу на глаз, в любом удобном ей месте и в любой удобный ей час. Кроме того, продолжал Дуду, управляющий сообщил, что сегодня, на вечерней заре, он намерен посетить беседку-часовню, чтобы осмотреть ее убранство и проверить сохранность росписей. Это второе известье Дуду преподнес независимо от первого, наговорив в промежутке всякой всячины и тонко предоставив госпоже самой связать одно с другим. Но несмотря на все уловки, хитрость его удалась в этот раз только наполовину, так как обе стороны ограничились полумерами. Что касается Иосифа, то между двумя открытыми свободному его выбору возможностями он нашел некую среднюю, третью, и решил не заходить в беседку, а только обойти примыкающий к ее подножью участок сада, чтобы, как то вполне позволяла и даже велела ему его должность, лишний раз посмотреть, находятся ли деревья и цветочные гряды в должном порядке; что же касается Мут, госпожи, то ей тоже не было угодно подняться на насыпь, но она не видела причины отказываться из-за каких-то карличьих, едва коснувшихся ее слуха новостей от своего, возникшего у нее, как она твердо помнила, еще утром намеренья погулять сегодня в закатный час в саду Петепра, чтобы полюбоваться прекрасным заревом, отражающимся в утином пруду, - погулять, как обычно, в сопровождении двух девушек, следовавших за

ней по пятам.

Так встретились тогда молодой управляющий и его госпожа на красном песке садовой дорожки, и встреча их протекала следующим образом.

Увидев женщин, Иосиф выказал священный испуг, сложил губы в благоговейное "О!" и с поднятыми руками стал пятиться назад, согнув спину и слегка пружиня ноги в коленях. Что же касается Мут, то она произнесла змеистым своим ротиком, над которым глаза оставались строгими, даже мрачными, короткое, чуть усмешливое, вопросительно-удивленное "А!", и, продолжая идти вперед, дала ему сделать еще несколько церемониальных шагов вспять, а затем, скупым, указывающим вниз движением кисти, приказала ему остановиться. Остановилась и она, а за нею и обе смуглые телохранительницы, у которых светились радостью, как у всех челядинцев при виде Иосифа, подведенные глаза и выглядывали из-под черных курчавых, закрученных внизу бахромою волос большие финифтевые диски серег.

Это не была встреча, способная отрезвляюще разочаровать кого-либо из тех двух, что стояли сейчас друг против друга. Свет падал косо, он был наряжен и ярок, он заливал беседку и пруд густыми красками, озарял пламенем сурик дорожек, зажигал цветы, приятно переливался в дрожащей листве деревьев и своим отражением воспламенял глаза людей в точности так же, как поверхность пруда, на которой местные и чужеземные утки были похожи на небесных, а не на простых уток и казались писаными и покрытыми лаком. Небесными, писаными, очищенными от всяких несовершенств казались под этим светом и люди, люди целиком, с головы до ног, а не только их сияющие глаза; подкрашенные и прикрашенные щедротами света, они были похожи на богов и на надгробные изваяния и могли быть довольны друг другом, глядя друг на друга зеркальными глазами, горевшими на их прекрасно освещенных лицах.

Мут была счастлива увидеть того, о ком она знала, что любит его, таким совершенным; ведь влюбленность всегда жаждет оправдания, она болезненно-чувствительна ко всякому изъяну в образе любимого и торжествующе-благодарна за всякое потворство своей иллюзии; и если прелесть возлюбленного, о которой она заботится ради своей чести, причиняет ей великую боль, потому что принадлежит всем, всем очевидна и постоянно тревожит ее угрозой соперничества со всем миром, - то все же такая боль ей дороже всего на свете, и она крепко прижимает это острие к сердцу, отнюдь не желая, чтобы оно притупилось оттого, что померкнет и потускнеет любимый образ. Видя, как похорошел Иосиф, Эни, к великой своей радости, вправе была заключить, что так же похорошела и она сама, и надеяться, что она тоже кажется ему сейчас прелестной и великолепной, хотя при более трезвом, более отвесном свете дело обстояло бы тут не совсем так, как в первой молодости. Разве не знала она, что длинный открытый плащ из белой шерсти, застегнутый пряжкой поверх широкого ожерелья и окутывавший ей (ибо надвигалась зима) плечи, делал ее величественней и выше и что ее груди по-молодому туго натягивали батист узкого платья, отороченного внизу красным стеклярусом? Гляди, Озарсиф! Оно держалось на лентах, это платье, и как же была она уверена в себе, если оно не только оставляло совершенно открытыми ее холеные, словно бы высеченные из мрамора руки, но и позволяло увидеть всю стройность ее чудесных ног! Разве это не было в любви достаточным основанием для того, чтобы высоко поднять голову? Она так и поступила. От гордости она сделала вид, что ей тяжело поднять веки и что поэтому ей приходится запрокинуть голову, чтобы глядеть из-под них. К страху своему, она знала, что ее лицо, окаймленное на этот раз золотисто-коричневым платком-париком с широкой, в разноцветных камешках, не совсем охватывавшей голову диадемой, было уже не так молодо и к тому же, из-за тенистых щек, вогнутой переносицы и углубленных уголков рта, отличалось весьма прихотливым своеобразием. Однако мысль о том, дан дивно должны светиться на этом бледном, цвета слоновой кости лице самоцветы ее подкрашенных

глаз, давала ей твердую надежду, что оно не так уж ослабит впечатление от ее рук, ног и груди.

Со страхом и гордостью памятуя о своей красоте, она глядела на его сына Рахили - красоту в египетском ее уборе, который, кстати оказать, при всей изысканности был вполне удобен для сада. Правда, голова его была очень тщательно убрана, и особенную аккуратность придавал ей уголок белой полотняной скуфейки, видневшийся рядом с его маленьким ухом из-под черного, шелковисто-рубчатого платка, который, в знак того, что он изображает прическу, оканчивался внизу кудрявыми завитками, - уголок скуфейки, обычно, чистоты ради, поддеваемой Иосифом под этот платок. Но кроме парика и эмалевого гарнитура из воротника и запястий, а также плоской нагрудной, из тростника и золота, цепи со скарабеем, он носил только двойной, до колен, набедренник, весьма, впрочем, изящного покроя, обтягивавший узкие его бедра и красиво оттенявший лепестковой своей белизной сгущенную закатным косым светом бронзовость его разукрашенного туловища, этого очень складного, нежного и сильного юношеского тела, казавшегося при таком освещении прохладным, как воздух, и ярким, причастным не к миру плоти, а я более чистому миру запечатленных помыслов Птаха, что подчеркивалось исполненной ума головой, которой оно принадлежало и вместе с которой являло счастливую слитность красоты и ума, счастливую и для самого ее обладателя, и для всякого, кто увидит ее.

С гордостью и со страхом за себя глядела на него жена Потифара, глядела на его таинственные, такие крупные, по сравнению с ее собственными, черты лица, глядела в ласковую ночь глаз Рахили, острота которых у сына была по-мужски усилена светившимся в них умом; одновременно она увидела золотисто-бронзовый блеск его плеч, его длинную и тонкую, державшую посох руку с умеренно-человечной мышцей возле изгиба - и по-матерински восхищенная, искренняя нежность, доведенная женской ее тоской до самозабвенной восторженности, заставила ее от всей души всхлипнуть, всхлипнуть так неожиданно и так сильно, что грудь ее, обтянутая прозрачной тканью, заметно задрожала, и ей оставалось только надеяться, что барственная ее осанка сделает это всхлипыванье совершенно невероятным и он, вопреки очевидности, не поверит своим глазам.

При таких обстоятельствах она должна была заговорить, и она сделала это с усилием, которое смутило ее, потому что требовало большой отваги.

- Очень не вовремя, как я вижу, - сказала она холодно, - расхаживают праздные женщины по этой дорожке, поскольку они мешают должностным шагам того, кто стоит над домом.

- Над домом, - ответил он сразу же, - стоишь только ты, моя повелительница, ты стоишь над ним, как утренняя и вечерняя звезда, которую в стране моей матери называли Иштар. Она, наверно, тоже праздна, как и полагается божеству, чье спокойное сияние отрадно для нас, когда мы, суесящиеся в трудах, поднимаем к нему свои взоры.

Она поблагодарила движением руки и улыбкой снисходительного согласия. Она была одновременно восхищена и обижена его избалованностью, с какой он, делая ей комплимент, сразу же заговорил о своей никому здесь не ведомой матери, а вместе с тем полна гложущей зависти к этой матери, которая его родила, выпестовала, направляла его шаги, называла его по имени, смахивала ему волосы со лба и целовала его по праву чистой любви.

- Мы отступаем в сторону, - сказала она, - и я, и служанки, сопровождающие меня сегодня, как всегда, - отступаем, чтобы не задерживать управляющего, который, несомненно, хочет проверить засветло, все ли в порядке в саду Петепра, а возможно, осмотрит и

беседку на насыпи.

- Сад и беседка, - ответил Иосиф, - мало меня заботят, когда я стою перед своей госпожой.

- Мне кажется, они должны заботить тебя всегда, и ты должен печься о них больше, чем обо всем остальном хозяйстве, - возразила она (и как пугающе сладостно и увлекательно было для нее уже одно то, что она говорила с ним, говорила "мне" и "тебя", "ты" и "я" - преодолевая те два шага, которые разделяли их тела, сближающим и соединяющим дыханием речи), - ведь известно же, что с них-то и началось твое счастье. Я слыхала, что в беседке ты был впервые допущен к обязанностям Немого Слуги, а в саду на тебя впервые упал взгляд Петепра, когда ты занимался подсадкой.

- Так оно и было, - засмеялся он, и его смех кольнул ее, словно какое-то легкомыслие. - В точности так оно и было, как ты говоришь, госпожа! При пальмах Петепра я исполнял должность ветра, как было мне наказано нашим знахарем, прозвище которого я не могу при тебе повторить, потому что это смешная, простонародная кличка, недостойная твоего господского слуха...

Она поглядела на шутившего Иосифа без улыбки. Он явно не догадывался, как не расположена она к шуткам и почему она так не расположена к ним, и это было хорошо и важнее всего, но ощущать это было очень больно. Пусть он сочтет ее отмахивающуюся от шуток строгость остатком ее враждебности его возвышению; но пусть он эту строгость заметит...

- По указанию садовника, - сказал он, - я как раз помогал ветру в саду, когда сюда пришел друг фараона и велел мне держать ответ перед ним, и так как я угодил ему, то многое в этот час и решилось.

- Люди, - прибавила она, - жили и умирали ради твоей пользы.

- Все в руках Сокрытого, - ответил он, употребив приемлемое, на его взгляд, обозначение высочайшего повелителя. - Да славится имя его! Но я часто спрашиваю себя, не слишком ли велика его милость ко мне, и втайне страшусь своей молодости, на которую возложены такие обязанности: ведь мне едва минуло двадцать, а я уже управляющий и старший раб этого дома. Я говорю с тобой откровенно, великая госпожа, хотя слушаешь меня не только ты, ибо в сад ты пришла, разумеется, не одна, а, как подобает тебе, в сопровождении почетных прислужниц. Они тоже слышат меня и волей-неволей слушают, как управляющий жалуется на свою молодость и сомневается в том, что созрел для такого главенства. Ну и пусть слушают! Я уж как-нибудь примирюсь с их присутствием, и оно не уменьшит моего доверия к тебе, повелительница моей головы и моего сердца, моих рук и моих ног!

Нет, в этом есть все-таки свои преимущества - влюбиться в человека низшего звания, который нам подчинен, ибо его положение заставляет его прибегать к таким оборотам речи, что они делают нас счастливыми, как ни бездумно он ими пользуется.

- Само собой разумеется, - ответила она, принимая еще более барственный вид, - что я не гуляю без провожатых, - этого не бывает. Но ты можешь говорить смело, не боясь выдать себя моим служанкам Хецес и Ме'эт, ибо их уши - это мои уши. Что же ты, однако, хотел мне сказать?

- Только вот что, великая госпожа. Мои полномочия многочисленнее моих лет, и твой раб не должен удивляться, а должен быть даже доволен, если его быстрый взлет, принесший ему должность управляющего, вызывает здесь в доме не только одобрение, но иной раз

и недовольство и нарекания. У меня был отец, который по доброте сердечной меня взрастил, Усир Монт-кау, и лучше бы Сокрытый позволил ему остаться в живых, ибо прежде, когда я считался его устами и его правой рукой, моя молодость была много спокойнее и, я сказал бы, счастливее, чем теперь, когда он вошел в тайные ворота прекрасных чертогов повелителей вечности, а я остался один, и число моих забот и обязанностей больше числа моих лет, и на свете нет никого, с кем бы я мог, по незрелости своей, посоветоваться и кто помог бы мне нести мое бремя, под которым я гнусь в три погибели. Да будет великий наш господин Петепра жив и здоров, но всем известно, что он ни за какие дела не берется, что он только ест и пьет, да еще смело ходит на бегемота, и когда я прихожу к нему со счетами и сметами, он говорит: "Ладно, ладно, Озарсиф, друг мой, ладно тебе. Твои счета, насколько я вижу, верны, и я полагаю, что ты не собираешься меня обсчитывать, ибо ты знаешь, что такое грех, и понимаешь, что это было бы особенно некрасиво - нанести ущерб мне. Так перестань же мне докучать!" Вот как говорит великий наш господин. Да будет он благословен!

После этого подражания Иосиф поискал на ее лице улыбки. Сейчас, пусть с любовью, пусть с благоговением, он совершил маленькое предательство, осторожно попытавшись установить с ней шутивное согласие через голову господина. Он полагал, что может сделать этот шаг без ущерба для своего союза. Он долго еще полагал, что тот или иной шаг еще не опасен. Улыбки согласия между тем не последовало. Это его одновременно и обрадовало, и немного устыдило. Он продолжал:

- Итак, несмотря на молодость, я должен один, на свой страх, решать множество вопросов, касающихся промыслов и торговли, умножения и даже просто сохранности богатств дома. Сейчас, когда ты меня застала здесь, великая госпожа, голова моя была полна забот, связанных с севом. Ведь река уходит назад, и приближается прекрасный праздник скорби, когда мы копаем землю и хороним бога в ее темноте, вспахивая поля под ячмень и пшеницу. И вот голова твоего раба занята вопросом о нововведении: не следует ли нам на полях Потифара, то есть на острове, сеять вместо ячменя гораздо больше, чем до сих пор, дурры - я имею в виду сорго, негритянское просо, причем белое; ибо коричневую дурру мы и так уже обильно сеяли на корма, и она насыщает коней и идет впрок коровам. Вопрос нововведения заключается в том, не следует ли нам уделить больше внимания белому просу и засеять им более обширные поля для прокорма людей, чтобы вместо ячневой и чечевичной каши дворян питалась добрым пшеном, подкрепляя свои силы полезной пищей. Ибо зерна метелок этого злака чрезвычайно мучнисты, и в плодах его заключен тук земли, а значит, пшена работникам потребуется меньше, чем ячменя или чечевицы, и мы накормим их, таким образом, быстрее и лучше. Не могу передать, как занята всем этим моя голова, и, увидев в вечернем саду тебя, госпожа, и твоих провожатых, я мысленно сказал себе, словно кому-то другому: "Вот ты один, молодой и незрелый, ломаешь себе голову, и тебе не с кем поделиться заботами дома, ибо господин твой ни за что не берется. Но погляди, вот шествует прекрасная твоя госпожа, сопровождаемая - как того требует ее чин - двумя девушками. Доверься же ей и обсуди с нею свой замысел насчет белого проса, и тогда ты узнаешь ее мнение, и твоей молодости поможет ее прекрасный совет!"

Эни покраснела отчасти от радости, отчасти же от смущенья, ибо она ничего не знала о негритянском просе и ей было невдомек, следует ли его сеять в большем количестве. Она сказала в некотором замешательстве:

- Этот вопрос несомненно заслуживает рассмотренья. Я обдумаю его. Благоприятна ли почва острова для твоего нововведения?

- С какой опытностью осведомляется об этом моя госпожа, - отвечал Иосиф, - и как быстро схватывает она во всяком деле самое важное! Почва на острове достаточно

илиста, но все-таки нужно быть готовым к неудачам на первых порах. Ведь наши земледельцы еще не научились выращивать белое пищевое просо, они выращивали до сих пор только кормовое, коричневое. Если бы госпожа знала, как трудно добиться от этих людей, чтобы они мотыжили землю до той рыхлости, какой требует белая дурра, и уразумели, что, в отличие от коричневой, она совершенно не терпит сорняков. Если они не займутся корневицами, все пойдет насмарку, и вместо человеческой пищи мы получим корм для скота.

- Нелегко, видно, с таким бестолковым народом, - сказала она, краснея и бледнея от беспокойства, потому что ничего не смыслила в этих делах и никак не находила сейчас подходящего ответа, хотя пожелала, чтобы он обсуждал с ней хозяйственные вопросы. Ей было очень совестно перед своим слугой, и она чувствовала себя крайне униженной, потому что он говорил ей о таких настоящих, о таких честных делах, о пище для людей, а она при этом ни о чем знать не хотела, кроме того, что она влюблена в него и желает его.

- Да, нелегко, - повторила она со скрытой дрожью. - Но ведь все говорят, что ты умеешь добиваться от них добросовестной службы и точного исполненья обязанностей. Так, наверно, тебе удастся приучить их и к этому нововведению.

Его взгляд показал ей, что он не слушал ее болтовни, и она обрадовалась этому, хотя в то же время это ее ужасно обидело. Он стоял, неподдельно погруженный в хозяйственные свои размышленья.

- Метелки этого злака, - сказал он, - очень прочны и гибки. Из них можно сделать хорошие щетки и веники и для дома и для продажи, так что даже и при неурожае все-таки будет какая-то выгода.

Она промолчала с обидой и болью, заметив, что он уже не думал о ней и говорил сам с собой о вениках, которые были и вправду почтенней ее любви. Но он, по крайней мере, заметил, что она промолчала, и, испугавшись, сказал с той улыбкой, какою всех подкупал:

- Прости мне, госпожа, эту низменную беседу, которой я преступно тебе докучаю! Виною всему незрелое мое одиночество перед лицом ответственных обязанностей и великое искушение посоветоваться с тобой.

- Тут нечего прощать, - отвечала она. - Дело это важное, и возможность изготовления метел делает его менее рискованным. Я сразу так и подумала, когда ты заговорил о своем нововведении, и хочу еще поразмыслить об этом деле.

Ей не стоялось на месте, так рвалась она уйти отсюда, от его близости, которая была ей дороже всего на свете. Это старое противоречие влюбленных - искать и бежать близости. Стары, как мир, и лживые речи о честных делах, речи с нечестными глазами, которые ищут и убегают, и с перекошенными губами. От страха, что он знает, что во время разговора о просе и метлах она думала только об одном: как положить ему руку на лоб и поцеловать его в материнском своем вожделении; от боязливого желанья, чтобы он знал это, но не презирал ее, а, наоборот, разделил это ее желанье; и еще от великой ее неуверенности в вопросах кормов и пищевого снабженья, вопросах, явившихся предметом разговора, который был для нее только любовной, только лживой беседой (а как лгать, если ты не владеешь мнимым, избранным для отвода глаз предметом, если тебе суждено беспомощно запинаться на каждом слове), - от всего этого ей было неопишимо стыдно, у нее не было сил, ее бросало то в жар, то в холод, ее панически влекло прочь отсюда.

Дрожащие ноги ее так и рвались бежать, а сердце ее не могло оторваться от этого места -

такова уж ста рая, как мир, непоследовательность влюбленных. Она плотней обтянула плечи плащом и, задыхаясь, сказала:

- Мы продолжим этот разговор, управляющий, в другое время и в другом месте. Наступает вечер, и мне сейчас показалось, что я слегка дрожу от прохлады. (Ее действительно была легкая дрожь, и, не надеясь совсем это скрыть, она постаралась оправдать это внешними причинами.) Обещаю тебе обдумать твоё нововведение и разрешаю тебе вновь доложить об этом деле своей госпоже, если ты почувствуешь себя слишком одиноким по своей молодости...

Лучше бы она не произносила этого последнего слова; оно застряло у нее в горле, ибо говорило только о нем, об Иосифе, и ни о чем другом; оно было равнозначной, но более сильной заменой того "ты", которое пронизывало лживую эту беседу и составляло ее правду, оно, заключая в себе его, Иосифа, волшебство и ее, Эни, материнское желание, несло груз такой нежности и такой боли, что довело ее до изнеможения и умерло в шепоте.

- Всего тебе доброго, - прошептала она еще и устремилась вперед, впереди своих девушек, мимо благоговейно застывшего Иосифа, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги.

Нельзя надивиться на слабость любви, нельзя натешиться странностью этой слабости, если взглянуть на нее свежим глазом, не как на приевшуюся обыденность, а как на нечто новое, невиданное и неповторимое, - ибо так она и поныне каждый раз предстает. Такая важная дама, знатная, высокомерная, неприступная, светская, холодно замкнувшаяся в своем "я", в самомнении своего богоподобия, - и вдруг оказалась во власти "ты", причем "ты" с ее точки зрения совершенно недостойного, - и такая в ней появилась уже слабость и настолько уже утрачена ею барственная уверенность, что она не справилась даже с ролью повелительницы в любви, вызывающе-деятельной поборницы своего чувства, а превратилась в рабу рабьего "ты" и убежала от него с подгибающимися коленями, слепая, дрожащая, с несвязными мыслями, бормоча несвязные слова, без оглядки на горничных, которых она сама же, нарочно, из гордости, взяла с собой на это свиданье:

"Пропала, пропала, выдала, выдала, я пропала, я выдала ему себя, он все заметил, и ложь моих глаз, и спотыкающиеся мои ноги, и то, что я дрожала, он все увидел, он презирает меня, конечно, я должна умереть. Надо сеять больше дурры, корневики нужно отрезать, метелки хороши для веников. Что я ответила? Я выдала себя, что-то промямлив, он смеялся надо мной, ужасно, я должна наложить на себя руки. Была ли я, по крайней мере, красива? Если я была при этом свете красива, тогда еще полбеды, тогда я не должна накладывать на себя руки. Золотая бронза его плеч... О Амун в своем капище! "Повелительница моей головы и моего сердца, моих рук и моих ног"... О Озарсиф! Не говори так своими губами, потешаясь в душе над моим лепетом и над дрожью моих колен! Я надеюсь, надеюсь... если даже все пропало и я должна умереть после этой беды, я все же надеюсь и не отчаиваюсь, ибо не все неприятно, есть и приятное, и очень даже приятное, поскольку я твоя госпожа, мальчик мой, и ты должен говорить мне такие сладостные слова, какие ты мне сказал: "Повелительница моей головы и моего сердца", и пусть это только красноречие, только пустая вежливость. Все равно слова наделены силой, все равно слова нельзя произносить безнаказанно, все равно они оставляют след в душе; если они сказаны и без чувства, они все-таки обращены к чувству того, кто их говорит, и если, произнося их, ты лжешь, то их волшебство все равно немного изменит тебя соответственно их смыслу, и они уже не совсем лживы, коль скоро ты их сказал. А это очень приятно и таит очень много надежд, ибо обработка твоей души, миленький раб мой, словами, которые ты должен мне говорить, сулит хорошую, илистую и рыхлую почву посева моей красоты, если я имею счастье казаться тебе красивой при этом свете. Тогда

из раболепия твоих слов и моей красоты родится мое исцеление и блаженство, ибо они пустят росток преклоненья, которое нужно только поощрить, чтобы оно стало желаньем, потому что преклоненье, если его поощрить, становится желанием, мальчик... О я, распутная женщина! Проклятие моим змеиным мыслям! Проклятие моей голове и моему сердцу! Прости меня, Озарсиф, юный мой господин и спаситель, утренняя и вечерняя звезда моей жизни! Надо же было сегодня случиться такой неудаче! Подумать только, все пропало по вине моих затрепетавших колен! Но я не наложу на себя руки и не пошлю за ядовитой змеей, чтобы поднести ее к своей груди, ибо у меня много приятных надежд. Завтра, завтра и во все последующие дни! Он остается у нас, он остается управлять домом, Петепра отказался его продать, я всегда буду видеть его, каждый день приносит с собой приятнейшую надежду. "Мы продолжим нашу беседу, управляющий, в другой раз. Я обдумаю это дело и разрешаю тебе доложить о нем снова". Это было удачно, это значило позаботиться о следующем разе. Да, Эни, при всем своем безумье ты оказалась все-таки достаточно сообразительна, чтобы предусмотреть дальнейшее! Он должен явиться снова, а если он из робости замешкается, я пошлю за ним карлика Дуду. Тогда я исправлю сегодняшнюю неудачу, я встречу его милостиво-спокойно, без всякой дрожи в коленях, и если захочу, то, пожалуй, слегка поощрю его преклонение. А вдруг в этот недалекий следующий раз он покажется мне менее красивым, что несколько охладит мое сердце и позволит мне свободно шутить и улыбаться, и я, совершенно не страдая, заставлю его влюбиться в себя?.. Нет, ах, нет, Озарсиф, пусть этого не будет, это змеиные мысли, и я хочу страдать из-за тебя, мой господин и спаситель, ибо ты прекрасен, как первородный бык..."

Несвязная эта речь, отдельные части которой с удивлением услышали служанки Хецес и Ме'эт, была лишь одной из многих, одной из сотни таких речей, вырвавшихся у их госпожи в тот год, когда она еще пыталась скрыть свою любовь к Иосифу; точно так же предшествовавший этому году диалог о просе дает представление о множестве подобных бесед, которые велись в разное время дня и в разных местах: в саду, как та, первая, в фонтанном дворе гарема и даже в беседке на насыпи, куда Эни никогда не являлась без провожатых, а Иосиф обычно приводил с собой одного или двух писцов, несших за ним свитки папируса с нужными счетами, наметками и сведениями. Ибо речь у них всегда шла о делах хозяйственных, о продовольствии, о полеводстве, о торговле и о ремеслах, по поводу которых молодой управляющий отчитывался перед госпожой, наставлял ее или спрашивал ее совета. Это и был ложный предмет их разговоров, и нужно признать, - хоть признать и с несколько вопросительной улыбкой, - что Иосиф всячески старался выдать эту отговорку за самую суть: он истово посвящал госпожу в деловые подробности, добываясь от нее - пусть в силу ее влечения к нему, Иосифу, - непритворного к ним интереса.

Это был своего рода план исцеления: молодому Иосифу нравилась роль воспитателя. Он держался мнения (как он мнил), что хочет придать мыслям повелительницы деловой, а не личный характер, отвлечь их от своих глаз и привлечь к своим заботам, а тем самым охладить, отрезвить, исцелить ее, и что, таким образом, он приобретет почетное и приятное преимущество общения с ней и ее благосклонность, не опасаясь попасть в яму, которой по трусости грозил ему маленький Боголюб. Нельзя не усмотреть некоторой заносчивости в этом педагогическом плане молодого управляющего, надеявшегося с его помощью совладать с сердцем своей повелительницы, такой женщины, как Мут-эм-энет. Действительно, предотвратить опасность ямы можно было несравненно более надежным путем - избегая госпожи и не показываясь ей на глаза, вместо того чтобы вести с нею воспитательные беседы. И если сын Иакова оказывал им предпочтение, то это заставляет подозревать, что его спасительный план был вздорным и что его идея превратить отговорку в почтенную суть дела сама была только отговоркой его мыслей, служивших уже не рассудку, а некоему влечению.

Таково было, во всяком случае, подозрение или, вернее, по-карличьи пронизательная догадка маленького Боголюбца, и тот не скрывал ее от Иосифа, а чуть ли не ежедневно, ломая ручки, умолял своего друга не унижаться до пустословия и уверток, быть не только красивым и добрым, но еще и умным и спастись бегством от огнедышащего, всесокрушающего быка. Но тщетно, его полномерный друг, управляющий, не слушался его. Ибо кто по праву привык доверять своему уму, для того, когда ум его помрачается, привычное доверие становится великой опасностью.

Тем временем и Дуду, ядреный карлик, образцово играл свою роль, - роль коварного гонца и злокозненного нашептывателя, который снует взад и вперед между двумя, готовыми согрешить, сторонами, здесь подмигнет и кивнет, там намекнет и прищурится, или вдруг станет рядом с тобой, скорчит рожу и, не раскрывая губ, вытряхнув его из уголка рта, словно из кошеля, ошарашит тебя сводническим своим сообщением. Он играл эту роль, не зная ни своих предшественников, ни своих последователей, играл, как будто он первый и единственный ее исполнитель, - ведь каждому хочется считать себя первым во всякой, выпавшей ему в жизни роли, - играл словно по собственному почину и усмотрению, однако с тем достоинством и с той уверенностью, которые каждый исполнитель черпает не в мнимой своей невиданности и неповторимости, а, наоборот, в глубоком своем убеждении, что он изображает нечто основательное и правомерное и ведет себя в своем роде образцово, каким бы отвратительным ни было его поведение.

Тогда Дуду еще не ходил тем окольным, тоже предусмотренным его ролью путем, который, отвлекаясь от главного, исхоженного, вел в третье место, а именно к Потифару, к нежному господину, - чтобы наябедничать ему о подозрительных встречах. Это еще предстояло, и покамест Дуду считал преждевременным становиться на этот хорошо утоптаный путь. Ему не нравилось, что, несмотря на все его уловки, на все полувымышленные уведомления, которые он, в обоих концах пути, вытряхивал из кошеля своего рта, молодой управляющий и госпожа, как правило, беседовали не наедине, а при почетных своих провожатых; не нравилось Дуду и то, о чем они говорили друг с другом. Воспитательный план Иосифа отнюдь не отвечал его, Дуду, целям и злил его, хотя, как и чистый его братец, смотритель нарядов понимал вздорность этого служившего некоему влечению плана. Хозяйственные беседы казались ему задержкой желательного хода событий, а к тому же Дуду опасался, что метод Иосифа окажется успешным и действительно отвлечет мысли госпожи от существа дела, придав им более чистый и более практический характер. Ибо и с ним, своим лицемерным доброжелателем, она теперь часто говорила о хозяйстве, о промыслах и торговле, о ценах на масло и ценах на воск, о дневных рационах и о складах; и хотя от солнечной его пронизательности не ускользало, что всем этим она только прикрывала свои мысли и втайне говорила только об Иосифе, который ее всему этому научил, он все-таки злился и, ходя взад-вперед, вытряхивал в обоих концах своего пути поощрительные сообщения, утверждавшие в одном конце, например, что молодой управляющий бывает огорчен, когда он, сподобившись после или среди дневных трудов лицезреть госпожу и омыть душу ее красотой, должен говорить с ней опять только о постылых делах хозяйства, вместо того чтобы как-то завести речь о более отрадных и более близких сердцу вещах. А в другом конце - что госпожа недовольна и велела ему, Дуду, уведомить об этом виновника ее недовольства, который так плохо пользуется ее милостью и во время аудиенций говорит всегда только о хозяйстве и никогда не заговаривает о себе самом, не утоляет ее благосклонного любопытства рассказом о прежней своей жизни, о горемычной своей родине, о своей матери, об обстоятельствах девственного своего рождения, о том, как он спустился в преисподнюю и воскрес. Послушать о подобных вещах, говорил Дуду, такой даме, как Мут-эм-энет, разумеется, куда занимательней, чем выслушивать отчеты о склейке папируса и о получении ткацких станков, и если управляющий хочет добиться успеха у госпожи, успеха, ведущего к высочайшей цели, цели более высокой и более прекрасной, чем все другие, каких он когда-либо достигнет в

этом доме, то пусть он потрудится говорить не таким скучным языком.

- Предоставь уже мне самому выбирать себе и цели и средства, нелюбезно ответил ему Иосиф. - Ты мог бы, кстати, говорить обыкновенно, не одним уголком рта; мне противно на это глядеть, и вообще я предпочел бы не слушать того, что не относится к делу, супруг Цесет. Не забывай, что у нас с тобой светские, а не сердечные отношения! Доноси мне все, о чем проведаешь в доме и в городе. А давать мне дружеские советы я тебя не просил.

- Клянусь головами моих детей! - сказал Дуду. - Согласно нашему договору, я сообщил тебе то, что уловил из ее воздыханий по поводу скуки твоих докладов. Совет тебе дает не Дуду, а сама госпожа, с ее воздыханьями, тоскующая по некоторой занимательности.

Это было, однако, больше чем наполовину ложью, ибо на замечанье Дуду, что для победной разгадки волшебства управляющего ей следует сблизиться с ним, а не позволять ему прятаться за свои дела и за свою должность, она ответила:

- Мне приятно - и это несколько успокаивает мою душу - слышать, что он делает, когда я не вижу его.

Весьма примечательный ответ, даже, если угодно, трогательный, потому что показывает, как завидует любящая женщина наполненности мужского бытия, как ревнует существо только чувствующее к делу, занимающему такое большое место в любимой жизни и заставляющему ревнивицу ощущать страдальческую праздность собственной жизни, которая посвящена только чувству. Стремление женщины к участию в таких занятиях вытекает обычно из этой ревности и тогда, когда они не хозяйственного, а духовного свойства.

Итак, Мут, госпоже, было "приятно" вникать с помощью Иосифа в эти дела, даже под видом того, что он, по молодости лет, просит ее совета. Да и не все ли равно, о чем толкуют слова любимого, если плоть их - это его голос, если произносят их его губы, если объясняет и сопровождает их прекрасный его взгляд и даже самые холодные и сухие из них напоены его близостью, как напоено царство земное водой и солнцем. Так любая беседа становится беседой любовной - но ведь в совершенно чистом виде любовную беседу и невозможно вести, потому что тогда она свелась бы к слогам "я" и "ты" и погибла бы от чрезмерного однообразия, так что без вспомогательного разговора о других делах никак нельзя обойтись. А кроме того, как явствовало из ее чистосердечного ответа, Эни высоко ценила содержание этих бесед, потому что оно служило пищей ее душе в те пустые, лишенные надежды, печально-вялые дни, когда Иосиф уезжал по делам вниз или вверх по реке, и не могло быть "взоров" за трапезой и не приходилось со страхом и нетерпением ждать его прихода в гарем или какой-либо другой встречи. Тогда она хваталась за эту пищу, дорожила ею и утешалась мыслью, что знает, зачем отправился любимый в тот или иной город и прилегающие к нему деревни, на ту или иную ярмарку или на рынок, что в женском своем горе праздного чувства может хотя бы назвать дела, заполняющие его мужское бытие. И она не могла не хвалиться этим своим знанием перед тараторками-подругами, а также перед служанками и Дуду, когда тот ее навещал.

- Молодой управляющий, - говорила она, - отбыл вниз по реке в Нехеб, город, где справляет свой праздник Нехбет, отбыл с двумя баржами плодов дум-пальмы, фиников, смоквы и лука, чеснока, дынь, огурцов и семян клещевины, которые он под крылами богини обменяет на лес и на кожу для сандалий, потому что они нужны Петепра для его мастерских. Посовещавшись со мной, управляющий выбрал такое время для этой поездки, когда овощи, благодаря большому спросу на них, в цене, а кожа и лес не очень

дороги.

И голос ее при этих словах звучал поразительно певуче и звонко, так что Дуду, прислушиваясь, приставлял к уху согнутую ладошку и про себя думал, что скоро, видно, он сможет свернуть на боковую, ведущую к Потифару дорогу и сказать ему словечко-другое...

Зачем вам затягивать рассказ об этом первом годе, когда Мут, из гордости и стыда, еще старалась скрыть свою влюбленность от Иосифа и еще утаивала ее от внешнего мира - или мнила, что утаивает? Борьба с ее чувством к рабу, то есть борьба с самой собой, которую она некоторое время ожесточенно вела, уже окончилась, и окончилась счастливо - злосчастной победой чувства. Она боролась теперь только за то, чтобы скрыть свою страсть от людей и от возлюбленного; а в душе она отдавалась этой чудесной новизне тем безудержнее и тем восторженнее, тем, можно сказать, простодушнее, чем неведомой была до сих пор ей, изящной святой и холодной схимнице Луны, чудесная эта новизна, чем больше понадобилось времени, чтобы она, Эни, так вострепелась и пробудилась, и чем отчужденнее вспоминала она о прежней, еще не благословенной страстью поре, в пустоту и оцепенение которой она уже не могла, уже боялась вернуться, боялась во всю силу своей разбуженной женственности. Пленительный взлет, даруемый полностью любви такой жизни, какая была у нее, столь же известен, сколь и неопишуем; а признательность за эту благодать счастья и муки ищет, на кого бы обратиться, и находит в конце концов лишь того, от кого все пошло - или кажется, что пошло. Так удивительно ли, что поглощенность им, умноженная признательностью, превращается в обожествление? Мы не раз видели, что в какие-то короткие, зыбкие мгновения Иосиф казался людям наполовину - или даже больше чем наполовину - богом. Но разве эти преходящие искусы можно было назвать "обожеванием"? Какую решительность, какую деятельную восторженность вкладывает в это слово логика любви - весьма смелая и своеобразная логика! Кто, говорит она, так перевернул мою жизнь, кто даровал ей, некогда мертвой, эти приступы жара и холода, эту радость и эти слезы, тот должен быть богом, иначе не может быть. А тот палец о палец не ударил, и все исходит от самой одержимой. Только она не может этому поверить и с благодарственными молитвами создает из своего упоения его божественность. "О небесная пора живого чувства!.. Ты сделал мою жизнь богатой - она в цвету!" Такова была обращенная к Иосифу благодарственная молитва или какая-то часть ее, которую со слезами блаженства, стоя на коленях у своего дивана, лепетала, когда ее никто не видел, Мут-эм-энет. Но почему же, если жизнь ее была так богата и так расцвела, почему же она не раз порывалась послать служанку-нубийку за ядовитой змеей, чтобы поднести змею к груди; почему она однажды и в самом деле отдала такое распоряжение, так что гадюка была уже доставлена в камышовой корзинке и лишь в последний миг Эни еще раз отступилась от своего намеренья? Да потому, что ей казалось, что в последнюю встречу она все испортила и не только была некрасива, но и вместо того, чтобы встретить возлюбленного спокойно-милостиво, выдала ему взглядом и дрожью свою любовь, любовь старой и некрасивой женщины, после чего ей оставалось только умереть себе и ему в наказание, чтобы ее смерть открыла ему тайну, за плохое хранение которой она эту смерть приняла!

Странная, несусветно дикая логика любви! Все это известно, в едва ли стоит об этом рассказывать, ибо это старо, как мир, и было старо, как мир, уже во времена жены Потифара и кажется очень новым только тому, кому, как и ей, пришла пора испытать это словно неведомое и неповторимое потрясение. Она шептала: "О, музыка, музыка!.. О, блаженство, в ушах у меня звенят прекрасные звуки!" Это тоже известно. Это обман слуха при повышенной чувствительности экстаза, сплошь да рядом случающийся у влюбленных и юродивых и свидетельствующий о родственности, о неразграниченности этих двух состояний, одно из которых связано с божественным, а другое с весьма

человеческим началом... Известны также - и совершенно незачем об этом распространяться - те лихорадочные ночи любви, которые превращаются в сплошную вереницу коротких сновидений, где любимый - а он непременно участвует в них - предстает холодным, ведет себя подозрительно и полон презрения, в сплошную цепь злосчастных, губительных, но неустанно возобновляемых уснувшей душой встреч с его образом, то и дело прерываемых резкими пробуждениями, когда, задыхаясь, жадно глотают воздух, вскакивают, зажигают свет: "О боги, о боги, что же это такое! Что же это за мука такая!.." Но разве она проклинает его, виновника подобных ночей? Отнюдь нет. Когда утро освобождает ее от этой пытки, она, измученная, припав к краю своей постели, шепотом посылает ему такие слова:

"Спасибо тебе, мое исцеленье! Счастье мое! Моя звезда!"

Человеколюбец качает головой по поводу такого отклика на ужасную боль; он сбит с толку и сам себе кажется чуть ли не смешным со своим состраданием. Но когда первопричина муки представляется божественной, а не человеческой, тогда этот отклик возможен и естествен... А почему она такой представляется? Да потому что это первопричина особого рода, она разделена между "я" и "ты" и, связанная со вторым, одновременно находится в первом: она состоит в соединении и слиянии мира внешнего с миром внутренним, образа с душой, - то есть в союзе, от которого и в самом деле произошли боги и проявления которого отнюдь не нелепо считать божественными. Существо, благословляемое нами за те великие муки, что оно причиняет нам, и впрямь должно быть не человеком, а богом, ибо иначе мы стали бы его проклинать. В известной логике этому рассуждению никак не откажешь. Существо, от которого наше счастье и наше горе зависят в такой мере, в какой это бывает в любви, переходит уже в разряд богов, это ясно; ибо зависимость всегда была и остается источником чувства бога. А разве кто-нибудь когда-либо проклинал своего бога?.. Может быть, конечно, кто-то и пытался его проклясть. Но потом это проклятие видоизменялось и звучало в точности так, как оно приведено выше.

Вот чем можно если не успокоить, то хотя бы вразумить человеколюбца. А разве у нашей Эни не было еще и особой причины видеть в своем возлюбленном бога?.. Конечно, была, поскольку обожествление сводило на нет те унижительные чувства, которые иначе неизбежно сопутствовали бы ее слабости к рабу-чужеземцу и с которыми она так долго боролась. Бог, сошедший на землю в образе раба, узанный лишь по его неутаимой красоте и по бронзовому золоту его плеч, - она неведомо как напала на эту мысль, и напала к счастью, ибо нашла объяснение и оправдание своей одержимости. А надежда на то, что сон, который открыл ей глаза, сон, где Иосиф остановил ей кровь, надежда на то, что сон этот сбудется, находила пищу в другом образе, в другой картине, на которые она тоже напала неведомо как: в картине совокупления бога со смертной. Возможно, что в эксцентричности этого образа и в обращении к нему была доля страха, внушенного ей сообщениями мужа об избранности и посвященности Иосифа, о венке на его голове.

## ВТОРОЙ ГОД

Когда же пошел второй год, в душе Мут-эм-энет что-то смягчилось и поддалось, и она стала выказывать свою любовь Иосифу. Она уже не могла вести себя иначе: слишком сильно она любила его. Одновременно, из-за того же смягчения, она начала поверять свою страсть кое-кому из своих близких, но только не Дуду, ибо, во-первых, при его солнечной изошренности, в этом, как она, в сущности, наверно, знала, давно уже не было никакой нужды, а во-вторых, несмотря на упомянутое смягчение, ее гордость не позволяла ей излить ему душу; напротив, между ними оставалось в силе условие, что дело идет о том, чтобы разгадать волшебство ненавистного чужеземца и "добиться его падения" - оставаясь по-прежнему в ходу, это словосочетание становилось и в ее устах, и

в его все менее и менее двусмысленным со дня на день. Призналась она двум женщинам из своих приближенных, внезапно сделав их, каждую особо, своими наперсницами, хотя наперсниц у нее до сих пор никогда не было, и тем самым сильно возвысив обеих - побочную жену Ме-эн-Уазехт, маленькую резвушка с непокрытыми волосами и в прозрачной сорочке, и одну старую смолоедку, по имени Табубу, рабыню службы румян и белил, седовласую и чернокожую, с похожими на бурдюки грудями, - им обеим Эни шепотом открыла свое сердце, намеренно вызвав своим поведением льстивые их расспросы: в показной задумчивости, ни слова не говоря, она вздыхала и улыбалась до тех пор, покуда эти женщины, одна во дворе, у бассейна, а другая возле уборного стола, не стали упрашивать ее, чтобы она доверила им причину своей взволнованности, после чего Мут долго еще жеманилась и ломалась, а потом, задрожав, заплетающимся языком, шепотом исповедалась в своем безумии им, которых тоже охватил трепет.

Хотя они уже, вероятно, и раньше понимали, что к чему, обе принялись всплескивать руками, закрывать ими лицо, целовать ей руки и ноги, приглушенно заворковали и закудахтали, вкладывая в эти звуки торжественное волнение, умиленность и нежную тревогу, как если бы Мут, к примеру, сообщила им, что она беременна. Так и в самом деле восприняли обе женщины эту женскую сенсацию, эту великую новость - что госпожа полюбила. На обеих напала какая-то хлопотливость, они без умолку утешали и поздравляли благословенную, гладили ее тело, словно оно стало сосудом с опасным и драгоценным содержимым, и всячески показывали ей испуганное свое восхищение этой великой переменой, этим поворотом, этим началом счастливой женской поры, поры тайн, сладостного обмана и скрашивающих будни затей. Черная Табубу, сведущая во всяких нечистых искусствах негритянских стран и в заклинании недозволенных и безымянных божеств, хотела тотчас же приступить к ворожбе, чтобы искусственно приманить юношу и повергнуть его прекрасной добычей к ногам госпожи. Но тогда еще дочь князя Маи-Сахме отклонила это с решительным отвращением, в котором сказалась не только ее более высокая, по сравнению с кушитяжкой, цивилизованность, но и порядочность ее пусть очень и очень сомнительного чувства... Что же касается наложницы Ме, то она, напротив, не думала ни о каких колдовских средствах, считая их совершенно ненужными, и находила это дело, если отвлечься от его опасности, весьма простым.

- Счастливая, - сказала она, - о чем тут вздыхать? Разве этот красавец не купленный раб дома, хоть он и стоит во главе его, разве он с самого начала не твоя собственность? Если он тебе нравится, тебе достаточно только повести бровью, и он почтет за величайшую честь соединить свои ноги о твоими, а свою голову с твоей, чтобы ты насладились!

- Ради Сокрытого, Ме, - прошептала Мут, пряча лицо, - не говори так прямо; ты сама не знаешь, что говоришь, а мне это разрывает душу.

Эни не позволяла себе сердиться на это глупое существо, не без зависти зная, что Ме чиста, что она свободна от любви и недуга вины, и считая, что ее чистая совесть дает ей право болтать о ногах и о головах в свое удовольствие, даже если ее, Эни, это невыносимо смущает. Поэтому она продолжала:

- Видно, ты никогда не бывала в таком положении, дитя мое, и тебя никогда не постигала такая беда. Ты, наверно, только и знала, что лакомилась и судачила со своими сестрами по гарему Петепра. Иначе ты бы не говорила, что мне достаточно повести бровью, а понимала, что из-за моей одержимости его рабское и мое господское положение свелись на нет или даже обратились в свою противоположность, так что скорее уж я завишу от его прекрасных бровей, от того, приветливо ли они расправлены или же смущенно и недоверчиво супятся, приводя меня в трепет. Право же, ты ничем не лучше отсталой Табубу, которая предлагает мне пуститься с ней в негритянское колдовство, чтобы юноша достался мне неведомым для себя образом и чтобы его тело пало жертвою ворожбы.

Стыдитесь, невежды, своими советами вы вонзаете меч в мое сердце и поворачиваете его внутри раны! Вы говорите так, как будто, кроме тела, у этого юноши нет души и духа, перед лицом которых приказ бровей ничуть не лучше, чем привораживание, ибо и то и другое властно только над телом и способно подчинить мне лишь тело, лишь теплый труп. Если он когда-либо и был моей собственностью и целиком зависел от моей брови, - то благодаря моей одержимости ему дарована полная свобода, глупая Ме, а я лишена своего господского положения и блаженно несу рабское его ярмо, зависимая и в своей радости и в своей муке от свободы его живой души. Вот она, правда, и я немало страдаю от того, что она не на виду, что внешне он, вопреки истине, все еще раб, а я - его повелительница. Ибо когда он называет меня госпожой своей головы и своего сердца, своих рук и своих ног, я не знаю, говорит ли он это как слуга, потому что так принято, или как живая душа. Я надеюсь на последнее, но в то же время готова отчаяться в этом. Слушай меня внимательно! Если бы на свете существовал только его рот, тогда ваши речи о приказе бровей и о ворожбе на худой конец и сгодились бы, потому что рот - это всего только тело. Но есть еще прекрасная ночь его глаз, а в глазах этих - увы, душа и свобода, и я боюсь их свободы еще и по особой причине: ведь это - свобода от недуга, связавшего меня, погибшую, печальными своими узами, и веселая насмешка над ним - не надо мной, нет, а над моим недугом, и от этого мне уничтожающе-стыдно, потому что восхищение его свободой только усиливает мой недуг и делает мои узы еще печальнее. Понятно ли тебе это, Ме? И мало того, я должна еще бояться гнева его глаз и их презренья, потому что мои чувства к нему означают обман, означают измену царедворцу Петепра, моему и его господину, которому он по праву внушает приятное чувство доверия, - а я хочу, чтобы он унизил своего господина со мной у моего сердца! Вот чем грозят мне его глаза, и теперь ты видишь, что передо мной не только его рот и что он представляет собой не только тело! Ибо тело не входит в те сплетения обстоятельств, которыми обусловлено и оно само, и наше к нему отношение и которые это отношение осложняют, отягощая его всяческими помехами и последствиями и делая из него вопрос законности, чести и нравственности, а это подрезает нашему желанию крылья, и оно не взлетает. Ах, Ме, как много думала я об этих вещах и днем и ночью! Да, тело свободно и самостоятельно, но ни с чем не связано, и для любви должны были бы существовать только тела, чтобы они свободно и одиноко парили в пустом пространстве и сплетались в объятьях без помех и последствий, с закрытыми глазами, уста к устами. Это было бы блаженством, хотя я и презираю такое блаженство. Могу ли я желать, чтобы любимый был только самодовлеющим телом, трупом, а не человеком? Нет, этого я не могу желать, ибо я люблю не только его рот, я люблю и его глаза, и глаза даже больше, чем все другое, и поэтому мне противны ваши советы. Табубу и твой, и я с нетерпением их отвергаю.

- Мне непонятна, - сказала побочная жена Ме, - твоя разборчивость в этих делах. Я полагала, что если он тебе нравится, то вам достаточно просто соединить ноги и головы, чтобы ты наслаждалась.

Как будто не к этому стремилась в конечном счете и страсть Мут-эм-энет, прекрасной Мутэмане! Мысль, что ее ноги, дрожавшие и не стоявшие на месте, когда она была с Иосифом, могут покойно прижаться к его ногам, - именно это представление глубоко потрясло и даже воодушевило ее, и то, что Ме-эн-Уазехт облекла его в слова так непосредственно, не зная и малой доли сомнений Мут, это способствовало внутреннему смягчению Эни, признаком которого были уже ее откровенные беседы с обеими женщинами, и она стала теперь выказывать свою слабость юному управляющему в речах и поступках.

Что касается поступков, то это были иносказательные действия ребяческого и, в сущности, трогательного характера, знаки внимания госпожи к рабу, сложную символику которых ему было не так-то легко увидеть в правильном свете. Однажды, например, - а после этого первого раза и часто - она вела с ним хозяйственную беседу в богатой

азиатской одежде, с великим старанием сшитой рабыней-портнихой Хети из ткани, купленной в лавке какого-то бородатого сирийца в городе живых. Этот наряд отличался чуждой египетскому платью пестротой, он представлял собой два вышитых, переплетающихся шерстяных полотнища, красное и синее, и, украшенный, кроме вышивки, цветной оторочкой по всем краям, казался очень пышным и диковинным. Плечи были покрыты подлинно азиатскими замычками, а поверх головной повязки, тоже пестрой и вышитой, именовавшейся на родине этой моды санип, на Эни было обязательное прозрачное покрывало, ниспадавшее к бедрам и ниже. Так одетая, она глядела навстречу Иосифу расширенными не только свинцовым блеском, но и лукавой робостью ожиданья глазами.

- Какой у тебя странный и ослепительный вид, высокая госпожа, - сказал он со смущенной улыбкой, ибо не знал, как истолковать это новшество.

- Странный? - спросила она, тоже с улыбкой, улыбкой натянутой, нежной и растерянной. - По-моему, мой вид должен показаться тебе скорее знакомым, ибо в этом платье, - если ты имеешь в виду мой наряд, который я сегодня разнообразия ради надела, - я, наверно, похожа на дочерей твоей страны.

- Да, мне знакомы, - ответил он с опущенными глазами, - и платье, и покрой платья, но мне немного странно видеть его на тебе.

- Не находишь ли ты, что оно мне идет и красит меня? - спросила она с нерешительным вызовом.

- Еще не соткано, - сдержанно отвечал он, - такое сукно, еще не скроено такое платье, которое, будь это даже волосяной мешок, не служило бы твоей красоте, моя повелительница.

- Ну, если безразлично, что я ношу, - возразила она, - то, значит, я напрасно старалась. Я надела это платье в честь твоего прихода и чтобы достойно ответить тебе. Ведь ты, юноша из Ретену, носишь у нас египетскую одежду, подчиняясь нашему обычаю. Вот я и решила не отставать от тебя и встретить тебя в одежде твоих матерей. Так мы обменялись платьем, обменялись по-праздничному. Ведь есть в этом какая-то исконная праздничность, когда мужчины надевают женскую, а женщины мужскую одежду и разница между ними вдруг исчезает.

- Позволь мне заметить, - ответил он, - что этот обычай и этот обряд не кажется мне таким уж родным и близким. В нем есть какая-то исступленность, какое-то неблагочестие, а это отнюдь не обрадовало бы моих отцов.

- Значит, я ошиблась, - сказала она. - Что нового в доме?

Она была глубоко обижена тем, что он, казалось, не понял (а он, кстати, понял), какую жертву принесла ему и своему чувству она, дочь Амуна, наложница этого могущественного бога и поборница его суровости, когда снизошла до такого поклонения чужеземщине, только потому, что ее любимый был чужеземцем. Ей была сладостна эта жертва, ей казалось блаженством отрешиться ради него от своих политических взглядов; и она была тогда очень несчастна, оттого что он принял это так равнодушно. В другой раз она оказалась счастливее, хотя новый иносказательный ее поступок свидетельствовал даже об еще большем самоотречении.

Ее жилой покой, обычное место ее уединения в гареме, представлял собой обращенную к пустыне маленькую палату, которую можно было так назвать потому, что ее дверь с

деревянным косяком была широко открыта и вид наружу прерывали два столпа с простыми круглыми возглавьями и четырехугольными абаками под карнизом, стоявшие прямо на пороге без баз. Отсюда виден был двор с низкими белыми постройками справа, под плоскими крышами которых находились жилища побочных жен, а к этим домам примыкало высокое пилонообразное зданье с колоннами. За ним, наискось, шла глинобитная, до плеч высотой стена, так что дальше виднелось только небо. Зальца была изящная, непритязательная, не очень высокая; на каменном ее полу чернели длинные тени столпов; стены и потолок были просто оштукатурены, и только под потолком лимонно-желтая штукатурка была украшена бледным фризом. В комнате этой почти ничего не стояло, кроме затейливого дивана в глубине; на диване лежали подушки, а перед ним - шкуры. Здесь Мут-эм-энет часто ждала Иосифа.

Он обычно появлялся во дворе и поднимал руки ладонями к этому покою и к отдыхавшей в нем госпоже, сунув под мышку свитки счетов. Она разрешала ему войти и начать доклад; и вот однажды он сразу заметил, что в комнате что-то переменялось, о чем говорили ее глаза, глядевшие навстречу ему с таким же смущенно-радостным выражением, как в тот раз, когда на ней было сирийское платье; но он притворился, что ничего не видит, и, произнеся изысканное приветствие, заговорил о делах и говорил, покуда она не прервала его:

- Оглянись, Озарсиф! Ты не видишь у меня ничего нового?

Да, она вполне могла назвать новым то, что у нее появилось. Трудно было поверить своим глазам: на покрытом вязаной скатертью алтаре у задней стены комнаты в открытом ларце-капище стояла позолоченная статуэтка Атума-Ра!

Владыку горизонта нельзя было не узнать: он походил на свой письменный знак; он сидел, высоко подняв колени, на маленьком четырехугольном постаменте, и на плечах у него была соколиная голова, а на ней еще продолговатый солнечный диск, из которого спереди выступала вспученная головка, а сзади - кольчатый хвост очковой змеи. На треноге, сбоку от алтаря, стояли курильницы с ручками, приспособление для высекания огня и чашка с шариками благовоний.

Поразительно и почти невероятно! Вместе с тем - какой трогательный и ребячески смелый выход желанию открыться! Мут из гарема богатого говядами, овнолобого державного бога, его певица, его священная плясунья; доверенная его искусного в политике верховного плешивца; сторонница его отечественно-охранительной солнечной природы - и вдруг, в собственном своем владенье, воздвигла святилище владыке широкого горизонта, тому, кого постигали мыслью мыслители фараона, доброжелателю всего мира, чужбинолюбивому брату азиатских властителей Солнца, Ра-Горахте-Атону, богу Она у вершины треугольника! Вот как выразила себя ее любовь, вот к какому языку она прибегла, - языку общего для них обоих, для египтянки и мальчика-еврея, пространства и времени. Как же он мог ее не понять? Он уже давно ее понял, и нужно с похвалой отметить, что он был очень взволнован в это мгновение: он испытывал радость, смешанную с тревогой и страхом. И радость заставила его опустить голову.

- Я вижу твою набожность, повелительница, - сказал он тихо. - В чем-то она пугает меня. Что будет, если тебя навестит великий Бекнехонс и увидит то, что вижу я?

- Я не боюсь Бекнехонса, - ответила она с трепетным ликованием. Фараон более велик.

- Да будет он жив и здоров, - машинально пробормотал Иосиф. - Но ведь ты, - прибавил он опять очень тихо, - ты принадлежишь владыке Эпет-Эсовета.

- Фараон - его сын во плоти, - ответила она так быстро, что было ясно: она подготовилась.  
- Богу, которого он любит и которого велит постичь своим мудрецам, я, мне кажется, тоже имею право служить. Есть ли в странах более древний и более великий бог? Он такой же, как Амун, а Амун такой же, как он. Амун назвал себя его именем и сказал: "Кто мне служит, тот служит Ра". Следовательно, служа Ра, я служу и Амуну!

- Как знаешь, - ответил он тихо.

- Воскурим ему, - сказала она, - прежде чем мы займемся делами дома.

И, взяв Иосифа за руку, она подвела его к изваянию и к треножнику с жертвенной утварью.

- Будь добр, - приказала она, - положи в курильницу благовония (она сказала "сентер нетер", что на языке Египта значило "божественный запах") и подожги их!

Но он заколебался.

- Мне не подобает, госпожа, - сказал он, - воскурять изваянию. У нас это запрещено.

Тогда она взглянула на него, молча, с такой откровенной болью, что он опять испугался, и взгляд ее говорил: "Ты не хочешь со мной воскурить тому, кто мне разрешает любить тебя?"

А он вспомнил Он-у-вершины, кроткое учение его учителей и тамошнего отца-первопророка, чья улыбка говорила, что тот, кто приносит жертву Горахте, приносит ее одновременно, по смыслу треугольника, и собственному своему богу. Поэтому он ответил на ее взгляд:

- Я с радостью буду твоим помощником, я положу и подожгу благовония и буду прислуживать тебе во время обряда.

И он положил в курильницу несколько шариков пахучей скипидарной смолы, высек огонь, поджег их и передал ей ручку сосуда. И покуда она услаждала нюх Атума-Ра пряным дымком, он стоял с поднятыми руками и осторожно служил этому терпимому богу, уповая на снисходительное прощенье. А грудь Эни после этого иносказательного поступка трепетала во время всего хозяйственного доклада, который затем последовал...

Такого рода действиями открывала она ему свое желание; но и от слов несчастная тоже уже не удерживалась. Да, ее порыв сообщить любимому именно то, что она так долго старалась скрыть от него хотя бы ценой жизни, стал после наступившего смягчения совершенно неодолим; и так как, кроме того, сновавший взад и вперед Дуду упорно советовал ей и подстрекал ее перевести разговор из трезвой деловой сферы в сферу личную, чтобы раскусить этого злодея и "добиться его падения", - то она все время лихорадочно теребила домоводческую оболочку беседы, фиговый ее листок, чтобы, сбросив его, свести разговор к правде и нагоде "ты" и "я", - не подозревая, какие отталкивающие ассоциации вызывает у Иосифа идея "обнажения": ханаанские ассоциации, велящие остерегаться всего недозволенного, и в том числе всякого рода хмельного бесстыдства, ассоциации, восходящие к тому изначальному месту, где произошла взаимопроникновенная встреча наготы и познания и вследствие этого взаимопроникновения установилось различие между добром и злом. Чуждая таким преданиям и при всем своем чувстве стыда и чести лишенная глубокого пониманья идеи греха, для обозначенья которого в ее лексиконе не было даже словесного знака, и,

прежде всего, совершенно не привыкшая связывать эту идею с наготой, Мут не могла знать, какой древний, унаследованный с кровью ужас перед баалами вызывало обнажение разговора у ее юноши. Как только он пытался прикрыть их беседу одеждой деловитости, Эни снова срывала с нее этот покров, она заставляла его говорить не о делах хозяйства, а о себе самом, о своей жизни, теперешней и предшествующей, расспрашивала его о матери, о которой он уже раньше при ней вспоминал, слушала о ее вошедшей в пословицу миловидности, откуда был только один шаг до его собственной наследственной красоты, которую она, уже не сдерживаясь, сначала с улыбкой упоминала, а потом принималась проникновенно хвалить и страстно расписывать.

- Редко, - говорила она, откинувшись в широком кресле, стоявшем у хвоста львиной шкуры, а голова хищника с зияющей пастью лежала у ног Иосифа, - редко, - отвечала она себе самой, сдерживая в покое свои скрещенные на мягкой скамеечке ноги, - очень редко случается слушать рассказ о ком-либо и, внимая картинному описанию, видеть перед собой образ, благодаря которому описание оживает перед глазами. Мне странно, мне даже удивительно, слушая о них, видеть обращенными на себя глаза этой миловидной, овцы объегнившейся, ласковую ночь этих глаз, которые в дни долгого ожидания целовал твой отец, человек с запада, стирая с них слезы нетерпения своими губами; недаром ты говорил, что походишь на ту, которой он дождался, в такой степени, что она жила в тебе после своей смерти и отец любил вас друг в друге, сына и мать. Ведь ты же глядишь на меня ее глазами, Озарсиф, описывая мне их необыкновенную красоту. А я до сих пор не знала, откуда у тебя эти глаза, покоряющие, как мне говорили, сердца людей на суше и на воде; до сих пор твои глаза были, если можно так выразиться, ни с чем не связаны. И весьма любопытно и приятно, чтобы не сказать утешительно, познакомиться с историей и происхождением того, что так трогает нашу душу.

Не следует удивляться тягостности подобных речей. Влюбленность - это болезнь, хотя и болезнь вроде беременности и родов, то есть болезнь, так сказать, здоровая, но, как и беременность, как и роды, отнюдь не безопасная. Ум женщины помутился, и хотя она, как просвещенная египтянка, выражалась ясно, даже литературно и по-своему разумно, ее способность отличать сносное от несносного сильно уменьшилась и притупилась. Отягощающим или, собственно, извиняющим обстоятельством была при этом ее вольность госпожи, привыкшей говорить что угодно в уверенности, что любое ее слово, по самой природе своей, не может быть неблагородно или безвкусно, - на что в пору здоровья можно было и впрямь положиться. И теперь, не считаясь со своим совершенно новым для нее состоянием, она и его подчинила своей привычной вольности в речах, а из этого ничего приятного не могло выйти. И, разумеется, слушать ее речи Иосифу было неприятно и оскорбительно, причем не только потому, что в них она выдавала себя, но и потому, что он воспринимал их как личную обиду. Дело не в том, что его воспитательный план исцеления, символизируемый свитками счетов, которые он держал под мышкой, рушился, как он видел, все безнадежней и безнадежней. Самым досадным для него была именно та гордая вольность, с которой она распространяла свободоречие госпожи на новые обстоятельства и говорила ему по поводу его глаз двусмысленные любезности, какие обычно говорят влюбленные своим девушкам. Надо заметить, что в женском варианте слова "господин" - то есть в наименовании "госпожа", - всегда повелительно присутствует мужской элемент. Госпожа - это, с физической точки зрения, господин в образе женщины, а с духовной - женщина мужского склада, так что в наименовании "госпожа" всегда налицо известная двойственность, в которой идея мужского начала даже преобладает. С другой стороны, красота - это пассивно-женское качество, поскольку она возбуждает страсть и вселяет в душу того, кто на нее смотрит, такие деятельно-мужские мотивы, как восхищенье, желанье и домогательство, так что и она тоже, только противоположным образом, создает эту двойственность, где в данном случае преобладает уже начало женское. Ну, а в области двойственности Иосиф был, конечно, как у себя дома. Он сжился с представлением, что в Иштар, как и в том, кто

поменялся с ней покрывалом, в овчаре, брате, сыне и муже Таммузе, соединены дева и юноша, так что в сущности Иштар и Таммуз - это четыре, а не два образа. Но если эти воспоминания уводили в далекие и чужие края и если они были только игрой, то совершенно о том же свидетельствовали и факты, относившиеся уже непосредственно к сфере Иосифа, к собственной его действительности. Израиль - имея в виду отцовское религиозное имя в широком его понимании - тоже был девствен в двойном смысле: обрученный со своим господом, как невеста и как жених, он был и мужчиной, и женщиной. А сам он, этот одинокий, этот ревнивый бог? Разве он, двуликий, лицом, обращенным к дневному свету, - мужчина, а другим, что глядело в темноту, женщина, разве он не был сразу и отцом, и матерью мира? Более того, разве не этой двойственностью природы бога в первую очередь и определялась половая двусмысленность отношения к нему Израиля и особенно личное отношение к нему Иосифа, очень невестинское, очень женственное?

Да, да, спору нет, все это так. Но от внимательного читателя, наверно, не ускользнуло, что с некоторых пор чувство собственного достоинства претерпело у Иосифа известные изменения, в силу которых ему было неловко чувствовать себя предметом вожделья и домогательств госпожи, делающей ему комплименты, как мужчина девушке. Это его не устраивало, и естественное возмужанье, явившееся следствием не только его двадцати пяти лет, но и его служебного положения, успеха, с каким он взял под свой надзор и контроль немалую часть хозяйственной жизни Египта, очень легко объясняет, почему это его уже не устраивало. Но слишком легкое объяснение не бывает исчерпывающим; были и другие причины его неловкости; причины эти заключались в таком возмужании мальчика Иосифа, наглядным образом которого могло бы служить пробуждение мертвого Озириса благодаря той самке коршуна, что парила над ним и зачала от него Тора. Следует ли указывать на большое соответствие этого образа подлинным обстоятельствам - тому, например, что Мут, когда она плясала перед Амуном в качестве наложницы бога, надевала диадему с изображением коршуна? Можно ли сомневаться в том, что она, одержимая, сама была причиной возмужанья, притязающего на привилегию вожделья и домогательства и стыдящегося принимать ухаживанья госпожи?

Поэтому в таких случаях Иосиф лишь молча поднимал на нее свои хваленые глаза, а потом переводил их на торчавшие у него под мышкой свитки, позволяя себе спросить, не пора ли, после этого отступления личного характера, вернуться к делам хозяйственным. А Мут, утвержденная в своей неприязни к этим делам подстрекателем Дуду, пропускала вопрос Иосифа мимо ушей и продолжала, как ей того хотелось, выказывать ему свою любовь. Речь идет не о единичном случае, а о многих, очень похожих одна на другую встречах второго года любви. Потеряв голову и не сдерживая себя, она говорила ему восторженные слова не только о его глазах, но и о его росте, о его голосе, о его волосах; при этом она начинала с упоминаний о его миловидной матери и удивлялась преобразующей наследственности, в силу которой преимущества, имевшие там женский облик и склад, перешли к сыну в мужском виде, в мужском звучанье... Что ему была делать? Нужно признать, что он был с ней мил и любезен и добродушно ее увещевал; мы видим, например, как он, чтобы ее отрезвить, прибегает к рассудительным указаниям на бренность того, чем она восхищается.

- Перестань, госпожа, - убеждал он ее, - не говори так! Все эти отличия, которые ты достаиваешь внимания и созерцания, - что с ними будет? Горе одно! Право, нелишне напомнить, - напомнить и себе и каждому, кто радуется подобным вещам, - о том, что все и без того знают, но по слабости готовы забыть: из сколь ничтожного вещества все это состоит, поскольку это вообще состоит в мире, ибо оно так нестойко, что упаси бог! Подумай, что эти волосы выпадут вскоре самым жалким образом, да и эти белые зубы тоже. Эти глаза только студень из крови и воды, они вытекут, да и всему остальному суждено сморщиться и гнусно истлеть. Заметь, я считаю своим долгом не держать про

себя одного эти доводы разума, а предоставить их в твое распоряжение, если ты найдешь, что они тебе пригодятся.

Но она этому не верила, из-за своего состояния она сделалась совершенно невоспитуемой. Впрочем, она не сердилась на него за такое нравоучительное порицание: слишком была она рада, что беседа идет уже не о мавританском просе и тому подобных, угнетающе почтенных вещах, а касается области, в которой она, как женщина, чувствовала себя достаточно сведущей, чтобы ее ноги не порывались бежать.

- Как странно ты говоришь, Озарсиф, - отвечала она, и губы ее ласкали при этом его имя. - Речь твоя жестока и ложна, - и ложна из-за своей жестокости; ибо хотя по разумному своему смыслу она правдива и даже неоспорима, для души и для сердца она ровно ничего не значит, она для них просто-напросто пустой звон. Ведь для них преходящее вещества - не только не лишний довод против восхищения формой, но скорее лишний довод в его пользу, потому что она примешивает к нашему восхищению ту растроганность, какой оно начисто лишено, когда относится к вещественно стойкой красоте меди и камня. К прекрасному живому существу нас влечет несравненно сильнее, чем к устойчивой красоте изображений из мастерских Птаха, и как ты уверишь сердце, что вещество жизни ничтожнее и презреннее, чем стойкое вещество подражания жизни? Никакое сердце никогда этому не поверит и с этим не согласится. Ибо долговечность мертва, и долговечно только мертвое. И если усердные ученики Птаха вставляют в глаза изваяний молнии, чтобы казалось, что эти глаза смотрят, то все равно изваяния не видят тебя, - лишь ты их видишь, - все равно они не отвечают тебе своим бытием, как некое "ты", которое есть некое "я" и подобно тебе. А трогательна только красота тех, кто подобен нам. Кому захочется положить руку на лоб истукану из мастерской и поцеловать его в губы? Вот насколько сильнее и глубже влечение к живому, пусть и недолговечному существу!.. Недолговечность! Почему ты говоришь мне о ней, Озарсиф, зачем увещаешь меня ссылками на нее? Разве для того обходят зал с мумией, чтобы дать знак закончить праздник, поскольку ничто не вечно? Нет, как раз наоборот! Ведь на лбу у нее написано: "Празднуй этот день!"

Хороший, поистине превосходный ответ, - то есть превосходный в своем роде, для беспамятства, которому подкупающим нарядом служит смысленность, сохраненная еще от прежней, здоровой поры. Иосиф только вздохнул и ничего не ответил. Он считал, что сделал все возможное, и решил не настаивать на глубинной, скрытой под внешней оболочкой мерзостности всего плотского поняв, что беспамятство ею пренебрегает, а "душа и сердце" о ней и знать не хотят. У него были и другие заботы, кроме необходимости объяснить госпоже, что либо жизнь, как в случае изваяний, либо красота, как в случае тленного человеческого тела, непременно обманчива и что та правда, где жизнь и красота действительно надежны и неподдельно едины, принадлежит некоему другому укладу, к которому единственно и следует устремляться умом. Например, Иосифу стоило больших трудов отвергать подарки, которыми Мут-эмэнет теперь его осыпала, следуя той извечной и всегда живой тяге влюбленных, что коренится в чувстве зависимости от существа, ставшего для них богом, в инстинкте жертвоприношения, украшающего возвеличения, домогательства с подкупом. Но это не все. Любовный подарок служит и такой цели, как установление принадлежности, наложение запрета, он защищает избранное существо от всего остального охраняемым знаком кабальной зависимости, надевает на него ливрею недоступности для всех прочих. Если ты носишь мой дар, значит, ты мой. Наиболее предпочтительный любовный подарок - это кольцо: тот, кто его дарит, хорошо знает, чего он хочет, и тому, кто его принимает, тоже следует знать, чего от него хотят, и помнить, что любое кольцо является видимым звеном невидимой цепи. И якобы в благодарность за его заслуги и за то, что он посвятил ее в дела дома, Эни со смущенным видом подарила ему очень дорогое кольцо с резным жуком, а со временем и другие драгоценности, вроде золотых запястий, воротников с

самоцветами и даже целых праздничных нарядов прекрасной выделки; вернее сказать, все это она хотела ему "подарить" и время от времени с невинными словами пыталась всучить. А он, почтительно приняв ту или иную вещь, отказывался от остального, сначала в нежных, просительных, а потом и в резких словах. И как раз благодаря этим резким словам ему открылось в его положении нечто знакомое.

Когда он, отклоняя навязываемое ему праздничное платье, довольно резко сказал ей: "Мне хватит моей одежды и моей рубахи", - он сразу узнал, какая у них идет игра. Нечаянно он ответил ей так же, как Гильгамеш, когда его, из-за его красоты, осаждала Иштар и просила: "Ну, что ж, Гильгамеш, стань супругом моим, подари мне плод свой", - просила, суля ему множество роскошных подарков в том случае, если он исполнит ее желание. Такие узнавания в равной мере успокаивают и пугают. "Вот оно снова!" - говорит себе человек, ощущая основательность, мифическую оправданность, не просто действительность, а истинность того, что с ним происходит, - а это означает успокоение. Но он и ужасается, увидев себя лицедеем, вовлеченным в то зрелище, в тот маскарад, где разыгрывается такая-то и такая-то божественная история, и ему кажется, что все это сон, "Так, так, - думал Иосиф, глядя на бедную Мут. - По сути своей ты распутная дочь Ану, только ты, пожалуй, и сама этого не знаешь. Я буду бранить тебя, я припомню тебе многих твоих возлюбленных, которых ты погубила своей любовью, превратив одного в летучую мышь, другого в пеструю птицу, а третьего в дикого пса, так что его, пастуха стада, прогнали его собственные подпаски, а собаки рвали зубами его шерсть. Со мной случилось бы то же, что с ними, - велит мне сказать моя роль. Почему Гильгамеш это сказал, почему он обидел тебя, так что ты в гневе помчалась к Ану и уговорила его выпустить на строптивца огнедышащего небесного быка? Теперь я знаю почему, ибо в нем я вижу себя, а через себя понимаю его. Он сказал это от досады на твои повелительные ухаживания и обернулся перед тобой девой, защитив себя чистотой от твоих подарков и домогательств, Иштар бородатая..."

## О ЧИСТОТЕ ИОСИФА

Покуда мы наблюдаем, как наш Иосиф, читатель камней, соединяет собственные мысли с мыслями своего предшественника, он произносит про себя слово, побуждающее нас приступить к некоему разбору, являющемуся одновременно неким подведением итогов, разбору, который мы, видя в том свой долг перед изящной словесностью, находим наиболее удобным вставить сейчас: слово это - "чистота". Понятие чистоты, целомудрия в ходе тысячелетий прочно слилось с образом Иосифа и дает классически постоянный эпитет к его имени: "целомудренный Иосиф", или даже, как символическое, родовое обозначение: "этакий Иосиф целомудренный" - вот формула милого жеманства, в которой память о нем все еще живет среди людей, отдаленных от его дней такими глубокими пропастями, и, задавшись целью точно и достоверно восстановить его историю, мы не вполне справились бы с этим делом, если бы в надлежащем месте не собрали рассеянных там и сям намеков на то, чем вызывалось и из чего складывалось знаменитое его целомудрие, намеков разнообразных и замысловатых, и не дали убедительного их обзора тому наблюдателю, который, из понятного сочувствия страданиям Мут-эм-энет, посетует на упрямство Иосифа.

Незачем говорить, что о целомудрии не может быть и речи там, где нет дееспособной свободы, то есть в случае номинальных полководцев и увечных служителей Солнца. Что Иосиф был неущербленный, живой человек, - это предполагается само собой. Да мы и знаем, кстати, что в более зрелые годы он, при содействии царя, вступил в брак с египтянкой и что от этого брака у него было двое детей, два мальчика - Ефрем и Манассия (они еще появятся в свое время). Следовательно, в годы зрелости он уже не был целомудрен, целомудрен он был только в юности, идея которой особым образом сливалась у него с идеей целомудрия. Ясно, что девственность (ведь о ней можно

говорить и применительно к молодым мужчинам) Иосиф сохранял только до тех пор, покуда утрата ее была отмечена печатью запретности, печатью искушения, падения. Позднее, когда эта печать с нее, так сказать, спала, он беззаботно утратил девственность, и следовательно, приведенный нами классический эпитет подходил к нему не всю его жизнь, а только временно.

Да не подумают также, что юношеское его целомудрие было целомудрием деревенщины, чурбана в делах любовных - то есть следствием неуклюжести, простоватости, с которой предприимчивый темперамент обычно и связывает представление о целомудрии. Предположение, будто в пикантной области беспокойный любимец Иакова был бесчувственным простофилей, не вяжется с той картиной, что первой, в самом начале, предстала нашему духовному взору, картиной, которую мы наблюдали тревожными глазами отца, когда семнадцатилетний Иосиф сидел у колодца и, охорашиваясь, заигрывал с прекрасной Луной. Знаменитое его целомудрие было отнюдь не следствием его обделенности, наоборот, оно основывалось на том, что мир и его, Иосифа, взаимоотношения с ним были пронизаны духом любви, на вселюбленности, которая тем более заслуживала столь емкого наименования, что не останавливалась у границ земного, а каким-то привкусом, какой-то нежной примесью, какой-то неуловимой, скрытой подоплекой входила в любую, в том числе и в самую трепетную, самую священную сферу. И из того, что она туда входила, из этого-то и вытекало его целомудрие.

На ранних порах мы занимались явлением живой ревности бога в связи с теми недвусмысленно страстными преследованиями, которым, несмотря на успешное взаимоосвящение в союзе с человеческим духом, демон пустыни все еще подвергал объекты идолопоклонства и необузданных в своей пышности чувств, что на собственном опыте испытала Рахиль. Тогда мы заранее сказали: ее отпрыск, Иосиф, поймет, что бог есть бог живой, даже лучше и будет приноравливаться к этой истине податливей, чем Иаков, его целиком подвластный чувствам родитель. Так вот, целомудрие Иосифа было прежде всего выражением этого понимания, этой оглядки. Он, конечно, догадывался, что его страдания и его смерть - какие бы другие, далекие цели с ними ни связывались - были карой за гордое чувство Иакова, это недопустимое подражание божественной избирательности, что они были величайшим актом ревности, направленным против бедного старика. В этом смысле наказание Иосифа относилось только к отцу и было не чем иным, как продолжением наказания Рахили, которую Иаков не переставал любить, - любить в сыне. Но ревность имеет двойной смысл и выразиться может двояко. Можно испытывать ревность к тому или иному лицу по той причине, что человек, на всю полноту чувства которого притязает, слишком равнодушен к нему; а можно ревновать это лицо по той причине, что ты сам остановил на нем свой выбор и не хочешь ни с кем делить его чувство. Третья возможность заключается в наличии и того и другого, а это-то и есть совершенная ревность, и, по существу, Иосиф был не так уж неправ, приписывая своему случаю именно совершенство. По его мнению, он был растерзан и похищен не только и даже не прежде всего для наказания Иакова - или, вернее, похищен с целью такого наказания главным образом \_потому\_, что он, Иосиф, сам был объектом сверхвластного избрания, могущественной алчности, ревнивейшей облюбованности, - был им в том смысле, о котором Иаков, наверно, с тревогой догадывался, но который был весьма далек от его собственной, степенной и еще не доведенной до такого лукавства отцовской любви. Мы вполне отдаем себе отчет в том, что такая идея, что такая окраска отношений между творцом и его творением может показаться странной, даже оскорбительной и при нынешнем взгляде на вещи; ибо нам она так же несвойственна, как и степенному отцовскому разуму. Но она занимает свое место во времени и развитии, и, зная душу человеческую, можно не сомневаться, что многие дошедшие до нас плодотворные диалоги Того, на Кого Нельзя Глядеть (какое бы имя Он ни носил), с его учеником и любимцем, протекавшие под защитой облака, носили чрезвычайно пикантный характер, который иосифовскую точку зрения принципиально

оправдывает, обуславливая ее справедливость разве что личным Его достоинством, о котором мы не станем судить.

"Я храню чистоту" - услышал однажды в саду Адониса маленький Вениамин из уст своего восторженно любимого брата, имевшего в виду и чистоту своего лица, то есть отсутствие бороды, которая разрушила бы особую красоту его семнадцати лет, и свое отношение к миру, заключавшееся и тогда и теперь в воздержанности, не имеющей ничего общего с бесчувственностью. Его воздержанность была не чем иным, как осторожностью, благочестием, религиозной деликатностью, в которых то ужасное насилие, когда были разорваны его венец и его покрывало, могло его только особенно утвердить; и надо сказать, что связанное с этой воздержанностью высокомерие совершенно лишало ее обездоленной мрачности. Речь идет не о печальном и тягостном умерщвлении плоти, в тощем образе которого целомудрие почти неизбежно видится ныне. Что существует веселое, даже шаловливое целомудрие, это и ныне в конечном счете придется признать; и если уж какая-то светлая и смелая духовность расположила Иосифа к такому целомудрию, то блаженство благочестивого невестинского самомнения сделало решительно все, чтобы максимально облегчить ему то, что дается другим с великим трудом. В разговоре с почетной наложницей Ме-эн-Уазехт госпожа, сетуя, упомянула о насмешливости, которая почудилась ей в глазах молодого управляющего, о насмешке над печальными узами страсти, этого позорного для занемогшей недуга. То было довольно верное наблюдение; действительно, из трех зверей, охранявших, по сведениям Иосифа, сад птичницы, "Стыда", "Вины" и "Глумливого Смеха", последний был ему наиболее знаком - но не как пострадавшему, не как жертве этого зверя, что, собственно, и имелось в виду, нет, глумился и смеялся он сам, Иосиф, и ничего, кроме смеха, не находили в его глазах женщины, глядевшие на него с крыш и со стен. Такое отношение к сфере влюбленного сладострастия бесспорно встречается; оно создается сознанием высшей связанности, избранности в любви. А если кто сочтет нечеловечным, преступно-заносчивым видеть чужую страсть в смешном свете, то пусть он знает, что наша повесть приближается к тому часу, когда Иосифу стало совсем не до смеха, и что вторая катастрофа его жизни, новая его гибель, была вызвана именно той силой, которой он, по юношеской своей гордыне, считал ненужным отдавать дань.

Такова была первая причина отказа Иосифа утолить страсть жены Потифара: он был обручен с богом, он проявлял мудрую деликатность, он помнил о той особой боли, которую причиняет предательство одиноким. Второй мотив был тесно связан с первым, он был только его отражением, его, так сказать, повторением в земной, в житейской форме: это была верность, закрепленная союзом с ушедшим на запад Монт-кау, верность Потифару, нежному господину, самому высокому в ближайшем кругу.

Отождествление, озорное смешение безотносительно высшего со сравнительно, то есть для данного места, самым высоким, происходившее в голове Аврамова отпрыска, несомненно, покажется ныне нелепым и даже грубым. Тем не менее с ним придется примириться, чтобы понять, что делалось в этой ранней (хотя, с другой стороны, и поздней) голове, которая предавалась своим мыслям с таким же рассудительным достоинством и спокойствием, с такой же естественностью, как мы своим. А тучный, но благородный сановник Солнца и меланхолически себялюбивый названный супруг Мут представлялся мечтательной этой голове низшим соответствием, телесным повторением неженатого и бездетного, одинокого и ревнивого бога отцов, и хранить ему, Потифару, бережную человеческую верность Иосиф, в силу этого ребяческого смешения и не без соответствующих корыстных мыслей, собирался самым решительным образом. Если прибавить к этому священный обет, который он дал Монт-кау в смертный его час, - из всех сил поддерживать и никогда не посрамлять нежное достоинство господина, - то станет еще понятнее, что почти уже не умалчиваемые желания бедной Мут должны были показаться ему змеиным искушением изведать добро и зло и повторить глупость

Адама... Это было второе.

В качестве третьего достаточно сказать, что пробужденная его мужественность не желала превращаться в пассивную женственность под натиском мужских домогательств госпожи, что она хотела быть не целью, а стрелой страсти, - и все станет ясно. И тут сразу же напрашивается четвертое, так как оно тоже касается гордости, только гордости духовной.

Иосифа страшило то, что олицетворяла в его глазах египтянка Мут и с чем он, гордясь наследственной заповедью чистоты, остерегался смешать свою кровь: старость страны, куда его продали, длительность, которая без обетования, в беспутной неизменности, глядела в дикое, мертвое, ничего не сулящее будущее, делая вид, что сейчас она поднимет лапу и прижмет к груди задумчиво стоящего перед ней сына обета, чтобы он назвал ей свое имя, какого бы пола она ни была. Ибо безнадежная дряхлость была одновременно похотью, жадной до молодой крови, а тем более молодой не только годами, но особенно своей избранностью для будущего. Об этом преимуществе Иосиф, в сущности, никогда не забывал, с тех пор как он, никто и ничто, жалкий мальчишка-раб, прибыл в Египет, и при всей своей прирожденной открытости миру, проявленной им среди детей ила, у которых он положил себе далеко пойти, Иосиф всегда сохранял некую отчужденность, некую сокровенную сдержанность, прекрасно зная, что, по существу, он не должен быть запанибрата с запретным укладом, и прекрасно в общем-то чувствуя, какого он духа дитя и какого отца сын.

Отец! Это было пятое - если не первое, если не самое главное. Он не знал, убитый старик, по печальной привычке считавший свое дитя укрытым смертью, - он не знал, где оно жило и здравствовало, одетое в совершенно чужое платье. Узнай он это, - он упал бы замертво и окоченел от горя - в этом можно было не сомневаться. Думая о третьей из трех стадий, отрешение, возвышение и в конце концов переселение и продолжение рода, Иосиф никогда не скрывал от себя, какое тут придется преодолеть противодействие со стороны Иакова; он знал патетическое предубеждение этого исполненного достоинства старца против "Мицраима", его отечески-детское отвращение к земле Агари, к дурацкой земле Египетской. Добрый старик совершенно неверно толковал название "Кеме", производя его, хотя оно относилось к плодородному чернозему, от надругавшегося над своим же отцом бесстыдника Хама, да и вообще держался самых преувеличенных суждений об ужасной глупости детей Египта в делах нравственных, суждений, которые Иосиф всегда подозревал в односторонности и над которыми, оказавшись в Египте, посмеивался как над сказкой; сладострастие этих детей было ничем не хуже сладострастия прочих смертных, да и откуда взялся бы у этих стонущих от оброков роботов-земледельцев, у этих понукаемых надсмотрщиками водочерпиев, которых Иосиф знал вот уже девять лет, откуда взялся бы у них задор пуститься во все содомские тяжкие? Короче говоря, старик торжественно заблуждался насчет поведения жителей Египта, воображая, будто они живут так, что способны растлить и сыновей бога.

Однако Иосиф отнюдь не закрывал глаза на ту долю справедливости, что была в нравственном отмежевании отца от страны безобразников, поклоняющихся животным и мертвецам, и на память ему теперь не раз приходили те благочестиво-резкие слова, в каких этот озабоченный старик рассказывал ему о людях, которые при желании расстилают свои постели у постелей соседей и меняются женами, о женщинах, которые, увидав на рынке юношу, вызывающего у них вожделение, немедленно ложатся с ним без всякого понятия о грехе. Сфера, откуда черпал эти сомнительные картины отец, была известна Иосифу: это была сфера Канаана и ужасных неистовств тамошнего культа, противного божественному разуму, сфера молеховского беспутства, пенья с пляской, бесчестья и авласавлалакавлы, где, подавая пример и подражая идолам плодородия, люди блудили в праздничном свальном буйстве. Иосиф, сын Иакова, не хотел блудить по

примеру баалов, и это была пятая из семи причин его воздержания. Шестая не заставит себя ждать; только сочувствия ради следует все-таки попутно отметить печальную судьбу, постигшую любовный порыв бедной Мут. Какой, право, нужно быть злосчастной, чтобы тот, с кем она связала позднюю свою надежду, увидел эту надежду в таком превратном, таком мифическом свете и из-за своего отца услышал в зове нежности такие искусительные, такие беспутные призывы, каких в нем почти и вовсе не было; ибо страсть Эни к Иосифу имела мало общего с бааловской глупостью и с авласавлалакавлей, она была глубокой и честной тоской по его красоте и молодости, искреннейшим желанием, она была так же пристойна и непристойна, как всякая страсть, и распутна не более, чем распутна любовь. Если она позднее выродилась и обезумела, то виною тому семикратно обусловленная сдержанность, с которой она столкнулась. Судьбе было угодно, чтобы решающим для любви Эни оказалось не то, чем эта любовь являлась, а то, что она означала для Иосифа, а это и было шестое - "союз с Шеолом".

Это нужно верно понять. Духовное отношение Иосифа к случаю, когда ему хотелось вести себя умно и осторожно, не давая себе поблажек и ничем себе не вредя, определялось не только искусительно-враждебным понятием бааловской околесицы, понятием канаанским; к этой идее, значительно осложняя ее, присоединялось нечто специфически египетское, а именно благоговение перед смертью и мертвецами, которое было, однако, не чем иным, как здешней формой бааловского блуда и носительницей которого, к несчастью для Мут, ему казалась домогающаяся любви госпожа. Трудно представить себе, как много значило для Иосифа древнее предостережение, изначальное "нет", тяготевшее над смешанным понятием смерти и распутства, над идеей союза с преисподней и с жителями преисподней: преступить этот запрет, "согрешить" против него, ошибиться в этом зловещем вопросе значило и в самом деле все погубить. Мы, посвященные и тесно связанные с тем, о чем говорим, хотим заставить вас, далеких, мыслить, как он, хотя такой образ мыслей, как и те серьезные препятствия, которые он создавал Иосифу, наверно, покажется более позднему разуму довольно причудливым. И все-таки это сам разум, добытый отцами разум, противился сейчас бесстыдному неразумию. Не то чтобы Иосиф был совершенно чужд неразумию; тревога, снедавшая дома бедного старика, беспочвенна не была. Но разве не нужно знать толк в грехе, чтобы быть способным на грех? Чтобы согрешить, нужно обладать умом; по существу, ум и дух - это не что иное, как понимание греха.

Бог отцов Иосифа был духовным богом, по крайней мере по той цели своего становления, ради которой он заключил союз с человеком; и, соединив свою волю к освящению с человеческой волей, он никогда не имел дела ни с преисподней, ни со смертью, ни с каким-либо безрассудством, гнездящимся в темной области плодородия. Благодаря человеку он понял, что все это ему отвратительно, а человек, в свою очередь, понял это благодаря ему. Прощаясь на ночь с умирающим Монт-кау, Иосиф делал успокоительную уступку последним его тревогам и утешительно расписывал ему, что будет после этой жизни и как они снова встретятся, чтобы уже никогда не разлучаться, потому что они связаны историями. Но это было дружеской поблажкой тревоге Монт-кау, милосердным вольнодумством, с которым он на миг поступился истинным своим долгом, - тем решительным отказом от каких бы то ни было заглядываний в потустороннее, посредством которого его отцы и их освящавший себя в них бог резко отмежевывались от соседних богов-мертвецов, коченеющих в храмах своих могил. Ибо только путем сравнения можно определить себя и узнать, кто ты, чтобы вполне стать тем, кем тебе положено быть. Таким образом, прославленная чистота Иосифа, будущего отца и супруга, вовсе не была принципиально нетерпимым отрицанием сферы любви и деторождения, которое, кстати, никак не вязалось бы с полученным праотцем обетованием, что его семя умножится, как песок на берегу моря; она была лишь наследственным велением его крови - хранить в этой сфере божественный разум и отстранять от нее рогатую глупость, авласавлалакавлу, составлявшую для него неразрывное психологическое единство с

мертвopоклонством. И беда Мут была в том, что в ее домогательстве он усмотрел искушение этим сплавом разврата и смерти, искушение Шеола, поддаться которому значило бы всегубительно обнажиться.

Вот она, седьмая и последняя причина, - последняя и в том смысле, что она включала в себя все остальные, сводившиеся, по сути, к этому страху, имя ей "обнажение". Мотив этот уже прозвучал, когда Мут пыталась сбросить с беседы фиговый листок делового повода, но сейчас мы вернемся к нему, чтобы увидеть торжественное многообразие его ассоциаций и его далеко идущие следствия.

Странная вещь происходит со смыслом слова, с его значением, когда оно разнообразно преломляется в уме, подобно тому как свет, проходя сквозь облако, разлагается на все цвета радуги. Ведь достаточно одному из этих преломлений связаться со злом, стать проклятием, чтобы такое слово приобрело дурную славу в любом своем значении, сделалось мерзким в любом своем смысле и обозначало только какую-нибудь мерзость, уже осужденное обозначать всякие мерзости. С таким же правом можно хулить невинную ясность небесного света на том основании, что в него входит злосчастный красный цвет, цвет пустыни, цвет северной звезды. Первоначально понятие наготы и обнажения было вполне невинным и светлым, никакой краснотой, никакой хулой тут и не пахло. Но после проклятой истории с Ноем в шатре, истории с Хамом и скверным сыном его Кенааном, оно, так сказать, навсегда пошатнулось, и, став в этом своем преломлении красным и подозрительным, покраснело и само по себе: больше оно уже вообще никуда не годилось, кроме как для обозначения всякой мерзости, тем более что все мерзкое, или почти все, само требовало этого имени и в нем себя узнавало. По тому, как вел себя тогда у колодца озабоченный Иаков, - с тех пор прошло уже без малого девять лет, - когда он строго отчитал сына за наготу, которой тот хотел ответить прекрасной Луне, - по тогдашней его тревоге вполне можно было судить о скверном помрачении такого по существу своему веселого понятия, как оголившийся у колодца мальчик. Обнажение в простом и прямом физическом смысле слова было поначалу так же невинно и нейтрально, как солнечный свет; это понятие покраснело лишь в переносном значении, обозначая бааловское беспутство и смертельно греховное созерцание близкого родственника. Но краснота переносного значения перешла на невинно-прямое, сделав его в силу этого взаимодействия значений настолько красным, что оно стало служить синонимом всякого кровного греха - и действительно совершенного, и совершенного лишь взглядом или желанием, так что "обнажением" в конце концов стали называть все запретное в области чувственности и плотского совокупления, но особенно - причем опять-таки, наверно, в память о надругательстве над Ноем - сыновнюю нескромность по отношению к отцу. А тут следовало уже новое отождествление, новое переосмысление названий, и главной идеей становился уже рувимовский проступок, то есть осквернение сыном отцовского ложа, а все недозволенное, будь то взгляд, желание или действие, ощущалось уже как надругательство над отцом и даже так и называлось.

Вот как представлялось дело Иосифу, и с этим нужно считаться. То, на что подбивал его сфинкс страны мертвецов, виделось ему обнажением собственного отца, - и разве нельзя понять Иосифа, если подумать, каким злом казалась бедному старику Страна Ила и как ужаснулся бы он и встревожился, если б узнал, что дитя его не только не укрыто навеки, но подвергается подобному искушению? На глазах отца, которые, как чувствовал Иосиф, были к нему прикованы, карие, озабоченные, с натруженными прожилками под нижними веками, на его глазах совершить обнажение, забыться, как забылся Рувим, лишенный благословения за свое буйство? С тех пор благословение отошло к Иосифу, так неужели же он, Иосиф, должен был буйно его промотать, пошутив с этим двусмысленным зверем, как некогда с Валлой Рувим? Кто удивится, что внутренний его ответ на этот вопрос был "ни за что!?" Кто, повторяем мы, удивился бы этому, учитывая, как сложна, как богата отождествлениями была для Иосифа мысль об отце, а следовательно, и об оскорбленье

отца? Даже самому резвому, самому податливому в любовных делах человеку - покажется ли даже ему сказочной чья-либо "чистота", если она состояла в продиктованном простейшей набожностью решенье избежать самой грубой, самой опасной для будущего ошибки из всех возможных?..

Таковы были семь причин, по которым Иосиф не хотел, ни за что не хотел последовать зову крови своей госпожи. Собрав их воедино, перечислив и установив важность каждой, мы оглядываем их с известным удовлетворением, каковое, впрочем, если иметь в виду тот час праздника, который мы в настоящее время справляем, совсем неуместно, так как покамест Иосиф еще отнюдь не преодолел искушения, и когда наша история впервые рассказывала себя самое, в этот час было еще очень неясно, выйдет ли он сухим из воды. Он отделался сравнительно еще дешево, так сказать, синяками, - мы это знаем. Но почему он отважился так далеко зайти? Почему не слушался он стрекочущих предостережений чистого своего друга, который уже видел зиявшую перед ним яму, почему водил дружбу с фаллическим коротышкой, который, как сводник, вытряхивал обольстительные слова из уголка своего кошелья? Одним словом, почему он при всем при том не избегал госпожи, а довел дело до того, до чего оно у них, как известно, дошло?.. Да, это было заигрыванье с миром и сочувственное любопытство к запретному; это была, кроме того, известная увлеченность мыслью о своем посмертном имени и о божественном состоянии, которое он в себе усматривал; была тут и доля самоуверенного озорства, убежденность, что, играя с огнем, он успеет отпрянуть, когда придет нужда; была тут, как оборотная, но более похвальная сторона этого, требовательность к себе, честолюбивое желание поставить себя в трудные условия, не давать себе ни малейшей поблажки, чтобы с тем большей честью выдержать испытание, показать высший класс добродетели и быть дороже, чем после более легкой, более осторожной проверки, духу отца... А может быть, это было и тайное знание своего пути и его извилин, догадка, что этот путь должен опять завершить малый свой оборот, а он, Иосиф, должен еще раз угодить в неизбежную яму, чтобы исполнилось то, что предопределено в книге замыслов.

## РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ. ЯМА

### ЗАПИСОЧКИ

Мы видим и сказали, что на третьем году своей одержимости, то есть на десятом пребывания Иосифа в доме царедворца, жена Потифара стала, и притом все неистовей, предлагать сыну Иакова свою любовь. В сущности, разница между "выказывать" второго года и "предлагать" третьего не так уж и велика; "выказывать", собственно, уже содержало в себе "предлагать", граница между тем и другим зыбка. Но она все-таки имеется, и чтобы перешагнуть ее, перейти от простого поклонения и жадных взглядов, которые, правда, тоже означали уже домогательство, к прямому призыву, Эни должна была сделать над собой почти такое же большое усилие, какое потребовалось бы ей, чтобы превозмочь свою слабость и перестать вожделеть к рабу, - но все-таки, видно, немного меньшее; ибо иначе она, несомненно, предпочла бы сделать над собой усилие второго рода.

Она этого не сделала; вместо того чтобы превозмочь свою любовь, она превозмогла свою гордость, свой стыд, что было довольно-таки тяжело, но все же легче, - чуточку легче хотя бы уже потому, что в этом случае она была не так одинока, как была бы, если бы попыталась преодолеть свою страсть; тут она нашла поддержку у чадородного карлика Дуду, который сновал между нею и сыном Иакова и с великим достоинством, ибо мнил себя первым и единственным исполнителем этой роли, играл коварного наперсника, советчика и гонца, изо всех сил раздувая пламя и там и здесь. Что налицо в общем-то два пламени, а не одно, что педагогический план, которым Иосиф пытался объяснить себе, почему он не избегает госпожи, а почти ежедневно является к ней -

чистейшая чепуха, так как на самом деле, зная о том или нет, он давно уже находился в божественном состоянии прорыва пелен, - это Дуду понимал. конечно, не хуже, чем трепетавший от страха маленький Боголюб; ибо в этой области пронизательность и осведомленность Дуду не только не уступала пронизательности и осведомленности его сокарлика, но и превосходила их.

- Управляющий, - говорил он на одном конце своей дороги, - до сих пор ты умел добиваться счастья, это должна признать и зависть, которая мне, кстати, неизвестна. Ты поднялся выше тех, кто был над тобой, несмотря на свое скромное, хоть и несомненно порядочное происхождение. Ты спишь в Особом Покое Доверия и получаешь жалованье, которое некогда получал Усир Монт-кау - зерном и хлебами, пивом, гусями, холстами. Ты не в состоянии все это потребить и сбываешь свое добро на рынке, ты умножаешь свое богатство и слышишь человеком зажиточным. Но как нажито, так и прожито, как заработано, так и промотано - вот что иной раз случается, если человек не бережет своего счастья, не укрепляет его, не подводит под него незыблемых оснований, чтобы оно было таким же вековечным, как храм смерти. Часто бывает, что для увенчания счастья, для его полноты и вечной его нерушимости недостает всего-навсего какой-нибудь мелочи, и человеку достаточно протянуть руку, чтобы ее схватить. Но то ли из страха и нерешительности, то ли по небрежности или даже из чванства, глупец вместо этого прячет руку за пазуху и упрямо не высовывает ее оттуда, чтобы схватить последнее свое счастье, которым он так беззаботно пренебрегает. И каков же итог? А печальный итог тот, что все его счастье, вся его прибыль идут прахом и сравниваются с землей, так что от них и следа не остается из-за его надменности. Ибо она поссорила его с силами, которые хотели содействовать его счастью и увенчать это счастье благой своей милостью, дабы оно было вечным, но которым его пренебрежение настолько обидно, что они бушуют, как море, и взоры их мечут пламя, а сердце их, словно горы Востока, поднимает песчаную бурю; и теперь они не только отворачиваются от счастья глупца, но яростно противятся этому счастью и начисто его разрушают, что не стоит им никакого труда. Ты, я не сомневаюсь, понимаешь, сколь сильно заботит меня, как человека благородного, твое счастье, - не только твое, разумеется, но в такой же мере и особы, на которую мои слова, смею надеяться, недвусмысленно намекают. Но в общем-то это одно и то же: ее счастье - это твое счастье, а твое счастье - это ее счастье; такое слияние давно уже стало чудесной правдой, и дело идет теперь только о том, чтобы сладостно совершить его в действительности. Стоит лишь мне подумать и представить себе, каким наслаждением будет для тебя это слияние, - и у меня, даже у меня, а я человек дюжий, - кружится голова. Я не говорю о наслаждении плотском - во-первых, из целомудрия, а во-вторых, потому, что само собой разумеется, сколь велико оно будет при шелковистой коже и дивном сложении той, кого мы имеем в виду. Нет, я говорю о наслаждении души, которое безмерно усилит плотское наслаждение и возникнет от сознания, что ты, человек безусловно почтенного, но все-таки весьма скромного и притом чужеземного происхождения, заключил в свои объятия прекраснейшую и благороднейшую женщину обеих стран и сумел исторгнуть у нее стоны блаженства, словно бы в знак того, что ты, сын горемычных песков, покорила землю Египетскую, которая под тобой стонет. И чем же ты платишь за это двойное блаженство, где одно придает другому такую неслыханную остроту? Ты за него вообще-ничего не платишь, ибо тебя вдобавок еще и награждают - награждают незыблемым увековечением твоего счастья, - и ты становишься воистину господином, воистину повелителем этого дома. Ибо кто обладает госпожой, - сказал Дуду, - тот истинный господин.

И он поднял ручки, как перед Потифаром, и послал воздушный поцелуй под ноги Иосифу, показывая, что уже заранее целует землю, по которой тот ходит.

Эту наглуго и гнусную речь сводника Иосиф выслушал с отвращением, но все-таки он ее выслушал, и поэтому ему было, в сущности, не к лицу то высокомерие, с каким он

ответил Дуду:

- Я был бы тебе признателен, карлик, если бы ты не давал воли языку и самочинно не излагал мне своих замечательных мыслей, которые не относятся к делу, а исполнял свои обязанности гонца и осведомителя. Если ты хочешь что-либо сообщить или передать мне по высшему поручению, сделай это. А нет - так я был бы признателен тебе, если бы ты удалился.

- Я бы нарушил наш договор, - возразил Дуду, - если бы удалился преждевременно, не выполнив поручения. Ибо я должен тебе кое-что передать и вручить. А немного украсить и пояснить послание собственными словами высокому гонцу и осведомителю, надеюсь, позволено.

- Что же это? - спросил Иосиф.

И тогда гном подал ему что-то, полоску папируса, продолговатую, очень узкую, на которой Мут, госпожа, намалевала несколько слов...

Ибо еще раньше, на другом конце своей дороги, этот хитрец говорил так:

- Заглядывая в твою душу, великая госпожа, твой преданнейший слуга (я имею в виду себя) сетует на медлительность, с какой движутся и продвигаются наши дела, ибо идут они мешкотно и с заминками. А это язвит сердце названного слуги досадной печалью о тебе, госпожа, ибо от этого может пострадать твоя красота. Не то чтобы она, на мой взгляд, уже пострадала - о нет, боги свидетели, она пышно цветет, устоять перед ней поистине невозможно, так что, даже став значительно меньше, она все равно осталась бы ослепительней обычной человеческой красоты. На этот счет все в порядке! Но если не твоя красота, то твоя честь - а тем самым и моя честь - страдает при нынешних обстоятельствах, а проще сказать - оттого, что ты с этим молодым управляющим, который называет себя Узарсифом, но которого я назвал бы "Нефернефру", ибо он, конечно же, "прекраснейший из прекрасных"... Тебе нравится это имя, не правда ли? Я придумал его для твоего пользования, - вернее, не придумал, а подслушал и намотал на ус, чтобы отдать его в твое распоряжение; ибо оно в большом ходу и в доме и на дорогах, будь то на суше или на воде, и в городе, - да, так обычно называют этого юношу и женщины, толпящиеся на крышах и стенах, те самые, против поведения которых ничего мало-мальски существенно покамест не удалось предпринять... Продолжу, однако, хорошо продуманную свою речь! Итак, твой преданный раб казнится тревогой о твоей чести, видя, как медленно приближаешься ты с этим Нефернефру к намеченной цели, которая, как известно, состоит в том, чтобы разгадать тайну его волшебства, добиться его падения и заставить его назвать тебе свое имя. Правда, я добился того, чтобы ты и он, госпожа и раб, приближались друг к другу уже без охраны в виде писцов и горничных и беседовали непринужденно, без докучливых церемоний, с глазу на глаз, где ни случится. Это улучшает наши виды, то есть виды на то, что в один тихий и сладостный час он наконец назовет тебе свое имя и ты изнеможешь от ликования, восторжествовав и над ним, негодяем, и надо всеми, кого сводят с ума его рот и его глаза. Ибо на его рот ты наложишь такую печать, что все его обворожительные речи сразу умолкнут, а его колдовские глаза помутятся от блаженства нанесенного ему тобой поражения. Но беда в том, что этот мальчик не хочет, чтобы ты его победила, не хочет пасть благодаря тебе, его госпоже, а это уже, на мой взгляд, просто мятеж, и такую стыдливость Дуду не побоится назвать бесстыдством. И правда! И в самом деле! Ты хочешь его победить и призываешь его к поражению, ты, дитя Амуна, цветок Южного Гарема, а он, хабирский аму, раб-чужеземец и сын отсталости, он еще упрямится, он еще не хочет того, чего хочешь ты, и прячется от тебя за какими-то дурацкими хозяйственными расчетами? Этого терпеть нельзя. Это бунтарство, это наглое неповиновение богов Азии, данников Амуна, своему

владыке в его капище. Вот как изменила напасть нашего дома свое лицо и свой смысл, состоявший первоначально лишь в возвышении этого раба в доме. Теперь она превратилась в открытый мятеж богов Азии, которые отказываются платить Амуну причитающуюся ему дань поражением этого юноши и твоей, дочери Амуна, победой. До этого и должно было дойти дело. Я об этом заранее предупреждал. Но и с тебя, великая госпожа, если быть справедливым, тоже нельзя снять долю вины в том, что дело это так ужасно застряло на месте. Ведь ты же не продвигаешь его, по девичьей своей деликатности ты позволяешь этому юноше дурачить Амуна, царя богов, всякими увертками и отговорками и сопротивляться его воле из месяца в месяц. И это ужасно. Но объясняется это именно девичьей твоей стыдливостью, недостатком настойчивости и зрелого опыта в подобных делах. Прости твоему надежному слуге это замечание, но откуда тебе и в самом деле взять опыт, которого у тебя нет? Ты должна, не обвиняясь, приказать этому упрямцу явиться и прямо-таки потребовать от него дани и поражения, чтобы он не смог увильнуть. Если девичий стыд мешает тебе сделать это устно, то на свете существует письменность, существуют записочки, которые он, хочет или не хочет, поймет, прочитав, - такого, например, содержания: "Хочешь победить меня сегодня в игре в шашки? Давай поиграем вдвоем!" Такие послания называются записочками, и при всей своей девичьей иносказательности они совершенно ясны. Вели мне подать тебе письменные принадлежности, и ты напишешь то, что я советую написать, а я доставлю твою записку ему и наконец-то ускорю дело во славу Амуна!

Вот как говорил там Дуду, проворный карлик. И действительно, потеряв голову и по девичьи подчинившись авторитету сведущего в этих делах человека, Эни, по его указанию, написала записку, так что теперь, прочитав ее, Иосиф не смог скрыть залившей его лицо краски Атума и, досадуя на этот рефлекс, весьма нелюбезно, без благодарности, прогнал прочь своего письмоносца. Но, несмотря на испуганное стрекотанье, которым другие убеждали Иосифа не принимать этого опасного вызова, он принял его и, играя в шашки вдвоем с госпожой в зале с колоннами, под изваянием Ра-Горахте, один раз загнал ее в "угол", а один раз дал ей загнать в "угол" себя, так что победа и поражение взаимно уничтожились, а итог встречи выразился нулем - к разочарованию Дуду, который увидел, что дело так и не сдвинулось с места.

Поэтому он, не жалея себя, потрудился опять и добился возможности еще раз бросить Иосифу из угла своего кошелька:

- Я должен тебе кое-что передать по особому поручению.

- Что же это? - спросил Иосиф.

И тогда-то карлик протянул ему узкую записку, о которой можно сказать, что она продвинула дело одним ужасным толчком, ибо слово, названное нами словом неведения - названное так потому, что оно не было словом уличной девки, а было словом одержимой - это слово стояло там в чистом и недвусмысленном виде - измененное, впрочем, так, как изменяется на письме все на свете, особенно если это письмо египетское, которым, естественно, пользовалась писавшая и в котором, благодаря затейливой убористости его немых обозначений гласных и повсеместно вкрапленным рисункам, обозначающим класс коротких, как согласные, звуков, всегда есть что-то от волшебного ребуса, от витиеватого полуумолчания, от хитроумного логогрифического маскарада, так что оно как бы и в самом деле создано для любовных записок, и самые откровенные вещи приобретают в нем какое-то замысловатое изящество. Решающим местом послания Мут-эм-энет, его, мы бы сказали, солью, были три иероглифа; им предшествовало несколько других, столь же красивых, а дальше, после этих трех, следовал бегло набросанный контур львиноголовой кровати, на которой лежала мумия. Ребус значил "лежать" или "спать". Ибо на языке Кеме это только одно слово; "лежать" и

"спать" - это на письме Кеме одно и то же; а вся строчка узкой этой записки, подписанной рисунком коршуна, что означало "Мут", говорила совершенно ясно и прямо: "Приди поспать со мной".

Какой документ! Бесценный, достойный уважения, трогательный, хотя и сомнительный, хотя и недобрый, зловещий. Вот оно, в первоначальной своей форме, в подлиннике, в том виде, какой придал ему язык Египта, вот оно перед нами, то слово призыва, которое, согласно преданию, обратила к Иосифу жена Потифара, - обратила сперва в этом письменном облике, обратила под влиянием Дуду, чадородного карлика, по наущению его рта-кошеля. Но если даже мы взволнованы видом этого слова, то как потрясло оно Иосифа, когда он его разобрал! Бледный, испуганный, он сжал листок в кулаке и прогнал Дуду повернутой рукояткой вперед мухогожкой. Но письмо, но сладостное требование, но жадный и заманчивый зов любящей госпожи - письмо это осталось у него, и хотя Иосиф едва ли мог честно ему удивиться, он был настолько ошеломлен, настолько взбудоражен, что, увлекшись текущим часом нашего праздника и не зная исхода этой истории, впору было бы опасаться за стойкость семи противодействующих причин, перечисленных выше. А Иосиф, с которым эта история происходила, когда впервые рассказывала себя самое, он и в самом деле целиком жил текущим часом праздника, ибо никак не мог заглянуть в дальнейшее и ни в коем случае не должен был знать исхода. В том месте, где мы находимся, эта история была на распутье, и в миг, который ее решил, никто не мог поручиться за то, что семь причин и вправду не будут посрамлены и что Иосиф не впадет в грех, - тогда бабушка еще надвое гадала. Спору нет, Иосиф был полон решимости не совершать этой великой ошибки и ни за что не ссориться с богом. Но сморчок Боголюб был прав, усмотрев в том, что его друг наслаждается предоставленной ему свободой выбора между добром и злом, что-то подобное наслаждению самим злом, а не только свободой сотворить зло; а такая неосознанная склонность ко злу, понимаемая лишь как удовольствие по поводу свободы выбора, включает в себя прежде всего другую склонность - закрывать глаза на зло и даже, в некоем помрачении рассудка, предполагать в нем добро. Бог относился к Иосифу так чудесно, - да настроен ли он вообще отказывать ему в этой гордой, в этой сладостной радости, которая представилась юноше, которую он сам, может быть, и предоставил ему? А вдруг эта радость предусмотренное средство того возвышения, ожиданием которого жил похищенный мальчик, возвышения, которое, благодаря его успехам в доме, настолько продвинулось, что теперь госпожа обратила на него взоры и жаждет назвать его вместе со своим сладостным именем имя земли Египетской, сделать его, так сказать, властителем мира? Какой юноша, которому дарит себя любимая, не возомнит себя властителем мира? А разве не именно это, не господство над миром, готовил Иосифу бог?

Вот каким соблазнам был подвержен его к тому же не совсем уже ясный рассудок. Добро и зло вполне готовы были смешаться в его сознании; бывали мгновения, когда его соблазняло истолковать зло как добро, и хотя иероглиф после "лежать" показывал Иосифу, из какого царства шло это искушение и что поддаться ему значило нанести непростительную обиду тому, кто был не мертвым, как мумия, богом ничего не сулящей вечности, а богом будущего, тем не менее у Иосифа были все основания не доверять силе семи причин и ходу будущих часов праздника и не обращать вниманья на маленького своего друга, который шепотом заклинал его не ходить к госпоже, не принимать больше записок у злого куманька и бояться огненного быка, чье дыханье с минуты на минуту испепелит прекрасную ниву. Бесспорно, это было легче сказать, чем сделать, - избегать госпожи, ибо она была госпожа, и если она звала его, он обязан был явиться на зов. Но как радуется человек самой возможности выбрать зло, как упивается он своей свободой выбора, как любит играть с огнем. Он играет с ним не то из самоуверенной храбрости, дерзающей схватить этого быка за рога, не то из легкомыслия и ради тайного удовольствия, - кто разберет!

## БОЛЬНОЙ ЯЗЫК (ИГРА И ПРОИГРЫШ)

Настала ночь на третьем году, когда Мут-эм-энет, жена Потифара, прикусила себе язык, потому что ей неудержимо хотелось сказать молодому управляющему почетного своего супруга то самое, что она уже написала ему в виде ребуса, а в то же время, из гордости и стыда, она запрещала своему языку так говорить с ним и предлагать этому рабу свою кровь, чтобы он успокоил ее. Такое уж противоречие заключала в себе ее роль госпожи, что, с одной стороны, ей было страшно так говорить с ним и предложить ему свою плоть и кровь в обмен на его плоть и его кровь, а с другой стороны, ей положено было это сделать как по-мужски помогающей и, так сказать, бородатой стороне в любви. Поэтому она ночью прикусила себе язык сверху и снизу, так что почти даже прокусила его, и на следующий день, из-за болезненной этой помехи, лепетала, как малое дитя.

В течение нескольких дней после передачи записки она не хотела видеть Иосифа и не показывалась ему на глаза, потому что боялась взглянуть ему в глаза после того, как письменно потребовала его поражения. Но именно лишив себя его близости, она созрела для того, чтобы собственными устами сказать ему то, что было уже сказано волшебными знаками; потребность видеть его рядом с собой обернулась потребностью сказать ему те слова, которых он, раб в любви, не смел говорить, так что узнать, выражают ли они его заветные мысли, она, госпожа, могла не иначе, как сама сказав ему эти слова и предложив свою плоть и свою кровь в страстной надежде, что это соответствует сокровенным его желаниям и что она выскажет его мысли. Ее роль госпожи обрекала ее на бесстыдство; но за него она ночью заранее себя наказала, прикусивши язык, так что теперь она могла все-таки высказаться, насколько это позволяло ее наказание, то есть лепеча, как ребенок, что было даже удобно, ибо придавало предельно откровенным словам какую-то беспомощность и невинность, делая грубое неожиданно трогательным.

Вызвав через Дуду Иосифа для хозяйственной беседы и последующей игры в шашки, она приняла его в салоне Атума среди дня, когда управляющий закончил службу чтеца в Потифаровом зале, через час после трапезы. Она вышла к нему из комнаты, где спала, и когда она подошла к нему, он, пожалуй, впервые, или впервые сознательно, сделал то наблюденье, которое и мы приберегли для этого часа, - а именно - что она очень изменилась за время своей одержимости, а значит, как естественно заключить, из-за нее.

Это была своеобразная перемена, определяя и описывая которую рискуешь поразить читателя и остаться непонятым и которая дала Иосифу, когда он заметил ее, много пищи для удивления и для углубленных раздумий. Ведь жизнь глубока не только в духе, о нет, и в плоти тоже. Не то чтобы Мут постарела за это время; этому не дала случиться любовь. Стала ли она красивее? И да и нет. Скорее - нет. Даже определенно нет, - если понимать красоту как некое счастливое совершенство, вызывающее чистое восхищенье, как великолепный образ, заключить который в объятья значило бы, наверно, изведать небесное счастье, но который совсем не располагает к этому и скорей даже уклоняется от подобной мысли, потому что взывает к ясному уму, к глазу, а не к губам, не к руке - если он вообще к чему-либо на свете взывает. При всей своей чувственной полноте красота в этом случае сохраняет какую-то отвлеченность и духовность: она утверждает самостоятельность идеи, преимущество идеи перед явлением; не она продукт и орудие своего пола, а, наоборот, пол - ее материал и средство. Женская красота может быть красотой, воплощенной в женственности, женственностью как средством выражения красоты. А что, если соотношение духа и материи изменится таким образом, что правильнее будет говорить уже не о женской красоте, а о красивой женственности, потому что первопричиной и главной идеей станет женственность, а красота будет только ее атрибутом? Что, спрашивается, если пол отнесется к красоте как к своему материалу и в ней воплотится, а красота, следовательно, будет служить и казаться

выражением женственности?.. Ясно, что это даст совершенно другой род красоты, чем описанный выше, - сомнительный, жутковатый, подчас даже близкий к уродству, но при этом обладающий притягательностью и обаянием красоты благодаря полу, который водворяется на ее место, заменяет ее и присваивает себе ее имя. Стало быть, это уже не духовно почтенная красота, открывающаяся в женственности, а красота, в которой открывается женственность, проявление пола, ведьмовская красота.

Вот какое страшное слово оказалось необходимым для определения перемены, давно уже происшедшей с телом Мут-эм-энет. Это была перемена одновременно трогательная и волнующая, дурная и умилительная, перемена ведьмовская. Разумеется, при толковании этого слова нужно избегать представления о распутстве - да, повторяем, его нужно избегать, но все-таки лучше не исключать его целиком. Ведьма, конечно, не обязательно распутница. Однако и на самой очаровательной ведьме есть какой-то налет распутства - он неизбежно входит в этот образ. Новое тело Мут было ведьмовским, проникнутым любовью и полом, а значит, в чем-то и распутным телом, хотя этот последний элемент проявлялся разве что в столкновении пышности и худобы его членов. Распутницей чистой воды была, например, черная Табубу, смотрительница помад, со своими похожими на бурдюки грудями. Что же касается Мут, то ее изящно девичья грудь, пышно налившись благодаря страсти, созрела в очень большие плоды любви, тугую ядреность которых можно было назвать распутной единственно из-за ее несоответствия худобе и даже сухощавости хрупких лопаток. Плечи у Эни были нежные, узкие, детски трогательные, а руки утратили полноту и стали чуть ли не тонкими. Совершенно иначе обстояло дело с бедрами, которые, опять-таки в недозволенном, мы бы сказали, несоответствии с верхними конечностями, чрезмерно развились и раздались, раздались настолько, что представление, будто они прижимаются к рукоятке метлы, верхом на которой, сгорбившись и охватив ее слабыми ручками, с торчащими грудями и костлявой спиной, обладательница этих расцветших бедер скачет во весь опор по горам, - что такое, повторяем, представление не только могло сложиться, но и неотвязно напрашивалось. Этому способствовало и лицо Эни, окаймленной черными вьющимися волосами, с вдавленной переносицей и темными тенями щек, лицо, где уже давно царило, но только теперь приобрело полную свою отчетливость противоречие, точно определить которое стало возможно только сейчас: поистине ведьмовское противоречие между строгим, даже угрожающе мрачным выражением глаз и задорной змеистостью углубленного в уголках рта, - это волнующее противоречие, которое, достигнув высшей своей точки, сообщило ее лицу болезненную, личиноподобную напряженность, усиленную, вероятно, жгучей болью прикушенного языка. А одна из причин, по каким она прикусила себе язык, заключалась и на самом деле в том, что она знала, что будет после этого лепетать, как невинный ребенок, и что детский этот лепет может украсить и скрыть отлично известное ей ведьмовство ее нового тела.

Можно представить себе, как потрясен был при виде этой перемены ее виновник. Тогда он впервые понял, как легкомысленно он поступал, пропуская мимо ушей мольбы своего маленького чистого друга и, вместо того чтобы избегать госпожи, позволил ей превратиться из девы-лебедя в ведьму. Он постиг всю нелепость педагогического своего плана, и впервые, может быть, у него мелькнула мысль, что его отношение к этому делу в новой его жизни не менее преступно, чем было некогда его отношение к братьям. Эта мысль, выросшая из смутной догадки в твердое убеждение, объясняет многое из дальнейшего.

А покамест его нечистая совесть и взволнованная его растроганность превращением госпожи в любящую распутницу прятались за той особой, прямо-таки благоговейной почтительностью, с какой он поздоровался и заговорил с ней, волей-неволей продолжая держаться своего преступно нелепого плана и докладывая ей со счетами в руках о потребностях гарема и снабжении его теми или иными припасами, а также об

увольнениях и новых назначениях в составе слуг. Это помешало ему сразу заметить болезненную поврежденность ее языка; она только слушала его с самым напряженным выражением лица и не произносила почти ни слова. Но когда они сели играть за красивый резной столик для игр, на диван из черного дерева и слоновой кости - она, а он на табурет с копытообразными ножками, и, расставив изображавшие лежащих львов шашки, заговорили об игре, он уже не мог не услышать ее лепета - услышать к вящему своему потрясению; и услышав его несколько раз, так что никаких сомнений уже не могло быть, он позволил себе бережно осведомиться:

- Что я слышу, госпожа, возможно ли это? Мне кажется, ты говоришь немного невнятно?

И услышал в ответ, что у госпожи "бо`ит я`ык; она с`учайно п`икусиа его ночью, но пусть уп`авьяющий не об`ащает на это внимания!"

Вот как отвечала она - мы передаем вызванные болью детские пропуски ее речи на своем, а не на ее языке, но и на ее языке они звучали соответственно; не на шутку испугавшись, Иосиф прекратил игру и сказал, что не притронется к шашкам, покамест она не полечит язык, прополоскав рот каким-нибудь снадобьем, изготовить которое нужно тотчас же приказать знахарю Хун-Анупу. Но она и слышать об этом не хотела и насмешливо упрекнула его в том, что он ищет предлога уклониться от партии, которая уже с самого начала сложилась не в его пользу, и, не желая быть загнанным в "угол", хочет спасения ради прервать игру и скрыться у аптекаря. Короче говоря, она удерживала его на месте ломаной детской речью, томительными поддразниваниями; ибо, непроизвольно приспособив к беспомощности своего языка и самую свою манеру беседовать, она говорила во всех отношениях, как малое дитя, и даже пыталась придать своему напряженному, страдальческому лицу выражение глуповатой приятности. Мы не будем подражать дальнейшему ее лепету об иг`е, фафках и уве`тках, чтобы не показалось, будто мы издеваемся над ней, в то время как она, со смертной тяжестью в сердце, готова была пожертвовать всей своей гордостью, всей честью своего духа, уступая желанию обрести взамен этого честь своей плоти во исполненье приснившегося ей некогда сна.

У того, кто внушил ей это желание, было тоже смертельно тяжело на сердце, - и по праву. Он не отваживался поднять глаза от доски и кусал губу, ибо его совесть была против него. Играл он, однако, рассудительно, он не умел иначе, и трудно было бы сказать, кто кем управлял, - он своим разумом или его разум - им. Она тоже делала ходы шашками, поднимала, передвигала их, но все это так рассеянно, что вскоре не только была разбита наголову, но даже не заметила этого и продолжала бессмысленно играть до тех пор, пока его неподвижность не заставила ее опомниться и с напряженной улыбкой взглянуть на путаницу своего проигрыша. Он вздумал облечь это больное мгновение в рассудительные и вежливые слова, возомнив, что вылечит его этим, приведет в порядок, спасет, поэтому он спокойно сказал:

- Придется, госпожа, начать снова, сейчас или в другой раз, ибо этот кон нам не удался - не удался, разумеется, потому, что я неправильно начал, и теперь, как ты видишь, никто не может продвинуться: ты не можешь, потому что я не могу, а я - потому что не можешь ты, - обе стороны проиграли эту партию, так что даже нельзя говорить о победе или пораженье: оба победили, и проиграли оба...

Эти последние слова он сказал уже запинаясь и упавшим голосом, только по инерции, а не потому, что еще надеялся спасти и обсудить положение, ибо тем временем стало уже поздно, ее голова упала лицом на его руку, лежавшую у края шашечницы, ее волосы, в золотой и серебряной пудре, сдвинули покоившихся на доске львов, и руку его обдало горячее дыхание лихорадочной ее речи, пропадающего лепета, который мы, из уважения к ее горю, не станем воспроизводить в болезненной его детскости, но смысл и бессмыслица

которого были таковы:

- Да, да, не будем продолжать, нельзя продолжать, игра проиграна, и обоим нам ничего, кроме поражения, не остается, Озарсиф, прекрасный бог из дальних пределов, мой лебедь и бык, мой горячо, мой свято, мой вечно любимый, умрем же вместе и сойдем в ночь отчаянного блаженства! Скажи, скажи мне, и говори смело, ведь ты же не видишь моего лица, потому что оно лежит на твоей руке, наконец на твоей руке, а мои пропащие губы касаются твоей плоти и крови, они просят, они молят тебя, чтобы ты, не видя моих глаз, честно признался мне, получил ли ты записочку, которую я тебе написала, прежде чем прикусила язык, чтобы не говорить тебе того, что я написала и что я все-таки вынуждена тебе сказать, потому что я твоя госпожа и это моя обязанность - произнести слово, на которое ты не вправе осмелиться по давно уже ничтожной причине. Но я не знаю, хочется ли тебе его сказать, и это горе мое, ибо знай я, что ты, если бы только имел право, сказал бы его от всего сердца, я с великим блаженством сделала бы это вместо тебя и, как госпожа, произнесла бы его сама, хотя и шепотом, хотя и лепеча, хотя и спрятав лицо на твоей руке. Скажи, получил ли ты через карлика письмецо, которое я тебе написала, прочитал ли его? Скажи, ты был рад увидеть мои знаки, ударила ли волною счастья в берег твоей души вся твоя кровь? Любишь ли ты меня, Озарсиф, бог в образе раба, небесный мой сокол, так, как люблю тебя я, люблю уже давно, очень давно, жаждет ли твоя кровь моей так, как я жажду тебя, почему я и написала это письмо после долгой борьбы, обезумев от твоих золотых плеч, от того, что все тебя любят, но прежде всего от божественного твоего взгляда, благодаря которому тело мое изменилось, а груди выросли и стали плодами любви? \_Спи - со мной\_! Подари, подари мне свою молодость и свою прелесть, а я подарю тебе такое блаженство, какого ты и во сне не увидишь, я знаю, что говорю! Сблизим наши головы и наши ноги, чтобы насладиться досыта, чтобы умереть друг в друге, ибо я не вынесу больше жизни врозь!

Так говорила она, забыв обо всем на свете; мы не воспроизвели ее моления в том звучанье, какое придал ему лепет раненого ее языка; каждый слог причинял ей резкую боль, однако она пролепетала все это на его руке одним духом, ибо женщины умеют терпеть всякую боль. Но нужно иметь в виду, нужно представить себе и навсегда отныне запомнить, что слово неведения, скупое слово преданья, она произнесла не здоровыми устами и не как взрослый человек, а в муках боли, на языке маленьких детей, пролепетав: "Пи!" вместо "Спи!" Ибо для того она и прикусила язык, чтобы так вышло.

А Иосиф? Он сидел и перебирал свои семь причин, перебирал их и так и этак. Не станем утверждать, что его кровь не ударяла в берег его души широкими волнами, но преград было семь, и они выдержали. В похвалу ему надо заметить, что он не был с ней слишком строг и не изображал перед ней презрения к ведьме, соблазняющей его поссориться с богом, а был с ней кроток и добр и пытался даже с почтительной любовью утешить ее, хотя в этом, как признает всякий разумный человек, заключалась для него большая опасность; ибо где кончается утешение в подобном случае? Он даже не выпрастывал своей руки, несмотря на влажное тепло шепота и связанные с ним движения губ, которые она ощущала, он не убирал ее оттуда, где она была, покуда Эни не выговорилась, и даже еще немного дольше того, когда сказал:

- Госпожа, бога ради, зачем здесь твое лицо, и что ты говоришь в лихорадке от раны, - опомнись, прошу тебя, ты забыла, кто ты и кто я! Прежде всего - покой твой открыт, подумай об этом; вдруг нас увидит кто-нибудь, карлик ли, полномерный ли домочадец, и подглядит, где находится твоя голова, - прости, я не могу этого допустить, я должен, с твоего позволения, убрать свою руку и позаботиться, чтобы никто снаружи...

Он сделал, как сказал. Но она тоже стремительно поднялась с места, где его руки уже не было, и, выпрямившись, неожиданно полнозвучным голосом, со сверкающими глазами,

прокричала слова, способные показать ему, с кем он имеет дело и чего можно ждать от той, которая только что сокрушенно молила его, а теперь, как львица, занесла лапу и даже перестала вдруг лепетать; при желании, стерпев боль, она могла заставить свой язык повиноваться себе, и поэтому она прокричала исступленно-отчетливо:

- Пусть будет открыта палата, пусть смотрит весь мир на меня и на тебя, которого я люблю! Ты боишься? Так знай же, что я не боюсь ни богов, ни карликов, ни людей, не боюсь, что они увидят меня с тобой, что они застанут нас вместе! Пусть придут, пусть явятся скопом и смотрят на нас! Как ветошь, брошу я к их ногам свою застенчивость и свою стыдливость, ибо для меня они и впрямь жалкая ветошь по сравнению с моей любовью к тебе, с этой самозабвенной мукой моей души! Мне ли страшиться? В моей любви страшна я одна! Я Изида, и кто на нас будет смотреть, к тому я отвернусь от тебя и брошу на него такой страшный взгляд, что он погибнет на месте!

Вот что с яростью львицы вскричала Мут, не обращая никакого внимания на свою рану и на боль, которую у нее вызывало каждое с усилием произносимое слово. А он задернул занавески между колоннами и сказал:

- Позволь мне принять меры осторожности ради тебя, ибо мне дано предвидеть, что случилось бы, если бы нас выследили, и то, что ты хочешь бросить миру, для меня свято. А мир этого не стоит, он не стоит даже того, чтобы умереть от гнева твоего взгляда.

Но когда он, задернув занавески, снова подошел к ней в сумраке комнаты, она была уже не львицей, а снова картавым ребенком, ребенком, однако, как змея хитрым, и, извращая смысл его поступка, пролепетала самым обворожительным голосом:

- Ты затем запер нас, злодей, и укрыл тенью от мира, чтобы он уже не мог защитить меня от твоей недоброты? Ах, Озарсиф, какой ты недобрый, слов нет, чтобы сказать, что ты со мной сделал, ты изменил мое тело и мою душу настолько, что я уже и сама перестала себя узнавать! Что бы сказала твоя мать, узнай она, что делаешь ты с людьми и до чего ты доводишь их, если они перестают себя узнавать? Неужели и мой сын был бы таким прекрасным и таким злым, и должна ли я видеть его в тебе, моего злого, моего прекрасного сына, солнечного мальчика, которого я родила и который в полдень прижимается головой и ногами к голове и ногам собственной матери, чтобы с нею породить себя снова? Озарсиф, любишь ли ты меня и на небе, и на земле? Описала ли я и твою душу, написав записку, которую послала тебе, и содрогнулся ли ты, когда ее читал, как содрогалась от бесконечного восторга и от бесконечного стыда я, когда писала ее? Когда ты обольщаешь меня своими устами, называя меня повелительницей твоей головы и твоего сердца, - как это понимать? Ты говоришь это, потому что так полагается, или в душевном пылу? Признайся мне в сумраке! После стольких ночей мучительных сомнений, когда я одиноко лежала без тебя, а моя кровь беспомощно взывала к тебе, ты должен спасти меня, мое спасенье, ты должен избавить меня от муки, признавшись, что ты для того говорил языком красивой лжи, чтобы тем самым сказать мне правду, сказать, что ты любишь меня!

\_Иосиф\_. Благородная госпожа, все не так... Нет, все так, как ты говоришь, только пощади себя, если ты действительно милостива ко мне, пощади себя и меня, если я смею просить, ибо у меня разрывается сердце, когда ты заставляешь больной свой язык говорить, вместо того чтобы успокоить его бальзамом, - и говорить такие жестокие слова! Как же мне не любить тебя, тебя, мою госпожу? Коленопреклоненно люблю я тебя и молю тебя на коленях не быть жестокой, не различать в моей любви к тебе смирения и пылкости, кротости и сладостности, а милостиво предоставить самим себе ее слагаемые, образующие нежное и драгоценное целое, которое нельзя расчленять и расщеплять в исследовательской жестокости, ибо его жаль! Нет, погоди, дай мне сказать тебе... Если ты

так любишь слушать, когда я рассказываю тебе о том или ином деле, соблаговоли выслушать меня и по этому поводу! Хороший раб любит своего господина, если тот хоть сколько-нибудь благороден, это в порядке вещей. Но если имя господина превращается в имя госпожи и милой женщины, то такая перемена придает ему прелесть и очарование, и тогда любовь раба тоже проникается этой прелестью и становится тем сладостным смирением, той благоговейной нежностью, которые и зовутся "пылом", и горе тому жестокому, кто оскорбит ее дотошным разбором и недоброжелательным взглядом - да будет он проклят! Если я называю тебя повелительницей моей головы и моего сердца, то, разумеется, потому, что этого требует обычай, так полагается, таков порядок. Но приятен ли мне такой порядок, счастливы ли моя голова и мое сердце, что так полагается, - это дело тонкое, об этом молчат, это тайна. Милостиво ли и мудро ли ты поступаешь, нескромно спрашивая меня, какой смысл вкладываю я в эти слова, и оставляя мне только выбор между ложью и грехом при ответе? Это неверный и жестокий выбор, я отвергаю его! Я прошу тебя на коленях явить доброту, оказать милость жизни сердца!

\_Госпожа\_. О Озарсиф, ты ужасен в своем красноречии, которое подчиняет тебе людей, заставляя их видеть в тебе бога, но которое убивает меня своей находчивостью! Страшное это божество - находчивость, дитя остроумия и красоты, - губительно обольстительное для сердца, которое любит в тоске! Ты назвал нескромным искренний мой вопрос, но как нескромен ты в красноречивом своем ответе! Красота должна была бы молчать, ради сердца она не должна была бы говорить, вокруг нее должно было бы царить молчанье, как возле священной могилы в Абоду, ибо любовь, как и смерть, хочет молчанья, да, в молчанье их сходство, и слова оскорбляют их. Ты требуешь мудрой бережности к жизни сердца, выступая как бы от его имени против меня и дотошных моих расщеплений. Но это извращение истины, ибо именно я, пытливо исследуя эту жизнь, борюсь за нее в своей беде! Что мне еще остается делать, любимый, чем мне еще помочь себе? Я тебе госпожа, мой господин и спаситель, которого я жажду, и я не могу щадить твоего сердца, не могу предоставить твою любовь самой себе, жалея ее. Я должна прикоснуться к ней с пытливой жестокостью, как прикасается к нежной деве, которая не знает самой себя, бородатый мужчина, я должна исторгнуть из ее смирения страсть, а из ее кротости пыл, чтобы она осмелилась стать самой собой и прониклась мыслью, чтобы ты спал возле меня, ибо в этом заключены все блага мира, ибо это вопрос блаженства или адской муки. Для меня стало адской мукой то, что наши тела не соединены в одно целое, и стоит тебе заговорить о своих коленях, на которых ты меня просишь не знаю о чем, меня охватывает несказанная ревность, оттого что твои колени принадлежат только тебе, а не мне тоже. Я хочу, чтобы они были рядом со мной, чтобы ты спал со мной, иначе я умру, я погибну!

\_Иосиф\_. Милое дитя, это невозможно, образумься, если твой раб волен тебя просить, не цепляйся за эту идею, ибо она, право, недобрая! Ты придаешь слишком большой, болезненно большой вес этому делу, смешению праха с прахом: в какой-то миг оно, может быть, и приятно, но чтобы оно уравновешивало скверные свои последствия и все муки раскаянья, этого никак нельзя сказать, это тебе только так кажется, покуда дело не сделано, и кажется в лихорадке беспамятства. Право же, это нехорошо и никому не может понравиться, что ты прикасаешься ко мне самым бородатым образом и, будучи госпожой, домогаешься наслажденья моей любовью; в этом есть некая мерзость, нечто недопустимое в наши дни. Ведь мое рабство не такое уж давнее, я и сам способен проникнуться мыслью, на которую ты меня наводишь, - еще как способен, уверяю тебя, только осуществить ее нам нельзя, и нельзя больше чем по одной причине, гораздо больше, чем по одной, по целой куче причин, подобной скоплению звезд в созвездье Тельца. Пойми меня верно - я не должен откусывать от заманчивого яблока, которое ты мне протягиваешь, иначе мы вкусим преступленье и все испортим. Поэтому я не молчу, а, поступаясь скромностью, говорю, и ты не суди меня за это строго, дитя мое; ведь я не вправе молчать с тобой и вынужден говорить и находить слова утешения, потому что

самое для меня важное - это утешить тебя, дорогая моя госпожа.

\_Госпожа\_. Слишком поздно, Озарсиф, ты опоздал, опоздали мы оба! Ты уже не можешь идти на попятный, и я не могу, мы уже спаяны. Разве ты уже не завесил комнату, не запер нас в сумраке от всего мира, разве мы уже не стали четой? Разве ты не говоришь уже "мы" и "нас", "нас могут увидеть", связывая нас в сладостном единстве этими чудесными словечками, составляющими шифр всех блаженств, которые я тебе предлагаю и которые уже достигли в них своей полноты? Никакое свершенье не прибавит ничего нового, после того как произнесено слово "мы", ибо у нас уже есть общая тайна от мира и мы уже отделены от него этой тайной, и нам уже ничего другого не остается, как ее совершить...

\_Иосиф\_. Нет, послушай, дитя, это несправедливо, ты все искажаешь, я должен тебе возразить! Твое самозабвение заставило меня закрыть эту комнату ради твоей чести, чтобы со двора не увидели, где твоя голова, - и теперь ты изображаешь дело так, будто уже все безразлично и все как бы уже состоялось, потому что у нас есть общая тайна и нам пришлось укрыться за занавеской? Это совершенно несправедливо, ибо у меня нет никакой тайны, я только прикрываю твою; только в этом смысле и можно говорить "мы" и "нас", а больше ничего не случилось, да и не должно случиться в будущем - на то есть куча, целое звездное скопление причин.

\_Госпожа\_. Озарсиф, прекрасный мой лжец! Ты пытаешься отрицать нашу общность и нашу тайну, после того как только что сам признался мне, что уже по собственному почину проникся мыслью, на которую я, домогаясь твоей любви, тебя навожу? И по-твоему, злодей, у тебя нет со мной тайны от мира? Разве ты не думаешь обо мне так же, как я о тебе? Но как бы ты еще стал думать обо мне и о моей близости, если бы знал, какая радость ожидает тебя в объятиях небесной богини, золотой и солнечный мальчик! Так позволь же мне сказать тебе на ухо, сообщить тебе втайне от мира, в глубоком сумраке, что тебя ждет! Я никогда не любила и никогда не принимала в свое лоно мужчины, я не истратила ни крупички из сокровищ своей любви и своих утех, все эти сокровища сохранены целиком только тебе, и они будут у тебя в таком обилие, какое и присниться не может. Слушай, что я шепчу тебе: для тебя, Озарсиф, изменилось мое тело, оно стало от макушки до пяток телом любви, а если ты будешь со мной и подаришь мне свою юность и свое великолепие, тебе покажется, что ты обнимаешь не просто земную женщину, ты изведешь, поверь моего слову, радость богов, соединяющихся с матерью, женой и сестрой, ибо я твоя мать, жена и сестра! Я масло, которое ждет твоей соли, чтобы вспыхнул светильник на ночном празднике. Я нива, которая в жажде зовет тебя, чтобы ты обрушил на нее свое мужество, плодородный поток, бык своей матери, чтобы ты затопил ее и соединился со мной, прежде чем ты покинешь меня, прекрасный бог, забыв у меня венки из лотосов на влажной земле! Слушай, слушай, что я шепчу тебе! Ведь каждым своим словом я все глубже втягиваю тебя в нашу общую тайну, и ты давно уже не можешь из нее выбраться, а если уж мы соединены этой величайшей тайной, тебе нет смысла отказываться от моего предложенья...

\_Иосиф\_. Нет, милое дитя! - прости, я называю тебя так потому, что нас действительно связало тайной твое умопомраченье, из-за которого мне и пришлось закрыть эту комнату, но все равно, мой отказ от того, что ты так заманчиво мне предлагаешь, сохраняет свой смысл, свой семижды обоснованный смысл, ибо ты тянешь меня в болото, где растет разве что пустопорожний камыш, но только не хлеб! Ты хочешь превратить меня в осла прелюбодеяния, а из самой себя сделать блудливую суку, - как же мне не защищать тебя от тебя же, как не оберегать себя самого от такого гнусного превращения? Понимаешь ли ты, что случилось бы с нами, если бы мы пошли на это преступление и оно пало на нашу голову? Неужели я должен допустить, чтобы тебя задушили, а твое тело, тело любви, бросили на съедение собакам или чтобы тебе отрезали нос? Нет, этого и представить себе нельзя. А уделом осла были бы

нескончаемые побои, тысячи палочных ударов в наказание за его глупое непотребство, если бы его вообще не отдали крокодилу. Вот какие вразумления грозили бы нам, окажись мы во власти злодеяния.

\_Госпожа\_. Ах, трусишка, если бы ты вообразил, сколько накопленной радости сулит тебе моя близость, ты бы не думал ни о чем другом и смеялся над любым возможным наказанием, которое, каково бы оно ни было, все равно не шло бы ни в какое сравнение с утехами, что ждут тебя со мной!

- Вот видишь, - сказал он, - дорогая подруга, до чего доводит тебя твое умопомрачение: оно временно ставит тебя ниже уровня человека; ибо преимущество, ибо почетный дар человека в том-то как раз и состоит, что он думает не только о текущем мгновенье, а задумывается и о будущем. К тому же я совсем не боюсь...

Они стояли посреди затемненной комнаты вплотную друг к другу и говорили тихо, но горячо, как люди, спорящие о чем-то очень важном, с поднятыми бровями и взволнованными, раскрасневшимися лицами.

- К тому же я совсем не боюсь, - сказал он с жаром, - никаких наказаний, которые могут постигнуть тебя и меня, это пустяки. Боюсь я Петепра, нашего господина, его самого, а не его наказаний, как боятся бога не из-за того зла, которое он может тебе причинить, а ради него самого, из страха божьего. От Петепра идет весь мой свет, и всем, чего я достиг в этом доме и в этой земле, я обязан ему, - как же смогу я, даже не опасаясь, что он накажет меня, подойти к нему и взглянуть в его кроткие глаза, после того как я спал с тобой? Выслушай меня, Эни, и во имя бога вникни разумом в то, что я сейчас скажу, ибо мои слова сохранятся во времени, и когда наша история сложится, когда она появится на устах у людей, эти слова будут повторять. Ведь все, что происходит на свете, может стать историей и прекраснословной беседой, и мы вполне можем оказаться в истории. Поэтому и ты берегись, и ты пожалей свое сказанье, чтобы не стать в нем пугалом и прародительницей греха! Я мог бы говорить много и сложно, возражая тебе и собственному своему желанию; но для уст людей, если этому суждено оказаться у них на устах, я скажу тебе самое важное и самое простое, понятное любому ребенку, и скажу так: "\_Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?\_" Вот слова, которые я скажу тебе на будущее, противясь желанию, что влечет нас друг к другу. Ведь мы не одни на свете, чтобы просто насладиться кровью и плотью, тебе - моей, а мне - твоей, нет, есть еще Петепра, великий и одинокий наш господин; мы должны любовно служить его душе и не имеем права обидеть его таким поступком, надругавшись над его нежной честью и нарушив наш договор. Петепра - препятствие нашему блаженству, и точка.

- Озарсиф, - пролепетала она шепотом, прижавшись к нему и приготовившись что-то предложить. - Озарсиф, любимый мой, который давно уже связан со мною тайной, послушай меня и пойми свою Эни... Ведь я же могу его...

Это был миг, когда наконец и вправду отчетливо выяснилось, почему, собственно, и зачем Мут-эм-энет прикусила себе язык и какому давно готовому ответу хотела она придать трогательную беспомощность и болезненное очарование этим ранением: не прежде всего и не в конечном счете зову своего тела, - а если и прежде всего, то уж никак не в конечном счете ему, ибо конечным и главным поводом ранить себя и картавить, как малый ребенок, было то предложение сделки, которое она в этот миг совершила, когда, держа на плече Иосифа свою прекрасную, как произведение искусства, в пестрых кольцах и с синими жилками руку и прижавшись к этой руке щекой, пролепетала очаровательно выпяченными губами:

- Ведь я же могу его уметь.

Он отпрянул назад, ибо это было слишком страшно в столь милых устах, и он никогда бы до этого не додумался и никак не ожидал этого от нее, хотя уже недавно видел, как львица заносит лапу, и слышал, как она грозно рычит: "Страшна я одна!"

- Ведь мы, - вкрадчиво говорила она, ластясь к отстранившемуся Иосифу, - мы можем его уметь и убить с догадки, что тут, мой сокол, такого уж сложного? Тут нет решительно ничего сложного, ведь стоит мне глазом моргнуть, и Табубу тотчас же приготовит мне прозрачный отвар или добудет кристаллики таинственной силы, а я передам их тебе, чтобы ты подсыпал их в вино, которое он пьет, чтобы согреть свою плоть, но когда он выпьет его, он, наоборот, охладится, однако благодаря искусству негритянских умельцев никто ничего не заметит, и его переправят на запад, и тогда его больше уже не будет на свете, и нашему блаженству он уже не сможет мешать. Позволь мне это сделать, любимый, и не противься такой невинной уловке! Разве его плоть не мертва и при жизни, разве она хоть на что-то годится, разве она не растет никому не нужной громадой? Как ненавижу я вялую его плоть, с тех пор как любовь к тебе разрывает мое сердце и моя собственная плоть стала телом любви, - я не могу этого сказать, об этом я могу только кричать. Поэтому, милый Озарсиф, давай охладим его, тут нет ровным счетом ничего сложного. Разве тебе трудно сшибить палкой какой-нибудь противный гриб, какой-нибудь трухлявый дождевик или поганку? Это даже не поступок, это просто небрежное движение руки... А когда он ляжет в могилу, когда в доме его не станет, мы будем свободны, мы будем блаженными телами любви, ни от чего не зависящими, ничем не связанными, которые могут, ни о чем не думая и не боясь никаких последствий, сомкнуть объятия, прикинуть устами к устами. Ты был прав, мой божественный мальчик, когда сказал, что он помеха нашему блаженству и что мы не должны обижать его нашим счастьем, - я одобряю твои сомнения. Но именно поэтому ты должен признать, что его нужно охладить и устранить, чтобы покончить с твоими сомнениями и не обижать его нашими объятиями! Неузели ты не понимаешь этого, мой маленький? Представь себе только, каково будет наше счастье, когда этой поганки не станет, когда мы останемся одни в доме, а ты, такой молодой, будешь его господином. Ты будешь им потому, что я госпожа, ибо господин тот, кто спит с госпожой. И ночью мы будем пить блаженство, а днем мы будем лежать рядом на пурпурных пуховиках, вдыхая аромат нарда, и украшенные венками девочки и мальчики будут услаждать нас изящными телодвижениями и звуками струн, а мы, глядя на них и слушая их, будем предаваться своим мечтам, - мечтам о той ночи, которая была, и о той, которая будет. Ибо я подам тебе чашу, из которой мы будем пить, прикасаясь губами к одному и тому же месту ее золотого края, и покуда мы будем пить, наши глаза, встретившись, скажут друг другу о той радости, которую мы вкусили минувшей ночью, и о той, которую отложили до предстоящей ночи, а наши ноги сплетутся...

- Нет, выслушай же меня, Мут-в-Пустыне! - сказал он после этих слов. Заклинаю тебя... Обычно это только так говорится: "Заклинаю тебя", но сейчас это и в самом деле необходимо, тебя действительно приходится заклинать, вернее, не тебя, а демона, говорящего твоими устами, демона, который явно вселился в тебя! Не очень-то, надо сказать, жалеешь ты свое сказанье, превращая себя на будущее в блудницу, заслуживающую имени "прародительница греха". Так подумай хотя бы, что, может быть, и даже вероятней всего, мы с тобой будем в одной истории, и возьми себя в руки! Мне тоже, знаешь ли, приходится держать себя в руках, чтобы устоять против твоего сладостного натиска, хотя мне это облегчает тот ужас, который вызывает у меня безумное твое предложение убить Петепра, моего господина и твоего почетного мужа. Это же отвратительно! Не хватало еще, чтобы ты сказала, что мы связаны тайной по той причине, что ты вовлекла меня в эту мысль, сделала ее, увы, и моей мыслью. Но о том, чтобы твоя мысль мыслью и осталась, о том, чтобы мы не сотворили подобной истории, -

об этом уж я позабочусь. Милая Мут! Мне совсем не нравится та жизнь с тобой в этом доме, которую ты мне сулишь после того, как мы избавимся от его господина, чтобы наслаждаться друг другом. Стоит мне только представить себе, что я живу с тобой в доме убийства твоим любовным рабом, а в господина произведен потому, что сплю с госпожой, - и я уже презираю себя. Может быть, мне и вовсе надеть женское платье из виссона, и ты еженощно будешь вызывать для своих постельных утех новоиспеченного господина, который убил с тобою отца, чтобы спать с матерью? Ведь именно так бы и получилось, по-моему: Потифар, мой господин, мне как отец, и если бы я жил с тобой в доме убийства, мне казалось бы, что я сплю с собственной матерью. Поэтому, доброе мое и дорогое дитя, заклинаю тебя самым дружеским образом утешиться и не требовать от меня такого великого зла!

- Глупец! Глупец и ребенок! - отвечала она певучим голосом. - Как ребячливы твои возраженья, как полны они страха перед любовью, страха, который я, госпожа-домогательница, должна сломить! Каждый спит с матерью разве ты этого не знаешь? Женщина - мать вселенной, мужчина - ее сын, и каждый мужчина зачинает плод в утробе собственной матери - неужели я должна тебе излагать азы? Я Изида, великая мать, я ношу диадему с коршуном! Мут - это мое материнское имя, и ты, прекрасный мой сын, назовешь мне свое, назовешь его сладостной, чадородной ночью вселенной...

- Нет, нет, это не так! - порывисто возразил Иосиф. - Твои сужденья и твои слова неверны, - я должен исправить твою ошибку! Отец вселенной - не сын матери, и господь он не благодаря госпоже. Ему я принадлежу, перед ним хожу я, и говорю тебе раз навсегда: я не совершу перед богом, перед господом, которому принадлежу, такого греха, я не обещаю и не убью отца, чтобы совокупиться с матерью, как бесстыжий гиппопотам... А теперь, дитя мое, я уйду. Милая госпожа, позволь мне удалиться. Я не оставлю тебя в твоём умопомрачении, конечно, нет. Я буду утешать тебя словами и всячески успокаивать, ибо это мой долг перед тобой. Только сейчас я должен покинуть тебя, чтобы присмотреть за домом моего господина.

Он отошел от нее. Она еще прокричала вдогонку ему:

- Ты думаешь, ты уйдешь от меня? Ты воображаешь, что мы ускользнем друг от друга? Я знаю, я уже знаю о твоём ревнивом боге, с которым ты обручен и венец которого носишь! Но я не боюсь этого чужого бога, я порву твой венок, из чего бы он ни был, и увенчаю тебя взамен плющом и вьющимся виноградом ради материнского праздника нашей любви! Останься, любимый! Останься, прекраснейший из прекрасных, останься, Озарсиф, останься!

И она упала и заплакала.

Он раздвинул руками занавески и быстро пошел своей дорогой. А в складках занавеса, когда Иосиф, выходя, отстранил его вправо и влево, закуталось по карлику с каждой стороны: одного звали Дуду, другого маленький Боголюб-Шепсес-Бес; ибо они встретились здесь, подкравшись с обеих сторон, и, стоя рядом у щели, одна ручка на коленке, а другая возле уха, старательно слушали, один по зловредности, другой - из трепетного страха; время от времени они скрежетали зубами и грозили кулачками, прогоняя друг друга, что изрядно мешало им слушать, однако не уступал ни тот, ни другой.

Теперь, выпрастываясь из складок за спиной Иосифа, они шипели друг на друга с поднятыми к вискам кулачками и насккивали один на другого в глухой ярости, ибо люто ненавидели друг друга из-за общей карличьей доли и несходства природы.

- Чего ты здесь ищешь, - шипел один, супруг Цесет Дуду, - что ты потерял здесь, уродец, козявка, сморчок-паучок! Зачем ты пробрался к щели, где по праву положено быть мне одному, почему не уходишь с этого места, хотя я велю тебе убраться отсюда, гнусный головастик, несчастный шут! Я тебя так отлуплю, что ты навсегда здесь останешься, недоносок, ублюдок, бессильное насекомое! Он явился сюда подслушивать и подглядывать, этот дурак набитый, он стоит здесь на страже ради своего господина и полномерного друга, ради этого красавчика, этого исчадья камыша, этого заваливающего раба, которого ввел в дом, чтобы тот надругался над домом и возвысился в нем на позор странам, а теперь еще, в довершение всего, превратил нашу госпожу в потаскуху...

- Ах ты прохвост, ах ты прощелыга, ах ты хитрая гадина! - стрекотал другой, с испещренной тысячами морщинок ярости мордочкой и съехавшей набок душицей на голове. - Кто здесь подглядывает и подслушивает, чтобы выведать то, что сам же дьявольски и разжег своими записочками, кто, притаившись у этой щели, наслаждается горем и мукой полномерных людей, которые должны погибнуть по его гнусному замыслу, - кто, как не ты, чванный мерзавец, хвостун и гордец? Ну и ну, ай, ай, ай! Чучело ты садовое, попрыгун, шут гороховый, у которого все как у карлика, и только одно как у великана, - ходячая снасть мужская, бабник паршивый...

- Погоди! - с бранью ответил тот. - Погоди, дыра и пустое место, пробел и нехватка, никчемный мозгляк! Если ты сейчас же не уберешься отсюда, где Дуду бдительно бережет честь дома, то я здесь же обещаю тебя своим мужским оружием, и ты попомнишь меня, жалкая мразь! Но какой еще срам тебя ждет, если я сейчас схожу к Петепра и сообщу ему, какие дела творятся здесь в сумраке и какие слова нашептывает управляющий госпоже в завешенной комнате, - это статья особая, и скоро ты это узнаешь! Ведь не кто иной, как ты ввел его в дом, этого бездельника, прожужжав уши покойному управляющему своей болтовней о карличьей мудрости, ведь это же ты расхваливал ему свой наметанный глаз на людей и товары в виде людей, покуда он, вопреки моим предостережениям, не купил у этих барахольщиков их барахло и не пристроил этого подлеца в доме, чтобы тот надругался над госпожой и наставил рога великому сановнику фараона. Ты виноват в этом свинстве, ты первый, ты прежде всего! Ты заслуживаешь того, чтобы тобой угостили крокодила, и тебя действительно швырнут ему на закуску, чтобы он заел тобой твоего закадычного друга, которого отдадут ему, предварительно избив и связав.

- Ах ты поганый язык, - заверещал маленький Боголюб, дрожа и морщась от ярости, - ах ты грязная пасть, чьи речи - это злобное непотребство, идущее не от разума, а из некоего другого места! Посмей только тронуть меня, попробуй только обесчестить меня, бедного коротышку, и мои ногти вцепятся в гнусную твою рожу и выцарапают тебе глаза, ибо они остры и человек непорочный тоже небезоружен перед разбойником... Это я-то, малыш, виновен в беде, которая там стряслась! Виновата в ней эта недобрая, эта жадная тягость, знанием которой ты так кичишься и которую ты дьявольски поставил на службу своей зависти и ненависти, чтобы она стала западней для моего друга, для Озарсифа. Но разве ты не видишь, блудливый мышонок, что тебе это не удалось, что под моего красавца не подкопаешься? Уж если ты подглядывал, неужели ты проглядел, что он был стоек как новопосвященный участник таинств, и охранял свое сказанье, как настоящий герой? Что мог ты вообще увидеть у щели, что мог ты вообще подслушать своими ушами, если ты начисто лишен карличьей тонкости и твое чутье совершенно погублено твоей петушиностью? Хотел бы я знать, что ты хочешь и что можешь ты донести господину по поводу Озарсифа, если ковши твоих глухих ушей не зачерпнули, подслушивая, ничего путного...

- Хо-хо! - воскликнул Дуду. - Уж с тобой, хлюпик ты слабосильный, супруг Цесет как-нибудь потягается в тонкости и остроте слуха, а тем более если речь идет о деле, на котором он

собаку съел и в котором ты ни шиша не смыслишь, стрекочущее ничтожество! Разве она не ворковала и не миловалась, эта непорочная парочка, не токовала и не приплясывала в любовном зуде? Уж в этом-то я знаю толк, а я отлично слышал, что он называл ее "дитя", и "милая", - это раб-то свою госпожу! - а она ему говорила нежнейшим голосом "сокол" и "бык" и что они во всех подробностях обсудили, как усладить им друг друга своей плотью и кровью. Теперь ты видишь, что уши Дуду чего-то стоят? Но самое ценное, что я подслушал у щели, - это то, что они в пылу страсти сговорились убить Петепра и решили пристукнуть его палкой...

- Ты лжешь! Ты лжешь! Вот видишь, то, что ты понял, - это сплошной вздор, и ты собираешься донести о них Петепра чистой чепухой! Подругой и милой мой юноша называл госпожу только по доброте сердечной, чтобы утешить ее в ее умопомраченье, а что касается прочего, то он с благородным укором отказался сшибить палкой хотя бы даже трухлявый гриб. Для своих лет он держался прямо-таки чудесно и покамест, несмотря на такой сладостный натиск, не запятнал своей истории ни вот настолечко...

- И поэтому ты думаешь, простофиля, - набросился на своего собрата Дуду, - что я не смогу его погубить, нажаловавшись на него господину?! В том-то и состоит тонкость, в том-то состоит мой козырь в этой игре, в которой ты, жалкий чурбан, ни шиша не смыслишь, что тут совершенно не важно, как себя этот оболтус ведет - немножко сдержаннее или немножко разнузданней, а важно только то, что госпожа по уши в него влюблена и ничего на свете так не желает, как с ним целоваться, - в этом уже его гибель, и он уже все равно не в силах себя спасти. Раб, в которого втюрилась госпожа, становится добычей крокодила при любых обстоятельствах - вот в чем вся хитрость, вот где ловушка. Если он согласится с ней целоваться - он у меня в руках. А если упрется, он только раззадорит ее страсть на свою же голову, так что все равно ему не миновать крокодила или по меньшей мере бритвы, которая отравит ему поцелуи и вылечит госпожу от ее страсти, лишив его кое-каких достоинств...

- Ах ты гадина, ах ты чудовище! - пронзительно закричал маленький Боголюб. - На твоём примере можно убедиться раз навсегда, как это ужасно, когда человек карличьего племени не благочестив и не тонок, как полагается карлику, а наделся мужской честью, - тогда он непременно становится негодяем, как ты, мерзкий воитель детородной постели!

На это Дуду ответил, что после вмешательства бритвы Озарсиф станет ведь еще ближе ему, чурбану несчастному. И так они еще долго язвили друг друга ехидными колкостями, пока не сбежалась дворня. Тогда они разошлись в разные стороны - один пошел доносить на Иосифа господину, другой предупредить Иосифа, чтобы он все-таки по возможности остерегался зияющей ямы.

## ДОНОС ДУДУ

Как всем известно, Потифар, догадываясь о заносчивости Дуду, терпеть не мог этого карлика, отчего и Усир Монт-кау поглядывал на этого солидного человечка с неизменной досадой: уже упоминалось также, что царедворец старался держаться как можно дальше от зрителя своих нарядов, почти не подпускал его к себе и ограждался от него в гардеробной всякими посредниками из числа рослых слуг, которые, во-первых, благодаря своему росту ловчей надевали на эту башню из мяса платье и украшения, ибо Дуду пришлось бы для этого взбираться на лесенку, а во-вторых, именно из-за своей полноты придавали меньше, чем Дуду, значенья определенным естественным способностям и солнечным силам и не так кичились ими, как этот карлик, на всю жизнь ошеломленный своим преимуществом и гордившийся им, как особым отличием.

Поэтому нашему коротышке было не так-то легко достичь цели, того бокового пути,

свернуть на который он наконец решил, вдоволь исходив путь между госпожой и молодым управляющим, - то есть добраться до господина, чтобы открыть ему глаза на происходящее; это удалось Дуду отнюдь не сразу после его ссоры с потешным визирем у занавеса, и не днями, а неделями должен был он ждать, испрашивать, добиваться аудиенции, - должен был, несмотря на свое звание смотрителя, подкупать рабов из личной прислуги хозяина или грозить им, что просто не выдаст им из-под запора того или иного украшения или наряда, чтобы поставить их перед господином в скверное положение, если они не станут твердить ему, что Дуду необходимо поговорить с ним по важному домашнему делу; да, целыми четвертями лунного месяца должен был он подобным образом трудиться, просить, топтать ногами, интриговать, прежде чем он добился той милости, которой так нетерпеливо ждал, по ошибке полагая, что если он добьется ее и воспользуется ею на этот раз, то впредь она уже никогда не потребует от него никаких усилий, поскольку такая служба, какую он собирался сослужить господину, должна навсегда обеспечить ему, Дуду, его, господина, любовь и милость.

Наконец этот рачительный коротышка, задоблив подарками двух банщиков, добился того, что не только после каждого кувшина воды, вылитого ими на грудь и спину фыркающего господина, они попеременно твердили ему: "Господин, вспомни о Дуду!", но повторяли свое заклинанье и после мытья, когда этот мокрый исполин вылезал из вделанного в пол чана на известняковые плиты, а они вытирали его надушенными полотенцами, - и после мытья продолжали они поочередно говорить ему: "Вспомни же, господин, о том, что Дуду заждался приема!" - продолжали до тех пор, покуда он с отвращеньем не приказал: "Пусть войдет и доложит!" Тогда они сделали знак ожидавшим в спальне рабам-умастителем, которые тоже были задобрены, и те впустили карлика из западной палаты, где он сгорал от нетерпенья, в палату алькова. Он высоко поднял ручки ладошками к растиральной скамье, где, отдав свою плоть в распоряжение слуг, вытянулся друг фараона, и смиренно склонил набок карличью свою головку в надежде услышать хотя бы полслова из уст Петепра, поймать хотя бы беглый взгляд его глаз; однако ни того, ни другого не последовало, ибо телохранитель лишь тихонько побряхтывал под решительными руками слуг, растиравших ему плечи, бедра и ляжки, поженски толстые руки и жирную грудь нардовым маслом, и даже повернул свою благородно-маленькую по сравнению с туловищем голову, покоившуюся на кожаной подушке, затылком к Дуду, - что было для того весьма оскорбительно; но ввиду своего многообещающего дела он не имел права огорчаться и терять бодрость.

- Десять тысяч лет тебе после твоего конца, - заговорил он, - украшение рода людского, боец владыки! Четыре кувшина твоим внутренностям и алавастровый гроб твоему вечному образу!

- Спасибо, - ответил Петепра. Он сказал это по-вавилонски, так, как кто-нибудь из нас сказал бы: "мерси", и прибавил: - Долго ли он будет говорить?

"Он" звучало обидно. Но дело Дуду было слишком многообещающим; он не пал духом.

- Недолго, господин, недолго, наше солнце, - сказал он в ответ. Скорее сжато и выразительно.

И по мановению маленькой руки Петепра он выставил вперед одну ногу, заложил ручки за спину, нижнюю губу втянул, а верхнюю важно выпятил и начал свой доклад, отлично зная, что закончит его уже в отсутствие обоих растиральщиков, которым Петепра довольно скоро велит удалиться, чтобы выслушать его без свидетелей.

Речь его можно было бы назвать искусной, если бы только она отличалась большей деликатностью. Он начал с похвального слова богу урожая Мину, которого кое-где чтили

как разновидность высшей солнечной силы, но которому Амун-Ра вынужден был назвать свое имя, слившись с ним в одно божество Амун-Мин или Мин-Амун-Ра, вследствие чего о "своем отце Мине" фараон говорил с таким же правом, как и о "своем отце Амуне", - говорил главным образом в праздники венчанья на царство и урожая, когда в Амуне выделялось миновское начало и он становился этим плодородным богом, покровителем странствующих в пустыне, высоким, пернатым, исполненным мужской силы итифаллическим Солнцем. Его-то и призвал, на него-то степенно и сослался карлик, моля господина не сетовать на то, что он, Дуду, будучи ответственным домохозяином и писцом господской одежды, не ограничивает свою заботу о доме узким кругом своих служебных обязанностей, но как супруг и отец, породивший двух полноценных детей, названных так-то и так-то, к которым, если приметы не лгут и судя по признанию, сделанному у его груди госпожой Цесет, прибавится вскорости третий, но как человек, самолично умножающий дом и его людской состав и потому особенно преданный великому Мину (а тем самым и Амуну в миновском его проявлении) вникает во все дела дома, причем как раз с точки зрения человеческой плодовитости, и, взяв под свое начало, под свой личный надзор и учет все, чем может похвастаться дом в отношении свадеб, беременностей, ухаживаний, соитий и родов, помогает дворне в этих делах советом, поощрением, собственным, наконец, примером усердия и строгого соблюдения порядка. Ведь тут очень важен, сказал Дуду, высокий пример, - не самый высокий, разумеется, ибо понятно, что на самом верху не могут да и не хотят браться за это дело, как ни за какое вообще. Тем необходимей путем своевременного вмешательства избегать всего, что может нарушить священный покой этой беспримерно величественной вершины и способно заменить честь прямой противоположностью чести. Зато менее высокое начальство должно, по его, карлика, мнению, направлять подчиненных своим добрым примером как в отношении усердия, так и в отношении порядка. Одобряет ли наш господин, наше солнце, сказанное его слугой до сих пор?

Петепра пожал плечами и лег на живот, подставляя растиральщикам свой могучий тыл, но потом поднял изящную свою голову и спросил, как понимать слова о нарушении покоя, а также о чести и ее противоположности.

- Сейчас твой старший слуга к этому перейдет, - ответил Дуду. И стал говорить о покойном управляющем Монт-кау, который вел честный образ жизни, своевременно женился на одной чиновничьей дочери и стал или, вернее, стал бы благодаря ей отцом, если бы обстоятельства сложились благоприятнее и этого достойного человека не постигла злая судьба, испугавшись которой он кончил жизнь одиноким вдовцом, доказав, однако, свою добрую волю. Но довольно о нем. Теперь Дуду будет говорить о прекрасном настоящем, прекрасном постольку, поскольку умерший нашел себе равноценного - или если не равноценного (ведь речь идет как-никак о чужеземце), то, во всяком случае, не худшего по своим умственным способностям преемника, и во главе дома теперь стоит юноша несомненно значительный, - с несколько странным именем, правда, но зато с приятным лицом, речистый и хитрый, - одним словом, человек явно незаурядный.

- Болван! - пробормотал Петепра, уткнувшись лицом в скрещенные руки, ибо ничто не кажется нам более глупым, чем похвала предмету, истинную цену которому нам хочется знать одним.

Дуду пропустил это мимо ушей. Возможно, что господин сказал "болван", но он не хотел этого знать, потому что ему нужно было сохранить бодрое настроенье.

У него не хватает слов, сказал он, чтобы достойно похвалить подкупающие, ослепительные, а кое для кого и смущающие качества упомянутого юноши, ибо именно благодаря им только и приобретает полный свой вес забота, возникающая из-за него и

касающаяся порядка и благополучия дома, во главе которого он в силу этих своих качеств поставлен.

- Что он там мелет? - сказал Петепра, слегка приподняв голову и повернув ее как бы к растиральщикам. - Качества управляющего угрожают порядку в доме?

"Мелет" звучало столь же обидно, как и повторное "он". Но карлик не дал сбить себя с толку.

- При иных обстоятельствах, чем те, которые, увы, сложились, они отнюдь не угрожали бы ему, напротив, они могли бы стать благом дома, если бы получили, а точнее сказать, успели уже получить в прошлом то ограждение, то законное успокоение, в каком эти качества - то есть, повторяю, располагающая внешность, хитрость и красноречие - нуждаются, чтобы не сеять среди окружающих тревоги, расстройств, смуты.

И Дуду посетовал на то, что молодой управляющий, чьи религиозные взгляды, впрочем, и вообще неясны, отказывается отдать должное Мину, что, занимая такую высокую должность, он остается холост и не вступает а сообразную его происхождению постельную связь - например, с вавилоняжкой Иштарумми, рабыней гарема, - чтобы умножить дом детьми. Это достойно сожаленья и скверно; это вызывает беспокойство; это просто опасно. Ведь мало того что таким образом наносится известный ущерб представительности, это лишает челядь высокого примера усердия и порядка, а в третьих, упомянутые уже соблазнительные качества управляющего, каковых у него никто не оспаривает, не получают при таких обстоятельствах того успокоения, того благотворного остепенения, в котором они так нуждаются, - и нуждались уже давно, - чтобы не распалить чувства, не кружить головы, не мутить умы, короче говоря - не сеять вокруг себя зла, причем вокруг себя не только на своем уровне, но и гораздо выше, в сфере величественной.

Молчание. Петепра, над которым продолжали трудиться растиральщики, ничего не ответил. Одно из двух, заявил Дуду, - либо-либо! Такого юношу нужно либо женить, чтобы его качества не могли необузданно и губительно распалить окружающих, а были бы умиротворены браком и стали бы безопасны для мира, либо - и это было бы лучше - надо пустить в ход бритву и достигнуть с ее помощью спасительного умиротворенья, чтобы уберечь высших от нарушенья покоя и от превращенья их чести в ее противоположность.

Снова молчанье. Резко повернувшись на спину, так что занятые его спиной массажисты на мгновенье застыли, опешив, с поднятыми руками, Петепра поднял голову в сторону карлика. Он смерил его взглядом сверху донизу и еще раз снизу вверх - для его глаз это был недолгий путь - и мельком взглянул на кресло, где лежали его одежда, его сандалии, его опухало и другие вещи. Затем он снова перевернулся и уперся лбом в скрещенные руки.

Досада, в которой был холод ужаса, какое-то испуганное возмущенье угрозой его покою со стороны этого противного человечка, охватили его. Тщеславный этот ублюдок явно знал и хотел сообщить ему что-то такое, о чем, если это была правда, следовало, конечно, знать и ему, Петепра, но попытку карлика сообщить ему об этом он все-таки воспринял как грубое бессердечье. "Все ли благополучно в доме? Происшествий не было? Весела ли госпожа?" Речь шла явно об этом, и ему явно даже не дожидаясь его вопроса, хотели дать неприятный ответ. Он ненавидел карлика, - карлика заведомо; больше он, собственно, никого не склонен был ненавидеть, - куда вопрос о том, говорит ли Дуду правду, далеко еще не был решен. Теперь, значит, придется отпустить растиральщиков и остаться наедине с этим мужественным блюстителем чести, чтобы тот дразнил его честь не то правдой, не то пустой клеветой. Честь - подумать только, что это такое в той связи, о

какой в данном случае, несомненно, идет дело. Это честь пола, честь петуха-мужа, состоящая в том, что супруга верна супругу в знак безупречности его петушиных свойств, благодаря которой она находит с ним такое полное удовлетворение своих желаний, что не допускает и мысли о близости с другим и, не зная ни в чем отказа, даже не видит в домогательствах третьих лиц ничего соблазнительного. Если же она все-таки спутается с другим, то это свидетельство противного: тогда честь пола оскорблена, петух становится рогоносцем, то есть каплуном, нежные ручки венчают его голову смешными рогами, и чтобы спасти все, что еще можно спасти, он должен пронзить в поединке того, от кого его жена ждала большего, а еще лучше, убить заодно и ее, чтобы таким внушительным кровопролитием восстановить в собственных глазах и в глазах мира свое мужское достоинство.

Честь. У Петепра не было никакой чести, ее не было в его плоти, он по самому своему складу не видел толка в этом петушином достоянии и терпеть не мог, когда другие, как сейчас этот недоношенный хранитель чести, чересчур настойчиво внушали ему, как она важна. Зато у него было сердце, наделенное справедливостью, то есть чувством права других; но сердце в то же время ранимое, надеющееся на бережную привязанность этих других, даже на их любовь, и обреченное горько страдать от измены. Во время этого молчанья, когда растиральщики вновь принялись за его могучую спину, а он спрятал лицо в своих толстых женских руках, в уме его пронеслось многое, касавшееся двух лиц, на чью любовь и верность он и в самом деле так твердо надеялся, что можно было сказать, что он их любит: это была Мут, почетная его жена, которую он, правда, немного и ненавидел из-за того упрека, какой она хоть и не могла ему предъявить, но все же своим присутствием предъявляла, но которой тем не менее он был бы от души рад, и рад не только из себялюбия, показать свою любезность, свое могущество; и это был Иосиф, отраднейший юноша, который улучшал его самочувствие успешней любого вина и ради которого он, к своему сожалению, не хотел и не мог ответить на просьбу жены в вечерней палате доказательством своего могущества и своей любезности. Не нужно думать, будто Петепра не догадывался, в чем он ей тогда отказал; такая догадка, то есть догадка, что причины, по которым она требовала от него удаленья Иосифа, были только предлогами, только маскировкой и что это требование она предъявила ему, Петепра, из страха перед самой собой, ради своей чести, - говоря между нами, такая догадка мелькнула у него уже и во время известного нам супружеского разговора. Но так как у него не было чести, ее страх значил для него меньше, чем присутствие этого утешительного юноши. Он предпочел его ей и, не защитив жену от нее самой, сам устроил так, чтобы оба они предпочли друг друга ему. Петепра, и предали его.

Он это понимал. Ему было больно, ибо у него было сердце. Но он это понимал, ибо сердце его тяготело к справедливости - хотя, может быть, только удобства ради и потому что справедливость избавляет от гнева и от честолюбивой мстительности. Что она, справедливость, к тому же еще и надежнейшее убежище достоинства, он чувствовал как нельзя лучше. Кажется, этот противный страж чести хочет сообщить ему, что его достоинству угрожает измена. Как будто, думал он, достоинство перестает быть достоинством, если ему приходится, страдая от боли, закутывать свою голову, чтобы не видеть измены! Как будто у того, кому изменили, меньше достоинства, чем у изменника! А если и меньше - потому что он сам виноват, потому что он сам вызвал к жизни измену, - то на этот случай есть справедливость, чтобы благодаря ей достоинство могло признать свою вину и право других, а тем самым и восстановить себя самое.

Итак, тотчас же и заранее, что бы ему ни сообщили, дразня его честь, евнух Петепра желал справедливости. В отличие от чести с ее плотскостью, справедливость есть нечто духовное, и, не обладая первой, он должен был обходиться второй. На духовность он всегда и надеялся во всем, что касалось этих обоих, которые, как, по-видимому, хочет сообщить ему непрошенный доносчик и подстрекатель, нарушили верность вместе. Ведь

плоть их, насколько он знал, сковывали мощные узы духа, ибо оба были посвящены и в духе едины: избыточно утешенная жена, наложница Амуна, невеста его храма, плясавшая перед ним в облегающе-узком платье богини, - и юноша с венком избранности в волосах, облюбленный богом мальчик Не-Тронь-Меня. Неужели плоть возобладала над ними? Он похолодел от ужаса при этой мысли, ибо плоть, хотя он располагал ею в таком обилье, была его врагом, и, спрашивая при возвращении: "Все ли в порядке? Ничего не случилось?", он всякий раз подспудно опасался, что в его отсутствие плоть как-то возобладала над бережно-покойной, но ненадежной духовностью, которой держался дом, и внесла в него какое-то ужасное расстройство. Но знобящий его ужас сопровождался досадой: зачем ему об этом знать, неужели его все-таки нельзя было оставить в покое? Если оба посвященных покорились за его спиной плоти и что-то скрывали от него, то как раз в этой скрытности, в этом обмане было еще достаточно бережной любви, за которую он их готов был благодарить. А сердит, и сердит несказанно, был он на этого тщеславного коротышку, на этого надменного человечка чести, пожелавшего навязать ему непрошеное знание и совершить подлое нападение на его покой.

- Скоро вы там? - спросил он. Это относилось к растиральщикам, которых он должен был прогнать, а прогонять не хотел, потому что такая необходимость была вызвана этим гнусным наушником, но удалить их он все-таки должен был. Это были, правда, два непроходимо глупых раба, они прямо-таки нарочно воспитали в себе глупость, чтобы мера ее поистине поговорочно соответствовала их грубому ремеслу и они стали и в самом деле глупы, как растиральщики. Но хотя они до сих пор несомненно ничего не поняли и вряд ли поняли бы что-либо впредь, Петепра не мог не уступить молчаливому требованию своего назойливого собеседника и не остаться с ним с глазу на глаз. Тем больше он на него сердился.

- Вы не уйдете, пока не кончите, - сказал он рабам, - и не очень-то торопитесь. Но когда вы кончите, подайте мне простыню и потихоньку уходите.

Им никогда и в голову не пришло бы, что им, даже не кончив, лучше уйти. Но так как они и вправду кончили, они по шею укрыли громадное тело своего господина льняным полотнищем, пали на свои узкие, всего в два пальца шириной лбы и вперевалку, оттопырив локти, удалились походкой, которая я сама по себе убедительно показывала их желанную и притом совершенную глупость.

- Подойди ближе, друг мой! - сказал телохранитель. - Подойди настолько близко, насколько захочешь и насколько, по-твоему, этого требует сообщение, которое ты собираешься сделать, ибо оно, мне кажется, таково, что тебе было бы неудобно стоять вдалеке от меня и кричать, - дело это, мне кажется, располагает нас к доверительно-приглушенной беседе, что я уже отношу к его достоинствам, какого бы рода оно ни было. Ты у меня ценный слуга, маленький, правда, гораздо ниже среднего роста, и с этой точки зрения существо нелепое, но у тебя есть достоинство, есть вес, есть, наконец, качества, в силу которых ты вправе, помимо своих одежных обязанностей, наблюдать за всеми делами дома и блюсти порядок в его плодоявлении. Не помню, впрочем, чтобы я поручал тебе это и назначал тебя на должность такого блюстителя - чего нет, того нет. Но я утверждаю тебя в этом чине задним числом, ибо не могу не считаться с твоим призванием. Насколько я понял, любовь и долг побуждают тебя сообщить мне о каких-то тревожных наблюдениях в подведомственной тебе области, о каких-то распалляющих беспорядках?

- Именно - живо отозвался противник-Иосифа на это обращение, обидную часть которого он проглотил ради его в общем-то поощрительного характера. - Заботливая верность слуги заставляет меня предстать перед тобой, господин, чтобы предостеречь тебя, наше

солнце, от опасности, достаточно важной, чтобы ты, согласно моим просьбам, допустил меня пред свое лицо еще раньше, ибо мое предостережение может, того и гляди, опоздать.

- Ты пугаешь меня.

- Сожалею об этом. Но, с другой стороны, испугать тебя как раз и входит в мои намеренья, ибо опасность велика чрезвычайно, и при всем пущенном мною в ход остроумии твой слуга не может с уверенностью сказать, что еще не поздно и что надругательство над тобой еще не совершено. Если же оно уже совершилось, то предостеречь тебя не поздно лишь постольку, поскольку ты еще жив.

- Разве мне грозит смерть?

- И то и другое: и позор и смерть.

- Я был бы рад второму, если бы не избежал первого, - светским тоном ответил Петепра. - И откуда же грозят мне эти беды?

- Намекая на источник опасности, - ответил Дуду, - я уже дошел до полной, не допускающей кривотолков определенности. Ты мог не понять меня, только страхась понять.

- В сколь бедственном положении я нахожусь, - возразил Петепра, показывает мне твоя беззастенчивость. Она явно соответствует моему злополучью, и мне ничего не остается, как хвалить ревностную преданность, из которой она проистекает. Признаю, что мой страх понять тебя действительно непреодолим. Помоги же мне, друг мой, справиться с ним и скажи мне правду настолько прямо, чтобы у моего страха не осталось ни малейшей возможности спрятаться от нее!

- Хорошо же! - ответил Дуду, выставив вперед теперь уже другую ножку и упершись кулачком в бок. - Положение твое таково, что зажигательные качества молодого управляющего Озарсифа, своевременно не умиротворенные и не обузданные, раздули пожар в груди нашей госпожи, твоей супруги Мут-эм-энет, и пламя этого пожара, дымясь и треща, лижет уже потолок твоей чести, который вот-вот обвалится и погребет под собой также и твою жизнь.

Петепра натянул простыню выше, до самого носа, прикрыв ею подбородок и рот.

- Ты хочешь сказать, - спросил он из-под нее, - что госпожа и управляющий не только бросали друг на друга взгляды, но и посягают на мою жизнь?

- Именно! - отвечал карлик, с силой меняя упертый в бедро кулак. - Вот в каком положении оказался человек, недавно еще столь благополучный, как ты.

- А чем, - глухо спросил полководец, и простыня у его рта зашевелилась, - чем можешь ты доказать такое ужасное обвиненье?

- Моя бдительность, - ответил Дуду, - мои глаза и уши, зоркость, которую придала моим наблюдениям забота о чести дома, - пусть они засвидетельствуют тебе, достойный жалости господин, досадную и страшную справедливость моего сообщенья. Как знать, кто из них первый - ибо отныне об этих бесконечно различных по званию людях приходится говорить именно так: "они", - как знать, кто из них первый бросил взгляд на другого? Взгляды их встретились и преступно утонули друг в друге - этого достаточно. Мы

должны, великий господин, отдавать себе полный отчет в том, что Мут-в-Пустыне одинока в постели; а что касается управляющего, то он как раз отличается зажигательностью. Какой раб заставит подобную госпожу дважды себя просить? Для этого потребовалась бы такая любовь, такая преданность господину госпожи, какую найдешь, конечно, не у высшего управляющего, а только у следующих за ним по чину смотрителей... Вина? Что толку допытываться, кто первый поднял глаза на другого и в чьем уме зародилось это страшное злодеянье? Вина юного управляющего состоит в первую очередь не в том, что он сделал, а в самом его существовании, в таком его существовании в доме, при котором его качества оказывают свое зажигательное действие направо и налево, не утихомиренные ни супружеским ложем, ни бритвой; а если госпожа воспылала любовью к слуге, то за это он отвечает головой, ибо вина его такова же, как если бы он надругался над непорочной, и соответственно следует с ним обойтись. Но именно так дело, увы, и обстоит: у них царит полное согласие. Записочки, в которые я сам заглядывал, так что могу поручиться за их страстность, между ними так и снуют. Под предлогом обсуждения хозяйственных дел они встречаются то тут, то там: в гостиной гарема, где госпожа в угоду рабу поставила изображение Горахте, в саду и беседке на насыпи, даже в личном покое госпожи в этом самом доме, - во всех этих местах они тайно видятся, и разговоры у них давно уже идут не о почтенных вещах, а о пустяках, это сплошное воркованье и жаркий шепот. Сколь сильно они в этом преуспели и дошло ли дело до того, что один уже насладился плотью и кровью другого, так что предотвращать уже нечего и остается одна только месть, этого я с полной определенностью сказать не могу. Но я готов головой поручиться перед любым богом и перед тобой, униженный господин, ибо я подслушал это у щели собственными ушами, за то, что они, воркуя, сговариваются убить тебя палочными ударами, чтобы, освободив от тебя дом, предаваться в нем радости на украшенной венками постели, как господин с госпожой.

После этих слов Петепра полностью закутал голову простыней, и лица его уже вовсе не стало видно. Так прошло довольно много времени, и Дуду даже заскучал было, хотя поначалу ему было приятно глядеть, как его господин лежит бесформенной глыбой, покрывшись своим стыдом, исчезнув под ним. Внезапно, однако, Петепра откинул простыню до бедер и, приподнявшись лицом к карлику, оперся маленькой своей головой на маленькую свою ладонь.

- Я глубоко благодарен тебе, смотритель моих ларей, - начал он, - за инвентаризации ("инвентаризации" было иностранное, вавилонское слово), предпринятые тобой, чтобы спасти мою честь или установить, что она уже потеряна и спасти можно разве что жизнь, - спасти не ради самой жизни, а ради мести, которой она грозно должна отныне служить. Боюсь, что из-за мысли о наказании я упущу из виду столь же важную мысль о награде, которой я обязан отблагодарить тебя за твои сообщения. Гневу и ужасу моему, ими вызванному, равно мое удивление по поводу подвигов твоей любви и преданности. Да, я не стану скрывать от тебя своего изумления, хотя мне и следовало бы умерить его, я это понимаю; ведь как часто человек неказистый, вниманием и доверием к которому мы никак не можем похвастаться, делает для нас доброе дело! И все-таки я не могу избавиться от недоверчивого удивления. Ты же урод и ублюдок, потешный карлик, которому должность смотрителя дана скорее для смеха, чем всерьез, полусмешной-полупротивный кривляка, особенно смешной и особенно противный из-за своего хвастовства. Так разве не граничит с невероятным, разве не переходит даже этой границы твое убеждение, что именно тебе удалось проникнуть в тайную жизнь высочайших после меня лиц в доме и прочитать, например, записочки, которые, согласно твоей жалобе, так и снуют между молодым управляющим и госпожой? Могу ли я, вправе ли я не сомневаться в существовании этих записок, если мне кажется невероятным, чтобы ты ухитрился в них заглянуть? Для этого тебе, мой дорогой, понадобилось бы вкрасться в доверье к избранному лицу, которому доверено было носить эти письма, а как я могу признать это хоть сколько-нибудь вероятным при виде твоего

неопровержимого безобразья?

- Боязнь, - отвечал Дуду, - поверить в свой позор и в плачевное свое унижение заставляет тебя, бедный мой господин, искать причин не доверять своему слуге. При этом ты довольствуешься очень плохими причинами - так велик твой трепетный страх правды, которая, впрочем, показывает тебе настолько язвительное, настолько гнусное свое лицо, что твой трепет вполне понятен. Убедись же в неосновательности своего сомненья! Мне не нужно было втираться в доверье к избранному лицу, которое носило их пылкие письма, ибо этим избранным лицом был я сам.

- Поразительный пассаж! - сказал Петепра. - Ты, такой маленький, такой смешной человек, носил их письма? Мой респект перед тобой заметно возрастает уже от одних этих слов; но все-таки он должен еще расти и расти, чтобы я к тому же и поверил твоим словам. Значит, госпожа так доверяет тебе и ты с ней на такой дружеской ноге, что она могла поручить тебе свою вину и свое счастье?

- Именно! - отвечал Дуду, смело выставляя вперед другую ножку и упираясь в бок другим кулачком. - Мало того что она передавала через меня свои письма, она писала их с моих слов. Ибо она понятия не имела ни о каких записочках и только благодаря мне, человеку светскому, узнала об этом нежном приеме.

- Кто бы подумал! - продолжал удивляться телохранитель. - Я все больше убеждаюсь в том, что недооценивал тебя, и мой респект перед тобой неудержимо растет. Ты сделал это, я полагаю, чтобы довести дело до крайности и посмотреть, как далеко зайдет госпожа в своей провинности.

- Разумеется, - подтвердил Дуду. - Я действовал так из любви к тебе, как верный твой слуга, мой униженный господин. Иначе я разве стоял бы сейчас перед тобой и побуждал тебя к мести?

- Но как же удалось тебе, - пожелал знать Потифар, - такому комичному и противному человечку, каким ты на первый взгляд кажешься, завоевать расположение госпожи и завладеть ее тайной?

- Это произошло одновременно, - отвечал карлик. - И то и другое. Как все добрые люди, я досадовал и гневался в Амуне на хитрое возвышение иноземца, питая к нему и к коварному его сердцу великое недоверье - по праву, как ты, конечно, признаешь теперь, когда он мерзко тебя обманывает, оскверняет твоё почетное ложе и превращает тебя, который делал ему добро за добром, в посмешище резиденции, а вскоре, пожалуй, и обеих стран. И вот, терзаясь гневом и недоверьем, я пожаловался твоей жене Мут на такую досадную несправедливость и указал ей на этого негодяя, обратив на него ее вниманье. Ибо сперва она не понимала, какого слугу я имею в виду. Но потом она как-то несуразно вняла горьким моим жалобам и стала вести какие-то странно щекотливые речи, все больше обнаруживая свою скрытую под покровом заботы влюбленность, и я понял, что у нее просто-напросто свербит чрево, что она втрескалась в этого раба, как последняя судомойка, - вот до чего довел он своим существованием гордую женщину, - и что если за это дело не возьмется такой человек, как я, который с умом к ней подладится, чтобы затем, в надлежащий час, разоблачить подлый их заговор, от твоей чести ничего не останется. Поэтому, видя, что мысли твоей жены крадутся такими темными путями, я стал красться за ними, как вор в ночи, которого хотят накрыть, когда он крадет, и, надоумив ее насчет записочек, чтобы испытать ее и узнать, как далеко она зашла и на что способна, - увидел, что все мои тревожные ожидания превзойдены; ибо благодаря слепому доверью, которое она ко мне питала, думая, будто я, человек большого светского опыта, готов служить ее похоти, я, к ужасу своему, убедился, что этот гнусный

разжигатель и вправду сделал нашу благородную госпожу способной на все и что малейшее промедление таит в себе угрозу не только твоей чести, но и твоей жизни.

- Так, так, - сказал Петепра, - ты обратил ее вниманье и надумил ее понимаю. Насчет госпожи все ясно! Но чтобы ты завоевал доверье также и управляющего, - этому я, глядя на твою убогую внешность, никак не могу поверить, это все еще кажется мне совершенно немыслимым.

- Твое неверье, побитый господин, - возразил Дуду, - должно было бы сложить оружие перед фактами. Я оправдываю его твоей боязнью правды, а также твоей священной, особенной статью, которая, как ты согласишься, причиной всем этим бедам; она же мешает тебе познать людей и понять, что их мнение о другом человеке и их тяга к нему, будь он большого роста или умеренного, очень зависит от его готовности угождать их страстям и желаньям. Стоило мне только изобразить такую готовность и умело предложить ему свои услуги опытного и молчаливого посредника между его страстью и страстью нашей госпожи, как этот дуралей сразу же попался на удочку, и у нас завязались с ним такие нежные отношения, что он от меня уже ничего не таил, и теперь я мог не только следить за всеми подробностями их преступной игры, но и поощрять, но и подогревать эту игру мнимым пособничеством, чтобы, видя, как далеко они зашли и до какого преступления способны дойти, накрыть их в самый последний миг. Терпеливо крадучись, я сумел выяснить одно общее их убеждение, один любопытный взгляд, на котором основана их игра, - а именно, что господин тот, кто спит с госпожой. Такова, бедный мой господин, их блудливая и человекоубийственная гипотеза; они ежедневно обсуждают ее, и из нее, я слышал это из их уст, выводят высшее свое право убить тебя палкой, чтобы затем, как госпожа и господин по любви, справлять в этом очищенном доме праздники роз. И вот, когда они зашли так далеко и я, сделавшись их поверенным, услышал из их уст такие ужасы, мне показалось, что этот нарыв пора проколоть, и, направившись, посрамленный мой господин, к тебе, которому я и в беде верен, я сообщил тебе обо всем, чтобы мы их накрыли.

- Так мы и поступим, - сказал Петепра. - Мы наведем на них ужас, - ты, милый карлик, и я, и они поплатятся за свое преступление. Как нам, по-твоему, расправиться с ними, какие наказания кажутся тебе достаточно мучительными и унижительными, чтобы им-то их и подвергнуть?

- Я склонен быть милостивым, - отвечал Дуду, - по крайней мере, в отношении нашей прекрасной грешницы Мут, ибо многое находит оправданье в постельном ее одиночестве, и хотя твои дела по ее вине плохи, тебе, говоря между нами, не пристало поднимать шум. Кроме того, я уже говорил, что если госпожа влюбилась в раба, то взыскивать нужно с раба, ибо самым своим существованием виновен он в этой мизерии и должен за нее заплатить. Но и к рабу я склонен быть милостивым и не требую даже, чтобы его отдали, предварительно связав, крокодилу, как он того заслуживает своим столь мизерабельно обернувшимся счастьем. Ибо Дуду помышляет не столько о мести, сколько о надежной мере, которая положит конец зажигательности юного управляющего; его достаточно будет связать и, пресекая зло в корне, пустить в ход бритву, чтобы он не смог быть с Мут-эм-энет и его прекрасный рост утратил в ее глазах какой-либо смысл. Я с удовольствием исполню эту умиротворяющую операцию, если его, конечно, надлежащим образом свяжут.

- Очень благородно с твоей стороны, - сказал Петепра, - что ты берешься и за это, после того как столько для меня сделал. Не кажется ли тебе, мой маленький, что таким образом справедливость восторжествует на свете даже во многих отношениях, поскольку благодаря этой мере ты получишь перед изувеченным управляющим некое преимущество, которое вознаградит тебя, человека такой диковинной природы, за твой

недостаточный рост?

- Да, в этом есть доля правды, - ответил Дуду, - заслуживающая, пожалуй, попутного замечания. Не отрицаю.

Он скрестил ручки, выпятил одно плечо и принялся задорно подбрасывать выставленную вперед ножку, все веселее качая головой и бросая по сторонам победные взгляды.

- А не кажется ли тебе, - продолжал Петепра, - что он уже не сможет оставаться во главе дома, после того как ты отомстишь ему таким убавлением?

- Конечно, не сможет, - засмеялся Дуду, не переставая подбрасывать ножку и качать головой. - Стоять во главе дома и распорядиться всей челядью должен не умиротворенный преступник, а полносильный человек, способный представлять господина в любом деле и заменять его во всем, за что он не хочет и не может браться!

- Таким образом, - добавил военачальник, - мне сразу становится ясно, каким повышением смогу я достойно вознаградить и отблагодарить тебя, мой славный слуга, за преданное соглядатайство и за то, о чем ты донес мне, чтобы спасти меня от позора и смерти.

- Надеюсь! - воскликнул Дуду, вконец обнаглев. - Надеюсь, ты понял, кем должен стать Дуду, и полагаю, что тебе все ясно относительно благодарности и преемственности. Ты не впадешь в преувеличение, сказав, что я спас от позора и смерти не только тебя, но и нашу прекрасную грешницу! Пусть же она знает, что это я, вымолив ее у тебя ради ее постельного одиночества, даровал ей жизнь и что, следовательно, она живет и дышит только благодаря моему милосердию и покровительству! Ибо если я захочу и она ответит мне черной неблагодарностью, я всегда смогу разгласить ее позор и ее преступление городу и стране, после чего тебе придется все-таки удушить ее и сжечь ее нежное тело или, по меньшей мере, отрезать ей нос и уши и в таком виде отправить ее к родным. Пусть же она, проказница и разбойница, не делает глупостей, пусть отвернется от бессмысленной теперь красоты и обратит свои глаза-самоцветы на хитроумного утешителя, на господина госпожи, на маленького и ловкого управляющего Дуду!

Говоря это, Дуду бросал по сторонам все более победные взгляды, поводил плечами и бедрами, приплясывал и вообще вел себя ни дать ни взять как токующий тетерев, который, находясь на волосок от гибели, кружится в своем призывном самозабвенье, слепой и глухой. Но и случилось с Дуду примерно то же, что с тетеревом, к которому подбегает охотник. Ибо внезапно, одним прыжком, Петепра сбросил простыню и стал на ноги, - совершенно голый, громада мяса с маленькой головой, а вторым прыжком оказался у кресла, где лежали его вещи, и схватил свой почетный жезл. Мы уже видели у него в руке эту или подобную ей красивую палицу, знак полководческого отличия обшитый золоченой кожей валик, оканчивающийся пиниевой шишкой, - символ власти, а также, собственно, фетиш жизни, предмет женского культа. Эту-то дубинку господин внезапно схватил и, замахнувшись, опустил ее на плечи и спину Дуду; он колотил его так, что карлик лишился и слуха и зренья уже по другим причинам, чем прежде, и только визжал, как поросенок.

- Ай, ай! - кричал он, сжимаясь и приседая. - Ай, больно! Я умираю, я весь в крови, трещат мои косточки, помилуй своего верного слугу!

Но помилованья не последовало.

- Вот тебе, вот тебе, дурак и срамник, получай по заслугам, подлец, выболтавший мне свои козни! - кричал Петепра, гоняя его нещадными ударами из одного угла спальни в другой, покуда этот верный слуга не нашел двери и не пустился что было сил наутек.

## УГРОЗА

История утверждает, что жена Потифара, требуя, чтобы Иосиф спал с ней, "говорила ему так" ежедневно. Значит, он давал ей такую возможность? Значит, и после дня больного языка он не избегал ее близости, а по-прежнему встречался с ней в разных местах и в разное время дня? Да, так он и вел себя. Он должен был так вести себя, ибо она была госпожа, то есть господин в женском обличье, и могла вызывать его и требовать к себе, когда хотела. А кроме того, он обещал ей, что не покинет ее в ее умопомраченье и будет, как только может, утешать ее речами, потому что таков его долг перед ней. Он это понимал. Чувство долга приковывало его к ней, и в душе он признавал, что ведь это же он сам, по своей дерзости, довел дело до того, до чего оно дошло, и что его план исцеления был преступным вздором, последствия которого нужно теперь преодолеть и по возможности уладить, какой бы опасной, какой бы безнадежно трудной ни представлялась эта задача. Значит, это похвально, что он не скрывался от одержимой, а "ежедневно" или, предположим, почти ежедневно ощущал на себе дыхание огненного быка, по-прежнему отважно подвергая себя, наверно, одному из самых сильных соблазнов, какие когда-либо одолевали юношей? Да, пожалуй, хотя и небезотнотительно, хотя и отчасти. Среди внутренних его побуждений были и похвальные, это можно признать. Похвалы заслуживало двигавшее им чувство вины и долга; далее, отвага, с какой он уповал в этой беде на бога и на семь причин; еще, если угодно, упрямство, которое тоже стало определять его поведение, требуя от него, чтобы его разум померился силами с безумьем женщины: ведь она выразила готовность, она грозила ему порвать венок, который он носит ради своего бога, и увенчать его взамен своим венком. Это ему казалось бесстыдством, и, забегаая вперед, мы скажем, что прибавилось и еще кое-что, заставившее его воспринимать всю эту историю как спор между богом и богами Египта, - точно так же, как со временем и для нее забота об Амуне сделалась или была сделана другими побудительной причиной ее желанья... Таким образом, если он не позволял себе увливать, а считал необходимым выстоять, не отступая во славу бога ни перед чем, то это можно понять и даже одобрить.

Все это хорошо. Но все-таки не так уж безоговорочно хорошо, ибо была и другая причина, по которой он следовал за ней, встречал ее, ходил к ней и которая, как он отлично знал, похвалы не заслуживала: причину эту можно назвать любопытством и легкомыслием, а можно и неохотой окончательно отказаться от зла, желанием продлить свободу выбора между добром и злом, отнюдь, правда, не намереваясь взять сторону зла... Не находил ли он, при всей серьезности и опасности своего положения, удовольствия в уединенье с госпожой на том уровне короткого "дитя мое", право на который давала ему ее беззаветная страсть? Догадка банальная, однако вполне правомерная наряду с более благочестивыми, более мечтательными объяснениями его поведения, такими, например, как очень озорная и очень будоражащая идея его мертвости, его обожествленности в качестве Узарсифа и вытекающего отсюда состоянья священной готовности, над которой, впрочем, опять-таки тяготело проклятье ослиности.

Одним словом, он ходил к госпоже. Он держался с ней стойко. Он сносил ее непрестанные просьбы "спи со мной!". Мы говорим: он их сносил, потому что это не пустяк и не шутка противостоять одержимой, ласково успокаивать ее и держать наготове семь доводов для защиты от ее желанья, которому ведь так отвечала его божественная мертвость. Право же, хочется простить сыну Иакова менее похвальные причины его поведения, представляя себе, как тяжело ему приходилось с несчастной, которая каждодневно так его донимала, что в иные мгновенья он понимал Гильгамеша, который

в конце концов, в ярости и отчаянье, бросил в лицо Иштар вырванный член быка.

Ибо эта женщина совсем переродилась и становилась все неразборчивей в средствах, домогаясь соединенья голов и ног. К своему предложенью убить господина, чтобы затем, став госпожой и господином по любви, блаженствовать в доме, украшая себя прекрасными нарядами и цветами, она, правда, больше не возвращалась, видя, что эта идея донельзя ему отвратительна, и опасаясь непоправимо отдалить его от себя ее повтореньем. Несмотря на свое хмельное и помраченное состояние, Мут понимала, что, решительно отклонив эту дикую мысль, он был самым естественным, самым очевидным образом прав и мог, безусловно, гордиться своим возмущенным отказом исполнять требование, возобновить которое уже не больным, уже не лепечущим языком даже ей было бы очень и очень трудно. Зато доводом, что его упрямство лишено смысла, ибо они все равно связаны тайной, упоительное свершенье которой уже ничего не изменит, - этим доводом она допекала его снова и снова, равно как и посулами несказанных блаженств, что ждут его в любовных объятьях, так как она все сберегла для него одного; а когда он, в ответ на столь сладостные домогательства, твердил ей: "Дитя мое, нам нельзя", она принималась допытывать его сомненьями в его мужественности.

Не то чтобы она искренне в ней сомневалась - это едва ли было возможно. Но какое-то формальное, какое-то разумное основание для такой насмешки его поведение давало ей. Иосиф не мог растолковать ей семь своих причин должным образом; большей их части она бы не поняла; а то, на что он ссылался взамен, поневоле казалось ей неубедительным и скучным, производило на нее впечатление вымученной отговорки. Что толку было ее бедственной страсти в нравоучительном изреченье, которым он хотел ответить ей раз навсегда, чтобы его ответ остался на устах у людей, если это событие станет историей, - что-де его господин все доверил ему и ничего не заказал в доме, кроме нее, своей жены, и что поэтому он, Иосиф, не сотворит такого зла и не согрешит с нею? Это был шаткий довод и для ее бедственной страсти совершенно неосновательный, и даже если бы они оказались в истории, то, по убеждению Мут-эм-энет, мир всегда бы считал справедливым, что такая пара, как Иосиф и она, соединила, несмотря на почетного супруга и полководца, головы и ноги, и каждому это доставило бы куда большее удовольствие, чем какое-то изречение.

Что говорил он еще? Он говорил, например, такие слова:

- Ты хочешь, чтобы я пришел к тебе ночью и спал с тобой. Но как раз ночью наш бог, которого ты не знаешь, обычно являлся нашим отцам. А вдруг он пожелает явиться мне этой ночью и застанет меня у тебя - что со мной станет?

Но ведь это была детская болтовня. Или он говорил:

- Я боюсь из-за Адама, который был изгнан из сада за такой малый грех. Какое же наказание постигнет меня?

Ей это казалось столь же убогим, как и такой его ответ:

- Ты не все знаешь. Мой брат Рувим потерял первородство из-за своего буйства, и отец отдал первородство мне. Он отнял бы его у меня, узнай он, что ты превратила меня в осла.

Ей это не могло не казаться жалким, даже сомнительным, и ему не приходилось удивляться, если в ответ на такие притянутые за волосы извиненья она со слезами боли и гнева давала понять ему, что начинает думать, - да ничего другого ей и не остается предположить, - что венчик, который он носит, это всего-навсего соломенный венчик

бессилья. Повторяем, она не верила и, пожалуй, не могла верить в то, что говорила. Это был, скорее, вызов, в отчаянье брошенный чести его плоти, и взгляд, которым он на него ответил, в равной степени устыдил ее и воспламенил, еще взволнованней и отчетливей выразив то, что Иосиф облек в такие слова:

- Ты думаешь? - сказал он горько. - Ну, что ж, тогда отступись! Но только если бы твоя догадка была справедлива, мне было бы легко, и этот соблазн не походил бы на змея и на рычащего льва. Поверь мне, женщина, я уже думал о том, чтобы покончить с твоими страданиями, приняв ту статью, какую ты ошибочно мне приписываешь, и поступив как тот юноша в одной из ваших историй, который причинил себе боль острым листом мечевидного тростника и бросил в реку, рыбам на корм, обвиняемое, чтобы доказать свою невиновность. Но для меня это не выход; мой грех был бы столь же велик, как если бы я пал, и богу я тогда тоже ни на что не годился бы. Нет, он хочет, чтобы я выстоял цел и невредим.

- Ужасно! - восклицала она. - Озарсиф, о чем ты думал? Не делай этого, мой возлюбленный, мой прекрасный, это была бы страшная беда! Я никогда не думала так, как сказала! Ты любишь меня, ты любишь меня, тебя выдает твой казнящий меня взгляд и твое кощунственное намеренье! О милый, приди и спаси меня, останови льющуюся мою кровь, которой так жаль!

Но он отвечал: "Нельзя".

Тогда она бесновалась и начинала угрожать ему пыткой и смертью. Вот до чего она дошла, и это мы, к печали своей, имели в виду, когда сказали, что она делалась все неразборчивей в средствах, которыми его допекала. Он понимал теперь, с кем он имеет дело и что означал ее звонкий возглас: "В моей любви страшна я одна!" Исполинская кошка поднимала лапу, и угрожающе высывались из бархатных гнезд ее когти, чтобы его растерзать. Если он не покорится, говорила она, если не оставит ей божественный свой венец, чтобы получить за него венец ее радости, она уничтожит, она должна будет уничтожить его. Она очень просит его поверить ее словам, не принимать их за пустой звук, ибо она, как он видит, на все способна и ко всему готова. Она обвинит его перед Петепра в том, в чем он, Иосиф, отказывает ей, уличив его в разбойничьем посягательстве на свою добродетель. Обвинив его в том, что он взял ее силой, причем этот ложный донос доставит ей высшее наслаждение, она сумеет и притвориться опозоренной жертвой насилия, чтобы никто не усомнился в ее показаньях. Ее слово и ее клятва, он может быть в этом уверен, будет иметь в доме как-никак больший вес, чем его, и никакое отпирательство ему не поажет. Кроме того, она убеждена, что он и не станет отпираться, а молча возьмет вину на себя, ибо это он виноват в том, что она дошла до такой ярости отчаянья, - виноват своими глазами, своим ртом, своими золотыми плечами, своим отказом любить, - и он должен согласиться, что совершенно не важно, в какое обвиненье облечена эта вина, ибо любое обвиненье оправдывается правдой его вины, и должен быть готов принять поэтому смерть. Но смерть эта будет такая, что он все-таки раскается в своем молчанье и, быть может даже, в своем жестоком отказе любить. Ибо когда дело идет о мести, такие люди, как Петепра, особенно изобретательны, и распутника, овладевшего госпожой, ждет такая изощренная казнь, что ничего более жестокого и придумать нельзя.

И она рассказывала ему, как он умрет из-за ее доноса, - она расписывала ему его смерть то звонким, певучим голосом, то на ухо, шепотом, который можно было принять за любовный лепет.

- Не надейся, - шептала она, - что расправа будет короткой, что тебя столкнут со скалы или повесят вниз головой, так что кровь сразу же хлынет тебе в мозг и ты дешево

отделаешься. Нет, такой милости не жди, когда тебе, по приказу Петепра, для начала расколошмятят палками спину. Ибо когда я обвиню тебя в подлом насилье, сердце его, как горы Востока, поднимет песчаную бурю, и беспредельны будут его жестокость и злость. Ужасно быть брошенным крокодилу и незащищенно, ибо ты связан, лежать в камышах, когда к тебе жадно приближается хищник, чтобы, подмяв тебя под свое мокрое брюхо, начать свой обед с твоих бедер или, например, с плеч, так что дикие твои крики сольются с его довольным чавканьем, потому что тебя никто не услышит или не станет слушать. Так бывало с другими, ты это слышал, ты испытывал поверхностное, не очень глубокое сострадание и в общем-то мирился с этим, потому что это не касалось твоей собственной плоти. Ну, а теперь, начав с плеч или бедер, зверь принялся уже за тебя, за твою плоть - так владей же собой, удержишься от нечеловеческого крика, вырывающегося у тебя из груди, - не зови, любимый, меня, которая хотела целовать тебя в те места, куда вонзят это мокрое чудовище свои гнусные зубы!.. А может быть, поцелуи будут другими. Может быть, тебя, мой красавец, положат на спину, зажмут твои руки и ноги железными скобами, навалят на твое тело всего, что хорошо горит, да и подожгут, и в муках, которых никто не опишет, которые, задыхаясь от боли и жалобных стонов, узнаешь лишь ты один, потому что все остальные будут на них только смотреть, обуглятся на медленном огне твоя прекрасная плоть... Вот как может быть, мой любимый, а может быть, тебя живьем бросят в яму вместе с двумя большими псами, а яму закроют бревнами и засыпят землей, и опять никто не в силах вообразить, даже ты сам, покуда предстоящее не свершится, что со временем произойдет в темноте между вами тремя... А знаешь ли ты о двери зала и о ее стержне? После моей жалобы ты будешь молиться и вопить о пощаде, потому что в глаз тебе воткнут дверной стержень, который будет поворачиваться у тебя в голове всякий раз, когда твоему мстителю вздумается пройти через эту дверь... Таковы лишь некоторые из наказаний, которые не минуют тебя, если я предъявлю тебе свое обвинение, как я готова, дойдя до предела отчаянья, поступить; а тебе уже не обелить себя после моей клятвы. Из жалости к себе самому, Озарсиф, - оставь мне твой венок!

- Госпожа и подруга, - отвечал он на это, - ты права, я не смогу обелить себя, если ты вздумаешь очернить меня перед моим господином подобным образом. Но из наказаний, которыми ты угрожаешь мне, Петепра придется выбрать какое-то одно; он не может подвергнуть меня всем сразу, а это уже известное ограничение его мести и моих мук. Мало того, в пределах этого ограничения мои муки будут ограничены человеческими возможностями, и какими бы эти границы ни были, - широкими или узкими, - переступить их страдание не может, ибо оно конечно. И блаженство, и страдание ты изображаешь мне безмерными, но ты преувеличиваешь, ибо и то и другое довольно быстро доходит до границ человеческих возможностей. Безмерной следовало бы назвать только ошибку, какую я совершил бы, если бы поссорился с господом, с богом, которого ты не знаешь, а потому и не можешь понять, что значит быть покинутым богом. Вот почему, дитя мое, я не могу выполнить твоего желанья.

- Горе твоему уму! - кричала она певучим голосом. - Горе ему! А вот я не умна! Я обезумела от безмерного желанья твоей плоти и крови, и я сделаю то, что говорю! Я любящая Изида, и взгляд мой - это смерть. Берегись, берегись, Озарсиф!

## ПРИЕМ ДАМ

Ах, она, наверно, казалась великолепной, бедная Мут, когда стояла перед ним и грозила ему звонким своим голосом. А между тем она была слаба и беспомощна, как ребенок, она совершенно не жалела своего достоинства и сказанья и в конце концов начала посвящать в свою страсть, в свое бессилие перед этим юношей всех и вся. Да, дело дошло до этого: не только смолоедка Табубу, не только побочная жена Ме-Эн-Уазехт были теперь посвящены в ее любовь и в ее беду, но и Рененутет, жена главного смотрителя говяд Амуна, но и Неит-эм-хат, супруга главного банщика фараона, но и Ахуаре,

благоверная Какабу, писца среброхранилищ и смотрителя царского среброхранилища, одним словом, все подруги, весь двор, половина города. Это было свидетельством великого перерождения, если на исходе третьего года своей любви она без стыда и оглядки сообщала, если, не стесняясь, навязывала всем и каждому то, что поначалу хранила в груди, хранила так гордо и так боязливо, что скорее бы умерла, чем призналась в этом любимому или кому бы то ни было. Да, не только степенный карлик Дуду переродился в этой истории, переродилась и Мут, госпожа, переродилась до полной утраты не только самообладания, но и цивилизованности. Это была одержимая, бесноватая, совершенно вышедшая из себя, не причастная уже к цивилизованному миру и чуждая его мерам, готовая отдать свои груди на растерзанье хищникам, оголтелая, ликующая, задыхающаяся, размахивающая тирсом менада. До чего она только не дошла? Говоря между нами и забегаая вперед, даже до того, что стала колдовать с черной Табубу. Но об этом позже. Сейчас мы только с сочувственным удивленьем отметим, что она трубила о своей любви и о неутоленном своем желанье направо и налево, не в силах сдержать себя ни перед кем, будь он высокого или низкого званья, так что вскоре о ее беде судачила вся дворня, и повара - помешивая в котлах и ощиывая птицу, а привратники - сидя на кирпичной скамье, говорили друг другу:

- Госпожа наша зарится на молодого управляющего, а он воротит от нее нос. Ну и дела!

Ибо именно такой вид приобретает подобное дело в посторонних умах и устах в силу того плачевного противоречия, что существует между священно-строгим и прекрасным своей болью представлением слепой страсти о себе самой, с одной стороны, и впечатлением, производимым ею на людей трезвых, для которых ее неспособность и нежеланье себя утаить - такой же скандал, такое же посмешище, как пьяный на улице...

Все пересказы нашей истории, за исключением, правда, наиболее нами уважаемого, но и самого скупого - и Коран, и семнадцать персидских песен, о ней повествующих, поэма Фирдуси, Разочарованного, которой он посвятил свою старость, и утонченно-зрелое изложение Джамии, - все они, как и бесчисленные произведения кисти и резца, знают о приеме, который примерно в это время устроила первая и праведная жена Потифара, чтобы, поведав и объяснив своим подругам, но-амунским дамам высшего света, свои страдания, вызвать сочувствие, да и зависть своих сестер. Ибо любовь, какой бы несчастной она ни была, - это не только бич и проклятье но одновременно и великое сокровище, которое не хочется скрывать. Упомянутые песни не свободны от ошибок, подчас они грешат неверными подробностями, прикрасами, где красивость, к которой они тяготеют, идет в ущерб строгой правде. Но насчет приема дам они не врут; и если они в этом случае, эффекта ради, отклоняются от той формы, в которой наша история первоначально рассказывала себя самое, и даже, из-за своих отклонений, взаимно уличают друг друга во лжи, то все же выдумали этот эпизод не их певцы, а сама наша история, точнее - жена Потифара, бедная Эни, и хитрость, с какой она задумала его и устроила, находилась в самом разительном, но и в самом закономерном противоречии с одержимым ее состоянием.

Нам, знающим тот отверзший глаза сон, что приснился Мут-эм-энет в начале трех лет любви, связь между ним и этой ее выдумкой, ход мыслей, который привел ее к этому грустному и остроумному способу открыть глаза и подругам, совершенно ясны; и действительность сна (а приметы его подлинности, право же, бросаются в глаза) служит нам лучшим доказательством не только историчности приема дам, но и того, что наиболее нам близкое и наиболее уважаемое нами предание умалчивает о нем единственно по своей лапидарной сдержанности...

Прологом к приему дам была болезнь Мут-эм-энет. То была довольно туманная по своим признакам болезнь, поражающая во всех историях безответно влюбленных царевен и

принцев, болезнь, которая обычно "смеется над искусством самых знаменитых врачей". Мут заболела, потому что таков закон, потому что так полагалось и надлежало, а положенному и надлежащему противостоять трудно; а еще потому, что ей очень нужно было (кстати, у царевен и принцев из других историй это тоже, кажется, сплошь да рядом главный мотив недуга), - ей непременно нужно было привлечь к себе внимание, взволновать окружающих и вызвать \_расспросы\_ - настойчивые, даже назойливые расспросы со всех сторон, мольбы ответить во имя жизни и смерти, ибо для единичных, более или менее искренних в своей озабоченности вопросов перемены, давно уже происходившие в ее внешности, давали повод и раньше. Она заболела из-за упорного желания занять свет своей одержимостью, занять его счастьем и мукой своей любви к Иосифу, - ибо что с точки зрения строго научной эта болезнь никаких других причин не имела, явствует хотя бы из того, что, когда пришлось принимать дам, Мут без труда поднялась со своего ложа и исполняла обязанности хозяйки - чему, впрочем, не следует удивляться, так как этот прием, безусловно, входил в программу болезни.

Итак, Мут не на шутку, хотя как-то непонятно, заболела и слегла. Два эlegantных врача, доктор из книгохранилища Амуна, тот самый, которого уже приглашали к старому управляющему Монт-кау, и еще один мудрец из храма, лечили ее, побочные жены Петепра, ее сестры из Дома Замкнутых, ухаживали за ней, а ее подруги по ордену Хатхор и по Южному Гарему Амуна навещали ее. С визитами являлись дамы Рененутет, Нект-эмхат, Ахуаре и многие другие. Прибывала на носилках и Нес-ба-мет, настоятельница ордена, супруга великого Бекнехонса, "предводителя жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта". И все, сидя у постели одержимой поодиночке или же по две и по три, словоохотливо выражали ей свое соболезнование и расспрашивали ее кто от чистого сердца, кто равнодушно, учтивости ради, а кто и со злорадством.

- Эни, поющая таким сладостным голосом! - говорили они. - Ради Сокрытого, что с тобой и зачем ты, о злая, нас так огорчаешь? Как верно то, что жив царь, верно и то, что ты давно уже не та, какой ты была, и мы - а мы носим тебя в душе, - мы все замечаем в тебе перемены, признаки недомогания, которые, разумеется, не нанесли урона твоей красоте, но тем не менее внушают нам заботливую тревогу. Да избавят тебя боги от сглаза! Мы все видели и с горячими слезами сообщали друг другу, что твой недуг сказался в исхудании, которое, правда, коснулось не всех частей твоего тела - иные из них, наоборот, еще пышней расцвели, но зато другие действительно стали слишком худыми: похудели, например, щеки; к тому же и глаза твои стали глядеть как-то оцепенело, а твой знаменитый змеистый рот искажен мукой. Все это мы, подруги твои, видели и, плача, обсуждали между собой. А теперь недомогание твое дошло до того, что ты слегла, что ты не ешь и не пьешь, и твоя болезнь смеется над искусством врачей. Когда мы об этом узнали, мы, право, забыли обо всем на свете, так велик был наш ужас! Мы засыпали вопросами мудрецов из книгохранилища, твоих врачей Те-Гора и Пете-Бастета, и они ответили нам, что уже почти исчерпали свое искусство и близки к беспомощности, Им известно всего лишь несколько средств, от которых еще можно ждать какой-то пользы, ибо надо всеми другими, примененными ранее, твое недомогание безжалостно посмеялось. Велико, наверно, то горе, что снедает и гложет тебя, как мышь, которая губит дерево, подточив корень. Во имя Амуна, милая, правда ли это, снедает ли тебя какое-то горе? Назови его нам, своим подругам, покамест оно, проклятое, не убило тебя!

- Допустим, - отвечала слабым голосом Эни, - что у меня есть какое-то горе, - что толку мне называть его вам? При всей своей доброте, при всем своем сочувствии, вы не сможете избавить меня от него, и, вероятно, мне ничего другого не останется, как умереть.

- Значит, это правда, - восклицали они, - но неужели горе, которое изводит тебя, действительно так велико?

И дамы звонкоголосо удивлялись, как это может быть. Такая женщина, как она! Она, принадлежащая к сливкам общества стран, богатая, волшебной красивой, которой завидуют женщины царства! Чего ей не хватает? В чем она должна себе отказывать? Подруги Мут этого не понимали. Они упорно расспрашивали ее, одни из сострадания, другие из любопытства, злорадства, любви к сильным ощущениям, - и больная долго уклонялась от ответа, устало и безнадежно отказываясь говорить потому, что они ведь ей все равно не помогут. В конце концов, однако, - ну, ладно, - она заявила, что даст им ответ всем вместе, одним разом, когда дамы в полном составе придут к ней в гости, и что она их пригласит в ближайшее время. Ибо если она, даже без аппетита, немного поест, подкрепит, например, птичьей печенкой и овощами, она, надо надеяться, найдет в себе силы подняться с постели, чтобы открыть подругам причину своего недомогания и происшедших с ней перемен.

Сказано - сделано. Уже в следующей лунной четверти - это было незадолго до нового года и великого праздника Опета, во время которого в доме Потифара суждено было произойти столь важным событиям, - Эни действительно пригласила гостей и устроила в покоях потифаровского гарема тот дамский прием, о котором так много, но не всегда верно пелось впоследствии, довольно большой послеобеденный прием, которому придавало особый блеск присутствие Нес-ба-мет, супруги Бекнехонса и Первой из жен гарема, и где не было недостатка ни в чем - ни в цветах, ни в благовониях, ни в прохладных, частью хмельных, частью же только освежающих напитках, ни в многообразных пирожных, засахаренных фруктах и тягучих сладостях, которые подавались молодыми служанками в приятно облегающих одеждах, с черными косицами на затылках и покрывалами на щеках - новшеством, вызвавшим дружное одобрение. Великолепный оркестр, состоявший из девушек с арфами, лютнями и двойными флейтами, одетых в широкие, тонкие, как паутина, платья, сквозь которые виднелись вязаные набедренные кушаки, играл в фонтанном дворе, где непринужденными группами, частью между ломившимися от блюд поставцами, на скамейках и креслах, частью же на пестрых циновках, разместилось подавляющее большинство дам. Однако и знакомая нам колонная палата, откуда, кстати, изображение Атуа-Ра снова убрали, тоже была заполнена ими.

Подруги Мут были красивы и нарядны: душистый жир, подтаивая, стекал у них с макушек по распущенным, но скрученным бахромой волосам, сквозь которые проступали золотые диски серег; тела их были приятно смуглы, блестящие их глаза доставали до висков, их носики самым недвусмысленным образом свидетельствовали об их заносчивости и резвости, а фаянсовые и самоцветные узоры их воротников и запястий, кисея, обтягивавшая их милые груди и сотканная, казалось, из солнечного золота или лунного света, были самой совершенной выделки. Они нюхали лепестки лотосов, угощали друг друга лакомствами и болтали щебечуще-звонкими и теми хрипловато-низкими голосами, которые тоже часто бывают у женщин в этих широтах, - у Нес-ба-мет, например, жены Бекнехонса, был именно такой голос. Болтали они о близком празднике Опета, о великом передвижении святой тройки на стругах и в капищах, на суше и на воде, об ублажении бога в Южном Доме Утех, где они, дамы, будут плясать, бить в бубен и петь перед Амуном как его наложницы и обладательницы сладостных голосов. Эта тема была и важной и приятной; и все-таки она была сейчас только поводом, позволявшим заполнить болтовней ожидание того мгновения, когда наконец хозяйка дома даст им ответ, когда она взволнует их, назвав причину своей болезни.

Она сидела среди них у бассейна с видом страдальцы, вымученно улыбаясь змеистым ротиком, и ждала, когда придет ее миг. Как во сне и по образцу сна готовилась она открыться своим подругам и как во сне была уверена, что ее представление удастся. Оно совпало с разгаром угощения. В украшенных цветами корзинах лежали наготове

прекрасные плоды: душистые золотые шары, в обилье таившие под ворсистой кожурой освежающий сок, индийские цитрусы, китайские яблоки - лакомства очень редкие; а рядом были приготовлены чудесные ножички для фруктов - с украшенными насечкой лазуритовыми рукоятками и гладкими-прегладкими лезвиями, на которые хозяйка дома обратила особенное внимание. По ее приказу они были наточены и направлены чрезвычайно остро - настолько, в самом деле, остро, что, наверно, никогда на свете не бывало еще таких острых ножичков. Они были так тонки, так остры, что ими без труда можно было сбрить самую жесткую бороду - только для этого потребовалась бы величайшая сосредоточенность, ибо стоило бреющемуся зазеваться или вздрогнуть - и не миновать ему самых тягостных неприятностей. Вот как были отточены эти ножички - прямо-таки опасно; казалось, достаточно лишь приблизить к лезвию кончик пальца - и сразу же брызнет кровь... И это все, что было приготовлено? Отнюдь нет. Было еще дорогое заморское вино с Кипра, десертное, огненно-сладкое, которое предполагалось подать к апельсинам; и предназначавшиеся для него прекрасные кубки из ковального золота и муравленной оловом расписной глины были даже первым, что по знаку хозяйки роздали гостям в фонтанном дворе и в колонной палате хорошенькие служанки, единственную одежду которых составляли пестрые набедренные кушаки. А кто же должен был разлить по кубкам островное вино? Те же хорошенькие? Нет, решила хозяйка, этим и угощенью и гостям была бы оказана слишком малая честь. - Мут распорядилась иначе.

Она снова сделала знак, и золотые яблоки и премилые ножички были розданы дамам. То и другое вызвало восторженный щебет: хвалили фрукты, хвалили изящные ножички, точнее сказать - именно их изящество, ибо о главном их свойстве никто не знал. Все тотчас же принялись чистить плоды, чтобы добраться до сладкой мякоти; вскоре, однако, вниманье гостей было отвлечено от этого занятия, и глаза их устремились вверх.

Еще раз подала знак Мут-эм-энет, и тут уж на сцену вышел сам виночерпий; это был Иосиф. Да, ему поручила эти обязанности влюбленная, но, потребовав от него, как госпожа, чтобы он собственноручно разливал кипрское, она не посвятила его в прочие свои приготовления, так что он не знал, какому признанью служит. Мы знаем, ей было больно обманывать его таким умолчанием и преднамеренно злоупотреблять его образом; но уж очень ей нужно было открыться подругам, излить им душу. Поэтому она и предъявила ему такое требование и однажды, когда он снова самым бережным образом отказал ей в своей близости, сказала ему:

- Тогда, Озарсиф, ты, может быть, согласишься оказать мне хотя бы такую услугу - собственноручно разливать послезавтра на моем дамском празднике девятижды отменное вино из Алашии - во-первых, в знак его отменности, во-вторых, в знак того, что ты меня все-таки немножечко любишь, а в-третьих, в знак того что я имею какой-то вес в этом доме, коль скоро глава его прислуживает мне и моим гостям?

- Разумеется, госпожа, - отвечал он. - Это я с радостью сделаю. С величайшим удовольствием буду я разливать вино, если тебе так угодно. Ибо я готов служить тебе душой и телом во всех делах, кроме греховного.

Вот почему сын Рахили, молодой управляющий Петепра, неожиданно появился во дворе среди чистивших фрукты дам, появился в белом и тонком праздничном платье, с пестрым микенским кувшином в руке, поздоровался, совершил возлиянье и принялся, обходя сидевших, наполнять кубки. Все дамы, и те, что уже имели случай его лицезреть, и те, что еще не встречались с ним, забыли при виде его не только свое занятие, но, так сказать, и самих себя; теперь они только и знали, что глядели на виночерпия, а коварные ножички между тем сделали свое дело, и дамы, все как одна, ужасно обрезали себе пальцы - причем они даже не сразу заметили эту неопрятную неприятность, ибо порез

таким переостренным лезвием почти нечувствителен, тем более в том состоянии полной рассеянности, в каком сейчас находились подруги Эни.

Некоторые объявляют эту известную по многим изображениям сцену апокрифической, не принадлежащей той истории, которая действительно произошла. Напрасно; ибо сцена эта правдива и в ней нет решительно ничего невероятного. Если учесть, что, с одной стороны, дело шло о красивейшем в своем окружении юноше, а с другой - о самых острых, какие, наверно, когда-либо видел мир, ножичках, то становится ясно, что этот эпизод не мог протекать иначе, то есть бескровнее, чем он действительно протекал, и что та рожденная сновиденьем уверенность, с какой Мут рассчитала и предугадала эти события, была совершенно оправдана. Со страдальческим лицом, этой маской из хмурости и змеистости, взирала она на содеянное, на это тихо начавшееся кровопролитие, замеченное поначалу ею одной, так как лица похотливо глазевших дам следили за юношей, который постепенно удалялся по направлению к колонной палате, где, как по праву была уверена Мут, должно было произойти в точности то же самое. Только когда любимый скрылся из виду, она, нарушая тишину, спросила с ехидной озабоченностью:

- Душеньки мои, что с вами, что вы делаете? Вы же проливаете свою кровь!

Это было ужасное зрелище. Так как у многих быстрые эти ножички врезались в руку чуть ли не да вершок, то кровь не только сочилась, но лилась и текла; ручки с золотыми яблоками были сплошь залиты красной влагой, она впитывалась в нежные, как лепесток, ткани платьев на коленях, образуя там лужицы и стекая на кончики ножек, на каменный настил. Как принялись дамы ахать и охать, причитать, визжать, закатывать глаза, когда заметили это после притворно удивленного возгласа Мут-эм-энет! Некоторые, не переносившие вида крови, особенно собственной, готовы были упасть в обморок и только благодаря цитварному маслу и нюхательным флакончикам, с которыми суежились между ними хорошенькие служанки, не потеряли сознания. Да и вообще пострадавшим была оказана необходимая помощь; хорошенькие тотчас же прибежали с тазиками, полотенцами, уксусом, корпией и разорванными на полосы холстинами, так что вскоре дамский кружок стал напоминать лазарет или перевязочный пункт - и здесь, и в колонном покое, куда на мгновение отлучилась Мут-эм-энет, чтобы убедиться, что и там все в крови. Рененутет, супруга смотрителя говяд, оказалась среди тяжело раненных, и на время ее ручку пришлось прямо-таки умертвить, насильно отделив ее, так что она даже пожелтела, от общего жизнеброжения тугой повязкой, чтобы остановить кровь. Сильно порезалась и Нес-ба-мет, низкоголосая жена Бекнехонса. Ее платье было испорчено, и она громко кого-то бранила, покуда две девушки - одна черная, другая белая - утешали и врачевали ее.

- Любезнейшая настоятельница и вы, мои душеньки, - лицемерно заговорила Мут-эм-энет, когда тишина и порядок более или менее восстановились, - как это могло получиться, как это случилось, что вы у меня так порезались и это красное происшествие обесчестило дамский мой праздник? Хозяйке невыносимо неприятно, что это произошло у меня в доме, - но как же это могло произойти? Бывает, конечно, что за фруктами кто-нибудь и порежется, - но чтобы порезались все сразу, а некоторые и до кости? Такого еще, насколько я знаю мир, не бывало, и, наверно, это останется в истории общества стран единичным случаем, - так я, по крайней мере, надеюсь. Но утешьте меня, мои милые, скажите мне, как это могло получиться?

- Ничего, пустяки, - ответила своим басом за остальных женщин Нес-ба-мет. - Пустяки, Эни, все обошлось еще довольно благополучно, хотя красный Сет и испортил наши предвечерние платья, а некоторые из нас еще бледны от потери крови. Не огорчайся! Мы верим, что намеренья у тебя были самые добрые, и твой прием фешенебелен во всем,

вплоть до мелочей. Но все-таки, моя милочка, ты позволила себе поступить весьма необдуманно - я говорю без обвиняков и за всех. Поставь себя на наше место! Пригласив нас, чтобы открыть нам причину своего недуга, который смеется над искусством врачей, ты заставляешь нас ждать своего признания, - следовательно, наши нервы и так уже напряжены, и мы прячем свое любопытство за искусственной болтовней. Ты видишь, я откровенна, я без жеманства, от имени всех нас, говорю самоочевидную правду. Ты угощаешь нас золотыми яблоками - очень хорошо, очень похвально, даже у фараона они бывают не каждый день. Но как раз в тот миг, когда мы собираемся их очистить, ты приказываешь, чтобы в наш чувствительный круг вступил этот виночерпий, - кто бы он ни был, хотя я полагаю, что это ваш молодой управляющий, которого и на суше, и на водных дорогах называют "Нефернефру"; достаточно позорно и то, что мы, высокородные дамы, вынуждены разделять мнение и вкус людей плотин и каналов, но в данном случае о вкусах не приходится спорить, ибо и лицом и телом этот юноша небесно хорош, и если внезапное появление среди стольких нервных женщин даже и менее очаровательного юноши способно уже и само по себе вызвать у них шок, - то как же не остолбенеть от восторга, когда перед тобой появляется такой красавчик и наклоняет над твоим кубком кувшин? Тут уж нельзя требовать от гостей, чтобы они помнили о своих ножичках и берегли свои пальцы от грозящей им незадачи! Мы доставили тебе много хлопот своими порезами, но я не могу не сказать тебе, Эни со сладостным голосом, что ты сама виновата в этом конфузе, и не могу не упрекнуть тебя за твои шокирующие распоряженья.

- Совершенно справедливо! - воскликнула Рененутет, смотрительша говяд. - Придется тебе, милочка, принять этот упрек, ибо своей затеей ты сыграла с нами такую шутку, которую мы все будем долго еще вспоминать - и если не со злостью, то только потому, что у тебя по твоей невинности и в мыслях ничего подобного не было. Но в том-то и беда, милочка, что ты совершенно забыла о бережной осмотрительности и должна, если ты справедлива, винить за неловкость этого красного происшествия себя самое. Не ясно ли, что умноженная женственность столь многочисленного дамского общества оказывает, в свою очередь, влияние на каждое отдельное женское начало, предельно повышая его чувствительность? В такой круг ты неожиданно вводишь нечто мужское - и в какой момент? В момент, когда все чистят яблоки! Милая моя, да могло ли это сойти бескровно, - сама посуди! И вдобавок это был не кто-нибудь, а этот виночерпий, ваш молодой управляющий, настоящий красавец! Мне стало при виде его совершенно не по себе - я говорю как есть, без обвиняков, ибо в такой час и при таких обстоятельствах избыток чувств требует выхода и можно позволить себе высказаться начистоту. Я женщина, отдающая должное всему мужскому, и поскольку это и так уже вам известно, то я просто бегло упомяну, что, кроме своего супруга, директора говяд, мужчины в расцвете сил, я общаюсь также с одним известным вам офицером-телохранителем и с одним молодым жрецом дома Хонсу, захаживающим также и в мой дом, - вы же и без того это знаете. Но все это не мешает мне быть, так сказать, начеку в отношении мужской стати, усматривая в ней что-то божественное, - и особую слабость питаю я к кравчим. В кравчем всегда есть что-то от бога или от любимца богов, - не знаю, почему мне так кажется, - это связано с его должностью, с его повадкой. Ну, а уж этот нефертем, этот голубой лотос, этот исполненный шарма юнец с кувшином... Милые мои, я обомлела. Я была совершенно уверена, что вижу бога, и от благочестивой радости не чуяла под собой земли. Я вся превратилась в зрение и, заглядевшись, всадила ножичек в палец до самой кости. Кровь моя полилась ручьем, а я и не заметила, так я забылась. Но это еще полбеды, ибо я уверена, что теперь, как только я начну чистить фрукты, в душе моей тотчас возникнет образ твоего смазливого, твоего окаянного кравчего, и я опять, замечтавшись, раскрою себе руку. Так что лучше уж мне вообще отказаться от фруктов, которые нужно чистить, хотя я большая до них охотница. Вот что ты наделала, душенька, опрометчивой своей затеей!

- Да, да! - закричали все дамы, и не только дамы фонтанного двора, но и дамы колонной палаты, которые во время речей Нес-ба-мет и Рененутет перешли во двор. - Да, да! - кричали они наперебой высокими и низкими голосами. - Так оно и есть, так оно и было, говорившие совершенно правы, мы чуть не зарезали себя в замешательстве при виде твоего кравчего. Вместо того чтобы назвать нам причину своего недомогания, для чего ты нас и пригласила, ты сыграла с нами, Эни, такую шутку!

Тогда Мут-эм-энет придавала своему голосу всю его певучую силу и воскликнула:

- Дуры! - воскликнула она. - Я не только назвала - я показала вам причину смертельного моего недуга и всех моих бед! Поглядите же на меля, если вы не могли наглядеться на него! Вы видели его лишь несколько мгновений и, потеряв голову, изранили себя так, что все вы еще бледны от красной беды, в которую ввергнул вас его вид. А я должна или вольна видеть его ежедневно и ежечасно - каково же мне в этой непрестанной беде? Я спрашиваю вас: как мне быть? Ибо этот мальчик, о слепые, которым я напрасно дала прозреть, этот управляющий и кравчий моего мужа - он и есть мое горе и моя смерть, он очаровал меня насмерть своими глазами и устами, и только из-за него, сестры, проливаю я, бедная, свою алую кровь и умру, если он не остановит ее. Ибо вы при виде его порезали себе только пальцы, а мне любовь к его красоте изрезала сердце, и я исхожу кровью!

Мут пропела это срывающимся голосом и, бессильно рыдая, упала в кресло.

Можно представить себе праздничную взбудораженность, которую сообщило это признание хору подруг! В точности так же, как раньше Табубу и Ме-эн-Уазехт, отнеслись они к потрясающей новости, что Мут полюбила, и соответственно повторили в своем обращении с одержимой знакомый нам образец: они окружили ее, гладили, осыпали растроганной разноголосицей поздравлений и соболезнований. Но взгляды, которыми они украдкой при этом обменивались, свидетельствовали еще кое о чем, кроме нежного участия, - а именно о недоброй разочарованности тем, что больше ничего не стряслось и что все это притязательное горе сводится к самой обыкновенной влюбленности в раба; о молчаливом недоброжелательстве, об общеженской ревности, но в первую очередь о злорадной удовлетворенности тем, что с Мут, с этой гордой и чистой, с этой непорочной, как Луна, невестой Амуна, случилась на старости лет такая обыкновенная беда, что, томясь по смазливом слуге, она не сумела даже не проболтаться, а беспомощно выдала всем свое снижение до обычного дамского уровня, возопив: "Как мне быть?" Это льстило подругам, хотя от них и не ускользнуло, что за таким беззаветным, во всеуслышание, признанием крылось все еще прежнее самомнение, склонное видеть в самых обыкновенных вещах, если только они выпали на долю Мут, нечто из ряда вон выходящее, способное потрясти мир, - а это уже злило подруг.

Но если все это отчасти и выражалось во взглядах, которыми обменивались дамы, то их торжество по поводу такой сенсации, такого чудесного великосветского скандала было все же достаточно велико, чтобы сделать их способными к искреннему участию, к женскому сочувствию одержимой сестре, а поэтому они обступили подругу, принялись ее обнимать, затараторили, утешая и поздравляя влюбленную и многословно удивляясь счастьем юноши, которому дано пробудить подобные чувства в груди своей госпожи.

- Да, милая Эни, - заливались они, - ты вразумила нас, и нам вполне понятно, что это не шутка для женского сердца, если женщина поневоле вольна ежедневно лицезреть такого красавца - не диво, что и ты наконец-то потеряла сердечный покой! Счастливец! Что столько лет не удавалось ни одному мужчине, того он достиг своей молодостью: он взволновал твою душу, святая подруга! Ему это и во сне не снилось, но сердце не знает предрассудков, оно не спрашивает о чине и званье. Он не княжеский сын, не офицер, не

тайный советник, он всего-навсего управляющий твоего мужа, но он смягчил твое сердце, и в этом его чин и отличие, а то, что он чужеземец, что он из Азии, что он так называемый еврей, это придает делу особую пикантность, особый шик. Как обрадовались мы, дорогая, как стало у нас легко на душе, когда мы узнали, что все твое горе, все твое недомогание в том лишь и состоят, что тебе пришлось по вкусу этот красавец! Прости, если мы перестанем бояться за тебя и начнем бояться за него; ведь что он может лишиться рассудка от такой чести, это сейчас, пожалуй, единственное основание для беспокойства, - а в остальном дело кажется нам довольно простым!

- Ах, - рыдала Мут, - если бы вы знали! Но вы не знаете, и я знала, что вы еще долго ничего не будете знать и ничего не поймете, даже когда я вам открою глаза. Ведь вы же понятия не имеете о том, как обстоит с ним дело и что это такое - ревность бога, которому он принадлежит и венец которого носит, а потому не снисходит до того, чтобы остановить мою кровь, кровь египетской женщины, и не внемлет душою моим призывам! Ах, сестры, лучше бы вы не заботились о его рассудке, а отдали бы всю свою заботливость мне, которой суждено умереть из-за его божественной неприступности.

Тут подруги забросали ее вопросами по поводу этой неприступности, не веря своим ушам, что слуга не сходит с ума от такой чести, а отказывает госпоже. Взгляды, которыми они обменивались, свидетельствовали, пожалуй, и об одном ехидном предположении, что, мол, их Эни как-никак слишком стара для этого красавца и он морочит ей голову благочестивыми отговорками, потому что она ему не по вкусу. И многие обольщались мыслью, что они-то уж пришлось бы ему по вкусу; но все-таки в их отклике преобладало искреннее возмущение строптивостью раба-чужеземца, и Нес-ба-мет, например, басистая настоятельница, объявила этот случай, с такой точки зрения, скандальным и нетерпимым.

- Уже как женщина, - сказала она, - я, дорогая моя, на твоей стороне, и твое горе - это мое горе. Но, кроме того, дело это, по-моему, политическое, храмово-государственное, ибо в нежелании этого сопляка (прости, ты любишь его, но я называю его так в праведном гневе, а не для того, чтобы оскорбить твои чувства) - в его нежелании принести тебе дань своей молодости налицо непокорность прямо-таки противодержавная, равнозначная мятежному отказу какого-нибудь городского баала Ретену или страны фенехийцев выплачивать надлежащий оброк Амуну, на что следовало бы, само собой разумеется, ответить немедленным карательным походом, даже если бы его стоимость и перекрывала размеры дани, - чтобы поддержать честь Амуна. Вот в каком свете, милочка, видится мне твое горе, и, возвратясь домой, я сразу же обсужу это вопиющее проявление кенанитского бунтарства со своим супругом, предводителем жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта, и спрошу у него, какими мерами следует, по его мнению, положить конец подобному порядку.

На этом, под оживленную болтовню расходившихся дам, и кончился тот ставший знаменитым и лишь сейчас наконец-то описанный в соответствии с подлинным его ходом прием, благодаря которому главным образом Мут-эм-энет и умудрилась сделать свою несчастную страсть предметом городских сплетен; и хотя в иные, белее светлые мгновенья Мут и ужасалась такому итогу, но, с другой стороны, все более перерождаясь, она находила в нем какое-то упоенье; ведь большинство влюбленных считает, что их чувству не оказано должной чести, если о нем, пусть даже с издевкой и презрением, не говорят всюду и все: о нем нужно раструбить на весь мир. К тому же подруги, порознь или небольшими компаниями, часто навещали ее теперь, чтобы узнать о состоянии ее горя, утешить ее и помочь ей советами, которые, однако, глупо пренебрегали фактическими, совершенно особыми обстоятельствами, так что страдальце оставалось только пожимать плечами и отвечать: "Ах, дети, вы болтаете, вы даете советы, а ведь вы ничего в этом не смыслите: тут особый случай", - что опять-таки злило фиванских дам,

которые потом говорили между собой: "Если она думает, что это не нашего ума дело и какой-то особый случай, то пусть она помалкивает и не посвящает нас в свои заботы!"

А еще ее навещал, прибывая на носилках в гарем Потифара со стражей сзади и спереди, первосвященник Амуна, великий Бекнехонс, которого жена уведомила об этом деле и который отнюдь не был склонен отнести к нему легкомысленно, а, напротив, усматривал в нем высшие интересы. Этот могущественный плешивец, этот священный сановник в леопардовой шкуре поучал Мут, вышагивая с выпяченной грудью и задранным вверх подбородком перед ее львиногогим креслом, и рассуждал так: никакие личные и моральные соображения не идут в счет при разборе этой истории, которую, при всей ее огорчительности с точки зрения нравственных правил и общественного порядка, нужно, коль скоро уж она началась, довести до конца но соображеньям более значительным. Как священник, наставник душ и поборник благочестивой строгости, а также как друг Петепра и его сотоварищ при дворе, он должен осудить Мут за вниманье, уделяемое ею этому юноше, и воспротивиться желаниям, которые тот у нее вызывает. Однако строптивое поведение чужеземца, его отказ отдать причитающуюся с него дань оскорбительны для храма, который вынужден требовать, чтобы это дело было как можно скорее улажено во славу Амуна. Поэтому он, Бекнехонс, должен, совершенно не считаясь ни с какими личными мнениями, повелительно потребовать от своей дочери Мут, чтобы она, не останавливаясь ни перед чем, добилась от этого упрямого покорности - не ради собственного удовольствия, хотя и таковое, - правда, без его, Бекнехонса, одобрения она попутно получит, а для удовлетворения храма; в случае же необходимости к этому нерадивому юноше следует применить меры принудительного характера.

Что такое духовное напутствие, что такое полномочие на ошибочный шаг пришлось Мут по сердцу, что она ухитрилась увидеть в нем усиление своей позиции по отношению к любимому, - это с огорчительной ясностью показывает нам, до чего она дошла, - она, которая еще недавно, в полном соответствии со своей цивилизованностью, ставила свое счастье и свою боль в зависимость от свободы его живой души, а теперь, в беспомощности своего чувства, пала так низко, что мысль о храмово-полицейском насилии над возлюбленным доставляла ей какую-то отчаянную, какую-то извращенную радость. Да, ей впору было уже колдовать с Табубу.

Но Иосиф тоже не остался в неведении насчет точки зрения храма Амуна; ибо для верного Бес-эм-хемчика не существовало щелок настолько узких, чтобы нельзя было, спрятавшись в них, тайно присутствовать при разговоре великого Бекнехонса с Мут-эм-энет и, подслушав своими чуткими карличьими ушами его наставления, незамедлительно передать их своему подопечному. Тот узнавал их и находил в них лучшее подтверждение своего взгляда, что все это не что иное, как тяжба между державой Амуна и господом богом и что ни в коем случае, чего бы это ни стоило и как бы ни противоречила такая необходимость адамовскому желанью, его бог, его господь не должен тут потерпеть поражение.

## СУКА

Так вот и получилось, что, переродившись и обезумев от любовной муки, гордая Мут-эм-энет снизошла до действий, которые она еще совсем недавно так благородно отвергла; что, скатившись на уровень кушитянки Табубу, она согласилась пуститься с ней на тайные и неблагоприятные ухищренья, а проще сказать - на приворотное колдовство, и принести для этого жертву одному отвратительному божеству преисподней, имени которого она даже не знала, да и не хотела знать, - Табубу называла его просто "сука", и этого было достаточно.

От этого призрака ночи, от этой, как можно было заключить, гнусной кикиморы и мегеры,

негритянка обещала добиться, благодаря своему заклинательскому искусству, сочувственного исполнения желаний госпожи, и Мут в конце концов дала на это согласие - в знак того, что она отказалась от души любимого и готова была радоваться, если ей доведется обнимать только его тело, то есть теплый труп, - а если и не радоваться, то, уж во всяком случае, печально этим довольствоваться; ибо ворожкой и колдовством можно, разумеется, приворотить и прибрать к рукам только тело, но никак не душу, и нужна высокая степень безутешности, чтобы утешиться теплым трупом и мыслью, что насыщает любовь главным образом тело и что без души тут, пожалуй, все-таки легче обойтись, чем без тела, как ни жалко то насыщенье, которое может доставить труп.

Что Мут-эм-энет в конце концов пошла на отсталые предложения смолоедки и согласилась ведьмачить с Табубу, было связано, впрочем, и с природой ее собственного тела, с его ведьмовством, в котором она, как мы видели, вполне отдавала себе отчет и разительные приметы которого казались ей свидетельством ее сословного права, больше того, ее обязанности подтвердить такое его свойство делами. Нельзя забывать, что ее новое тело было порождено, было сотворено любовью, то есть горестно-страстным усилением женственности Мут; да и вообще ведьмовство - это не что иное, как чрезвычайно усиленная, как непозволительно прелестная, доведенная до крайности женственность; из этого следует не только то, что ведьмачили всегда по преимуществу и даже исключительно женщины, так что мужчин-ведьмаков почта не бывает, но, естественно, и то, что любовь играла тут всегда важнейшую роль, будучи издавна средоточием всякого чародейства и что любовные чары - это, собственно, сущность всяческой магии, ее естественнейший и главнейший предмет.

Доля распутности в облике Мут, с должной деликатностью также нами отмеченная, способствовала, наверно, тому, что она оказалась настроена и сочла даже своей обязанностью прибегнуть к чародейству, позволив Табубу приступить к своему сомнительному обряду; ибо божество, которому обряд этот посвящался, было, по словам негритянки, олицетворением распутства, божественной распутницей и распутной богиней, высшей совокупностью и воплощеньем всех отталкивающих качеств, так или иначе связанных с понятием распутства, чудовищем с нечистоплотнейшими привычками, архираспутницей. Такие божества существуют и должны существовать в мире, ибо у мира есть стороны, которые, хоть они и покрыты кровью и грязью и, кажется, мало подходят для обожествленья, однако, так же как и другие, более привлекательные, нуждаются в вечном представительстве и предстательстве, в духовном, так сказать, воплощенье или в олицетворенной духовности, поэтому имя и природа божества оказываются подчас омерзительными, и сука и госпожа соединяются в одном лице: ведь дело идет об архисуке, а ей как таковой присущи качества владычицы, госпожи, - и то воплощенье грязной развращенности, которое она собиралась призвать на помощь, Табубу и в самом деле называла "благая госпожа сука".

Чернокожая эта женщина считала своим долгом подготовить Мут к тому, что своеобразный стиль задуманного обряда не будет соответствовать светским привычкам знатной дамы; заранее извинившись за это перед ее благородством, она попросила Мут примириться на сей раз ради успеха дела с тем грубым тоном, которого никак нельзя будет избежать, поскольку никакого другого "благая госпожа сука" не признает и без весьма бесстыдных оборотов речи с ней не поладишь. Не отличается этот обряд и особой опрятностью, предусмотрительно сообщила Табубу, - ибо часть необходимых для него предметов очень неаппетитна, - кроме того, дело не обойдется без ругательств и похвальбы; пусть госпожа будет готова ко всему этому и пусть она на это не сердится, а если и рассердится, то не подаст виду; ведь тем-то и отличается такой насильственный акт от привычного ей богослужения, что он жесток, заносчив и жуток: не по умыслу человека, не потому, что это ему по вкусу, а просто в силу бесстыдной природы призываемой, природы госпожи-суки, служенье которой не может не быть грубым и чье

архираспутство уже само предопределяет малую пристойность обряда. Впрочем, заметила Табубу, радению, предпринимаемому с тем, чтобы, насильственно приворожив юношу, добиться лишь телесной его покорности в любви, особая деликатность даже и не пристала...

Мут побледнела и прикусила губу при этих словах - наполовину от ужаса, ужаса человека цивилизованного, наполовину же от ненависти к этой неряхе, которая сама навязывала и наконец навязала ей свою приворотную ворожбу, а теперь, когда она, Мут, поддалась на ее уговоры, весьма оскорбительно напомнила ей о презренности такого решенья. Человеку очень давно известно, что его совратители, пытающиеся принизить его, всегда, когда их попытки удаются, пугают и оскорбляют его еще и наглостью, с какой они начинают говорить об этой новой, еще непривычной для соблазненного ступени. Гордость требует от него в этом случае, чтобы он ничем не выдал своего страха и своего смущения, а отвечал: "Ну что ж, пусть будет, как будет, я же знал, на что иду, когда решил принять твой совет". Примерно так и ответила Мут, упрямо выказав первоначально чуждую ей решимость приворотить любимого колдовством.

Ей пришлось потерпеть еще несколько дней: во-первых, потому, что чародейка должна была сделать кое-какие приготовления и под рукой не было всех необходимых принадлежностей обряда, к которым относились не только такие жуткие и не вдруг добываемые предметы, как кормило погибшего корабля, перекладина виселицы, тухлое мясо, те или иные части тела казненного преступника, но в первую очередь клочок волос с головы Иосифа, который хитростью и подкупом Табубу должна была предварительно заполучить в домовый цирюльне: а во-вторых, потому, что нужно было дожидаться полнолуния, чтобы благодаря полной поддержке этого двойственного, по отношению к солнцу женского, а относительно земли мужского, светила, которое в силу такой двойственности служит порукой известного единства вселенной и годится в переводчики между бессмертным и смертным началом, действовать уверенней и с большими видами на успех. Кроме Табубу, исполнительницы жертвенного обряда, и Мут, просительницы, в этом акте насилия должны были участвовать еще одна девушка-арапка в качестве служки и наложница Ме-эн-Уазехт в роли свидетельницы. Местом действия была избрана плоская крыша гарема.

Страшный, желанный ли или желанный, но страшный, ожидаемый с нетерпеливым стыдом, - любой день когда-нибудь да приходит и становится днем жизни, принося предстоявшее. Пришел и большой день богато надеждами паденья Мут-эм-энет, когда она, в горе, изменила своему достоинству и унизилась до недостойных действий. Ибо когда часы этого дня, как прежде дни, были выжданы и преодолены один за другим; когда солнце скрылось, его посмертная слава померкла, земля окуталась мраком, а над пустыней, невероятно большая, встала луна, сменяя своим заемным сияньем гордый и неподдельный свет, который угас, и заменяя сверкающий день сомнительными ухищрениями своей печальной и бледной магии; когда она, медленно уменьшаясь, всплыла к вершине вселенной, когда жизнь угомонилась, а в Потифаровом доме, свернувшись калачиком и с умиротворенными лицами, все тоже самозабвенно припали к материнской груди сна, - тогда четверем не спавшим женщинам, у которых на эту ночь было назначено тайное женское дело, пришло время собраться на крыше, где Табубу с помощницей уже все приготовили, чтобы принести жертву.

Поднимаясь по лестницам дома, по той, что вела из фонтанного двора на низкий второй этаж, и затем по другой, более узкой, на крышу, Мут-эм-энет - она была в белом, закрывавшем плечи плаще и держала в руке горящий факел, - так торопилась, что побочная жена Ме, тоже с белопламенным факелом, едва поспевала за ней. Как только Эни вышла из спальни, она сразу же, высоко подняв светильник, пустилась бежать; она бежала с откинутой назад головой, с оцепенелым взглядом, с открытым ртом, подобрав

подол платья правой рукой.

- Почему ты так мчишься, милая? - прошептала Ме. - Ты задохнешься, я боюсь, ты оступишься, не спеши, будь осторожна с огнем!

Но первая и праведная жена Петепра отвечала:

- Я должна мчаться, только бегом, только задыхаясь должна я взять этот подъем - не задерживай меня, мне это велит дух, так должно быть, чтобы мы мчались, Ме!

Она сказала это, тяжело дыша, с вытаращенными глазами, размахивая светильником над головой; от просмоленной кудели метнулось несколько искр, и спутница Мут, тоже запыхавшаяся, испуганно попыталась выхватить у нее кружащую огонь рукоять, но Мут стала сопротивляться, и опасность поэтому лишь увеличилась. Это было уже на верхних, выходящих на крышу ступеньках, и Мут из-за этой схватки действительно оступилась и упала бы, если бы ее не приняла в объятия Ме; так, шатаясь, обнявшись и размахивая светильниками, женщины проковыляли через узкую лазейку на темную крышу.

Их встретил ветер и хриплый голос жрицы, которая здесь распорядилась до их прихода. А с этого мгновенья она распорядилась уже без умолку, распорядилась хвастливо, самовластно и грубо, и в ее похвальбу, доносясь из выбеленной луною пустыни востока, вторгались то вой шакалов, а то и далекий, глухо-раскатистый рык рыскающего льва. Ветер дул с запада, от спящего города, с реки, в которой серебрено переливался высокий месяц, с берега мертвых и его гор. Он шумел здесь наверху в открытых ему продушинах, дощатых навесах, устроенных для притока в дом прохладного воздуха. Еще на крыше имелось несколько конусообразных сосудов для зерна, но сегодня, кроме этих обычных предметов, здесь были и другие принадлежности предстоявшего обряда, в том числе такие, из-за которых приходилось радоваться ветру; ибо на треногах и на полу синели куски гнилого мяса, готового и, когда ветер утихал, тотчас же начинавшего испускать смрад. Что было еще припасено для этой унылой службы, смог бы узнать, смог бы углядеть внутренним зрением даже слепой, даже тот, кто, придя сюда, не стал бы оглядываться и не хотел ничего видеть, как Мут-эм-энет, которая и сейчас и позднее только косилась вытаращенными глазами куда-то вверх, опустив уголки полуоткрытого рта. Ибо Табубу, до пояса черно-голая, с седыми лохмами, которые трепал ветер, опоясанная ниже распутно болтающихся грудей козьей шкурой (так же была одета и ее молодая помощница), перечислила эти припасы, выкрикивая, как рыночный зазывала, их названья и назначенье своим суетливым ртом сплетницы, где только и было зубов, что два клыка.

- "Вот и ты, женщина! - залопотала она, хлопоча и распорядясь, когда ее госпожа, спотыкаясь, вышла на крышу. - Добро пожаловать, просительница, отвергнутая, бедная, истомленная жаждой, ступа, которой отказывает пест, влюбленная бабища, - подойди к очагу! Возьми, что тебе дают! Возьми в руку несколько крупинки соли, повесь на ухо лавровую ветку, а потом присядь около очага, он на ветру пылает вовсю; для твоего блага пылает он, жалкая, для того, чтобы помочь тебе в известных пределах!

Я веду речь! Я вела ее здесь наверху, я владычествовала как жрица и до твоего прихода. А теперь я продолжу ее, я продолжу ее громко и не стесняясь, ибо, когда борешься с этой вот, чопорность неуместна и вещи нужно бесстыдно называть их именами, отчего я тебя, молящая, и называю вслух горемыкой, отвергнутой и беднягой. Ты села, и соль у тебя в руке, а лавровая ветка за ухом? И у твоей подруги тоже, и она тоже сидит у алтаря рядом с тобой? Так приступим к жертвенному обряду, жрица и служка! Ибо все готово для пира: и украшенья, и беспорочные дары.

Где стол? Он стоит там, где стоит, напротив очага, надлежаще украшенный листьями и ветками, плющом и злаками, злаками, которые любит она, званая и уже близкая, злаками, скрывающимися в темноте лущины мучнистые зерна. Потому-то они и венчают стол и украшают подставки, где заманчиво смердит угощенье... Приставлено ли гнилое кормило к столу?.. Приставлено, да... А с другой стороны - что мы видим с другой стороны? С другой стороны мы видим бревно от креста, на который вздымают преступника, - в твою честь, о беспутница, ибо тебе по нраву все низменное и подлое, и чтобы тебя соблазнить, поставлено оно к столу с другой стороны... Но неужели тебя не попотчуют, неужели не усладят ни кусочком от повешенного, ни пальчиком, ни ушком?.. Как бы не так! Погляди, меж двумя прекрасными ломтями смолы лежат, украшая твой стол, гниущий палец и хрящеватое ухо негодяя, восковые, покрытые запекшейся кровью, как раз по твоему вкусу, чудовище, тебе в приманку... А эти клоки волос на алтаре, блестящие, похожие друг на друга по цвету, - они не с головы того повешенного разбойника, нет, они с других голов, голов далеких и близких, но мы тут соединили близкое и далекое, и ты будешь куда как довольна, если поможешь, ночная богиня, которую мы зовем!..

А теперь - тишина, ни слова, ни звука! Сидящим у очага глядеть на меня, и никуда больше, ибо неизвестно, с какой стороны она подкрадется! Я приказываю благоговейно молчать. Погаси и этот светильник, девка!.. Вот так... Где наш двуострый нож?.. Вот он... А наша дворняга?.. Она еще лежит на полу, похожая на молодую гиену, со связанными лапами и обмотанной тряпками мордой, влажной мордой, которая так любила рыться во всяких отбросах... Дай сначала смолу! Черными кусками бросит ее проворная жрица в огонь, чтобы его свинцовый дым устремился к тебе, дольняя госпожа, жертвенным чадом!.. А теперь возлияние, подай мне сосуды в должной последовательности: воду, коровье молоко и пиво, - я лью, я подливаю, я правлю обряд. В этом пойле, в этой смеси, в этой пузырящейся луже стоят мои черные ноги, и теперь я должна принести в жертву собаку, это очень мерзкая жертва, но не мы, люди, ее придумали; мы знаем только, что она тебе милее любой другой.

Давай-ка сюда этого проныру, этого грязного звереныша, и мы перережем ему глотку! Вот так. А теперь вспорем брюхо и окунем руки в теплые внутренности, от которых, благодаря свежести лунной ночи, устремляется пар к тебе, владычица. Вымазанные кровью, облепленные требухой, мои руки поднимаются к тебе, госпожа, ибо я сделала их твоим подобием. С этим приветствием я смиренно и скромно призываю тебя отведать жертвенных яств, предводительница ночной нечисти! Покамест мы еще торжественно и учтиво просим тебя оказать милостивое внимание нашему угощенью и нашим беспорочным дарам. Согласна ли ты исполнить нашу просьбу подобру-поздорову? Не то, так и знай, жрица покажет тебе свою силу, она возьмет тебя в оборот, она заставит тебя плясать под свою дудку. Приблизься! Выскочи из удавки или явись окровавленная - угробив ли роженицу, поболтав ли с самоубийцами, бредя ли со свалки мертвецов, где ты, как призрак, глодала тела, или же приди сюда, вымаравшись в грязи, с глухого распутия, где ты, одержимая болезненной похотью, обнимала казненного нечестивца...

Знаю ли я тебя, узнаешь ли ты себя, слушая мою речь? Попадают ли в тебя мои слова уже вернее и метче? Ты видишь, мне прекрасно известны твои повадки, твои неопишуемые привычки, твои несказанные яства и напитки и все твои невероятные услады? Или нужно, чтобы мои кулаки нанесли тебе еще более точный, еще более умелый удар, а мои уста совсем уже беспощадно дали названья свинскому твоему естеству?.. Чудище ты, шлюха и потаскуха, морок ночной с гноящимися глазами! Срамница, сальная распутница преисподней, жительница живодерен, которая копошится и ползает среди мертвечины, обгладывая и слюняво облизывая вонючие кости! Ты утоляешь последнюю похоть повешенного, когда он издыхает, и в ненасытности влажного своего чрева блудишь с олицетворенным отчаянием, - блудишь пугливо, обессилев от пороков, дрожа от

малейшего дуновения ветра, преследуемая виденьями, одолеваемая всеми страхами ночи... Страшилище, не имеющее себе равных! Я тебя поняла, назвала, привлекла, привела?.. Да, это она! Она улучила миг, когда луну затмила полоска облака! Ее приход подтверждается громким лаем пса перед домом! Из очага с силой вырывается пламя! А подругу просительницы схватили судороги! В какую сторону глядят ее выкаченные глаза? В какую сторону они глядят, оттуда богиня и приближается!

Мы приветствуем тебя, госпожа. Не взыщи! Мы одариваем тебя по своему разумению. Помоги, если тебе по сердцу это нечистое угощение и эти беспорочно мерзкие дары! Помоги вот этой болящей, вот этой отвергнутой! Она изнывает по юноше, который не хочет того, чего хочет она. Помоги ей, чем только сможешь, ты должна это сделать, ты у меня в плену! Приневоль тело упрямца, пусть он, сам не зная как, явится к ней на ложе, пусть его шея прижмется к ее ладоням, чтобы она наконец насладились тем терпким запахом юности, по которому так тоскует!

А теперь скорей отрезанные волосы, дура! Сейчас, перед лицом богини, я принесу любовную жертву и сотворю волшебство сожженья. Ах, эти красивые пряди с близкой головы и с далекой, блестящие, мягкие! Отходы тел, частица плоти, - я, жрица, сложу, свяжу, сплету, случу их кровавыми моими руками, случу многократно и от всего сердца, - вот так, а теперь я их брошу в огонь, и вот он уже пожирает их, торопливо потрескивая... Но почему же лицо твое искажено болью и отвращеньем, просительница! Наверно, тебя тошнит от неприятного духа паленого? Это ваша плоть, нежная моя госпожа, это пары воспламененного тела - так пахнет любовь!.. Ну и хватит! сказала она просто. - Радение совершено на славу. Пусть он, красавец твой, придется тебе по вкусу! Госпожа-Сука дарует его тебе благодаря искусству Табубу, которое, право же, стоит вознагражденья.

Сбросив с себя всякую заносчивость, дикарка отошла в сторону, двумя пальцами, тыльной их стороной, высморкала после работы нес и погрузила выпачканные жертвоприношением руки в тазик с водой. Луна была ясная. Наложница Ме, упавшая недавно от страха в обморок, уже пришла в себя.

- Она еще здесь? - осведомилась она, дрожа...

- Кто? - спросила Табубу, которая, как врач после кровавого вмешательства, мыла свои черные руки. - Сука? Не беспокойся, побочная жена, ее уже и след простыл. Ей сюда вообще не хотелось приходить, она просто должна была мне повиноваться, потому что я так бесстыдно с ней обращаюсь и так метко определяю ее сущность словами. Да и ничего, кроме того, к чему я вынудила ее, учинить она здесь не может, ибо под порогом дома зарыто три средства, отвращающих зло. Но мое поручение она выполнит, в этом можно не сомневаться. Ведь она же приняла жертву, а кроме того, ее связывает огненное колдовство сплетенных волос.

Тут госпожа Мут-эм-энет, все еще сидевшая у очага, глубоко вздохнула и поднялась. Перед падалью, в которую превратилась собака, стояла она теперь в своем белом плаще, все еще с лавровой веткой за ухом, сложив руки под приподнятым подбородком. После того как она услышала запах горящих волос Иосифа, смешанных с ее волосами, уголки ее полуоткрытого рта опустились еще горестнее, такие тяжелые, словно их тянули вниз какие-то гири, и грустно было глядеть, как она, печально и скованно шевеля губами, заговорила этим измученным ртом и певуче завела плач, вознося его к небу:

- Услышьте, чистые духи, которых мне так хотелось бы видеть благосклонно взирающими на мою великую любовь к Озарсифу, ибрийскому юноше, услышьте и увидите, как больно мне участвовать в этом дикарстве и какой смертной тоской лег мне на сердце этот невообразимо тяжелый отказ, на который я волей-неволей решилась, потому что твоей

госпоже, Озарсиф, милый мой сокол, этой несчастной, этой отчаявшейся женщине, ничего другого не оставалось! Ах, чистые, как угнетающе тяжело, как позорно подобное отречение, подобный отказ! Ведь я же отказалась от его души, когда наконец в полном отчаянье пошла на приворотное колдовство, - от твоей души, Озарсиф, возлюбленный мой, - о, как бедственно горек подобный отказ для любви! Я отказалась от твоих глаз, это всего плачевней, я не могла поступить иначе, у меня, у беспомощной, не было выбора. Мертвы и закрыты будут для меня твои глаза, когда мы сомкнем объятия, и только пухлый твой рот будет зато моим - в униженном своем блаженстве я буду его целовать и целовать без конца. Ибо дыхание твоего рта, это правда, мне всего дороже на свете, но еще дороже, дороже вселенной, мой солнечный мальчик, мне был бы один-единственный взгляд твоей души - вот о чем мой вскипающий во мне плач! Услышите его, чистые духи! В глубокой скорби я возношу его к вам от очага негритянского колдовства. Смотрите, как я, женщина высшего звания, вынуждена была в любви унизиться до отсталости и купить наслаждение ценою счастья, чтобы получить хотя бы его - если уж не счастье его взгляда, то хотя бы наслаждение его рта! Но как горько, как больно мне от такого отказа, - об этом, о чистые, позвольте мне, княжеской дочери, не молчать, а громко проплакать, прежде чем я заплачу за искусственно выколдованное наслаждение, упившись бездушным блаженством с его сладостным трупом! Оставьте мне в этом паденье надежду, чистые духи, и сокровенную, тайную-претайную мысль, что в конечном счете наслаждение и счастье, быть может, не так уж и резко отделены друг от друга, что из наслаждения, если только оно достаточно глубоко, может расцвести счастье, что от неотразимых поцелуев наслаждения мертвый мой мальчик откроет глаза, чтобы одарить меня взглядом своей души, и мы тем самым обманем условие колдовства! Чистые духи, которым я посылаю свой плач, оставьте мне тайную эту опору в моем унижении, не отнимайте у меня только надежды на этот обман, на маленький этот обман...

И Мут-эм-энет подняла руки к небу и, судорожно рыдая, упала на шею своей подруге, наложнице Ме, которая свела ее вниз.

## НОВЫЙ ГОД

Любопытство слушателей узнать то, что каждый и так уже знает, достигло тем временем, несомненно, своей вершины. Час, когда оно должно быть удовлетворено, настал, - это главный час праздника и поворот нашей истории, существующий с тех пор, как она пришла в мир и впервые рассказала себя самое: час и день, когда Иосиф, вот уже три года управляющий Потифара и вот уже десять лет его собственность, с великим трудом избежал грубейшей ошибки, какую он мог совершить, и довольно-таки дешево отделался от страшного искушенья, - правда, малый оборот его жизни при этом вновь завершился, и он оказался в яме еще раз - по собственной, как он признавал, вине, в наказание за поведение, которое своей вызывающей опрометчивостью, чтобы не сказать - дерзостью, слишком походило на поведение прежней его жизни.

Параллель между его виной перед этой женщиной и его виной перед братьями вполне правомерна. Снова он в своем желанье "изумлять" людей зашел чересчур далеко, снова, по своему легкомыслию, позволил разрастись, опасно переродиться и выйти из повиновения той силе своей привлекательности, которой вправе был радоваться, пользуясь ею и умножая ее во славу бога; в первой жизни эта сила приняла отрицательную форму ненависти, на этот раз - чрезмерно положительную, а потому опять-таки пагубную форму страсти. В своем ослеплении он содействовал второй так же, как первой, и, дав поблажку тем своим чувствам, что шли навстречу все возраставшему чувству женщины, еще и разыгрывал из себя воспитателя, - он, которого и самого-то явно нужно было воспитывать и воспитывать. Что это заслуживало возмездья, нельзя отрицать; но нельзя и не отметить с тихой усмешкой, что кара, по праву его за это постигшая, очень уж способствовала его дальнейшему счастью, большему и более

ослепительному, чем прежде, разрушенное. А веселит нам душу то проникновение в высшую психологию, которым мы обязаны такому ходу событий. Старо, ибо оно восходит к прологам, к подготовительным началам истории, предположение, что несовершенство созданного всякий раз доставляет ехидное удовлетворение тем высшим кругам, у которых упрек: "Что есть человек и какой тебе от него прок?" - вертелся на языке испокон веков - тогда как создателя это несовершенство смущает, вынуждая его отдать дань царству строгости и провозгласить торжество карающей справедливости; он явно делает это не столько по собственному желанью, сколько под неким моральным давлением, уйти от которого ему неудобно. Так вот, наш пример отрадно доказывает, что, с достоинством уступая такому нажиму, высшая благодать одновременно ухитряется оставить с носом царство обиженной строгости. Она исцеляет тем же, чем бьет, и превращает несчастье в плодородную почву обновленного счастья.

Днем решенья и поворота был великий праздник приема Амуна-Ра в Южном Гареме, день, когда начинала прибывать вода в Ниле, официальный день нового года в Египте. Официальный, подчеркиваем; ибо естественный новый год, то есть день, когда священный круг замыкался, когда звезда Пес опять появлялась на небе с востока, а воды вздымались, отнюдь не совпадал с таковым; в этом отношении в Египте, который вообще-то терпеть не мог беспорядка, порядка почти никогда не было. Случалось, правда, в ходе времен, в жизни людей и царских домов, что естественный новый год вдруг да совпадал с календарным; но затем требовалось тысяча четыреста шестьдесят лет, чтобы этот прекрасный случай согласия вновь повторился, и должно было миновать около сорока восьми людских поколений, которым не было суждено оказаться его современниками, с чем, впрочем, они, так уж и быть, примирились бы, если бы у них не было никаких других забот. Тот век, на который пришлась египетская жизнь Иосифа, тоже не был призван созерцать эту красоту, это единство действительности и официальности, и дети Кеме, что плакали и смеялись тогда под солнцем, привыкли к тому, что тут царит такая несогласованность, - они не обращали на это внимания. Не то чтобы они праздновали новый год, то есть начало поры затопленья ахет, в самую что ни на есть пору урожая шему, - чего не было, того не было; но на зимнюю пору перет, называвшуюся также порой сева, новый год все-таки приходился, и если дети Кеме не усматривали в этом ничего особенного, так как беспорядок, который продлится еще тысячу лет, приходится считать порядком, то Иосифу, в силу его внутренней отрешенности от нравов земли Египетской, это казалось всякий раз немного смешным, и в праздновании неестественного нового года он участвовал так же, как участвовал во всем, чем жили и что делали здесь внизу, - то есть с оговоркой и с той самой снисходительностью, с которой, как он был уверен, относилось небо к его открытости миру. Нельзя, кстати сказать, не подивиться человеку, который при такой критической отрешенности от мира, куда его занесло, среди людей, чье житье-бытье представлялось ему, в сущности, сплошной глупостью, прилагал такие серьезные усилия для того, чтобы преуспеть так, как преуспел Иосиф, и сделать им столько добра, сколько ему суждено было сделать.

Но как бы ни относился к нему отрешенный ум - серьезно или несерьезно, - день официального начала разлива отмечался по всей земле Египетской, а в Новет-Амуне, в стовратной Уазе в особенности, с великой торжественностью, представление о которой дают лишь самые большие и многолюдные наши государственные, общенародные и национальные праздники. С раннего утра весь город был на ногах, и его и без того огромное население - как известно, оно переваливало далеко за сто тысяч - сильно возматало благодаря сельским жителям верховьев и низовьев, стекавшимся сюда, чтобы отпраздновать большой день Амуна у престола этого державного бога, смешаться с горожанами и с разинутым ртом, прыгал на одной ноге, поглядеть на величественные зрелища, пышностью которых государство платило обобранному и закабаленному барщиннику за убогую скудость целого года и укрепляло его в патриотических чувствах

на новый, наступающий год кабалы; чтобы, потя в сутолоке, дыша запахами сожженного жира и наваленных горами цветов, наполнить сверкающие всеми красками радуги, мощенные алавастром, затянутые навесами и оглашаемые песнопениями притворы храмов, снабженных ради такого дня невероятными количествами еды и питья, чтобы на этот раз набить себе брюхо за счет бога или, вернее, за счет верховных властей, которые целый год выжимали из них все соки, а сегодня ободряли их расточительным добродушием, и чтобы, пусть вопреки рассудку, потешить себя надеждой, что теперь так будет всегда, что теперь начались времена радости и блаженства, золотой век дарового пива и жареных гусей, что барщинник никогда больше не увидит у себя податного писца, сопровождаемого нубийцами с пальмовыми прутьями, а будет всегда жить так же, как храм Амуна-Ра, где можно было увидеть пьяную женщину с непокрытыми волосами, дни которой проходили в праздничном угаре, потому что она скрывала в себе царя богов.

В действительности к закату солнца вся Уазе была совершенно пьяна, так что люди в забытии шатались по улицам, горланили песни, бесчинствовали. Но в часы чудес раннего и позднего утра, когда из дворцовых ворот выезжал фараон, "чтобы принять честь своего отца", как гласила официальная формула, и Амун начинал свой знаменитый путь по Нилу к Опет-реситу, Южному Дому Утех, - в эти часы город сохранял еще свежесть и ликовал чинно, с радостным благоговением и благочестивым любопытством взирая на весь этот державный и божественный блеск, призванный дать сердцам его детей и гостей новый запас будничного долготерпенья и гордо-испуганной преданности отечеству и выполнявший эту задачу почти так же успешно, как победоносное возвращение прежних царей из нубийских и азиатских военных походов, сцены которых были увековечены барельефами на стенах храмов и которые сделали великой землю Египетскую, хотя жестокое закабаление барщинников с них-то и началось.

В торжественный этот день фараон выезжал в венце и перчатках; пышно, как восходящее солнце, выходил он из своего дворца и на высоко плывущих носилках, под балдахинном и страусовыми опахалами, окутанный пряными облаками благовоний, которыми, оборачиваясь к этому доброму богу, оведали его шагавшие впереди кадилышки, направлялся в дом своего отца, чтобы глядеть на его красоту. Голоса чтецов-священников заглушались ликованием подпрыгивающей толпы зрителей. Барабанщики и рожечники, шумя, открывали шествие, состоявшее из царских родственников, сановников, единственных и истинных друзей, а также просто друзей царя и замыкаемое воинами со знаменами, копьями и секирами. Живи так же долго, как Ра, отрада Амуна! Но где было лучше стоять, глотать пыль, выворачивать себе шею и пялить глаза - здесь или, может быть, в Карнаке, возле увешанного флагами дома Амуна, куда в конце-то концов все и текло? Ибо сегодня показывался и сам бог; странный, уродливый, скорченный болванчик, он покидал священнейшую каморку, находившуюся в глубине его огромной могилы, за всеми передними дворами, просто дворами и все более тихими и низкими палатами, и следовал по все более высоким и красочным покоем наружу, - следовал на своем овноголовом струге, священно укрытый своим закутанным капищем, которое несли на длинных шестах двадцать четыре плешивца в накрахмаленных верхних набедренниках, тоже окуриваемый и тоже под опахалами, через море света и море звуков, навстречу сыну.

Очень важно было увидеть "полет гусей" - древнейший обряд, совершаемый в прекрасном месте сретенья, на площади перед храмом. Какое это было, право, красивое и веселое место! На золотых, увенчанных головным убором бога шестах развевались пестрые флаги. Горы цветов и плодов громоздились на жертвенниках перед ларями священной тройки, отца, матери и сына, и здесь же стояли статуи предшественников фараона, царей Верхнего и Нижнего Египта, доставленные сюда разделенной на четыре стражи прислужгой солнечного Амунова струга. Возвышаясь над толпой благодаря золотым подножиям и глядя в разные стороны, - на восток, на запад, на юг и на север, -

жрецы рассылали диких гусей по четырем странам света, чтобы эти птицы сообщили богам каждой из них, что Гор, сын Усира и Исет, надел на голову и белый и красный венец. Ибо некогда, взойдя на престол стран, рожденный смертью воспользовался именно таким способом оповещения богов, и несметными столетиями на празднике повторялся этот обряд, а ученые и народ разными приемами давали полету гонцов многообразные толкованья, касавшиеся общих и частных судеб.

Каких только прекрасных таинств и обрядов не совершал на этом месте фараон после полета гусей! Он приносил жертвы перед изваяниями древних царей. Он надрезал золотым серпом полбенный сноп, который подавал ему жрец, и благодарно-просительно складывал колосья к ногам отца. Под гуденье чтецов и певчих, склонившихся над своими книгами-свитками, он одарял его из курильницы с длинной ручкой божественным благоуханьем. Затем величество этого бога садилось на свой престол и в полной неподвижности принимало благословения двора, облеченные в редкие, выпренинные обороты речи и подчас приносимые богу в виде затейливых поздравительных писем, сочинителями которых были не сумевшие почему-либо явиться чины - слушать их было сущее наслаждение.

Это было, однако, лишь первое действие праздника, становившегося все красивее и красивее. Теперь святая тройка двигалась к Нилу, ее ладьи, на плечах двадцати четырех плешивцев каждая, снова взмывали вверх, а фараон, из сыновней скромности, шел, словно человек, пешком за ладьей своего отца Амуна.

Толпа устремлялась к реке, теснясь около шествия трех божеств, впереди которого, следом за трубачами и барабанщиками, шагал в леопардовой шкуре первый из жрецов - Бекнехонс. Разносились песнопенья, курился ладан, качались высокие опахала. Достигнув берега, священные струги переходили на три корабля, - это были широкие и длинные корабли, ослепительной красоты все, как один, но самым неопишным был корабль Амуна: из кедров, сваленных в кедровых горах и самолично - так говорили - доставленных через горы князьями Ретену, обитый серебром, с золотым балдахином посередине, с золотыми мачтами и обелисками, украшенный венками со змеями на форштевне и ахтерштевне, полный всяческих истуканов и священных предметов, о большинстве которых народ и сам давно уже не имел никакого понятия, такой страшной древности были эти символы, - что, однако, не ослабляло, а, напротив, усиливало его почтение к ним и его радость при виде их.

Роскошные корабли Великой тройки были судами не самоходными, гребцов на них не было, их тянули вверх по Нилу к Южному Гарему на канатах легкие галиоты и береговая прислуга. Принадлежать к этой прислуге считалась большой удачей, из которой можно было весь следующий год извлекать практические выгоды. Вся Уазе, кроме умирающих и вконец одряхлевших (ибо грудных младенцев их матери несли на спине или на груди), огромная, следовательно, толпа людей, брела с береговой прислугой; сопровождая божественную процессию, она и сама выстраивалась как процессия. Впереди, распевая гимны, шел один из служителей Амуна; за ним, со щитами и дротиками, следовали воины бога; приплясывая, барабаня, кривляясь, отпуская всякие, подчас непристойные шутки, сновали в толпе расфуфыренные, приветствуемые взрывами хохота негры (они знали, что их презирают, и вели себя глупей, чем то свойственно их природе, подлаживаясь к нелепому представленью народа о них); рядами двигались жрецы-музыканты, не давая покоя своим погремушкам и систрам, обвитые гирляндами жертвенные животные, боевые колесницы, знаменосцы, лютнисты, высокопоставленные жрецы со слугами, - и, напевая, прихлопывая в ладоши, шагали с ними горожане и земледельцы.

Так, радуясь и ликуя, толпа направлялась к стоявшему у реки дому с колоннами; здесь божественные корабли приставали, а священные струги, снова взмыв на плечи, под

звуки барабанов и длинных труб, проплывали во главе нового шествия в прекрасный Дом Рожденья, где их, с приседаньями и затейливыми телодвиженьями, помахивая ветками, торжественно встречали земные наложницы Амуна, тонкоодетые дамы высокого ордена Хатхор, которые затем плясали, били в бубны и вполне сладостными голосами пели перед своим высоким супругом - скорченным, запеленатым болванчиком в закутанном ларчике. То был великий новогодний прием в гареме Амуна, отличавшийся богатейшим угощеньем, частыми приношеньями яств и обильными возлияниями, нескончаемым чествованием бога и многозначительными, хотя в большей своей части никому уже не понятными церемониями в самых внутренних, внутренних и предвнутренних покоях Дома Объятий и Родов, в его наполненных пестрыми рельефами и шепотом иероглифов палатах, в его портиках с папирусообразными колоннами розовой гранита, в облицованных серебром шатровых залах и открытых народу дворах со статуями. Если учесть, что к вечеру это шествие с таким же блеском и ликованием возвращалось по воде и по суше в Карнак; если иметь также в виду, что во всех храмах весь день не прекращались пиршества, ярмарочная торговля, народные увеселенья и театральные действия, где жрецы в масках изображали истории богов, то легко представлять себе пышность новогоднего праздника. Вечером столица упивалась беззаботностью и хмельной верой в золотой век. Береговая прислуга бога, в венках, умащенная маслом и очень пьяная, шаталась по улицам и пользовалась своим правом вытворять все, что ни придет в голову.

## ПУСТОЙ ДОМ

Нужно было хотя бы в общих чертах описать ход праздника Опета и официального разлива Нила, чтобы познакомить слушателей с общественной обстановкой, в какой вершился великий час нашей истории, той частной истории, о которой у нас, собственно, и идет речь. Самого приблизительного представления об этой обстановке достаточно, чтобы понять, как занят был в тот день царедворец фараона Петепра. Ведь он находился среди ближайших окольных его величества, Гора во дворце, царя, у которого ни в этой, ни в будущей жизни никогда не было такого множества первосвященнических обязанностей, как в тот день, - да, да, среди ближайших окольных, а точнее - среди \_единственных\_ друзей царя. Ибо в это новогоднее утро его производство в столь редкий придворный чин стало действительностью: оно было отмечено приветственными посланиями, обращения которых ему было воистину приятно читать. Весь день номинальный полководец находился вне своего дома, каковой, кстати сказать, подобно прочим домам столицы, вообще опустел; ибо, как мы подчеркнули, дома оставались везде только неподвижные калеки и умирающие. В числе последних были и священные родители с верхнего этажа, Гуий и Туий: их путь уже ни при каких обстоятельствах не шел дальше насыпи в саду и беседки, да и туда они уже редко ходили. Ибо то, что они вообще еще жили, граничило с чудом; они вот уже десять круговоротов с часу на час ждали смерти, а все еще, слепышкой и бобром, она - со своими щелками глаз, а он со своей старомодной бородкой, скрипели во мраке своего единоутробия - потому ли, что вообще некоторые старики все живут и живут и никак не находят в себе силы умереть; или потому, что они боялись Царя Преисподней и сорока носителей ужасных имен из-за своего неуклюжего примирительного поступка, - кто знает!

Итак, они остались дома, на верхнем этаже, с детьми, им прислуживавшими - двумя дурашливыми девочками, которые заменили прежних, когда те со временем огрубели; а вообще-то и дом и двор, как все другие в столице, поистине вымерли. - Так уж и вымерли? - Мы вынуждены, говоря об их пустоте, сделать еще одну, всего одну, но важную оговорку: Мут-эм-энет, первая и праведная жена Потифара, тоже не покинула дома.

Как удивится этому тот, кто знаком с распорядком новогоднего дня! Она не участвовала в

прекрасном служенье своих сестер, наложниц Амуна. Не раскачивалась в пляске, с рогами и солнечным диском на голове, в облегающе-узком платье Хатхор, не вторила серебряной трещотке сладостным голосом. Она предупредила о своем неучастье начальницу и передала свои извиненья высокой покровительнице ордена Тойе, жене бога, сославшись на то самое состояние, которым некогда оправдалась Рахиль, когда, сидя на спрятанных в соломе терафимах, не встала перед Лаваном: к несчастью, как раз в этот день, передала Мут, она будет нездорова, нездорова в интимное смысле; надо сказать, что знатные дамы отнеслись к такого рода помехе с большим пониманием, чем Потифар, которому она тоже это сказала и который, по недостатку человеческой отзывчивости, обнаружил такое же тупоумие, как в свое время Лаван, чурбан неотесанный.

- Что значит нездорова? У тебя болят зубы или, может быть, у тебя гипохондрия? - спросил он, употребив принятое в высшем обществе нелепо-медицинское обозначение скверного самочувствия.

А когда она ему наконец растолковала, в чем дело, он не признал этого обстоятельства достаточным оправданьем.

- Это не в счет, - сказал он точь-в-точь как Лаван, если читатели помнят. - Это не болезнь, на которую можно сослаться, не участвуя в празднике бога. Другая женщина притащилась бы и полуживая, только бы не отсутствовать, а ты хочешь отсидеться из-за такого обычного, из-за такого нормального обстоятельства.

- Страданье вовсе не должно быть каким-то сверхъестественным, друг мой, чтобы нас извести, - ответила Мут и поставила своего супруга перед выбором - уволить ее либо от общего празднества, либо от частного, в узком кругу, приема гостей, которым, по случаю назначения телохранителя "единственным другом", должен был завершиться день нового года здесь, в доме. Выдержать и то и другое, заявила она, ей не по силам. Если она, находясь в таком состоянии, выйдет плясать перед богом, то к вечеру свалится с ног и уже в домашних развлечениях никак не сможет участвовать.

С недовольством он в конце концов позволил ей пощадить себя днем, чтобы вечером она исполняла обязанности хозяйки, - с недовольством, потому что кое о чем догадывался, мы можем утверждать это с уверенностью. Ему было не по себе, у него, царедворца, отнюдь не было спокойно на душе, оттого что жена его уединилась в доме из-за своего мнимого недомогания: он думал об этом с неудовольствием, думал с каким-то смутным дурным предчувствием, с тревогой за свой покой и за прочность духовных уз, в которых покоился его дом, и вернулся с праздника бога раньше, чем это требовалось для вечернего приема, вернулся с привычным и уверенно заданным, но с робким по существу своему вопросом на устах: "Все ли благополучно дома? Весела ли госпожа?" чтобы на этот раз наконец получить на него тот страшный ответ, которого он втайне всегда ожидал.

Мы забегаем этими словами вперед, потому что, пользуясь выражением смотрительши говяд Рененутет, все и так уже всем известно, и о занимательности речь может идти разве что в отношении отдельных подробностей. Никого не удивит и сообщение, что в беспокойстве и недовольстве царедворца участвовала мысль об Иосифе и что в связи с нездоровьем и уединеньем жены Петепра внутренне оглядывался на него, Иосифа, и на его местонахождение. Так же поступаем и мы, спрашивая себя не без тревоги за нерушимость семи причин: остался ли дома и он?..

Нет, не остался; он никак не мог бы этого сделать, это самым общезаметным образом противоречило бы его правилам и привычкам. Известно, как египетский Иосиф, вот уже

десять лет назад уведенный в страну мертвецов, истый египтянин в свои двадцать семь лет, - если не по своему религиозному, то по своему житейскому укладу, - уже три года из них облаченный в совершенно египетскую одежду, так что иосифовскую форму сохраняло и оспаривало теперь египетское содержание, - известно, как он, дитя и житель египетского года, приспособившись, хотя и внутренне отрешенно, с приветливой светскостью справлял его причудливые обряды и праздники его идолов в надежде на снисходительность человека, который привел теленка на это поле. Новогодний же праздник, большой день Амуна, был таким поводом к общительности и жизнелюбивой терпимости в первую очередь; сын Иакова проводил его, как все здесь внизу, с утра в праздничном платье, и даже - символически, в честь обычая, и чтобы не отличаться от других - выпив немного больше, чем то требовалось для утоления жажды. Но это он сделал позднее, днем, ибо сначала у него были служебные обязанности. Как управляющий важного сановника, он, входя в свиту свиты, участвовал в царском шествии от западного дома горизонта к Великой Обители Амуна, а оттуда, в составе водной процессии, направился к храму Опета. Обратный путь божественного семейства совершался не в столь строгом порядке, как путь вверх по реке; при желании от этой процедуры можно было увильнуть, и, как тысячи египтян, Иосиф провел день, слоняясь по улицам, с любопытством задерживаясь то на храмовой ярмарке, то на жертвенном пиршестве, то среди зрителей божественного действия, - с мыслью, впрочем, что еще засветло, вернее даже, в конце дня, до всех остальных домочадцев, он должен будет возвратиться домой, чтобы, исполняя обязанности главы хозяйства, ответственного за обобщающий надзор, убедиться путем осмотра длинной кладовой (где он некогда получал у писца, ведавшего питейным поставцом, угощение для Гуия и Туий) и палаты пиров в готовности дома к новому торжеству и празднованию повышения в чине.

Он собирался и считал важным произвести этот осмотр, эту проверку в одиночестве, без помех, в еще пустом доме, прежде чем подчиненная ему челядь - писцы и слуги - вернется с праздника. Так, считал Иосиф, ему положено, и для вящего обоснования своего намеренья он перебирал в уме всякие назидательные изречения, которых вообще-то не существовало на свете и которые он с этой целью сочинял сам, притворяясь, что дело идет об испытанной народной мудрости, такие, например, как: "Званье непростое бремя золотое"; "За то и почет, что хлопот полон рот"; "Последний при счете, да первый в работе" - и тому подобные золотые правила. А придумывать их и твердить он начал с тех пор, как дорогой, во время водной процессии, узнал, что его госпожа отказалась по нездоровью участвовать в пляске Хатхор и осталась дома одна - ибо покуда он этого не знал, он и думать не думал ни о каких изречениях и не выдавал их себе за опыт народа; не было у него и того отчетливого теперь ощущенья, что, согласно этой крылатой мудрости, он должен первым, опередив других слуг, вернуться в пустой дом, чтобы последить за порядком.

Он мысленно употребил это выражение - "следить за порядком", хотя оно и казалось ему несколько зловещим и хотя какой-то внутренний голос советовал ему его избегать. Да и вообще, как честный молодой человек, Иосиф не обманывал себя на тот счет, что со старыми этими назиданиями для него связана некая большая, ошеломляющая опасность - ошеломляющая, однако, не только как опасность, но и как радость, как самый благоприятный случай. Для чего же благоприятный? - Для того, маленький шептун Боголюб, чтобы так или иначе окончательно решить дело, ставшее делом чести для бога и для Амуна, чтобы схватить огнедышащего быка за рога и во имя бога пойти на все. \_Вот для чего\_, мой боязливый дружок, это благоприятный, это ошеломляюще-благоприятный случай, а все остальное карличий вздор. "Слуги еще в пирах - бары уже в трудах" - вот каких чеканных, каких почтенных правил держится молодой управляющий Иосиф, и ни дурацкий карличий стрекот, ни каверзное одиночество госпожи не собьют его с толку...

Такой ход его мыслей не дает никаких оснований быть за него спокойным. Не будь

известна развязка этой истории, так как в свое время, разыгрываясь, она уже досказала себя до конца, а это всего только праздничное повторенье и пересказ, храмовое, так сказать, действо, - не будь известна ее развязка, у слушателя, пожалуй, выступила бы испарина на лбу от тревоги за Иосифа! Но что значит "повторенье"? Повторенье в празднике - это уничтожение разницы между "было" и "есть"; и если тогда, когда наша история рассказывала себя самое, в этот ее час нельзя было тешиться уверенностью, что ее герой дешево отделается, что он не допустит всегубительного разрыва с богом, то и сейчас тоже преждевременная беспечность совсем неуместна. Плач женщин, которые хоронят в пещере прекрасного бога, не становится менее пронзительным оттого, что наступит час, когда этот бог воскреснет. Ведь вот сейчас-то он мертв и растерзан, а каждому часу праздника причитается полная мера сиюминутности в горе и радости, в радости и горе. Разве не праздновал часа своего почета Исав, разве не пыжился, не задирали ноги, шагая так, что и смех и горе было глядеть на его хвастовство? Ведь тогда история еще не продвинулась для него настолько, чтобы ему положено было плакать и выть. И наша история все еще не продвинулась настолько, чтобы ход мыслей Иосифа, чтобы его золотые пословицы не вызывали у нас тревоги, от которой испарина жемчужинами выступает на лбу.

Еще сильнее выступает она, если заглянуть в празднично опустелый дом Потифара. Женщина, оставшаяся там в одиночестве, женщина, которой суждено изображать мать греха, - не справляет ли она часа самой пылкой своей уверенности? Разве ее решимость пойти на все меньше, чем у сына Иакова, разве нет у нее повода быть уверенной в горько-блаженном торжестве своей страсти, разве нет у нее всех оснований для мрачной, для пламенной надежды, что скоро она заключит в объятья своего юношу? Мало того что ее желание узаконено высочайшей духовной инстанцией, что оно защищено честью и солнечной силой Амуна, - ему обеспечена поддержка и снизу, обеспечена благодаря тому мерзкому насилию, которым княжеская дочь, спору нет, уронила свое достоинство, но унижительным условиям которого она в глубине души надеется устроить подвох, с женской хитростью рассудив, что в любви тело и душа разграничены, может быть, на так уж и резко и что в телесно отрадном объятье она умудрится завоевать и душу своего юноши, прибавить к наслаждению счастье. Поскольку в нашем рассказе эта история происходит заново, то жена Потифара сейчас так же, как "тогда" (которое превратилось в "сейчас"), связана часом происходящего и не может знать, что ее ждет впереди. Но что Иосиф придет к ней в пустой дом, это она знает, в этом она пылко уверена. Госпожа-Сука "приворотит" его, то есть он дорогой узнает, что Мут не участвует в празднике, что она осталась одна в умолкшем доме, и у него возникнет, им завладеет мысль вернуться домой в такое время, когда это многозначительное, это необычайное положение еще продолжается. Что за беда, если эта мысль завладеет им и определит его путь только по милости Суки; ведь Иосиф, - так рассуждает охваченная желанием женщина, - ни о Суке, ни о дикарских ухищреньях Табубу и знать не знает; он подумает, что навязчивая мысль пойти к Мут в пустой дом исходит от него самого, что его неодолимо "влечет" навестить ее в ее одиночестве, а если он будет такого мнения, если сочтет эту мысль своей собственной и будет уверен, что действует по собственному почину, - разве тем самым обман не станет уже правдой его души и разве это не будет уже подвохом богине-распутнице? "Меня тянет", - говорит подчас человек; но кто его тянет, кого он отличает от себя самого, сваливая ответственность за свои поступки на некую силу, не являющуюся им самим? Это не кто иной, как он сам, это только он сам вместе со своим желаньем! Какая разница - сказать "я хочу" или сказать "мне хочется"? Да и нужно ли вообще сказать "я хочу", для того чтобы действовать? Разве поступок вытекает из желанья? Разве желанье не выявляется, напротив, только в поступке? Иосиф придет и, придя, узнает, что он хотел прийти и почему он хотел. А если он придет, если он услышит зов самого благоприятного случая и откликнется на этот зов, то, значит, все уже решено, и Мут уже победила, и она увенчает его плющом и вьющимся виноградом!

Таковы воспаленно-хмельные мысли жены Потифара. Глаза ее неестественно велики и чрезмерно блестят, ибо с помощью палочки слоновой кости она густо насурьмила ресницы и брови. Несмотря на блеск, они глядят хмуро и отрешенно, эти глаза, но зато рот непоколебимо змеится улыбкой торжествующей уверенности. При этом губы ее делают еле заметные сосательные и жевательные движения, потому что во рту у нее тают шарики смешанного с медом олибана, которые она глотает благоухания ради. На ней платье тончайшего полотна, сквозь него просвечивает ее слегка ведьмовское тело любви, и от складок этого платья, так же как от ее волос, веет тонкими кипарисовыми духами. Находится она в своей комнате в доме господина, в том предназначенном для нее покое, который одной внутренней стеной примыкает к семидверному вестибюлю с зодиакальным полом, а другой к северной колонной палате Петепра, где тот обычно читает с Иосифом книги. Одним углом этот будуар соприкасается со столовой-гостиной, которая примыкает к семейной столовой и где сегодня вечером должен состояться прием по случаю присвоения Петепра нового придворного звания. Мут не затворила двери, ведущей из ее комнаты в северную палату, отворена также одна из двух дверей, ведущих оттуда в гостиную. По этим-то покоям и ходит в уверенном своем ожидании женщина, чье одиночество в доме разделяют лишь старики, ожидающие наверху своей смерти. Порою, ходя из комнаты в комнату, невестка их Эни поминает священных родителей взглядом, который ее хмурые в своем преувеличенном блеске глаза-самоцветы устремляют к расписанному потолку. Она часто возвращается из гостиной и из колонной палаты в полумрак своего покоя, куда свет проникает сквозь каменную резьбу высоко расположенных окон, и вытягивается на облицованном зеленым камнем диване, пряча лицо в подушках. В курильницах комнаты тлеют коричневое дерево и мирра, и через открытые двери пахучий дымок проникает также в послеобеденный зал, в гостиную.

Вот как обстоит дело с колдуньей Мут.

Если же снова взглянуть на умершего сына Иакова, то он пришел домой прежде всей челяди - это известно и так. Он пришел и мог из этого заключить, что он хотел прийти или что его тянуло прийти - не все ли равно! Обстоятельствам не удалось отвлечь его от сознания долга, от мысли, что ему подобает, что он обязан прекратить свои развлечения раньше всех и заняться домом, во главе которого его поставили. Он, впрочем, помедлил и исполнение долга, одобренного и предписанного столькими мудрыми поговорками, откладывал дольше, чем можно было бы ожидать. Правда, он пришел в еще пустой дом; но не так много времени оставалось уже до возвращения остальных, по крайней мере тех, кто не был отпущен в город на вечер, а должен был прислуживать в доме и во дворе, - всего какой-нибудь зимний час или даже меньше того, причем нужно учесть, что зимние часы в этой стране гораздо короче летних.

Он провел этот день совсем не так, как ожидавшая его Мут - на солнце и в шуме, в пестроте и суете идольского веселья. В глазах у него рябило от шествий, от храмовых представлений, от толп народа. Его нос, нос Рахили, сохранял запахи жертвенных костров, цветов, испарений множества возбужденных, разгоряченных прыжками радости и пиршеством чувств людей. Уши его были еще полны звуков литавр и рожков, ритмичных рукоплесканий, гомона неистового разгула надежд. Он ел и пил, и чтобы не впасть в преувеличение, его состоянье лучше всего определить как состояние юноши, который в опасности, являющейся одновременно благоприятным случаем, склонен видеть, скорее, благоприятный случай, чем опасность. У него был веночек из голубых лотосов на голове и отдельно еще цветок во рту. Сгибая и разгибая руку в запястье, он обмахивал плечи белым конским волосом пестрой мухогомки и тихонько напевал: "У работника веселье - у хозяина похмелье" в полной уверенности, что это старинная народная мудрость и что только мелодию к этому изреченью придумал он сам. Так на исходе дня вернулся он во владения своего господина, отворил дверь из литой бронзы,

пересек зодиакальную мозаику передней и вошел в прекрасную, с помостом, гостиную, где все уже заранее было самым роскошным образом приготовлено к вечеру Петепра.

Молодой управляющий Иосиф пришел проверить, все ли на месте, поглядеть, не заслуживает ли выговора питейный писец Хамат. Он обошел колонную палату, осматривая кресла, столики, амфоры в подставках, пирамидально нагруженные печеньем и фруктами поставцы. Проверил, в порядке ли светильники, стол с венками, цветочными оплечьями и подобранными к кушаньям благовониями, позвякал, поправляя их на подносах, золотыми кубками. Он уже все окинул хозяйским взглядом и раз-другой звякнул кубками, как вдруг обомлел от страха; из некоторого отдаления до него донесся голос, полнозвучный, звонкий, певучий голос, и голос этот произнес его имя, то имя, которым он назвал себя в этой стране:

- Озарсиф!

Всю свою жизнь помнил он этот миг, когда в пустом доме до него долетел издали звук его имени. Он стоял, с мухоголкой под мышкой, держа в руках два золотых кубка, которыми он, проверяя их блеск, едва звякнул, стоял и слушал, ибо ему казалось, будто он думает, что ослышался. Но это ему, видимо, только казалось, ибо он очень долго прислушивался, застыв со своими кубками, когда его очень долго не звали снова. Наконец по комнатам еще раз разнесся певучий оклик:

- Озарсиф!

- Вот я! - ответил он. Но так как голос его хрипло сорвался, он откашлялся и повторил:

- Я слушаю!

Снова последовало несколько мгновений молчания, во время которых он ни разу не шевельнулся. А потом запело и зазвенело:

- Значит, это тебя, Озарсиф, я услышала, и значит, ты раньше всех других вернулся с праздника в пустой дом?

- Ты это говоришь, госпожа, - ответил он, ставя кубки на место и входя через открытую дверь в северный покой Петепра, чтобы его, Иосифа, лучше слышали в примыкавшей справа палате. - Да, это так, я уже вернулся, чтобы посмотреть, все ли в порядке в доме. Кто всех главней, тот себя не жалеет. Ты, конечно, знаешь эту прописную истину, и поскольку господин мой поставил меня во главе дома, поскольку он ни о чем, кроме хлеба, который ест, при мне не заботится, ибо он отдал все в руки мои, воистину не пожелав быть больше меня в этом доме, - то я предоставил челяди еще немного повеселиться, а сам, не жалея себя, решил отказаться от остальных радостей дня, чтобы заблаговременно прийти в дом согласно мудрому правилу: "Людей не неволь, а себе не позволь!" Впрочем, не буду хвалиться перед тобой, ибо пришел я не намного раньше других и мой выигрыш времени не стоит даже упоминания - так мало в нем толку. Они, того и гляди, сейчас явятся, и вот-вот вернется уже сам Петепра, единственный друг бога, твой супруг, благородный мой господин...

- А за мной, - раздался голос из полутемного покоя, - почему, присматривая за всем в доме, ты не хочешь присмотреть и за мной, Озарсиф? Ты ведь слышал, наверно, что я осталась одна и недомогаю? Переступи порог и войди ко мне!

- Я с радостью, - отвечал Иосиф, - переступил бы порог и навел тебя, госпожа, если бы не было такого беспорядка в палате приемов, где множество мелочей требует моего

безотлагательного вмешательства...

Но голос прозвенел:

- Войди ко мне! Госпожа приказывает.

И тогда Иосиф переступил порог и вошел.

## ЛИЦО ОТЦА

Тут наша история умолкает. То есть умолкает она в настоящем своем виде, в этом своем праздничном воспроизведении, ибо когда она происходила в оригинале, рассказывая себя самое, она отнюдь не молчала, а продолжалась в полумраке покоя как взволнованный обмен репликами или даже как такой диалог, где оба говорят одновременно, но мы накидываем на это покров деликатности и человеческого сочувствия. Ведь тогда она совершалась сама по себе, без свидетелей, а сегодня, сейчас, она разыгрывается перед многочисленной публикой - все согласятся, что это существенная разница для чувства такта. Точнее сказать, не молчал, да и не смел молчать Иосиф; он говорил, не переводя дыханья, невероятно гладко и ловко, призвав на помощь всю обаятельную находчивость своего ума, чтобы уговорить эту женщину отказаться от ее желанья. Но тут-то и кроется главная причина нашей уклончивости. Ибо он запутался при этом в одном противоречии - или, вернее, при этом распуталось одно противоречие, весьма затруднительное и неприятное для человеческих чувств, - противоречие между духом и телом. Да, под возраженья женщины, под ее высказанные и невысказанные возраженья, его плоть восставала против его духа, и, произнося самые складные и самые умные речи, он превращался в осла; а это потрясающее противоречие, обязывающее к величайшей повествовательской бережности, разглагольствующая мудрость, которая безжалостно уличена во лжи плотью и предстает в обличье орла!

То мертвобожественное состояние, в каком он бежал (известно ведь, что ему удалось бежать), давало женщине особый повод впасть в отчаянье и безумную ярости разочарования: ведь ее вожделье уже встретило в нем мужскую готовность, и крик, с которым она, покинутая, терзала и ласкала в припадке восторженной боли оставшуюся у нее в руках часть его платья (известно, что он оставил у нее какую-то часть одежды), - этот неоднократно вырывавшийся у египтянки крик горя и ликования гласил: "Ме'эни нахтеф!" - "Я видела его силу!"

А вырваться и бежать от нее в самый последний и решительный миг удалось ему потому, что он, Иосиф, увидел лицо отца - об этом сообщают все подробные изложения нашей истории, и мы подтверждаем, что это правда. Да, да, когда, несмотря на все свое красноречие, он был уже на волосок от гибели, ему явился образ отца. То есть образ Иакова? Да, конечно, Иакова. Но это не был образ с замкнуто-личными чертами, и увидел его Иосиф не в том или ином месте пространства. Нет, он увидел его в уме и умом: это был мысленный, символический образ, образ отца в самом широком и общем смысле - черты Иакова смешались в нем с отцовскими чертами Потифара, но было в нем вместе с тем сходство и со скромно умершим Монт-кау, и были еще какие-то, куда более величественные, выходящие за пределы всех этих сходств черты. Отцовскими глазами, карими и блестящими, с нежными жилками у нижних век, глядело это лицо на Иосифа пристально и тревожно.

Это спасло его; или, вернее (будем судить разумно и припишем эту заслугу не какому-то видению, а ему самому) - или, вернее, он спас себя, поскольку этот образ был рожден его духом. Он вырвался из положения, определить которое можно только как далеко зашедшее и весьма близкое к поражению, - вырвался к нестерпимому горю женщины,

прибавим мы, справедливо распределяя свое сочувствие, - и это его счастье, что его телесная ловкость не уступала его красноречию, ибо поэтому он ухитрился в два счета выскользнуть из своего платья ("плаща", "одежды"), за которое его схватили в любовном отчаянье, и, хоть это не очень-то подобало управляющему, убежать прочь - в северную палату, в столовую для гостей и дальше - в переднюю.

За его спиной бесновалось любовное разочарование, наполовину уже счастливое - "Ме'эни нахтеф!" - но нестерпимо обманутое. Она выделявала с оставшейся у нее в руках, еще теплой одеждой что-то ужасное: покрывала поцелуями, увлажняла слезами, разрывала зубами, топтала ногами это ненавистное, это милое платье, обходясь с ним почти так же, как обошлись некогда братья с нарядом сына в долине Дофана.

- Любимый! - кричала она. - Куда ты? Не уходи! О сладостный мальчик! О мерзкий раб! Будь проклят! Умри! Измена! Насилье! Держите беспутника! Держите убийцу чести! На помощь! На помощь госпоже! На меня напало чудовище!

Ну, вот. Ее мысли - если можно говорить о мыслях, когда налицо только горячка гнева и слез, - ее мысли свернули на то обвиненье, каким она не раз угрожала Иосифу, когда, делаясь страшной в своей похоти, заносила над ним, как львица, смертоносную лапу - убийственное обвинение в том, что он оскорбил госпожу чудовищным посягательством. Дикое это воспоминанье всколыхнулось в покинутой, она бросилась на него, она выкрикнула его изо всех сил, надеясь, как это бывает с людьми, усилием голоса сделать неправду правдой, - и мы, справедливости ради, порадуемся, что боль обиженной женщины нашла себе такой выход, получила пусть ложное, но столь же страшное, как и сама эта боль, выраженье, способное ужаснуть, способное заразить сочувственной жаждой мести кого угодно. Крики ее звучали пронзительно.

В передней были уже люди. Солнце садилось, и большая часть челяди Петепра уже вернулась с праздника на усадьбу и в дом. Поэтому хорошо еще, что, прежде чем он достиг вестибюля, у беглеца нашлось место и время собраться с мыслями. Слуги стояли, прислушиваясь, скованные страхом, ибо крики госпожи доносились наружу, и, хотя молодой управляющий вышел из гостиной неторопливо и прошел сквозь их толпу спокойной походкой, они все равно не могли не усмотреть какой-то связи между ущербом в его одежде и криками в покое хозяйки. Сначала Иосиф хотел удалиться направо, в свою комнату, в Особый Покой Доверия, чтобы привести себя там в порядок; но так как на дороге стояли слуги, а кроме того, в нем победила потребность уйти из дома на свежий воздух, он пересек переднюю и через открытую бронзовую дверь вышел во двор, где царило оживление съезда, ибо как раз в это время к гарему прибывали носилки тараторок-наложниц, которые, под надзором писцов Дома Замкнутых и евнухов-нубийцев, также выезжали поглядеть на зрелища праздника и теперь возвращались в свою почетную клетку.

Куда он собирался уйти, так дешево отделавшись? На улицу, через те ворота, в какие он однажды вошел. А куда потом? Этого он сам не знал и был рад, что впереди у него еще двор, где можно было идти так, словно ты куда-то идешь. Он почувствовал, что его тянут за платье - это был сморчок Боголюб, который подавленно верещал: "Погибла нива! Бык ее сжег! Пепел! Пепел! Ах, Озарсиф!" Это было примерно на полпути от главного зданья к воротам наружной стены. Малыш вцепился в одежду Иосифа, и тот оглянулся. Его догнал голос женщины, госпожи, которая, белея, стояла на возвышенье ступеней перед дверью дома, окруженная слугами, стекавшимися вслед за ней из передней. Она простирала руку в его сторону, и продолженьем ее руки за ним бежали люди, тоже протягивая руки к нему. Они схватили его и привели его назад, в гущу сбежавшейся к дому дворни - ремесленников, привратников, людей конюшен, сада и кухни, столовой прислуги в серебристых набедренниках. Плачущего карлика, который вцепился в его платье, он

тащил за собой.

И перед челядью почечного своего супруга, столпившейся во дворе за нею и перед ней, жена Потифара держала ту известную речь, которая всегда вызывала неодобрение человечества и которую мы также, при самом добром своем отношении к Мут-эм-энет и ее преданью, не можем не осудить - не за неправду ее утверждений, которая могла все-таки сойти за облачение правды, а за демагогию, которой она не побрезгала, чтобы распалить своих слушателей.

- Египтяне - кричала она. - Дети Кеме! Сыновья Потока и Черной Земли!

Что это значило? Перед ней стояли обыкновенные люди, к тому же почти все немного навеселе. Их чистокровность детей Хапи, поскольку она вообще существовала, ибо среди них находились и мавры из Куша, и люди с халдейскими именами, была природным, не зависящим от них качеством, которое, кстати сказать, нисколько не помогало им, если они бывали нерадивы на службе: тогда спины им полосовали, совершенно не глядя на преимущество их происхождения. А теперь вдруг к этому преимуществу, остававшемуся обычно в тени и не имевшему ни для кого из них никакой практической ценности, подчеркнуто и льстиво взывали, используя их честолюбие, их египетскую гордость против того, кого нужно было уничтожить любой ценой. Призыв этот показался им странным, но он не преминул оказать своего действия, тем более что пары ячменного пива повысили их впечатлительность.

- Братья египтяне! (Так вдруг и братья! Это проняло их, они блаженствовали.) Видите ли вы меня, вашу госпожу и мать, первую и праведную жену Петепра? Вы видите меня на пороге дома, и мы с вами хорошо знаем друг друга, не так ли, вы - меня, а я - вас?

"Мы" и "друг друга"! Это ласкало слух, у них был сегодня, право, хороший день.

- Но вы знаете и этого юношу-ибрийца, который ходит полуголым в такой знаменательный вечер, потому что верхнее его платье вот оно, у меня в руках... Вы узнаете его, поставленного над вами, уроженцами этой земли, назначенного управлять домом великого мужа стран? Глядите, с горемычной чужбины он явился в Египет, явился в прекрасный сад Усира, к престолу Ра, к горизонту доброго духа. Этого чужеземца привели к нам в дом ("к нам"! опять, подумать только!), - чтобы он посмеялся над нами и покрыл нас позором. Ибо это ужасное дело совершено: я сидела одна в своем покое, одна в доме, оправданная перед Амуном своим нездоровьем, и одиноко стерегла пустой дом. И вот этот негодяй, этот ибрийский злодей воспользовался моим одиночеством, чтобы поступить со мной так, как ему хотелось, и опозорить меня: этот раб хотел спать с госпожой, - закричала она визгливо, насильственно спать! Но я стала громко кричать, когда он захотел это сделать, чтобы удовлетворить рабское свое желанье, - я спрашиваю вас, братья египтяне, слышали ли вы, как я кричала изо всех сил, чтобы доказать, как того требует закон, что я сопротивлялась и в ужасе защищалась? Вы это слышали! Но так как и он, блудодей, это слышал, преступная отвага его иссякла, и он вырвался из своего плаща, который я держу в руках как улику и за который я хотела его удержать, чтобы вы схватили его, и, не совершив злодеянья, бежал от меня, так что я, благодаря своему крику, стою перед вами чистой и непорочной. А он, поставленный над вами и надо всем этим домом, он стоит сейчас вон там, как злодей, который поплатится за свою вику и предстанет перед судом, как только вернется мой господин и супруг. Наденьте ему колодки на руки!

Такова была не только неправдивая, но, увы, и подстрекательская речь Мут-эм-энет. Потифарова челядь стояла в смущенье и замешательстве, одурев уже и от дарового храмового пива, а от услышанного и вовсе. Разве все они не слышали, не знали, что она

бегают за красивым управляющим, а он ей не поддается? А тут вдруг оказывается, что он посягнул на госпожу, захотел овладеть ею силой? Голова у них шла кругом - и от пива, и от этой истории, ибо она была несуразна, а все они от души любили юного управляющего. Кричать она, конечно, кричала; все они это слышали, и все они знали закон, по которому женщина считается невиновной, если она во время нападения на ее честь громко кричала. К тому же в руках у нее была верхняя одежда управляющего, по виду которой можно было заключить, что она действительно осталась ей в залог, когда он вырвался; но сам он стоял с опущенной головой и молчал.

- Почему вы медлите?! - раздался почтенно-мужественный голос, голос Дуду, важного коротышки, который тоже был тут как тут в своем праздничном, крахмально-оттопыренном набедреннике... - Разве вы не слышали приказа госпожи, нашей чудовищно оскорбленной и чуть не поруганной госпожи надеть колодки на этого мальчишку-ибрийца? Вот они, я захватил их с собой. Ибо, услышав ее законные крики, я сразу смекнул, что к чему, и мигом сбегал за колодками в бичевальную кладовую, чтобы за ними дело не стало. Вот они! Довольно пялить глаза, наденьте скорее колодки на мерзкие руки этого негодяя, купленного однажды вопреки дельному совету по совету болвана и так долго начальствовавшего над нами, чистокровными египтянами! Клянусь обелиском, его препроводят в Дом пыток и Казни!

Это был желанный час Дуду, женатого карлика, и он наслаждался им вволю. Нашлись и два челядинца, которые, взяв у Дуду колодки, надели их под смешные теперь причитания Шепсес-Беса на Иосифа; колодки эти представляли собой веретенообразную чурку, намертво схватывавшую и отягощавшую своим весом защелкнутые в особой прорези руки узника.

- Бросьте его на псарню! - приказала Мут с рыданием в голосе. А потом она опустилась наземь там, где стояла, перед открытыми воротами дома, и положила платье Иосифа рядом с собой.

- Вот я сижу, - говорила она нараспев, наполняя звуками темнеющий двор, - вот я сижу на пороге дома, а возле меня лежит вопиющая эта одежда. Отойдите от меня все и не советуйте мне вернуться в дом хотя бы за моим тонким платьем, чтобы избежать простуды из-за вечерней свежести. Я останусь глуха к таким просьбам, ибо я хочу сидеть здесь возле моего залога до тех пор, пока не придет Петепра и чудовищная эта обида не будет искуплена.

## СУД

Каждый час, гордый ли, горестный ли, велик по-своему. Когда Исаву дано было бахвалиться и высоко задирать ноги, тогда, конечно, шел час его возвышенья, его почета. Но когда он выбежал из шатра - "Проклятье! Проклятье!" - и сел на корточки, чтобы заплакать крупными, как орехи, слезами, - разве \_этот\_ час был для косматого брата менее велик и торжественен?.. Глядите, вот он, мучительнейший час Петепра, час, которого он однако, в сущности, всегда ожидал: охотясь ли на птиц на бегемотов и на зверей пустыни, читая ли старых добрых авторов, он всегда смутно готов был к такому часу и только не знал его подробностей, хотя они, как оказалось, когда срок наконец исполнился, в большой мере зависели от него, - и право же, он оказался тут на высоте положенья.

Он въехал во двор с факелами, на колеснице, управляемой его возничим Нетернахтом, - раньше, как мы уже сказали, чем это требовалось для вечернего приема, из-за своих предчувствий. Это было одно из тех многих возвращений, во время которых он всегда ждал беды, только на этот раз беда и в самом деле пришла. "Все ли благополучно в доме?"

Весела ли госпожа?" Вот именно, нет. Госпожа трагически сидит на пороге твоего дома, а твой утешительный чашник лежит на псарне с колодками на руках.

Так, так, таким, значит, образом это произошло. Ну, что ж, возьмем это на себя! Что Мут, его жена, как-то страшно сидела перед дверью дома, он увидел еще издали. Тем не менее, вылезая из своей блестящей повозки, он задал привычные эти вопросы, но на сей раз они остались без ответа. Помогавшие ему слуги опустили головы и промолчали. Так, так, именно этого он всегда ждал, хотя бы другие подробности этого часа и сложились иначе, чем ему думалось... Покуда одни слуги уводили его упряжку, а другие по-прежнему стояли на освещенном факелами дворе поодаль от господина, этот нежный, рувимоподобный великан поднялся с опахалом и почетным жезлом в руке по ступенькам к сидевшей.

- Что бы значила, дорогая подруга, - спросил он с вежливой осторожностью, - эта картина? Ты сидишь в легкой одежде у порога, а рядом с тобой лежит какой-то непонятный предмет?

- Да, это так! - отвечала она. - Твое описание, правда, вяло, невыразительно, ибо картина эта гораздо сильнее и ужасней, чем в твоей, мой супруг, передаче, но по существу твое утверждение верно: я действительно сижу здесь, а рядом со мною действительно лежит предмет, значение которого тебе, к ужасу твоему, придется понять.

- Помоги мне в этом! - ответил он.

- Я сижу здесь, - сказала она, - в ожидании твоего суда - над гнуснейшим преступлением, какое когда-либо видели эти страны, а может быть, и все царства народов.

Он особым образом сложил пальцы, чтобы отвратить зло, и стал спокойно ждать объяснения.

- Этот раб-ибриец, - пела она, - которого ты ввел в наш дом, вздумал со мной потешиться. Я молила тебя в вечерней палате, я обнимала твои колени, чтобы ты прогнал своего чужеземца, ибо я не ждала от него ничего хорошего. Но напрасно, слишком дорог был тебе этот раб, и ты заставил меня уйти ни с чем. Ну, а теперь этот развратник напал на меня, вздумав причинить мне наслаждение в твоём пустом доме, и он был уже в состоянии мужской готовности. Ты не веришь мне, тебе это кажется невероятным? Погляди же на этот знак, истолкуй же его, как должно! Знак сильнее, чем слово; его нельзя толковать вкривь и вкось, ибо он говорит недвусмысленным языком вещей. Гляди! Разве это не платье твоего раба? Проверь как следует, ибо я обелена перед тобой этим знаком. Когда я закричала под натиском этого чудовища, он испугался и побежал от меня, но я схватила его за платье, и он от страха оставил его у меня в руках. Вот оно, перед твоими глазами, доказательство его мерзости, а вдобавок доказательство его бегства и того, что я подняла крик. Ибо если бы он не пустился бежать, у меня не осталось бы его платья, а если бы я не подняла крика, он бы не пустился бежать. Кроме того, вся твоя дворня может засвидетельствовать, что я кричала, спроси этих людей!

Петепра стоял опустив голову и молчал. Затем он вздохнул и сказал:

- Это очень печальная история.

- Печальная? - повторила она с угрозой.

- Я сказал: "очень печальная", - ответил он. - Но она даже ужасна, и я поискал бы, пожалуй, еще более сильного определения, если бы из твоих слов нельзя было заключить, что

благодаря твоему знанию законов и присутствию духа она окончилась еще сравнительно благополучно, ибо могло быть и хуже.

- А бесчестному этому рабу ты никаких определений не подыскиваешь?

- Он бесчестный раб. Так как речь сейчас идет о его поведении, то определение "очень печальное" относилось, конечно, в первую очередь к нему. И надо же, чтобы эта беда поразила меня не в какой-нибудь другой, а непременно в сегодняшний вечер - в вечер прекрасного дня моего производства в единственные друзья, когда я возвращаюсь домой, чтобы отметить милость и любовь фараона небольшим торжеством, на которое вот-вот съедутся гости. Признай, что это жестоко!

- Петепра! Есть ли у тебя сердце?

- Почему ты об этом спрашиваешь?

- Потому что в этот несказанный час ты можешь говорить о своем новом придворном званье и о том, как ты отпразднуешь его получение.

- Но ведь я же сделал это только для того, чтобы резче противопоставить несказанность часа приятности дня и тем самым подчеркнуть эту несказанность. Такова уж, видно, природа несказанного, что о нем самом нельзя говорить, и, чтобы его выразить, нужно говорить о другом.

- Нет, Петепра, у тебя нет сердца.

- Вот что я тебе скажу, моя дорогая, есть обстоятельства, в которых известную бессердечность в пору прямо-таки приветствовать - и ради затронутого лица, и ради самих обстоятельств, справиться с которыми куда легче, наверно, без особого сердечного пыла. Как же сейчас поступить в этом очень печальном, в этом ужасном деле, обезобразившем день моего почета? Дело это нужно без промедленья уладить и прекратить, ибо, во-первых, я прекрасно понимаю, что ты не поднимешься с этого вообще-то невозможного места, не получив должного удовлетворения за такую невыразимую неприятность. А во-вторых, со всем этим нужно покончить до приезда моих гостей, которые уже очень скоро придут. Следовательно, я должен сейчас же устроить домашний суд, и суд мой, хвала Сокрытому, может быть скорым, ибо только твое слово, моя подруга, тут что-то значит, а всякое другое вообще не имеет веса, благодаря чему приговор последует тотчас. Где Озарсиф?

- На псарне.

- Так я и думал. Привести его ко мне. Позвать на суд священников родителей с верхнего этажа, даже если они уже спят! Всеи дворне собраться перед Высоким Креслом, установив его здесь, где сидит госпожа, чтобы она поднялась лишь после того, как я совершу суд!

Эти распоряжения были поспешно выполнены; единственным затруднением оказался первоначальный отказ единоутробных родителей Гуия и Туий явиться, куда их звали. Они были уведомлены о переполохе в доме нежной своей прислугой: своими вытянутыми трубочкой губами стеблерукие девочки донесли им о событиях, подобных которым эти старики, как и их искупительный сын, царедворец света, издавна втайне ждали; и вот теперь они испугались и не хотели идти, чуя в расследовании этого дела предвосхищение суда перед подземным царем и зная, что оба они слишком слабы умом, чтобы привести в свое оправдание какие-то доводы, кроме слов "намеренья у нас были самые добрые".

Поэтому они передали, что они близки к смерти и уже не в силах присутствовать на домашнем суде. Но их сын, господин дома, разгневался, топнул даже ногой и потребовал, чтобы они приволоклись в любом состоянии; ибо если они собираются испустить дух, то место, где, требуя правосудия, сидит и плачет невестка их Мут, как раз и подходит для этого.

Вот они и приковыляли к воротам, опираясь на приставленных к ним девочек, - с дрожащей серебряной бородкой, со страшно трясущейся головой, старый Гуий; с унылой улыбкой, то влево, то вправо, как будто она чего-то искала, поднимая слепые щелки своего белого, большого лица, старая Туий, приковыляли и стали во зле судейского кресла сына, где они сначала, в великом волнении, упорно бормотали: "Намеренья у нас были самые добрые", а потом успокоились. Мут, госпожа, сидела со своим залогом и знаком возле изножья кресла, за которым помахивал опахалом одетый в красное мавр, а рядом с ним стояли рабы-светоносцы. Но и двор тоже был освещен факелами, ибо там собралась вся челядь, которую не отпустили из дому на праздничный вечер; к ступеням, в колодках, подвели Иосифа, а с ним вцепившегося в его набедренник Зе'энх-Уэн-нофре и так далее; в твердой надежде, что час его радости станет еще прекраснее, к ступеням важно проследовал и Дуду; карлики стали по обе стороны от преступника.

Тонким своим голосом Петепра произнес чеканно и быстро:

- Начинается суд, но мы торопимся. Я призываю тебя, ибисоголовый бог, который написал закон людей, тебя, белая обезьяна с весами, а также тебя, владычица Ма'ат, украшенная страусовыми перьями заступница правды. Жертвы, которыми мы как просители обязаны вас почитать, будут принесены вам позднее, я за это ручаюсь, они за нами. А сейчас время не терпит. Я начну суд над этим домом, ибо это мой дом, и начну его так.

Сказав это с поднятыми руками, он уселся удобнее, оперся на локоть и, поглаживая маленькой рукой подлокотник, продолжил:

- Невзирая на прочные заслоны, которыми этот дом отгородился от зла, несмотря на непроницаемость его отворотных изречений и добрых правил, беда ухитрилась проникнуть в него и на время разрушить прекрасные чары мира и нежной бережности, во власти которых он находился. Этот случай следует назвать очень печальным и даже ужасным, тем более что такая беда дала себя знать как раз в тот день, когда милость и любовь фараона благоволили украсить меня великолепным званием Единственного Друга и когда, следовательно, я должен был бы видеть сплошную учтивость и благотворное доброжелательство, но никак не ужас пошатнувшегося порядка. Ну, что ж! Давно уже проникшая сквозь преграду беда тайно подтачивала прекрасный уклад дома, чтобы он рухнул и сбылась угроза древних писаний, что богатые станут бедными, бедные богатыми, а храмы придут в запустенье. Давно уже, повторяю, украдкой вгрызалось в устои моего дома зло, скрытое от большинства, но не укрывшееся от глаз господина, который дому одновременно и мать и отец, ибо взгляд его подобен лучу, что оплодотворяет корову, а дыхание его слова подобно ветру, что в знак божественной своей плодовитости переносит пыльцу от дерева к дереву. И так как всякое становление и процветание вытекает из лона его присутствия, как мед из сотов, из-под его надзора не выходит ничто, и даже то, чего большинство не видит, перед его взглядом как на ладони. Запомните это по случаю сегодняшней задачи! Ибо мне отлично известна сопутствующая моему имени молва, будто я не знаю никаких дел на свете, кроме как есть и пить. Но это вздорная болтовня. Я все знаю, так и запомните; и если эта задача, над которой я сейчас вершу суд, заново усилит ваш страх перед господином и его всевидящим оком, то о ней можно будет сказать, что при всей своей прискорбности она имела и свою хорошую сторону.

Он поднес к носу малахитовый пузырек с благовониями, который носил поверх воротника на цепочке, и, освежившись, продолжил:

- Итак, мне были известны пути, которыми следовало проникшее в этот дом зло. Но не укрылись от меня и пути тех, кто поощрял его с надменным коварством, прокладывая ему путь из зависти и ненависти, - и не только поощрял, но даже предательски открыл ему лазейку, чтобы оно пробралось в дом через заслон добрых правил. Эти предатели стоят перед моим креслом в карличьем облике моего бывшего зрителя ларей и нарядов, именуемого Дуду. Он сам вынужден был признаться мне во всех кознях, которыми он впустил в дом это жадное зло и прокладывал ему путь. Вынесем же ему приговор! Я не стану наказывать его лишением силы, которую солнечному владыке заблагорассудилось соединить с его ублюдочной внешностью, - ее я не хочу трогать. Пусть этому изменнику отрежут язык.

- Пол-языка, - поправился он, брезгливо отмахиваясь, так как Дуду жалобно завопил. - Но поскольку, - прибавил он, - я привык, чтобы мои наряды и драгоценные камни находились на попечении карлика, а мои привычки отнюдь не должны страдать из-за этого недоразумения, то я назначаю писцом одежной другого карлика моего дома, Зе-энх-Уэн-нофре-Нетерухотпе-эмпер -Амуна - пусть он отныне смотрит за моими ларями!

Маленький Боголюб, с заплаканным из-за Иосифа, красным, как киноварь, носиком на сморщенном личике, подпрыгнул в знак радости. Но Мут, госпожа, повернула голову к Высокому Креслу и прошептала сквозь зубы:

- Что это за приговоры, супруг мой? Они же затрагивают дело только с самого краю и совершенно несущественны! Что можно подумать о твоем правосудии и как мне подняться с этого места, если ты судишь подобным образом?

- Терпенье, - ответил он так же тихо, наклонившись к ней с кресла. Каждый получит по заслугам и расплатится за свою вину. Сиди спокойно! Скоро ты сможешь подняться, и довольна ты будешь так, словно судила сама. Ведь я сужу вместо тебя, моя дорогая, только без излишнего сердечного пыла, - будь этому рада! Ибо если бы, при своем неистовстве, приговор вынесло сердце, оно было бы обречено на вечное раскаяние.

Тихо сказав ей это, он выпрямился и снова повысил голос:

- Соберись с духом, Озарсиф, бывший мой управляющий, ибо я перехожу к тебе и сейчас ты услышишь свой приговор, которого, наверно, уже давно со страхом ждешь, - я нарочно продлил время твоего ожидания, чтобы больше тебя наказать. Я собираюсь обойтись с тобой строго и подвергнуть тебя жестокому наказанию, - помимо того, которое уготовано тебе в собственной твоей душе, ибо отныне тебя преследуют по пятам три зверя, носящих безобразные имена. Зовут их, насколько я помню, одного "Стыд", другого "Вина", а третье - "Глумливый Смех". Это, конечно, они заставляют тебя стоять перед моим креслом с опущенной головой и потупив глаза, что я уже давно вижу, ибо за все время мучительного ожидания, тебе навязанного, я ни разу не выпустил тебя из поля моего тайного зренья. Ты стоишь в колодках с низко опущенной головой и молчишь, да и как тебе не молчать, если твои оправдания никому не нужны и свидетельствует против тебя госпожа, одного непрекаемого слова которой было бы уже достаточно, чтобы решить дело, а кроме того, неопровержимым языком вещей тебя уличает знак твоего платья, доказывающий, что ты, вконец обнаглев, посягнул на госпожу, а когда она захотела призвать тебя к ответу, вынужден был оставить свою одежду в ее руке. Я спрашиваю тебя: какой тебе смысл говорить что-либо в свою защиту наперекор слову госпожи и однозначному показанию вещей?

Иосиф молчал и опустил голову еще ниже.

- Конечно, нет смысла, - ответил вместо него Петепра. - Ты должен онеметь, как ягненок, который немеет, когда его стригут, - ничего другого тебе сегодня не остается, хотя вообще-то ты говоришь куда как ловко и складно. Благодарю, однако, бога своего племени, этого Баала или Адона, равносильного, по-видимому, заходящему солнцу, за то, что он уберег тебя в твоей наглости и, не дав твоему мятежу достигнуть вершины, вытолкнул тебя из твоего платья, - благодари, повторяю, его, ибо иначе тебя сейчас бросили бы на съедение крокодилу или твоим уделом была бы медленная смерть на костре, если не под стержнем, на котором вращается дверь. О таких наказаниях, конечно, не может быть и речи: поскольку от худшего ты уберешься, я не вправе их применять. Но не думай, что я не намерен обойтись с тобой строго, и услышь после умышленно продленного ожидания мой приговор! Я брошу тебя в темницу, где томятся узники царя и которая находится в островной крепости Цави-Ра, посреди реки; ибо отныне ты принадлежишь не мне, а фараону и становишься царским рабом. Я отдам тебя под надзор начальника темницы, человека, с которым шутки плохи и которого ты, пожалуй, не так-то скоро подкупишь мнимой своей благотворностью, так что поначалу, во всяком случае, тебе будет там очень несладко. Впрочем, в сопроводительном письме я дам этому чиновнику кое-какие особые указания, соответствующим образом тебя описав. В это место искупленья, где никто не смеется, тебя доставят завтра утром на корабле, и больше ты не увидишь моего лица, после того как в течение многих приятных лет тебе было дозволено находиться рядом со мной, наполнять мне кубок и читать мне хороших авторов. Это, наверно, причинит тебе боль, и я не удивился бы, если бы твои низко опущенные глаза оказались сейчас полны слез. Но как бы то ни было, завтра тебя доставят в это очень суровое место. А на псарню тебе незачем возвращаться. Это наказание ты уже отбыл, и ночь там пускай лучше проведет Дуду, которому завтра укоротят язык. Ты же можешь спать, как обычно, в Особом Покое Доверия, каковой, однако, на эту ночь получит наименование "Особый Покой Заключение". Далее, поскольку на тебе колодки, то справедливость требует, чтобы на Дуду надели такие же, если, конечно, найдутся вторые. А если в доме только одни, то пускай их носит Дуду. Таково мое слово. Домашний суд окончен. Всем отправиться на свои места для приема гостей!

Никто не удивится, если мы скажем, что по оглашении такого приговора все, кто был во дворе, пали на лицо свое и подняли руки, выкликая имя своего кроткого и мудрого повелителя. Иосиф тоже благодарно пал наземь, даже Гуий и Туий, поддерживаемые девочками-служанками, почтили сына земным поклоном, а если вы спросите о Мут-эм-энет, госпоже, то она тоже не составила исключенья: она склонилась над изножьем судейского кресла и спрятала лоб на ногах своего супруга.

- Не за что, подруга моя, - сказал он, - благодарить. Я рад, если мне удалось угодить тебе этой расправой и оказать тебе услугу своим могуществом! А теперь мы можем отправиться в палату приемов, чтобы отпраздновать день моего почета. Ибо, благоразумно высидев днем дома, ты сберегла силы для вечера.

Вот как спустился Иосиф в темницу и яму во второй раз. А как он снова поднялся из этой дыры к вышней жизни, о том пусть поведают дальнейшие песни.